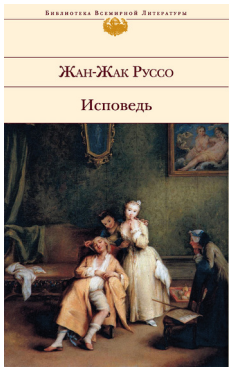
Библиотека Всемирной Литературы
Жан-Жак Руссо
Исповедь

Жан-Жак Руссо
Исповедь

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377375
Исповедь: Эксмо; М.; 2011
ISBN 978-5-699-50361-2

Аннотация

Жан-Жак Руссо (1712–1778) – выдающийся мыслитель и писатель эпохи Просвещения. «Исповедь» Руссо до сих пор не перестает привлекать читателей. Внутренняя свобода автора по отношению к условностям его времени определила ту глубину и точность самооценки, с которой написана эта книга. Описывая события и свои переживания, Руссо обнажает «всю правду своей природы», включая и «самые интимные и грязные лабиринты». Эта неповторимая книга вызывает глубокий интерес не только своим автобиографическим материалом, но и смелым, тонким самоанализом.

Содержание

Предисловие[1] 14
Часть первая 17
Книга первая 17
Книга вторая 40
Книга третья 65
Книга четвертая 90
Книга пятая 114
Книга шестая 142
Часть вторая 169
Книга седьмая 169
Книга восьмая 210
Книга девятая 240
Книга десятая 290
Книга одиннадцатая 322
Книга двенадцатая 347
1 384
2 385
3 386
4 387
5 388
6 389
7 390
8 391
9 392
10 393
11 394
12 395
13 396
14 397
15 398
16 399
17 400
18 401
19 402
20 403
21 404
22 405
23 406
24 407
25 408
26 409
27 410
28 411
29 412
30 413
31 414

32 415
33 416
34 417
35 418
36 419
37 420
38 421
39 422
40 423
41 424
42 425
43 426
44 427
45 428
46 429
47 430
48 431
49 432
50 433
51 434
52 435
53 436
54 437
55 438
56 439
57 440
58 441
59 442
60 443
61 444
62 445
63 446
64 447
65 448
66 449
67 450
68 451
69 452
70 453
71 454
72 455
73 456
74 457
75 458
76 459
77 460
78 461
79 462
80 463

81 464
82 465
83 466
84 467
85 468
86 469
87 470
88 471
89 472
90 473
91 474
92 475
93 476
94 477
95 478
96 479
97 480
98 481
99 482
100 483
101 484
102 485
103 486
104 487
105 488
106 489
107 490
108 491
109 492
110 493
111 494
112 495
113 496
114 497
115 498
116 499
117 500
118 501
119 502
120 503
121 504
122 505
123 506
124 507
125 508
126 509
127 510
128 511
129 512

130 513
131 514
132 515
133 516
134 517
135 518
136 519
137 520
138 521
139 522
140 523
141 524
142 525
143 526
144 527
145 528
146 529
147 530
148 531
149 532
150 533
151 534
152 535
153 536
154 537
155 538
156 539
157 540
158 541
159 542
160 543
161 544
162 545
163 546
164 547
165 548
166 549
167 550
168 551
169 552
170 553
171 554
172 555
173 556
174 557
175 558
176 559
177 560
178 561

179 562
180 563
181 564
182 565
183 566
184 567
185 568
186 569
187 570
188 571
189 572
190 573
191 574
192 575
193 576
194 577
195 578
196 579
197 580
198 581
199 582
200 583
201 584
202 585
203 586
204 587
205 588
206 589
207 590
208 591
209 592
210 593
211 594
212 595
213 596
214 597
215 598
216 599
217 600
218 601
219 602
220 603
221 604
222 605
223 606
224 607
225 608
226 609
227 610

228 611
229 612
230 613
231 614
232 615
233 616
234 617
235 618
236 619
237 620
238 621
239 622
240 623
241 624
242 625
243 626
244 627
245 628
246 629
247 630
248 631
249 632
250 633
251 634
252 635
253 636
254 637
255 638
256 639
257 640
258 641
259 642
260 643
261 644
262 645
263 646
264 647
265 648
266 649
267 650
268 651
269 652
270 653
271 654
272 655
273 656
274 657
275 658
276 659

277 660
278 661
279 662
280 663
281 664
282 665
283 666
284 667
285 668
286 669
287 670
288 671
289 672
290 673
291 674
292 675
293 676
294 677
295 678
296 679
297 680
298 681
299 682
300 683
301 684
302 685
303 686
304 687
305 688
306 689
307 690
308 691
309 692
310 693
311 694
312 695
313 696
314 697
315 698
316 699
317 700
318 701
319 702
320 703
321 704
322 705
323 706
324 707
325 708

326 709
327 710
328 711
329 712
330 713
331 714
332 715
333 716
334 717
335 718
336 719
337 720
338 721
339 722
340 723
341 724
342 725
343 726
344 727
345 728
346 729
347 730
348 731
349 732
350 733
351 734
352 735
353 736
354 737
355 738
356 739
357 740
358 741
359 742
360 743
361 744
362 745
363 746
364 747
365 748
366 749
367 750
368 751
369 752
370 753
371 754
372 755
373 756
374 757

375 758
376 759
377 760
378 761
379 762
380 763
381 764
382 765
383 766
384 767
385 768
386 769
387 770
388 771
389 772
390 773
391 774
392 775
393 776
394 777
395 778
396 779
397 780
398 781
399 782
400 783
401 784
402 785
403 786
404 787
405 788
406 789
407 790
408 791
409 792
410 793
411 794
412 795
413 796
414 797
415 798
416 799
417 800
418 801
419 802
420 803
421 804
422 805
423 806

424 807
425 808
426 809
427 810
428 811
429 812
430 813
431 814
432 815
433 816
434 817
435 818
436 819
437 820
438 821
439 822
440 823
441 824
442 825
443 826
444 827
445 828
446 829
447 830
448 831
449 832
450 833
451 834
452 835
453 836
454 837
455 838
456 839
457 840
458 841
459 842
460 843
461 844
462 845
463 846
464 847
465 848
466 849
467 850
468 851
469 852
470 853
471 854
472 855

473 856
474 857
475 858
476 859
477 860
478 861
479 862
480 863
481 864
482 865
483 866
484 867
485 868
486 869
487 870
488 871
489 872
490 873
491 874
492 875
493 876
494 877
495 878
496 879
497 880
498 881
499 882
500 883
501 884

Жан-Жак Руссо
Исповедь

Предисловие[1]

Над «Исповедью» Руссо трудился в период между 1765 и 1770 г. История зарождения этой книги и процесс ее создания освещены в многочисленных исследованиях (см. труд Hermine de Saussure, Rousseau et ses manuscrits des Confessions, P. 1958; комментарии и статьи к изд. Les Confessions, texte établi et annoté par Pierre Grosclaude, Les éditions nationales, P. 1947). Размышления о причудливой судьбе, возвысившей его из состояния никому не известного бедняка до вершин мировой славы, противопоставление своего образа мыслей не только аристократическому миру, но и «партии философов», с которыми он не так давно сотрудничал в Энциклопедии, – вот причины, породившие у Руссо желание оставить потомству обстоятельную автобиографию. К 1755–1756 гг. относится несколько набросков Руссо об отдельных эпизодах его жизни. В январе 1762 г. Руссо пишет Мальзербу четыре письма, объединенных общей темой; в этих письмах намечается контур морального автопортрета. Хотя и не предназначенные для общества, они все же явились первым сочинением Руссо, предметом которого был он сам. Крайняя чувствительность, стремление к независимости, разочарование в окружающей среде – этими особенностями натуры и мировоззрения Руссо объясняет необычность своих поступков. Уже здесь Руссо формулирует основной девиз «Исповеди», заимствованный у Ювенала: «Vitam impendere vero» (посвятить жизнь истине). Касаясь своего пристрастия к подробному самоизображению («я слишком люблю говорить о себе»), Руссо выражает уверенность в том, что он способен представить себя «без прикрас».

На основании писем к Мальзербу можно было предположить, что в недалеком будущем Руссо напишет книгу, в которой воспроизведет весь свой жизненный путь и покажет себя со всеми своими недостатками и достоинствами. Сам Руссо намекает на это своим корреспондентам; в начале 60-х гг. издатель его сочинений Рей, друзья Мульту и Дюкло торопят его, настойчиво требуют от него мемуаров, ссылаясь вдобавок на заинтересованность в них публики. Однако Руссо пока не спешит и только подготавливает сборник писем, относящихся к разным периодам, восстанавливая таким образом нить своей пестрой жизни. В годы 1757–1760 Руссо испытывает тяжелые переживания, вызванные его разрывом с энциклопедистами; особенно удручает его ссора с Дидро. К этим годам относится и несчастная любовь Руссо к г-же д'Удето. Еще трагичнее складываются его общественные дела. В то время как его произведения распространяются по всему миру – от Франции до России, от Германии до Северной Америки, – Руссо подвергается гонениям и репрессиям. Церковь предает книгу «Эмиль» анафеме, роман «Новая Элоиза» становится мишенью для шуток салонных остроумцев, парижский парламент грозится сжечь все, что им написано, власти отдают распоряжение о его аресте. Угрожающими были для Руссо и вести с его родины. В 1763 г. женевец Троншен издает направленный против политических идей Руссо памфлет «Письма с равнины» (Руссо ответит на них «Письмами с горы»), а год спустя выходит осмеивающая Руссо анонимная брошюра, которую приписывали Вольтеру: «Мнение граждан» (Le Sentiment des citoyens). Руссо кажется, что вокруг него одни враги: слева – философы во главе с кружком Гольбаха, справа – церковники во главе с парижским епископом Кристофом Бомоном.

В такой тяжелой для него обстановке Руссо считает своей неотложной задачей защитить себя от клеветников, правдиво рассказать обо всем, что происходило с ним до сих пор.

[1] Текст статьи печатается с сокращениями.

Психологические предпосылки этого решения существенны не менее, чем социальные и политические. В Руссо 60-х гг. прежняя воинственность сочетается с настроением разочарования, усталости, меланхолии; живой интерес к проекту политического строя на Корсике (1765), в Польше (1767) – с равнодушием ко всему на свете. В одном из его писем содержатся полные горечи слова: «Мое существование сосредоточено лишь в моей памяти, я живу теперь только прошлым». Противоречивое состояние духа отражено и в самой «Исповеди»: с одной стороны, Руссо пишет ее как бы в утешение самому себе; с другой стороны, она – и средство самореабилитации, и оружие в борьбе с тем же прогнившим обществом, против которого были направлены его философские и политические трактаты. Руссо вложил в свою «Исповедь» глубокую страсть и тонкий лиризм. К тому моменту, когда в Мотье-Травер ослепленная яростью толпа закидала его камнями (1765), а протестанты Женевы и Берна изгнали его с острова Сен-Пьер, Руссо заканчивал работу над воспоминаниями о детстве и юности. В конце 1766 г. первая половина «Исповеди» была в основном готова.

В январе 1766 г. Руссо находился в Лондоне, приглашенный туда философом Юмом. С марта он жил в Вуттоне, где продолжал дорабатывать черновые наброски «Исповеди». Творческий подъем Руссо вскоре уступил место упадку сил, приступу подозрительности и беспокойства. Охваченному манией преследования Руссо и в Англии мерещились враги, которые будто бы замышляли против него заговоры. Руссо проявлял страх не только за себя, но и за рукопись «Исповеди»; он тщательно прятал ее от глаз посторонних. В мае 1767 г. Руссо снова во Франции. Здесь его приютил у себя Мирабо, затем герцог Конти, предоставивший ему замок Триэ, близ Жизора, где Руссо скрывался под именем Рену. Теперь, хотя и совсем без средств к существованию, Руссо находит в себе силы и желание продолжать работу над «Исповедью». Между 1767 и 1770 гг. Руссо ведет бродячую жизнь, тем не менее в Монкэне он занят второй половиной «Исповеди» – два года спустя после окончания первых шести книг, о чем он сам говорит в начале седьмой. В июне 1770 г. Руссо приезжает в Париж и поселяется на улице Плятриер (ныне улица Жан-Жака Руссо). Здесь он хочет внести некоторые изменения в текст «Исповеди»: например, перенести рассказ о своих злоключениях на острове Сен-Пьер в третью часть, куда должно было попасть также его путешествие в Англию. Но «Исповедь», как известно, осталась неоконченной; Руссо довел свою автобиографию лишь до 1765 г. Быть может, Руссо не в силах был больше взяться за перо по той причине, что избегал мучительных для него воспоминаний.

Между тем главная цель Руссо – разоблачение его противников (и действительных, и тех, кого он считал таковыми) не могла быть осуществлена, пока «Исповедь» составляла тайну ее автора. Летом 1770 г. Руссо предпринял публичные чтения рукописи в домах некоторых знатных лиц (у г-жи Надайак, графини д'Эгмон, у Дюссо, у маркиза Пезэ). Но чтения «Исповеди» вызвали в светском обществе недовольство, и полиция вскоре их запретила (после доноса г-жи д'Эпине). Все это потрясло и без того болезненно настроенного Руссо. Несколько лет спустя Руссо пишет два новых автобиографических сочинения: «Диалоги – Руссо судья Жан-Жака» (1775–1776) и «Прогулки одинокого мечтателя» (1777–1778); оба произведения были напечатаны после его смерти. Второе из них – лебединая песня Руссо. В «Диалогах» Руссо обсуждал с неким вымышленным французом свои недостатки и достоинства, защищая себя от наветов и упреков, которые щедро сыпались на него. Особенно возмущается Руссо тем, что его пристрастие к уединению толкуют как желчную мизантропию. Он доказывает, что мизантропы отнюдь не уединяются, а, напротив, живут среди людей и стараются постоянно причинять им зло, чего он делать не хочет. «Прогулки» – сочинение по настроению более спокойное, наполнено раздумьями на философские и моральные темы, о красоте природы, о прелести и мудрости уединения, раздумьями, навеянными улицами Парижа и его окрестностями. Руссо считал оба свои произведения дополнением к «Исповеди», но претендовать на это могут только «Прогулки».

В первых шести книгах «Исповеди» (от рождения до 1741 г.) преобладает оптимизм, граничащий с восторженным отношением к жизни, любопытством к людям, увлечение искусствами и науками. Руссо описывает свою жизнь в провинции, в деревне. Отдельные неудачи и разочарования не мешают ему воспринимать красоту объективного мира, а все отталкивающие стороны этого мира он научается относить за счет социального порядка, отклонившегося от природы и ее «естественных» законов. Вторая половина «Исповеди» (с 1742 по 1765 г.) преисполнена горечи, подозрительности, несмотря на отдельные светлые страницы. Здесь Руссо рассказывает о своем положении разночинца-литератора в столичном городе в период, когда его деятельность из стадии смутных надежд, брожения сил перешла в стадию зрелости, когда его трактаты возбудили ярость многочисленных врагов – одних из зависти к его таланту, других из ненависти к его идеям.

Решая вопрос о верности Руссо избранному им принципу – говорить только правду и о себе, и о других, – следует иметь в виду, что автор «Исповеди» находился уже на закате своей жизни и при всем желании не в силах был со всей точностью восстанавливать в памяти события прошлого. Сам Руссо не скрывает от читателей, что многое он успел позабыть и что ему приходится часто прибегать к помощи воображения. Ритм повествования «Исповеди» порой неровный: так, в первой книге описано шестнадцать лет жизни Руссо, во второй книге – всего один год и т. п. С чисто текстологической точки зрения «Исповедь» изобилует несовпадениями в разных редакциях рукописей, оправданием чему может служить тот факт, что при бесконечных своих переездах Руссо часто не имел при себе начатой рукописи; между отдельными стадиями работы над «Исповедью» случались порой длинные перерывы, и Руссо создавал новые варианты (отсюда три текста). Еще важнее учесть, что Руссо, обладавший необычайно эмоциональной натурой, не вполне свободен от известного субъективизма при оценке событий и людей, а это не могло не сказаться на отборе фактов, на смысле впечатлений, отраженных в «Исповеди». Особенно отрицательно проявилась эта черта характера Руссо там, где он касается философов Энциклопедии. Иногда бывает трудно различить грань, отделяющую несогласие Руссо с просветителями по линии мировоззрения, от болезненной раздражительности и мнительности, которые побуждают его подозревать невероятные козни с их стороны. Читатель, желающий понять все противоречия мысли и чувства Руссо, должен критически отнестись к этим страницам «Исповеди».

По одной «Исповеди», разумеется, невозможно написать биографию Руссо; эта книга слишком мозаична. Однако она и не претендует на то, чтобы служить полной хроникой событий его жизни. «Исповеди» придает единство не исчерпывающая полнота всех жизненных обстоятельств, связанных с личностью Руссо, а общая идея и самобытный колорит. В седьмой книге «Исповеди» Руссо разъяснил читателям свою задачу: она состоит в том, чтобы точно передать «историю его души». Художник слова, Руссо иногда сгущает краски, придавая своим описаниям напряженный драматизм; изображаемые им картины быта и нравов являются для него только поводом для лирических излияний. Показывая «всю правду своей природы» – даже ее «самые интимные и грязные лабиринты», Руссо всегда исходит из того, что «истина нравственная во сто раз больше заслуживает уважения, чем истина фактическая». Хулителям Руссо во все времена не удалось и не удастся дискредитировать основной тон «Исповеди» – страстное стремление к правде, и не только в отношении других, но прежде всего – самого себя. Именно поэтому на протяжении полутора столетий «Исповедь» Руссо не перестает привлекать читателей. Эта поистине неповторимая книга вызывает глубокий интерес не только своим автобиографическим материалом, но и смелым, тонким способом самоанализа, который так обогатил психологический арсенал классической литературы XIX–XX вв.

И. ВЕРЦМАН

Часть первая

Книга первая (1712–1728)

Intus et in cute[{1}].

Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я.

Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.

Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такою, какою ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека»[{2}].

Я родился в Женеве в 1712 году, от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен[{3}]. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара[{4}]. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения; детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по Трейлю;[{5}] в десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласием душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или, лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя; она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь; они поклялись в этом, и небо благословило их клятву.

Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца; но та соглашалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре.

Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться.

Мой дядя Бернар был инженером; он отправился служить в Империю{6}, и в Венгрии, под начальством принца Евгения{7}, отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при серале. В его отсутствие красота моей матери, ее ум, ее таланты[2] привлекли поклонников. Самым ревностным из них был г-н де Клозюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря со мною о ней{8}. Моей матери защитой служила не только добродетель, – она нежно любила мужа; она попросила его скорей вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения: я родился через десять месяцев, слабый и хворый. Я стоил жизни моей матери, и мое рождение было первым из моих несчастий.

Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него; когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятьям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне: «Жан-Жак, поговорим о твоей матери», я отвечал ему: «Значит, мы будем плакать, отец», и эти слова вызывали у него слезы. «Ах! – говорил он со стоном, – верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном?» Через сорок лет после ее смерти он скончался{9} на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.

Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их небо, они оставили мне только чувствительное сердце; оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни.

Я родился почти умирающим; было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы и который теперь иногда дает мне передышку только затем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца{10}, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и, в восемьдесят лет, ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетушка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей.

Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти.

Чувствовать я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу,

---

[2] Для скромного ее положения они были даже слишком блестящи, так как ее отец, священнослужитель, обожал ее и дал ей самое тщательное воспитание. Она рисовала, пела, аккомпанируя себе на теорбе{491}, была довольно начитанна и писала сносные стихи. Вот, например, что она сложила экспромтом во время отъезда брата и мужа, прогуливаясь со своей кузиной и двумя детьми, когда кто-то обратился к ней с замечанием об отсутствующих:Нам двое всех других милей.Мы их зовем в свои объятья.Любезней не сыскать друзей —Они для нас мужья и братья,Они отцы вон тех детей.

не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: «Идем спать. Я больше ребенок, чем ты».

В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг – и уже все перечувствовал. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было; но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические; ни опыт, ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них.

Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. «История церкви и империи» Лесюэра{11}, «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ{12}, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани{13}, «Метаморфозы» Овидия, Лабрюйер{14}, «Миры» Фонтенеля{15}, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе{16}. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспрестанно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самою сильною страстью которого была любовь к родине, – я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы{17}, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг.

У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии{18}. Он ни разу не написал. С тех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном.

Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков.

Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи – все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени.

Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке, – страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снедаемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального:

Тирсис, свирелью
Не зови меня под вяз
В поздний час, —
Ведь звонкой трелью
В селе ты выдал нас.
. . . . похмелью
. . . . греха
. . . . пастуха.
Горести влечет за собой веселье[3].

[3] Перевод стихотворных отрывков в тексте принадлежит А. Мушниковой.

Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее.

Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня.

Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с некиим господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода.

Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе{19}, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования.

Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть о ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл.

Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда. Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же; мы были одиноки, одного возраста, каждый из нас нуждался в товарище, разлучить нас – значило бы, в известном смысле, нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов, и мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонности

к Бернару наших воспитателей он в их присутствии имел некоторое преимущество передо мной, то, когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинался, я подсказывал ему; когда моя задача была решена, я помогал решать ему; а в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь{20}, как в Боссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать, никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может, единственный, с тех пор как существуют дети.

Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если б он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинался, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.

Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.

Так как мадемуазель Ламберсье любила нас, как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Лам-

берсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.

Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним, – мадемуазель Ламберсье, несомненно заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной, как с большим мальчиком.

Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.

Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.

До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.

Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастья, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.

Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомила меня, совершенно

невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения – все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.

Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.

Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.

Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастье? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.

Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня, – я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он прие-

хал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.

У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка, – так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.

Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень, – я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.

Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.

У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»[4]

И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, – мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его.

[4] Палач! (*лат.*)

И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем, и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им: все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей; мы уже не смотрели на них, как на богов, читающих в наших сердцах; мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными; мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и простоты, идущих прямо к сердцу; она казалась нам теперь пустынной и мрачной; она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям; мой дядя взял нас, и мы расстались с г-ном и с мадемуазель Ламберсье, пресыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке.

Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связно. Но с тех пор как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь, вытесняя все другие, и запечатлеваются в моей памяти в образах, очарование и сила которых растет с каждым днем; как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает, и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходивший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их. Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся. Я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном-единственном – при условии, что мне позволят рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие.

Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествия с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покатом лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда; но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье – только зрителем; и, признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил, как мать, а может быть, и больше.

О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке, выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете!

Возле двора, слева от ворот, была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, г-н Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно: оба питомца были восприемниками, и пока закапывали яму, мы держали дерево каждый одной рукой, распевая победные песни. Для поливки вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно

созерцая эту поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости, и мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем.

Для этого мы срезали черенок молодой ивы и посадили его на площадке, в восьми или десяти шагах от величественного орехового дерева. Мы не забыли также сделать углубление вокруг нашей ивы; трудность заключалась в том, чтобы наполнить это углубление, так как вода была далеко, а нам не позволяли за ней бегать. Между тем она была совершенно необходима для нашего черенка. В течение нескольких дней мы пускались на всевозможные хитрости, чтобы добывать воду; и нам это так хорошо удавалось, что мы вскоре увидели, как на иве набухают почки и распускаются маленькие листья, рост которых мы измеряли каждый час, уверенные, что ива, хотя и не достигавшая фута над землей, скоро будет давать нам тень.

Наше дерево, поглощая нас целиком, делало нас совершенно неспособными к прилежанию в учении; мы были как в бреду. Не понимая, что с нами творится, нам стали давать меньше воли, чем раньше, и мы уже предвидели приближение роковой минуты, когда наше дерево останется без воды, и приходили в отчаяние, ожидая, что оно засохнет и погибнет. Наконец нужда – мать изобретательности – подсказала нам способ спасти и себя, и дерево от верной гибели: он заключался в том, чтобы провести под землей канавку, которая тайно подводила бы к иве часть воды, предназначавшейся для поливки орехового дерева. Это предприятие, выполненное с увлечением, удалось, однако, не сразу. Мы сделали такой неудачный наклон, что вода совсем не текла, земля обваливалась и засыпала канавку, вход наполнялся грязью; все шло вкривь и вкось. Но мы не падали духом: Omnia vincit labor improbus[5].

Мы углубили и канавку, и наш бассейн, чтобы дать воде свободное течение; разрезали днища от ящиков на узкие дощечки, укрепили эти планочки – одни плашмя друг за другом, другие по обеим сторонам первых и под углом к ним, сделав из них треугольный желоб для нашего канала. При входе в него мы установили узкие щепочки, переплели их, и они, образуя нечто вроде решетки или сетки, задерживали грязь и камни, не закрывая прохода для воды. Мы заботливо прикрыли наше сооружение землей, хорошо утоптали ее; и в день, когда все было готово, обуреваемые надеждой и страхом, ждали часа поливки. После бесконечного ожидания этот час наконец настал; г-н Ламберсье, по обыкновению, пришел, чтобы присутствовать при этой операции, во время которой мы оба держались позади него, чтобы скрыть наше дерево, но он, по счастью, стоял к нему спиной.

Едва успели вылить первое ведро воды, как мы увидели, что она течет в наш бассейн. При этом зрелище благоразумие оставило нас, и мы так закричали от радости, что г-н Ламберсье обернулся; это было очень печально, потому что ему доставляло огромное удовольствие видеть, как хороша земля у его орехового дерева и как она жадно пьет воду. Увидя, что вода растекается на два бассейна, он, пораженный, в свою очередь испускает крик, озирается, замечает жульничество, резко приказывает принести себе заступ, наносит такой удар, что щепки от наших досок летят в воздух, и, крича во все горло: «Водопровод! Водопровод!» – сокрушает все безжалостными ударами, из которых каждый разил нас в самое сердце. В одно мгновенье доски, канал, бассейн, ива – все было разрушено, все было срыто, и во время этого ужасного разгрома не было произнесено ни одного слова, кроме восклицания, которое он повторял без конца. «Водопровод! – кричал он, уничтожая наше сооружение. – Водопровод! Водопровод!»

Подумают, что приключение имело плохие последствия для маленьких архитекторов. Ошибутся: все кончилось на этом. Г-н Ламберсье не сказал нам ни слова упрека, не смотрел на нас сердито и больше не говорил с нами об этом; мы даже услышали через некото-

[5] Бесчестный труд преодолеет все (*Вергилий*, Георгики, I, 144–145).

рое время, как он смеялся со своей сестрой во все горло, – потому что смех его был слышен издалека; и – что еще удивительней – мы сами, когда прошло первое потрясение, не были слишком огорчены. Мы посадили другое дерево в другом месте и, часто вспоминая катастрофу, погубившую первое дерево, повторяли с пафосом: «Водопровод! Водопровод!» До этого у меня временами бывали приступы гордости, когда я воображал себя Аристидом или Брутом. А здесь во мне впервые заговорило явное тщеславие. Построить собственными руками водопровод, заставить черенок соперничать с большим деревом казалось мне деянием, достойным высшей славы. В десять лет я судил об этом лучше, чем Цезарь в тридцать.

Мысль об этом ореховом дереве и маленькая история, с ним связанная, так хорошо сохранились у меня в памяти или снова возникли в ней, что одним из приятнейших для меня замыслов во время моего путешествия в Женеву, в 1754 году, было отправиться в Боссе, чтобы вновь увидеть памятники моих детских игр и особенно – милое ореховое дерево, которому в то время должно было исполниться уже треть века. Но меня непрерывно осаждали, я так мало мог располагать собой, что у меня не нашлось времени удовлетворить свое желание. Мало вероятно, чтобы такой случай когда-либо снова представился мне. Однако я не теряю ни желания, ни надежды и почти уверен, что, если когда-нибудь вернусь в эти дорогие места и найду мое милое ореховое дерево еще в живых, – я орошу его слезами.

По возвращении в Женеву я провел около трех лет у моего дяди, ожидая, когда решат, что со мною делать. Так как дядя предназначал своего сына в инженеры, он немного выучил его рисовать и познакомил с «Элементами» Эвклида. Я учился за компанию и пристрастился к занятиям, особенно к рисованию. Между тем обсуждали вопрос – сделать ли из меня часовщика, адвоката или священника. Я предпочитал стать священником, потому что говорить проповедь казалось мне прекрасным. Но доход от имения моей матери, который еще надо было поделить между мной и братом, был слишком мал, чтобы я мог продолжать учение. Мой возраст позволял не слишком спешить с выбором, и я оставался пока что у дяди, почти ничего не делая и не переставая платить, как и подобало, порядочную сумму за свое содержание.

Дядя, подобно моему отцу, был любителем удовольствий, но не умел подчиняться своим обязанностям, как это делал отец, и довольно мало заботился о нас. Моя тетка была женщина набожная, немного пиетистка{21} и больше любила распевать псалмы, чем заниматься нашим воспитанием. Нам была предоставлена почти полная свобода, которой мы, однако, никогда не злоупотребляли. Всегда неразлучные, мы довольствовались обществом друг друга; не имея охоты водиться с сорванцами нашего возраста, мы не переняли ни одной из разнузданных привычек, которые могла бы нам внушить праздность. Я даже не прав, изображая нас праздными, так как мы были ими менее чем когда-либо, и, что было особенным счастьем, – все забавы, которыми мы последовательно увлекались, удерживали нас обоих дома, так что у нас даже не было соблазна выйти на улицу. Мы мастерили клетки, дудки, воланы, барабаны, дома, лодочки, самострелы. Мы портили инструменты моего доброго старого деда, стараясь сделать, по его примеру, часы. Особенно же мы любили марать бумагу, рисовать, раскрашивать, расцвечивать, изводить краски. В Женеву приехал итальянский шарлатан по фамилии Гамба-Корта; раз мы пошли посмотреть на него и больше не захотели ходить. Но у него были марионетки, и мы принялись за изготовление марионеток; его марионетки разыгрывали нечто вроде комедий, и мы принялись сочинять комедии для наших. За неимением пищика мы подражали голосу Полишинеля горлом, разыгрывая эти прелестные комедии перед нашими несчастными добрыми родственниками, у которых хватало терпения смотреть их и слушать. Но после того как мой дядя Бернар прочитал в семейном кругу отличную проповедь своего сочинения, мы бросили комедии и принялись составлять проповеди. Сознаю, что все эти подробности не слишком интересны, но они показывают, насколько хорошо было наше первоначальное воспитание, если и в таком неж-

ном возрасте, предоставленные самим себе, мы никогда не пытались злоупотреблять своей свободой. Потребность в товарищах была у нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимися случаями приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти, даже не помышляя принять в них участие. Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам было достаточно быть вместе, чтобы самые простые забавы становились для нас наслаждением.

Видя нас неразлучными, на нас обратили внимание, тем более что мой двоюродный брат Бернар был очень высокого роста, а я – очень маленького, так что получалась довольно смешная пара. Его длинная, тонкая фигура, маленькое, как печеное яблоко, лицо, хилый вид, небрежная походка давали детям повод для насмешек. На местном наречии ему дали прозвище «Барна Бреданна»[{22}], и стоило нам выйти на улицу, мы только и слышали вокруг: «Барна Бреданна!» Он переносил это спокойней, чем я. Я сердился, лез в драку; а маленьким плутам только этого и надо было. Я бил и бывал битым. Мой бедный брат помогал мне как мог; но он был слаб: его сбивали с ног одним ударом кулака. Тогда я приходил в ярость. Однако, хотя мне и всыпали тумаков, предметом неприязни был не я, а «Барна Бреданна»; но я так ухудшил дело своим неукротимым бешенством, что вскоре мы решались выходить из дому только в часы занятий, боясь травли и преследования со стороны школьников.

Вот я уже защитник угнетенных. Чтобы стать рыцарем по всем правилам, мне недоставало только дамы, – у меня их оказалось две. Время от времени я отправлялся повидаться с отцом в Нион, маленький городок в кантоне Во, где он поселился. Моего отца очень любили, и это отражалось на сыне. Во время моего краткого пребывания у него меня угощали наперебой; некая г-жа де Вюльсон осыпала меня ласками, и в довершение всего дочь ее избрала меня своим кавалером. Понятно, что значит одиннадцатилетний кавалер для девушки двадцати двух лет. Все эти плутовки так любят выдвигать вперед маленьких кукол, чтобы прикрывать ими больших или заманивать последних игрою, которую они умеют сделать привлекательной! Что касается меня, то я не замечал никакого несоответствия между нею и мной и принял дело всерьез. Я предался всем сердцем – вернее, всей головою, так как был влюблен только головой, хоть и до безумия, – и мои восторги, волнения, неистовые вспышки гнева порождали сцены, от которых можно было умереть со смеху.

Мне известны два вида любви, очень определенных, очень реальных и не имеющих между собой почти ничего общего, хотя тот и другой пылки и оба не похожи на нежную дружбу. Вся моя жизнь разделилась между двумя этими видами любви, столь различными по природе, и порою я переживал их даже одновременно. Так, например, в тот период, о котором я говорю, увлекаясь мадемуазель де Вюльсон так открыто и деспотически, что не терпел, чтобы кто-либо из мужчин к ней приближался, я имел краткие, но довольно оживленные свидания с некоей маленькой мадемуазель Готон, во время которых она благосклонно брала на себя роль школьной учительницы, и это было все; но это «все» было действительно всем для меня и казалось мне высшим счастьем; и, уже понимая цену тайны, хотя и пользуясь ею как ребенок, я отплачивал ничего не подозревавшей мадемуазель де Вюльсон за то, что она так усердно пользовалась мною для прикрытия своих увлечений. Но, к моему великому огорчению, моя тайна была раскрыта, или, может быть, моя маленькая учительница не хранила ее так, как я, потому что нас не замедлили разлучить, и через некоторое время, после того как я вернулся в Женеву, я слышал, проходя через Кутанс, как девочки вполголоса кричали мне: «Готон тик-так Руссо».

Странным созданием, по правде говоря, была эта маленькая мадемуазель Готон. Она не была красива, но ее лицо трудно забыть, и я еще теперь вспоминаю его, даже слишком часто для старого безумца. В особенности глаза у нее были недетские, а также стан и манера держаться. У нее был милый, внушительный и гордый вид, очень подходящий для роли учительницы, что и вызвало у нас с ней первую мысль об этой игре. Но самым странным в ней

было сочетание смелости и сдержанности, которое трудно было понять. Она позволяла себе со мной самые большие вольности, никогда не допуская ничего подобного с моей стороны; она обращалась со мной буквально как с ребенком, и это заставляет меня думать, что она уже перестала быть им или, наоборот, еще оставалась им настолько, что видела лишь забаву в опасности, которой себя подвергала.

Я, если можно так выразиться, всецело принадлежал каждой из этих двух особ, и так безраздельно, что мне никогда не случалось в обществе одной из них думать о другой. Впрочем, не было ничего сходного в том чувстве, которое они вызывали во мне. Я провел бы всю жизнь с мадемуазель де Вюльсон, не помышляя ее покинуть, но, когда я приближался к ней, моя радость была спокойна, и я не ощущал волненья. Особенно любил я ее в большом обществе: шутки, поддразнивание, даже ревность привлекали, занимали меня; я гордился и торжествовал, видя, что она предпочитает меня взрослым соперникам, с которыми, казалось, обходится дурно. Меня мучили, но я любил это мучение. Похвала, одобрение, смех возбуждали и оживляли меня. Я горячился, острил; я пылал любовью на людях; с глазу на глаз я был бы натянут, холоден, быть может, скучал бы. Между тем я принимал в ней нежное участие; я страдал, когда она была больна; я отдал бы свое здоровье, чтобы она поправилась; и заметьте, что я по опыту прекрасно знал, что такое болезнь и что такое здоровье. Вдали от нее я думал о ней, мне недоставало ее; но ее ласки были приятны сердцу, а не чувствам. Близкое общение с ней было для меня безопасно; мое воображение требовало лишь того, что она мне давала; однако я не вынес бы, если бы видел, что она обращается с другими так же. Я любил ее, как брат, но ревновал, как любовник.

Я ревновал бы и маленькую Готон, как турок, как бешеный, как тигр, если б только мог представить себе, что с кем-нибудь другим она обращается, как со мной, – ведь это было милостью, о которой нужно просить на коленях. К мадемуазель де Вюльсон я подходил с живым удовольствием, но без смущенья, меж тем как при появлении маленькой Готон я больше уже ничего не видел; все чувства мои приходили в смятение. Я был близок с первой без всяких вольностей, а перед второй я столько же трепетал, сколько возбуждался, даже при самых больших вольностях. Думаю, что, если б я слишком долго оставался с ней, я не выжил бы: сердцебиение задушило бы меня. Обеим одинаково я боялся не угодить, но был услужливее с одной и покорней с другой. Ни за что на свете не хотел бы я рассердить мадемуазель де Вюльсон, но если бы маленькая Готон приказала мне броситься в огонь, думаю, что я тотчас же повиновался бы ей.

Моя любовь или, верней, мои встречи с маленькой Готон продолжались недолго, к счастью для нее и для меня. Мои отношения с мадемуазель де Вюльсон не были столь опасны, но и они кончились катастрофой, хотя продолжались дольше. Конец подобных отношений, наверно, всегда имеет несколько романтический вид и дает повод к пересудам. Хотя чувство мое к мадемуазель де Вюльсон было менее пылко, в нем, может быть, было больше привязанности. Мы никогда не расставались без слез, и трудно представить себе, в какую гнетущую пустоту ввергла меня разлука с ней. Я мог говорить и думать только о ней; мои сожаления были неподдельны и живы; но я подозреваю, что, в сущности, не все эти страстные сожаления относились к ней, и, хотя я сам не замечал этого, развлечения, центром которых она являлась, играли тут большую роль. Чтобы умерить горечь разлуки, мы писали друг другу письма, пафос которых был способен сокрушить скалы. Наконец, к моему величайшему торжеству, она не выдержала и приехала повидаться со мной в Женеву. Тут голова моя окончательно закружилась; я был точно пьян и безумствовал в течение двух дней, которые она провела здесь. Когда она уезжала, я хотел броситься вслед за ней вплавь по озеру и долго оглашал воздух своими криками. Через неделю она прислала мне конфет и перчатки, что показалось бы мне очень любезным, не узнай я в то же время, что она вышла замуж и что

путешествие, которым ей угодно было почтить меня, имело целью покупку подвенечного платья.

Я не стану описывать свое бешенство: оно понятно само собой. В своем благородном гневе я поклялся никогда не встречаться с коварной, так как не в состоянии был представить себе более ужасного для нее наказания. Но она от этого не умерла; двадцать лет спустя, приехав навестить отца и катаясь с ним по озеру, я спросил, кто эти дамы в лодке невдалеке от нас. «Как! – сказал мне отец, улыбаясь. – Разве сердце тебе ничего не подсказывает? Это твоя прежняя любовь: госпожа Кристен, мадемуазель де Вюльсон». Я вздрогнул, услышав это почти забытое имя, но попросил лодочников повернуть в сторону; хотя мне теперь и легко было отомстить, я не думал, чтобы стоило труда нарушать клятву и возобновлять ссору двадцатилетней давности с женщиной сорока лет.

Так тратилось на пустяки самое драгоценное время моего детства, прежде чем решена была моя участь. После долгого обсуждения моих природных склонностей остановились наконец на том, к чему я меньше всего был способен, и устроили меня к Массерону, городскому протоколисту, чтобы я научился под его руководством полезному ремеслу *судебного крючкотвора,* как говорил г-н Бернар. Прозвище это очень не нравилось мне; надежда заработать кучу денег неблагородным путем мало льстила моему гордому нраву; занятие казалось мне скучным, невыносимым; кропотливость работы, подчинение окончательно меня от него отвратили, и я всегда входил в канцелярию с тайным ужасом, возраставшим день ото дня. Массерон, со своей стороны не слишком довольный мною, относился ко мне презрительно, непрерывно упрекал за вялость, глупость и повторял ежедневно, что дядя уверял его, *будто я знаю, будто я знаю,* а на деле я ровно ничего не знаю; что ему обещали славного мальчика, а дали просто осла. Наконец я был с позором изгнан из канцелярии за неспособность, и конторщики Массерона решили, что я гожусь только на то, чтобы орудовать напильником.

Когда, таким образом, мое призвание определилось, меня отдали в учение, – однако не к часовщику, а к граверу. Презрение протоколиста очень меня удручало, и я безропотно повиновался. Мой хозяин Дюкоммен был молодой человек, грубый и резкий; и ему в очень короткий срок удалось омрачить мое радостное детство, огрубить мой ласковый, живой характер и низвести меня в умственном отношении, как я уже был низведен и в своем положении, до уровня настоящего подмастерья. Латинский язык, античный мир, история – все было забыто надолго; я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. Мой отец, когда я навещал его, более не находил во мне своего кумира; я перестал быть для дам любезным Жан-Жаком и сам так хорошо понимал, что г-н и мадемуазель Ламберсье не узнали бы во мне своего ученика, что мне стыдно было показаться им на глаза, и с тех пор я больше не видал их. Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как оно совершилось очень быстро, без малейшего затруднения, и, верно, никогда такой скороспелый Цезарь не превращался так быстро в Ларидона{23}.

Ремесло само по себе нравилось мне: я очень любил рисовать, работа гравировальным резцом меня занимала; а так как в часовом деле от гравера не требуется слишком многого, я надеялся скоро достигнуть в этом искусстве совершенства. Быть может, я добился б этого, если бы грубость моего хозяина и чрезвычайное притеснение не отвратили меня от работы. Я крал у нее время для занятий того же рода, но имевших для меня прелесть свободы. Я гравировал нечто вроде медалей, которые должны были служить мне и моим товарищам рыцарскими орденами. Застав меня за этой контрабандной работой, хозяин исколотил меня, говоря, что я упражняюсь в ремесле фальшивомонетчика, так как на наших медалях был герб республики. Могу поклясться, что у меня не было ни малейшего представления о фаль-

шивых деньгах и очень слабое о настоящих. Я лучше знал, как делаются римские ассы{24}, чем наши монеты в три су.

Тирания хозяина в конце концов сделала работу, которую я мог бы полюбить, невыносимой и породила во мне пороки, которые могли бы стать для меня ненавистными: ложь, безделье, воровство. Ничто так ясно не показало мне разницу между сыновней зависимостью и рабским подчинением, как воспоминание о происшедших во мне за это время переменах. От природы робкий и застенчивый, я из всех недостатков всего более был далек от бесстыдства. Но ведь я наслаждался разумной свободой, которая с тех пор постепенно ограничивалась и наконец совсем исчезла. Я был смел у своего отца, свободен у г-на Ламберсье, скромен у своего дяди; я сделался запуганным у своего хозяина и стал потерянным ребенком. Привыкнув быть равным со старшими в образе жизни, не знать удовольствий, в которых мне нельзя было бы принять участия, не видеть кушаний, в которых не было бы и моей доли, не испытывать желаний, которых я не мог бы высказать, и, наконец, переносить все движенья сердца на уста, – во что я должен был превратиться в доме, где не смел раскрыть рот, где надо было вставать из-за обеденного стола после первого блюда, уходить из комнаты, как только мне там нечего было делать; где, постоянно прикованный к работе, я видел возможность удовольствия только для других, а для себя самого – одни лишения; где зрелище свободы хозяина и мастеров увеличивало тяжесть моей зависимости; где во время разговоров о том, что я знал лучше всего, я не смел и заикнуться; где, наконец, все, что я видел, становилось предметом алчных желаний моего сердца единственно потому, что я был всего лишен. Прощай, довольство, веселье, удачные словечки, которые, бывало, нередко избавляли меня от наказанья! Не могу вспомнить без смеха, как дома меня однажды вечером за какую-то шалость отправили спать без ужина; проходя через кухню с одним жалким кусочком хлеба, я увидел вращающееся на вертеле жаркое и услышал его запах. Все мои близкие сидели вокруг очага; нужно было проститься с каждым. Когда я обошел всех, поглядывая одним глазом на жаркое, имевшее такой заманчивый вид и такой вкусный запах, я не мог удержаться, чтобы не попрощаться и с ним, и сказал ему жалобным тоном: «Прощай, жаркое!» Эта наивная выходка показалась всем такой забавной, что меня оставили ужинать. Может быть, она имела бы успех и у моего хозяина, но, уж конечно, здесь она не пришла бы мне в голову, а если бы и пришла, я не решился бы привести ее в исполнение.

Вот так привык я таить свои желания, скрываться, притворствовать, лгать и, наконец, красть – склонность, раньше не свойственная мне, но от которой с тех пор я не мог полностью излечиться. Желание и невозможность его удовлетворить всегда ведут к этому. Вот почему все лакеи – воры, и все ремесленные ученики тоже вынуждены воровать; но последние, вырастая, оказавшись в положении равенства и спокойствия, при котором все, что они видят, доступно им, теряют эту постыдную склонность. Не достигнув подобного благополучия, я не мог извлечь из него и эту пользу.

Почти всегда именно хорошие, но плохо направленные чувства заставляют детей делать первый шаг к дурному. Несмотря на постоянные лишения и соблазны, я прожил у хозяина больше года, не решаясь что-нибудь взять хотя бы из съестного. Первое мое воровство было делом услужливости, но оно открыло дорогу другим кражам, не имевшим столь похвальной цели.

У моего хозяина был компаньон по имени Верра; дом его находился по соседству, при нем был довольно обширный сад, где разводили прекрасную спаржу. Г-н Верра нуждался в деньгах, и ему пришла в голову мысль украсть у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы устроить несколько хороших завтраков. Будучи не слишком проворным и не желая подвергаться опасности, он выбрал для этого похода меня. После нескольких предварительных любезностей, подкупивших меня тем скорей, что я не знал их цели, он предложил мне совершить эту кражу, и с таким видом, будто мысль о ней пришла ему внезапно. Я долго

отказывался – он настаивал. Я никогда не мог противиться ласкам – я сдался. Я ходил каждое утро собирать самую лучшую спаржу и относил ее на Молар{25}, где какая-нибудь тетенька, хорошо понимая, что спаржу я только что украл, говорила мне это, чтобы купить ее подешевле. В страхе я брал то, что ей угодно было дать мне, и относил деньги г-ну Верра. Они быстро превращались в завтрак, который я же и добывал и который он разделял с одним из своих товарищей; что же касается меня, то, довольный какими-нибудь объедками, я не притрагивался даже к их вину.

Проделки эти продолжались несколько дней, и ни разу мне не пришло в голову обокрасть вора – взыскать десятину с доходов г-на Верра от спаржи. Я был необыкновенно честным жуликом; единственным моим побуждением было услужить тому, кто заставлял меня это делать. Между тем, если б меня поймали, сколько побоев, сколько оскорблений, какое жестокое обращение пришлось бы мне перенести; тогда как негодяю, отрекись он от меня, поверили бы на слово, и я был бы наказан вдвойне за то, что осмелился его обвинять, ибо он был компаньоном, а я только учеником. Вот как во всех состояниях за сильного всегда отвечает бессильный.

Так я узнал, что воровать совсем не столь ужасно, как мне казалось, и вскоре так хорошо воспользовался этим знанием, что все, чего бы я ни пожелал, будучи мне доступным, не было в безопасности. У моего хозяина кормили не так уж плохо, и умеренность была мне тяжела только потому, что я видел, как она плохо соблюдалась другими. Обычай заставлять детей вставать из-за стола, когда подают самые соблазнительные для них блюда, кажется мне лучшим способом делать из них лакомок и воришек. Вскоре я стал тем и другим; и обычно я чувствовал себя при этом прекрасно, – плохо было лишь тогда, когда меня накрывали.

Воспоминание, до сих пор заставляющее меня и дрожать, и смеяться, – это охота за яблоками, дорого мне обошедшаяся. Яблоки находились в углу кладовой, в которую свет проникал из кухни через решетчатое окно, прорезанное высоко в стене. Однажды, оставшись один дома, я залез на ларь, чтобы заглянуть в сад Гесперид{26} и полюбоваться на драгоценные плоды, к которым не мог приблизиться. Я пошел за вертелом, чтобы попробовать, не достанет ли он до яблок; он оказался слишком коротким. Я удлинил его при помощи другого, маленького вертела, употреблявшегося для мелкой дичи, так как мой хозяин любил охоту. Несколько раз я безуспешно просовывал вертел и наконец с восторгом почувствовал, что тащу яблоко. Я тянул очень осторожно: яблоко уже коснулось окна; я готов был схватить его. Кто опишет мое горе! Яблоко было слишком велико и не проходило в отверстие. Сколько изобретательности пустил я в ход, чтобы протащить его! Надо было найти подпорку, чтобы удержать вертел в нужном положении, нож, достаточно длинный, чтобы разрезать яблоко, дранку, чтобы помешать ему упасть. Затратив немало ловкости и времени, я все-таки разрезал яблоко, надеясь, что вытяну один кусок за другим; но как только яблоко распалось на половинки, обе они упали в кладовую. Сострадательный читатель, посочувствуйте моей скорби.

Я не пал духом, но потерял много времени. Боясь, что меня накроют, я решил отложить свою затею до завтра, надеясь, что мне больше посчастливится, и, вернувшись в мастерскую, принялся за работу так спокойно, будто ничего не сделал, не помышляя о двух нескромных, обличавших меня свидетелях в кладовой.

На другой день, улучив удобный момент, я делаю новую попытку. Лезу на свои подмостки, удлиняю вертел, нацеливаюсь, вот уже готов наколоть яблоко… К несчастью, дракон не дремал. Дверь кладовой отворяется – мой хозяин выходит оттуда, скрещивает на груди руки, смотрит на меня и говорит: «Смелей!..» Перо выпадает у меня из рук…

Вскоре, привыкнув к плохому обращению, я сделался менее чувствителен к нему, и оно стало казаться мне в конце концов чем-то вроде естественного возмездия за воровство, – возмездия, дававшего мне право продолжать свои проделки. Вместо того чтобы оглянуться

назад и вспомнить о наказании, я глядел вперед и видел мщение. Я считал, что, раз меня бьют, как воришку, это дает мне право воровать. Я находил, что воровство и побои связаны друг с другом, составляют в некотором роде одно целое, и что, исполняя ту часть, которая зависит от меня, я могу предоставить другую заботам хозяина. Усвоив эту идею, я стал воровать спокойнее, чем раньше. Я говорил себе: «Что же случится в конце концов? Меня побьют. Пускай: я для этого и создан».

Я люблю поесть, но не жаден; падок на все вкусное, но не лакомка. Слишком много других склонностей отвлекают меня от этого. Я уделял внимание своему желудку, только когда сердце мое было свободно; но это случалось в моей жизни так редко, что у меня не было времени мечтать о лакомых кусочках. Вот почему я недолго ограничивался воровством съедобного и вскоре стал брать все, что меня соблазняло; и если я не сделался настоящим вором, то лишь потому, что деньги меня никогда особенно не прельщали. В мастерской у моего хозяина было особое отделение, запиравшееся на ключ; я нашел способ открывать дверь и закрывать ее так, что это было незаметно. Там я брал прекрасные инструменты хозяина, его лучшие рисунки, его оттиски, все, что вызывало во мне зависть и что он так старательно прятал от меня. В сущности, эти кражи были очень невинны, так как все, что я таскал у хозяина, употреблялось мною для работы на него же; но я был в восторге, имея эти пустяки в своем распоряжении; мне казалось, что я краду его талант вместе с его произведениями. Впрочем, там был золотой и серебряный лом, мелкие драгоценности, ценные вещи, деньги. Я считал себя богачом, когда у меня в кармане было четыре-пять су; тем не менее я не только был очень далек от желания притронуться к какому-нибудь из этих предметов, но даже не помню, чтобы бросил на них алчный взгляд. Я смотрел на это скорей с ужасом, чем с удовольствием. Думаю, что отвращение к краже денег и всего, что их приносит, было заложено во мне воспитанием. Сюда примешивалось смутное опасение бесчестья, тюрьмы, наказания, виселицы, которое заставило бы меня содрогнуться, поддайся я искушению, тогда как мои проделки казались мне только шалостями и действительно не были ничем иным. Все это могло кончиться лишь порядочной трепкой со стороны хозяина, и я уже заранее был готов к ней.

Но, повторяю еще раз, мое вожделение не шло настолько далеко, чтобы была необходимость его превозмогать; мне нечего было подавлять в себе. Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить.

У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновенье, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я – воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает; пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень; боязнь и стыд до того порабощают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских. Если надо действовать, я не знаю, что делать; если надо говорить, не знаю, что сказать; если на меня смотрят, я смущаюсь. Когда я охвачен страстью, я иной раз нахожу, что сказать, но в обычных разговорах не нахожу ничего, совершенно ничего; они несносны для меня уже тем, что я обязан говорить.

Прибавьте к этому, что ни одна из моих преобладающих склонностей не обращена на то, что можно купить. Мне нужны только чистые наслаждения, а деньги отравляют все. Я люблю, например, хороший стол, но, не вынося ни чопорности избранного общества, ни кабацкого беспутства, я могу предаваться этому удовольствию лишь с приятелем, ибо, когда

я один, мое воображение занято другими предметами и я уже не ощущаю никакого удовольствия от еды. Порою моя разгоревшаяся кровь требует женщин, но взволнованное сердце еще больше требует любви. Женщины, купленные за деньги, потеряли бы для меня всякое очарование; сомневаюсь даже, чтоб я мог пользоваться ими. И так бывает со всеми доступными мне удовольствиями: раз они не достались мне даром, я нахожу их бессмысленными. Я люблю лишь те блага, которые принадлежат только первому, умеющему их вкусить.

Никогда деньги не казались мне таким драгоценным предметом, каким их считают. Больше того, они никогда не казались мне большим удобством: сами по себе они ни на что не годны, их надо сначала превратить во что-нибудь, чтобы извлечь из них удовольствие; надо покупать, торговаться, нередко быть обманутым, дорого заплатить и получить плохой товар. Я хочу получить нечто, хорошее по своему качеству, и уверен, что за деньги получу плохое. Я плачу дорого за свежее яйцо, а оно лежалое; за зрелый плод – он зелен; за девушку – она порочна. Я люблю хорошее вино, но где его достать? У виноторговца? Как бы я ни изощрялся, он может отравить меня. Я хочу во что бы то ни стало достать хорошего вина. Сколько забот, сколько затруднений! Надо иметь друзей, корреспондентов, давать поручения, писать, ездить, возвращаться, ждать и нередко под конец быть опять обманутым. Сколько хлопот с деньгами! Я боюсь их больше, чем люблю хорошее вино.

Тысячу раз во время моего ученичества и позже я выходил из дому с намерением купить себе какое-нибудь лакомство. Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком; мне уже кажется, что они пересмеиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговки фруктами, искоса поглядывая на прекрасные груши, – их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня; торговец, который знает меня, стоит перед своей лавкой; вижу вдалеке девушку, не наша ли это служанка? Мои близорукие глаза вводят меня в тысячи заблуждений. Я принимаю всех проходящих за своих знакомых; все меня смущает, всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие; желание мое растет, но растет и стыд, и я возвращаюсь наконец как дурак, снедаемый желанием, имея в кармане деньги, для того чтобы удовлетворить его, и не осмелившись ничего купить.

Мне пришлось бы войти в самые скучные подробности, если б я захотел рассказать об употреблении, которое делали из моих денег я сам или другие, о затруднениях, стыде, отвращении, неудобствах, всякого рода неприятностях, которые я всегда при этом испытывал. По мере того как читатель, углубляясь в мою жизнь, будет знакомиться с моим характером, он сам все это почувствует и без моих объяснений.

Поняв это, он без труда поймет и одно из моих мнимых противоречий: соединение почти скаредной скупости с величайшим презрением к деньгам. Деньги для меня – имущество настолько неудобное, что мне даже в голову никогда не приходит желать их, раз их у меня нет, но когда они у меня имеются, я долго берегу их, не тратя, так как не знаю, на что их употребить; но только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь ими, что кошелек мой опустеет, прежде чем я это замечу. Впрочем, не ищите у меня мании скупых: тратить деньги напоказ. Как раз наоборот, я трачу их тайно и для собственного удовольствия; далекий от того, чтобы кичиться своими тратами, я скрываю их. Я так хорошо понимаю, что деньги созданы не для меня, что почти стыжусь иметь их, а тем более пользоваться ими. Если б у меня когда-нибудь был определенный и достаточный для жизни доход, мне не грозила бы опасность стать скупцом, твердо уверен в этом; я тратил бы весь свой доход, не стараясь его увеличить; но необеспеченность держит меня в страхе. Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость, избавляют меня от необходимости изощряться, чтобы добыть их вновь, а необходимость эта всегда приводила меня в ужас; я берегу их из боязни, что они придут к концу. Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; деньги, за кото-

рыми гонишься, – орудие рабства. Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь приобрести.

Мое бескорыстие, следовательно, не что иное, как леность: удовольствие иметь не стоит труда приобретения; и моя расточительность опять-таки не что иное, как леность: когда представляется случай приятно истратить, трудно не воспользоваться им как можно лучше. Меня меньше прельщают деньги, чем вещи, потому что между деньгами и желанием обладать вещью всегда есть посредствующее звено, тогда как вещью можно наслаждаться непосредственно. Я вижу вещь, она соблазняет меня; если я вижу только средство ее приобрести, она перестает меня соблазнять. Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь, таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спросу. Но ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет тому назад украл семь ливров и десять су.

Случай заслуживает того, чтобы рассказать о нем, так как представляет собой такое изумительное сочетание наглости и глупости, что мне самому было бы трудно поверить, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне.

Это было в Париже. Я прогуливался с г-ном Франкеем{27} в Пале-Рояле{28} около пяти часов дня. Он вынимает часы, смотрит и говорит мне: «Пойдем в Оперу». Я соглашаюсь, мы отправляемся. Он берет два билета в амфитеатр, один из них дает мне и первый проходит к своему месту; я следую за ним. Входя, я замечаю, что в дверях толпится народ. Осматриваюсь и вижу, что все стоят; я решаю, что легко мог бы затеряться в этой толпе или по крайней мере заставить г-на Франкея подумать это. Выхожу, беру свою контрамарку и, получив за нее деньги, ухожу, не помышляя о том, что, не успею я дойти до двери, все уже будут сидеть и г-н Франкей отлично увидит, что меня нет.

Ничто так не противоречит моему характеру, как это происшествие, и я отмечаю его, чтобы показать, что бывают минуты какого-то бреда, когда не следует судить о человеке по его поступку. Собственно говоря, тут были украдены не деньги, а их употребление. Здесь было не столько воровство, сколько подлость.

Я не покончил бы с этими подробностями, если б захотел проследить все пути, по которым в годы своего ученичества спускался с высоты героизма к низости негодяя. Тем не менее, усваивая пороки своей среды, я был не в состоянии до конца примириться с ней. Мне были скучны развлечения товарищей, а когда чрезмерные притеснения отвратили меня и от работы, мне наскучило все. Ко мне вернулась склонность к чтению, давно уже мною утраченная. Чтение, которому я предавался в ущерб работе, стало новым преступлением и навлекло на меня новые наказания. Склонность эта, раздраженная противодействием, превратилась в страсть, а вскоре в исступление. Известная Латрибю, дававшая книги напрокат, снабжала меня ими, и самыми разнообразными. Хорошие и плохие – все шли в дело; я совершенно не выбирал: я читал все с одинаковой жадностью. Читал за рабочим столом, читал на ходу, когда меня посылали с поручением, читал в уборной, в самозабвении проводя там целые часы; голова моя шла кругом от чтения; я только и делал, что читал. Хозяин подкарауливал меня, настигал, бил, отнимал книги. Сколько их было разорвано, сожжено, выброшено за окно! Сколько сочинений осталось у Латрибю разрозненными! Когда мне нечем было платить, я отдавал ей в залог свои рубашки, галстуки, старое платье; три су, которые я получал по воскресеньям, регулярно относились к ней.

Вот, скажут мне, пригодились и деньги. Правда, но это произошло, когда чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Вот еще одна из моих характерных особенностей. В самый разгар какого-нибудь увлечения безделица отвлекает меня, изменяет мои привычки, привязывает, наконец возбуждает во мне страсть; и тогда уже все забыто, я думаю

только о новом предмете, занимающем меня. Сердце мое билось – так хотелось мне поскорее перелистать новую книгу, лежавшую у меня в кармане; я вынимал ее, как только оставался один, и уже вовсе не стремился рыться в каморке хозяина. Мне даже трудно представить себе, чтобы я стал воровать и в том случае, если 6 у меня появились страсти, требующие более крупных издержек. Живя только настоящим, я по самому складу своей натуры не мог бы прибегнуть к этому способу для устройства своих дел в будущем. Латрибю оказывала мне кредит; задатки были маленькие; и когда книга была у меня в кармане, я больше ни о чем не думал. Деньги, которые я получал обычным путем, тоже переходили в руки этой женщины; а когда она становилась настойчивой, у меня всегда под рукой были мои собственные пожитки. Воровать на всякий случай – для этого надо быть слишком предусмотрительным, а воровать ради уплаты долга даже не представлялось соблазном.

От брани, побоев, чтения украдкой и без разбора я сделался молчаливым и угрюмым; рассудок мой начал мутиться, и я стал жить, как настоящий бирюк. Однако если пристрастие к чтению не уберегло меня от пошлых и безвкусных книг, то счастье уберегло от книг грязных и непристойных. Не то чтобы Латрибю – женщина во всех отношениях очень покладистая – совестилась снабжать меня ими, но для того, чтобы придать им большую цену, она называла их мне с таким таинственным видом, что именно поэтому я отказывался от них, – столько же из отвращения, сколько от стыда. И случай так благоприятствовал моему стыдливому характеру, что до тридцатилетнего возраста я ни разу не заглянул ни в одну из тех опасных книг, в которых прекрасная светская дама видит лишь то неудобство, что их можно читать только тайком.

Менее чем в год я исчерпал скудную лавку Латрибю и тогда почувствовал весь ужас ничем не заполненного досуга. Я излечился от наклонностей, свойственных шалуну-ребенку, благодаря пристрастию к чтению и даже благодаря самому чтению, которое, хотя и шло без выбора и было часто плохим, все же пробудило в моем сердце чувства более благородные, чем те, что порождало в нем мое зависимое положение; но я смотрел с отвращением на все, что было мне доступно, чувствовал слишком недоступным все, что меня привлекало, и не видел ничего, что могло бы усладить мое сердце. Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия, и я был так далек от этого, как будто у меня не было пола; уже возмужалый и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождавшуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приноравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц, видеть себя в положениях, наиболее отвечающих моим вкусам, и тогда воображаемое состояние, в которое я наконец приходил, заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда. В дальнейшем не раз обнаружатся странные результаты этого умонастроения: с виду столь мизантропическое и мрачное, оно в действительности проистекает от слишком благожелательного, слишком любящего, слишком нежного сердца, которое, за отсутствием существ, похожих на него, вынуждено питаться воображением. Пока достаточно отметить источник и первую причину той склонности, что изменила все мои страсти, сдерживала их при помощи их самих и вместе с тем всегда делала меня ленивым в осуществлении своих желаний именно потому, что они были слишком пламенны.

Так достиг я шестнадцати лет, беспокойный, недовольный всем и собой, без расположения к своему ремеслу, без развлечений, свойственных юности, снедаемый смутными желаниями, плача без причины, вздыхая неведомо отчего и нежно лелея свои химеры, ибо

вокруг я не видел ничего равноценного им. По воскресеньям, после проповеди, товарищи приходили за мной и звали порезвиться с ними. Я с удовольствием скрылся бы от них, если б мог, но, вовлеченный в игру, играл с большей горячностью и заходил дальше всякого другого, так что меня трудно было утихомирить и сдержать. Таков был мой характер всегда. Во время прогулок за город я постоянно шел впереди всех и не думал о возвращении, если только другие не думали об этом за меня. Из-за этого я два раза попался: городские ворота оказались запертыми, прежде чем я успел вернуться. Можно себе представить, как досталось мне на другой день; а во второй раз мне был обещан такой прием, если я опоздаю и в третий, что я решил больше не рисковать. Но этот третий раз, которого я так боялся, все-таки наступил. Моя бдительность была обманута одним проклятым капитаном по фамилии Минутоли, который, когда бывал в карауле, закрывал ворота всегда на полчаса раньше других. Я возвращался с двумя товарищами. В полумиле от города слышу вечернюю зорю; ускоряю шаг; слышу, как бьют в барабан; пускаюсь бежать со всех ног; прибегаю запыхавшись, весь в поту; мое сердце колотится; издали вижу часовых, – я бегу, кричу сдавленным голосом. Но слишком поздно. Мне оставалось еще сделать двадцать шагов, как подняли первый мост. Я содрогнулся, увидев в воздухе его ужасные рога – мрачное и роковое знамение неотвратимой судьбы, которую открывало передо мной это мгновенье.

В первом порыве горя я бросился на откос, кусая землю. Мои товарищи, смеясь над своим несчастьем, тотчас же приняли решенье. Я тоже принял свое, но оно было иным. Тут же на месте я поклялся никогда больше не возвращаться к хозяину; и когда на следующий день, в час открытия ворот, мои товарищи вернулись в город, я простился с ними навсегда, прося их только предупредить потихоньку моего двоюродного брата Бернара о принятом мною решении и о месте, где он мог бы еще раз повидаться со мной.

С тех пор как я поступил в учение, я, живя отдельно от Бернара, виделся с ним реже; в течение некоторого времени мы с ним встречались по воскресеньям; но постепенно у каждого из нас появились свои интересы, и мы почти перестали встречаться. Я убежден, что его мать много содействовала этому. Он был мальчиком из «верхнего квартала», а я – жалкий подмастерье и всего-навсего мальчишка из Сен-Жерве{29}. Мы не были равны, несмотря на родство; часто видеться со мной значило ронять себя. Однако связь между нами прекратилась не совсем; по природе он был добрый малый и, вопреки наставлениям матери, следовал иногда своему сердцу. Узнав о моем решении, он прибежал не для того, чтобы разубедить меня или разделить мою участь, а чтобы облегчить положение беглеца небольшими подарками, так как с моими собственными средствами я не мог бы уйти далеко. Он подарил мне, между прочим, маленькую шпагу; она мне страшно понравилась, и я не снимал ее до самого Турина, где только необходимость заставила меня с ней расстаться и где я, как говорится, оплакал ее горькими слезами. Чем больше я размышляю о его поведении в ту решительную минуту, тем более убеждаюсь, что он следовал наставлениям своей матери, а быть может, и отца, так как совершенно невозможно, чтобы, действуя по собственному почину, он не сделал никаких попыток удержать меня или не соблазнился мыслью последовать за мной; но этого не было. Он скорей поддерживал меня в моем намерении уйти, чем отговаривал от него; потом, увидев, что я окончательно решился, покинул меня без лишних слез. Мы никогда не писали друг другу и не виделись. Это жаль: он был добр по природе; мы были созданы, чтобы любить друг друга.

Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая, естественно, ожидала бы меня, попади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие, достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ограничило бы мое честолю-

бие до конца жизни и, давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей, удержало бы меня в моей среде, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением, достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое, – я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле.

Между местом, в котором я находился бы, и любым воздушным замком для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило мне больше всего, но как раз таким и было бы мое положение. В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетавшую в себе труд по вкусу и общество по сердцу. Я был бы хорошим христианином, хорошим гражданином, хорошим отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, во всех отношениях хорошим человеком. Я любил бы свое ремесло, быть может, прославил бы его и, прожив жизнь незаметную и простую, но ровную и тихую, спокойно умер бы на руках у своих близких. Скоро забытый, конечно, я был бы по крайней мере оплакиваем то время, пока меня помнили бы.

Вместо этого… какую картину я нарисую! Ах! не будем предвосхищать несчастий моей жизни; и без того слишком много буду я занимать читателей этой грустной темой.

Книга вторая
(1728)

Насколько печальной казалась мне минута, когда ужас внушил мне мысль о бегстве, настолько же очаровательной показалась мне та, когда я привел свою мысль в исполнение. Еще ребенком покинуть родину, близких, лишиться опоры, поддержки, бросить ученье на полдороге, не зная ремесла настолько, чтобы существовать при помощи него, обречь себя всем ужасам нищеты, не видя никакого средства выйти из нее; в возрасте слабом и невинном подвергнуться всем искушениям порока и отчаяния, идти вдаль навстречу страданиям, заблуждениям, козням, рабству и смерти, подпасть под иго, гораздо более тяжкое, чем то, которого я не смог вынести, – вот на что я решился, вот будущность, в лицо которой я должен был бы глядеть. Как не похожа она была на ту, что я рисовал себе! Чувство независимости, казалось, мной достигнутой, было единственным, которое овладело мной. Свободный и сам себе господин, я воображал, что могу все сделать, всего добиться: стоит мне только броситься вперед, и я взлечу и буду парить в воздухе. Уверенно вступал я в широкий мир; я полагал, что мои достоинства наполнят его; на каждом шагу я буду встречать пиры, сокровища, приключения, друзей, готовых мне служить, любовниц, озабоченных тем, чтобы нравиться мне; стоит мне появиться, и вся вселенная займется мною; правда, не вся целиком: от этого я некоторым образом ее избавлял – столько мне не было нужно. С меня было довольно милого сердцу общества, – до остального мне не было дела. Моя умеренность рисовала мне тесный, но восхитительно подобранный круг, где, как я был уверен, мне предстояло царствовать. Честолюбие мое довольствовалось одним только замком; любимец сеньора и его супруги, возлюбленный дочери, друг ее брата и покровитель соседей – я был доволен; большего я не требовал.

В ожидании этого скромного будущего я бродил несколько дней по окрестностям города, ночуя у знакомых крестьян, встречавших меня радушнее, чем это сделали бы городские жители. Они принимали меня, давали мне кров, кормили и были слишком простодушны, чтобы видеть в этом заслугу. Нельзя было назвать это милостыней: они не выказывали при этом достаточного чувства превосходства.

Путешествуя и скитаясь по свету, я дошел до Конфиньона в Савойе{30}, находящегося в двух лье от Женевы. Местного кюре звали де Понвером. Это имя, знаменитое в истории Швейцарской республики, поразило меня. Мне любопытно было поглядеть, что представляют собой потомки дворян Ложки{31}. Я пошел к де Понверу; он принял меня хорошо, говорил со мной о женевской ереси, об авторитете святой матери-церкви и угостил меня обедом. Я не мог ничего возразить против рассуждений, кончившихся таким образом, и решил, что кюре, у которых можно так плотно пообедать, во всяком случае стоят наших пасторов. Конечно, я был ученее де Понвера, несмотря на все его дворянство; но я был слишком добрым сотрапезником, чтобы быть неуступчивым богословом, а вино из Франжи{32}, показавшееся мне превосходным, так победоносно аргументировало в пользу кюре, что я покраснел бы от стыда, если б мне довелось заткнуть рот столь гостеприимному хозяину. Итак, я уступал или по крайней мере не возражал прямо. При виде моих уловок меня сочли бы двоедушным. Но это было бы ошибкой: я был только любезен, об этом не может быть спору. Лесть или, скорей, уступчивость, – не всегда порок, – чаще она – добродетель, особенно в молодых людях. Доброта, с которой человек относится к нам, привлекает нас к нему; ему уступают не для того, чтоб обмануть, а чтобы не огорчить, не отплатить злом за добро. Какую выгоду преследовал де Понвер, принимая меня, угощая и стремясь убедить? Никакой, кроме моей собственной. Мое юное сердце подсказывало мне это. Я был полон признательности и ува-

жения к доброму священнику. Я чувствовал свое превосходство, но не хотел показывать его в отплату за гостеприимство. В этом не было никаких лицемерных побуждений; я совсем не собирался менять религию и, очень далекий от того, чтобы быстро свыкнуться с мыслью об этом, я смотрел на нее с ужасом, который должен был надолго удалить ее от меня; мне только не хотелось огорчать тех, кто меня ласкал с этой целью; я хотел поддерживать в них хорошее расположение ко мне и подавать им надежду на успех, прикидываясь менее вооруженным, чем был на самом деле. Моя вина в этом случае очень походила на кокетство честных женщин, которые иногда, чтобы добиться своих целей, умеют, ничего не позволяя и ничего не обещая, возбуждать большие надежды, чем намерены оправдать.

Разум, сострадание, любовь к порядку, конечно, требовали, чтобы, отнюдь не потакая моему безумству, меня удержали от грозившей мне гибели, возвратив меня в семью. Вот что сделал или постарался бы сделать всякий действительно добродетельный человек. Но хотя де Понвер был человек хороший, он, конечно, не был человеком добродетельным; напротив, будучи набожным, он не знал иной добродетели, как поклонение иконам и чтение молитв, – это был особого рода миссионер, который не мог представить себе ничего лучшего для дела веры, как писать пасквили на женевских пасторов. Далекий от мысли отправить меня к отцу, он воспользовался моим желанием быть подальше от Женевы, чтобы поставить меня в такое положение, при котором я уже не мог бы туда вернуться, если б даже и захотел. Можно было побиться об заклад, что при этом я должен был либо погибнуть от нищеты, либо превратиться в негодяя. Но об этом он совсем не беспокоился: он мечтал спасти мою душу от ереси и возвратить ее в лоно церкви. Честный я человек или бездельник, какое ему было до этого дело, раз я хожу к обедне! Впрочем, не надо думать, что такой образ мыслей присущ только католикам: он свойствен всем догматическим религиям, где главное значение придается не делам, а вере.

«Бог призывает вас, – сказал мне де Понвер, – идите в Аннеси;{33} там вы найдете добрую, милосердную даму, которой благодеяния короля дают возможность отвращать другие души от заблуждения, уже отвергнутого ею самой». Речь шла о г-же де Варане, новообращенной, которую священники принуждали делиться со всяким торгующим своей верой сбродом пенсией в две тысячи франков, назначенной ей сардинским королем. Я чувствовал себя униженным тем, что нуждался в доброй и милосердной даме. Я хотел, чтобы мне предоставляли все необходимое, но не из милосердия. Тем не менее, побуждаемый де Понвером, голодом, следовавшим за мной по пятам, а также приятной перспективой совершить путешествие, имея при этом определенную цель, я принимаю решение, хотя и с трудом, и отправляюсь в Аннеси. Я мог бы свободно дойти туда за один день, но я не спешил и потратил на это три дня. Как только я замечал справа или слева замок, я тотчас же направлялся туда в поисках приключения, которое, как я был уверен, меня там ожидало. Я не смел войти или постучаться, потому что был очень робок, но я пел под окном, самым лучшим на вид, и, порядком охрипнув, очень удивлялся, не заметив ни дам, ни девиц, которых привлекла бы красота моего голоса или прелесть моих песен; а я ведь знал прекрасные песни, которым выучился у товарищей, и восхитительно пел их.

Наконец я прихожу – вижу г-жу де Варане. Эта эпоха моей жизни определила мой характер, и я не решусь обойти ее молчанием. Мне шел шестнадцатый год. Я не был, что называется, красивым малым и не отличался высоким ростом, но был хорошо сложен, у меня были красивые, стройные ноги, непринужденный вид, выразительное лицо, маленький рот, черные брови и волосы; глаза, небольшие и даже впалые, горели огнем, пламеневшим в моей крови. К сожалению, ничего этого я не знал, и за всю мою жизнь мне случилось подумать о своей наружности лишь тогда, когда было уже поздно рассчитывать на нее. Застенчивость, свойственная моему возрасту, усугублялась робостью любящей натуры, которую постоянно волновала боязнь не понравиться. К тому же, хотя мой ум был довольно развит, я никогда не

бывал в обществе, не имел хороших манер, а мои познания, нисколько не заменяя их, только смущали меня, заставляя сильнее чувствовать отсутствие воспитания.

Итак, опасаясь, что мой вид не говорит в мою пользу, я решил показать свои достоинства иначе и составил прекрасное письмо в ораторском стиле, где, мешая книжные фразы с выражениями подмастерья, излил все свое красноречие, чтобы привлечь расположение г-жи де Варане. Я вложил письмо г-на де Понвера в свое и отправился на эту страшную аудиенцию. Я не застал г-жи до Варане; мне сказали, что она только что пошла в церковь. Было вербное воскресенье 1729 года. Я бегу за ней; вижу ее, догоняю, обращаюсь к ней… Как не помнить мне это место! С тех пор я часто орошал его слезами и покрывал поцелуями! Отчего не могу я окружить это счастливое место золотой балюстрадой! Отчего не могу привлечь к нему поклонение всей земли! Всякий, кто привык чтить памятники человеческого спасения, должен был бы приближаться к нему не иначе как на коленях.

То был проход позади ее дома, между ручьем по правую руку, отделявшим его от сада, и стеной, ограждавшей двор по левую, – проход, который вел через потайную дверь в церковь кордельеров. Собираясь войти в эту церковь, г-жа де Варане оборачивается на мой голос. Что сталось тогда со мной! Я представлял себе хмурую, набожную старуху: добрая дама, о которой толковал де Понвер, на мой взгляд, не могла быть никем иным. Я вижу исполненное прелести лицо, прекрасные, полные нежности голубые глаза, ослепительный цвет кожи, очертания обольстительной груди. Ничто не ускользнуло от быстрого взгляда молодого прозелита, так как я тотчас же обратился в ее веру, убежденный, что религия, проповедуемая подобными миссионерами, может вести только в рай. Улыбаясь, она берет письмо, которое я подаю ей дрожащей рукой, распечатывает его, бросает беглый взгляд на письмо де Понвера, возвращается к моему, прочитывает его все до конца и хочет перечесть еще раз, но лакей напоминает, что пора идти в церковь. «Ах, дитя мое, – говорит она голосом, который привел меня в трепет, – вы так молоды и уже скитаетесь по свету; право, это жаль». Потом, не дожидаясь моего ответа, прибавляет: «Ступайте ко мне и ждите меня; скажите, чтобы вам дали позавтракать; после обедни я приду побеседовать с вами».

Луиза-Элеонора де Варане была урожденная девица де ла Тур де Пиль из старинной дворянской фамилии в Веве, городе кантона Во. Очень молодой она вышла замуж за г-на де Варане из дома де Луа, старшего сына г-на Вильярдена из Лозанны. Этот брак, оказавшийся бездетным, был не слишком удачным, и г-жа де Варане, под влиянием какого-то семейного огорчения, решила уйти от мужа и воспользовалась для этого пребыванием короля Виктора-Амедея в Эвиане;{34} переправившись через озеро, она бросилась к ногам этого государя, оставив, таким образом, семью и родину по легкомыслию, довольно сходному с моим и которое ей тоже пришлось впоследствии оплакивать. Король, любивший представляться ревностным католиком, принял ее под свое покровительство, назначил ей пенсию в тысячу пятьсот пьемонтских ливров{35}, что было много для такого бережливого монарха, и, заметив, что вследствие такого радушного приема его стали считать влюбленным в г-жу де Варане, отправил ее под охраной своих гвардейцев в Аннеси, где она под духовным руководством Мишеля-Габриэля де Берне, епископа женевского, отреклась от прежней веры в монастыре визитандинок!

Г-жа де Варане жила в Аннеси уже пять или шесть лет, когда я впервые увидал ее, и ей было тогда двадцать восемь, так как она родилась вместе с веком. Она одарена была той красотой, которая сохраняется долго, потому что заключается более в выражении, нежели в чертах, и эта красота находилась еще в первом своем расцвете. У нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим, пепельные волосы редкой красоты, которые она причесывала небрежно, что придавало ей особую привлекательность. Она была маленького роста, даже приземиста и чуть корената, но не без-

образно; невозможно было найти более прекрасную голову, более прекрасную грудь, более прекрасные плечи и более прекрасные руки.

Воспитание ее было очень беспорядочно; подобно мне, она лишилась матери с самого рождения и, усваивая знания, – безразлично, откуда бы они ни исходили, – кое-чему научилась у гувернантки, кое-чему у своего отца, кое-чему у учителей и очень многому у любовников, особенно у одного из них, некоего де Тавеля, который, обладая вкусом и познаниями, украсил ими любимую женщину. Но слишком разнообразные познания вредили друг другу, а неуменье их упорядочить помешало ей развить природную остроту ума. Так, располагая некоторыми сведениями по философии и физике, она все же переняла от своего отца вкус к практической медицине{36} и алхимии: приготовляла эликсиры, тинктуры, бальзамы, минеральные порошки и считала, что обладает секретами. Шарлатаны, пользуясь ее слабостью, завладели ею, подчинили ее своим замыслам, разорили и, если можно так выразиться, растворили в химических печах и лекарствах ее ум, ее таланты, ее прелесть, которые могли бы быть отрадой самого избранного общества.

Низкие мошенники воспользовались ее беспорядочным образованием, чтобы ложно направить ее ум, но ее превосходное сердце выдержало испытание и навсегда осталось неизменным: ее любящий и кроткий характер, ее сострадательность, ее неисчерпаемая доброта, ее нрав, веселый, открытый, искренний, никогда не изменялись; и даже с приближением старости, среди нищеты, болезней, разных бедствий, ясность ее прекрасной души сохранила ей до конца жизни всю безмятежность лучших дней.

Ее заблуждения происходили от неисчерпаемой потребности действовать, ищущей непрестанного применения. Не к женским интригам стремилась она, а к предприятиям, которые нужно было создавать и направлять. Она была рождена для великих дел. На ее месте г-жа де Лонгвиль{37} только подняла бы сумятицу, а она на месте г-жи де Лонгвиль управляла бы государством. Ее таланты пропадали зря, и то самое, что в других обстоятельствах создало бы ей славу, – при том положении, которое она занимала, привело ее к гибели. В вопросах, ей доступных, она всегда создавала обширные планы и старалась поставить дело на широкую ногу. Поэтому, употребляя средства, соразмерные скорее ее намерениям, чем силам, она терпела неудачу по вине других; а когда ее проект не удавался, она разорялась там, где другие почти ничего не потеряли бы. Эта страсть к деловым предприятиям, навлекшая на нее столько несчастий, принесла ей по крайней мере одну пользу: помешала ей остаться в монастырском уединении до конца дней, к чему ее склоняли. Однообразная и простая жизнь монахинь, их мелочная болтовня в приемной не могли удовлетворить столь деятельный ум, строивший каждый день новые планы и нуждавшийся в свободе, чтобы отдаться им. Добрый епископ Берне, не обладая умом Франциска Сальского{38}, во многих отношениях был похож на него; и г-жа де Варане, которую он называл своей дочерью и которая походила на г-жу де Шанталь во многом, могла бы стать похожей на нее и своим уходом от мира, если бы природные наклонности не отвратили ее от монастырской праздности. Не по недостатку усердия эта милая женщина не предалась мелочным обрядам благочестия, что, казалось бы, так подобало новообращенной, живущей под руководством прелата. Каковы бы ни были причины, побудившие ее переменить религию, она искренне исповедовала свою новую веру. Она могла раскаиваться в совершенной ошибке, но у нее не было желания ее исправить. Она не только умерла доброй католичкой, она была ею в жизни от чистого сердца; и я, уверенный, что читал в тайниках ее души, смею утверждать, что единственно из отвращения к ханжеству она не выказывала своей набожности публично: ее благочестие было слишком глубоким, ей не было нужды выставлять его напоказ. Но здесь не место распространяться о ее принципах; у меня еще будут поводы говорить о них.

Пусть те, кто отрицает симпатию душ, объяснят, если могут, каким образом с первой встречи, с первого слова, с первого взгляда г-жа де Варане внушила мне не только самую пылкую привязанность, но и полное доверие, которое никогда не было обмануто. Предположим, что мое чувство к ней было действительно любовью, – это покажется по меньшей мере сомнительным всякому, кто проследит историю наших отношений, – но каким образом эта страсть с самого ее зарождения сопровождалась чувствами, которые она менее всего способна возбуждать: душевным спокойствием, ясностью, чувством твердости и уверенности; каким образом, встретив впервые женщину изящную, прелестную, ослепительную, даму более высокого положения, чем мое, подобную которой я никогда не встречал, приближаясь к той, чье внимание определяло в некоторой степени мою судьбу, – каким образом, говорю я, несмотря на все это, я сразу же почувствовал себя так свободно, так непринужденно, словно я был совершенно уверен, что понравлюсь ей? Как могло случиться, что не было у меня ни минуты замешательства, застенчивости, робости? От природы стыдливый, смущающийся, никогда не видевший светских людей, каким образом с первого же дня, с первого же мгновения усвоил я с ней то простое обращение, тот нежный язык, тот дружеский тон, которые остались такими же и через десять лет, когда самая интимная близость сделала все это вполне естественным? Существует ли любовь, – не говорю без желаний: они у меня были, – но без тревоги, без ревности? Не стараемся ли мы по крайней мере узнать от предмета страсти, любимы ли мы им? Но мне ни разу за всю жизнь не пришло в голову спросить ее об этом – это было бы все равно, как если бы я задал себе вопрос, люблю ли я самого себя; и она никогда не старалась выяснить, как я отношусь к ней. Несомненно, было что-то необычное в моих чувствах к этой очаровательной женщине, и впоследствии читатели найдут в них такие странности, каких не ожидают.

Вопрос был в том, как поступить со мной; и, чтобы на досуге поговорить об этом, она оставила меня обедать. В моей жизни это был первый обед, когда я так мало ел, и даже горничная, прислуживавшая за столом, сказала, что впервые видит путешественника моего возраста и склада с таким отсутствием аппетита. Замечание это, не повредив мне в глазах ее госпожи, полностью могло быть отнесено к обедавшему с нами толстому мужлану, который в одиночку сожрал обед, достаточный для шестерых. Что касается меня, я был в таком восхищении, что не мог есть. Мое сердце питалось совершенно новым для меня чувством, овладевшим всем моим существом; я потерял способность думать о чем-либо другом.

Г-жа де Варане захотела узнать подробности моей незатейливой истории; во время рассказа ко мне вернулся весь жар, утраченный мною у моего хозяина-гравера. Чем больше располагал я в свою пользу эту превосходную душу, тем более сожалела она о той участи, которой я готов был подвергнуться. Ее нежное участие проявлялось в выражении лица, во взгляде, в жестах. Она не смела уговаривать меня вернуться в Женеву: в ее положении это было бы преступным оскорблением католичества, а она хорошо знала, как за ней следили и как взвешивали все ее слова. Но она говорила таким трогательным тоном об огорчении моего отца, что нельзя было сомневаться в ее одобрении, если бы я вернулся его утешить. Сама того не подозревая, она говорила против самой себя: решение мое было уже принято, как я, кажется, уже сказал, а чем красноречивее, убедительнее становились ее речи, тем больше проникали они в мое сердце, тем менее мог я решиться покинуть ее. Я чувствовал, что, вернувшись в Женеву, воздвигну почти непреодолимую преграду между нею и собой, если только не повторю вновь уже сделанного мною шага. Следовательно, лучше было вовсе не отступать от него. И я не отступил. Г-жа де Варане, видя бесполезность своих усилий, не стала доводить их до того, чтобы компрометировать себя, но сказала мне, со взглядом, полным сочувствия: «Бедняжка, ты должен идти, куда призывает тебя господь, но, когда станешь взрослым, ты вспомнишь обо мне». Думаю, она сама не предполагала, как жестоко исполнится ее предсказание.

Затруднения оставались в полной силе. Как просуществовать в такие молодые годы на чужбине? Пройдя обучение едва ли до половины, я знал свое ремесло далеко не достаточно. А если б даже и знал его, то не мог бы просуществовать на него в Савойе – стране, слишком бедной для процветания искусств. Мужлан, обедавший за нас двоих, почувствовал необходимость дать отдых своим челюстям и сделал нам тогда предложение, которое, по его словам, шло от неба, хотя, судя по последствиям, оно шло скорее с противоположной стороны; это предложение заключалось в том, чтобы я отправился в Турин и прожил там некоторое время в приюте для новообращенных, пользуясь, по его выражению, земными и духовными благами, а затем, принятый в лоно церкви, получил бы при помощи сострадательных душ подходящее место. «Что касается расходов на путешествие, – продолжал наш собеседник, – то его высокопреподобие монсеньор епископ, конечно, не откажет в поддержке, если сударыня (г-жа де Варане) попросит его сделать это святое дело; а г-жа баронесса, которая так сострадательна, – прибавил он, наклоняясь над своей тарелкой, – не замедлит, конечно, помочь со своей стороны».

Вся эта благотворительность показалась мне очень тяжелой; сердце мое сжалось, я не проронил ни слова; г-жа де Варане, не приняв этого проекта с тем пылом, с каким он был предложен, удовольствовалась замечанием, что каждый должен способствовать доброму делу соразмерно со своими возможностями и что она поговорит с монсеньором. Но этот дьявол в человеческом образе, боясь, что она будет говорить не так, как ему желательно, и преследуя свой интерес, побежал предупредить священников; он так ловко настроил этих добрых пастырей, что когда г-жа де Варане, опасаясь за меня, захотела поговорить об этом путешествии с епископом, оказалось, что все уже устроено, и он тут же вручил ей небольшую сумму, предназначенную для моих путевых издержек. Она не осмелилась настаивать, чтобы я остался: я приближался к тому возрасту, когда женщине ее лет было неприлично удерживать молодого человека при себе.

Мое путешествие было, таким образом, подготовлено лицами, которые обо мне заботились; мне оставалось только подчиниться, что я и сделал без особого неудовольствия. Хотя Турин был дальше Женевы, я считал, что, будучи столицей, он поддерживает с Аннеси сношения более тесные, чем город другого государства и другой религии; кроме того, отправляясь туда из повиновения г-же де Варане, я считал, что как бы продолжаю жить под ее руководством; это было больше, чем жить с ней по соседству. Наконец перспектива большого путешествия отвечала моей мании к бродяжничеству, уже тогда начавшей проявляться. Мне казалось заманчивым перейти горы в моем возрасте и подняться над моими товарищами на всю высоту Альп. Видеть новую страну – искушение, от которого женевец не может отказаться. Я дал согласие. Мой мужлан должен был отправиться через два дня со своей женой. Я был им вверен и поручен. Им передали мой кошелек, наполненный г-жой де Варане, и сверх того она тайком дала мне немного денег, сопроводив этот дар обильными наставлениями; и в страстную среду мы отправились.

На другой день после моего ухода из Аннеси туда явился мой отец, следовавший за мной по пятам с некиим Ривалем, своим другом, таким же часовщиком, как и он, человеком умным и даже остроумным, сочинявшим стихи лучше Ламотта{39} и говорившим почти так же хорошо, как он; кроме того, человеком абсолютной честности, но литературное дарование которого оказалось без применения и имело лишь тот результат, что один из его сыновей стал актером.

Друзья повидали г-жу де Варане и удовольствовались тем, что поплакали вместе с ней над моей участью, вместо того чтобы следовать за мной и нагнать меня, что им было очень легко сделать, так как они ехали на лошади, а я шел пешком. Та же история вышла и с моим дядей Бернаром. Он прибыл в Конфиньон и, узнав, что я уже в Аннеси, вернулся в Женеву. Казалось, мои близкие сговорились с моей звездой, чтобы предоставить меня судьбе, ожи-

давшей меня. Мой брат пропал вследствие подобной же небрежности, и так основательно, что никто никогда не узнал, что с ним сталось.

Отец мой был не только человеком вполне порядочным: это был человек непоколебимой честности; он наделен был душою сильной, способной породить великие добродетели; сверх того, он был отличным отцом, особенно для меня. Он любил меня очень нежно, но любил также удовольствия, а с тех пор как я стал жить вдали от него, другие интересы немного охладили его отцовскую привязанность. В Нионе он снова женился, жена его была уже не в таком возрасте, чтобы дать мне братьев, но у нее были родственники; и это создавало новую семью, новую обстановку, новый строй жизни, отвлекавший от частых воспоминаний обо мне. Мой отец старел, и у него не было никаких средств для поддержки своей старости. Мне с братом досталось от матери кое-какое имущество, доход с которого должен был идти отцу, пока мы находились в отсутствии. Эта мысль не вставала перед ним прямо и не мешала исполнению его долга, но действовала скрытно, незаметно для него самого и порой сдерживала его рвение, иначе он действовал бы более решительно. Вот почему, думается мне, добравшись до Аннеси по моим следам, отец не последовал за мной в Шамбери{40}, где настиг бы меня, в чем в глубине души был уверен. Вот почему опять-таки, когда я после своего бегства часто приезжал к нему, он расточал мне отеческие ласки, но не делал больших усилий, чтобы удержать меня.

Нежность и добродетели отца были мне хорошо известны, и такое его поведение заставило меня поразмыслить о самом себе, и это помогло мне сохранить чистоту сердца. Я вывел отсюда великое нравственное правило – единственное, быть может, которое применил на деле: избегать таких положений, которые ставят наши обязанности в противоречие с нашими интересами и заставляют видеть наше счастье в чужом несчастье, – ибо в подобных положениях, как бы ни была искрения любовь к добродетели, рано или поздно всякий делается менее стойким, сам того не замечая, и становится несправедливым и дурным на деле, не переставая оставаться справедливым и добрым в душе.

Это правило, крепко запечатленное в глубине моего сердца и осуществляемое мною – хотя и с некоторым запозданием – во всем моем поведении, принадлежит к числу тех, которые придают мне на людях вид самый странный и глупый, особенно среди моих знакомых. Меня обвиняли в желании быть оригинальным и не поступать, как другие. А на самом деле я вовсе не думал ни о том, чтобы поступать, как другие, ни о том, чтобы поступать иначе, чем они. Я искренне желал поступать хорошо. Я изо всех сил старался избегать положений, в которых мои интересы были бы противоположны интересам другого лица и оттого внушали бы мне тайное, хотя и невольное желание зла этому человеку.

Два года тому назад милорд маршал хотел включить меня в свое завещание{41}. Я воспротивился этому изо всех сил. Я объяснил ему, что ни за что на свете не желал бы быть упомянутым в чьем бы то ни было завещании, а тем более в его собственном. Он сдался; теперь он хочет назначить мне пожизненную пенсию, и я не противлюсь этому. Скажут, что я выигрываю от такой перемены, – это возможно. Но, мой благодетель и отец! Если я, к несчастью, переживу вас, то буду знать, что, потеряв вас, я потерял все и ничего не выиграл.

Вот, по-моему, хорошая философия, единственно подобающая человеческому сердцу. С каждым днем я все больше и больше проникаюсь сознанием, что она глубоко основательна; и во всех последних своих сочинениях я рассматривал ее на разные лады, но легкомысленная публика не заметила ее там. Если я проживу достаточно, чтобы, закончив это сочинение, взяться за другое, я предполагаю в продолжение к «Эмилю»{42} дать такой прекрасный и убедительный пример этого правила, что мой читатель будет вынужден обратить на него внимание. Но для путешественника довольно размышлений: пора продолжать путь.

Я совершил его приятнее, чем предполагал, и мой деревенщина оказался не таким неотесанным, как можно было ожидать по его виду. Это был человек в летах, с заплетенными в косу черными седеющими волосами, с осанкой гренадера, с громким голосом и довольно веселый; он хорошо шагал, еще лучше поглощал еду; он занимался всевозможными ремеслами, потому что ни одного не знал как следует. Кажется, он предложил устроить в Аннеси какую-то фабрику. Г-жа де Варане не преминула присоединиться к этому проекту, и вот теперь, чтобы заручиться согласием министра, он отправлялся на чужой счет в Турин. Этот человек, все время вертясь среди священников и делая вид, что готов им услужить, умел ловко интриговать; он перенял от них особый набожный жаргон и пользовался им постоянно, воображая себя великим проповедником. Он даже знал латинский отрывок из Библии, причем получалось так, будто он знает их тысячу, так как повторял его тысячу раз в день. Он редко нуждался в деньгах, когда знал, что они имеются в кошельке у другого; впрочем, он был скорее хитрец, чем плут, и, произнося свои плоские поучения тоном вербовщика, походил на отшельника Петра{43}, который проповедует крестовый поход, опоясавшись саблей.

Его супруга, г-жа Сабран, была довольно добрая женщина, более спокойная днем, чем ночью. Так как я всегда спал с ними в одной комнате, то ее бурная бессонница часто будила меня, – она будила бы меня еще чаще, если б я понимал ее причину. Но я даже не подозревал, в чем дело, – по этой части я был так глуп, что всю заботу о моем обучении пришлось взять на себя самой природе.

Я весело шагал со своим набожным проводником и его резвой подругой. Ни одно происшествие не омрачало моего пути, и телесно и душевно я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Молодой, сильный, полный здоровья, спокойствия, уверенности в себе и в других, я находился в том кратком, но драгоценном периоде жизни, когда ее выступающая из берегов полнота, так сказать, расширяет наше существо при помощи всех наших ощущений и украшает в наших глазах всю природу прелестью нашего существования. Мое сладкое волнение имело предмет, что делало его менее бесцельным и давало направление моему воображению. Я смотрел на себя как на создание, ученика, друга, почти возлюбленного г-жи де Варане. Ее приятные речи, ее милые ласки, нежное участие, которое она, видимо, приняла во мне, ее очаровательные взгляды, казавшиеся мне полными любви, потому что они вызывали ее во мне, – все это давало пищу моим мыслям в пути и порождало восхитительные мечтанья. Ни малейшая боязнь, ни малейшее сомнение в своей судьбе не смущали этих мечтаний. Отправить меня в Турин – это значило, на мой взгляд, принять на себя обязанность дать мне средства к жизни, прилично устроить меня там. Мне больше не надо было хлопотать о себе, – другие приняли заботу об этом на себя. Итак, я шел налегке, освобожденный от этого груза; юные желания, обольстительные надежды, блестящие планы наполняли мою душу. Все, что я видел вокруг, казалось мне порукой моего близкого счастья. В каждом доме грезилась мне сельская пирушка, в полях – веселые игры, у рек и озер – купанье, прогулки, рыбная ловля, на деревьях – чудесные плоды, под их тенью – страстные свиданья, на горах – чаны с молоком и сливками; очаровательный досуг, мир, простота, наслаждение брести сам не зная куда. Наконец все, что ни попадалось мне на глаза, дарило моему сердцу какую-то радость и наслаждение. Величие, разнообразие, подлинная красота всего окружающего делали это очарование достойным разума; даже тщеславие имело здесь свою долю. Таким молодым отправиться в Италию, увидеть столько стран, перейти Альпы по стопам Ганнибала – казалось мне славой выше моего возраста. Прибавьте ко всему этому частые и удобные остановки, большой аппетит и возможность его удовлетворить; ибо, говоря по правде, это мне было нетрудно, так как сравнительно с обедом г-на Сабрана мой обед был очень скромен.

Не помню, чтобы когда-либо в течение всей моей жизни у меня был период, столь же чуждый всяких забот и огорчений, как семь-восемь дней, потраченных на это путешествие;

тем более что шаг г-жи Сабран, по которому нам приходилось равняться, превратил это путешествие в длительную прогулку. Воспоминание об этом пути оставило во мне живейшую любовь ко всему, что с ним было связано, особенно же к горам и к самим переходам. Я путешествовал пешком только в мои счастливые дни, и всегда с наслаждением. Вскоре обязанности, дела, необходимость брать с собою вещи принудили меня изображать из себя барина и нанимать экипаж; снедающие сердце заботы, хлопоты, тревоги уселись туда рядом со мной; и с тех пор, вместо того чтобы, как в прежних моих путешествиях, чувствовать удовольствие от самого передвижения, я уже испытывал только желание поскорее прибыть на место. Я долго искал в Париже двух товарищей, которые, разделяя мою склонность, согласились бы пожертвовать каждый по пятьдесят луидоров из своего кошелька и по одному году жизни, чтобы вместе со мной обойти пешком Италию в сопровождении слуги, который заменял бы экипаж и нес бы наши спальные мешки. Многие, казалось, приходили в восторг от этого проекта, но в глубине души считали его просто воздушным замком, о котором только говорят, вовсе не собираясь осуществить свой замысел на деле. Помню, что, говоря с увлечением об этом проекте Дидро и Гримму, я наконец вдохновил их. Я думал, что на этот раз дело сделано; но все свелось к решению ограничиться путешествием на бумаге, причем Гримм не нашел ничего более забавного, как толкнуть Дидро на всякие богохульства, а меня бросить вместо него в объятия инквизиции.

Мое сожаление по поводу слишком быстрого прихода в Турин умерялось удовольствием видеть большой город и надеждой, что скоро я займу там достойное место, так как угар честолюбия начал уже кружить мне голову; я уже смотрел на себя, как на человека, стоящего несравненно выше своего прежнего положения подмастерья, – не предвидя того, что скоро я опущусь значительно ниже.

Прежде чем продолжать повествование, я должен извиниться и оправдаться перед читателем, ибо я вошел в мелочные подробности, в которые буду входить и в дальнейшем, хотя они не представляют для него никакого интереса. Чтобы осуществить задуманное мной – то есть показать людям всего себя целиком, – надо сделать так, чтобы ничто, меня касающееся, не осталось для читателя неясным или скрытым. Надо, чтобы я беспрестанно был у него перед глазами, чтобы он следовал за мной во всех заблуждениях моего сердца, проникал во все закоулки моей жизни, чтобы он ни на минуту не терял меня из виду; в противном случае я боюсь, что, найдя в моем рассказе малейший пропуск, малейший пробел и спрашивая себя: «Что же он делал в это время?» – читатель станет обвинять меня, будто я не хотел говорить все. Я дал человеческому коварству довольно пищи своими рассказами, чтобы еще увеличивать ее своим молчанием.

Мой небольшой денежный запас исчез: я проболтался, и мои спутники не упустили случая воспользоваться этим. Г-жа Сабран нашла средства выманить у меня все, вплоть до небольшой посеребренной ленточки, подаренной мне г-жой де Варане для маленькой шпаги. Этой ленточки мне было жаль больше всего; да и шпага осталась бы в их руках, если б я не заупрямился. В дороге они добросовестно содержали меня, но зато ничего мне не оставили. Я пришел в Турин без одежды, без денег, без белья, возлагая исключительно на свои собственные заслуги всю честь завоевания тех успехов, которые ждали меня впереди.

У меня были письма, я отнес их, и меня тотчас отвели в убежище для новообращенных, чтобы наставить там в той религии, за которую я получал свое пропитание. При входе я увидел тяжелую дверь с железными засовами, и лишь только я вошел, ее заперли на двойной поворот ключа. Такое начало показалось мне более внушительным, чем приятным, но не успел я над этим задуматься, как меня уже ввели в довольно обширную комнату. Там я вместо всякой мебели увидел в самой глубине деревянный алтарь с возвышающимся над ним распятием, а вокруг четыре или пять, тоже деревянных, стульев, которые казались натертыми воском, – так они лоснились от долгого употребления.

В этом зале для собраний находилось четверо или пятеро ужасных бандитов, моих товарищей по обучению, походивших скорее на воинов сатаны, чем на людей, взыскующих стать детьми божьими. Двое из этих негодяев, выдававшие себя то за евреев, то за мавров, признались мне, что проводят свою жизнь в странствиях по Испании и Италии и переходят в христианскую веру всюду, где это выгодно. Потом открылась другая железная дверь, которая разделяла на две части большой балкон, возвышающийся над двором. Вошли наши новообращенные сестры, которые, подобно мне, были на пути к возрождению не посредством крещения, а посредством торжественного отречения. Это были отъявленные распутницы, самые отвратительные потаскухи, какие когда-либо оскверняли своим непотребством лоно церкви господней. Только одна из них показалась мне хорошенькой и довольно привлекательной. Она была приблизительно моих лет, может быть – на год или на два старше. У нее были плутовские глаза, и они встречались иногда с моими. Это внушало мне желание с ней познакомиться, но в течение почти двух месяцев, которые она еще пробыла в этом доме, где до меня уже находилась целых три месяца, у меня не было никакой возможности к ней приблизиться: так строго наблюдала за ней наша старая надзирательница и так осаждал ее святой миссионер, хлопотавший о ее обращении с большим рвением, но не особенно ловко. Надо полагать, что она была до крайности тупа, хоть и не производила такого впечатления, – потому что никогда обучение не продолжалось так долго. Святой человек все не признавал ее достаточно подготовленной к отречению. Однако ей надоело заключение, и она объявила, что христианкой или нехристианкой, но она хочет выйти из этого убежища. Пришлось ловить ее на слове, пока она еще соглашалась перейти в другую веру, из боязни, что она взбунтуется и не захочет креститься.

Маленькая община была собрана в честь вновь прибывшего. Нам прочли краткое поучение: меня призывали возблагодарить бога за милость, которую он мне оказывает; остальных пригласили присоединить свои молитвы к моим и наставлять меня своими примерами; затем наши девственницы вернулись в свое заточение, а у меня осталось достаточно времени удивляться, сколько мне угодно, тому, что я сам очутился под замком.

На следующий день нас опять собрали для поучения, и только тут я в первый раз начал раздумывать о том шаге, который собирался сделать, и об обстоятельствах, побудивших меня к этому.

Я говорил, повторяю и буду, может быть, еще повторять то, в чем с каждым днем все больше и больше убеждаюсь: что если когда-либо ребенок получил разумное и здоровое воспитание, то это я. Родившись в семье, выделявшейся среди других своими добрыми правилами, я получил от всех своих родственников лишь уроки благонравия и примеры порядочности. Отец мой, хотя и любил житейские удовольствия, был человек не только твердой и безукоризненной честности, но и очень религиозный. Безупречный в глазах окружающих и христианин душой, он с ранних лет внушил мне чувства, которыми сам был проникнут. Из трех моих теток, скромных и добродетельных, две старшие были очень набожны, а третья, девушка, исполненная прелести, ума и чувства, была, может быть, еще более набожной, хотя меньше это показывала. Из лона этой уважаемой семьи я попал к г-ну Ламберсье. Духовное лицо и проповедник, он тем не менее был глубоко верующим и поступал почти так же хорошо, как проповедовал. Его сестра и он сам своими мягкими и разумными наставлениями укрепили в моем сердце уже заложенные в нем основы благочестия. Эти достойные люди прибегали к таким верным, таким осторожным, таким разумным приемам, что я не только не скучал на проповеди, но уходил оттуда всегда глубоко тронутый, с решением вести хорошую жизнь, и нарушал его очень редко, постоянно думая об этом. Набожность моей тетки Бернар больше надоедала мне, потому что она превращала ее в ремесло. У своего хозяина я над этим не задумывался, хоть и не изменил своего образа мыслей. Мне не попадались молодые люди, которые могли бы меня совратить. Я стал шалуном, но не вольнодумцем.

Итак, из религии я усвоил все, что доступно ребенку моих лет. Даже больше, потому что – зачем мне утаивать свою мысль? – детство мое вовсе не было детством в собственном смысле слова: я всегда чувствовал и мыслил, как взрослый человек. Только вырастая, вернулся я к общему уровню; родившись же, я был далек от него. Надо мной будут смеяться, что я с таким скромным видом выдаю себя за чудо. Пусть; но, насмеявшись вдоволь, пусть попробуют найти ребенка, которого бы в шесть лет интересовали, увлекали и приводили в восторг романы так, чтобы он плакал от них горячими слезами; тогда я пойму смехотворность своего тщеславия и признаю, что не прав.

Так, когда я высказывал мысль, что совсем не надо говорить детям о религии, если хотят, чтобы она когда-нибудь у них была, и что дети не способны познать бога хотя бы так, как мы, я исходил в своем чувстве из своих наблюдений, а не из собственного опыта; я знал, что на основании его нельзя делать выводы о других. Найдите шестилетних Жан-Жаков Руссо и в семь лет начните говорить им о боге, – ручаюсь, что вы ничем не рискуете.

Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию – значит следовать той, в которой он родился. Иногда от нее что-нибудь отнимают, но прибавляют к ней редко: догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму, который нам изображали как ужасное идолопоклонство, а его духовенство рисовали в самых черных красках. Доходило до того, что я не мог заглянуть внутрь церкви, встретить священника в стихаре, услышать колокольчик процессии, не содрогнувшись от ужаса и страха, которые скоро перестали овладевать мною в городах, но еще долго охватывали меня в деревенских приходах, более похожих на те, где я эти чувства впервые испытал. Правда, этому впечатлению странным образом противоречило воспоминание о ласках, – священники в окрестностях Женевы охотно расточают их городским детям. В то время как колокольчик процессии пугал меня, – звон к обедне и к вечерне напоминал мне о завтраке, закуске, свежем масле, плодах, молочных продуктах. Прекрасный обед г-на де Понвера тоже произвел большое впечатление. Вот почему я стал легко относиться ко всему этому. Думал я о папизме лишь в связи с удовольствиями и лакомством и без труда свыкся с необходимостью жить в его окружении, но мысль о том, чтобы торжественно вступить в него, являлась мне лишь мимолетно и относилась к далекому будущему. А теперь ничего уже нельзя было изменить: я смотрел с самым неподдельным ужасом на своего рода обязательство, принятое мною, и на его неизбежное следствие. Будущие новообращенные, окружавшие меня, были не способны укрепить мое мужество своим примером; и я не мог скрыть от себя, что святое дело, которое я собирался совершить, было, в сущности, не чем иным, как поступком бандита. Хотя я был очень молод, я чувствовал, что, какая бы религия ни была истинной, свою я собираюсь продать и что, если даже мой выбор удачен, я солгу в глубине сердца святому духу и заслужу презрение людей. Чем больше я об этом думал, тем больше негодовал на самого себя и стенал о своей судьбе, которая довела меня до этого, как будто эта самая судьба не была делом моих рук. Бывали минуты, когда эти размышления приобретали такую силу, что, если бы дверь хоть на мгновение оказалась открытой, я бы, конечно, сбежал, – но это было невозможно, да и решимости моей хватило ненадолго.

Слишком много тайных желаний боролось с нею, чтобы не победить ее. К тому же упорство в принятом решении не возвращаться в Женеву, стыд, самая трудность обратного перехода через Альпы, затруднительность моего положения вдали от родины, без поддержки, без средств к существованию – все это вместе взятое заставляло меня смотреть на угрызения своей совести, как на раскаяние запоздалое; я преувеличивал, упрекая себя в том, что сделал, чтобы оправдать то, что собирался сделать. Отягчая заблуждения прошлого, я смотрел на будущее, как на их неизбежное следствие. Я не говорил себе: «Еще ничего не

сделано, и ты можешь остаться невинным, если захочешь», а говорил: «Сокрушайся о преступлении, в котором ты виновен и которое вынужден довести до конца».

В самом деле, какая редкая сила духа нужна была мне в моем возрасте, чтобы отказаться от всего, что я до тех пор обещал или на что дал повод рассчитывать, и, разрывая цепи, которыми сам себя сковал, бесстрашно объявить, что хочу остаться верным религии своих отцов, принимая все возможные последствия! Эта сила не свойственна юному возрасту, да и маловероятно, чтобы она дала нужные результаты. Дело зашло слишком далеко, от него не захотели бы отказаться, и чем больше росло бы мое сопротивление, тем с большей силой и всевозможными способами постарались бы его подавить.

Меня погубил тот же самый софизм, к которому прибегает большинство людей, жалуясь на недостаток сил, когда уже слишком поздно ими воспользоваться. Добродетель имеет для нас цену лишь вследствие нашей ошибки, и если бы мы захотели всегда быть благоразумными, нам редко представлялась бы необходимость быть добродетельными. Но легко преодолимые наклонности увлекают нас, не вызывая сопротивленья; мы поддаемся легким искушениям, презирая их опасность. Нечувствительно мы попадаем в гибельные положения, которых легко могли бы избежать, но выйти из которых уже не можем без героических усилий, пугающих нас, – и, наконец, падаем в пропасть, взывая к богу: «Зачем ты создал меня таким слабым?» Но, вопреки нам, он отвечает нашей совести: «Я создал тебя слишком слабым, чтобы выйти из пропасти, оттого что создал тебя достаточно сильным, чтобы туда не попасть».

Собственно, я еще не принял окончательного решения стать католиком; но, видя, что срок пока далек, постепенно приучал себя к этой мысли и, находясь в ожидании, надеялся, что какое-нибудь непредвиденное событие выведет меня из затруднения. Чтобы выиграть время, я решил энергично защищаться, насколько это было для меня возможно. Вскоре тщеславие заставило меня забыть о моем решении, и как только я заметил, что иногда сам ставлю в затруднительное положение тех, которые собирались меня поучать, я тотчас переходил в наступление, пытаясь окончательно их разбить. Я даже проявил в этом деле чрезвычайно глупое рвение, и в то время как мои наставники обрабатывали меня, я старался обработать их. Я самым искренним образом полагал, что, стоит мне только убедить их, они неизбежно станут протестантами.

Таким образом, они совсем не нашли во мне той податливости, которой ожидали, – ни со стороны моих познаний, ни со стороны воли. Протестанты обычно более образованны, чем католики. Это и понятно: учение первых требует обсуждения, учение вторых – подчинения. Католик должен подчиняться решениям, которые ему сообщают, протестант должен научиться решать сам. Это было известно, но ни мой возраст, ни мое положение не давали оснований ждать особых затруднений для опытных людей. К тому же я еще не был у первого причастия и не получил тех наставлений, которые ему предшествуют; это тоже было известно, но никто не знал, как хорошо зато я был обучен у г-на Ламберсье, ни того, что у меня под рукой имеется небольшой и весьма неприятный для этих господ запас сведений в виде «Истории церкви и государства», которую я выучил чуть не наизусть у отца и с тех пор почти забыл, но которая восстанавливалась в моей памяти, по мере того как спор разгорался.

Первое собеседование вел с нами старый священник, низенький, но довольно почтенный. Для моих товарищей собеседование это было скорее уроком катехизиса, чем богословским спором о вере, и священнику больше приходилось поучать их, чем отвечать на их возражения. Но со мной дело обстояло иначе. Когда очередь дошла до меня, я то и дело прерывал его, не упуская случая поставить его в затрудненье. От этого собеседование сильно затянулось и стало очень скучным для присутствующих. Старый священник много говорил, горячился, молол вздор и выходил из трудных положений, отговариваясь, что плохо понимает по-французски. На другой день, опасаясь, как бы мои нескромные возражения не посеяли

соблазна среди моих товарищей, меня поместили отдельно, в другую комнату, с другим священником, помоложе, – очень красноречивым, то есть любителем пышных фраз, и самодовольным превыше всех ученых в мире. Однако я не позволил ему слишком подавить меня своим внушительным видом и, чувствуя, что в конце концов только исполняю свою обязанность, стал отвечать ему довольно уверенно, донимая его, как только мог, то тем, то другим. Он думал побить меня св. Августином, св. Григорием и другими отцами церкви, но, к своему великому удивлению, обнаружил, что я управляюсь со всеми этими отцами почти так же легко, как он сам, и не потому, чтобы когда-нибудь читал их, – как и он сам, может быть, – но потому что запомнил много отрывков, приведенных у Лесюэра; и как только он мне цитировал кого-нибудь из них, я, не оспаривая этой цитаты, приводил ему из того же отца церкви другую, чем неоднократно ставил его в тупик. Но в конце концов он одержал верх надо мной по двум причинам: во-первых, сила была на его стороне, и я, чувствуя себя, так сказать, в его полной власти, – как ни был молод, хорошо понимал, что не надо выводить его из терпения, так как заметил, что и моя эрудиция, и я сам очень не понравились маленькому старику священнику; во-вторых, молодой священник был человек образованный, а я нет. Поэтому в своих доказательствах он пользовался методом, который был мне недоступен; когда же он чувствовал, что прижат к стене неожиданным возражением, он откладывал ответ до другого дня, заявляя, что я отклоняюсь от темы. Иногда он даже отвергал все мои цитаты, утверждая, что они фальшивы, и предлагал мне пойти за книгой, уверенный, что я их там не найду. Он знал, что ничем не рискует и что, несмотря на мою показную ученость, я слишком неопытен в обращении с книгой и слишком плохой латинист, чтобы отыскать в толстом томе отрывок, даже зная наверное, что он находится там. Я даже подозреваю его самого в подделке, в которой он обвинял пасторов, – в том, что он присочинил отдельные места, чтобы увильнуть от неудобных для него возражений.

Пока продолжались эти пустые споры и дни проходили в диспутах, бормотании молитв и ничегонеделании, со мной случилось скверное происшествие, чуть не окончившееся для меня очень плохо.

Нет такой низкой души и такого варварского сердца, которые были бы совершенно не способны к какой-либо привязанности. Один из двух бандитов, выдававших себя за мавров, полюбил меня. Он часто подходил ко мне, болтал со мной на своем ломаном франкском наречии{44}, оказывал мне мелкие услуги, иногда делился со мной за столом своей порцией и то и дело целовал меня с пылкостью, очень меня тяготившей. Несмотря на вполне понятный ужас, который внушало мне его лицо, похожее цветом на коврижку, украшенное длинным шрамом, и его горящий взгляд, казавшийся скорее свирепым, чем нежным, – я терпел его поцелуи, говоря себе: «Бедняга почувствовал ко мне большую привязанность, – я не должен его отталкивать!» Мало-помалу его обращение становилось все более вольным, и он стал заводить со мной такие странные речи, что мне казалось, он сошел с ума. Однажды вечером он захотел лечь спать со мной; я воспротивился, говоря, что моя кровать слишком узка. Он стал уговаривать меня, чтобы я лег на его постель; я опять отказался, потому что этот несчастный был так нечистоплотен и от него так несло жевательным табаком, что меня тошнило.

На другой день, довольно рано утром, мы были с ним вдвоем в зале собраний; он возобновил свои ласки, причем движения его стали такими неистовыми, что он сделался страшным. Наконец он дошел до самых непристойных вольностей. Я бросился на балкон, взволнованный, смущенный, даже испуганный, как ни разу в жизни, и близкий к обмороку.

Я не мог понять, что было с этим несчастным; я думал, что у него припадок падучей или какого-нибудь другого еще более ужасного исступления; и, право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда

не видал другого мужчины в подобном состоянии, но если мы бываем такими с женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас.

Я поспешил как можно скорее рассказать всем о том, что произошло. Старуха начальница велела мне молчать; но я видел, что это происшествие ее сильно взволновало, и слышал, как она ворчала сквозь зубы: «Can maledet! brutta bestia!»[6]

Так как я не понимал, почему должен молчать, я продолжал болтать, несмотря на запрещение, и доболтался до того, что на другой день один из наставников сделал мне строгий выговор, обвиняя меня в том, что я порочу честь святого дома и подымаю шум из-за пустяков.

Он продолжал свое внушение, объяснив мне многое, чего я не знал, и не подозревая при этом, что просвещает меня, так как был уверен, что я защищался, зная, чего от меня требуют, и не соглашаясь на это. В своем бесстыдстве он зашел так далеко, что стал называть вещи своими именами и, воображая, что причиной моего сопротивления была боязнь боли, уверял меня, что эта боязнь неосновательна и мне нечего было тревожиться.

Я слушал этого мерзавца с тем большим удивлением, что он действовал бескорыстно, он поучал меня как будто для моего собственного блага. То, о чем он говорил, представлялось ему настолько обыденным, что он даже не постарался остаться со мной с глазу на глаз; в качестве третьего лица с нами был церковник, которого все это тоже нисколько не пугало. Непринужденность беседы так подействовала на меня, что я пришел к мысли, будто это обычай, принятый всеми, и я только не имел случая раньше с ним познакомиться. Поэтому я слушал без гнева, но с омерзением. Впечатление от пережитого и в особенности от того, что я видел, так сильно запечатлелось в моей памяти, что при одной мысли об этом меня начинало тошнить. Хотя я ничего больше не узнал, отвращение к происшествию распространилось на его защитника, и я не мог настолько сдержать себя, чтобы он не заметил плохого действия своих уроков. Он бросил на меня неласковый взгляд и с тех пор не щадил усилий, чтобы сделать мне пребывание в убежище как можно более неприятным. И настолько в этом преуспел, что я, понимая всю невозможность выйти отсюда иным путем, поспешил вступить на единственный путь, ведущий к выходу, хотя раньше старался отдалить это мгновение.

Этот случай послужил мне в дальнейшем защитой от предприимчивости подобных проходимцев; люди, слывшие такими, видом своим и жестами всегда напоминали мне моего страшного мавра и внушали такой ужас, что мне было трудно его скрыть. Напротив, женщины от этого сравнения очень выиграли в моих глазах, мне стало казаться, что я обязан вознаградить их нежностью чувств, своей личной почтительностью за оскорбления со стороны моего пола, и самая безобразная дурнушка при воспоминании об этом лжеафриканце становилась в моих глазах существом, достойным обожания.

Что сказали ему самому, я не знаю, но, за исключением матушки Лоренцы, никто как будто не стал относиться к нему хуже, чем раньше. Как бы то ни было, он больше ко мне не подходил и не заговаривал со мной. Через неделю его с большой торжественностью окрестили, одев в белое с ног до головы, чтобы изобразить чистоту его возродившейся души. На другой день он вышел из убежища, и я больше никогда его не видал.

До меня дошла очередь через месяц: столько времени потребовалось на то, чтобы моим наставникам досталась честь такого трудного обращения, причем, пользуясь теперешней моей покорностью, меня подвергли проверке по всем догматам. Наконец, когда мои руководители нашли, что я достойно обучен и подготовлен к повиновению, меня отвели в процессии в соборную церковь Св. Иоанна, где я должен был торжественно отречься и принять все аксессуары крещения, хотя в действительности меня не крестили. Однако обряды при этом установлены почти такие же, как при крещении, для того чтобы внушить народу убеждение,

[6] Проклятый пес! грубое животное! (*итал.*)

что протестанты не христиане. Меня одели в серое платье особого покроя, с белыми нашивками, специально предназначенное для такого рода случаев. Два человека, впереди и позади меня, несли медные чаши, ударяя по ним ключом; каждый присутствующий клал туда милостыню сообразно со своим благочестием или участием к новообращенному. Одним словом, ничто из католической пышности не было упущено, чтобы сделать торжество более поучительным для публики и более унизительным для меня. Недоставало только белой одежды, которая была бы мне очень кстати, но мне ее не дали, в отличие от мавра, – ввиду того, что я не имел чести быть неверным.

Этим дело не кончилось: пришлось потом идти в инквизицию, получить там отпущение в грехе ереси и вступить в лоно церкви с той же церемонией, которой был подвергнут Генрих IV{45} в лице своего посла. Вид и манеры высокопреподобного отца инквизитора отнюдь не рассеяли тайного ужаса, охватившего меня при входе в этот дом. После целого ряда вопросов о моей вере, о моем положении, о моей семье он вдруг спросил меня, не осуждена ли моя мать на вечную муку. Ужас подавил первое движение моего негодования, и в ответ я лишь выразил надежду, что она не осуждена и что бог просветил ее в последний час. Монах замолчал, но сделал гримасу, которая показалась мне мало похожей на знак одобрения.

Когда со всем этим было покончено и я уже думал, что устроюсь наконец согласно своим надеждам, меня выставили за дверь, вручив на двадцать с лишним франков мелкой монеты, собранной в мою пользу. Мне посоветовали жить, как подобает доброму христианину, оставаясь верным благодати, пожелали мне успехов, захлопнули за мной дверь – и все исчезло.

Так в один миг померкли все мои великие надежды, и от своекорыстного шага, который я только что совершил, у меня осталось лишь воспоминание, что я превратился в отступника и попал впросак. Нетрудно вообразить, какой резкий переворот произошел в моих взглядах, когда после всех проектов блестящего будущего оказалось, что мне грозит полная нищета, и после того, как утром я думал о выборе дворца, в котором буду жить, а вечером увидел, что принужден ночевать на улице. Могут подумать, что я сразу впал в отчаяние тем более жестокое, что, сожалея о своих ошибках, должен был горько укорять себя и видеть, что все мое несчастье – дело моих собственных рук. Однако ничего этого не было. Впервые в жизни я более двух месяцев подряд провел взаперти, и первым чувством, которое я испытал, было чувство вновь обретенной свободы. После долгого рабства я вновь сделался хозяином самого себя и своих действий, очутился в большом городе, изобилующем всякими возможностями, в городе, где жило много состоятельных людей, которые, конечно, не преминут принять меня к себе, как только им станут известны мои таланты и достоинства. К тому же у меня было время, чтобы ждать, а двадцать франков в кармане казались мне неисчерпаемым сокровищем. Я мог располагать им по своему желанию, не давая никому никакого отчета. Впервые я чувствовал себя таким богатым. Далекий от мысли предаваться отчаянию и слезам, я только сменил одни надежды другими, без всякого ущерба для своего самолюбия. Никогда не был я так уверен в себе и так спокоен; мне казалось, что моя карьера уже сделана, и я радовался, что обязан этим только самому себе.

Прежде всего я обегал весь город, торопясь удовлетворить свое любопытство и проявить свою свободу. Я ходил смотреть, как сменяется караул; военная музыка мне очень понравилась. Я следовал за процессиями, с удовольствием слушая монотонное пенье священников. Я ходил смотреть королевский дворец; я приближался к нему с опаской, но, видя, что другие входят туда, последовал за ними; меня пропустили. Может быть, я был обязан этой милостью маленькому свертку, который был у меня под мышкой. Как бы там ни было, попав во дворец, я высоко возомнил о себе и уже смотрел на себя почти как на его обитателя. Наконец я устал шататься взад и вперед и почувствовал голод; было жарко; я зашел к

торговке молочными продуктами; мне дали джунки{46}, простокваши и пару продолговатых пьемонтских хлебцев, которые я предпочитаю всякому другому хлебу, – за пять-шесть су я пообедал так, как мне редко случалось обедать за всю мою жизнь.

Нужно было отыскать себе пристанище. Я уже знал по-пьемонтски достаточно, чтобы меня могли понять, поэтому мне нетрудно было его найти; и у меня хватило благоразумия выбирать скорее по состоянию своего кошелька, чем по своему вкусу. Мне указали на одну солдатку с улицы По: за одно су она давала на ночь приют безработной прислуге. Я нашел там пустую койку и занял ее. Хозяйка была молодая женщина, недавно вышедшая замуж, хотя у нее было уже пять или шесть человек детей. Мы спали все в одной комнате – мать, дети и постояльцы; так было все время, пока я у нее жил. В общем, это была славная женщина, ругавшаяся, как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая; она относилась ко мне дружелюбно и бывала мне даже полезна.

Я провел много дней, предаваясь наслаждению независимости и удовлетворяя свое любопытство. Я бродил по городу и за городом, разыскивал и посещал все места, казавшиеся мне любопытными и новыми, а для молодого человека, только что вылетевшего из своего гнезда и никогда не видавшего столицы, все было любопытно и ново. С особой неукоснительностью бывал я в дворцовой церкви, каждое утро присутствуя на королевской обедне. Мне казалось прекрасным находиться в одной часовне с королем и его свитой; но уже начавшая проявляться страсть к музыке влекла меня туда больше, чем пышность двора, которая, оставаясь всегда одинаковой, очень скоро перестает поражать. В то время у короля Сардинии был лучший в Европе симфонический оркестр: Соми, Дежарден, Безуцци блистали там один за другим. Но молодому человеку, приходившему в восторг при звуках самого простого инструмента, если только он не фальшивил, – этого даже и не нужно было. Вообще все это великолепие, поражая мое зрение, вызывало во мне лишь тупое восхищение, без всякой зависти. Единственно, что меня влекло к дворцовому блеску, это желание посмотреть, не найдется ли там какой-нибудь юной принцессы, достойной моего поклонения, с которой у меня завязался бы роман.

И у меня в самом деле чуть не завязался роман, – правда, в менее блестящем обществе, но, будь он доведен до конца, я почерпнул бы в нем в тысячу раз более восхитительные наслаждения.

Хотя я был очень бережлив, мой кошелек становился все более тощим. Бережливость моя происходила не от благоразумия, а скорей от простоты моих вкусов, которые и до сих пор остались у меня неизменными, несмотря на привычку к роскошным обедам. Я раньше не знал, не знаю и теперь ничего лучше деревенского обеда. Молочными продуктами, яйцами, овощами, сыром, пеклеванным хлебом и сносным вином меня можно всегда хорошо употчевать, мой отличный аппетит довершит остальное, если только дворецкий и лакеи, снующие около меня, не раздражают меня своей назойливостью. Когда-то я обедал за шесть или семь су гораздо лучше, чем обедаю теперь за шесть или семь франков. Итак, я был умерен в пище: ничто не соблазняло меня отступить от этого; пожалуй, я не прав, называя это умеренностью, так как я насыщался с великим сластолюбием. Груши, джунка, сыр, пьемонтский хлеб и несколько стаканов монфератского вина, до того густого, что хоть ломтями режь, делали меня счастливейшим из лакомок. Однако можно было ожидать, что мои двадцать франков скоро иссякнут. Это становилось со дня на день очевиднее, и, несмотря на легкомыслие, свойственное моему возрасту, беспокойство о будущем скоро перешло у меня в настоящий страх. Из всех моих воздушных замков остался только один: надежда найти себе занятие, которое дало бы мне средства к существованию; но и это было не особенно легко осуществить. Я подумал о своем прежнем ремесле; однако я знал его недостаточно, чтобы работать у мастера, да и мастеров-то в ту пору было в Турине не слишком много. Поэтому я решил в ожидании лучшего ходить из лавки в лавку и гравировать монограммы или гербы

на посуде, в надежде соблазнить людей дешевизной, предоставляя им платить мне по собственному желанию. Почти всюду я получал отказ, а то, что мне приходилось делать, были такие пустяки, что я с трудом зарабатывал себе на несколько обедов. Но однажды, проходя рано утром по Contra nova{47}, я увидел в окне одного магазина молодую хозяйку, такую миловидную и привлекательную, что, несмотря на свою застенчивость с дамами, не колеблясь, вошел и предложил свой скромный талант к ее услугам. Она не прогнала меня, напротив – усадила, заставила рассказать мою незатейливую историю, пожалела, сказала, что я должен быть мужественным и что добрые христиане меня не оставят; потом, послав к находившемуся по соседству золотых дел мастеру за инструментами, которые были мне нужны, поднялась на кухню и сама принесла мне завтрак. Такое начало показалось мне хорошим предзнаменованием, и то, что последовало, не опровергло его. Она, по-видимому, осталась довольна моей работой, а еще больше моей болтовней, когда я почувствовал себя немного уверенней; она была блистательна и нарядна, и, несмотря на ее ласковый вид, блеск ее внушал мне почтительность. Но ее доброта, радушный прием, участливость и ласковое обращение привели к тому, что я почувствовал себя свободнее. Я заметил, что имею успех, и мне захотелось его увеличить; но хотя она была итальянкой и слишком хорошенькой, чтобы не быть немного кокетливой, она вместе с тем была так скромна, а я так робок, что трудно было ожидать, чтобы дело скоро наладилось. Нам не дали времени окончить начатое. Тем с большим очарованием вспоминаются мне краткие мгновения, которые я провел с ней; могу сказать, что в это время я вкусил во всей их новизне самые нежные и чистые наслаждения любви.

Это была чрезвычайно пикантная брюнетка, но природная доброта, написанная на ее красивом еще лице, делала живость ее трогательной. Ее фамилия была Базиль. Муж был значительно старше ее и довольно ревнив; на время своих путешествий он оставлял ее под присмотром приказчика, слишком хмурого и скучного, чтобы оказаться соблазнителем, который, однако, не преминул предъявить на нее притязания, но они проявлялись у него только в дурном расположении духа.

Он очень меня невзлюбил, хотя я с удовольствием слушал его игру на флейте, на которой он играл довольно хорошо. Этот Эгист{48} всегда ворчал, когда я приближался к его даме. Он обращался со мной с таким же пренебрежением, с каким она обращалась с ним. Казалось даже, что ей приятно помучить его, обходясь со мной ласково в его присутствии, и такая месть, хотя и была очень мне по душе, понравилась бы мне гораздо больше, если б это было наедине. Но до этого она не доводила или, во всяком случае, держалась при этом иначе. Оттого ли, что она находила, что я слишком молод, или не знала сама, как начать, или оттого, что действительно хотела быть добродетельной, но в ней замечалась сдержанность, которая не отталкивала, но смущала меня, сам не знаю почему. Я не питал к ней того уважения, столь же искреннего, сколь и нежного, какое внушала мне г-жа де Варане, но с ней я был более робок и чувствовал себя не так непринужденно. Я смущался, трепетал, не смел на нее взглянуть, не смел дышать в ее присутствии; я пожирал жадным взглядом все, на что мог глядеть, не привлекая внимания: цветы на ее платье, кончик ее хорошенькой ножки, ее крепкую белую руку в промежутке между перчаткой и рукавом и то, что порой виднелось у нее из-под косынки. Каждая подробность усиливала действие остальных. От созерцания всего, что я мог видеть, и даже многого другого у меня мутилось в глазах, я чувствовал стеснение в груди; дыхание, с минуты на минуту становясь все более затрудненным, плохо слушалось меня, и мне оставалось только потихоньку испускать вздохи, очень неловкие среди той тишины, которая нередко наступала у нас. К счастью, г-жа Базиль, занятая своей работой, как будто ничего не замечала. Тем не менее я видел иногда, как в силу особого рода симпатии вздымалась ее косынка на груди. Это опасное зрелище окончательно меня губило,

но, когда я уже готов был отдаться своему порыву, она обращалась ко мне с каким-нибудь словом, сказанным таким спокойным тоном, что я мгновенно приходил в себя.

Я много раз оставался с нею наедине, но никогда ни слово, ни жест, ни слишком выразительный взгляд не устанавливали между нами ни малейшей близости. Это состояние, чрезвычайно для меня мучительное, тем не менее доставляло мне величайшее наслаждение, и в простоте сердца я с трудом понимал, отчего так страдаю. По-видимому, и ей эти краткие свидания с глазу на глаз тоже не были неприятны; во всяком случае, она довольно часто выискивала для них удобный случай, – старание весьма бескорыстное с ее стороны, принимая во внимание, как она использовала эти встречи и как позволяла мне их использовать.

Однажды, наскучив глупыми разговорами приказчика, она поднялась к себе; я поспешил скорее окончить небольшую работу в комнате позади лавки и последовал за ней. Дверь в ее комнату была приоткрыта; я вошел незамеченным. Она вышивала, сидя у окна; лицо ее было обращено к стене, противоположной двери. Она не могла видеть, как я вошел, и от грохота проезжавших по улице телег не могла слышать этого. Она всегда была хорошо одета; в этот день ее наряд был почти кокетлив. Ее поза была прелестна; слегка склоненная головка позволяла видеть белизну ее шеи; изящно приподнятые волосы были украшены цветами. Весь ее облик дышал очарованием, у меня было достаточно времени удостовериться в этом; я был вне себя. Я бросился на колени у порога, простирая к ней руки в страстном порыве, вполне уверенный, что она не услышит, и не думая, что она может меня увидеть; но над камином было зеркало, и оно выдало меня. Не знаю, какое впечатление произвел на нее этот порыв; но она не взглянула на меня, не проронила ни слова, но, повернув слегка голову, одним движением пальца указала мне на циновку у ее ног. Я задрожал и, вскрикнув, в одно мгновение очутился на месте, указанном ею; но мне с трудом поверят, что, находясь в таком положении, я не смел решиться ни на что большее, не смел сказать ни одного слова, не смел поднять на нее глаза, даже дотронуться до нее, чтобы опереться на мгновение на ее колени, хотя и находился в очень неудобной позе. Я был нем, неподвижен, но, конечно, не был спокоен; все во мне обличало волнение, радость, признательность, пылкие, неясные желания, сдерживаемые страхом не понравиться ей, и этот страх мое молодое сердце никак не могло преодолеть.

Она казалась взволнованной и растерянной не меньше моего. Смущаясь тем, что я возле нее, не понимая, как она могла довести меня до этого, начиная чувствовать все последствия вырвавшегося у нее необдуманного жеста, она не привлекала меня к себе и не отталкивала, не отрывала глаз от работы, старалась сделать вид, будто не замечает, что я у ее ног; вся моя глупость не помешала мне догадаться, что она разделяет мое смущение и, быть может, мои желания, что ее сдерживает только стыдливость, подобная моей, – но это не придавало мне силы преодолеть смущение. Она была на пять-шесть лет старше меня и, как мне казалось, могла поэтому быть смелее меня; я говорил себе, что раз она не хочет поощрить мою смелость, то, значит, не желает видеть ее во мне. Даже теперь еще я нахожу, что рассуждал правильно, и, конечно, она была слишком умна, чтобы не видеть, что такой новичок, как я, нуждался не только в одобрении, но и в руководстве.

Не знаю, чем кончилась бы эта оживленная, но немая сцена и сколько времени я оставался бы неподвижным в этом смешном и вместе с тем восхитительном положении, если бы нас не прервали. В тот самый момент, когда мой порыв достиг высшего напряжения, я услыхал, как в кухне, рядом с комнатой, в которой мы находились, отворилась дверь, и г-жа Базиль, обеспокоившись, быстро приказала мне словами и жестом: «Встаньте, идет Розина». Поспешно вставая, я схватил ее протянутую руку и запечатлел на ней два жарких поцелуя, почувствовав при втором поцелуе, что эта прелестная ручка слегка прижалась к моим губам. В жизни моей не было более сладкой минуты; но упущенный случай не повторился, и наша молодая любовь остановилась на этом.

Может быть, как раз потому-то образ этой милой женщины и запечатлелся в глубине моего сердца в таких прелестных чертах. Он даже становился все прекраснее, по мере того как я узнавал свет и женщин. Будь у нее хоть немного более опытности, она принялась бы за дело иначе, чтобы ободрить такого мальчика, как я. Но если ее сердце и было слабо, оно оставалось честным; против воли поддавалась она захватившему ее увлечению; по всей видимости, это была ее первая неверность, и мне, быть может, было бы труднее победить ее стыдливость, чем свою собственную. Но и не дойдя до этого, я пережил невыразимо сладкие мгновения. Все, что я перечувствовал, обладая женщинами, не стоит тех двух минут, которые я провел у ее ног, не смея даже коснуться ее платья. Нет, не существует наслаждений, подобных тем, которые способна доставить нам честная, любимая женщина; близ нее все ласкает нас. Легкий призывный жест, знак пальцем, слегка прижатая к моим губам рука – вот единственные милости, какие я когда-либо получал от г-жи Базиль, но воспоминание об этих милостях, в сущности таких незначительных, до сих пор приводит меня в восторг.

В следующие два дня, как я ни старался опять остаться с нею с глазу на глаз, мне было невозможно выбрать подходящий момент, а с ее стороны я не заметил ни малейшей попытки устроить это. Даже ее обращение стало не то что холодней, но сдержанней обычного; и мне кажется, она избегала моих взглядов из опасения, что не сумеет справиться со своими. Проклятый приказчик стал наглее, чем когда-либо; он даже начал насмешничать, издеваться; он сказал мне, что я буду иметь успех у женщин. Я дрожал от боязни, не выдал ли я себя чем-нибудь, и, уже считая себя ее сообщником, старался окутать тайной свое влечение, в чем раньше не было большой нужды. Это заставило меня быть более осмотрительным в своих поисках удобного случая побыть с ней наедине, и, желая, чтобы этим свиданьям не угрожала никакая опасность, я не мог найти для них подходящей минуты.

Вот еще одно романтическое сумасбродство, от которого я никогда не мог излечиться; вместе с моей природной застенчивостью оно привело к тому, что предсказания приказчика не оправдались. Я любил слишком искренне, смею сказать – слишком глубоко, для того чтобы мне было легко стать счастливым. Никогда еще страсти не были так сильны и так чисты, никогда любовь не была более нежной, более искренней, более бескорыстной. Я способен тысячу раз пожертвовать своим счастьем ради счастья любимой женщины; ее добрая слава для меня дороже жизни, и ни за какие чувственные удовольствия не согласился бы я хоть на мгновенье нарушить ее покой. Вследствие этого я вносил столько таинственности, столько заботливых предосторожностей во все свои начинания, что никогда ни одно из них не могло удаться. Незначительность моего успеха у женщин всегда объяснялась тем, что я слишком их любил.

Возвращаясь к моему флейтисту, нужно сказать, что он вел себя самым странным образом. Этот предатель становился все невыносимее, но внешне проявлял все больше снисходительности. С первых же дней, как его хозяйка почувствовала ко мне расположение, она стала думать о том, чтобы сделать меня полезным в магазине. Я довольно порядочно знал арифметику; она предложила приказчику научить меня вести торговые книги, но этот нелюдим отнесся к ее предложению очень плохо, быть может, боясь, что меня впоследствии возьмут на его место. Таким образом, все мои обязанности, кроме работы резцом, состояли в переписке кое-каких счетов, записок, ведении конторских книг и в переводе некоторых коммерческих писем с итальянского на французский. Но вдруг мой молодец решил вернуться к предложению, ранее отвергнутому; он обещал научить меня двойной бухгалтерии и довести мои познания в ней до того, чтобы я мог предложить свои услуги г-ну Базилю, когда тот вернется. В его тоне, в выражении его лица было что-то фальшивое, хитрое, ироническое, не внушавшее мне доверия. Г-жа Базиль, не дожидаясь моего ответа, сказала ему сухо, что я очень обязан ему за его предложение, но она надеется, что судьба будет мне наконец бла-

гоприятствовать по моим заслугам и что было бы очень жаль, если б, обладая таким умом, я остался простым приказчиком.

Она много раз говорила мне, что хочет меня познакомить с одним человеком, который может быть мне полезным. Она была достаточно благоразумна, чтобы понять, что нам пора расстаться. Наше немое объяснение произошло в четверг; в воскресенье она давала обед, на котором, кроме меня, присутствовал монах-якобинец{49} приятной наружности; я был ему представлен. Монах был со мной очень приветлив, поздравил меня с обращением и коснулся некоторых событий моей жизни, из чего я понял, что г-жа Базиль ему все подробно рассказала. Слегка потрепав меня по щеке, он велел мне быть благоразумным, не падать духом и пригласил к себе, чтобы поговорить на свободе. По тому уважению, с каким все к нему относились, я заключил, что он был лицом значительным, а из его отеческого тона в разговоре с г-жой Базиль было ясно, что он ее духовник. Я помню также очень хорошо, что его благопристойная непринужденность сопровождалась знаками уважения и даже почтения к его духовной дочери, но тогда они произвели на меня гораздо меньшее впечатление, чем производят теперь. Будь я поумнее, как бы я гордился тем, что мог внушить чувство молодой женщине, уважаемой своим духовником!

Стол оказался недостаточно велик в сравнении с количеством приглашенных; понадобился еще маленький, за которым я очутился в приятном уединении с господином приказчиком. В смысле внимания и угощения я ничего от этого не потерял: на маленький стол посылалось немало блюд, предназначавшихся, конечно, не для приказчика. До поры до времени все шло прекрасно; женщины были очень веселы, мужчины – очень любезны; г-жа Базиль угощала гостей с обворожительной грацией. Посреди обеда у подъезда слышится шум останавливающегося экипажа; кто-то поднимается по лестнице, – это г-н Базиль. Я вижу его, словно он только что вошел, в ярко-красной одежде с золотыми пуговицами, – цвет, который я с того дня ненавижу. Г-н Базиль был высокий красивый мужчина, очень представительный. Он шумно входит – с видом человека, застающего всех врасплох, хотя там собрались только друзья. Жена бросается ему на шею, берет его за руки, осыпает его ласками, которые он принимает, но оставляет без ответа. Он раскланивается со всей компанией; ему подают прибор; он садится и ест. Едва зашел разговор о его путешествии, как он, бросив взгляд на маленький столик, спрашивает строгим тоном, что это за мальчик, которого он видит там. Г-жа Базиль отвечает ему совершенно простодушно. Он спрашивает, не живу ли я в этом доме. Ему говорят, что нет. «Почему же нет? – продолжает он грубо. – Раз он проводит здесь целые дни, почему бы ему не оставаться и на ночь?» Тут взял слово монах; после веской и правдивой похвалы г-же Базиль он похвалил в кратких выражениях и меня, прибавив, что г-н Базиль не только не должен порицать свою жену за ее благочестивое милосердие, но должен был бы сам поскорее принять в нем участие, так как ничего предосудительного во всем этом нет. Муж отвечал с раздражением, наполовину сдержанным из уважения к монаху, но достаточным для того, чтобы я мог понять, что у него имелись сведения на мой счет и что приказчик постарался услужить мне на свой манер.

Только встали из-за стола, ко мне подошел приказчик, посланный хозяином, и, торжествуя, заявил мне от его имени, чтобы я немедленно убирался и чтобы ноги моей здесь больше не было. Он постарался приправить это сообщение всем, что могло сделать его возможно более оскорбительным и жестоким. Я вышел, не говоря ни слова, с сокрушенным сердцем, страдая не столько из-за того, что покидал эту милую женщину, сколько потому, что оставлял ее жертвой грубости ее мужа. Конечно, он был прав, не желая, чтобы она ему изменила; но хотя она была женщиной разумной и хорошего рода, она родилась итальянкой, – значит, была самолюбива и мстительна, и, мне кажется, он был не прав, применяя по отношению к ней меры, способные скорее всего навлечь то самое несчастье, которого он опасался.

Таков был успех моего первого приключения. Я сделал попытку пройтись раза два-три по улице, чтобы хоть раз еще взглянуть на ту, о которой не переставало тосковать мое сердце; но вместо нее я увидел только ее мужа да бдительного приказчика, который, заметив меня, погрозил лавочным «локтем»[{50}], – жест более выразительный, чем привлекательный. Видя, что за мной так пристально следят, я потерял мужество и уже больше не показывался там. Мне хотелось повидать покровителя, которого она мне отыскала. К несчастью, я не знал его имени. Много раз я понапрасну бродил вокруг монастыря, стараясь встретить его. Наконец другие события вытеснили из моей памяти прелестные воспоминания о г-же Базиль, и вскоре я так основательно ее забыл, что, оставаясь таким же простаком и новичком, как прежде, даже не соблазнялся хорошенькими женщинами.

Между тем ее щедрость немного обновила мой маленький гардероб, – правда, очень скромно, потому что она делала это с осторожностью благоразумной женщины, которая думает больше об опрятности, чем о нарядах, и желает избавить от лишений, а не дать возможность блистать. Одежда, принесенная мною из Женевы, была еще довольно прилична, и ее вполне можно было носить; г-жа Базиль прибавила к ней только шляпу и немного белья. У меня совсем не было манжет; она не захотела подарить их мне, хотя у меня было большое желание иметь их. Она ограничилась тем, что дала мне возможность содержать себя в чистоте, и пока я был у нее, мне не надо было напоминать об этом.

Через несколько дней после катастрофы моя квартирная хозяйка, относившаяся ко мне, как я уже говорил, дружелюбно, сказала, что, кажется, нашла мне место и что одна знатная дама желает меня видеть. При этих словах я вообразил, что меня ожидают приключения в высшем свете, так как я все время только о них и мечтал. Но приключение оказалось не столь блестящим, как я себе представлял. Я отправился к даме со слугой, который говорил ей обо мне. Она расспросила меня, осмотрела: я понравился ей и тотчас же был принят к ней на службу, но совсем не в качестве фаворита, а в качестве лакея. Меня одели в ливрею того же цвета, какой носили все ее слуги, – разница состояла лишь в том, что у них были шнуры на плечах, у меня же их не было, а так как ливрея в этом доме была без галунов, она очень походила на городскую одежду. Вот неожиданное завершение всех моих великих надежд!

Графиня де Верселис, к которой я поступил на службу, была бездетная вдова; ее муж был пьемонтец; ее же я всегда считал савояркой, потому что никак не мог представить, чтобы пьемонтка могла так хорошо и с таким чистым произношением говорить по-французски. Она была средних лет, с очень благородным лицом, прекрасно образованна, любила французскую литературу и хорошо ее знала. Она много писала и всегда по-французски. Ее письма имели тот же склад и были почти так же изящны, как письма г-жи де Севинье;[{51}] некоторые из них можно было бы даже принять за письма последней. Главное мое занятие – и оно мне нравилось – состояло в том, чтобы писать письма под ее диктовку, так как рак груди, доставлявший ей много страданий, не позволял ей писать самой.

Г-жа де Верселис отличалась не только умом: у нее была возвышенная и мужественная душа. Я был свидетелем ее тяжкой болезни; я видел, как она страдала и умирала, никогда не выказывая ни минуты слабости, – казалось, без малейших усилий подавляя боль, никогда не выходя из своей роли женщины и не подозревая, что она поступает в этом, как философ; слово это тогда еще не было в моде и даже не было известно ей в том смысле, в каком его употребляют теперь. Сила характера граничила у нее иногда с черствостью. Мне всегда казалось, что по отношению к окружающим она так же мало чувствительна, как и к себе самой; и когда она делала добро несчастным, то поступала так скорее потому, что просто считала это хорошим поступком, чем из истинного сострадания. Я отчасти испытал на себе эту бесчувственность в продолжение трех месяцев, проведенных у нее. Было бы вполне естественным принять участие в молодом человеке, подающем некоторые надежды и находящемся постоянно у нее на глазах; и, чувствуя приближение смерти, она могла бы подумать, что

после нее ему будет необходима помощь и поддержка; но потому ли, что она считала меня недостойным особенного внимания, потому ли, что люди, осаждавшие ее, не позволяли ей думать о ком-нибудь другом, кроме них самих, – она ничего не сделала для меня.

Однако я очень хорошо помню, что она выказывала некоторое желание лучше узнать меня. Иногда она меня расспрашивала; ей очень хотелось, чтобы я показал ей мои письма к г-же де Варане и дал бы ей отчет о своих чувствах. Но она плохо бралась за дело: желая узнать мои чувства, никогда не показывала мне своих. Мое сердце всегда радо было излиться, лишь бы оно чувствовало, что изливается в другое сердце. Сухие и холодные вопросы, без малейшего признака одобрения или порицания моих ответов, не внушали мне доверия. Когда ничто не показывает мне, нравится или не нравится моя болтовня, я тревожусь и стараюсь тогда не столько высказать то, что думаю, сколько – не сказать ничего такого, что могло бы мне повредить. С тех пор я заметил, что эта сухая манера расспрашивать людей, чтобы узнать их, – обычная слабость женщин, которые чванятся остротой своего ума. Они воображают, что, не обнаруживая своих чувств, лучше поймут ваши; но они не замечают, что таким образом лишают собеседника смелости открыть свои чувства. Когда человека расспрашивают, он уже настораживается из-за этого одного, а если он замечает, что, не питая к нему искреннего интереса, хотят только заставить его болтать, он или говорит неправду, или молчит, или же с удвоенным вниманием следит за собой и лучше согласен прослыть дураком, нежели стать простодушной жертвой чужого любопытства. Этот способ читать в сердце другого, стараясь в то же время скрыть свои собственные чувства, в конце концов всегда оказывается негодным.

Г-жа де Верселис никогда не сказала мне ни одного слова, в котором чувствовалась бы приязнь, жалость, благожелательность. Она расспрашивала меня холодно, я отвечал сдержанно. В моих ответах было столько нерешительности, что они должны были казаться мало интересными и наскучить ей. Под конец она уже не задавала мне вопросов и говорила со мной только о том, что касалось моей должности. Она судила меня не столько по тому, чем я был, сколько по тому, чем она меня сделала: видя во мне только лакея, она лишала меня возможности показать себя чем-либо другим.

Думаю, что именно с этих пор начал я узнавать хитрую игру тайных интриг, которые преследовали меня всю жизнь и внушали мне естественное отвращение к порядку вещей, порождающему их. Так как у г-жи де Верселис детей не было, наследником ее был граф де Л арок, ее племянник, который старательно ее ублажал. Кроме того, и главные слуги, видя, что конец ее близок, старались напомнить о себе; словом, вокруг нее толпилось столько услужливых людей, что ей некогда было думать обо мне. Во главе ее дома стоял некий г-н Лоренци, человек очень ловкий, а жена его, еще более ловкая, сумела так втереться в доверие своей госпожи, что была у нее скорее на положении подруги, чем служанки. Она устроила к ней в горничные свою племянницу, мадемуазель Понталь, тонкую штучку, разыгрывавшую из себя компаньонку и так хорошо помогавшую тетушке обхаживать свою госпожу, что г-жа Верселис смотрела на все только их глазами и действовала только их руками. Я не удостоился чести попасть в милость к этим трем особам: я их слушался, но не прислуживал им; я не представлял себе, чтобы, кроме службы нашей общей госпоже, я должен был быть еще лакеем ее лакеев. Кроме того, я принадлежал к тому сорту людей, который их тревожил. Они прекрасно видели, что я не на своем месте, и очень боялись, как бы их госпожа этого тоже не заметила и как бы из-за того, что она захочет поставить меня в соответствующее положение, не уменьшилась их собственная доля, ибо такие жадные люди не могут быть справедливыми и смотрят на все, завещанное другим, как на отнятое от их собственного добра. Поэтому они объединились, чтобы убрать меня с ее глаз. Она любила писать письма, – в ее состоянии это служило ей развлечением; они отняли у нее это занятие, убедив ее с помощью доктора, что оно утомляет ее. Под предлогом, что я не умею прислуживать, к ней приставили вместо меня

двух огромных парней – носильщиков портшеза. В конце концов они все так хорошо устроили, что к тому времени, как она стала составлять завещание, я уже неделю не входил к ней в комнату. Правда, после этого я стал входить к ней, как прежде, и при этом был даже усерднее других, потому что мучения бедной женщины разрывали мне сердце; твердость, с которой она их переносила, делала ее в моих глазах достойной глубочайшего уважения и любви; и в ее комнате я пролил немало искренних слез, не замеченных ни ею, ни кем-либо другим.

Наконец мы лишились ее. Я видел, как она умирала. Жизнь ее была жизнью женщины умной и здравомыслящей; смерть ее была смертью мудреца. Могу сказать, что она сделала католическую религию для меня привлекательной благодаря той ясности души, с какой она исполняла все обряды, без небрежности и без аффектации. От природы она была серьезной. В конце болезни у нее появилась веселость, столь ровная, что она не могла быть притворной, и, несомненно, служила со стороны самого разума естественным противовесом тяжкой безотрадности ее положения. Она оставалась в постели только последние два дня, не переставая все время спокойно беседовать со всеми окружающими. Наконец, уже умолкнув и находясь в агонии, она издала громкий звук. «Отлично! – сказала она, обернувшись. – Женщина, способная на это, еще не умерла». Это были ее последние слова.

Она завещала своим низшим слугам их жалованье за целый год; но так как я не состоял в штате ее дома, то не получил ничего. Впрочем, граф де Ларок дал мне тридцать ливров и оставил мне новое платье, которое я носил и которое г-н Лоренци хотел у меня отнять. Граф обещал даже устроить меня на место и разрешил мне прийти к нему. Я был у него два-три раза, но мне не удалось с ним поговорить. Меня нетрудно было отвадить, и больше я туда уже не возвращался. Читатель скоро увидит, что я не был не прав.

О, если б это было все, что я должен рассказать о своем пребывании у г-жи де Верселис! Но, хотя по видимости мое положение осталось неизменным, я вышел из ее дома не таким, каким вошел в него. Я вынес оттуда долгое воспоминание о преступлении и невыносимое бремя угрызений совести, которое и по истечении сорока лет все еще тяготит меня; и мое горькое раскаяние не только не уменьшается, а даже увеличивается, по мере того как я старею. Кто бы мог поверить, что проступок ребенка повлечет за собой такие ужасные последствия. Из-за этих более чем вероятных последствий и не может утешиться мое сердце. Я, может быть, погубил, ввергнув в позор и нищету, девушку, милую, честную, достойную уважения, которая, конечно, была гораздо лучше меня.

Когда хозяйство расстраивается, трудно, чтобы это не вызвало беспорядка в доме и чтобы какие-нибудь вещи при этом не потерялись; однако честность слуг и бдительность г-на и г-жи Лоренци были таковы, что все имущество по описи оказалось налицо. Только у м-ль Понталь пропала маленькая лента, розовая с серебром, уже поношенная. У меня была возможность взять много вещей гораздо лучше, но только эта лента соблазнила меня, – я украл ее; а так как я не очень ее прятал, у меня ее скоро нашли. Стали добиваться, где я ее взял. Я смущаюсь, что-то бормочу и, наконец, говорю, краснея, что мне дала ее Марион. Это была юная уроженка Мориенны;{52} г-жа де Верселис сделала ее кухаркой, когда перестала давать званые обеды и уволила свою прежнюю повариху, так как стала нуждаться больше в хороших бульонах, чем в тонких рагу. Марион была не только красива, – она отличалась таким свежим цветом лица, какой можно встретить лишь в горах; и главное, у нее был такой скромный и кроткий вид, что, увидев ее, нельзя было не полюбить; к тому же это была добрая девушка, благонравная и неподкупно преданная. Оттого-то все и были удивлены, когда я назвал ее. Мне доверяли гораздо меньше, чем ей, и решили, что необходимо проверить, кто из нас двоих мошенник. Ее позвали. Собралось много народу, присутствовал граф де Ларок. Марион приходит, ей показывают ленту, я бесстыдно обвиняю ее; она озадачена, молчит, бросает на меня взгляд, способный обезоружить демонов, но он не подействовал на мое варварское сердце. Наконец она отвергает обвинение, отвергает уверенно, но без горячно-

сти, обращается ко мне, убеждает меня прийти в себя, не бесчестить невинной девушки, никогда не сделавшей мне ничего плохого; но я с дьявольским бесстыдством подтверждаю свое обвинение и прямо в глаза говорю ей, что ленту дала мне она. Бедная девушка залилась слезами и сказала мне только: «Ах, Руссо! Я думала, вы добрый. Вы делаете меня очень несчастной, но я не хотела бы быть на вашем месте». Вот и все. Она продолжала защищаться просто и твердо, не позволяя себе, однако, ни малейшей резкости против меня. Эта сдержанность, при сравнении с моим решительным тоном, повредила ей. Казалось невозможным допустить, с одной стороны, такую дьявольскую дерзость, а с другой – такую ангельскую кротость. К окончательному решению так и не пришли, но общее мнение склонялось в мою пользу. Среди царившей суматохи не нашли времени вникнуть в дело поглубже, и, отпуская нас обоих, граф де Ларок сказал только, что совесть виновного отомстит за невинного. Его предсказание не осталось тщетным: не проходит дня, чтоб оно не сбывалось.

Не знаю, что сталось с жертвой моей клеветы, но маловероятно, чтобы после этого ей легко было найти хорошее место. На ней осталось обвинение, во всех отношениях тяжелое для ее чести. Воровство было пустячное, но все же это было воровство, и что хуже всего – совершенное с целью соблазнить юношу, – наконец, ложь и запирательство не позволяли ожидать ничего хорошего от той, в которой соединилось столько пороков. Нищету и заброшенность я не считаю еще самой большой опасностью, в которую я вверг эту девушку. Кто знает, куда в ее возрасте может завести отчаяние опороченной невинности! И если невыносимы угрызения совести от сознания, что я мог сделать ее несчастной, то пусть подумают, насколько ужаснее мысль, что, может быть, по моей вине она стала даже хуже меня!

Жестокое воспоминание порой так волнует и мучает меня, что во время своих бессонниц я вижу, как бедная девушка приходит и упрекает меня в этом преступлении, как будто оно было совершено только вчера. Пока я жил без тревог, это воспоминание меньше меня мучило, но среди жизненных бурь оно отнимает у меня самое сладкое утешение невинно преследуемых: оно заставляет меня глубоко почувствовать то, о чем я, кажется, уже говорил в одном из своих произведений, – что угрызения совести дремлют в дни благополучия и пробуждаются в несчастье. И все же я никогда не мог решиться облегчить свое сердце признанием на груди друга. Самая тесная близость никогда не могла заставить меня сделать это признание кому бы то ни было, даже г-же де Варане. Все, на что я мог решиться, это сказать, что на моей совести лежит ужасный поступок; но я никогда не говорил, в чем он состоит. Таким образом, тяжесть эта, ничем не облегченная, осталась на моей совести до сего дня, и я могу сказать, что желание как-нибудь освободиться от нее много содействовало принятому мною решению написать свою исповедь.

В данном случае я чистосердечно признался в своем преступлении, и, наверно, никто не скажет, что я стараюсь смягчить свою страшную вину. Но я не выполнил бы своей задачи, если бы не рассказал в то же время о своем внутреннем состоянии и если бы побоялся привести в свое оправдание то, что согласно с истиной. Никогда злоба не была так далека от меня, как в ту ужасную минуту; как ни странно, но это правда. Я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней. Я все думал о ней и ухватился за первое, что пришло мне на ум. Я приписал ей то, что сам собирался сделать; сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить эту ленту ей. Когда она вошла, мое сердце чуть не разорвалось на части, но присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся, – я боялся только стыда, но стыда боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю; неодолимый стыд победил все; стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал. Я думал только о том, как будет ужасно, если меня уличат и публично, в глаза, назовут вором, обманщиком, клеветником. Всепогло-

щающий страх заглушил во мне всякое другое чувство. Если бы мне дали прийти в себя, я непременно сознался бы во всем. Если бы г-н де Ларок отвел меня в сторону и сказал: «Не губите эту бедную девушку; если вы виноваты, признайтесь», – я тотчас бросился бы к его ногам, совершенно в этом уверен. Но меня только запугивали, когда надо было ободрить. Надо принять в расчет и мои годы, ведь я только что вышел из детского возраста, вернее – еще пребывал в нем. Настоящая низость в юности еще преступнее, чем в зрелом возрасте, зато слабость, наоборот, гораздо более извинительна, а мой поступок, в сущности, не был ничем иным. Поэтому при воспоминании о нем меня не столько мучает то дурное, что заключалось в самом поступке, сколько те печальные последствия, которые он должен был повлечь за собой. Он даже оказал на меня благотворное влияние, так как уберег на всю остальную жизнь от всякого преступления благодаря ужасному воспоминанию о том единственном преступлении, которое я совершил, – и мне кажется, мое отвращение ко лжи зависит в значительной степени от стыда, что я мог однажды так гнусно солгать. Если это преступление возможно искупить, то смею думать, что я уже искупил его несчастьями, удручающими конец моей жизни, и сорока годами честности и прямоты в трудных обстоятельствах. У бедной Марион нашлось много мстителей на этом свете, и, как бы ни была велика моя вина перед ней, я не боюсь, что унесу эту вину с собой. Вот что я считал нужным сказать по поводу этого случая. Да будет мне позволено никогда больше к нему не возвращаться.

Книга третья
(1728–1730)

Покинув дом г-жи де Верселис приблизительно в том же положении, в каком я находился, поступая к ней, я вернулся к своей прежней квартирной хозяйке и прожил у нее пять или шесть недель, в продолжение которых здоровье, молодость и праздность часто делали то, что мой темперамент не давал мне покоя. Мной овладело беспокойство, я стал рассеян, мечтателен; я плакал, вздыхал, жаждал счастья, о котором не имел понятия, но отсутствие которого воспринимал как лишение. Это состояние невозможно описать, и даже мало кто может его себе представить, потому что большинство заранее расходует этот избыток жизненных сил, одновременно мучительный и сладкий, который, опьяняя желанием, заставляет предвкушать наслажденье. Воспламененная кровь непрестанно наполняла мой мозг образами девушек и женщин, но, не понимая их истинного назначения, я заставлял их служить моим странным фантазиям, так как не умел придумать ничего другого; и эти представления держали мою чувственность в постоянном томительном возбуждении, но, к счастью, не научили меня, как избавляться от него. Я отдал бы жизнь, чтобы побыть четверть часа с какой-нибудь мадемуазель Готон. Однако миновало время, когда детские игры возникали непринужденно, будто сами собой. Стыд, спутник сознания зла, пришел вместе с годами; он увеличил мою природную застенчивость, сделав ее почти неодолимой; и как тогда, так и впоследствии я позволял себе обратиться к женщине с нескромным предложеньем – даже будучи уверен, что это женщина не особенно строгих правил и я не встречу отказа, – только в том случае, если она вынуждала меня к тому своими авансами.

Мое возбуждение достигло таких пределов, что, не будучи в состоянии удовлетворить свои желания, я разжигал их самыми нелепыми выходками. Я блуждал по темным аллеям, в скрытых уединенных местах, откуда мог издали показаться особам другого пола в том виде, в каком хотел бы быть возле них. Их глазам представлялось зрелище не пристойное, – я даже не помышлял об этом, – а просто смешное; глупое удовольствие, которое я испытывал, выставляя им на глаза этот предмет, невозможно описать. От этого был только один шаг до желанного наказания, и я не сомневаюсь, что в конце концов какая-нибудь решительная женщина, проходя мимо, доставила бы мне это удовольствие, если б у меня хватило смелости подождать. Одна из моих проделок кончилась катастрофой, почти столь же комичной, но не столь приятной для меня.

Как-то раз я устроился в глубине двора, где был колодец, к которому служанки ходили за водой. Там был небольшой спуск, несколько проходов шли от него к погребам. Я исследовал в потемках эти длинные подземные аллеи и решил, что они не кончаются здесь и что, если меня увидят и застигнут, я найду в них надежное убежище. В расчете на это я и устроил девушкам, направлявшимся к колодцу, зрелище скорее смешное, чем соблазнительное. Более умные притворились, что ничего не видят; другие принялись хохотать; третьи сочли себя оскорбленными и подняли шум. Я бросился в свое убежище – за мной погнались. Я услыхал мужской голос, на что никак не рассчитывал, и это меня очень испугало. Я углубился в подземелье, рискуя заблудиться в нем; шум, женские голоса, голос мужчины по-прежнему следовали за мной. Я рассчитывал на темноту, а увидел свет. Я задрожал и бросился вперед. Дорогу преграждала стена; бежать дальше было невозможно, оставалось только ждать на месте своей судьбы. В одно мгновенье я был настигнут и схвачен высоким мужчиной, с длинными усами, в широкополой шляпе, при большой сабле; его сопровождали четыре или пять старух, каждая была вооружена палкой от половой щетки; позади я заметил маленькую плутовку, выдавшую меня, – ей, по всей вероятности, хотелось увидеть мое лицо.

Человек при сабле, схватив меня за руку, грубо спросил, что я здесь делаю. Легко понять, что у меня не было подготовленного ответа. Однако я собрался с духом и, извернувшись в эту критическую минуту, сочинил удачную романтическую историю. Я молил его сжалиться над моим возрастом и положением, сказал, что я молодой иностранец знатного происхождения, но с расстроенным рассудком, что я убежал из родительского дома, потому что меня держали взаперти, что я погибну, если он выдаст меня, но что, если он отпустит меня, я, быть может, смогу когда-нибудь отплатить ему за его доброту. Против всякого ожидания, моя речь и мой вид возымели действие: страшный человек был тронут и, сделав мне довольно краткое внушение, спокойно отпустил меня, не задавая дальнейших вопросов. По тому выражению, с каким девушка и старухи наблюдали мой уход, я заключил, что мужчина, который так меня напугал, оказался мне очень полезным, ибо от них я не отделался бы так дешево. Я слышал, как они что-то бормотали, но меня это не тревожило: я был ловок, силен и не сомневался, что сумею справиться с их оружием и с ними самими, лишь бы не участвовал в деле мужчина и его сабля.

Через несколько дней, проходя по улице с молодым аббатом, моим соседом, я столкнулся нос к носу с человеком при сабле. Он узнал меня и насмешливо произнес, передразнивая меня: «Я принц, я принц! а я – простофиля! Но пусть его светлость не возвращается сюда». Он ничего не прибавил к этому, и я удалился, опустив голову и в душе благодаря его за скромность. Очевидно, проклятые старухи пристыдили его за легковерие. Как бы то ни было, он хоть и пьемонтец, а был добрый человек, и я всегда вспоминаю о нем с чувством благодарности: ведь случай был так забавен, что всякий другой на его месте из одного желания посмешить нанес бы мне оскорбление. Это происшествие, хотя и не имело последствий, которых я мог бы опасаться, тем не менее надолго сделало меня благоразумным.

Живя у г-жи Верселис, я приобрел знакомства, которые поддерживал, в надежде, что они окажутся мне полезными. Время от времени я навещал савойского аббата г-на Гема, наставника детей графа Мелларе́да. Он был еще молод и мало известен, но отличался здравым смыслом, добросовестностью, познаниями и был одним из самых честных людей, каких я знал. Он не оказал мне помощи в том деле, ради которого я приходил к нему; он имел слишком мало веса, чтобы устроить меня на место; но я нашел у него нечто более ценное и пригодившееся мне на всю жизнь: уроки здравой морали и правила прямодушия. В последовательной смене моих вкусов и моих представлений о жизни я то подымался слишком высоко, то опускался слишком низко, – был Ахиллом или Терситом{53}, героем или негодяем. Г-н Гем постарался поставить меня на место и показать мне меня самого, не щадя и не обескураживая. Он с большой похвалой отозвался о моих достоинствах и способностях, но прибавил, что они сами порождают препятствия, которые помешают мне извлечь из них пользу, так что, по его словам, они должны были не столько служить мне ступенями, чтобы подняться к благосостоянию, сколько средством обойтись без него. Он нарисовал мне правдивую картину человеческой жизни, о которой я имел превратное представление; от него я узнал, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах человек мудрый всегда имеет возможность стремиться к счастью и пользоваться всяким попутным ветром, чтоб достичь его; что нет истинного счастья без мудрости и что мудрость доступна людям во всяком состоянии. Он сильно поколебал мое преклонение перед власть имущими, доказав мне, что те, кто повелевает другими, не мудрее и не счастливее их. Он высказал мысль, которая часто вспоминалась мне впоследствии: «Если б люди могли читать в сердцах друг друга, было бы больше желающих спуститься, чем жаждущих возвыситься». Эта мысль, поразительно правдивая и ничуть не преувеличенная, часто помогала мне в моей жизни, заставляя спокойно оставаться на своем месте. Аббат Гем дал мне первые истинные понятия об истинной чести, которую прежде мой напыщенный ум постигал лишь в ее крайних выражениях. Он дал мне понять, что общество не ценит высоких доблестей, что, поднимаясь слишком

высоко, часто рискуешь упасть, что постоянное добросовестное исполнение мелких обязанностей требует не меньшей силы воли, чем героические подвиги, и может принести больше пользы для честной и счастливой жизни и что несравненно лучше постоянно пользоваться уважением окружающих, чем изредка внушать им удивление.

Чтобы определить обязанности человека, нам поневоле пришлось подняться до их основы. К тому же только что сделанный мною шаг, последствием которого было мое настоящее положение, побуждал нас говорить о религии. Нетрудно заметить, что честный г-н Гем в значительной мере послужил оригиналом савойского викария{54}. Правда, в некоторых пунктах своих рассуждений он выражался не столь прямо, так как благоразумие вынуждало его к известной осторожности, но в остальном его чувства, его правила, его мнения – все, вплоть до его совета мне вернуться на родину, было таким, как я впоследствии поведал читателю. Поэтому, не распространяясь о наших разговорах, с сутью которых может познакомиться всякий, скажу, что его мудрые уроки, вначале не оказавшие на меня влияния, заронили в мое сердце семена добродетели и религии, которые никогда не погибли и, чтобы дать росток, ждали только ухода более дорогой мне руки.

Хотя в то время мое обращение в новую веру было не особенно глубоким, тем не менее я был тронут. Далекий от того, чтобы скучать во время этих бесед, я полюбил их за ясность, простоту и особенно за тот сердечный интерес, которым они, я чувствовал, были проникнуты. У меня любящее сердце, и я всегда привязывался к людям не столько за добро, которое они мне сделали, сколько за то добро, которого они мне желали; и в этом отношении мое чутье никогда не обманывает меня. Поэтому-то я и привязался к аббату Гему, я стал, так сказать, вторым его учеником; и тогда это принесло мне то неоценимое благо, что отвратило от наклонности к пороку, к которому влекла меня праздность.

Однажды, когда я меньше всего думал об этом, за мной прислали от графа де Ларока. Мне надоело ходить к нему и не иметь возможности говорить с ним; я перестал у него бывать, решив, что он забыл обо мне или что я произвел на него плохое впечатление. Я ошибался. Он неоднократно был свидетелем того, с каким удовольствием я исполнял свой долг по отношению к его тетке; он даже говорил с ней на эту тему и напомнил мне об этом, когда сам я уже перестал об этом думать. Он хорошо принял меня и сказал, что, не желая тешить меня неопределенными обещаниями, старался подыскать мне место, что это удалось ему, что он ставит меня на правильный путь и что остальное зависит от меня самого; что дом, в который он меня устроил, влиятелен и уважаем, что я не буду нуждаться в других покровителях, чтобы выдвинуться, и что хотя сначала я буду скромным слугой, каким был и раньше, но могу быть уверен, что, если по моим чувствам и поведению меня сочтут выше этого состояния, меня не оставят в нем. Конец этой речи жестоко разрушил блестящие надежды, возбужденные во мне ее началом. «Как! Опять лакей!» – подумал я с горькой досадой, которую, впрочем, вскоре изгладила моя уверенность в себе. Я чувствовал, что я не создан для такой должности, и не опасался, что меня в ней оставят.

Он отвел меня к графу де Гувону, первому конюшему королевы и главе славного дома Соляр. Благородная наружность этого почтенного старца придала особую трогательность его ласковому приему. Он расспрашивал меня с интересом, и я чистосердечно отвечал ему. Он сказал графу де Лароку, что у меня приятная физиономия, которая говорит об уме, что я, по-видимому, действительно умен, но что этого еще недостаточно и что ему надо ознакомиться с остальными моими качествами. Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Дитя мое, почти во всех делах самое трудное – начало; для вас, однако, оно не будет слишком трудным. Будьте благоразумны и постарайтесь понравиться здесь всем, – вот пока ваша единственная обязанность; главное, не падайте духом: о вас хотят позаботиться». Тотчас же он прошел к маркизе де Брей, своей невестке, и представил меня ей, а потом аббату де Гувону, своему сыну. Это начало показалось мне добрым предзнаменованием. Я был уже настолько опытен,

чтобы понять, что подобного приема не оказывают простому лакею. И действительно, со мной обращались не как со слугой. Меня кормили не в людской, на меня не надели ливреи, и, когда молодой повеса граф де Фавриа захотел, чтобы я стоял на запятках его кареты, его дед запретил мне стоять на запятках какой бы то ни было кареты и сопровождать кого-либо при выезде. Тем не менее я прислуживал за обедом и в стенах дома нес почти все обязанности лакея, но исполнял их в известном смысле свободно и не был приставлен специально к кому-либо.

Если не считать писем, которые мне иногда диктовали, и картинок, которые граф де Фавриа заставлял меня вырезывать, я располагал почти всем своим временем. Это испытание, которого я не замечал, было, без сомнения, очень опасно; оно было даже не очень человечно, так как крайняя праздность могла развить во мне пороки, которых у меня без нее не было бы.

Но, к счастью, этого не случилось. Наставления г-на Тема западали мне в сердце и так мне нравились, что я иногда убегал, чтобы снова послушать их. Думаю, что те, кто видел, как я иногда потихоньку выходил из дому, вовсе не догадывались, куда я шел. Ничто не могло быть благоразумнее тех советов, которые г-н Гем давал мне насчет моего поведения. Начал я великолепно, был так услужлив, внимателен, усерден, что очаровал всех. Аббат Гем мудро предостерег меня, чтобы я умерил свой первоначальный пыл, чтобы он не ослабел и на это не обратили бы внимания. «Ваш дебют, – сказал он мне, – мерило того, что будут требовать от вас; расходуйте свои силы осторожнее, чтобы впоследствии сделать больше, но остерегайтесь когда-либо делать меньше».

Так как никто не постарался удостовериться в моих маленьких талантах и предполагалось, что у меня нет иных, кроме тех, которые дала мне природа, то, вопреки обещаниям графа Гувона, никто, казалось, не думал о том, чтобы использовать меня лучше. Помехой послужили разные дела, и обо мне почти забыли. Маркиз де Брей, сын графа де Гувона, был тогда посланником в Вене. При венском дворе произошли перемены, коснувшиеся и семьи графа, и несколько недель все были в таком волнении, что им было не до меня. Между тем рвение мое до тех пор почти не ослабевало.

Одно обстоятельство оказало на меня и хорошее, и дурное влияние, отдалив меня от всяких развлечений вне дома и вместе с тем заставив относиться несколько более небрежно к исполнению своих обязанностей.

Мадемуазель де Брей была приблизительно моего возраста, хорошо сложена, довольно красива, с очень белой кожей и очень черными волосами; несмотря на то что она была брюнеткой, в выражении ее лица была характерная для блондинок нежность, перед которой мое сердце никогда не могло устоять. Придворный туалет, который так идет молодым женщинам, обрисовывал ее красивую талию, открывал грудь и плечи, а так как двор был тогда в трауре, черное платье еще более оттеняло ослепительную белизну ее лица. Скажут, что не дело слуги замечать такие вещи. Конечно, это было неправильно; но тем не менее я замечал их, да и не я один. Дворецкий и другие слуги говорили иногда об этом за столом с грубостью, заставлявшей меня жестоко страдать. Впрочем, я не настолько потерял голову, чтобы влюбиться всерьез. Я не забывался, знал свое место и не давал воли своим желаньям. Я любил смотреть на м-ль де Брей, ловить мимоходом сказанные ею слова, обличавшие ум, чувство, благородный образ мыслей; мое честолюбие ограничивалось удовольствием услуживать ей и не выходило за пределы моих прав. За столом я искал случая ими воспользоваться. Если лакей на минуту отходил от ее стула, тотчас же можно было видеть меня на его месте; в остальное время я стоял против нее, старался прочесть в ее глазах, что она собирается потребовать, ловил мгновенье, чтобы переменить ей тарелку. Чего бы я только не сделал, чтоб она соблаговолила приказать мне что-нибудь, взглянуть на меня, сказать мне хоть слово! Но напрасно! Мне пришлось пережить всю горечь сознания, что я ничто в ее глазах;

она даже не замечала моего присутствия. Но однажды, когда ее брат, иногда обращавшийся ко мне за столом, сказал мне что-то не особенно приятное, я ответил ему так тонко и так ловко, что она заметила это и вскинула на меня глаза. Этот мимолетный взгляд привел меня в восторг. На другой день мне представился случай заслужить ее взгляд во второй раз, и я этим воспользовался. В тот день давали парадный обед, во время которого я впервые с большим удивленьем увидел, что дворецкий прислуживает в шляпе и со шпагой на боку. Случайно разговор коснулся девиза дома Соляр, красовавшегося на гобеленах вместе с гербом: «Tel fiert qui ne tue pas». Так как пьемонтцы обычно не очень большие знатоки французского языка, кто-то нашел в этом девизе грамматическую ошибку, доказывая, что в слове «fiert» не надо «t». Старый граф де Гувон собирался ответить, но, случайно бросив взгляд на меня, заметил, что я улыбаюсь, не смея ничего сказать. Он приказал мне говорить. Тогда я сказал, что не считаю «t» лишним, что «fiert» старинное французское слово, которое происходит не от «férus» – надменный, угрожающий, а от глагола «ferit» – ударяет, ранит, и что, таким образом, по-моему, девиз означает не «тот угрожает», а «тот ранит, кто не убивает».

Все смотрели на меня и переглядывались, не говоря ни слова. В жизни не видано было подобного изумления. Но мне особенно польстило удовлетворение, которое я ясно заметил на лице м-ль де Брей. Эта гордая особа удостоила меня еще одного взгляда, который по меньшей мере стоил первого; потом, устремив глаза на своего дедушку, она, казалось, с некоторым нетерпением ждала должной похвалы мне, которую тот сейчас же воздал, так искренне и с таким довольным видом, что весь стол хором присоединился к нему. Краткая, но во всех отношениях восхитительная минута! Один из тех слишком редких моментов, когда обстоятельства снова располагаются в их естественном порядке и мстят за достоинство человека, униженное ударами судьбы. Через несколько минут м-ль де Брей опять подняла на меня глаза и попросила меня тоном застенчивым и любезным дать ей пить. Нетрудно понять, что я не заставил ее дожидаться, но, когда я приблизился к ней, меня охватила такая дрожь, что, слишком переполнив стакан, я пролил часть воды на тарелку и даже на платье м-ль де Брей. Брат ее легкомысленно спросил меня, отчего я так сильно дрожу. Я промолчал, но смутился еще больше, а м-ль де Брей покраснела до корней волос.

Тут конец роману, из чего явствует, что, как с г-жой Базиль, так и в остальных случаях, мои любовные увлечения никогда не увенчивались успехом. Напрасно пристрастился я к прихожей г-жи де Брей: я не получил ни одного знака внимания от ее дочери. Она выходила и входила, не глядя на меня, а я едва осмеливался поднять на нее глаза. Я был даже настолько глуп и неловок, что однажды, когда она, проходя, уронила перчатку, – вместо того чтобы броситься поднять эту перчатку, которую охотно осыпал бы поцелуями, я не осмелился тронуться с места и предоставил поднять ее толстому дураку лакею, которого охотно уничтожил бы. Мое смущение еще больше увеличивалось от сознания, что я не имел чести понравиться матери м-ль де Брей. Она не только ничего не приказывала мне, но даже всегда отказывалась от моих услуг и дважды, проходя вместе с дочерью и заметив меня в своей прихожей, очень сухо спросила, неужели у меня нет никакого дела. Пришлось отказаться от этой дорогой мне прихожей. Сначала мне было жаль, но потом появились другие отвлекающие дела, и я вскоре забыл о ней.

Пренебрежение, выказываемое мне г-жой де Брей, искупалось добротой ее свекра, наконец обратившего на меня внимание. Вечером после того обеда, о котором я говорил, он имел со мной получасовую беседу и, видимо, остался ею доволен; меня же она привела в восторг. Этот добрый старик хотя и не был так умен, как г-жа Верселис, зато обладал большей сердечностью, и у него я преуспел больше. Он велел мне обратиться к аббату Гувону, его сыну, чувствовавшему ко мне расположение, и сказал, что, если я сумею воспользоваться этим расположением, оно может мне пригодиться и помочь приобрести то, чего мне не хватает для осуществления видов, которые на меня имеют.

На другой день утром я полетел к г-ну аббату. Он принял меня не как слугу: посадив у камина, он начал меня ласково расспрашивать и вскоре убедился, что мое образование, хотя и начатое по многим предметам, не закончено ни по одному. Найдя, что я особенно плохо знаю латынь, он решил заняться со мной. Мы условились, что я буду приходить к нему каждое утро, и я явился на следующий же день. Таким образом, по странной игре случая, часто наблюдавшейся в моей жизни, я оказался одновременно и выше, и ниже своего истинного состояния – слугой и учеником в одном и том же доме, и, будучи в услужении, имел, однако, преподавателя, который по своему высокому происхождению должен был бы обучать только королевских детей.

Г-н аббат Гувон был младшим сыном и предназначался к епископству, а потому получил более основательное образование, чем обычно получают сыновья знатных людей. Он провел несколько лет в Сиенском университете, получил там довольно сильную дозу крускантизма{55} и стал в Турине приблизительно тем, чем был некогда в Париже аббат Данжо{56}.

Отвращение к теологии побудило его заняться изящной словесностью, что довольно обычно в Италии для тех, кто избирает карьеру прелата. Он читал многих поэтов, мог недурно писать итальянские и латинские стихи. Одним словом, он обладал достаточным вкусом, чтобы развить вкус и у меня, несколько очистив мою голову от той дребедени, которой я начинил ее. Но, оттого ли, что моя болтовня внушила ему преувеличенное представление о моих знаниях, или оттого, что он не мог перенести скуку элементарной латыни, он с самого начала забрался со мной слишком высоко и, едва заставив меня перевести несколько басен Федра{57}, уже ввергнул меня в Вергилия, в котором я почти ничего не понимал. Я был обречен, как будет видно впоследствии, много раз приниматься за латынь и никогда не знать ее. Тем не менее я работал достаточно усердно, а г-н аббат расточал на меня свои заботы с такой добротой, что воспоминание о них до сих пор умиляет меня.

Я проводил с ним большую часть утра, столько же учась у него, сколько прислуживая ему, но не как лакей – он не допускал этого, – я лишь писал под его диктовку и переписывал его бумаги; эти занятия секретаря принесли мне больше пользы, чем занятия школьника. Я не только изучил таким образом самый чистый итальянский язык, но полюбил литературу и научился разбираться в хороших книгах, что не удавалось мне у Латрибю и что пригодилось впоследствии, когда я принялся работать самостоятельно.

В ту пору моей жизни я и без романтических проектов мог с полным правом отдаться надеждам на успех. Г-н аббат был очень доволен мною и всем говорил об этом, а его отец так привязался ко мне, что, по словам графа де Фавриа, рассказал обо мне королю. Сама г-жа де Брей уже не выказывала ко мне презрения. Наконец я стал чем-то вроде фаворита в доме, к великой зависти остальных слуг, которые, видя, что сам сын хозяина удостаивает меня своего руководства, понимали, что я не останусь долго в одном положении с ними.

Насколько я мог судить о видах на меня по нескольким брошенным вскользь словам, – я задумался о них лишь впоследствии, – мне кажется, что семье Соляр, специализировавшейся в области дипломатии и, может быть, прокладывавшей себе дорогу к министерским постам, было очень удобно заранее подготовить подчиненного, обладающего достоинствами и талантом, который, завися единственно от нее, мог бы впоследствии приобрести ее доверие и с пользой служить ей. Этот план графа Гувона был великодушен, разумен, благороден и действительно достоин знатного вельможи, добродетельного и предусмотрительного; но, помимо того, что я в то время еще не мог знать его во всем его объеме, он был для меня слишком благоразумен и требовал с моей стороны слишком длительного подчинения. Мое безумное честолюбие искало счастья только в приключениях, и так как здесь не была замешана женщина, этот путь к успеху казался мне слишком медленным, скучным и

унылым, между тем как я должен был бы считать его тем более достойным и надежным, что дело обходилось без женщины, поскольку те качества, которым обыкновенно покровительствуют женщины, мало стоят в сравнении с теми, присутствие которых предполагалось во мне.

Все шло как нельзя лучше. Я приобрел, почти что взял с бою, всеобщее уважение; испытания мои окончились, на меня стали смотреть как на молодого человека, подающего большие надежды, но занимающего не свое место, и который, как все ожидали, несомненно выдвинется. Но моим местом было не то, которое предназначалось мне людьми, и мне предстояло достичь его совершенно иными путями. Я касаюсь одной из характерных черт, мне свойственных, и хочу представить ее читателю, не пускаясь в рассуждения.

Хотя в Турине было много новообращенных вроде меня, но я их не любил и у меня ни разу не возникло желания увидеться с кем-либо из них. Однако я повстречал несколько женевцев, которые не были из их числа, и среди них некоего Мюссара, по прозвищу Кривомордый, художника-миниатюриста и отчасти моего родственника. Этот Мюссар разузнал, что я живу у графа Гувона, и пришел повидать меня, захватив с собой друга, женевца Бакля, моего товарища в годы ученичества у гравера.

Этот Бакль был очень забавный малый, очень веселый, падкий до шутовских выходок, довольно милых в юном возрасте. И вот я вдруг пленился г-ном Баклем, пленился до такой степени, что больше не мог расстаться с ним! Он должен был вскоре вернуться в Женеву. Какую потерю предстояло мне перенести! Я чувствовал, как она огромна. Чтобы воспользоваться по крайней мере остающимся временем, я больше не разлучался с Баклем, – вернее, он не покидал меня, потому что сперва голова у меня закружилась не до такой степени, чтоб без спросу уходить из дому и проводить с ним время. Но вскоре, заметив, что он совсем овладел мною, перед ним закрыли двери, и я дошел до того, что, забыв обо всем, кроме моего друга Бакля, перестал бывать у г-на аббата и г-на графа, и меня больше не видели дома. Мне сделали внушение, но я не послушался. Мне пригрозили расчетом. Эта угроза погубила меня: она навела меня на мысль уйти с Баклем. С этой минуты для меня не существовало другого наслаждения, другой доли, другого счастья, кроме возможности совершить подобное путешествие, и мне все мерещились только несказанные радости этого путешествия, в конце которого, хотя и в безграничной дали, я предвидел встречу с г-жой де Варане; о возвращении же в Женеву я не помышлял ни минуты. Холмы, луга, рощи, ручьи, деревни мелькали передо мной без конца и без перерыва с новым очарованием; этот блаженный путь должен был, казалось, поглотить всю мою жизнь целиком. Я с восторгом вспоминал, каким очаровательным было для меня это путешествие, когда я шел сюда; каково же оно будет, когда ко всей прелести независимости присоединится радость совершить этот переход с товарищем моего возраста, моих наклонностей и веселого нрава, без стеснения, без обязанностей, без принуждения, без необходимости останавливаться или идти дальше иначе, как по своей воле! Надо было быть безумцем, чтобы подобное счастье принести в жертву честолюбивым замыслам; осуществление их идет так медленно, неверно и с таким трудом, что, воплощенные в жизнь, они, несмотря на весь свой блеск, не стоят и четверти часа истинного наслаждения и свободы в молодые годы!

Преисполненный этой мудрой фантазией, я стал вести себя так, что меня в конце концов выгнали, и, право, я добился этого не без труда. Однажды вечером, когда я возвращался, дворецкий передал мне расчет от имени графа. Именно этого мне и нужно было, так как, невольно чувствуя всю нелепость своего поведения, я теперь мог обвинять других в несправедливости и неблагодарности, рассчитывая таким образом свалить на них собственную вину и оправдать в своих глазах решение, принятое будто бы по необходимости. Мне передали от имени графа де Фавриа, чтоб на другой день утром я зашел переговорить с ним перед отъездом, и так как допускали, что, потеряв голову, я могу не исполнить этого, дворецкий

отложил на следующий после этого посещения день вручение мне известной суммы, которую я, без сомнения, очень плохо заслужил: не предполагая оставлять меня в лакеях, мне не назначили определенного жалованья.

Граф де Фавриа, как ни был он молод и легкомыслен, имел со мной по этому поводу очень серьезную и, осмелюсь сказать, очень ласковую беседу. Описав в трогательных и лестных для меня выражениях заботы своего дяди и намерения деда, он живо изобразил мне все, что я теряю, устремляясь к своей гибели, и предложил мне покончить дело миром, требуя от меня исполнения единственного условия – перестать видеться с этим жалким малым, который меня соблазнил.

Было очевидно, что он говорит все это не от своего имени, и я, несмотря на свое дурацкое ослепление, почувствовал всю доброту моего старого хозяина и был растроган; однако это дорогое моему сердцу путешествие окончательно овладело моим воображением, и уже ничто не могло одолеть его притягательной силы. Я был вне себя: заупрямился, ожесточился, разыграл гордеца и надменно ответил, что раз мне дают расчет – я беру его, что теперь уже не время отступать и, что бы ни случилось со мной в жизни, я твердо решил, что никогда не позволю выгонять себя дважды из одного и того же дома. Тогда этот молодой человек, в справедливом негодовании, назвал меня так, как я этого заслужил, вытолкал меня за плечи из своей комнаты и захлопнул за мной дверь; я вышел торжествуя, будто одержал величайшую победу; и из боязни, что мне придется выдержать второе сражение, имел низость уйти, не поблагодарив г-на аббата за его доброту.

Чтобы понять всю силу моего безумия в ту минуту, необходимо знать, до какой степени мое сердце способно воспламеняться из-за безделицы и с какой силой овладевает моим воображением привлекающий его предмет, как бы порой он ни был ничтожен. Планы самые нелепые, самые ребяческие, самые причудливые поддерживают мою излюбленную идею и убеждают в возможности всецело отдаться ей. Кто поверит, что в девятнадцать лет можно строить все свое будущее на какой-то пустой склянке? Так послушайте!

Аббат Гувон за несколько недель до этого подарил мне Геронов фонтан{58}, очень хорошенький, от которого я пришел в восторг. Постоянно приводя его в действие и не переставая болтать о нашем путешествии, мы с мудрым Баклем решили, что этот фонтан может помочь нашему путешествию и способствовать его продолжительности. Есть ли на свете что-нибудь любопытнее Геронова фонтана? Мы построили здание нашего будущего благополучия на этой основе. В каждой деревне мы станем собирать крестьян вокруг нашего фонтана, и тогда обеды и всякие припасы посыплются на нас в изобилии, так как мы оба были убеждены, что пищевые продукты не стоят ничего тем, кто их производит, и что если эти люди не кормят прохожих даром до отвала, то просто по нежеланию. Мы воображали, что всюду будем встречать одни пиры и свадьбы, и рассчитывали, что, не расходуя ничего, кроме дыхания наших легких и воды из нашего фонтана, сможем при помощи его покрыть наши издержки в Пьемонте, в Савойе, во Франции и во всем мире. Мы без конца строили планы путешествия, и если направляли свой путь сперва к северу, то скорей из удовольствия совершить переход через Альпы, чем из предполагаемой необходимости остановиться наконец где-нибудь.

Таков был план, с которым я выступил в поход, покинув без сожаления своего покровителя, своего наставника, свое учение, свои надежды и почти верный расчет на карьеру, для того чтобы начать жизнь настоящего бродяги. Прощай, столица, прощай, двор, честолюбие, тщеславие, любовь, красавицы и необыкновенные приключения, надежда на которые привела меня сюда в прошлом году! Я отправляюсь в путь со своим фонтаном, с другом Баклем, с тощим кошельком, но с сердцем, преисполненным радости, мечтая только о наслаждениях бродячей жизни, – вот к чему неожиданно свелись все мои блистательные проекты.

Тем не менее я совершил это причудливое путешествие почти столь же приятно, как и ожидал, но не совсем согласно с планом, так как хотя наш фонтан и забавлял некоторое

время хозяек и служанок в харчевнях, однако, уходя, нам все-таки приходилось платить. Но это нас нисколько не смущало: мы решили по-настоящему извлечь выгоду из этого источника только тогда, когда окажется недостаток в деньгах. Несчастный случай избавил нас от хлопот. Фонтан разбился около Брамана{59}, и это произошло вовремя: мы оба чувствовали, не смея в этом признаться, что он начинает нам надоедать. Это злоключение придало нам еще больше веселья, и мы от души хохотали над своим легкомыслием: мы уже позабыли, что наша одежда и башмаки износятся, и не думали, как бы добыть их при помощи нашего фонтана. Мы продолжали свое путешествие столь же весело, как и начали, но стали несколько прямее двигаться к цели, достичь которой побуждал нас истощавшийся кошелек.

В Шамбери я стал задумываться не над глупостью, которую только что выкинул, – никто никогда не сводил счетов с прошлым быстрее и легче меня, – но над приемом, ожидавшим меня у г-жи Варане, ибо я рассматривал ее дом как родной. Я писал ей, что поступил к графу Гувону; она знала, какое положение я занимал у него, и, поздравив меня, дала мне несколько глубоко разумных советов относительно того, как я должен ответить на сделанное мне добро. Она считала мое счастье обеспеченным, если только я сам по своей вине не разрушу его. Что же она скажет, увидев меня у себя? Мне и в голову не приходило, что она может запереть передо мною дверь, но я опасался, что причиню ей огорчение, боялся ее упреков, более для меня тяжелых, чем нищета. Я решил перенести все молча и сделать все возможное, чтобы успокоить ее. Во всей вселенной видел я теперь только ее одну; жить, находясь у нее в немилости, казалось мне невозможным. Больше всего беспокоил меня мой спутник, я не хотел его навязывать ей, но боялся, что мне нелегко будет от него отделаться. Я подготовил расставанье, проявив к нему холодность в последний день. Мошенник понял меня; он был не столько дурак, сколько сумасброд. Я думал, что он огорчится моим непостоянством; я оказался не прав: мой товарищ Бакль не огорчался ничем. Едва только мы достигли Аннеси и вступили в город, как он сказал мне: «Вот ты и дома», поцеловал меня, попрощался, сделал пируэт и исчез. Я больше никогда ничего не слыхал о нем. Наше знакомство и дружба длились около шести недель, но последствия их будут длиться всю мою жизнь.

Как билось мое сердце, когда я приближался к дому г-жи де Варане! Ноги мои дрожали, в глазах потемнело, я ничего не видел, ничего не слышал, никого не мог бы узнать; я был вынужден несколько раз остановиться, чтоб передохнуть и прийти в себя. Неужели боязнь не получить помощи, в которой я нуждался, приводила меня в такое волнение? Но может ли в моем возрасте страх перед голодной смертью вызвать такую тревогу? Нет, нет! Я говорю это столько же из гордости, сколько ради истины: никогда, ни в какую пору моей жизни ни нужде, ни корыстолюбию не удавалось заставить мое сердце расширяться от радости или сжиматься от горя. В течение всей моей жизни, изменчивой и полной исключительных превратностей судьбы, часто оставаясь без пристанища и без куска хлеба, я всегда глядел одинаково и на богатство, и на нищету. В случае нужды я мог бы просить милостыню или воровать, как всякий другой, – но никогда не стал бы огорчаться из-за того, что доведен до нищеты. Мало найдется людей, испытавших столько горя, как я, мало кто пролил в своей жизни столько слез, – но никогда бедность сама по себе или боязнь впасть в нее не заставили меня испустить хотя бы один вздох, пролить хотя бы одну слезу. При всех испытаниях судьбы душа моя знала только истинные скорби и только истинные радости, которые не зависят от благосклонности судьбы; и я чувствовал себя самым несчастным из смертных именно в то время, когда не нуждался ни в чем необходимом.

Едва предстал я перед глазами г-жи де Варане, как вид ее успокоил меня. Я вздрогнул при первом звуке ее голоса, бросился к ее ногам и в порыве живейшей радости прильнул губами к ее руке. Что до нее – я не знаю, имела ли она известия обо мне, но я заметил на ее лице мало удивления и никаких признаков печали. «Бедный мальчик! – нежно сказала она

мне. – Значит, ты опять здесь? Я хорошо знала, что ты слишком молод для такого путешествия, и очень рада, что оно по крайней мере не так плохо кончилось, как я боялась». Потом она заставила меня рассказать мою недлинную историю, и я передал ее очень правдиво, опустив, однако, некоторые подробности, но, впрочем, не щадя себя и не оправдываясь.

Встал вопрос, куда поместить меня. Она посоветовалась со своей горничной. Во время этого обсуждения я не смел дышать; но когда я услыхал, что буду жить в самом доме, я с трудом мог сдержать себя и смотрел, как мой узелок вносят в предназначенную мне комнату, приблизительно так, как Сен-Пре смотрел на водворение своего экипажа в сарай г-жи де Вольмар{60}. Вдобавок я имел удовольствие узнать, что эта милость не будет кратковременной, и в ту минуту, когда я, на посторонний взгляд, был поглощен совсем другими предметами, я услыхал, как она сказала: «Пусть говорят, что хотят, но раз провидение возвращает его мне, я решила не покидать его».

И вот наконец я поселился у нее. Однако не с момента этого водворения датирую я самые счастливые дни моей жизни; он только подготовил их. Хотя сердечная чувствительность, заставляющая нас находить наслаждение в нас самих, является делом природы, а может быть, и следствием нашей организации, она нуждается в определенных условиях, чтобы развиваться. Без этих случайных условий человек, крайне чувствительный от рождения, ничего не испытал бы и умер, не познав своей собственной природы. Таким приблизительно был я до тех пор и таким, быть может, остался бы навсегда, если б никогда не знал г-жи Варане или если бы, даже узнав ее, не прожил достаточно долго подле нее и не усвоил бы от нее сладостной привычки к нежным чувствам, которую она мне внушила. Осмелюсь утверждать, что тот, кто знает только любовь, не знает еще самого сладостного, что есть в жизни. Я знаю другое чувство, быть может, не столь бурное, но в тысячу раз более прекрасное; оно иногда сопутствует любви, но часто существует и отдельно. Это чувство не только дружба, – оно более страстно, более нежно; я не думаю, чтоб его можно было испытывать к существу своего пола; по крайней мере я был другом, если только есть дружба на свете, но никогда не испытал такого чувства к кому-либо из своих друзей. Это неясно, но уяснится впоследствии; чувства можно по-настоящему описать только в их проявлениях.

Она жила в старом, довольно просторном доме, где имелась прекрасная запасная комната, служившая гостиной. В ней-то меня и поместили. Эта комната выходила в переулок, в котором, как я говорил, мы впервые встретились и где, за ручьем и садами, открывался вид на сельскую местность. К этому виду не мог остаться равнодушным молодой обитатель комнаты. Впервые после Боссе у меня была зелень перед окнами. Всегда замурованный в стенах, я видел перед собою только крыши да серые улицы. Как глубоко почувствовал я очарование этой новизны! Она еще больше углубила мое предрасположение к нежности. В этом прелестном пейзаже я видел еще одно из благодеяний моей милой покровительницы; мне казалось, что она сделала это нарочно для меня; в мечтах я мирно расположился там подле нее; я видел ее всюду среди цветов и зелени; ее очарование сливалось в моих глазах с очарованием весны. Мое сердце, до тех пор стесненное, почувствовало себя привольно на этом просторе, и вздохи мои свободней вылетали из груди среди этих плодовых садов.

У г-жи де Варане не было того великолепия, которое я видел в Турине, но у нее господствовала опрятность, благопристойность и то патриархальное изобилие, с которым никогда не совмещается роскошь. У нее было мало серебряной посуды, вовсе не было фарфора, не было дичи на кухне, иностранных вин в погребах, но и кухня, и погреб были хорошо снабжены к услугам всех, и в фаянсовых чашках подавался превосходный кофе. Кто бы ни заходил, его приглашали отобедать вместе с ней или у нее в доме, и никогда рабочий, посланец или прохожий не выходил от нее, не поев или не выпив по старому гельветскому обычаю. Ее прислуга состояла из горничной, уроженки Фрибура{61}, довольно миловидной, по имени Мерсере; лакея из тех же мест, Клода Анэ, о котором будет речь впереди; кухарки и двух

носильщиков, коих нанимали, когда она отправлялась в гости, что, впрочем, бывало редко. Это было много для дохода в две тысячи ливров; тем не менее ей, при толковом обращении с деньгами, хватало бы ее небольшой пенсии в стране, где земля очень плодородна, а деньги очень редки. К несчастью, экономия никогда не была ее излюбленной добродетелью: она входила в долги, расплачивалась, деньги сновали, как ткацкий челнок, – и все уплывало.

Ее домашний уклад был как раз тот, какой избрал бы я сам: нетрудно поверить, что я подчинился ему с удовольствием. Не особенно нравилось мне только слишком долгое сидение за столом. Она плохо переносила первое ощущение от запаха супа и других кушаний; этот запах доводил ее почти до обморока, и приступ отвращения продолжался долго. Малопомалу она приходила в себя, начинала разговаривать, но ничего не ела. Не раньше как через полчаса пробовала она проглотить первый кусок. В этот промежуток я успел бы пообедать три раза; мой обед бывал окончен задолго до того, как она приступала к обеду. За компанию я начинал сначала; таким образом, я ел за двоих и чувствовал себя от этого не хуже. И я тем сильнее испытывал подле нее сладкое чувство довольства, что к этому довольству, которым я наслаждался, не примешивалось ни малейшей тревоги о средствах для его поддержания. Еще не будучи интимно посвящен в ее дела, я полагал, что они могут идти сами собой, тем же путем. Впоследствии я находил в ее доме те же удовольствия, но, ближе познакомившись с истинным ее положением и видя, что они отражаются на ее доходах, не мог уже вкушать эти радости с тем же спокойствием. Предвидение всегда портило мне наслаждения. Я предугадывал будущее втуне: я никогда не мог избежать его.

С первого же дня между нами установилась самая нежная непринужденность, и такой она оставалась до конца ее жизни. «Маленький» стало моим, «маменька» – ее именем, и мы навсегда остались друг для друга «маленьким» и «маменькой», даже когда время почти стерло разницу в наших летах. Я нахожу, что эти два имени отлично передают весь характер наших отношений, простоту нашего обращенья друг с другом и особенно связь наших сердец. Она была для меня самой нежной матерью, никогда не думавшей о собственном удовольствии, а всегда о моем благе; и если чувственность вошла в мою привязанность к ней, она не изменила сущности этой привязанности, а только сделала ее более восхитительной, опьянила меня очарованием иметь такую молодую и красивую маму, которую мне приятно было ласкать; я говорю «ласкать» в буквальном смысле, потому что ей никогда не приходило в голову отказывать мне в поцелуях и в самых нежных материнских ласках, и никогда в мое сердце не входило желание злоупотребить ими. Скажут, что в конце концов у нас все-таки возникли отношения другого рода; признаюсь в этом; но надо подождать, я не могу рассказать все сразу.

Быстрый взгляд при первом нашем свидании был единственным действительно страстным мгновением, которое она когда-либо заставила меня пережить, но и это мгновение было лишь следствием неожиданности. Мои нескромные взгляды никогда не проникали под ее косынку, хотя плохо скрытая округлость в этом месте могла бы привлечь мое внимание. Возле нее я не испытывал ни порывов, ни желаний; я был погружен в дивное спокойствие, наслаждался, сам не зная чем. Я провел бы так всю свою жизнь и даже вечность, не скучая ни минуты. С ней одной я ни разу не испытал той сухости в разговоре, которая превращает для меня в пытку обязанность поддерживать его. Наши беседы наедине были не разговорами, а скорее неиссякаемой болтовней, прекращавшейся только тогда, когда кто-нибудь прерывал ее. Теперь уже не нужно было заставлять меня говорить, принуждать приходилось скорее к молчанию. Погрузившись в обдумывание своих планов, она часто впадала в мечтательность. Что ж! Я предоставлял ее мечтам, умолкал и, созерцая ее, был счастливейшим из смертных. У меня была еще одна очень странная привычка. Не притязая на уединенные свидания, я, однако, беспрестанно искал их и наслаждался ими со страстью, переходившей в ярость, когда докучные люди нарушали их. Как только являлся кто-нибудь,

мужчина или женщина – безразлично, я в сердцах срывался с места, так как терпеть не мог оставаться с нею при посторонних. Уйдя в прихожую, я считал минуты, проклиная этих вечных посетителей, и не понимал, о чем они могут так много говорить, потому что мне надо было сказать ей еще больше.

Всю силу своей привязанности я чувствовал лишь тогда, когда ее не видел. Когда я видел ее, я был только доволен, но в ее отсутствие мое беспокойство доходило до страдания. Потребность жить подле нее вызывала у меня порывы умиления, часто доходившие до слез. Я всегда буду помнить, как однажды, в большой праздник, когда она была у вечерни, я пошел погулять за город; сердце мое было полно ее образом и пламенным желанием провести все дни мои подле нее. У меня было достаточно рассудка, чтобы понять, что по крайней мере в настоящее время это было невозможно и что счастье, которым я так наслаждаюсь, будет непродолжительно. Это прибавляло к моей мечтательности грусть, впрочем, не имевшую в себе ничего мрачного и смягченную радужной надеждой. Звон колоколов, всегда странно волновавший меня, пенье птиц, красота дня, прелесть пейзажа, всюду разбросанные деревенские дома, в которых я мысленно представлял себе наше совместное житье, – все это так поражало мое воображение живым, нежным, грустным и трогательным впечатлением, что я чувствовал себя, как в экстазе, перенесенным в то счастливое время и ту счастливую обитель, где сердце мое, обладая всем блаженством, которое может прельщать его, наслаждалось им в невыразимых восторгах, даже не помышляя о чувственных наслаждениях. Никогда, насколько я помню, не проникал я в будущее с такой силой и ясностью, как тогда. И при воспоминании об этой мечте, когда она осуществилась, больше всего поражало меня то, что я нашел все предметы совершенно такими, какими представлял их себе. Если когда-либо сон наяву напоминал пророческое видение, это было, конечно, на этот раз. Я обманулся лишь в его воображаемой продолжительности, так как дни, годы, целая жизнь протекали в нем неизменно спокойные, тогда как в действительности все это длилось только мгновенье. Увы! Мое самое прочное счастье было сном: едва я достиг его, почти тотчас же последовало пробужденье.

Я никогда не кончил бы, если б стал подробно рассказывать о тех безумствах, какие заставляла меня проделывать мысль о моей дорогой маменьке, когда я не был у нее на глазах. Сколько раз целовал я свою постель, при мысли о том, что она спала на ней, занавески, всю мебель в моей комнате – при мысли о том, что они принадлежали ей и ее прекрасная рука касалась их, даже пол, на котором я простирался, – при мысли, что она по нему ступала. Иногда и в ее присутствии мне случалось выкидывать нелепые проделки, которые могли быть внушены, кажется, только самой пылкой любовью. Однажды за столом, в тот момент, когда она положила кусок в рот, я крикнул, что на нем волос; она выбросила кусок на тарелку; я жадно схватил его и проглотил. Словом, между мной и самым пылким любовником была одна-единственная разница, но разница самая существенная, которая делает мое состояние почти непостижимым для разума.

Я вернулся из Италии не совсем таким, каким отправился туда, но каким в моем возрасте никто оттуда, может быть, не возвращался. Я принес оттуда не невинность, а девственность. Я почувствовал смену лет, мои беспокойный темперамент наконец пробудился, и первый взрыв его, совершенно невольный, поверг меня в страшную тревогу о своем здоровье, и это лучше, чем что-либо другое, рисует непорочность, в какой я пребывал до тех пор. Вскоре, успокоившись, я познал опасную замену, которая обманывает природу и спасает молодых людей моего склада от настоящего распутства за счет их здоровья, силы, а иногда и жизни. Этот порок, столь удобный стыдливым и робким, имеет особенную привлекательность для людей с живым воображением, давая им, так сказать, возможность распоряжаться нежным полом по своему усмотрению и заставлять служить себе прельстившую красавицу, не имея нужды добиваться ее согласия. Соблазненный этим пагубным преиму-

ществом, я стал разрушать дарованный мне природой крепкий организм, который к тому времени вполне развился. Пусть прибавят к этой склонности обстановку, в которой я тогда находился, живя у красивой женщины, лелея образ ее в глубине своего сердца, постоянно встречаясь с ней днем, окруженный по вечерам предметами, напоминающими мне о ней, засыпая в постели, в которой, я знал, она спала раньше! Сколько побудителей! Иной читатель, представив их себе, уже видит меня полумертвым. Совсем напротив, именно то, что должно было бы погубить меня, послужило к моему спасению, по крайней мере на время. Опьяненный счастьем жить подле нее, пламенным желаньем провести с ней все мои дни, я всегда видел в ней, отсутствующей или присутствующей, нежную мать, дорогую сестру, очаровательную подругу и ничего больше: я всегда видел ее такой, всегда неизменной, и не видел никого, кроме нее. Образ ее, постоянно пребывающий в моем сердце, не оставлял в нем места ни для какого другого; она была для меня единственной женщиной на свете, и необычайная нежность чувств, которые она мне внушала, не оставляя моей чувственности времени пробудиться по отношению к другим, предохраняла меня как от нее самой, так и от всех представительниц ее пола. Словом, я был благоразумен, потому что любил ее. Пусть по этим следствиям, описание которых дается мне плохо, кто может, объяснит, какого рода была моя привязанность к ней. Я же могу сказать об этом только одно: если она уже теперь кажется необыкновенной, то впоследствии покажется таковой еще в большей степени.

Я проводил время самым приятным на свете образом, хотя был занят делами, которые нравились мне меньше всего. Надо было составлять проекты, перебелять счета, переписывать рецепты, а также сортировать травы, растирать лекарственные снадобья, смотреть за перегонным кубом. Все это перемежалось появлением множества прохожих, нищих, посетителей всякого рода. Приходилось одновременно беседовать с солдатом, аптекарем, каноником, изящной дамой, послушником. Я ругался, ворчал, проклинал, посылал к черту всю эту проклятую толчею. Но г-жа Варане на все смотрела весело, мое бешенство заставляло ее смеяться до слез; и особенно смешило ее то, что я тем более свирепел, чем менее мог сам удержаться от смеха. Эти маленькие промежутки, когда я мог доставить себе удовольствие поворчать, были прелестны, и если во время такой ссоры являлся новый докучливый посетитель, она умела извлечь из этого посещения новый способ развлечься, лукаво затягивая визит и бросая на меня такие взгляды, за которые я охотно поколотил бы ее. Она с трудом удерживалась от хохота, видя, как я, принужденный из благопристойности сдерживать себя, смотрел на нее глазами одержимого, между тем как в глубине души и даже наперекор самому себе не мог не сознавать, что все это чрезвычайно комично.

Все это хотя само по себе мне и не нравилось, тем не менее забавляло меня, так как составляло часть того образа жизни, который казался мне очаровательным. Ничто из того, что происходило вокруг меня, ничто из того, что меня заставляли делать, не было мне по вкусу, но все это было мне по сердцу. Кажется, я в конце концов полюбил бы медицину, если б мое отвращение к ней не вызывало забавных сцен, беспрестанно увеселявших нас; впервые, может быть, это искусство производило подобный результат. Я утверждал, что могу узнать медицинскую книгу по запаху, и, что всего забавнее, редко ошибался в этом. Она заставляла меня пробовать самые отвратительные снадобья. Напрасно я пытался бежать или защищаться: наперекор моему сопротивлению и ужасным гримасам, хотел я того или нет, но когда я видел, как ее хорошенькие пальчики, перепачканные лекарством, приближаются к моим губам, я сдавался, и мне не оставалось ничего другого, как открыть рот и облизать их. Если б кто-нибудь увидел, как мы, с криками и смехом, бегаем по той комнате, где находилось все ее маленькое оборудование, он мог бы подумать, что здесь разыгрывают фарс, а не занимаются приготовлением опиатов и эликсиров.

Однако не все мое время проходило в подобных проказах. В комнате, которую я занимал, я обнаружил несколько книг: «Зрителя»{62}, Пуфендорфа{63}, Сент-Эвремона{64}

и «Генриаду»{65}. Хотя я больше не был одержим прежней своей страстью к чтению, но от нечего делать читал все это понемногу. «Зритель» особенно понравился мне и принес мне много пользы. Аббат де Гувон научил меня читать не так жадно, но более вдумчиво: чтение пошло мне впрок. Я приучил себя размышлять над оборотами, над изящным построением речи, учился отличать чистый французский язык от моих провинциализмов. Например, следующие два стиха из «Генриады» излечили меня от орфографической ошибки, которую я до сих пор делал, подобно всем женевцам:

> Soit qu'un ancien respect pour le sang de leurs maîtres
> Parlât encore pour lui dans le coeur de ces traitres[7].

Мое внимание было привлечено словом parlât;[8] я понял, что третьему лицу сослагательного наклонения свойственно окончание «t», тогда как раньше писал и произносил его «parla», как прошедшее изъявительного.

Иногда я беседовал с маменькой по поводу прочитанного, иногда читал подле нее: это доставляло мне большое удовольствие; а вместе с тем чтение хороших книг принесло мне пользу. Как я уже говорил, ум у нее был просвещенный и тогда еще в полном расцвете. Несколько писателей стремились ей понравиться и научили ее разбираться в литературных произведениях. Вкус у нее был, если можно так выразиться, немного протестантский; она только и толковала о Бэйле{66} и носилась с Сент-Эвремоном, который давно умер для Франции. Но это не мешало ей быть знакомой с хорошей литературой и умно говорить о ней. Она получила воспитание в избранном обществе и, приехав в Савойю еще юной, в приятном общении с местной знатью потеряла тот манерный тон кантона Во, где женщины считают остроумие признаком светскости и умеют говорить только эпиграммами.

Хотя она видела королевский двор только мельком, ей достаточно было окинуть его быстрым взглядом, чтобы узнать его. Она сохранила там друзей и, несмотря на скрытую зависть, несмотря на ропот, возбуждаемый ее поведением и долгами, никогда не лишалась своей пенсии. У нее были знание света и ум, склонный к размышлению, дававший ей возможность использовать свое знание. Это служило ей излюбленной темой для бесед, и, ввиду моих химерических идей, как раз такой вид обучения был мне всего нужнее. Мы читали вместе Лабрюйера, – он нравился ей больше Ларошфуко{67} – книги печальной и безутешной, особенно в молодости, когда не любят видеть человека таким, каков он есть. Иной раз она начинала морализировать и порой заносилась слишком далеко, но я, целуя время от времени ее губы и руки, вооружался терпением и не скучал от ее долгих рассуждений.

Такая жизнь была слишком сладостной, чтобы продолжаться долго. Я это чувствовал, и только беспокойство о том, что она кончится, омрачало мое счастье. Забавляясь со мной, маменька в то же время изучала меня, наблюдала, расспрашивала и строила множество планов моего будущего благополучия, без которых я прекрасно мог бы обойтись. По счастью, недостаточно было изучить мои склонности, мои вкусы, мои маленькие таланты: надо было или найти, или создать возможность извлечь из них пользу, а этого нельзя было сделать в один день. Преувеличенное мнение, которое бедная женщина составила о моих достоинствах, отодвигало момент их применения, делая ее более разборчивой при выборе средств. Таким образом, все шло по моему желанию благодаря ее хорошему мнению обо мне; но это мнение пришлось снизить, и с тех пор – прощай, спокойствие! Один из ее родственников, г-н д'Обон, приехал навестить ее. Это был человек очень умный, интриган, гений по части

[7] Может быть, старинное уважение к крови их властелинов заговорило в его пользу в сердцах этих изменников.

[8] Заговорило (*франц.*).

проектов, подобно ей, но не разоряющийся на них, – особая разновидность авантюриста. Он только что предложил кардиналу Флери план очень сложной лотереи, не получивший одобрения. Тогда он обратился с ним к туринскому двору, где этот план приняли и привели в исполнение.

Он остановился на некоторое время в Аннеси и увлекся здесь супругой интенданта, очень любезной женщиной, очень мне нравившейся, единственной, которую я встречал у маменьки с удовольствием. Г-н д'Обон увидел меня; его родственница сказала ему обо мне; он взялся проэкзаменовать меня, посмотреть, на что я способен, и, если я окажусь годным, устроить меня на место.

Г-жа да Варане посылала меня к нему два или три утра подряд под предлогом каких-то поручений, не предупредив меня ни о чем. Он очень удачно заставлял меня разговориться, установил со мной простые отношения, беседовал со мной о всяких пустяках и на всевозможные темы, не показывая вида, что наблюдает за мной, без малейшего подчеркивания, – как будто, чувствуя себя хорошо в моем обществе, он хочет поговорить без стеснения. Я был очарован, а он в результате своих наблюдений пришел к выводу, что, несмотря на мою обещающую наружность и мое живое лицо, я если и не совсем лишен способностей, то, во всяком случае, не особенно умен, не умею мыслить, почти ничего не знаю, – словом, во всех отношениях чрезвычайно ограничен; и пределом счастья, на которое я могу рассчитывать, – это честь сделаться когда-нибудь деревенским кюре. Таков был его отчет г-же Варане. Подобное мнение обо мне высказывалось уже во второй или третий раз; но не в последний: приговор г-на Массерона{68} неоднократно повторялся.

Причина такого рода оценок слишком тесно связана с моим характером и поэтому требует объяснения; ведь, говоря по совести, всякому понятно, что я не могу искренне подписаться под ними, и при всем моем беспристрастии – что бы ни говорили господа Массерон, д'Обон и другие, – отказываюсь верить им на слово.

Непостижимым для меня самого образом два свойства, почти несовместимые, сливаются во мне: очень пылкий темперамент, живые, порывистые страсти – и медлительный процесс зарождения мыслей: они возникают у меня с большим затруднением и всегда слишком поздно. Можно подумать, что мое сердце и мой ум не принадлежат одной и той же личности. Чувство быстрее молнии переполняет мою душу, но вместо того чтобы озарить, оно сжигает и ослепляет меня. Я все чувствую – и ничего не вижу. Выйдя из равновесия, я тупею; мне необходимо хладнокровие, чтобы мыслить. Но вот что удивительно: у меня довольно верное чутье, проницательность, даже тонкость, – лишь бы меня не торопили; я создаю отличные экспромты на досуге, но ни разу не сделал и не сказал ничего путного вовремя. Я мог бы очень хорошо вести беседу по почте, подобно тому как испанцы, говорят, играют в шахматы. Прочитав анекдот о герцоге Савойском{69}, вернувшемся с дороги, чтобы крикнуть: «Вам в глотку, парижский купец!» – я сказал: «Это я».

Эта медлительность мысли, соединенная с живостью чувства, бывает у меня не только в разговоре, но даже во время работы и когда я один. Мысли размещаются у меня в голове с невероятнейшей трудностью; они двигаются там вслепую, приходят в такое брожение, что волнуют меня, разгорячают, доводят до сердцебиения; и среди всей этой сумятицы я ничего не вижу ясно, не могу написать ни слова; я должен ждать. Летом незаметно эта буря стихает, хаос проясняется, каждый предмет становится на свое место, – но медленно и после долгого и смутного волнения. Не случалось ли вам быть в опере в Италии? В больших театрах при перемене декораций довольно долго царит неприятный беспорядок; все декорации перемешаны, их тянут во все стороны, так что на это трудно смотреть; кажется – все обрушится; между тем понемногу все улаживается, каждый предмет оказывается на месте, и с удивлением видишь, что за этой долгой суматохой следует восхитительный спектакль. Приблизительно то же самое совершается и в моем мозгу, когда я собираюсь писать. Если б я умел

ждать, а потом уже передавать во всей красоте обрисовавшиеся в нем предметы, не многие авторы превзошли бы меня.

Вот почему я пишу с величайшим трудом. Мои рукописи, испещренные помарками, исчерченные, путаные, неудобочитаемые, свидетельствуют о тяжких усилиях, которых они мне стоили. Нет ни одной из них, которую мне не пришлось бы переписывать четыре или пять раз, прежде чем сдать в печать. Я никогда не мог ничего создать, сидя за столом с бумагой и с пером в руке; на прогулках, среди лесов и скал, ночью в постели, во время бессонницы, – вот когда пишу я в своем мозгу; можно представить себе, с какой медлительностью идет эта работа, особенно у человека, лишенного памяти на слова, не сумевшего за всю свою жизнь затвердить шесть стихов наизусть. Иной период я отделывал и переделывал пять или шесть ночей у себя в голове, прежде чем он мог быть перенесен на бумагу. Из этого следует еще и то, что мне лучше удаются произведения, требующие труда, чем те, которые должны быть написаны с известной легкостью, как, например, письма; я никогда не мог усвоить себе нужный тон для этого жанра, и писанье их всегда было для меня пыткой. Я не могу написать письма на самую ничтожную тему, не потратив на это несколько утомительных часов, а если решу писать подряд обо всем, что придет в голову, то не умею ни начать, ни окончить; мое письмо – длинная и бессвязная болтовня; читая его, меня с трудом понимают.

Мне трудно не только выражать мысли, – мне трудно даже воспринимать их. Я изучал людей и считаю себя довольно хорошим наблюдателем; однако я ничего не умею видеть из того, что вижу в каждую данную минуту; я хорошо вижу лишь то, что вспоминаю, и умен только в своих воспоминаниях. В том, что говорится, делается, происходит в моем присутствии, я совершенно не могу разобраться. Внешний признак – вот все, что поражает меня. Но потом все это возвращается ко мне: я помню место, время, интонацию, взгляд, жест, обстоятельства; ничто не ускользает от меня. Тогда, на основании того, что было сказано или сделано, я устанавливаю, какие мысли за этим скрывались, и редко ошибаюсь.

Если даже наедине с самим собой я так плохо управляю своими умственными способностями, пусть судят о том, что я представляю собою во время разговора, когда, для того чтобы сказать кстати, надо подумать сразу о тысяче вещей. Одной мысли о стольких условностях, из которых я какие-нибудь уж наверно забуду, достаточно, чтобы запугать меня. Я даже не понимаю, как это осмеливаются вести беседу в обществе; ведь при каждом слове надо иметь в виду всех присутствующих, знать их характеры, их прошлое, – иначе нельзя быть уверенным, что не скажешь чего-либо такого, что может кого-нибудь оскорбить. В этом отношении светские люди имеют большее преимущество: лучше зная, о чем надо умолчать, они чувствуют себя увереннее в том, что говорят; но даже и у них часто бывают оплошности. Пусть же представят себе человека, который будто свалился с облаков: он не в состоянии говорить хотя бы минуту, не попав впросак. В беседе с глазу на глаз есть худшее неудобство: это необходимость говорить все время; если к вам обращаются – надо отвечать, если умолкают – надо поддерживать разговор. Одно уж это невыносимое стеснение могло бы вызвать во мне ненависть к обществу. Для меня нет принуждения более ужасного, чем обязанность тотчас же начать разговор и все время его продолжать. Не знаю, зависит ли это от моего смертельного отвращения ко всякому гнету, но для меня достаточно необходимости говорить, чтобы я неизбежно сказал глупость.

Однако всего гибельнее для меня то, что, вместо того чтоб молчать, когда мне нечего сказать, я, желая поскорей развязаться, с азартом рвусь заговорить. Я спешу наскоро пробормотать бессвязные слова и счастлив, если в них нет никакого смысла. Желая преодолеть или скрыть свою глупость, я редко избегаю того, чтобы выставить ее. Из тысячи примеров, которые я мог бы привести, беру один, относящийся не к годам моей молодости, а к тому времени, когда я уже провел несколько лет в свете, должен был бы усвоить его непринужденность и его тон, если б это вообще было для меня возможно. Однажды я проводил вечер в

обществе двух великосветских дам и одного господина, которого могу назвать. Это был герцог де Гонто. В комнате больше никого не было, и я пытался вставить несколько слов – бог знает каких! – в разговор четырех собеседников, из которых трое безусловно не нуждались в моей поддержке. Хозяйка дома приказала подать опиат, так как принимала его два раза в день для желудка. Другая дама, видя, какую гримасу она сделала, сказала ей, смеясь: «Не настойка ли это господина Троншена?»{70} – «Не думаю», – отвечала первая тем же тоном. «А я думаю, что одна другой стоит», – любезно прибавил остроумный Руссо. Все были озадачены, ни у кого не сорвалось ни словечка, ни улыбки, и разговор перешел на другую тему. При другой даме моя глупость могла бы показаться только смешной, но обращенная к женщине, слишком любезной для того, чтобы не возбудить о себе некоторых толков, и которую я, конечно, не имел намерения оскорбить, – она была ужасна; и я думаю, что оба свидетеля, мужчина и женщина, с большим трудом удерживались от хохота. Вот какие остроты вырываются у меня, когда я начинаю говорить, не зная, что сказать. Мне трудно забыть этот случай не только потому, что он достоин памяти сам по себе, но и потому, что, сдается мне, он имел последствия, слишком часто напоминающие мне о нем.

Мне кажется, сказанного достаточно, чтобы объяснить, почему я, не будучи глупцом, часто слыл за дурака даже среди людей, которые могли быть хорошими судьями в этом вопросе; к вящей беде, лицо мое и глаза обещают больше, и обманутое ожидание делает для других мою тупость еще разительнее. Эту черту, хотя и чисто случайного происхождения, необходимо знать, чтобы было понятным дальнейшее. Она является ключом к объяснению многих моих из ряда вон выходящих поступков, приписываемых нелюдимому характеру, мне совершенно не свойственному; я полюбил бы общество, как и всякий другой, если б не был уверен, что являюсь там только в невыгодном свете и совсем не тем человеком, каков я в действительности. Я принял именно то решение, которое мне наиболее подходит: писать и скрываться. Живи я на виду у всех, никто никогда не узнал бы, чего я стою, никто даже не подозревал бы этого. Так и случилось с г-жой Дюпен, хотя она была женщина умная и хотя в ее доме я прожил несколько лет; она сама не раз говорила мне об этом впоследствии. Впрочем, бывали и некоторые исключения, и я вернусь к ним в дальнейшем.

После того как мера моих способностей была таким образом определена и подходящее для меня положение в жизни выбрано, мне оставалось лишь осуществить свое призванье. Затруднение заключалось в том, что я не закончил образования и даже не знал достаточно латынь, чтобы стать священником. Г-жа де Варане думала поместить меня на время в семинарию. Она переговорила об этом с ректором. Это был лазарист{71}, по имени Гро, человек добродушный, кривой, худой, седоватый, самый остроумный и наименее сухой из всех лазаристов, которых я знал, – что, говоря по правде, еще не много значит.

Он приходил иногда к маменьке; она хорошо принимала его, ласкала, дразнила, а иногда даже заставляла шнуровать себя, – занятие, за которое он брался довольно охотно. Пока он был занят исполнением этой обязанности, она металась взад и вперед по комнате, принимаясь то за то, то за другое. Увлекаемый шнурком, г-н ректор следовал за ней, ворча и поминутно повторяя: «Да стойте же смирно, мадам». Зрелище было довольно живописное.

Г-н Гро с величайшей готовностью приступил к осуществлению проекта маменьки. Он удовольствовался очень скромным вознаграждением и взялся обучать меня; оставалось получить согласие епископа, который не только охотно дал его, но и объявил, что будет сам платить за меня. Он разрешил мне также носить светскую одежду до тех пор, пока можно будет судить о моих успехах, на которые следовало надеяться.

Какая перемена! Мне пришлось подчиниться. Я отправился в семинарию, как на казнь. Что за печальное здание – семинария, особенно для того, кто вышел из дома милой женщины! Я взял с собой только одну книгу, которую попросил у маменьки, и книга эта была для меня большим утешением. Никто не угадает, что это за книга: это были ноты. Среди

искусств, которыми она наслаждалась, не была забыта и музыка. У нее был голос, она недурно пела и немного играла на клавесине. Она была так добра, что дала мне несколько уроков пения; пришлось начать издалека, так как я был едва знаком с музыкой наших псалмов. Восемь или десять уроков, данных женщиной и притом часто прерываемых, не только не научили меня петь по нотам, но едва дали мне понятие о четвертой части музыкальных знаков. Тем не менее у меня была такая страсть к этому искусству, что я решил попробовать упражняться один. Ноты, которые я захватил с собой, были из самых легких: это были кантаты Клерамбо{72}. Можно представить себе, до какой степени я был прилежен и настойчив, если я скажу, что, не зная ни транспонировки, ни счета, сумел разобрать и научился без ошибки петь первый речитатив и первую арию из кантаты «Алфей и Аретуза»; правда, эта ария так точно скандирована, что достаточно произносить стихи согласно с их размером, чтобы попасть в ее размер.

В семинарии был один проклятый лазарист, решивший приняться за меня и заставивший меня возненавидеть латынь, которой хотел научить. У него были гладкие волосы, жирные и черные, лицо, напоминающее пряник, голос буйвола, взгляд совы, щетина кабана вместо бороды; его улыбка была язвительной, его тело двигалось точно на шарнирах, как у манекена; я забыл его ненавистное имя, но лицо его, страшное и слащавое, осталось у меня в памяти, и я не могу вспомнить о нем без содрогания. Мне чудится, что я еще встречаю его в коридорах и он снисходительно наклоняет свой засаленный четырехугольный колпак, приглашая меня к себе в комнату, более для меня отвратительную, чем тюрьма. Пусть же представят себе весь контраст между таким наставником и придворным аббатом, у которого я прежде учился.

Если бы я два месяца оставался под властью этого чудовища, ручаюсь, что голова моя не выдержала бы. Но добрый г-н Гро, заметив, что я грущу, ничего не ем и худею, догадался о причине моего горя, – да это было и нетрудно. Он вырвал меня из когтей этого животного, и я неожиданно попал в руки самого мягкого из людей: это был уроженец Фосиньи, молодой аббат Гатье, который сам проходил семинарский курс и, из любезности к г-ну Гро, а может быть, из человеколюбия, согласился урывать время среди своих занятий, чтобы руководить моими. Я никогда не видел наружности, более привлекательной, чем у г-на Гатье. Он был блондин с рыжеватой бородкой; манерой держаться он походил на своих земляков, которые под тяжеловесным обликом скрывают большой ум; но самым замечательным в нем была его душа – чувствительная, привязчивая, любящая. В его больших голубых глазах была мягкость, нежность и грусть; и, увидев его, нельзя было не заинтересоваться им. Во взгляде и в голосе бедного молодого человека было что-то, заставлявшее думать, что он предвидит свою судьбу и чувствует себя рожденным для того, чтобы быть несчастным.

Характер его не расходился с наружностью: всегда исполненный любезности и терпения, он, казалось, скорее учился вместе со мной, чем обучал меня. Мне не много было нужно, чтобы его полюбить: его предшественник сильно облегчил эту задачу. Однако, несмотря на то что он посвящал мне много времени, несмотря на наше обоюдное доброе желание и на то, что он умело взялся за дело, я подвигался очень медленно, хотя работал усердно. Странно, что, несмотря на достаточную понятливость, я никогда ничему не мог научиться от учителей, за исключением моего отца и г-на Ламберсье. То немногое, что я усвоил сверх этого, я приобрел сам, как будет видно из дальнейшего. Мой ум, не выносящий никакого принуждения, не подчиняется требованиям данной минуты; самый страх, что мне не удастся усвоить урок, мешает мне быть внимательным: я притворяюсь понимающим из боязни раздражать того, кто объясняет; он уже идет вперед, а я еще ничего не понял. Мой ум хочет действовать в свое время и не умеет подчиняться чужому распорядку.

Когда наступило время посвящения, г-н Гатье вернулся в свою провинцию диаконом. Он увез с собой мое сожаление, мою привязанность, мою благодарность. Я выразил ему

пожелания, которые так же мало исполнились, как и те, что относились ко мне самому. Через несколько лет я узнал, что, будучи викарием в одном приходе, он прижил ребенка с девушкой – единственной, которую он, несмотря на свое нежное сердце, полюбил за всю свою жизнь. Это вызвало страшный скандал в епархии, находившейся под очень строгим управлением. Священники, согласно обычаю, могут иметь детей только от замужних женщин. За то, что он пренебрег этим законом приличия, его посадили в тюрьму, опозорили, изгнали. Не знаю, удалось ли ему впоследствии улучшить свое положение, но воспоминания о его несчастье, глубоко запавшем в мое сердце, ожило во мне, когда я писал «Эмиля», и, соединив г-на Гатье с г-ном Гемом, я сделал из этих двух достойных пастырей оригинал савойского викария. Льщу себя надеждой, что копия не принесла бесчестия образцам.

Пока я пребывал в семинарии, д'Обон был вынужден покинуть Аннеси: г-ну интенданту не нравились ухаживания за его супругой. Он поступил, как собака на сене, так как, хотя г-жа Корвези была мила, они жили очень плохо; его ультрамонтанские вкусы делали ее для него излишней, и он обращался с ней так грубо, что возник вопрос о разводе. Черный, как крот, вороватый, как сова, г-н Корвези был человек дрянной; своими проделками он сам добился того, что его прогнали со службы. Говорят, провансальцы мстят своим врагам, складывая про них песенки, – д'Обон отомстил комедией; он отослал эту пьеску г-же де Варане, которая показала ее мне. Она понравилась мне и вызвала у меня желание написать такую же комедию, чтобы проверить, действительно ли я так глуп, как утверждал автор. Я привел эту мысль в исполнение, написав «Влюбленного в самого себя»[{73}]. Впоследствии, утверждая в предисловии к этой пьесе, будто я сочинил ее в восемнадцатилетнем возрасте, я ошибся на несколько лет.

Приблизительно к этому же времени относится событие, малозначительное для меня само по себе, но чреватое последствиями и наделавшее много шуму, когда я уже забыл о нем. Раз в неделю мне разрешалось уходить из семинарии; не надо объяснять, где я проводил этот день. В одно из воскресений, когда я был у маменьки, загорелось строение у кордельеров, смежное с ее домом. Это строение, в котором у них помещалась пекарня, было доверху наполнено сухим хворостом. В один миг все было в огне; дом г-жи де Варане находился в большой опасности, так как ветер относил языки пламени к нему. Все принялись поспешно выбираться и выносить мебель в сад, расположенный против моих прежних окон, по другую сторону ручья, о котором я уже говорил. Я так растерялся, что стал кидать в окна без разбору все, что попадалось под руку, вплоть до тяжелой каменной ступки, которую в другое время едва мог бы приподнять; я уже готов был выбросить туда же и большое зеркало, если бы кто-то не удержал меня. Добрый епископ, который зашел в этот вечер навестить маменьку, не оставался праздным; он увел ее в сад и стал на молитву с ней и со всеми, кто находился там; когда я немного спустя пришел туда, то застал всех на коленях и последовал общему примеру. Во время молитвы святого человека ветер переменился, да так внезапно и так кстати, что языки пламени, уже лизавшие дом и врывавшиеся в окна, были отнесены в другую сторону, и дом не пострадал. Через два-три года, когда г-н Берне умер, его старые собратья антонианцы стали собирать материал для его канонизации. По просьбе г-на Будо я присоединил к этому материалу описание события, о котором только что рассказал; и это было хорошо, но плохо то, что я выдал это событие за чудо. Я видел епископа на молитве и видел, как во время его молитвы ветер переменился, и притом очень кстати, – вот что я мог сказать и подтвердить, но я не должен был утверждать, что одно из этих явлений было следствием другого, – потому что не мог этого знать. Однако, насколько я могу вспомнить свои взгляды, тогда искренне католические, я сам верил в это. Любовь к чудесному, столь свойственная человеческому сердцу, мое уважение к этому добродетельному прелату, скрытая гордость, что, быть может, и я способствовал чуду, могли соблазнить меня; во всяком

случае верно одно: если это чудо было следствием самых пламенных молитв, я с полным правом мог бы приписать его отчасти и себе.

Через тридцать с лишним лет, когда я опубликовал свои «Письма с горы»{74}, г-н Фрерон{75}, не знаю как, откопал это показание и использовал его в своих листках. Нужно признать, это была счастливая находка, и удача ее мне самому показалась очень забавной.

Быть забракованным во всех профессиях – такова была моя судьба. Хотя г-н Гатье и дал о моих успехах по возможности благоприятный отзыв, всем было ясно, что успехи мои не соответствовали усердию, и это обстоятельство не могло поощрить меня к продолжению занятий. Поэтому епископ и ректор семинарии отказались от меня и возвратили меня г-же де Варане, – как субъекта, не способного быть даже сельским священником, хотя в общем, по их отзыву, малого доброго и неиспорченного; это способствовало тому, что, несмотря на столь неблагоприятную оценку, она не покинула меня.

Я торжественно принес обратно нотную тетрадь, которой сумел так хорошо воспользоваться. Ария из «Алфея и Аретузы» – вот приблизительно все, чему я научился в семинарии. Явная склонность моя к этому искусству навела маменьку на мысль сделать из меня музыканта; обстоятельства благоприятствовали этому: у нее, по крайней мере раз в неделю, занимались музыкой, а соборный регент, довольно часто навещавший ее, дирижировал этими маленькими концертами. Это был парижанин, по имени Леметр, хороший композитор, очень живой, очень веселый, еще молодой, привлекательной наружности, не особенно умный, но в общем очень славный. Маменька познакомила меня с ним; я к нему привязался и понравился ему; заговорили о пансионе и пришли к соглашению. Короче говоря, я поступил к нему в обучение и провел у него зиму тем более приятно, что певческая школа была только в двадцати шагах от маменькиного дома. В одну минуту мы оказывались там и очень часто вместе у нее ужинали.

Нетрудно понять, что жизнь в этой школе, всегда певучая и веселая, среди музыкантов и детей-певчих, понравилась мне больше, чем жизнь в семинарии, с отцами св. Лазаря. Однако, хотя и более свободная, она была не менее ровной и правильной. От природы я любил независимость и никогда не злоупотреблял ею. В продолжение целых шести месяцев я ни разу никуда не выходил, кроме как к маменьке или в церковь, и меня даже никуда не тянуло. Этот период принадлежит к числу тех, которые я прожил в самом глубоком покое, и я вспоминаю о нем с величайшим удовольствием. Среди различных положений, в которые я попадал, иные были отмечены таким чувством благополучия, что воспоминание о них вновь захватывает меня, как будто я и сегодня его переживаю. Я помню не только время, лица, место, но и все окружающие предметы, температуру воздуха, запахи, краски и то особое, производимое только данным местом, впечатление, живое воспоминание о котором снова переносит меня туда. Например, все, что репетировали в певческой школе, все, что пели в хоре, все, что там делали, прекрасная одежда каноников, священническое облачение, скуфейки певчих, лица музыкантов, старый хромой плотник, игравший на контрабасе, маленький белокурый аббат, игравший на скрипке, рваная сутана, которую Леметр, сняв шпагу, надевал поверх светской одежды, и красивый тонкий стихарь, которым он, идя в хор, прикрывал ее лохмотья; гордость, с какой я шел, держа в руках маленький кларнет, на свое место в оркестре, чтобы сыграть небольшое соло, нарочно написанное для меня Леметром; хороший обед, ожидавший нас потом, и хороший аппетит, с которым мы к нему приступали, – вся вереница этих образов, живо воспроизведенных, сотни раз очаровывала меня в воспоминаниях не менее, и даже более, чем в действительности. Я навсегда сохранил нежную любовь к арии «Conditor aime siderum»[9], написанной ямбами, – потому что в одно из воскресений рождественского поста, еще лежа в постели, до рассвета, я услыхал пение этого гимна на

[9] «Благодатный создатель созвездий» (*лат.*).

паперти собора, согласно обычаю этого храма; м-ль Мерсере, горничная маменьки, немного знала музыку, – я никогда не забуду маленького мотета{76} «Afferte»[10], который Леметр заставил нас двоих спеть, а ее хозяйка слушала с таким удовольствием. Наконец все, вплоть до славной служанки Перрины, доброй девушки, которую дети из хора так донимали, – все воспоминания этого счастливого и невинного времени часто воскресают в моей памяти, очаровывая меня и вызывая во мне грусть.

Я прожил в Аннеси около года, не заслужив ни малейшего упрека: все были довольны мной. С самого моего отъезда из Турина я не сделал ни одной глупости и не делал их все время, пока был на глазах у маменьки. Она руководила мной, и руководила очень хорошо; моя привязанность к ней стала моей единственной страстью; и доказательством, что страсть эта не была безрассудной, было то, что сердце мое воспитывало мой ум. Правда, это глубокое чувство, поглощавшее, так сказать, все мои способности, лишало меня возможности чему бы то ни было научиться, даже музыке, как я ни старался. Но в этом я был не виноват: с моей стороны не было недостатка ни в доброй воле, ни в прилежании. Я был рассеян, мечтателен, часто вздыхал. Что я мог поделать с собой? Я делал все от меня зависящее, чтобы добиться успехов; но для того чтобы наделать новых глупостей, мне нужен был только повод, который вдохновил бы меня. Этот повод представился; случай помог обстоятельствам, и, как покажет дальнейшее, моя взбалмошная голова не преминула этим воспользоваться.

В один февральский вечер, в большую стужу, когда мы все сидели у огня, послышался стук в наружную дверь. Перрина берет фонарь, идет вниз, отворяет; входит молодой человек; он поднимается по лестнице, непринужденно рекомендуется и обращается к Леметру с коротким и ловким приветствием, выдавая себя за французского музыканта, испытывающего денежные затруднения и вынужденного прибегать к побочным заработкам, чтобы перебиться. При словах «французский музыкант» сердце доброго Леметра задрожало; он страстно любил свою родину и свое искусство. Он пригласил к себе молодого путника и предложил ему кров, который тот, видимо сильно в нем нуждаясь, принял без дальнейших церемоний. Я наблюдал за ним во все время, пока он грелся у огня и болтал в ожидании ужина. Он был невысокого роста, но широкоплеч; в его сложении была какая-то неправильность, хотя и не замечалось никакого определенного уродства; это был, так сказать, горбун без горба; кажется, он только слегка прихрамывал. На нем была черная одежда, не столько старая, сколько истрепанная, вся в лохмотьях; очень тонкая и очень грязная рубашка, красивые, но сильно потертые манжеты, гетры, из которых каждая могла бы вместить обе его ноги, и для защиты от снега – маленькая шляпа, годная только на то, чтобы носить ее для виду под мышкой. В этом смешном одеянии было, однако, что-то благородное, как и в его манерах; черты его лица были очень привлекательны, он говорил легко и хорошо, но очень нескромно. Все обличало в нем молодого гуляку, получившего образование и пустившегося бродяжничать – не как настоящий бродяга, а как беспутный повеса. Он сообщил нам, что его зовут Вантюр де Вильнев, что он идет из Парижа, что дорогой он заблудился, и, немного забывая свою роль музыканта, прибавил, что направляется в Гренобль повидаться с родственником, который у него там в парламенте.

Во время ужина заговорили о музыке, и он показал себя сведущим в ней. Он знал всех великих виртуозов, все знаменитые произведения, всех актеров, актрис, всех красивых женщин, всех знатных вельмож. Казалось, он был в курсе всего, о чем только шла речь; но едва затрагивалась та или иная тема, как он прерывал беседу какой-нибудь шаловливой выходкой, которая всех смешила и заставляла забыть предмет разговора. Дело было в субботу; на другой день в соборе должна была быть музыка. Г-н Леметр предлагает ему выступить с пением. «С большим удовольствием». На вопрос, какой у него голос, следует ответ: «Альт…» И он

[10] «Приносите» (*лат.*).

снова заговаривает о другом. Перед тем как идти в церковь, ему предложили просмотреть его партию, – он не кинул на нее взгляда. Это бахвальство удивило г-на Леметра. «Вот увидите, – шепнул он мне на ухо, – он не знает ни одной ноты!» – «Боюсь, что это так», – ответил я и последовал за ним в большой тревоге. Когда начался концерт, у меня страшно забилось сердце, так как я был очень заинтересован гостем.

Скоро я успокоился. Он спел оба своих соло с поразительной точностью и вкусом и, что еще важней, очень красивым голосом. Мне не случалось переживать более приятной неожиданности. После мессы каноники и музыканты засыпали г-на Вантюра комплиментами, на которые он отвечал шутливо, но по-прежнему очень изящно. Г-н Леметр от души расцеловал его; я сделал то же; он заметил, что я очень доволен, и это, по-видимому, было ему приятно. Все, я уверен, поймут, что после моего увлечения Баклем, в конце концов простым неучем, я легко мог увлечься Вантюром, который обладал образованием, талантами, умом, светским обращением и мог сойти за милого гуляку. Так именно со мной и случилось, и случилось бы, я думаю, со всяким другим юношей на моем месте – тем легче, чем больше у него было бы чутья и вкуса, чтобы оценить достоинства Вантюра и к нему привязаться; дело в том, что Вантюр бесспорно обладал достоинствами, и особенно одним, очень редким в его возрасте: он не торопился выказывать свои знания. Правда, он хвастался многими вещами, о которых не имел никакого понятия, но о тех, которые знал, – а их было немало, – не говорил; он выжидал случая показать свои знания на деле; тогда он пользовался своим преимуществом совершенно спокойно, и это производило величайший эффект. Так как он ни о чем не высказывался до конца, то никто не знал, когда он выложит все свои познания. Шутливый, веселый, неистощимый и увлекательный собеседник, всегда улыбающийся, но никогда не смеющийся, он говорил самым изысканным тоном самые циничные вещи, – и все сходило ему с рук. Женщины, даже самые скромные, сами дивились тому, как они могут терпеливо выслушивать все, что он осмеливается говорить. Они отлично понимали, что надо рассердиться, но у них не хватало духу. Ему нужны были только падшие женщины, и я не думаю, чтоб он был создан для того, чтоб иметь успех в жизни, но его призванием было вносить бесконечное очарование в круг людей, имевших этот успех. Трудно было допустить, чтобы, обладая столькими приятными талантами и находясь в стране, где их любят и знают в них толк, он долго остался в узком кругу музыкантов.

Мое увлечение Вантюром, более разумное в своем основании, не вызывало с моей стороны и тех сумасбродств, на которые толкнуло меня увлечение Баклем, хотя было сильней и продолжительней. Мне очень было приятно видеться с ним и слушать его; все его поступки казались мне очаровательными, все его слова – изречениями оракула, – но моя привязанность не доходила до того, чтобы я не был в состоянии расстаться с ним. У меня было под рукой отличное предохранительное средство против такой крайности. К тому же, находя, что его убеждения очень хороши для него, я чувствовал, что они не годятся для меня: у меня была потребность в другого рода наслаждениях, о которых он не имел понятия; я не решался говорить ему о них, зная, что он поднимет меня на смех. Тем не менее мне хотелось согласовать эту привязанность с той, которая владела мною. Я с восторгом рассказывал о нем маменьке; г-н Леметр отзывался о нем с похвалой. Она согласилась, чтобы его привели к ней. Но эта встреча совсем не удалась; он нашел ее жеманной, она его – распущенным; и, боясь, что это знакомство будет иметь для меня дурные последствия, она не только запретила мне снова приводить его к ней, но так ярко описала мне всю опасность, которой я подвергаюсь в обществе этого молодого человека, что я стал немного более осмотрительным в своем увлечении; и, к счастью для моей нравственности и головы, мы вскоре с ним расстались.

У г-на Леметра были вкусы, свойственные его профессии: он любил вино. За столом он, впрочем, был воздержан, но, работая у себя в кабинете, обязательно выпивал. Его служанка так хорошо знала это, что, как только он приготовлял бумагу для композиции и брался

за виолончель, сейчас же появлялась с кувшином и стаканом, и содержимое кувшина время от времени возобновлялось. Никогда не бывая пьян, он всегда был под хмельком, и это было поистине жаль, потому что, в сущности, он был добрый малый и такой веселый, что маменька звала его не иначе как «котенком». К несчастью, он любил свое искусство и работал много, но пил столько же. Это влияло на его здоровье, а в конечном счете и на расположение духа. Порой он бывал сумрачен и обидчив. Не способный к грубости, не способный обидеть кого бы то ни было, он ни разу не сказал дурного слова, даже маленьким певчим; однако не надо было обижать и его; и это было справедливо. Но беда была в том, что, не имея большого ума, он не разбирался в оттенках и в характерах и часто принимал муху за слона.

Старинный капитул Женевы, принадлежность к которому некогда считали за честь для себя принцы и епископы, в изгнании потерял былую пышность, но сохранил гордость. Чтобы получить в него доступ, по-прежнему надо было быть дворянином или доктором Сорбонны{77}, и если есть извинительная гордость, то это прежде всего гордость, основанная на личных заслугах, но затем также и та, которая основана на происхождении. К тому же все священники, которые держат у себя на службе мирян, обычно обходятся с ними довольно высокомерно. Именно так обращались зачастую каноники с бедным Леметром. Особенно регент, аббат де Видони, – человек, впрочем, очень любезный, но слишком кичившийся своим благородным происхождением; он не всегда относился к Леметру так, как заслуживали его таланты, а тот в свою очередь неохотно мирился с этим пренебрежением. В тот год на святой у них произошло столкновение более резкое, чем раньше, – за обедом, который епископ, по обыкновению, давал каноникам и на который Леметра всегда приглашали. Регент довольно бесцеремонно с ним обошелся и сказал ему какую-то грубость, которую тот не мог переварить. Он тут же принял решение бежать следующей ночью, и ничто не могло заставить его изменить это решение, хотя г-жа де Варане, к которой он пришел проститься, приложила все усилия, чтобы успокоить его. Он не мог отказать себе в удовольствии отомстить своим тиранам, поставив их в затруднительное положение в праздник Пасхи, когда в нем особенно нуждались. Но он сам был в большом затруднении, он хотел увезти с собой ноты, что было делом нелегким, так как ими был наполнен целый ящик, довольно большой и настолько увесистый, что его нельзя было унести под мышкой.

Маменька поступила так, как поступил бы и я на ее месте. После многих тщетных усилий удержать его, видя, что он решил уехать во что бы то ни стало, она вознамерилась помочь ему всем, чем могла. Осмеливаюсь заметить, что это был ее долг; Леметр, можно сказать, посвятил всего себя службе ей. Во всем, что касалось его искусства, и во всем, что относилось к ее делам, он был всецело в ее распоряжении, и сердечность, с которой он служил ей, придавала его любезности особую цену. Таким образом, она только возвращала другу в важном для него случае то, что он делал для нее по мелочам в течение трех или четырех лет; но душа была у нее такая, что для исполнения подобных обязанностей ей вовсе не надо было думать о том, что было сделано лично для нее. Она позвала меня, приказала мне проводить г-на Леметра по крайней мере до Лиона и оставаться при нем до тех пор, пока я буду ему нужен. Впоследствии она призналась мне, что желание отдалить меня от Вантюра сильно способствовало этому решению. Она посоветовалась со своим верным слугой Клодом Анэ о перевозке ящика. Он был того мнения, что, вместо того чтоб нанимать в Аннеси вьючное животное, которое неизбежно выдало бы нас, надо отнести ящик ночью на руках на известное расстояние и потом нанять в деревне осла, чтобы доставить ящик до Сейселя, где, находясь на территории Франции, мы уже ничем не будем рисковать. Его совет был принят, и в тот же вечер, в семь часов, мы отправились; маменька под предлогом оплаты моих издержек наполнила кошелек бедного «котенка» далеко не лишним для него прибавлением. Клод Анэ, садовник и я кое-как дотащили ящик до ближайшей деревни, где нас сменил осел, и в ту же ночь мы отправились в Сейсель.

Я, кажется, уже упоминал о том, что по временам бываю так мало похож на самого себя, что меня можно принять за другого человека, с характером, прямо противоположным моему собственному. Сейчас придется рассказать как раз о таком случае. Г-н Рейдле, кюре в Сейселе, был каноником св. Петра, – следовательно, знал Леметра, и от него-то последний должен был больше всего скрываться. Вместо того я посоветовал Леметру пойти представиться ему и под каким-нибудь предлогом попросить у него крова, как будто мы прибыли туда с разрешения капитула. Эта идея, придавшая мести Леметра насмешливый и забавный оттенок, пришлась ему по вкусу. И вот мы нахально явились к г-ну Рейдле, который принял нас очень хорошо. Леметр заявил, что по просьбе епископа направляется в Белле управлять хором во время праздника Пасхи и рассчитывает вернуться через несколько дней, а я, чтобы поддержать эту басню, сплел целую сотню новых, настолько правдоподобных, что г-н Рейдле, находя меня красивым мальчиком, отнесся ко мне благосклонно и обласкал меня. Нас хорошо накормили и уложили спать. Г-н Рейдле не знал, чем только угодить нам, и мы расстались лучшими друзьями, дав обещание остановиться у него подольше на обратном пути. Мы еле могли дождаться минуты, когда останемся одни, чтобы разразиться хохотом, и, признаюсь, при одном воспоминании об этом меня снова разбирает смех, так как невозможно представить себе проделки более удачной и лучше разыгранной. Она увеселяла бы нас всю дорогу, если б только с Леметром, не переставшим пить и нести околесицу, не случилось два или три припадка, к которым у него была склонность и которые очень напоминали падучую. Это поставило меня в затруднительное положение, очень меня испугавшее, и мне захотелось любым способом поскорее выпутаться из него.

Мы, как и сказали г-ну Рейдле, отправились в Белле провести праздник Пасхи и, хотя нас там не ждали, были встречены учителем музыки и приняты всеми с большой радостью. Г-н Леметр пользовался вполне заслуженным уважением за свое искусство. Учитель музыки в Белле счел за честь для себя познакомить его с лучшими своими произведениями и постарался снискать одобрение такого хорошего судьи, так как Леметр был не только знатоком, но и человеком справедливым, чуждым зависти и лести. Он был настолько выше всех провинциальных учителей музыки, что они, сами хорошо понимая это, видели в нем скорее своего главу, чем собрата.

Проведя очень приятно четыре или пять дней в Белле, мы отправились дальше и продолжали свой путь без всяких приключений, кроме тех, о которых я только что говорил. Прибыв в Лион, мы расположились в Нотр-Дам-де-Питье{78} в ожидании нашего ящика, который мы послали водой по Роне, пустив в ход другую выдумку и воспользовавшись при этом услугами нашего доброго покровителя Рейдле. Леметр отправился навестить своих знакомых, в том числе отца Катона, монаха кордельера, о котором мне еще придется говорить, и аббата Дортана, графа Лионского. Тот и другой приняли его хорошо; но они же и предали его; после г-на Рейдле счастье ему изменило.

Через два дня после нашего прибытия в Лион, когда мы проходили по маленькой уличке, недалеко от нашей гостиницы, с Леметром сделался припадок, и на этот раз такой сильный, что я пришел в ужас. Я принялся кричать, звать на помощь, назвал гостиницу и умолял, чтобы его перенесли туда; и вот, когда чужие люди толпились и хлопотали возле человека, упавшего без сознанья и с пеной у рта посреди улицы, он был покинут единственным другом, на которого должен был рассчитывать. Я воспользовался минутой, когда никто обо мне не думал, повернул за угол и скрылся. Слава богу, вот я сделал третье мучительное признанье. Если бы мне оставалось еще много подобных, я бросил бы начатый труд.

Некоторые следы того, о чем я рассказывал до сих пор, еще сохранились в местах, где я жил, но то, о чем я буду говорить в следующей книге, почти целиком неизвестно. Вот самые большие сумасбродства в моей жизни, и счастье, что они еще не так плохо кончились. Но моя голова, настроенная на лад чужого инструмента, вышла тогда за пределы своего диапа-

зона; она вернулась в них сама собой; и тогда я прекратил свои безумства или по крайней мере стал совершать другие, более свойственные моей природе. Об этой эпохе моей юности у меня сохранилось самое смутное воспоминанье. В то время не произошло почти ничего, настолько интересного для моего сердца, чтобы я мог живо воспроизвести воспоминание об этом; очень трудно при таких постоянных передвижениях, при такой частой перемене обстановки не сделать каких-либо ошибок во времени и месте. Я пишу исключительно по памяти, не пользуясь никакими вещественными или письменными материалами, которые могли бы мне напомнить ту эпоху. Иные события моей жизни так живо представляются мне, будто они только что произошли; но некоторые пробелы и промежутки я могу заполнить только при помощи рассказов, столь же смутных, как и те воспоминания, которые у меня остались об этом времени. Таким образом, я мог не раз допустить ошибки, и я буду делать их в пустяках вплоть до того времени, о котором у меня сохранились более отчетливые воспоминания; но я уверен, что во всем действительно важном для моей темы я буду точным и постараюсь быть правдивым, как всегда; на это можно твердо рассчитывать.

Едва я покинул Леметра, решение мое было принято, – и я отправился в Аннеси. Причина и таинственность нашего отъезда заставляли меня придавать большое значение безопасности нашего убежища; забота об этом поглощала меня целиком в течение нескольких дней и отвлекала от мысли о возвращении; но после того как сознание безопасности немного успокоило меня, господствующее чувство заняло вновь свое место. Ничто меня не привлекало, ничто не соблазняло, мной владело только одно желание – снова вернуться к маменьке. Нежность и искренность моей привязанности к ней с корнем вырвали из моего сердца все фантастические проекты, все безумства честолюбия. Я не мог представить себе иного счастья, кроме счастья жить подле нее, и я не мог сделать ни шага, не почувствовав, что удаляюсь от него. И вот я опять вернулся туда, лишь только это стало возможным. Мое возвращение было так поспешно, и я так мало замечал окружающее, что, хотя я с таким удовольствием вспоминаю все другие свои путешествия, у меня не сохранилось ни малейшего воспоминания об этом; я не помню о нем ничего, кроме моего отъезда из Лиона и прибытия в Аннеси. Пусть судят, мог ли этот последний момент выпасть из моей памяти! Прибыв в Аннеси, я не нашел там г-жи де Варане: она уехала в Париж.

Для меня навсегда осталась тайной причина этой поездки. Она открыла бы мне ее – я твердо убежден в этом, – если б я настаивал, но никогда не было человека, менее меня проявлявшего любопытство к тайнам своих друзей; мое сердце, занятое исключительно настоящим, заполнено им все целиком, и, кроме прошлых радостей, составляющих теперь единственную мою отраду, в нем не остается ни одного пустого уголка для того, чего больше нет. Из того немногого, что она сообщила мне, я как будто уловил, что после переворота в Турине, вызванного отречением сардинского короля{79}, она боялась быть забытой и решила попробовать при помощи интриг г-на д’Обона добиться тех же преимуществ при французском дворе; по ее словам, она даже предпочла бы покровительство последнего, так как там множество важных дел, и ее не стали бы держать под таким неприятным присмотром. Очень странно, однако, что по ее возвращении ей не оказали дурного приема и она всегда пользовалась своей пенсией без всякого перерыва. Многие полагали, что на нее была возложена некая секретная миссия или епископом, имевшим тогда дела при французском дворе, куда он и сам вынужден был выехать, или кем-нибудь еще более могущественным, кто мог обеспечить ей благополучное возвращение. Если все это правда, то выбор посланницы можно считать безусловно удачным: она была еще молода, красива и обладала всеми способностями, необходимыми для того, чтобы справиться с таким поручением.

Книга четвертая
(1730–1731)

Приезжаю и уже не застаю ее. Пусть представят себе мое удивление и горе! Вот когда я почувствовал раскаянье, что так предательски покинул Леметра. Но оно стало еще острее, когда я узнал о постигшем его несчастии. Ящик с нотами, заключавший в себе все его богатство, – драгоценный ящик, спасенный ценою таких усилий, – по прибытии в Лион был захвачен стараниями Дортана, уведомленного, по распоряжению женевского капитула, о тайном похищении. Напрасно требовал Леметр, чтобы ему вернули его имущество – средство к существованию, труд всей его жизни. Собственность на этот ящик могла бы быть установлена хотя бы судом; его не было. Дело было решено в одно мгновение законом сильнейшего, и, таким образом, бедный Леметр лишился плодов своего таланта, труда всей своей молодости и обеспечения на старость.

Налицо было все, чтобы сделать полученный мною удар сокрушающим. Но я был в том возрасте, когда даже большие неприятности не подавляют, и скоро я принялся изобретать себе утешения. Я рассчитывал в недалеком будущем получить какие-нибудь известия от г-жи де Варане, хотя не знал ее адреса, а она не была осведомлена о моем возвращении. Что касается моего дезертирства, то, взвесив все, я не считал его в конце концов таким преступным. Я был полезен г-ну Леметру во время его бегства, – вот единственная услуга, которую я мог ему оказать.

Если б я остался с ним во Франции, я не вылечил бы его, не спас бы его ящика, а только удвоил бы его расходы, не имея возможности принести ему никакой пользы. Вот как смотрел я тогда на это дело. Теперь смотрю иначе. Дурной поступок мучает нас не тогда, когда он только что совершен, а когда спустя долгое время вспоминаешь его, потому что память о нем не угасает.

Единственно, что я мог предпринять, чтобы получить известия о маменьке, это ожидать их. Где же было искать ее в Париже и на какие средства совершить путешествие туда? Не было места более верного, чем Аннеси, чтобы рано или поздно узнать, где она. И я остался там. Но вел я себя довольно плохо. Я не пошел к епископу, который оказал мне покровительство и мог оказать его в дальнейшем: возле него не было моей заступницы, и я боялся выговора за наше бегство. Тем более не пошел я в семинарию: г-на Гро там уже не было. Я не повидался ни с кем из своих знакомых, и хотя мне очень хотелось посетить жену интенданта, я не осмелился пойти к ней. Я сделал нечто худшее: разыскал Вантюра, о котором, несмотря на все свое восхищение, с самого отъезда ни разу даже не вспомнил. Он стал блестящим баловнем всего Аннеси; среди дам он был нарасхват. Такой успех окончательно вскружил мне голову; я виделся только с г-ном Вантюром, и он заставил меня почти забыть о г-же де Варане. Чтобы пользоваться его уроками с большим удобством, я предложил ему разделить со мной его жилье; он согласился. Квартировал он у сапожника, забавного человека, большого шутника, называвшего жену не иначе как «неряха», – прозвище вполне заслуженное. У него происходили с ней стычки, которые Вантюр старался продлить, делая вид, будто добивается обратного. Он говорил им холодным тоном, с провансальским акцентом, слова, производившие чрезвычайный эффект; от этих сцен можно было помереть со смеху. Таким образом, утро проходило незаметно; в два или три часа мы закусывали, Вантюр отправлялся к своим знакомым, где и ужинал, а я шел один гулять, размышляя о его великих достоинствах и проклиная свою злосчастную звезду, не призывавшую меня к той же счастливой жизни. Как плохо я в этом разбирался! Моя жизнь была бы во сто крат более радостной, если б я был не так глуп и умел лучше наслаждаться ею. Г-жа де Варане взяла с собой только Клода Анэ; она оставила дома свою горничную Мерсере, о которой я уже упоминал, и та по-

прежнему занимала помещение своей хозяйки. М-ль Мерсере, немного постарше меня, была девушка не то чтобы красивая, но довольно приятной наружности, бесхитростная, добродушная уроженка Фрибура; я не знал за ней других недостатков, кроме того, что она порой бывала строптива со своей госпожой. Я довольно часто заходил к ней; это была старая знакомая, напоминавшая мне более дорогое существо, и это заставляло меня любить ее. У нее было несколько подруг, между прочим некая м-ль Жиро, уроженка Женевы, которой я, как на грех, понравился. Она постоянно упрашивала Мерсере привести меня с собой; я давал себя увлечь потому, что хорошо относился к м-ль Мерсере, и потому, что там бывали и другие молодые девушки, с которыми мне было приятно встречаться. М-ль Жиро всячески заигрывала со мной, но невозможно передать, какое великое отвращение я питал к ней. Когда она приближала к моему лицу свою сухую черную физиономию, перепачканную в испанском табаке, я еле сдерживался, чтобы не плюнуть. Но я вооружался терпением: если б не она, мне было бы очень хорошо среди всех этих девушек; для того ли, чтобы подслужиться к м-ль Жиро, или ради меня самого, они все наперебой баловали меня. Я видел во всем этом только дружеское расположение. Впоследствии я сообразил, что от меня самого зависело получить нечто большее; но в то время это не приходило мне в голову.

К тому же портнихи, горничные, продавщицы не прельщали меня – мне нужны были барышни. У каждого свои причуды; такова была моя; на этот счет я другого мнения, чем Гораций. Однако меня влечет не тщеславие, а чувственность, – более свежий цвет лица, более красивые руки, более изящный наряд, общее впечатление утонченности и чистоты во всей внешности, больший вкус в манере одеваться и в выражениях, более изысканное и лучше сшитое платье, более изящная обувь, ленты, кружева, более удачная прическа. Я всегда отдам предпочтение женщине менее красивой, но имеющей больше всего этого. Я сам нахожу это предпочтение смешным, но мое сердце отдает его помимо моей воли.

И вот эти преимущества снова были налицо, и от меня зависело воспользоваться ими. Как радостно мне время от времени снова воскресить в памяти приятные мгновенья моей молодости! Они были так сладостны! Они были так кратки, так редки, и я наслаждался ими, так мало платя за это! Ах, одно воспоминание о них еще пробуждает в моем сердце чистую радость, необходимую для того, чтобы снова придать мне бодрости и помочь мне переносить невзгоды на склоне моих дней.

Однажды утром заря показалась мне такой прекрасной, что, наскоро одевшись, я поспешил выбраться за город, чтобы полюбоваться восходом солнца. Я насладился этим зрелищем во всем его очаровании. Это было через неделю после Иванова дня. Земля, надевшая самый пышный свой наряд, была покрыта травой и цветами; соловьи, перед тем как совсем прекратить свое пение, как будто нарочно распевали особенно громко; все птицы, хором прощаясь с весной, славили рождение прекрасного летнего дня, одного из тех, каких уже не увидишь в моем возрасте и каких никогда не видали в унылой местности, где я теперь живу.

Я не заметил, как удалился от города; жара усиливалась, и я прогуливался под тенью деревьев в небольшой долине, где протекал ручей. Вдруг я услышал позади себя стук лошадиных копыт и девичьи голоса; девушки, казалось, попали в затруднительное положение, но тем не менее смеялись от души. Оборачиваюсь: меня называют по имени; подхожу и вижу двух знакомых мне молодых особ, м-ль де Графенрид и м-ль Галлей, которые, не будучи особенно искусными наездницами, не знали, как заставить своих лошадей перейти через ручей. М-ль де Графенрид была уроженка Берна, молодая, очень милая девица. Вследствие какого-то легкомысленного поступка, свойственного ее возрасту, она была выброшена за пределы своей родины и последовала примеру г-жи де Варане, у которой я иногда встречал ее. Не обеспеченная, однако, никакой пенсией, она обрадовалась возможности пристроиться к м-ль Галлей; последняя сразу почувствовала к ней дружеское расположение, упросила свою мать пригласить ее в качестве компаньонки, пока ее не удастся куда-нибудь устроить. М-

ль Галлей была на год моложе и еще миловиднее; в ней было что-то более нежное, более утонченное: она была хрупкая, но в то же время сформировавшаяся, и находилась в расцвете девической красоты. Они нежно любили друг друга, и хороший характер обеих сулил их дружбе долговечность, нарушить которую мог бы только какой-нибудь возлюбленный. Они рассказали мне, что едут в Тун, старинный замок, принадлежащий г-же Галлей.

Они умоляли меня помочь им, так как сами не могли справиться с лошадьми и заставить их перейти ручей. Я хотел было прибегнуть к хлысту, но они испугались, что я пострадаю от ударов копыт, а они сами от неожиданных скачков.

Тогда я придумал другой способ: я взял за повод лошадь м-ль Галлей и, ведя ее за собой, перешел ручей по колена в воде; другая лошадь послушно последовала за первой. Покончив с этим делом, я хотел, как дурак, раскланяться с барышнями и идти своей дорогой. Они вполголоса перекинулись несколькими словами, и м-ль де Графенрид произнесла, обращаясь ко мне: «Нет, нет! От нас так легко не отделаешься. Вы вымокли, желая оказать нам услугу, и мы, по совести, должны позаботиться о том, чтобы вы могли как следует обсушиться. Извольте идти с нами, – мы берем вас в плен». Сердце мое билось, я смотрел на м-ль Галлей. «Да, да, – прибавила она, смеясь над моим испуганным видом, – вы наш пленник: садитесь на лошадь позади моей подруги, мы хотим рассчитаться с вами». – «Но, сударыня, я не имел чести быть представленным вашей матушке: что она скажет, увидев меня?» – «Ее матери нет в Туне, – перебила м-ль де Графенрид. – Мы одни. В город вернемся сегодня вечером, и вы вернетесь с нами».

Эти слова подействовали на меня как электрический ток. Задрожав от радости, я кинулся к лошади м-ль де Графенрид, а когда пришлось обхватить наездницу руками, чтобы не соскользнуть с седла, сердце мое забилось так сильно, что она это заметила; она сказала мне, что боится упасть, сердце у нее тоже бьется; принимая во внимание обстановку, это было почти приглашением проверить сказанное на деле. Но я не осмелился, и во время всего переезда обе руки мои служили ей поясом, – правда, довольно тугим, но ни на минуту не изменившим своего положения. Иная женщина, прочтя это, охотно надавала бы мне пощечин и была бы права.

Веселое путешествие и болтовня девушек сделали меня до такой степени разговорчивым, что до самого вечера и во все время, пока мы были вместе, мы не умолкали ни на минуту. Они привели меня в такое хорошее настроение, что мой язык говорил столько же, сколько мой взгляд, хоть и не то же самое. Только изредка, на несколько секунд, пока я находился наедине с той или другой из них, беседа становилась несколько более принужденной, но отлучавшаяся быстро возвращалась, не давая нам времени рассеять замешательство.

По приезде в Тун, после того как я просушил свою одежду, мы позавтракали. Затем нужно было перейти к важному занятию приготовления обеда. Стряпая, девушки время от времени целовали детей арендаторши, а бедный поваренок только смотрел на них, не говоря ни слова. Провизию прислали из города, и было из чего приготовить прекрасный обед, особенно по части лакомства; но, к сожалению, позабыли о вине. Эта забывчивость не удивила девушек, которые вовсе его не пили, но мне было досадно, так как я немного рассчитывал на это средство, чтобы придать себе смелости. Им это тоже было неприятно, – может быть, по той же причине, но я этого не думаю. Их оживление и очаровательная веселость были воплощением невинности, да и на что я им был один на двоих? Они послали поискать вина в окрестностях, но его нигде не нашлось – настолько трезвы и бедны жители этого кантона. Когда барышни высказали мне свое сожаление по этому поводу, я попросил их не огорчаться, заявив, что они и без вина опьяняют меня. Это была единственная любезность, которую я осмелился сказать им за целый день, но, мне думается, плутовки отлично видели, что она соответствует действительности.

Мы обедали в кухне арендаторши; подруги сидели на скамейках по обе стороны длинного стола, а их гость – между ними, на трехногой табуретке. Что это был за обед! Какое очаровательное воспоминание! Зачем, имея возможность без всякого ущерба наслаждаться такими чистыми и подлинными радостями, желать других? Никакой ужин в парижских ресторанах не может сравниться с этим обедом, – я говорю не только о веселье, о тихой радости, но также о самом удовольствии от еды. От обеда мы кое-что сэкономили: вместо того чтобы выпить кофе, оставшийся у нас от завтрака, мы приберегли его, чтобы полакомиться им со сливками и пирожными, которые они привезли с собой, а чтобы не дать нашему аппетиту заглохнуть, мы отправились в сад закончить нашу трапезу вишнями. Я влез на дерево и кидал им пригоршни вишен, а они сквозь ветви бросали в меня косточками. Раз м-ль Галлей, протянув фартук и откинув голову, стала так удобно, а я прицелился так метко, что одна пригоршня попала прямо ей на грудь. Сколько было смеху! Я говорил себе: «Зачем мои губы – не вишни! С каким наслаждением они коснулись бы ее груди!»

День прошел в шалостях, совершенно непринужденных, но чуждых всякой непристойности. Ни одного двусмысленного слова, ни одной рискованной шутки; и это соблюдение приличий вовсе не было преднамеренным: оно создавалось само собой, мы усваивали тон, который диктовали нам наши сердца. Одним словом, моя скромность (иные скажут – моя глупость) была такова, что самая большая вольность, которую я себе позволил, заключалась в том, что я один-единственный раз поцеловал руку м-ль Галлей. Правда, обстоятельства придавали этой незначительной милости с ее стороны особую цену. Мы были одни, я задыхался от волнения, ее глаза были опущены; я не находил нужных слов, но дерзнул прильнуть губами к ее руке; она тихонько отвела руку после моего поцелуя, бросив на меня ничуть не гневный взгляд. Не знаю, что я мог бы сказать ей: вошла ее подруга, в это мгновение показавшаяся мне некрасивой.

Наконец они вспомнили, что не следует дожидаться ночи для возвращения в город. У нас едва оставалось достаточно времени, чтобы вернуться засветло, и мы поспешили тронуться в путь в том же порядке, как приехали. Если б я посмел, я изменил бы этот порядок, так как взгляд м-ль де Галлей живо затронул мое сердце; но я не осмелился ничего сказать, а она, конечно, не могла предложить это. В пути мы жалели о том, что день кончился, но нисколько не жаловались на то, что он был короток, – напротив, мы считали, что нам удалось сделать его долгим при помощи тех развлечений, которыми мы заполнили его.

Я покинул их недалеко от того самого места, где они встретили меня. С каким сожалением мы расстались! С каким удовольствием намечали новую встречу! Двенадцать часов, проведенных вместе, равнялись для нас целым столетиям близкого знакомства. Сладкое воспоминание об этом дне не было связано для этих милых девушек ни с каким ущербом, нежное единение, царившее между нами троими, не уступало в наших глазах более острым наслаждениям и не могло бы с ними ужиться. Мы любили друг друга без тайн и стыда и хотели и впредь любить друг друга такой любовью. В невинных отношениях есть своя доля сладострастия, которое не уступает другому его виду, так как не знает перерывов и длится долго. Что касается меня, то я знаю, что память об этом прекрасном дне трогает, очаровывает меня и более свежа в моем сердце, чем воспоминание о других радостях, когда-либо испытанных мной. Я сам не знал как следует, чего хотел от этих двух прелестных девушек, но обе очень привлекали меня. Я не говорю, что, если б это от меня зависело, разделил бы свое сердце: я чувствовал, что в нем уже возникло предпочтение. Я считал бы за счастье иметь любовницей м-ль де Графенрид; однако если бы я мог выбирать, то предпочел бы иметь ее наперсницей. Как бы то ни было, когда я расставался с ними, мне казалось, что я не могу жить без той и без другой. Кто сказал бы мне, что я больше никогда в жизни не увижу их и что наша эфемерная любовь кончится на этом!

Те, кто это прочтет, посмеются, конечно, над моими любовными приключениями, увидев, что после долгих предисловий самые смелые из них кончаются поцелуем руки. О мои читатели! Не заблуждайтесь! Любовь, завершившаяся поцелуем руки, приносила мне, быть может, больше радостей, чем вы когда-нибудь испытаете от своей любви, начав по меньшей мере с этого.

Вантюр, который накануне лег спать очень поздно, вернулся вскоре после меня. На этот раз я увидел его с меньшим удовольствием, чем обыкновенно, и поостерегся сообщить ему, как провел день. Барышни отзывались о нем весьма неуважительно и, казалось, были недовольны, что я попал в такие дурные руки; это повредило ему в моем мнении; да и все, что отвлекало меня от них, не могло быть мне приятным. Однако он скоро привлек мое внимание к себе и ко мне самому, заговорив о моем положении. Оно было весьма критическим и не могло долго продолжаться. Хотя я тратил очень мало, мои скромные сбережения подходили к концу: я оставался без всяких средств. От маменьки не было никаких известий; я не знал, что делать, и сердце мое больно сжималось при мысли, что друг м-ль Галлей доведен до нищеты.

Вантюр сказал мне, что говорил обо мне с помощником сенешаля{80} и хочет завтра пойти со мной к нему: помощник сенешаля может быть мне полезен через своих друзей; вообще это хорошее знакомство – человек он умный и начитанный, очень приятный в обхождении, у него есть кое-какие таланты, и он умеет ценить их в других. Потом, по своему обыкновению, примешивая легкомысленный вздор к самым серьезным вопросам, Вантюр показал мне забавный куплет, полученный из Парижа, на мотив из оперы Муре, шедшей в то время. Этот куплет так понравился г-ну Симону (так звали помощника сенешаля), что он захотел сочинить в ответ такой же и на тот же мотив. Он велел Вантюру тоже написать такой куплет, а тому пришла в голову шальная мысль заставить меня сочинить третий, – по его словам, для того, чтобы увидеть на другой день появление этих куплетов, подобно носилкам в «Комическом романе»{81}.

Ночью мне не спалось, и я написал куплет как сумел. Для первых стихов, когда-либо сочиненных мной, они были вполне сносны, во всяком случае, с большим вкусом сложены, чем если б я написал их накануне, так как темой их были очень нежные отношения, к которым мое сердце было теперь так расположено. Утром я показал свой куплет Вантюру; он одобрил его и положил в карман, не сказав мне даже, сочинил ли сам то, что ему полагалось. Мы пошли обедать к Симону, который хорошо принял нас. Беседа была интересная, да и не могла быть иной, так как вели ее два умных человека, которым к тому же чтение пошло впрок. Что касается меня, то я исполнял свою роль: слушал и молчал. Ни тот ни другой не говорили о куплетах; я тоже молчал об этом, и, насколько мне известно, о моем произведении речь так и не заходила.

Г-н Симон, видимо, остался доволен моими манерами: это едва ли не все, что он заметил во мне за это свидание. Он уже несколько раз встречал меня до того у г-жи де Варане, но не обращал на меня особенного внимания. Таким образом, я могу считать именно этот обед началом нашего знакомства, и хотя оно не принесло мне никакой пользы для достижения той цели, ради которой я его завел, впоследствии я извлек из него немало других выгод и с удовольствием вспоминаю о нем.

Я поступил бы неправильно, если б не упомянул о его наружности, потому что при его судейском звании и остроумии, которым он любил щегольнуть, трудно было бы представить ее себе, если б я умолчал об этом. Помощник сенешаля Симон был ростом не выше двух футов. Его ноги, прямые, тонкие и даже довольно длинные, значительно увеличили бы его рост, если бы были вертикальны; но дело в том, что они были расставлены вкось, как ножки широко раздвинутого циркуля. Туловище у него было не только короткое, но и тощее и во всех отношениях невероятно малых размеров. Голый, он, наверно, был очень похож

на кузнечика. Черты лица были у него правильные, благородные, глаза довольно красивые, голова нормальной величины и казалась чужой, словно ее насадили на обрубок. Он мог не тратиться на нарядное платье, так как его большой парик одевал его с головы до ног.

У него было два голоса, совершенно различных, которые постоянно перемежались во время разговора, представляя контраст, сначала очень забавный, но скоро становившийся очень неприятным. Один был важный и звучный, – это был, если смею так выразиться, голос его головы. Другой, высокий, резкий и пронзительный, был голосом его туловища. Когда он прислушивался к себе, говорил не спеша, берег дыхание, он мог говорить все время низким голосом; но как только он увлекался и начинал говорить с жаром, голос его становился похожим на свист в ключ, и ему стоило громадных усилий снова заговорить басом.

При такой наружности, описанной мною без всякого шаржа, г-н Симон был галантен, большой мастер говорить любезности и доводил до кокетства заботу о своем наряде. Стремясь показаться людям в выгодном для себя положении, он охотно давал утренние аудиенции, лежа в постели, так как никто, видя на подушке красивую голову, не подумал бы, что, кроме головы, больше ничего нет. Это давало повод к сценам, о которых, вероятно, помнит еще весь Аннеси.

Однажды утром, когда он ожидал просителей, лежа в постели или, вернее, возлежа на ней, в нарядном ночном чепце, очень тонкого полотна и очень белом, украшенном двумя большими буфами из розовых лент, – является крестьянин. Стучится в дверь. Служанки в комнате не было. Г-н Симон, услыхав повторный стук, крикнул: «Войдите», и этот возглас, довольно громкий, прозвучал визгливо. Крестьянин входит, старается разобрать, откуда исходит этот женский голос, видит в постели чепец, банты и хочет удалиться, принеся даме свои извинения. Г-н Симон сердится и принимается кричать еще пронзительней. Крестьянин, еще более убежденный в правильности своего предположения и считая себя оскорбленным, начинает ругать обидчицу, – говорит, что она, видно, просто потаскушка и что г-н помощник сенешаля подает у себя в доме плохие примеры. Разъяренный г-н сенешаль, не имея под рукой другого оружия, кроме ночного горшка, уже готов был пустить его в голову бедного малого, но тут вошла домоправительница.

Этот карлик, столь жестоко обездоленный природой в отношении внешности, получил возмещение со стороны ума: его ум был тонок от природы, и он постарался украсить его. Он считался хорошим юристом, но не любил своего ремесла. Он пустился в изящную литературу и достиг здесь некоторого успеха. Он усвоил себе из нее главным образом блестящую форму, красоту слова, придающую приятность всякой беседе, даже с женщинами. Он знал наизусть все остроты, помещаемые в сборниках шуток и каламбуров, и умел удачно их преподнести, передавая интересно, таинственно и как недавнее происшествие то, что случилось лет шестьдесят тому назад. Он знал музыку и недурно пел низким, мужским голосом, – словом, обладал разнообразными талантами, необычными для судьи. Умея угождать дамам Аннеси, он вошел среди них в большую моду: они держали его при себе, как маленькую ручную обезьяну. Он претендовал даже на настоящий успех, и это очень их забавляло. Некая г-жа Эпаньи говорила, что высшею милостью для него было поцеловать женщине колено.

Так как он читал много хороших книг и охотно говорил о них, беседа с ним была не только интересна, но и поучительна. Впоследствии, когда я вошел во вкус научных занятий, я дорожил знакомством с ним, и оно было мне на пользу. Иногда я ходил к нему из Шамбери, где жил в то время.

Он хвалил и поощрял мое рвение и давал мне хорошие советы по части выбора книг, нередко очень дельные. К несчастью, в этом тщедушном теле таилась очень чувствительная душа. Несколько лет спустя с ним случилась какая-то неприятная история, которая огорчила его, и он от этого умер. Мне его жаль; он был безусловно хороший человек; обычно над ним сначала смеялись, но в конце концов привязывались к нему. Хотя жизнь его была мало

связана с моей, я получил от него полезные уроки и считаю себя вправе из чувства благодарности посвятить ему краткое воспоминание.

Как только я освободился, я побежал на ту улицу, где жила м-ль Галлей, льстя себя надеждой, что увижу, как кто-нибудь войдет или выйдет, или хотя бы откроется окно. Не тут-то было! Не появилось ни души; и за все время, что я стоял там, дом оставался запертым, как будто в нем никто не жил. Улица была небольшая и пустынная, человека сразу можно было на ней заметить; время от времени кто-нибудь проходил или выходил из дома поблизости. Меня очень смущал мой вид: мне казалось, что все замечают, для чего я стою здесь, и эта мысль терзала меня, так как я всегда предпочитал своим удовольствиям честь и спокойствие тех женщин, которые были мне дороги.

Наконец, устав изображать влюбленного испанца и не имея гитары, я решил пойти домой и написать м-ль де Графенрид письмо. Я предпочел бы написать ее приятельнице, но не осмеливался: приличия требовали, чтобы я обратился сначала к тому, кому был обязан знакомством с интересовавшей меня особой и кого я лучше знал. Написав письмо, я отнес его к м-ль Жиро, как было условлено между нами при прощании. Они сами указали мне этот путь. М-ль Жиро была вышивальщица и, так как работала иногда у г-жи Галлей, имела свободный доступ к ней в дом. Выбор посредницы казался мне не особенно удачным, но я боялся, что, возражая против этой, не получу взамен другой. Кроме того, я не посмел сказать, что она не прочь действовать в своих собственных интересах. Мне казалось оскорбительным, что она может считать себя в моих глазах представительницей того же пола, что и эти барышни. Наконец я предпочитал этот способ передачи отсутствию всякого другого и решил пойти на риск.

Жиро с первого слова угадала, в чем дело: это было нетрудно. Если бы даже письмо, предназначенное для молодых девушек, не говорило само за себя, мой глупый и смущенный вид тотчас выдал бы меня. Понятно, что это поручение доставляло ей не слишком большое удовольствие, однако она согласилась и выполнила его добросовестно. На следующее утро я побежал к ней и получил ответ, уже ожидавший меня. Как я торопился уйти, чтобы читать и целовать его вволю! Об этом нет нужды говорить. Но заслуживает быть отмеченным поведение м-ль Жиро: она проявила больше деликатности и скромности, чем я мог бы от нее ожидать. Имея достаточно здравого смысла, чтобы понять, что при ее тридцатисемилетнем возрасте, заячьих глазах, запачканном носе, резком голосе и черной коже она оказалась бы в не особенно выгодном положении рядом с двумя молоденькими девушками, полными прелести и в расцвете красоты, – она не захотела ни предавать их, ни служить им и предпочла потерять меня, чем сохранить для них.

Уже в течение некоторого времени Мерсере, не получая никаких известий от своей хозяйки, подумывала о том, чтобы вернуться во Фрибур; Жиро помогла ей принять окончательное решение. Она сделала больше; она дала ей понять, что хорошо было бы, чтобы кто-нибудь проводил ее к отцу, – и предложила меня в провожатые. Мерсере, которой я тоже не был противен, нашла эту мысль вполне подходящей. Они заговорили со мной об этом в тот же день как о деле решенном; и я, не видя в этой манере распоряжаться мной ничего неприятного, согласился, полагая, что путешествие займет не больше недели. Жиро была другого мнения и устроила все. Пришлось признаться в плохом состоянии моих финансов. Об этом нечего было беспокоиться. Мерсере взялась оплатить все мои расходы, а чтобы возместить затрату, было решено, по моей просьбе, что она отправит вперед свой небольшой багаж, мы же не спеша пойдем пешком. Так и сделали.

Мне неловко говорить о том, что столько девушек были в меня влюблены. Но так как я не могу похвастаться, что умел пользоваться этой влюбленностью, то, думается мне, вправе рассказывать всю правду не стесняясь. Мерсере была моложе Жиро, менее опытна и никогда не заигрывала со мной открыто. Но она подражала моему голосу, произношению, повторяла

мои слова, оказывала мне услуги, которые я должен был бы оказывать ей, и, будучи крайне боязливой, очень хлопотала о том, чтобы мы с ней ночевали в одной комнате; при такой близости во время путешествия двадцатилетний юноша и двадцатипятилетняя девушка редко останавливаются на этом.

Однако на этот раз дело этим ограничилось; Мерсере не была лишена привлекательности, но я был так простодушен, что не только не попытался завести с ней любовную интрижку, но даже ни разу не подумал об этом; а если бы такая мысль и пришла мне в голову, я по глупости не сумел бы воспользоваться случаем. Я не представлял себе, как это юноша и девушка доходят до того, чтобы лечь вместе; мне казалось, что нужны века, чтобы подготовить эту страшную комбинацию. Если бедная Мерсере, оплачивая мои расходы, рассчитывала получить от меня что-либо в ответ, она жестоко обманулась, и мы приехали во Фрибур совершенно в тех же отношениях, в каких уехали из Аннеси.

Проезжая через Женеву, я не пошел ни к кому, но мне чуть было не сделалось дурно на мосту. Каждый раз как я видел стены этого города, при входе в него у меня замирало сердце от избытка умиления. В то время как благородное зрелище свободы возвышало мою душу, картина равенства, единения, кротких нравов трогала меня до слез и внушала мне жестокое сожаление о том, что я лишился всех этих благ. Как велико было мое заблуждение, но как оно было естественно! Я воображал, что вижу все это на своей родине, потому что носил это в своем сердце.

Наш путь лежал через Нион. Неужели пройти, не повидавшись с отцом! Если б у меня хватило мужества поступить так, я умер бы от раскаяния. Я оставил Мерсере в гостинице и решился пойти к отцу – будь что будет! Но напрасно я его боялся! В первую же минуту свидания душа его уступила приливу отцовских чувств, которыми она была полна. Сколько слез пролили мы в объятьях друг друга! Сначала он подумал, что я вернулся к нему. Я рассказал ему про свою жизнь и сообщил о своем решении. Он слабо возражал. Он указал мне на опасности, которым я подвергаю себя, говорил, что самые кратковременные увлечения – самые лучшие. Впрочем, он не сделал даже попытки удержать меня силой, и я считаю, что в этом он был прав. Бесспорно, однако, что он не сделал всего, что мог, чтобы вернуть меня, – то ли он считал, что после предпринятого мною шага мне не следует изменять решения, то ли не знал, куда меня пристроить в моем возрасте. Впоследствии мне стало известно, что он составил себе о моей спутнице мнение совершенно несправедливое и очень далекое от истины, но, в сущности, вполне естественное. Моя мачеха, женщина добродушная, немного слащавая, сделала вид, что хочет накормить меня ужином. Я не остался, но сказал, что рассчитываю побыть у них подольше на обратном пути, и оставил им в залог свой маленький сверток, который переслал туда водой и который стеснял меня. На следующее утро я рано пустился в путь, очень довольный тем, что исполнил свой долг, повидавшись с отцом.

Мы благополучно добрались до Фрибура. К концу путешествия заботливость, которой окружала меня м-ль Мерсере, немного уменьшилась. По прибытии она стала выказывать мне холодность, да и отец ее, не утопавший в роскоши, тоже не особенно радушно принял меня; пришлось остановиться в харчевне. На следующий день я снова пошел к ним; они предложили мне пообедать с ними, я не отказался. Мы расстались без слез. Вечером я вернулся в свою харчевню и на второй день по приезде выехал дальше, не имея определенного представления о том, куда намерен направиться.

Вот еще случай в моей жизни, когда провидение посылало мне именно то, что было нужно, чтобы дни мои протекали счастливо. Мерсере была хорошая девушка, не блестящая, не особенно красивая, но и не урод; не слишком живая, очень благоразумная, если не считать случайных вспышек, обыкновенно кончавшихся слезами и никогда не переходивших в бурю. Я действительно нравился ей, легко мог бы на ней жениться и заняться ремеслом ее отца{82}. Моя любовь к музыке заставила бы меня полюбить и это ремесло. Я поселился бы

во Фрибуре, некрасивом маленьком городке, населенном, однако, добрыми людьми. Разумеется, я лишился бы больших наслаждений, но прожил бы мирно до своего последнего часа, а мне ли не знать, что перед подобной возможностью нечего было колебаться.

Я вернулся – но не в Нион, а в Лозанну. Мне хотелось полюбоваться прекрасным озером, которое видно оттуда в наибольшем его протяжении. Большая часть моих тайных побуждений всегда была столь же мало обоснованна. Отдаленные перспективы редко обладают достаточной силой, чтобы побуждать меня к действию. Неуверенность в будущем всегда заставляла меня считать не скоро осуществимые замыслы приманкой для дураков. Я увлекаюсь надеждами, как и всякий другой, лишь бы осуществление их ничего не стоило мне; но если для этого нужно долго трудиться – это уже не для меня. Любое маленькое удовольствие, если оно само дается мне в руки, соблазняет меня больше, чем перспектива райского блаженства. Я исключаю, однако, то удовольствие, которое влечет за собой страданье: такое меня не прельщает, потому что я люблю только чистые радости, а их нельзя испытать, зная, что готовишь себе раскаяние.

Мне необходимо было добраться куда бы то ни было, и чем ближе, тем лучше, так как, заблудившись в пути, я очутился вечером в Мудоне, где истратил то немногое, что у меня еще оставалось, кроме десяти крейцеров, да и те израсходовал на следующий день на обед. Придя вечером в небольшую деревню около Лозанны, я вошел в трактир, не имея ни гроша в кармане для уплаты за ночлег и не зная, что дальше делать. Я был очень голоден. Приняв решительный вид, я спросил себе поужинать, как будто мог щедро расплатиться. Потом улегся спать и заснул безмятежным сном. Позавтракав утром и подведя счет с хозяином, я хотел за семь бацев{83}, составлявших сумму моего расхода, оставить в залог свою куртку. Этот славный человек отказался от нее; он заявил мне, что – благодарение небу! – он еще никогда никого не обирал и не намерен начинать этого из-за семи бацев; пусть куртка останется у меня: я расплачусь с ним, когда у меня будут деньги. Я был тронут его добротой, однако менее, чем следовало бы и чем бываю тронут теперь – всякий раз, как вспоминаю об этом. Я не замедлил при первой же возможности передать ему деньги и благодарность через надежного человека, но пятнадцать лет спустя, проезжая через Лозанну на обратном пути из Италии, я, к искреннему своему сожалению, не мог вспомнить ни названия трактира, ни фамилии трактирщика. Я зашел бы к нему, с удовольствием напомнил бы ему о его великодушном поступке и доказал бы, что его доброта не забыта. Другие услуги, пусть и более существенные, но оказанные с большей кичливостью, не казались мне столь достойными благодарности, как простая и скромная отзывчивость этого честного человека.

Приближаясь к Лозанне, я размышлял о своем бедственном положении и о том, как выпутаться из него, не обнаружив своей бедности перед мачехой; в этом пешем странствии я сравнивал себя со своим приятелем Вантюром, когда он явился в Аннеси. Я так увлекся этой мыслью, что, забыв об отсутствии у меня его изящества и талантов, решил изображать в Лозанне Вантюра, давать уроки музыки, как будто я ее знаю, и объявлять себя уроженцем Парижа, где я никогда не был. В Лозанне не было певческой школы, где я мог бы занять место младшего преподавателя, да мне и не хотелось сразу попасть в общество мастеров музыкального искусства; исполнение своего прекрасного замысла я начал с того, что попросил указать мне какое-нибудь скромное пристанище, где можно было бы сносно устроиться за недорогую плату. Мне рекомендовали некоего Пероте, державшего нахлебников. Этот Пероте оказался превосходнейшим человеком и принял меня очень радушно. Я наврал ему о себе, как заранее придумал. Пероте обещал замолвить за меня словечко и постараться достать мне учеников и прибавил, что потребует с меня деньги лишь после того, как я их заработаю. Пансион стоил у него пять экю, – это было, в сущности, немного, так как стол был хороший, но слишком дорого для меня. Он посоветовал мне ограничиться сначала полупансионом, который состоял из тарелки хорошего супа – и только! – на обед и сытного ужина. Я согла-

сился. Бедняга Пероте оказывал мне все эти услуги от самого чистого сердца и ничего не жалел, чтобы быть мне полезным.

Почему должно было случиться, что, встретив в молодости так много добрых людей, я, достигнув зрелого возраста, встречал их так мало? Разве их порода иссякла? Нет, но сословие, в котором я вынужден искать их теперь, уже не то, в котором я встречал их когда-то. В народе сильные страсти проявляются только по временам, и природные чувства чаще всего дают знать о себе. А в более высоких кругах они совершенно заглушены, и под личиной чувства там говорит только расчет или тщеславие.

Из Лозанны я написал отцу, и он прислал мне сверток и письмо, полное превосходных советов, которыми мне следовало бы лучше воспользоваться. Я уже упоминал о минутах необъяснимого безумия, когда я бывал сам на себя не похож. Вот один из наиболее ярких примеров, чтобы понять, до какой степени у меня тогда закружилась голова, до чего я, так сказать, вантюризовался, – достаточно бросить взгляд на то, какие нелепости нагромождал я в это время одну на другую. Вот я учитель пения, хотя не умел разобрать ни одной арии, так как, даже если бы шесть месяцев, проведенных мною с Леметром, и пошли мне впрок, этого, конечно, было бы слишком мало. Кроме того, я учился у композитора, и этого было достаточно, чтобы учиться плохо. Парижанин из Женевы, католик в протестантской стране, я счел необходимым переменить имя, подобно тому как переменил родину и веру. Я изо всех сил старался возможно более походить на человека, которому подражал. Он принял имя Вантюр де Вильнев – я составил анаграмму из фамилии Руссо, переделав ее в Воссор, и стал именоваться Воссор де Вильнев. Вантюр знал композицию, но никогда не говорил об этом ни слова; я же, не имея о ней понятия, хвастал знанием ее перед всеми и, не будучи в состоянии подобрать музыку даже к водевилю, выдавал себя за композитора. Но этого мало: представленный профессору права г-ну де Трейторану, который любил музыку и нередко устраивал у себя концерты, я захотел показать ему образец своего творчества и принялся за сочинение пьесы для его концерта с таким апломбом, как будто знал, как взяться за дело. У меня хватило усидчивости поработать над этим прекрасным произведением две недели, переписать его набело, выписать отдельные партии и распределить их с такой самоуверенностью, словно это был шедевр музыкального искусства. Наконец, – этому трудно поверить, но это правда, – чтобы достойно завершить свое бесподобное произведение, я поместил в конце его хорошенький менуэт, который распевали на улицах, и, может быть, и теперь еще у многих в памяти следующие, всем тогда известные слова:

Не в уме ты!
Что за наветы!
Как! Любви обеты
Кларе не сдержать?..

и т. д.

Вантюр научил меня этой песенке и басовому аккомпанементу к ней, но с другими, непристойными словами, благодаря которым я ее и запомнил. Так вот я пристегнул к концу своего сочинения этот менуэт и аккомпанемент к нему, только выбросив слова, и выдал его за свой так уверенно, как будто имел дело с обитателями Луны.

Вот наконец собрались слушатели и исполнители. Я объясняю каждому особенности темпа, характер исполнения, структуру отдельных мест; проявляю величайшую деловитость. Настройка инструментов длится пять-шесть минут, которые кажутся мне пятью или шестью веками. Наконец, когда все готово, я отстукиваю по своему дирижерскому пульту большим свертком бумаги два-три удара, означающие: «Приготовьтесь!» Наступает тишина. Я с важным видом принимаюсь отбивать такт. Начинается… Нет, с тех пор как существует

французская опера, никто еще не слышал подобной какофонии! Что бы ни думали о моем воображаемом таланте, результат оказался хуже всякого ожидания. Музыкантов душил смех, слушатели вытаращили глаза и рады были заткнуть себе уши, но это не помогло бы. Палачи оркестранты, желая позабавиться, драли кто во что горазд, так что могла лопнуть барабанная перепонка у обитателя «Приюта Трехсот»[{84}]. Я имел мужество продолжать, хотя пот лил с меня градом; удерживаемый стыдом, я не осмелился бежать, бросив все на произвол судьбы. В утешение я слышал, как вокруг присутствующие говорили друг другу на ухо, но так, что это доходило и до моих ушей: «Просто невыносимо. Вот так сумасшедшая музыка! Да это дьявольский шабаш!» Бедный Жан-Жак! В эту тяжелую минуту ты, конечно, и не мечтал, что настанет день, когда твоя музыка будет исполняться в присутствии французского короля и его придворных, вызывая гул изумленного восхищения, и во всех ложах самые очаровательные женщины будут говорить друг другу вполголоса: «Какие пленительные звуки! Какая волшебная музыка! Эти мелодии проникают прямо в сердце!»

Но особенно развеселил всех менуэт. Не успели сыграть несколько тактов, как со всех сторон раздались взрывы хохота. Меня поздравляли, хвалили за мой тонкий вкус в напевах, уверяли, что менуэт заставит говорить обо мне и что я заслуживаю того, чтоб мои произведения пелись повсюду. Нет надобности описывать то, что я переживал, ни признаваться, что случившееся было мною вполне заслужено.

На другой день один из моих оркестрантов, по фамилии Люто, зашел ко мне и был так добр, что не поздравил меня с успехом. Глубокое сознание собственной глупости, стыд, раскаяние, отчаянное положенье, в которое я был поставлен, невозможность таить в сердце тяжелые заботы – все это заставило меня открыться ему. Я дал волю слезам и, вместо того чтобы признаться только в своем невежестве, рассказал ему все, прося сохранить мою тайну; он дал мне слово молчать, но сдержал свое обещание так, как следовало ожидать. В тот же вечер вся Лозанна знала, кто я такой, и – удивительное дело – никто даже вида не показал, что знает это, – даже добрейший Пероте, который, несмотря ни на что, не отказался по-прежнему давать мне помещение и кормить меня.

Я жил очень печально. Последствия такого дебюта не могли сделать для меня Лозанну приятным местопребыванием. Ученики не валили ко мне толпами, учениц не было ни одной, а горожане вовсе не обращались ко мне. У меня учились только два-три толстых немца, настолько же глупых, насколько я был невежествен; они надоедали мне до смерти и не стали великими знатоками музыки в моих руках. Я был приглашен только в один дом, где девочка – настоящий змееныш – забавлялась тем, что показывала мне разные музыкальные произведения, в которых я не мог разобрать ни одной ноты, – она потом лукаво пела их в присутствии господина учителя, чтобы показать ему, как это исполняется. Я был совершенно не способен прочитать какую-нибудь арию с листа и в блестящем концерте, о котором рассказывал, не мог даже уследить, действительно ли играют то, что у меня перед глазами и что я сам сочинил.

Среди стольких унижений большую и чистую радость доставляли мне вести, приходившие время от времени от двух очаровательных подруг. Я всегда находил в женщинах великую способность утешать, и ничто так не смягчает мои огорчения от невзгод и неудач, как мысль о сочувствии какого-нибудь милого существа.

Однако наша переписка вскоре прервалась и больше уже не возобновлялась, – но это по моей вине. Переехав на новое место, я не сообщил им своего адреса и, вынужденный обстоятельствами постоянно думать о самом себе, вскоре окончательно забыл о них.

Уже давно не говорил я ничего о моей бедной маменьке, но если думают, что я ее тоже позабыл, то это большая ошибка. Я не переставал думать о ней, мечтал снова найти ее, и не только ради средств к существованию, но гораздо более по влечению сердца. Привязанность к ней, как бы она ни была горяча или нежна, не мешала мне любить других, но совсем

иной любовью. Другие женщины завоевывали мою любовь только внешними прелестями, – но такая любовь не пережила бы их увядания; тогда как маменька могла состариться, стать безобразной, но из-за этого я не стал бы любить ее менее нежно. Мое сердце всецело перенесло на ее личность то поклонение, которое сначала принадлежало ее красоте, и какая бы перемена в ней ни произошла, – лишь бы она оставалась сама собой, – мое чувство не могло измениться. Я знал, что был ей многим обязан, но, по правде сказать, не думал об этом. Делала ли она для меня что-нибудь или нет – от этого ничего не менялось. Я любил ее не по чувству долга, не из корысти, не для приличия, – я любил ее потому, что был рожден для этой любви. Когда я влюблялся в какую-нибудь другую женщину, это, признаюсь, до известной степени отвлекало меня, и я реже вспоминал маменьку, но думал я о ней все с тем же удовольствием, и был ли я влюблен или нет, – при мысли о ней я всегда чувствовал, что в разлуке с ней для меня не может быть настоящего счастья.

Не имея от нее так долго никаких известий, я ни разу не подумал, что потерял ее навсегда или что она могла меня забыть. Я говорил себе: «Рано или поздно она узнает, что я бродяжничаю, и подаст какие-нибудь признаки жизни; я снова найду ее, – я уверен». А пока для меня уже было радостью жить в ее стране, проходить по улицам, по которым проходила она, мимо домов, где она жила, и все это только по догадке, так как одной из моих нелепых странностей было то, что я не решался без крайней необходимости ни спросить о ней, ни произнести ее имя. Мне казалось, что, называя ее, я открываю свои чувства к ней, что мои уста выдают тайну моего сердца, что я до известной степени компрометирую ее. Я даже думаю, что к этому примешивался страх, как бы мне не сказали о ней чего-нибудь дурного. Много говорили о ее поступке и кое-что о ее поведении. Из боязни услышать не то, что хотел бы, я предпочитал, чтобы о ней не говорили вовсе. Так как ученики отнимали у меня не особенно много времени, а ее родной город был всего в четырех лье от Лозанны, я как-то совершил туда двух– или трехдневную прогулку, в течение которой меня не покидало чувство самого сладостного волнения. Вид Женевского озера и его чудесных берегов всегда имел для меня особую притягательную силу, которой не берусь объяснить, – она зависит не только от красоты пейзажа, но еще от чего-то более захватывающего, что меня трогает и умиляет. Каждый раз как я приближаюсь к кантону Во, я снова испытываю какое-то сложное чувство, порождаемое воспоминаниями о г-же де Варане, которая там родилась, о моем отце, который там жил, о м-ль де Вюльсон, которой я отдал первые порывы своего сердца, о нескольких увеселительных прогулках, совершенных туда в детстве, и, как мне кажется, вызываемое какой-то еще более сокровенной и более глубокой причиной. Я рожден для счастливой и безмятежной жизни, но она вечно ускользала от меня, и когда мечты о ней воспламеняют мое воображение, оно всегда стремится в кантон Во, на берег озера, в очаровательную местность. Мне необходим фруктовый сад на берегу именно этого озера, а не другого, мне нужен верный друг, милая женщина, домик, корова и маленькая лодка. Я буду наслаждаться счастьем на земле, только когда буду обладать всем этим. Мне самому смешна наивность, с которой я несколько раз направлялся туда единственно для того, чтобы найти это воображаемое счастье. Я всегда удивлялся, находя там жителей, особенно женщин, совсем другого рода, чем искал. Эта местность и народ, ее населяющий, никогда не казались мне созданными друг для друга.

Во время этой поездки в Веве, блуждая по чудесному побережью, я предавался самой сладкой меланхолии, сердце мое пылко устремлялось к бесчисленным невинным радостям, я умилялся, вздыхал и плакал, как ребенок. Не раз я останавливался, чтобы наплакаться вволю, и, присев на большой камень, смотрел, как слезы мои падают в воду.

В Веве я остановился в гостинице «Ключ» и за два дня, которые прожил там, никого не видя, проникся к этому городу любовью, не покидавшей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа. Я охотно сказал бы

людям, обладающим тонким вкусом и чувствительностью: «Поезжайте в Веве, посетите его окрестности, полюбуйтесь видами, покатайтесь по озеру и скажите откровенно, не создала ли природа эту живописную местность специально для какой-нибудь Юлии, какой-нибудь Клары, какого-нибудь Сен-Пре{85}. Но не ищите их там». Возвращаюсь к своему рассказу.

Так как я был католиком и выдавал себя за такового, я открыто и без всякого колебания придерживался того культа, к которому примкнул. По воскресеньям, когда бывала хорошая погода, я ходил к обедне в Ассен, в двух лье от Лозанны. Обычно я совершал этот переход вместе с другими католиками, особенно с одним из них – парижским золотошвеем, фамилии которого не помню. Это был не такой парижанин, как я, а настоящий парижанин из Парижа, архипарижанин, богобоязненный человек, добродушный, как уроженец Шампани. Он так любил свою родину, что ни минуты не сомневался в том, что я его соотечественник, как бы опасаясь лишиться возможности поговорить о ней. У г-на де Круза, заместителя судьи, был садовник, тоже парижанин, но менее любезный, считавший оскорблением для своей родины, если кто-нибудь осмеливался выдавать себя за ее гражданина, не имея чести им быть. Он расспрашивал меня с видом человека, уверенного в том, что может уличить меня, и потом улыбался с хитрым видом. Однажды он спросил меня, что есть замечательного на Новом рынке. Как можно себе представить, я стал молоть вздор. Теперь, прожив в Париже двадцать лет, я должен был бы знать город; однако, если бы мне сейчас задали тот же вопрос, я, как и тогда, затруднился бы на него ответить, и по моему смущению можно было бы так же заключить, будто я никогда не бывал в Париже: настолько вошло в привычку, даже слыша правду, основывать свое суждение на обманчивых признаках!

Не могу сказать в точности, сколько времени я прожил в Лозанне. Я не сохранил об этом городе никаких особенно ярких воспоминаний. Знаю только, что, не найдя там заработка, я отправился в Невшатель и провел там зиму. В этом городе мне больше посчастливилось: у меня нашлись ученицы, и я зарабатывал достаточно для того, чтобы расплатиться с моим добрым другом Пероте, честно переславшим мне мои скромные пожитки, хотя я ему порядочно задолжал.

Я незаметно учился музыке, преподавая ее. Жизнь моя протекала мирно; благоразумный человек мог бы ею удовлетвориться, но мое беспокойное сердце требовало иного. По воскресеньям и в другие свободные дни я бродил по окрестным полям и лесам, мечтая и вздыхая; выйдя из города, возвращался туда только вечером. Однажды, находясь в Будри{86}, я зашел пообедать в какой-то трактир. Там я увидал человека довольно благородного вида, с большой бородой, в меховой шапке и в фиолетовом кафтане греческого покроя; его понимали с трудом, так как он говорил на каком-то странном наречии, более похожем на итальянский язык, чем на какой-либо другой. Я понимал почти все, что он говорил, но только я один; с трактирщиком и местными жителями он мог объясняться только знаками. Я сказал ему несколько слов по-итальянски, он прекрасно понял их, встал и пылко обнял меня. Мы быстро подружились, и с этих пор я служил ему переводчиком. Его обед был хорош, мой – ниже среднего; он пригласил меня разделить с ним его трапезу, я не стал церемониться. Беседуя с грехом пополам за стаканом вина, мы окончательно подружились и с тех пор стали неразлучны. Он сообщил, что он греческий прелат и носит чин архимандрита иерусалимского, что ему поручено произвести в Европе сбор на восстановление святого гроба господня. Он показал мне охранные грамоты, данные ему царицей и императором; у него были и другие грамоты от многих коронованных особ. Он был доволен тем, что ему уже удалось собрать; но в Германии ему пришлось столкнуться с невероятными трудностями, так как он не знал ни слова ни по-немецки, ни по-латыни, ни по-французски и мог пользоваться только греческим, турецким и франкским языками; это помешало ему собрать сколько-нибудь обильную лепту в стране, в глубь которой он забрался. Он предложил мне сопровождать его в качестве секретаря и переводчика. Несмотря на недавно купленный лиловый костюм, более или

менее подходивший для моей новой должности, я все же имел вид человека нуждающегося, и он решил, что меня нетрудно будет завербовать; он не ошибся. Мы сразу сговорились: я не требовал ничего, а он сулил много. Без поручительства или обеспечения, без достаточного знакомства я доверился его руководству и уже на следующий день был на пути в Иерусалим. Мы начали наше странствование с Фрибурского кантона, где сбор был невелик. Сан епископа не позволял ему побираться или производить сбор среди частных лиц, но мы представили бумаги о данном ему поручении, и местный сенат пожертвовал ему небольшую сумму. Оттуда мы направились в Берн. Остановились мы в гостинице «Сокол», бывшей тогда в славе; там можно было встретить приличное общество. За столом было много обедающих, и кормили там хорошо. Я давно уже плохо питался; мне необходимо было подкрепиться; случай был удобный, и я им воспользовался. Монсеньор архимандрит был человек хорошо воспитанный, любитель посидеть за столом, веселый, приятный собеседник для тех, кто его понимал, не лишенный некоторых знаний и умевший довольно искусно использовать свою греческую эрудицию. Как-то раз за десертом он колол орехи и очень глубоко порезал себе палец; так как кровь текла в изобилии, он показал свой палец собравшимся и сказал смеясь: «Mirate signori; questo è sangue pelasgo»[11].

В Берне мои услуги пригодились ему, и я справился со своими обязанностями не так плохо, как сначала того опасался. Я был гораздо смелее и красноречивее, чем в том случае, если бы просил для себя. Но дело оказалось не так просто, как во Фрибуре, – пришлось часто и подолгу вести переговоры с представителями власти; проверка документов тоже заняла не один день. Наконец, когда все было в порядке, он получил аудиенцию в сенате. Я вошел вместе с ним, как переводчик, и мне было предложено взять слово. Это явилось для меня полной неожиданностью: мне и в голову не приходило, что после долгих совещаний с отдельными членами сената я должен буду еще обратиться с речью ко всей корпорации, как будто ничего предварительно говорено не было. Посудите сами, в каком затруднительном положении я очутился! Необходимость выступить не только публично, но еще перед бернским сенатом, к тому же экспромтом, не имея ни минуты для подготовки, – этого было достаточно, чтобы уничтожить такого застенчивого человека, как я. А я даже не смутился, сжато и ясно рассказал о поручении, возложенном на архимандрита. Я восхвалил благочестие государей, внесших лепту в то дело, ради которого он приехал. Стараясь возбудить чувство соревнования в сердцах их превосходительств, я сказал, что нельзя ожидать меньшего и от их обычной щедрости; и потом, стараясь доказать, что это богоугодное дело касается одинаково всех христиан без различия сект, я под конец посулил благословение божие всем, кто пожелает принять в нем участие. Не скажу, чтобы речь моя произвела особенно сильное впечатление, но она, несомненно, понравилась, и при выходе из заседания архимандрит получил очень приличную сумму и вдобавок кучу комплиментов уму его секретаря. Перевести эти комплименты было моей приятной обязанностью, но передать их дословно я не осмелился. Это был единственный раз в жизни, когда я говорил публично и в присутствии высшего правительства, к тому же единственный раз, когда я говорил смело и хорошо. Как меняется состояние духа у одного и того же человека! Три года тому назад, когда я поехал в Ивердон{87}, в гости к моему давнишнему приятелю Рогену, ко мне явилась депутация, чтобы поблагодарить меня за пожертвование нескольких книг в городскую библиотеку. Швейцарцы – большие любители публичных речей, и господа депутаты обратились ко мне с речью. Я счел своим долгом ответить, но так запутался, в голове у меня так все перемешалось, что я вдруг замолчал, выставив себя на посмешище. Застенчивый от природы, в молодости я иногда бывал смел, но в зрелом возрасте – никогда. Чем больше я видел свет, тем меньше мог приспособиться к его тону.

[11] «Посмотрите, господа, вот какова кровь пелазгов»{492} (*итал.*).

Покинув Берн, мы отправились в Солер{88}, так как архимандрит имел намерение вернуться в Германию, а затем ехать домой через Венгрию или Польшу. Путешествие предстояло долгое, но так как в пути кошелек его наполнялся быстрей, чем пустел, архимандрит смело сворачивал в сторону. Я же чувствовал себя одинаково хорошо, путешествуя верхом или пешком, и не прочь был путешествовать всю жизнь, но мне на роду было написано не ездить так далеко.

По прибытии в Солер мы первым делом отправились с визитом к французскому посланнику. К несчастью для моего епископа, посланником был маркиз де Бонак, бывший до того посланником в Турции; он должен был быть осведомлен обо всем, касающемся гроба господня. Архимандрит получил десятиминутную аудиенцию, на которую я не был допущен, так как г-н посланник понимал франкский язык и говорил по-итальянски, во всяком случае, не хуже меня. По выходе грека я намеревался последовать за ним, – меня задержали; настал мой черед. Выдав себя за парижанина, я как таковой подлежал юрисдикции его превосходительства. Он спросил меня, кто я такой, уговаривал рассказать всю правду; я обещал, но попросил отдельную аудиенцию, которая и была мне дана. Посланник увел меня в свой кабинет и затворил дверь. Там, упав к его ногам, я сдержал свое слово. Я чистосердечно сказал бы правду, если бы и не обещал ничего, так как благодаря постоянной потребности излить душу у меня всегда что было на уме, то и на языке, и, открывшись с полной доверчивостью музыканту Лютольду, я вовсе не собирался скрытничать перед маркизом де Бонак. Он остался так доволен моим кратким рассказом и сердечностью, с какой я все изложил, что, взяв меня за руку, пошел со мной к своей супруге, представил меня и передал ей вкратце мою повесть. Г-жа де Бонак приняла меня радушно и сказала, что не следует отпускать меня странствовать с этим греческим монахом. Было решено, что я останусь в доме посланника, пока для меня не найдут подходящего занятия. Я хотел пойти проститься со своим бедным архимандритом, к которому успел привязаться, – мне этого не разрешили. Его уведомили о моем аресте, и через четверть часа я увидел свой маленький саквояж. Меня как бы отдали на попечение секретаря посольства г-на де ла Мартиньера. Проводив меня в назначенную для меня комнату, он сказал: «При графе де Люк эту комнату занимал знаменитый человек, ваш однофамилец, – от вас зависит заменить его во всех отношениях и заставить впоследствии говорить: «Руссо Первый{89}, Руссо Второй». Это сопоставление, на которое я тогда не смел рассчитывать, меньше польстило бы моему самолюбию, если б я мог представить себе, какой ценой оно в будущем оправдается. Слова г-на де ла Мартиньера возбудили мое любопытство. Я стал читать сочинение того, чью комнату занимал; на основании сделанного мне комплимента я вообразил, что имею призвание к поэзии, и в виде первого опыта сочинил кантату в честь г-жи де Бонак. Однако склонность к поэзии удержалась у меня недолго. Время от времени я сочинял посредственные стихи, – это полезное упражнение для тех, кто хочет овладеть изысканными оборотами и научиться хорошо писать прозой. Однако французская поэзия никогда не казалась мне настолько привлекательной, чтобы я мог всецело посвятить себя ей.

Г-н де ла Мартиньер пожелал познакомиться с моим слогом и попросил меня изложить ему в письменной форме те подробности, которые я сообщил посланнику устно. Я написал ему длинное письмо, сохраненное, как я узнал, г-ном де Мариан, который давно находился на службе у маркиза де Бонак и впоследствии сменил де ла Мартиньера, когда посланником стал де Куртей. Я просил де Мальзерба, чтобы он постарался достать копию этого письма. Если мне удастся добыть письмо через него или кого-либо другого, оно будет включено в сборник, который будет приложен к моей «Исповеди».

Приобретаемый мною опыт постепенно умерял мои романтические замыслы, и, например, я не только не влюбился в г-жу де Бонак, но сразу понял, что в доме ее мужа далеко не пойду. То, что г-н де ла Мартиньер занимал должность секретаря, а г-н де Мариан

был, так сказать, его законным преемником, позволяло мне рассчитывать самое большее на место помощника секретаря, а это меня вовсе не прельщало. Поэтому, когда меня спросили, каковы мои намерения, я выразил большое желание отправиться в Париж. Посланнику эта мысль пришлась по вкусу, так как давала возможность избавиться от меня. Г-н де Мервейе, секретарь-драгоман{90} посольства, сообщил мне, что его хороший знакомый г-н Годар, полковник французской службы, ищет кого-нибудь, чтобы приставить дядькой к своему племяннику, который поступает очень молодым на службу, и я мог бы подойти. Это предложение, за которое все довольно легкомысленно ухватились, разрешило вопрос о моем отъезде; что касается меня самого, то я, предвкушая путешествие в Париж, радовался от всего сердца. Мне дали несколько писем, сто франков на дорогу и множество полезных наставлений, и я пустился в путь.

Я потратил на путешествие около двух недель, которые могу отнести к счастливейшим в моей жизни. Я был молод, здоров, полон больших надежд, у меня было достаточно денег, я путешествовал пешком, – при этом один. Могло бы показаться удивительным, что и последнее обстоятельство я отношу к приятным, если бы мой характер не был уже известен. Мои сладостные химеры заменяли мне общество, и никогда еще пыл моего воображения не порождал более прекрасных. Если мне предлагали свободное место в каком-нибудь экипаже или кто-нибудь подходил ко мне в пути, я хмурился, так как боялся разрушить здание блестящего будущего, которое воздвигал во время ходьбы. На этот раз мечты влекли меня к военной карьере. Я намеревался поступить под начало к какому-нибудь военному, потом сам стать военным, так как было решено, что сначала я буду кадетом. Я уже видел себя в офицерском мундире и с великолепным белым султаном на голове. В сердце моем росло чувство гордости при мысли о таком благородном поприще. Я обладал некоторыми познаниями в геометрии и фортификации; у меня был дядя инженер, таким образом я был до известной степени из военной семьи. Моя близорукость могла бы явиться некоторой помехой, но этот недостаток не смущал меня – я рассчитывал возместить его хладнокровием и отвагой. Я где-то читал, что маршал Шомбер{91} был очень близорук; почему бы не быть близоруким и маршалу Руссо? Эти безумные мечты так увлекли меня, что я видел только войска, укрепления, габионы{92}, батареи и себя самого, в огне и дыму спокойно отдающим приказания, с подзорной трубой в руке. Однако, когда я проходил по живописной местности и глядел на рощи и ручьи, это трогательное зрелище заставляло меня вздыхать от сожаления; во всем блеске своей славы я чувствовал, что душа моя не создана для такой бурной жизни, готов был отказаться от служения Марсу и снова видел себя среди своих любимых овчарен.

Насколько первое впечатление от Парижа противоречило моему представлению о нем! Внешнее убранство зданий, виденное мною в Турине, красота улиц, симметрия и ровная линия домов заставляли меня искать в Париже чего-то еще лучшего. Я представлял себе город, столь же прекрасный, сколь обширный, самого внушительного вида, с великолепными улицами, мраморными и золотыми дворцами. Войдя в Париж через предместье Сен-Марсо, я увидел только узкие зловонные улицы, безобразные темные дома, картину грязи и бедности, нищих, ломовых извозчиков, штопальщиц, продавщиц настоек и старых шляп. Это сразу так поразило меня, что все подлинное великолепие, которое я впоследствии видел в Париже, не могло изгладить первого впечатления, и у меня навсегда сохранилось тайное отвращение к жизни в этой столице. Могу сказать, что все время, прожитое в ней, ушло у меня на поиски средств, которые дали бы мне возможность жить вдали от нее. Таковы плоды слишком пылкого воображения: оно преувеличивает еще больше, чем преувеличивают люди, и видит всегда больше того, что ему рассказывают. Мне так расхвалили Париж, что я представлял его себе подобием древнего Вавилона, который, возможно, столь же разочаровал бы меня, если б я увидел его в действительности. То же произошло со мной в Опере,

куда я отправился на следующий день по приезде; то же произошло со мной позднее в Версале, еще позже – при виде моря, и то же самое будет всегда происходить при виде всякого зрелища, которое мне слишком расхваливали, так как невозможно людям и трудно самой природе превзойти богатство моего воображения.

Судя по приему, оказанному мне всеми, к кому были у меня письма, я считал свою будущность обеспеченной. Однако тот, кому меня особенно горячо рекомендовали, встретил меня наименее любезно; это был некий де Сюрбек{93}, находившийся в отставке и проживавший в философском уединении в Банье; я несколько раз посетил его, но он ни разу не предложил мне даже стакана воды. Любезней приняли меня г-жа де Мервейе, невестка драгомана, и его племянник, гвардейский офицер. Мать и сын не только оказали мне радушный прием, но пригласили меня приходить обедать. Этим приглашением я неоднократно пользовался во время своего пребывания в Париже. По-видимому, г-жа де Мервейе в молодости была красива; у нее были еще прекрасные черные волосы, которые она, по старинной моде, укладывала фестонами на висках. Она сохранила то, что не исчезает вместе с красотой, – обаятельный ум. Мне показалось, что она нашла меня неглупым, она сделала все, что могла, чтобы быть мне полезной; но никто не последовал ее примеру, и я скоро разочаровался в живом участии, которое как будто приняли во мне сначала. Нужно, однако, отдать справедливость французам: они не так рассыпаются в уверениях, как принято думать, и уверения их почти всегда искренни; но у них есть манера делать вид, будто они интересуются вами, и эта манера обманывает больше, чем слова. Грубые комплименты швейцарцев могут ввести в заблуждение только дураков. Обращение французов более обаятельно уже тем одним, что оно проще; и всегда кажется, что на словах они обещают меньше, чем намерены сделать для вас, желая впоследствии приятно вас удивить. Скажу больше: в своих излияниях они не лживы; по природе они услужливы, гуманны, доброжелательны и даже, что бы о них ни говорили, правдивее всякого другого народа, но легкомысленны и непостоянны. Они на самом деле питают к вам то чувство, которое выказывают, но чувство это исчезает так же внезапно, как возникло. Разговаривая с вами, они думают только о вас, но, как только перестали вас видеть, тотчас забывают о вашем существовании. Ничто не долговечно в их сердце, все у них мимолетно.

Мне говорили много приятного, но оказывали мало услуг. Полковник Годар, к племяннику которого меня пристроили, оказался отвратительным старым скрягой; утопая в золоте, он, однако, решил, при виде моего стесненного положения, даром воспользоваться моими трудами. Он хотел, чтобы я был для его племянника скорее чем-то вроде лакея без жалованья, нежели настоящим гувернером. Находясь постоянно при нем и будучи тем самым избавлен от обязанностей военной службы, я должен был бы жить на свою кадетскую стипендию, иными словами – на жалованье простого солдата; он едва-едва соглашался сшить мне мундир; ему хотелось бы, чтобы я удовольствовался казенным. Г-жа де Мервейе, возмущенная подобным предложением, сама отсоветовала мне принять его; ее сын был того же мнения. Стали искать какой-нибудь другой службы, но не находили. Между тем надо было спешить: ста франков, данных мне на дорогу, не могло хватить надолго. К счастью, я получил от посланника еще небольшую сумму, которая оказалась мне очень кстати, и я думаю, что он вообще не оставил бы меня, имей я побольше терпения; но томиться, ждать, просить – для меня вещь невозможная. Я впал в уныние, перестал появляться, и все было кончено. Я не забыл свою бедную маменьку, но как мне было найти ее? Где искать? Г-жа де Мервейе, знавшая мою историю, помогала мне в моих поисках, но долго – без всякого успеха. Наконец она сообщила мне, что г-жа де Варане месяца два тому назад опять уехала, но неизвестно, в Савойю или в Турин; некоторые говорили, что она вернулась в Швейцарию. Этого было достаточно, чтобы я отправился ей вслед, уверенный, что, где бы она ни была, я легче найду ее в провинции, чем мог это сделать в Париже.

Прежде чем пуститься в путь, я прибег к своему новому поэтическому таланту и в стихотворном послании к полковнику Годару осмеял его как сумел. Я показал это рифмоплетство г-же де Мервейе. Вместо того чтобы пожурить меня, как бы следовало, она посмеялась моим язвительным насмешкам, так же как и ее сын, по-видимому, не любивший Годара; надо признать, что тот был действительно очень противный старик. Мне хотелось послать ему свои стихи: мои друзья поддержали меня. Я вложил стихи в конверт и надписал его адрес. Так как в Париже тогда не было городской почты, я сунул пакет в карман и отправил его с дороги из Оссера{94}. До сих пор я иногда смеюсь, представляя себе его гримасы при чтении этого панегирика, в котором он был изображен как живой. Начиналось так:

Ты думал, старый хлыщ, мне блажь внушит желанье
В твоем племяннике развить и ум и знанье…

Это небольшое стихотворение, говоря по правде, плохо написанное, но не лишенное остроумия и свидетельствовавшее о сатирическом таланте, – единственная сатира, вышедшая из-под моего пера. У меня слишком незлобивое сердце, для того чтоб пускать в ход подобный талант, но, мне думается, по некоторым моим полемическим сочинениям, написанным для самозащиты, можно судить, что, будь у меня воинственный характер, моим обидчикам было бы не до смеха.

При мысли о забытых подробностях моей жизни я больше всего жалею, что не писал путевых записок. Никогда я так много не думал, не жил так напряженно, столько не переживал, не был, если можно так выразиться, настолько самим собой, как во время путешествий, совершенных мной пешком и в одиночестве. Ходьба таит в себе нечто такое, что оживляет и заостряет мои мысли; я почти совсем не могу думать, сидя на месте; нужно, чтобы тело мое находилось в движении, для того чтобы пришел в движение и ум. Вид сельской местности, смена прелестных пейзажей, свежий воздух, здоровый аппетит и бодрость, появляющиеся у меня при ходьбе, чувство непринужденности в харчевнях, отдаленность от всего, что напоминает мне о моем зависимом положении, – все это освобождает мою душу, сообщает большую смелость мысли, как бы бросает меня в несметную массу живых существ, для того чтобы я мог их сопоставлять, выбирать, присваивать их себе без стеснения и без боязни. Я обращаюсь со всей природой, как властелин; моя душа, переходя от одного предмета к другому, соединяется, роднится с теми, которые ее привлекают, окружает себя пленительными образами, опьяняется восхитительными чувствами. Если, стремясь закрепить их, я забавляюсь мысленным их описанием, какую силу кисти, какую свежесть красок, какую выразительность речи вкладываю я в них! Говорят, что все это можно найти в моих произведениях, хотя и написанных на склоне лет. О, если б я мог показать произведения моей ранней молодости, созданные в дни скитаний, – произведения, которые я сочинял, но никогда не записывал! Почему же было не написать их? – спросите вы. Зачем писать? – отвечу я. – Зачем лишать себя подлинного наслаждения только ради того, чтобы рассказать другим, что я наслаждался? Какое мне было дело до читателей, до публики, до всего мира, когда я парил в небесах! Кроме того, разве я носил с собой бумагу, перья? Если б я стал думать о том, мне ничего не пришло бы в голову. Я не предвидел, что у меня будут возникать мысли: они приходили, когда им вздумается, а не когда хотел я. Они не являлись вовсе или же теснились толпой, одолевали меня своим множеством и своей силой. Десяти томов в день не хватило бы. Откуда взять время, чтобы записать их? Приходя куда-нибудь, я мечтал только о том, как бы хорошенько пообедать. Уходя, думал о том, чтобы хорошенько пройтись. Я чувствовал, что за порогом меня ожидает новый рай, и мечтал лишь о том, чтобы отыскать его.

Никогда еще я не чувствовал этого так ясно, как при том обратном путешествии, о котором говорю. Идя в Париж, я думал только о том, что буду там делать. Я устремился

мысленно на то поприще, которое мне предстояло, и прошел его не без славы; однако это была не та карьера, к которой влекло меня сердце, и живые существа становились поперек дороги существам воображаемым. Полковник Годар и его племянник представлялись жалкими по сравнению с таким героем, как я. Слава богу, теперь я был избавлен от помех и мог сколько душе угодно углубляться в страну своих химер, так как впереди у меня не было ничего, кроме нее. И я так блуждал в ней, что на самом деле несколько раз сбился с пути; но мне было бы очень досадно идти более прямым путем, так как я чувствовал, что в Лионе снова упаду с небес на землю, и мне хотелось бы вовсе туда не прийти.

Однажды, нарочно сойдя с прямой дороги, чтобы взглянуть поближе на какое-то место, показавшееся мне особенно живописным, я так им залюбовался, столько там бродил, что в конце концов по-настоящему заблудился. После нескольких часов ходьбы, усталый, умирая от голода и жажды, я зашел к какому-то крестьянину. Жилище его было довольно невзрачным, но другого поблизости не оказалось. Я думал, что и здесь дело обстоит так же, как в Женеве или вообще в Швейцарии, где каждый более или менее зажиточный крестьянин в состоянии оказать гостеприимство. Я попросил хозяина накормить меня обедом за плату. Он предложил мне снятого молока и грубого ячменного хлеба, говоря, что у него нет ничего другого. Я с наслаждением выпил молоко и съел хлеб с соломой и еще какой-то примесью, но это была не особенно подкрепляющая пища для человека, уставшего до полусмерти. Крестьянин, внимательно наблюдавший за мной, по моему аппетиту мог судить о правдивости моего рассказа. Сказав мне, что, как видно, я порядочный молодой человек[12] и не выдам его, он, опасливо озираясь, открыл небольшой люк около кухни, спустился в подвал и тотчас же вылез оттуда, достав каравай прекрасного хлеба из чистой пшеничной муки, окорок ветчины, очень аппетитный, хотя и початый, и бутылку вина, вид которой обрадовал меня больше, чем все остальное. К этому была добавлена довольно сытная яичница, и я пообедал так хорошо, как может пообедать только пешеход. Когда дело дошло до расплаты, его снова обуял страх и беспокойство: он не хотел брать с меня денег, отказывался от них с необычайным смущением. Забавней всего было то, что я никак не мог взять в толк, чего он боится. Наконец он с трепетом произнес страшные слова: «канцелярская крыса», «акцизный досмотрщик». Он дал мне понять, что прячет вино от досмотрщиков, а хлеб – из-за налогов и что его можно считать погибшим человеком, если кто-нибудь проведает, что он не умирает с голоду. То, что он в связи с этим мне рассказал и о чем я понятия не имел, произвело на меня неизгладимое впечатление; он заронил в мою душу семя той непримиримой ненависти, которая впоследствии выросла в моем сердце против притеснений, испытываемых несчастным народом, и против его угнетателей. Этот крестьянин, хотя и зажиточный, не имел права есть хлеб, заработанный им в поте лица, и мог спастись от разорения, лишь прикидываясь таким же бедняком, как и его соседи. Я вышел из его дома столько же возмущенный, сколько растроганный, скорбя о судьбе этого плодородного края, который природа осыпала щедрыми дарами только для того, чтобы он стал жертвой бесчеловечных сборщиков податей. Вот единственное вполне отчетливое и ясное воспоминание, сохранившееся у меня об этом путешествии. Помню только, что, приближаясь к Лиону, я вдруг вздумал еще раз свернуть в сторону, чтобы взглянуть на берега Линьона, так как среди романов, прочитанных мною вместе с отцом, не была забыта «Астрея»{95}, и она-то вспоминалась мне чаще всего. Я попросил указать мне дорогу в Форез. Из разговора с трактирщицей я узнал, что эта область – благодатный край для рабочих, где много железоделательных заводов и что там прекрасно работают по железу. Эта похвала сразу охладила мое романтическое любо-

[12] По-видимому, у меня тогда еще не было той физиономии, которой меня впоследствии всегда награждали на портретах. (*Прим. Руссо*.)

пытство, и я не счел нужным идти на поиски Диан и Сильванов в толпе кузнецов. Добрая женщина, так горячо ободрявшая меня, наверно, приняла меня за слесаря-подмастерье.

Я направился в Лион не без цели. По прибытии туда я пошел в Шазотт, к дю Шатле, приятельнице г-жи де Варане, к которой она давала мне письмо, когда я шел провожать Леметра; таким образом, это было уже завязанное знакомство. М-ль дю Шатле сообщила мне, что ее подруга действительно была проездом в Лионе, но неизвестно, поехала ли она в Пьемонт, и что при отъезде г-жа де Варане сама не знала, останется ли она в Савойе; что, если я хочу, она напишет, чтобы получить известие об отсутствующей, а мне лучше всего дождаться ответа в Лионе. Я согласился на это предложение, но не решился сказать м-ль дю Шатле, что мой тощий кошелек не позволяет мне долго ждать. Меня удержало от такого признания не то, что м-ль дю Шатле недостаточно радушно приняла меня; наоборот, она меня очень обласкала и отнеслась ко мне, как к равному, – но это-то как раз и лишило меня мужества обнаружить перед ней свое истинное положение и превратиться в ее глазах из человека хорошего общества в жалкого нищего.

Я как будто довольно ясно представляю себе последовательность того, что записал в этой книге. Однако мне помнится, что в тот же промежуток времени я совершил еще одно путешествие в Лион, хотя не могу точно сказать, когда это было и что уже в те дни я находился в очень стесненных обстоятельствах.

Память о крайней нужде, в которой я там оказался, не способствует приятным воспоминаниям об этом городе. Если б я был такой же, как другие, обладал бы талантом брать взаймы и должать в трактире, я легко выпутался бы из беды; но как раз в этом-то моя неспособность равнялась моему отвращению, и чтобы составить себе понятие о них, достаточно сказать, что, хотя я провел почти всю свою жизнь в бедности, иногда нуждаясь в куске хлеба, мне ни разу не случалось отпустить кредитора, просившего у меня денег, не уплатив их тотчас же. Я никогда не делал больших долгов и всегда предпочитал лучше терпеть лишения, чем должать.

Проводить ночи на улице, несомненно, очень мучительно, а это не раз случалось со мной в Лионе. Я считал, что лучше потратить остававшиеся у меня несколько су на хлеб, чем оплатить ими ночлег, так как в конце концов я больше рисковал умереть от голода, чем от недосыпания. Но удивительнее всего то, что и в таком тяжелом положении я не был ни встревожен, ни угнетен. Будущее нисколько меня не беспокоило, и я ожидал ответов на письма м-ль дю Шатле, ночуя под открытым небом, и спал, растянувшись на земле или на скамейке, так же спокойно, как на ложе, усеянном розами. Я даже вспоминаю очаровательную ночь, проведенную за городом, на дороге, которая вилась по берегу Роны или Соны, – не помню, которой из двух. Сады, поднимавшиеся уступами, окаймляли дорогу на противоположном берегу. День был очень жаркий, вечер упоительный; роса увлажняла поблекшую траву; все кругом было тихо и спокойно, ни малейшего ветерка; в воздухе чувствовалась приятная прохлада; солнце, закатившись, оставило на небе красные облака, отражение которых придавало воде розовый оттенок; деревья на уступах были полны соловьев, перекликавшихся друг с другом. Я шел в каком-то экстазе, отдавшись всем сердцем, всеми чувствами очарованию окружающего, и лишь отчасти жалел о том, что наслаждаюсь в одиночестве. Поглощенный приятными мыслями, я продолжал прогулку до поздней ночи, не замечая усталости. Наконец она дала себя знать. Я с наслаждением растянулся на каменной плите, в какой-то нише или сводчатом углублении стены на одном из уступов; верхушки деревьев образовали сень над моим ложем; как раз надо мной пел соловей, и я уснул под его пение; мой сон был сладок, пробуждение еще слаще. Было совсем светло: открыв глаза, я увидел воду, зелень, живописную местность. Я встал, встряхнулся, почувствовал голод и весело направился к городу, решив истратить на хороший завтрак две мелких монеты из шести, еще оставшихся у меня. Я был в таком хорошем расположении духа, что шел и пел всю дорогу; помню даже,

что пел кантату Батистена «Купанье в Томери»[{96}], которую знал наизусть. Да будет благословен добрый Батистен и его отличная кантата: они дали мне лучший завтрак, чем тот, на какой я рассчитывал, и еще лучший обед, так как я вовсе не рассчитывал на него! В самый разгар прогулки и пения вдруг слышу за собой чьи-то шаги, оглядываюсь – и вижу антонианца, который шел за мной по пятам и, казалось, слушал меня не без удовольствия. Он подходит ко мне, здоровается и спрашивает, знаю ли я музыку. Я отвечаю: «Немного», но тоном своим даю понять, что знаю очень хорошо. Он продолжает расспрашивать меня; я рассказываю кое-что о своей жизни. Он спрашивает, не приходилось ли мне переписывать ноты. «Очень часто», – говорю я. Это была правда. Лучшим способом научиться музыке была для меня переписка нот. «Что же, – говорит он, – пойдемте со мной; я могу дать вам занятие на несколько дней, в течение которых вы не будете нуждаться ни в чем, если только согласны не выходить из комнаты». Я охотно принял предложение и последовал за ним.

Фамилия антонианца была Ролишон; он любил музыку, знал ее и пел в маленьких концертах, которые устраивал со своими приятелями. Это было вполне невинное и пристойное развлечение; но, вероятно, его интерес к музыке переходил порой в неудержимую страсть, которую ему приходилось отчасти скрывать. Он проводил меня в маленькую комнату, где я нашел много переписанных им нот. Он дал мне другие ноты для переписки, в частности кантату, которую я пел и которую он сам должен был петь через несколько дней. Я провел у него три или четыре дня, посвящая переписке все время, кроме того, которое посвящал еде; в жизни своей я не был так голоден и никогда меня так вкусно не кормили. Он сам приносил мне еду, и надо думать, что кухня антонианцев была действительно хороша, если их обычный стол был такой же, какой получал я. Никогда еще не ел я с таким удовольствием, и при этом надо сознаться, что даровые харчи пришлись весьма кстати, так как я стал сух, как палка. Я работал почти с такой же охотой, как ел, – а это немало. Правда, качество моей работы не всегда соответствовало моему усердию. Через несколько дней Ролишон, встретив меня на улице, сказал мне, что переписанные мною партии совершенно непригодны для исполнения: так много оказалось в них пропусков, повторений и перестановок. Надо сознаться, что на этот раз я избрал ремесло, к которому был наименее способен. Не то чтобы мое нотное письмо было некрасиво или чтобы я переписывал недостаточно четко, – но, наскучив продолжительной работой, я становлюсь таким рассеянным, что трачу больше времени на подчистки, чем на самую переписку, и если не сверю партитуру с подлинником и не выправлю ее с величайшим вниманием, исполнение неизбежно будет сорвано. Поэтому, желая сделать хорошо, я делал плохо и, стремясь выполнить работу быстро, выполнял ее как попало. Несмотря на это, Ролишон до самого конца хорошо относился ко мне и еще дал мне на прощанье экю, которого я вовсе не заслужил, но который помог мне окончательно стать на ноги. Через несколько дней я получил весть от маменьки, находившейся в Шамбери, и деньги, чтобы приехать к ней, что я сделал с восторгом. С тех пор мои средства часто бывали весьма ограниченны, но мне уже больше не приходилось голодать. Я отмечаю это время, и сердце мое полно благодарности провидению за его заботу обо мне. Последний раз в жизни пришлось мне тогда изведать нищету и голод.

Я пробыл в Лионе еще неделю, дожидаясь покупок, которые по поручению маменьки делала м-ль дю Шатле, и посещал ее в течение этого времени гораздо чаще, чем прежде. Мне доставляло удовольствие беседовать с ней о ее подруге, особенно теперь, когда меня не отвлекали от этого мучительные мысли о моем положении, заставлявшие меня умалчивать о нем. М-ль дю Шатле нельзя было назвать молодой или красивой, но она не лишена была некоторой привлекательности; она была доброжелательна, проста, а ум ее придавал этой простоте особенную ценность. У нее была склонность наблюдать характеры и нравы, что помогает изучать людей, и в первую очередь именно от нее я и научился тому же. Она любила романы Лесажа, в особенности «Жиль-Блаза». Она рассказывала мне о нем и одолжила мне

эту книгу; я прочел ее с удовольствием; но я еще не созрел для такого чтения, – мне нужны были романы с пылкими чувствами. Таким образом, я проводил время у камелька м-ль дю Шатле, соединяя приятное с полезным; не подлежит сомнению, что интересная и разумная беседа с достойной женщиной скорее дает молодому человеку должное направление, чем педантичная философия, изложенная в книгах. В Шазотте я познакомился еще с другими пансионерками и их подругами, между прочим с одной молодой особой лет четырнадцати, некоей м-ль Сэрр. В то время я не обратил на нее особенного внимания, но лет через восемь или девять страстно в нее влюбился, что вполне понятно, так как это была очаровательная девушка.

Поглощенный ожиданием скорого свидания с дорогой маменькой, я дал передышку своим химерам; подлинное счастье, ожидавшее меня в недалеком будущем, избавляло меня от необходимости искать его в видениях. Я не только снова нашел ее, но приобрел в ее близости и благодаря ей хорошее положение, так как она сообщала в письме, что нашла для меня занятие, которое, как она надеялась, позволит мне оставаться при ней. Я ломал себе голову, стараясь угадать, какое это могло быть занятие, и в самом деле, об этом можно было только гадать. У меня было достаточно денег для того, чтобы добраться до нее с удобствами. М-ль дю Шатле хотела, чтобы я нанял лошадь, – я не мог согласиться и был прав: я лишился бы возможности насладиться последним в своей жизни путешествием пешком, так как не могу назвать путешествиями небольшие прогулки в окрестностях, которые я совершал, пока жил в Мотье{97}.

Странное дело, мои мечты становятся самыми приятными только в тот момент, когда мое положение наименее благополучно, и, наоборот, они наименее радужны, когда все улыбается вокруг меня. Моя упрямая голова не умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Она не довольствуется тем, чтобы украшать действительность, – она желает творить. Реальные предметы рисуются в ней в лучшем случае такими, как они есть; она умеет украшать лишь воображаемые предметы. Если я хочу нарисовать весну – в действительности должна быть зима; если я хочу описать прекрасную местность – я должен сидеть в четырех стенах; и я сто раз говорил, что, если бы меня заключили в Бастилию, я создал бы там картину свободы. Уезжая из Лиона, я предвкушал только приятное будущее; я был так же доволен – и имел на то достаточное основание, – как был недавно расстроен, покидая Париж. Однако во время этого путешествия у меня не было тех сладостных мечтаний, какие сопутствовали мне в предыдущем. На сердце у меня было светло, – но и только. Я приближался с умилением к прекрасному другу, которого мне предстояло снова увидеть. Я заранее предвкушал, но без опьянения, удовольствие жить подле нее; я всегда ждал этого; было так, будто со мной не произошло ничего нового. Я тревожился о том, что буду делать, словно было какое-то основание для тревоги. Мои мысли были спокойны и приятны, но не восхитительны и небесны. Все предметы, мимо которых я проходил, поражали мой взгляд; я обращал внимание на пейзаж и замечал деревья, дома, ручьи; я обдумывал направление на перекрестках, боялся заблудиться и не сбивался с пути. Словом, я не витал в эмпиреях: я был там, где находился или куда шел, – не дальше этого.

Рассказывая о своих путешествиях, я поступаю так же, как совершал их: не спешу дойти до конца. Сердце мое билось от радости, когда я шел к моей дорогой маменьке, но я не прибавлял шагу. Я люблю идти не спеша и останавливаться когда вздумается. Бродячая жизнь – вот что мне надо. Идти не спеша в хорошую погоду по живописной местности и знать при этом, что в конце пути меня ждет нечто приятное, – вот условия существования, которое мне больше всего по вкусу. Впрочем, уже известно, что я называю живописной местностью. Никогда равнина, как бы прекрасна она ни была, не покажется мне прекрасной. Мне нравятся бурные потоки, скалы, сосны, темные леса, горы, крутые дороги, по которым нужно то подниматься, то спускаться, страшные пропасти по сторонам. Я вкусил это удо-

вольствие и наслаждался им во всем его очаровании, приближаясь к Шамбери. Неподалеку от горы со срезанной вершиной, которая называется Па де л'Эшель, как раз под широкой дорогой, высеченной в скале, у местечка Шай, бежит и клокочет в глубине ущелья маленькая речка, словно потратившая тысячелетия для того, чтобы пробить себе путь. Во избежание несчастных случаев вдоль края дороги устроили барьер, благодаря чему я мог смотреть в бездну и испытывать головокружение сколько мне угодно, – в моем пристрастии к кручам забавно то, что у меня от них кружится голова, и мне очень нравится это головокружение, лишь бы я был в безопасности. Крепко опираясь на барьер, я высовывал нос и стоял так целыми часами, глядя время от времени на пену и голубую воду, рев которой я слышал сквозь крики ворон и ястребов, перелетавших со скалы на скалу, из одной чащи кустарников в другую в сотнях туазов{98} надо мной. Там, где скат был ровный и кустарник достаточно редок, чтобы сквозь него могли пролетать камни, я ходил собирать самые большие, которые едва мог поднять; я складывал их в кучу на барьере, потом, бросая их один за другим, наслаждался, глядя, как они катятся, отскакивают и рассыпаются на тысячу кусков еще до того, как долетят до дна пропасти.

Ближе к Шамбери я наблюдал подобное же зрелище, но в обратном порядке. Дорога идет у подножья такого красивого водопада, каких я больше никогда не видел. Гора так крута, что вода отделяется от нее и падает аркой, – настолько далеко, что можно пройти между водопадом и скалой, иногда даже оставшись сухим. Но если не быть достаточно осторожным, легко ошибиться в расчете, что и случилось со мной. Дело в том, что благодаря громадной высоте вода разбивается и превращается в пыль, и если подойти слишком близко к этому облаку, то сначала не заметишь, что попал под брызги, но скоро промокнешь до нитки.

Наконец приезжаю, снова вижу ее. Она была не одна. Когда я вошел, у нее был в гостях главный интендант. Не сказав мне ни слова, она берет меня за руку и представляет ему с той приветливостью, которая открывала ей все сердца: «Вот он, сударь, – этот бедный юноша; не откажите ему в вашем покровительстве на все время, пока он будет достоин его. Теперь мне нечего будет беспокоиться о его судьбе». Потом, обращаясь ко мне, она сказала: «Дитя мое, отныне вы принадлежите королю. Поблагодарите господина главного интенданта, который дает вам кусок хлеба». Я смотрел широко открытыми глазами, не произнося ни слова и не зная, что подумать: зародившееся честолюбие едва ли не вскружило мне голову, я чуть не вообразил себя маленьким интендантом. Однако карьера моя оказалась менее блестящей, чем я ожидал, судя по такому началу; но в данное время и этого было довольно, чтобы прожить, а для меня это было уже много. Вот о чем шла речь.

Король Виктор-Амедей на основании предыдущих войн и местоположения доставшихся ему от предков владений видел, что рано или поздно они уйдут из его рук, и искал только подходящего случая, чтобы выкачать из них все, что можно. За несколько лет до того, имея в виду обложить дворянство налогом, он приказал произвести кадастровую опись всего королевства, с тем чтобы при проведении обложения его можно было распределить более справедливо. Эта работа, начатая отцом, была закончена при сыне. Двести или триста человек землемеров, называемых почему-то геометрами, и писарей, именуемых секретарями, были направлены на эту работу, и в число этих последних маменька ухитрилась записать меня. Место, хотя и не особенно доходное, обеспечивало в той стране безбедное существование. К несчастью, работа была временная; но она давала возможность искать другую и выжидать; маменька предусмотрительно старалась заручиться для меня особым покровительством интенданта, чтобы я мог по окончании этой работы перейти на какую-нибудь более солидную должность.

Я приступил к своим обязанностям через несколько дней после приезда. Работа не представляла никакой трудности, и я вскоре с ней освоился. Таким образом, после четы-

рех– или пятилетних скитаний, безрассудств и невзгод, последовавших за моим отъездом из Женевы, я в первый раз стал честно зарабатывать кусок хлеба.

Эти длинные подробности о моей ранней юности, верно, покажутся ребяческими, и это жаль: несмотря на то что в некоторых отношениях я от рождения был взрослым, во многих других я очень долго оставался ребенком, а в иных остаюсь им до сих пор. Я не обещал читателям изобразить великого человека, – я обещал описать себя таким, каков я есть; а чтобы знать меня в зрелом возрасте, надо хорошо знать меня в молодости. Сами предметы обычно производят на меня меньше впечатления, чем воспоминание о них; все мои мысли не что иное, как образы; первые штрихи, запечатлевшиеся у меня в памяти, остались там навсегда; те же, которые появились впоследствии, скорее слились с первыми, чем изгладили их. Есть известная преемственность душевных движений и мыслей: они последовательно видоизменяют друг друга, и это необходимо знать, чтобы правильно судить о них. Я стараюсь повсюду раскрыть первопричины, чтобы дать почувствовать связь последствий. Я хотел бы сделать свою душу прозрачной для взгляда читателя и с этой целью стремлюсь ее показать со всех точек зрения, осветить ее со всех сторон, достигнуть того, чтобы в ней не совершалось ни одного движения, им не замеченного, чтобы он мог сам судить о порождающем их начале.

Если бы я взял на себя труд сделать вывод и сказал бы читателю: «Вот каков мой характер», он мог бы подумать, что если даже я его не обманываю, то, во всяком случае, сам заблуждаюсь. Тогда как, излагая подробно со всей простотой все, что со мной было, все, что я делал, все, что думал, все, что чувствовал, я не могу ввести его в заблуждение, если только не стану намеренно добиваться этого; но даже намеренно мне таким путем нелегко было бы его обмануть. Его дело – собрать воедино все элементы и определить, каково существо, которое они составляют; вывод должен быть сделан им самим; и если он тут ошибется, это будет всецело его вина. Итак, недостаточно, чтобы повествование мое было правдиво: нужно еще, чтоб оно было точно. Не мне судить о значительности фактов; я обязан отметить их все и предоставить читателю в них разобраться. Вот что я стремился до сих пор осуществить, прилагая к этому все свои силы, и в дальнейшем не отступлю от этого. Но воспоминания о зрелом возрасте всегда менее ярки, чем о ранней молодости. Я начал с того, что постарался воспользоваться последними как можно лучше. Если остальные вернутся ко мне с той же силой, иные нетерпеливые читатели, может быть, найдут их скучными, но что касается меня – я не останусь недовольным своей работой. Одного только приходится мне опасаться при выполнении задуманного: не того, что я скажу слишком много или солгу, а того, что не скажу всего и умолчу об истине.

Книга пятая
(1732–1736)

Я прибыл в Шамбери, кажется, в 1732 году и, как только что сказал, начал работать на королевской службе по налоговому управлению. Мне было уже двадцать лет, почти двадцать один. В умственном отношении я был достаточно развит для своего возраста, но не обладал еще рассудительностью и очень нуждался в помощи тех, в чьих руках находился, чтобы научиться, как себя вести. Испытания, длившиеся несколько лет, не могли еще излечить меня полностью от моих романтических грез, и, несмотря на все пережитые страдания, я так мало знал свет и людей, словно ничем не заплатил за жизненные уроки.

Я жил у себя, то есть у маменьки. Но здесь уже не было такой комнаты, как в Аннеси. Ни сада, ни ручья, ни пейзажа. Дом, занимаемый маменькой, был мрачен и уныл, а моя комната – самая мрачная и самая унылая во всем доме. Стена вместо вида, глухой переулок вместо улицы, мало света, мало воздуха, мало простора. Прогнившие полы, сверчки да крысы – все это не делало моего жилища приятным. Но я был у нее, возле нее. Находясь постоянно в конторе или в комнате у маменьки, я не замечал убожества моего обиталища; мне некогда было размышлять об этом. Может показаться странным, что маменька поселилась в Шамбери нарочно для того, чтобы нанять этот скверный домишко. С ее стороны это была хитрость, о которой я должен рассказать. Она ехала в Турин неохотно, чувствуя, что после недавнего переворота не время представляться ко двору, где все еще царило волнение. Тем не менее дела требовали, чтобы она показалась там: маменька боялась, что ее забудут или ей навредят. В частности, она знала, что граф де Сен-Лоран, главный интендант финансов, не расположен к ней. У графа в Шамбери был старый дом, очень плохой, к тому же в таком скверном месте, что он вечно пустовал; маменька сняла его и поселилась там. Этим она достигла больше, чем поездкой: у нее не отняли пенсии, а граф де Сен-Лоран с тех пор стал одним из ее друзей.

Я нашел ее хозяйство почти в таком же состоянии, как и прежде, и верного Клода Анэ по-прежнему при ней. Это был, как я, кажется, уже говорил, крестьянин из Мутрю{99}, в детстве собиравший на Юре травы для швейцарского чая. Маменька взяла его к себе в услужение ради своих лекарств, находя удобным иметь лакеем гербариста. Он так увлекся изучением растений и благодаря маменьке так развил в себе эту склонность, что стал настоящим ботаником, и если б не ранняя смерть, он приобрел бы имя в этой науке, как заслужил его среди честных людей. Так как он был серьезен, даже важен, а я был моложе его, он стал для меня чем-то вроде наставника и часто спасал меня от сумасбродств: он внушал мне уважение, и при нем я не смел забываться. Он внушал уважение даже своей госпоже, которая знала его благоразумие, прямоту, непоколебимую преданность и платила ему тем же. Клод Анэ был, бесспорно, человек редкий и даже единственный в своем роде. Такого мне больше не приходилось встречать. Неторопливый, положительный, вдумчивый, поведения осторожного, холодный в обращении, лаконический и наставительный в речах, он в страстях своих доходил до исступления, которое, впрочем, никогда не позволял себе проявлять, но оно тайно грызло его и заставило за всю его жизнь сделать одно только, зато ужасное, безрассудство: он отравился. Это трагическое событие произошло вскоре после моего приезда, и только оно открыло мне близость этого человека к его госпоже, потому что она тогда все рассказала мне, иначе я никогда не заподозрил бы этих отношений. И действительно, если привязанность, усердие и верность заслуживают подобной награды, то Клод Анэ ее заслужил, а что он был ее достоин, доказывается тем, что он никогда ею не злоупотреблял. Ссоры у них бывали редко и кончались всегда хорошо. Но одна кончилась плохо: госпожа в

гневе сказала оскорбительное слово, которого он не мог снести. Отчаяние было единственным его советчиком в ту минуту, и, увидев под рукой склянку с лауданумом, он проглотил его и спокойно лег спать, рассчитывая никогда больше не проснуться. По счастью, г-жа де Варане, встревоженная, взволнованная сама, бродя по дому, нашла пустую склянку и догадалась об остальном. Бросившись к нему на помощь, она закричала так, что я услышал. Она призналась мне во всем и умоляла помочь ему; с большим трудом удалось добиться, чтобы его вырвало опиумом. Будучи свидетелем этой сцены, я поражался собственной глупости, не позволявшей мне ничего подозревать о связи, которую она открыла мне. Но Клод Анэ был так сдержан, что даже люди более проницательные, чем я, могли ошибиться. Примирение было таким трогательным, что глубоко умилило меня, с этого времени я относился к нему не только с уважением, но и почтительно, стал в некотором роде его учеником и не чувствовал себя от этого хуже.

Однако не без горечи я узнал, что другой был с ней в гораздо большей близости, чем я. Я даже не мечтал занять это место, но все-таки мне было тяжело видеть, что оно занято. Это было вполне естественно. Но вместо того чтобы испытывать неприязнь к тому, кто вытеснил меня, я в действительности почувствовал, что моя привязанность к г-же де Варане распространяется и на этого человека. Выше всего я ставил ее счастье, а так как для этого она нуждалась в Клоде Анэ, я был рад, что счастлив и он. С своей стороны он, совершенно входя в интересы своей госпожи, искренне подружился с избранным ею другом. Не присваивая себе авторитета, право на который давало ему его положение, он, естественно, пользовался тем, который давала ему надо мной его рассудительность. Я не осмелился бы сделать ничего такого, что он мог бы осудить, а осуждал он лишь то, что было дурно. Так жили мы в единении, делавшем нас всех счастливыми, и только одна смерть могла бы его разрушить. Одним из доказательств превосходного характера этой милой женщины было то, что все, кто любил ее, любили и друг друга. Ревность, даже соперничество уступали преобладающему чувству, которое она внушала, и я никогда не видал, чтобы окружавшие ее желали друг другу зла. Пусть те, кто будет читать мою исповедь, прервут на минуту свое чтение при этой похвале, и если, поразмыслив, они найдут другую подобную женщину, – пусть соединятся с ней для спокойствия своей жизни, будь она даже последняя из распутниц.

Тут начинается новый период – от моего прибытия в Шамбери до отъезда в Париж в 1741 году, период в восемь или девять лет, не богатый событиями, о которых стоило бы рассказать, так как жизнь моя была проста и тиха, но как раз в этом однообразии я нуждался больше всего для того, чтобы завершилось развитие моего характера, которому постоянные волнения мешали установиться.

Именно в эти драгоценные для меня годы мое воспитание, беспорядочное и непоследовательное, получило твердую устойчивость и сделало меня тем, чем я остался на всю жизнь, пройдя сквозь все ожидавшие меня житейские бури. Эта перестройка совершалась медленно, незаметно и не была памятна событиями; все же она заслуживает того, чтобы рассказать о ней последовательно и не торопясь.

Сначала я не занимался ничем, кроме своей работы. Заботы, связанные с канцелярией, не позволяли мне думать ни о чем другом. Короткое время, которым я располагал, я проводил вместе с милой моей маменькой и, не имея досуга для чтения, даже не думал о книгах. Но когда работа моя, обратившись в своего рода рутину, стала меньше занимать мой ум, – он опять пришел в беспокойство: чтение снова сделалось для меня необходимостью; и эта склонность, разжигаемая невозможностью всецело отдаться ей, могла бы перейти в страсть, как это было со мною когда-то, у хозяина мастерской, если бы другие склонности, шедшие вразрез с ней, не отвлекли меня от нее.

Хотя в нашем деле и не требовалось особенно сложных арифметических подсчетов, я иногда испытывал затруднения. Чтобы преодолеть эти трудности, я накупил книг по ариф-

метике и хорошо изучил эту науку, так как изучал ее один. Практическая арифметика простирается гораздо дальше, чем думают, пытаясь точно определить ее. Бывают вычисления чрезвычайно длинные, в которых на моих глазах запутывались даже хорошие математики. Размышление, соединенное с практикой, сообщает мыслям отчетливость, и тогда находишь сокращенные способы, изобретение которых льстит самолюбию, а точность удовлетворяет ум, – и это превращает в удовольствие работу, саму по себе неблагодарную. Я так овладел этим, что не было вопроса, поддающегося разрешению при помощи одних лишь цифр, который бы затруднил меня; еще теперь, когда все, что я знал, с каждым днем все больше стирается в моей памяти, этот навык отчасти сохранился у меня даже после тридцатилетнего перерыва. Несколько дней тому назад, во время поездки в Давенпорт{100}, присутствуя на уроке арифметики у детей хозяина дома, где я жил, я произвел безошибочно одно из самых сложных вычислений, и это доставило мне огромное удовольствие. Мне казалось, что я еще в Шамбери, в те счастливые дни. Это было возвращением в далекое прошлое.

Раскраска планов нашими землемерами снова пробудила во мне интерес к рисованию. Я накупил красок и стал рисовать цветы и пейзажи. Жаль, что у меня не оказалось достаточно таланта к этому искусству: склонность к нему была велика. Я готов был проводить целые месяцы, безвыходно сидя дома со своими карандашами и кистями. Так как это занятие становилось для меня слишком увлекательным, пришлось оторвать меня от него. Так случается со всеми моими увлечениями, которым я начинаю предаваться, – они растут, переходят в страсть, и я уже больше ничего в жизни не вижу, кроме того, чем занят. Годы не излечили меня от этого недостатка и даже не уменьшили его; и теперь, когда я пишу эти строки, я, как старый бездельник, увлекаюсь другим бесполезным занятием… ничего в нем не смысля; люди, отдававшиеся ему в юности, принуждены оставить его в том возрасте, в котором я хочу за него приняться.

Но там, в Шамбери, оно было бы своевременно. Случай был очень подходящий, у меня возникло сильное искушение воспользоваться им. Радость, которую я видел в глазах Анэ, когда он возвращался, нагруженный новыми растениями, несколько раз чуть не побудила меня пойти собирать вместе с ним. Я почти уверен, что, если б хоть раз пошел – это увлекло бы меня, и теперь я стал бы, может быть, великим ботаником, потому что не знаю никакой другой науки на свете, которая была бы так близка моим природным вкусам, как наука о растениях, и жизнь, которую я веду уже десять лет в деревне, не что иное, как беспрестанное гербаризирование, правда, бесцельное и лишенное движения вперед; но тогда, не имея ни малейшего понятия о ботанике, я относился к ней с каким-то презрением и даже отвращением, – как все невежды, я считал ее занятием для аптекарей.

Маменька любила ее, но тоже не находила ей другого применения: она разыскивала только полезные травы, чтобы готовить из них лекарства. Таким образом, ботаника, химия и анатомия, соединенные в моем представлении под общим названием медицины, давали мне только повод для вечного зубоскальства, за которое меня награждали порой шлепками. К тому же другая склонность, совсем не похожая на эту, постепенно росла во мне и скоро поглотила все другие. Я говорю о музыке. Я, верно, рожден для этого искусства, так как начал любить его еще в детстве и только его любил постоянно и всегда. Странно, что искусство, для которого я был создан, тем не менее давалось мне с таким трудом, и я делал в нем столь медленные успехи, что после упражнений, продолжавшихся в течение всей жизни, я так и не достиг возможности уверенно петь все с листа. Занятие музыкой было особенно приятно для меня потому, что я мог заниматься ею вместе с маменькой. Хотя вкусы у нас были довольно разные, музыка была для нас связующим звеном, и я любил пользоваться этим. Она не отказывалась; подготовка была у нас обычная: мы разбирали арию в два-три приема. Иногда, видя, как она хлопочет, я говорил ей: «Маменька, вот прекрасный дуэт, ради него можно дать пригореть вашим снадобьям». – «Честное слово, – отвечала она, – если

они пригорят по твоей вине, я заставлю тебя проглотить их». Препираясь таким образом, я увлекал ее к клавесину; там все забывалось – полынный или можжевельный сок пригорал, она пачкала мне лицо этим соком, – и все это было восхитительно.

Как видите, у меня было много способов заполнить краткие часы досуга. Однако появилось еще одно развлечение, придававшее цену всем остальным.

Мы занимали такое душное помещение, что необходимо было иногда подышать чистым воздухом. Анэ убедил маменьку нанять в предместье сад, чтобы разводить там растения. К саду примыкала довольно хорошенькая хижина, которую мы меблировали по-своему. Поставили туда кровать; мы часто обедали там, и я иногда оставался ночевать. Незаметно я полюбил это маленькое убежище; перевез туда несколько книг, много гравюр. Часть свободного времени я тратил на то, чтобы украсить его и приготовить какой-нибудь приятный сюрприз для маменьки, когда она приедет сюда. Я покидал маменьку для того, чтобы заняться ею, чтобы с еще большим удовольствием думать там о ней, – вот еще одна причуда, в которой я не оправдываюсь и не винюсь, а просто говорю о ней потому, что это так было. Помню, как однажды герцогиня Люксембургская рассказывала мне с насмешкой о человеке, покидавшем свою возлюбленную только для того, чтобы писать ей письма. Я сказал ей, что тоже был бы способен на это, и мог бы добавить, что когда-то действительно поступал почти так же. Однако подле маменьки я никогда не испытывал потребности удаляться от нее, чтобы любить ее еще больше, так как наедине с ней чувствовал себя так же хорошо, как если б был один. Этого я никогда не испытывал возле других, будь то мужчина или женщина и какова бы ни была моя привязанность к ним. Но она так часто бывала окружена людьми, и притом такими для меня не подходящими, что досада и скука гнали меня в мое убежище, где я мысленно оставался с нею сколько хотел, не опасаясь прихода докучных посетителей.

Пока я жил тихо и безмятежно, деля время между трудом, удовольствием и ученьем, Европа не была так спокойна, как я. Император и Франция только что объявили друг другу войну{101}. Король Сардинии вмешался в ссору, и французская армия двигалась к Пьемонту, чтобы вступить в Миланскую область. Одна колонна прошла через Шамбери, в ее составе был, между прочим, Шампанский полк, которым командовал герцог де ла Тримуй. Я был ему представлен, он много мне наобещал и, конечно, ни разу не вспомнил обо мне. Наш садик возвышался как раз над предместьем, через которое входили войска; таким образом, я мог вдоволь насмотреться на них. Я искренне желал успешного исхода войны, словно она затрагивала мои интересы. До того времени я вовсе не думал о делах общественных, теперь я впервые стал читать газеты, и с таким пристрастием к Франции, что сердце мое билось от радости при малейших ее удачах, а ее поражения так меня огорчали, точно обрушивались на меня самого. Если б это странное увлечение было мимолетным, я не стал бы говорить о нем, но оно без всякой причины до такой степени укоренилось в моем сердце, что, когда впоследствии, в Париже, я выступал против деспотизма как убежденный республиканец, – я чувствовал, вопреки самому себе, тайное расположение к той самой нации, которую считал рабской, и к правительству, которое порицал. Забавно было то, что, стыдясь склонности, столь противоположной моим убеждениям, я никому не решался в ней признаться и смеялся над французами за понесенные ими поражения, хотя сердце мое обливалось кровью больше, чем у них самих. Без сомнения, я – единственный, кто, живя среди народа, хорошо к нему относящегося и обожаемого им, почитает своим долгом делать вид, будто презирает его. Это увлечение оказалось у меня в конце концов таким бескорыстным, таким сильным, таким постоянным и непреодолимым, что даже после того как я оставил французское королевство, после того как правительство, чиновники и писатели соединились в общей злобе против меня, после того как стало признаком хорошего тона осыпать меня обидами и оскорблениями, – я не мог исцелиться от своего пристрастия. Я люблю французов против своей воли, хотя они дурно обращаются со мной. Видя уже начавшийся упадок Англии, который я пред-

сказывал еще во время ее торжества, я позволяю себе лелеять безумную надежду, что французский народ, в свою очередь победоносный, быть может, освободит меня когда-нибудь из печального плена, в котором я нахожусь.

Я долго искал причину этого пристрастия и нашел ее только в том обстоятельстве, которое его породило. Все возраставшее увлечение литературой внушило мне любовь к французским книгам, к авторам этих книг, к родине этих авторов. В то самое время, когда перед моими глазами проходила французская армия, я читал «Великих полководцев» Брантома{102}. Голова моя была полна Клиссонами, Баярдами, Лотреками, Колиньи, Монморанси{103}, де ла Тримуй, – и я полюбил их потомков – как наследников их доблести и храбрости. В каждом проходящем полку я надеялся снова увидеть знаменитые черные отряды, совершившие некогда столько подвигов в Пьемонте. Наконец все, что я видел, я стал связывать с представлениями, почерпнутыми из книг: мое чтение, продолжительное и относящееся всегда к одной и той же нации, питало мою симпатию к ней и в конце концов внушило мне такую слепую любовь, что ничто уже не могло превозмочь ее. Впоследствии, во время своих путешествий, я имел случай заметить, что это увлечение свойственно не только мне, а распространено более или менее во всех странах, в той части населения, которая любит читать и интересуется литературой, ибо впечатление от французской литературы смягчает общую неприязнь к французам, внушаемую их самоуверенностью. Их романы, больше чем мужчины, привлекают к ним женщин всех стран; драматические шедевры заставляют молодежь любить их театр. Слава парижских театров привлекает в них толпы иностранцев, которые выходят оттуда восхищенными. Наконец превосходный вкус, господствующий в их литературе, покоряет всех умеющих мыслить, и во время войны, окончившейся так неудачно, я видел, как писатели и философы поддерживали славу французского имени, которую не умели сберечь их воины.

Итак, я был пламенным французом, и это сделало меня охотником до новостей. Я ходил на площадь с толпой зевак ждать прибытия курьера и, глупей осла в басне, очень беспокоился о том, какому хозяину буду служить вьючным животным: тогда ведь предполагали, что мы будем принадлежать Франции, а Савойю обменяют на Миланскую область. Надо все же признать, что у меня были некоторые основания беспокоиться, так как, если бы эта война окончилась неблагоприятно для союзников, маменька подвергалась большой опасности лишиться пенсии. Но я питал полное доверие к своим добрым друзьям, и на этот раз, несмотря на захват врасплох герцога де Брольи{104}, не обманулся в своем доверии благодаря королю Сардинии, о котором даже и не думал.

Пока в Италии дрались – во Франции пели. Оперы Рамо{105} начинали делать шум и привлекли внимание к его теоретическим сочинениям, из-за своей неясности доступным лишь для немногих. Случайно я услышал разговор о его «Трактате о гармонии» и не успокоился, пока не приобрел эту книгу. Случилось также, что я заболел. Болезнь оказалась воспалительным процессом; она была бурной и короткой, но выздоровление затянулось, и я целый месяц не мог выйти из дому. Все это время я пожирал «Трактат о гармонии»; он был так длинен, так многословен, так дурно построен, что мне стала ясна невозможность изучить его и разобраться в нем, не затратив на это огромное количество времени. Я умерил свое прилежание и дал отдых глазам, начав заниматься музыкой. Кантаты Бернье, в которых я упражнялся, не выходили у меня из головы. Я заучил на память четыре или пять из них, в том числе кантату «Спящие амуры»; я не видал ее с тех пор, но все еще помню почти целиком, так же как и «Амура, ужаленного пчелой», – очень красивую кантату Клерамбо, которую я выучил почти в то же время.

В довершение всего из Валь д'Оста{106} приехал молодой органист, аббат Пале, хороший музыкант и добрый малый, прекрасно аккомпанировавший на клавесине. Я познако-

мился с ним, и мы стали неразлучны. Он был учеником одного итальянского монаха, знаменитого органиста. Он излагал мне его теорию, а я сравнивал ее с теорией Рамо; голова моя была полна аккомпанементов, аккордов, гармонии. Для всего этого нужно было развить слух. Я предложил маменьке устраивать раз в месяц маленькие концерты. Она согласилась. И вот я так полон этими концертами, что ни днем, ни ночью не занимаюсь ничем другим: меня на самом деле интересовал – и очень сильно – подбор музыкальных произведений, исполнителей, инструментов, распределение партий, проведение репетиций и т. п. Маменька пела; отец Катон, о котором я уже говорил и буду говорить еще, пел тоже; учитель танцев, по фамилии Рош, и сын его играли на скрипке; Канавас – музыкант-пьемонтец, который работал по налоговой переписи и потом женился в Париже, – играл на виолончели; аббат Пале аккомпанировал на клавесине; я имел честь дирижировать, не обходясь без большой палки дровосека{107}. Можно представить себе, как все это было прекрасно! Не совсем так, как у г-на де Трейторана, – но, право, ничуть не хуже.

Маленькие концерты в доме г-жи де Варане, новообращенной католички, живущей, как говорили, милостями короля, вызвали ропот ханжеской клики; но для нескольких порядочных людей это было приятное развлечение. Трудно отгадать, кого я поставлю на этот раз во главе их, – монаха, но монаха, достойного уважения и даже любви; впоследствии я очень жалел о постигшем его несчастье, и память о нем, связанная с прекрасными днями моей жизни, дорога мне до сего времени. Речь идет об отце Катоне, францисканце, который вместе с графом Дортаном приказал конфисковать в Лионе ноты бедного *котенка,* что не является лучшим поступком в его жизни. Он был бакалавром Сорбонны, долго жил в Париже в высшем свете и был особенно вхож к маркизу д'Антремону, тогда сардинскому посланнику. Высокого роста, хорошо сложенный, с полным лицом, глазами навыкате и вьющимися над лбом черными волосами, он имел вид благородный, открытый, скромный; держался хорошо и просто, без монашеского ханжества или нахальства, без надменности, свойственной баловню общества, каким он был, но с уверенностью честного человека, который, не стыдясь своей рясы, знает себе цену и чувствует себя на своем месте среди порядочных людей. Хотя отец Катон имел образование, недостаточное для ученого, он знал довольно для человека светского и, не торопясь показывать свои знания, обнаруживал их всегда так кстати, что они казались более обширными. Долго прожив на свете, он больше ценил приятные таланты, чем солидные познания. Он был умен, писал стихи, хорошо говорил, еще лучше пел, имел прекрасный голос, играл на органе и на клавесине. В стольких достоинствах не было даже нужды, чтобы иметь успех в свете. И он имел его; но при этом он нисколько не пренебрегал обязанностями своего сана и, несмотря на конкуренцию завистников, был избран помощником генерала ордена в своей провинции, став, как говорится, одним из главных его украшений.

Отец Катон познакомился с маменькой у маркиза д'Антремона. Он услыхал про наши концерты и захотел сам в них участвовать; он осуществил свое желание, и при его содействии концерты наши стали блестящими. Мы с ним скоро сошлись на почве общего увлечения музыкой, которое как у одного, так и у другого перешло в настоящую страсть, с той только разницей, что он был настоящим музыкантом, а я только пачкуном. Мы с Канавасом и аббатом Пале ходили к нему музицировать, а иногда по праздникам играли и на его органе. Часто мы обедали в его небольшой комнате, так как удивительным в этом монахе было еще и то, что он был гостеприимен, щедр и сластолюбив без грубости. В дни концертов он ужинал у маменьки. Эти ужины были очень веселы, очень приятны: велись интересные разговоры, пелись дуэты, я чувствовал себя превосходно, был остроумен, находчив; отец Катон был очарователен, маменька обаятельна, аббат Пале, со своим бычьим голосом, служил мишенью для шуток. Сладкие минуты резвой юности, как давно вы умчались!

Так как мне больше не придется говорить о бедном Катоне, я расскажу в двух словах его печальную историю. Другие монахи, завидовавшие ему или скорее взбешенные его достоинствами и изяществом его жизни, чуждыми грязного монастырского распутства, возненавидели его. Начальствующие объединились против него и возбудили рядовых монашков, которые завидовали его месту, хотя раньше не смели даже глаза на него поднять. Ему нанесли тысячу обид, сместили его с должности, отобрали у него комнату, обставленную им хотя просто, но со вкусом; отправили его неизвестно куда. Наконец эти негодяи осыпали его такими оскорблениями, что его честная и гордая своей правотой душа не вынесла, и он, бывший прежде украшением самых очаровательных кружков, умер, подавленный горем, на убогом ложе в углу какой-то кельи или темницы; его оплакивали все порядочные люди, знавшие его и не находившие в нем других недостатков, кроме того, что он был монахом.

При таком образе жизни я скоро дошел до того, что, всецело погрузившись в музыку, уже не был в состоянии думать ни о чем другом. Скрепя сердце ходил я в свою контору; стеснение и необходимость быть усидчивым причиняли мне невыносимую муку, и я наконец пришел к решению оставить должность, чтобы целиком отдаться музыке. Вполне понятно, что сумасбродство это встретило возражение. Бросить приличное место с определенным доходом, чтобы гоняться за ненадежными уроками, было слишком неблагоразумно и не могло понравиться маменьке. Даже предполагая в будущем большие успехи, о которых я мечтал, обречь себя на всю жизнь карьере музыканта – значило поставить слишком скромные пределы своему честолюбию. Маменька, замышлявшая только грандиозные проекты и уже не принимавшая на веру оценку, данную мне д'Обоном, с сожалением смотрела на мое увлечение искусством, которое она считала пустым, и часто повторяла мне провинциальную поговорку, менее применимую в Париже: «Кто все пляшет да поет, далеко не пойдет». С другой стороны, она видела, что увлеченье мое непреодолимо; страсть моя к музыке доходила до неистовства, и можно было опасаться, что, манкируя своими обязанностями, я не удержусь на службе и что гораздо лучше мне уйти самому. Вдобавок я твердил ей, что моя служба долго не продлится, что, для того чтобы жить, мне нужна специальность, и лучше всего закрепить практикой ту, которая соответствует моей склонности и избрана для меня самой маменькой, чем ставить себя в зависимость от протекции или проделывать новые опыты, которые могут окончиться плохо, так что в конце концов подходящий для обучения возраст минует, и я останусь без всяких средств к добыванию хлеба насущного. Наконец я вырвал у нее согласие, больше при помощи ласк и упрашивания, чем при помощи доводов, которые убедили бы ее. Тотчас же я побежал благодарить главного директора налогового управления г-на Кокчелли, словно совершал геройский подвиг, и покинул свою должность без повода, причины и предлога, радуясь при этом не меньше, а пожалуй, даже больше, чем за два года перед тем, когда это место получил.

Этот поступок, как ни был он сумасброден, вызвал ко мне в округе некоторое уважение, и оно пошло мне на пользу. Одни предполагали, что у меня есть средства, хотя на деле их не было; другие, видя, что я совершенно отдался музыке, судили о моем таланте по моему самопожертвованию и думали, что при такой страсти к этому искусству я должен в совершенстве владеть им. В царстве слепых и кривой сойдет за короля: я прослыл искусным учителем, потому что кругом были только плохие. Обладая, впрочем, некоторым вкусом в пении, вызывая к себе расположение своим возрастом и наружностью, я вскоре приобрел учениц больше, чем требовалось, чтобы возместить мне жалованье секретаря.

Несомненно, что в отношении приятности жизни нельзя было быстрее перейти от одной крайности к другой. В налоговом управлении я был занят восемь часов в день унылой работой с еще более унылыми людьми; запертый в скучной конторе, пропитанной дыханием всех этих мужланов, большей частью нечесаных и очень грязных, я нередко чувствовал себя страшно утомленным, и у меня кружилась голова от напряжения, от дурного воздуха, от тес-

ноты и скуки. Вместо этого я вдруг очутился в прекрасном обществе, был взыскан вниманием лучших домов; всюду меня ждет учтивый, ласковый прием, всюду царит праздничное настроение; любезные, прекрасно одетые девушки хотят меня видеть, радуются при моем появлении; я вижу только очаровательные предметы, вдыхаю аромат роз и флердоранжа; вокруг меня поют, беседуют, смеются, развлекаются; я ухожу из одного дома только для того, чтобы найти то же в другом. Всякий согласится, что при наличии таких преимуществ нельзя было колебаться в выборе. И, сделав выбор, я чувствовал себя так хорошо, что мне ни разу не пришлось в нем раскаиваться; не раскаиваюсь и теперь, когда взвешиваю дела всей своей жизни на весах разума и уже освободился от безрассудных побуждений, увлекавших меня в то время.

Вот чуть ли не единственный раз, когда, следуя только своим склонностям, я не обманулся в ожиданиях. Ласковое обращение, приветливость и радушие жителей этой страны сделали для меня светское общество привлекательным, и вкус, который я тогда получил к нему, убеждает меня, что если я не люблю жить среди людей, в этом не столько моя вина, сколько их.

Жаль, что савояры не богаты, хотя, пожалуй, было бы жаль, если б они были богатыми, потому что такие, каковы савояры сейчас, они – лучший и самый общительный народ, какой я когда-либо знал. Если есть на свете городок, где наслаждаются жизнью в приятном и почтенном обществе, то это Шамбери. Собирающиеся в нем дворяне из провинции имеют только самое необходимое для жизни; у них нет возможности достичь большего, и, не будучи в состоянии удовлетворить свое честолюбие, они по необходимости следуют совету Кинея{108}. Молодость они посвящают военному делу, а под старость возвращаются мирно доживать свой век у себя дома. Честь и разум руководят этим разделением. Женщины красивы, но могли бы обойтись и без этого: они обладают всем, что может усилить обаяние красоты и даже заменить ее. Замечательно, что я, по своему положению видевший много молодых девушек, не помню в Шамбери ни одной, которая не была бы очаровательна. Скажут, что я был предрасположен находить их очаровательными, и, может быть, будут правы; но у меня не было надобности преувеличивать. Право, я не могу вспомнить моих молодых учениц без удовольствия. Ах, зачем не могу я, называя здесь самых милых, вернуть их, а заодно и себя, к тому счастливому возрасту, в котором мы были, когда переживали вместе столько сладких и в то же время невинных минут! Первой была м-ль Мелларед, моя соседка, сестра ученика г-на Гема. Это была очень живая брюнетка, ласковая, полная грации и не ветреная. Она была немного худощава, как большинство девушек ее возраста; но ее блестящие глаза, стройный стан и привлекательный вид делали то, что она нравилась и без полноты. Я приходил к ней по утрам. Обычно она была еще в утреннем туалете и без какой-либо замысловатой прически; небрежно приподнятые волосы она украшала каким-нибудь цветком, который прикалывала при моем появлении и снимала после моего ухода, чтобы причесаться. Я ничего на свете так не боюсь, как хорошенькой женщины, одетой по-домашнему; в пышном наряде она во сто раз менее опасна.

М-ль де Ментон, у которой я бывал после полудня, была всегда элегантна и производила на меня впечатление столь же приятное, но в другом роде. У нее были волосы пепельного цвета, она была очень маленькая, очень застенчивая и очень беленькая; у нее был чистый, звонкий и певучий, как флейта, голос, который, однако, еще не дерзал развиться. На груди у нее был шрам от ожога кипятком, и косынка из голубой синели не вполне его скрывала. Этот знак иногда привлекал мое внимание, но скоро оно стало обращаться уже не на шрам. М-ль де Шаль, другая моя соседка, была вполне расцветшая, статная, высокого роста, полная девушка. Она была хороша собой, но не красавица. Зато в ней можно было отметить грацию, ровный характер, доброжелательство. Сестра ее, г-жа де Шарли, самая красивая женщина в Шамбери, сама больше не училась музыке; но ей обучалась ее совсем еще юная

дочь, зарождающаяся красота которой обещала сравняться с красотой матери, но, к несчастью, эта девочка была немного рыжевата. В монастыре визитандинок у меня была еще одна ученица, молодая француженка, фамилию которой я позабыл, – но она имеет право занять место в списке тех, кому я отдавал особое предпочтение. Она усвоила медленный, протяжный тон монашенок, но этим протяжным тоном говорила такие остроумные, живые вещи, которые никак не соответствовали ее виду. Впрочем, она была ленива и не любила утруждать себя, выказывая свой ум; этой милостью она удостаивала далеко не всех. Только через месяц или два после начала наших занятий она прибегла к этому средству, чтобы отучить меня от манкирования и сделать более усидчивым, так как я никогда не мог взять себя в руки. Стеснение и гнет невыносимы для меня в чем бы то ни было; они могут заставить меня возненавидеть даже самое удовольствие. Говорят, у магометан на рассвете по улице проходит человек и приказывает мужьям исполнить свою супружескую обязанность; в эти часы я был бы плохим турком.

У меня было также несколько учениц среди буржуазии, и одна из них оказалась косвенной причиной, вызвавшей перемену отношения ко мне, о которой я должен рассказать, потому что в конце концов обязан рассказывать все. Она была дочерью бакалейщика, и звали ее м-ль Лар; это была настоящая модель для греческой статуи, и я считал бы ее самой красивой девушкой, какую только видел, если бы истинная красота могла быть без жизни и души. Ее вялость, холодность, бесчувственность доходили до невероятных пределов: было одинаково невозможно ни понравиться ей, ни рассердить ее, и я глубоко убежден, что, если бы кто-нибудь вздумал быть с ней предприимчивым, она не сопротивлялась бы, но не из удовольствия, а просто по глупости. Мать ее, не желая подвергать дочь риску, не отпускала ее от себя ни на шаг. Решив учить ее пению и дав ей молодого учителя, она сделала все, что могла, чтобы ее расшевелить; но это не удалось. В то время как учитель прельщал дочь, мать прельщала учителя, – и это имело не больше успеха. Г-жа Лар соединяла с своей природной живостью всю ту, которой не хватало ее дочери. У нее была помятая, но смазливая задорная мордашка со следами оспы и небольшие, но огненные глаза – немножко красные, потому что почти всегда болели. По утрам, когда я приходил на урок, меня уже ждал кофе со сливками, и мать неизменно встречала меня крепким поцелуем в губы, который мне хотелось из любопытства вернуть ее дочери, чтобы увидеть, как она примет его. Впрочем, все это делалось так просто и наивно, что даже когда г-н Лар присутствовал, заигрывания и поцелуи не отменялись. Лар был славный малый, настоящий отец своей дочери; жена не обманывала его только потому, что в этом не было надобности.

Я принимал все эти ласки со своей обычной мешковатостью, просто как знак чистой дружбы. Однако иногда они мне надоедали, потому что порывистая г-жа Лар была довольно требовательна: если я, проходя днем мимо их лавки, не останавливался, – из-за этого подымался шум. Если я куда-нибудь торопился, то вынужден был делать крюк, обходя другой улицей, потому что прекрасно знал, что уйти от этой особы не так легко, как зайти к ней.

Г-жа Лар слишком много занималась мною, чтобы я мог заниматься ею. Ее внимание трогало меня. Я рассказывал о нем маменьке, не делая из него тайны. Да если б даже и была здесь какая-нибудь тайна, я не мог бы соблюсти ее, потому что скрыть что-нибудь от маменьки было для меня невозможно: мое сердце было открыто перед ней, как перед богом. Но она приняла все это совсем не так просто, как я.

Она увидела заигрывание там, где я видел только дружбу; она подумала, что г-жа Лар, решив из самолюбия сделать меня менее глупым, просветить меня, так или иначе добьется этого, что несправедливо, чтобы другая женщина брала на себя заботу о воспитании ее ученика, и что она имеет еще другие, более веские причины предохранить меня от ловушки, в которую могли завлечь меня в мои годы и в моем положении. В то время мне расставили ловушку, еще более опасную; я избежал ее, но маменька почувствовала, что против непре-

рывно угрожающих мне опасностей необходимо принять все предохранительные меры, какими она только располагала.

Мать одной из моих учениц, графиня де Ментон, была женщина очень умная и слыла очень злою. Говорят, она была причиной многих ссор, и одна из них имела роковые последствия для семьи д'Антремонов. Маменька была достаточно близка с г-жой Ментон, чтобы узнать ее характер. Невольно внушив симпатию одному лицу, на которое имела виды г-жа Ментон, маменька осталась в ее глазах виновной в этом предпочтении, хотя не искала его и не шла ему навстречу. С тех пор г-жа Ментон постаралась сыграть со своей соперницей несколько злых шуток, но ни одна из них не удалась, Я приведу одну, самую смешную, в виде образца. Они были вместе в деревне с несколькими соседями-помещиками, в числе которых был и упомянутый вздыхатель. Г-жа де Ментон сказала как-то одному из гостей, что г-жа де Варане – жеманница, что у нее совсем нет вкуса, что она дурно одевается и закрывает грудь, точно мещанка. «Что касается этого последнего обстоятельства, – заметил ее собеседник, большой шутник, – то у нее есть для этого достаточное основание, – я знаю, что у нее на груди родимое пятно, до того похожее на большую противную крысу, что кажется, она вот-вот побежит». Ненависть, как и любовь, делает человека легковерным. Г-жа де Ментон решила воспользоваться этим открытием, и однажды, когда маменька играла в карты с неблагодарным любимцем графини, та встала за стулом соперницы, потом, опрокинув его наполовину, ловко приоткрыла косынку; но вместо большой крысы кавалер увидел совсем другое, что было так же нелегко забыть, как и увидеть. Это вовсе не входило в расчеты графини.

Я не интересовал графиню де Ментон, предпочитавшую видеть вокруг себя людей блестящих; тем не менее она обращала на меня некоторое внимание – не на мою внешность, конечно, нисколько ее не занимавшую, а на предполагаемый во мне ум, который мог быть ей полезен. У нее была большая склонность к сатире. Она любила сочинять песенки и стихи о людях, которые ей не нравились. Если б она обнаружила во мне достаточно таланта, чтобы помочь ей отделывать ее стихи, и достаточно любезности, чтобы писать их за нее, мы с ней вдвоем могли бы перевернуть вверх дном весь Шамбери. Если бы кто-нибудь добрался до источника этих пасквилей, г-жа де Ментон вывернулась бы, пожертвовав мною, а меня, быть может, до конца моих дней засадили бы в тюрьму, чтоб я знал, что значит разыгрывать из себя Феба среди дам.

К счастью, ничего этого не случилось. Г-жа де Ментон несколько раз оставляла меня у себя обедать, чтобы заставить меня разговориться, и нашла, что я глуп. Я сам это чувствовал и огорчался, завидуя талантам моего друга Вантюра, хотя должен был бы благодарить свою тупость за то, что она спасала меня от опасностей. Я остался для г-жи де Ментон только учителем ее дочери и больше ничем; зато я жил спокойно и был всегда желанным в Шамбери. Это стоило больше, чем быть остроумцем для нее и змеею для всех.

Как бы то ни было, маменька увидела, что, для того чтобы предохранить меня от заблуждений юности, настало уже время обращаться со мной, как со взрослым мужчиной; и она это сделала, но таким необычным способом, каким женщины в подобных случаях никогда не пользуются. Она придала своему виду больше важности, а речам больше нравоучительности, чем обычно. Резвую шаловливость, которую она примешивала к своим наставлениям, сменил вдруг тон сдержанный, не строгий и не интимный, но, казалось, подготовлявший какое-то объяснение. Тщетно поискав в самом себе причину этой перемены, я спросил об этой причине у нее. Она ожидала, что я задам такой вопрос, и в ответ предложила мне на следующий день совершить прогулку в садик. Мы пришли туда утром. Она приняла все меры к тому, чтобы нас оставили на день одних, и весь этот день посвятила подготовке меня к милостям, которые собиралась оказать мне; но она готовила меня к ним не так, как другие женщины, при помощи заигрывания и всяких уловок, а при помощи беседы, испол-

ненной чувства и разума, предназначенной больше для того, чтобы наставить, чем соблазнить меня, – беседы, больше говорившей моему сердцу, чем моей чувственности. Однако, как ни прекрасны и полезны были эти речи, нисколько не холодные и не печальные, я не отдал им должного внимания и не запечатлел их в своей памяти, как сделал бы это во всякое другое время. Начало ее речи, ощущение, что она что-то подготовляет, – все это встревожило меня: пока она говорила, я, против воли задумчивый и рассеянный, не столько старался вникнуть в смысл ее слов, сколько угадать, к чему она клонит речь; и как только я понял, в чем дело (понять это было нелегко), новизна мысли, ни разу не приходившей мне в голову за все время, пока я жил подле нее, захватила меня целиком и лишила возможности думать о том, что она мне говорит. Я думал только о ней и не слушал ее.

Попытка воспитателя привлечь внимание молодого человека к своим словам при помощи намеков, что самое интересное будет в конце беседы, – весьма распространенная нелепость; я сам не избежал ее в своем «Эмиле». Молодой человек, изумленный предметом, на который ему указывают, интересуется исключительно им и одним прыжком перескакивает через все ваши предисловия, чтобы поскорее прийти туда, куда вы, на его взгляд, слишком медленно его ведете. Если вы хотите сделать его внимательным, не надо открывать ему карты заранее, вот в чем заключалась ошибка маменьки. По свойственной ее систематическому уму особенности, она приняла совершенно излишнюю предосторожность, поставив мне определенные условия. Но как только я узнал, что это были за условия, я поспешил согласиться на все. Сомневаюсь даже, чтобы во всем мире нашелся достаточно искренний или достаточно смелый мужчина, который в подобном случае решился бы торговаться, и хоть одна женщина, которая простила бы подобный торг. Из-за той же самой особенности своего характера она прибавила к этому условию тяжелые формальности и дала мне неделю на размышление, хоть я притворно и уверял ее, что не нуждаюсь в этом. Как ни странно, но я был очень рад отсрочке: так сильно поразила меня новизна положения, и я чувствовал такое смятение в своих мыслях, что мне нужно было время, чтобы привести их в порядок!

Можно было бы предположить, что эти семь дней тянулись для меня семь столетий. Ничуть не бывало, мне как раз хотелось, чтобы они на самом деле продолжались столько времени. Не знаю, как описать мое состояние: полный какого-то страха, смешанного с нетерпением, я настолько опасался того, что составляло предмет моих желаний, что иногда ломал себе голову, ища приличного способа уклониться от своего счастья. Пусть представят себе мой горячий и страстный темперамент, огонь, пылающий в крови, мое сердце, упоенное любовью, мою силу, мое здоровье, мой возраст. Пусть представят себе, что в подобном состоянии, изнемогая от жажды сближения с женщинами, я не был еще близок ни с одной из них, что воображение, потребность, тщеславие, любопытство – все соединилось для того, чтобы терзать меня страстным желанием стать мужчиной и казаться им. Пусть вспомнят в особенности (об этом не следует забывать), что моя живая и нежная привязанность к ней не только не ослабевала, но все более усиливалась с каждым днем, что мне было хорошо только возле нее, что я удалялся от нее только для того, чтобы думать о ней, что мое сердце было полно не только ее добротой, ее милым характером, но также ее прелестью, ее внешностью, всей ее личностью, ею самой, – одним словом, всем, чем она только могла быть мне дорогой. И пусть не воображают, что из-за разницы в десять или в двенадцать лет, бывшей между нами, она была стара или казалась мне старой. С тех пор как за пять или шесть лет до этого я испытал сладкий восторг первой встречи, она очень мало изменилась, а мне и вовсе не казалась изменившейся. Для меня она всегда была очаровательной и еще оставалась очаровательной для всех. Ее талия немного округлилась, но остался прежний взгляд, прежний цвет лица, прежняя грудь, прежние черты, прекрасные белокурые волосы, прежняя жизнерадостность – все, даже голос, серебристый, юный голос, всегда производивший на меня

такое сильное впечатление, что еще и теперь я не могу равнодушно слышать звук красивого девичьего голоса.

Естественно, что, ожидая сближения со столь дорогим существом, я должен был бы бояться предвосхитить эту минуту, утратив способность владеть своими желаньями и воображением. Читатели увидят, что в более зрелом возрасте одна только мысль об ожидавших меня незначительных ласках любимой особы зажигала мою кровь до такой степени, что я не мог безнаказанно совершить короткий путь, отделявший меня от нее. Каким же образом, при посредстве какого чуда во цвете моей юности так слаб был мой порыв к первому наслаждению? Как мог я ожидать приближения этого часа скорее с грустью, чем с радостью? Каким образом вместо восторгов, которые должны были бы опьянять меня, я чувствовал чуть ли не страх и отвращение? Безусловно, если б я мог отказаться от своего счастья, не нарушая пристойности, я сделал бы это от чистого сердца. Я обещал рассказать о странностях моего чувства к ней; вот одна из них, которой, наверно, никто не ожидал.

Читатель, уже возмущенный, полагает, что, принадлежа другому, она упала в моих глазах, готовясь разделить себя между нами, и что чувство неуважения уничтожило другие чувства, которые она внушала мне раньше; он ошибается. Правда, этот раздел причинял мне жестокое страдание, как по вполне естественной щепетильности, так и потому, что я считал его не достойным ни ее, ни меня, но чувств моих к ней он не поколебал, и я мог бы поклясться, что никогда не любил ее так нежно, как тогда, когда так мало хотел обладать ею. Я слишком хорошо знал ее целомудренное сердце и ее ледяной темперамент, чтобы хоть на минуту поверить, что в ее самопожертвовании играет роль чувственное наслаждение. Я был совершенно уверен, что только желание предотвратить опасность, почти неизбежно угрожающую мне, и сохранить меня всецело для меня самого и для моих обязанностей заставило ее нарушить свой долг, на который она смотрела иначе, чем другие женщины, как об этом будет сказано ниже. Я жалел ее, жалел и себя. Я хотел бы сказать ей: «Нет, маменька, в этом нет необходимости; я отвечаю вам за себя и без этого». Но я не посмел, прежде всего потому, что о таких вещах не говорят, и потом в глубине души я чувствовал, что это неправда, что действительно она была единственной женщиной, способной защитить меня от других женщин и обезопасить от искушений. Не желая обладать ею, я был, однако, очень доволен, что она избавила меня от желания обладать другими: на все то, что могло отвлечь меня от нее, я смотрел как на несчастье. Долгая привычка жить вместе, сохраняя целомудрие, не ослабила моих чувств к ней, а усилила их и в то же время дала им другое направление, они стали более сердечными, быть может, более нежными, но менее плотскими. Благодаря тому что я называл ее «маменькой» и обращался с ней как сын, я в самом деле привык смотреть на себя, как на ее сына. Думаю, что в этом заключалась настоящая причина моего слабого стремления обладать ею, несмотря на всю мою любовь к ней. Я прекрасно помню, что первые мои чувства к ней, хотя менее пламенные, были более сладострастными. В Аннеси я был в опьянении. В Шамбери этого больше не было. Я всегда любил ее так пылко, как только возможно; но я любил ее больше для нее самой, чем для себя, или по крайней мере возле нее искал скорее счастья, чем наслаждения; она была для меня больше сестры, больше матери, больше друга, даже больше любовницы. Словом, я слишком любил ее, чтобы желать: вот все, что в моих мыслях было наиболее ясного.

Этот день, скорее страшный, чем желанный, наконец настал. Я обещал все и не солгал. Сердце мое подтверждало мои обещания, не требуя за них награды. И все же я получил награду. Первый раз я был в объятиях женщины – и женщины, которую обожал. Был ли я счастлив? Нет, я испытывал только удовольствие. Какая-то непобедимая грусть отравляла его прелесть. Я чувствовал себя так, словно совершал кровосмешение. Сжимая ее в своих объятиях, я не раз обливал ее грудь слезами. Она же не была ни грустна, ни оживленна,

но ласкова и спокойна. Так как она не была чувственна и не искала сладострастья, она не испытала связанного с ним наслаждения, но и никогда не раскаивалась в том, что произошло.

Повторяю, все ее ошибки происходили от ее заблуждений, а никак не от страстей. Она была из хорошей семьи, сердце ее было чисто, она любила все порядочное, по наклонностям своим была честна и добродетельна, обладала тонким вкусом; она была создана для безупречной нравственности, которую всегда любила, но никогда ей не следовала, так как, вместо того чтобы слушаться своего сердца, направлявшего ее к хорошему, подчинялась рассудку, склонявшему ее к дурному. Когда ложные принципы вводили ее в заблуждение, истинные чувства ее всегда отвергали их; но, к несчастью, она кичилась своей философией, и мораль, созданная ею для себя, портила то, что подсказывало ей сердце.

Ее учителем философии был первый ее возлюбленный, г-н де Тавель; он внушал ей как раз те принципы, которые были необходимы, чтобы обольстить ее. Видя ее привязанность к мужу и верность своему долгу, находя ее всегда холодной, рассудочной и неуязвимой со стороны чувства, он атаковал ее софизмами и достиг цели, доказав ей, что ее обязанности, которым она так преданна, – пустые фразы из катехизиса, годные только на забаву детям, что сближение полов – акт, сам по себе совершенно безразличный; что супружеская верность лишь обязательная видимость, нравственный смысл которой всецело зависит от взгляда на нее; что спокойствие мужей – единственная обязанность жен; а следовательно, скрытая неверность, не существующая для того, кого она может оскорбить, не существует и для собственной совести. Наконец он убедил ее, что сама по себе неверность ничего не значит, что лишь огласка делает ее предосудительной, что всякая жена, кажущаяся целомудренной, тем самым целомудренна и в действительности. Таким способом этот презренный человек достиг своей цели, развратив ум ребенка; сердце же он развратить не мог. Он был наказан самой жестокой ревностью, уверенный, что она обращается с ним так же, как он научил ее обращаться с мужем. Не знаю, ошибался ли он в этом. Священник Перре считался его преемником. Знаю только, что холодный темперамент этой молодой женщины, который должен был бы предохранить ее от подобных взглядов, как раз помешал ей отказаться от них. Ей было непонятно, почему придают такое значение тому, что для нее ничего не значит. Она не могла назвать воздержание добродетелью, так как оно не стоило ей никаких усилий.

Она никогда не злоупотребляла этим ложным принципом для себя самой; но она злоупотребляла им для других и делала это на основании другого правила, почти столь же ложного, но зато более соответствующего доброте ее сердца. Она всегда считала, что ничто так не привязывает мужчину к женщине, как обладание, и хотя сама испытывала к своим друзьям только чувство дружбы, но такое нежное, что она употребляла все зависящие от нее средства, чтобы привязать их к себе как можно сильнее. Удивительно было то, что это ей почти всегда удавалось. Она действительно была так мила, что чем в большей близости ты с ней находился, тем больше причин было у тебя любить ее. Заслуживает внимания еще и то, что после первой своей слабости она была благосклонна только к несчастным: блестящие мужчины не имели у нее никакого успеха, но человек, которого она начинала жалеть, должен был быть слишком непривлекательным, чтобы она не полюбила его. Если ей случалось делать выбор, не вполне достойный ее, – это происходило отнюдь не из-за низменных наклонностей, никогда не проникавших в ее благородное сердце, а исключительно из-за ее характера, слишком великодушного, слишком человечного, слишком отзывчивого, слишком чувствительного, которым она не всегда достаточно умела управлять.

Если некоторые ложные принципы и сбивали ее с правильного пути, зато сколько у нее было прекрасных принципов, от которых она ни разу не отступила! Сколькими добродетелями искупала она свои слабости, если можно назвать слабостями ошибки, где чувственность играла столь малую роль. Тот самый человек, который обманул ее в одном случае, превосходно руководил ею во многих других; и так как ее страсти, не будучи бурными,

позволяли ей следовать его наставлениям, она поступала всегда как должно, если только софизмы не сбивали ее с пути. Даже в тех случаях, когда она поступала неправильно, побуждения ее были похвальны; совершая ошибку, она могла поступить дурно, но ни при каких обстоятельствах не могла пожелать ничего дурного. Она ненавидела двуличие и ложь, была справедлива, искренна, беспристрастна, человеколюбива, верна своему слову, своим друзьям, своим обязанностям, когда в чем-либо усматривала их; неспособная к ненависти и мести, она даже не понимала, почему прощение считается заслугой. Наконец, возвращаясь к тому, что было в ней наименее извинительным, надо сказать, что она придавала слишком мало значения своей благосклонности, но зато никогда не делала ее предметом гнусной купли-продажи; она ее расточала, но не торговала ею, хотя постоянно нуждалась в средствах к существованию; и я осмелюсь сказать, что если Сократ мог уважать Аспазию{109}, – он уважал бы и г-жу де Варане.

Знаю заранее, что, приписав ей чувствительный характер и холодный темперамент, я подвергнусь обычному и, как всегда, необоснованному обвинению в противоречии. Быть может, тут виновата природа, и такого сочетания не должно быть; знаю только, что именно так было. Все, кто знал г-жу де Варане, – а многие из них до сих пор живы, – могут подтвердить, что она была именно такая. Я имею смелость прибавить, что она знала только одно истинное наслаждение в жизни – это доставлять наслаждения тем, кого она любила. Однако каждый волен толковать об этом, как ему вздумается, и учеными рассуждениями доказывать, что этого не было. Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее.

Все только что сказанное я узнавал постепенно, из бесед, которые последовали за нашим союзом и сами по себе делали его восхитительным. Маменька не без основания надеялась, что ее благосклонность будет мне полезна; действительно, я извлек из этой благосклонности немало ценного для своего развития. До этого времени маменька говорила со мной, как с ребенком, – только обо мне, а теперь стала обращаться, как со взрослым мужчиной, и рассказывала о себе. Все, что она сообщала, было мне так интересно и так меня трогало, что, мысленно уходя в свой внутренний мир, я получил больше пользы для себя от этих признаний, чем от ее наставлений. Когда чувствуешь, что с тобой говорят от всей души, твое собственное сердце раскрывается, чтоб воспринять излияние чужого сердца, и самые назидательные беседы педагога никогда не сделают того, что могут сделать нежные, задушевные речи благоразумной женщины, к которой ты привязан.

Наши близкие отношения позволили ей оценить меня выше, чем прежде, и она решила, что, несмотря на мой неуклюжий вид, стоит попытаться воспитать меня для света и что, более или менее прочно став на ноги, я сумею пробить себе дорогу в жизни. Увлекшись этой идеей, она принялась не только развивать мой ум, но и улучшать мою внешность, мои манеры, она захотела сделать меня столь же приятным, сколь достойным уважения; и если верно, что можно соединить светские успехи с добродетелью (чему я лично не верю), во всяком случае, я убежден, что для этого нет лучшего пути, чем избранный и указанный мне ею. Дело в том, что г-жа де Варане знала людей и превосходно владела искусством обращаться с ними без лжи и неосмотрительности, не обманывая и не раздражая их. Но искусство это было больше свойственно ее характеру, чем обнаруживалось в ее наставлениях; она лучше умела применять его в жизни, чем обучать ему, а изо всех людей я был наименее способен ему научиться. Поэтому все, что она делала для меня в этом смысле, было почти что потерянный труд, – так же как и то, что она позаботилась дать мне учителя танцев и учителя фехтования. Хотя я был ловок и хорошо сложен, но не мог выучиться танцевать менуэт. Из-за своих мозолей я так привык припадать на пятки, что не в силах были отучить меня от этой походки; несмотря на свою подвижность, я не мог перепрыгнуть через самый обыкновенный ров. Еще хуже пошло дело в фехтовальном зале. После трехмесячного обучения я все еще фехтовал у стенки, не будучи в состоянии нападать; и никогда пальцы мои не

стали настолько гибки, а рука настолько сильна, чтобы удержать рапиру, когда учитель хотел выбить ее. Прибавьте, что я чувствовал смертельное отвращение к этому занятию, а также к учителю, пытавшемуся выучить меня ему, – никогда я не подумал бы, что можно гордиться уменьем убивать человека. Чтобы сделать для меня доступным свой обширный талант, он объяснялся только при помощи сравнений, взятых из музыки, которой не знал. Он находил поразительное сходство между выпадами – терцией и квартой{110} – и музыкальными интервалами этого же названия. Перед тем как нанести удар, называемый ложным выпадом[13], он предупреждал меня об этом «диезе», – так как в старину диезы назывались ложными тонами; выбив рапиру из моей руки, он с хохотом объявлял это «паузой». Словом, в жизни не видал я более несносного педанта, чем этот субъект со своим плюмажем и нагрудником.

Таким образом, я делал слабые успехи в своих занятиях и, полный отвращения, скоро оставил их. Зато я больше успел в другом, более полезном искусстве: быть довольным своей судьбой и не желать более блестящей участи, для которой, как я начинал чувствовать, я не был рожден. Безраздельно преданный желанию сделать счастливой жизнь г-жи де Варане, я больше всего любил быть с ней; когда же мне приходилось с ней разлучаться и бегать по урокам, то, несмотря на всю мою страсть к музыке, я начинал ими тяготиться.

Не знаю, замечал ли нашу близость Клод Анэ. У меня есть основание думать, что она не осталась для него тайной. Это был человек очень догадливый, но очень скрытный; он никогда не говорил того, чего не думал, но в то же время не всегда говорил то, что думал. Не делая мне ни малейших намеков на свою осведомленность, он обнаруживал ее своим поведением, и эта сдержанность объяснялась не низостью души: просто он разделял убеждения своей госпожи и не мог осуждать ее за то, что она поступала согласно им. Будучи не старше ее годами, он казался, однако, таким зрелым и серьезным, что смотрел на нас почти как на двух детей, заслуживающих снисхождения, а мы относились к нему, как к почтенному человеку, чьим уважением следует дорожить. Только после того как она изменила ему, я узнал, до чего она к нему привязана. Зная, что она управляет моими мыслями и чувствами, что я дышу только ею, она показывала мне, как сильно любит его, чтобы и я полюбил его так же; при этом она подчеркивала не столько свою любовь, сколько уважение к нему, так как последнее чувство я мог разделить наиболее полно. Сколько раз она умиляла наши сердца и заставляла нас обняться в слезах, говоря, что мы оба необходимы ей для счастья ее жизни. Пусть женщины, прочитавшие эти строки, не усмехаются злорадно. При ее темпераменте подобная потребность не заключала в себе ничего двусмысленного: она была только потребностью сердца.

Таким образом из нас троих составилось общество, подобного которому, быть может, не было на свете. Наши желания, наши заботы, наши сердца были общими; ничто не выходило за пределы нашего маленького кружка. Привычка жить вместе и обособленно дошла у нас до того, что если во время наших трапез одного из троих не хватало или приходил четвертый – все расстраивалось, и, несмотря на близость маменьки с каждым из нас, пребывание вдвоем было нам менее сладостно, чем единение всех троих. Безграничное взаимное доверие устраняло между нами всякую стесненность, а то, что мы все трое были очень заняты, спасало нас от скуки. Маменька, всегда полная замыслов и деятельная, не оставляла нас обоих праздными, а у каждого из нас в отдельности тоже было чем заполнить время. По-моему, праздность – не меньшее общественное зло, чем одиночество. Ничто так не угнетает ум, ничто не порождает столько мелочности, сплетен, колкостей, придирок, лжи, как постоянное пребывание вместе, лицом к лицу друг с другом, в четырех стенах, когда вместо работы все заняты беспрерывной болтовней. Занимаясь делом – говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является потребность говорить беспрерывно; и из всех

[13] «Ложный выпад» и «ложный тон» обозначаются одним французским словом «feinte». (*Прим. ред.*)

стеснений я считаю именно это наиболее тягостным и наиболее опасным. Осмелюсь пойти дальше и утверждать, что общество может быть действительно приятным лишь в том случае, если каждый не только чем-нибудь занят, но если и самое занятие требует внимания. Делать бантики – значит ничего не делать; занимать женщину, которая вяжет бантики, так же трудно, как и ту, которая сидит сложа руки. Когда она вышивает – другое дело: она занята достаточно, чтобы промежутки молчания были у нее заняты работой. Особенно возмутительно и смешно наблюдать, как в это время дюжина верзил встает, садится, уходит и приходит, делает пируэты на каблуках, по двести раз переворачивает китайских болванчиков на камине и тратит все свои умственные способности на непрерывное словоизвержение: нечего сказать, прекрасное занятие! Эти люди, что бы они ни делали, всегда будут в тягость и другим, и себе. В Мотье я ходил к соседкам плести шнурки; а если б я вернулся в свет, то всегда держал бы в кармане бильбоке и весь день играл бы в него, чтоб не разговаривать, когда мне нечего сказать. Если бы каждый поступал подобным образом, люди не были бы такими злыми, отношения их стали бы более прочными и, думаю, более приятными. В конце концов пусть шутники смеются сколько им угодно, но я утверждаю, что единственная мораль, доступная нашему веку, – это мораль бильбоке.

Впрочем, мы были избавлены от заботы разгонять скуку собственными усилиями: назойливые посетители так надоедали нам своим нашествием, что после их ухода от скуки не оставалось и следа. Нетерпеливая досада, которую они возбуждали во мне когда-то, не уменьшилась, разница была только в том, что теперь у меня было меньше времени предаваться ей. Бедная маменька еще нисколько не утратила своего былого пристрастия к разным замыслам и предприятиям; напротив, чем более настоятельными становились домашние нужды, тем больше предавалась она своим фантазиям о том, как их удовлетворить; чем меньше имела она средств в настоящем, тем больше измышляла их для будущего. С годами эта мания только увеличивалась, и по мере того как маменька теряла вкус к удовольствиям света и молодости, она заменяла его склонностью к тайнам и проектам. Дом все время был полон всякими шарлатанами, изобретателями, советчиками, прожектерами, которые ворочали миллионами – в перспективе, а пока что нуждались в экю. Никто не уходил от нее с пустыми руками, и меня всегда поражало, как она могла так долго выдерживать подобные расходы, не исчерпывая источника своих средств и не выводя из терпения кредиторов.

Проект, больше всего занимавший ее в то время и не самый безрассудный из всего, что она иногда придумывала, состоял в том, чтобы устроить в Шамбери королевский ботанический сад со штатным смотрителем, и нетрудно было догадаться, для кого это место предназначалось. Положение города среди Альп было очень благоприятно для изучения ботаники, а маменька, старавшаяся всегда облегчить осуществление одного проекта другим, прибавила еще проект фармацевтического училища, которое могло бы быть очень полезно в таком бедном краю, где аптекари были почти единственными врачами. Пребывание в Шамбери лейб-медика Гросси, ушедшего в отставку после смерти короля Виктора, показалось ей весьма благоприятным обстоятельством для осуществления ее плана и, быть может, даже внушило его. Как бы то ни было, она стала ухаживать за Гросси; однако он не особенно поддавался, так как это был самый язвительный и грубый человек, какого мне приходилось встречать; приведу два-три случая для примера.

Однажды он участвовал в консилиуме вместе с другими врачами; среди них был домашний врач больного, прибывший из Аннеси. Этот молодой человек, еще плохо зная обычаи своей среды медиков, осмелился не согласиться с мнением королевского медика. Последний вместо всякого ответа спросил, когда тот думает ехать домой, какой дорогой и в каком экипаже. Молодой врач, удовлетворив его любопытство, в свою очередь осведомился, чем он может быть ему полезен. «Ничем, ничем, – ответил Гросси, – я только хочу посмотреть в окно, когда вы будете проезжать, чтобы иметь удовольствие видеть осла верхом на

лошади». Он был настолько же скуп, насколько богат и груб. Как-то раз один из его друзей хотел занять у него денег под верное обеспечение. «Мой друг, – сказал Гросси, пожимая ему руку и скрежеща зубами, – если бы святой Петр сошел с неба, чтобы занять у меня десять пистолей{111}, и предложил мне в залог святую троицу, я не одолжил бы ему». Однажды, будучи приглашен обедать к губернатору Савойи, графу Пикону, человеку очень набожному, он приехал слишком рано; его превосходительство, занятый чтением молитв и перебиранием четок, предлагает ему такое же развлечение. Не зная, что ответить, Гросси делает ужасную гримасу и опускается на колени; но, едва прочитав два раза «Ave», не выдерживает, порывисто вскакивает, берет свою трость и, ни слова не говоря, уходит. Граф Пикон бежит за ним, крича: «Господин Гросси! Господин Гросси! Погодите, у меня жарится на вертеле превосходная куропатка». – «Господин граф, – отвечает Гросси, оборачиваясь, – если вы даже подадите жареного ангела, я и то не останусь». Вот каков был г-н главный врач Гросси, которого маменька задумала приручить и в конце концов приручила. Чрезвычайно занятый, он, однако, стал часто бывать у нее, подружился с Анэ, постоянно подчеркивал, какое значение придает его знаниям, говорил о нем с уважением и, чего нельзя было ожидать от подобного медведя, обращался с ним преувеличенно почтительно, чтобы изгладить память о прошлом. Хотя Анэ уже не был на положении слуги, все знали, что прежде он был слугой, и понадобился пример и авторитет г-на главного врача, чтобы по отношению к нему приняли тон, который иначе не мог бы установиться. В своем черном костюме и тщательно расчесанном парике, со своей важной, солидной осанкой и благоразумным, осмотрительным поведением, располагая довольно обширными познаниями в медицине и ботанике, Клод Анэ, при поддержке декана факультета, мог не без основания рассчитывать на успех в должности смотрителя королевского ботанического сада, если бы проектированное учреждение осуществилось. И действительно, Гросси одобрил этот план, принял его и ждал только того момента, чтобы предложить его при дворе, когда заключение мира позволит подумать о полезных вещах и освободить средства, необходимые для их осуществления.

Но этот проект, исполнение которого, наверно, заставило бы меня кинуться в ботанику, для чего я, кажется, был рожден, рухнул от одного из тех неожиданных ударов, которые разбивают и самые обдуманные предприятия. Мне суждено было мало-помалу стать примером человеческих несчастий. Можно подумать, что провидение, призывая меня к этим великим испытаниям, само устраняло все, что могло помешать мне подвергнуться им. Во время одной из прогулок, когда Анэ поднялся высоко в горы, чтобы поискать для Гросси белую полынь – редкое растение, растущее только в Альпах, бедный малый так разгорячился, что схватил плеврит, от которого и белая полынь не могла спасти его, хотя говорят, будто она помогает именно от этой болезни; несмотря на искусство Гросси, врача безусловно сведущего, и на бесконечные заботы его доброй госпожи и мои собственные, ничто не могло спасти несчастного, и через пять дней он умер на наших руках в жесточайшей агонии, не получив других напутствий, кроме моих. Но я молился за него с такой скорбью и с таким усердием, что, если бы он был в состоянии слышать, это было бы для него некоторым утешением. Вот как потерял я самого верного своего друга, достойного и редкого человека; природные качества заменили ему воспитание, в подчиненном положении он усвоил себе все добродетели великих людей, и, быть может, ему не хватало только долголетия и благоприятного положения в обществе, чтобы стать великим человеком.

На другой день я с самой глубокой, самой искренней печалью говорил о нем с маменькой; и вдруг посреди беседы у меня появилась низкая и недостойная мысль, что я наследую его гардероб, а главное – прекрасный черный костюм, давно мне приглянувшийся. Я подумал об этом, а следовательно, и сказал, потому что при ней это было для меня одно и то же. Ничто не заставило ее до такой степени почувствовать утрату, как это подлое, низкое замечание, так как покойный отличался исключительным бескорыстием и благородством.

Бедная женщина ничего не ответила, отвернулась и заплакала. Дорогие, бесценные слезы! Они были поняты и пролились целиком в мое сердце. Они смыли там все следы низкого и бесчестного чувства. С тех пор оно не имело туда доступа.

Эта утрата причинила маменьке не только горе, но и материальный ущерб. С этого времени дела ее стали все больше приходить в упадок. Анэ был точен и аккуратен, он поддерживал порядок в доме своей госпожи. Его зоркого глаза опасались, и расточительность была меньше. Маменька сама боялась его контроля и была сдержанней в своем мотовстве. Ей недостаточно было его привязанности, – она хотела сохранить его уважение и избежать справедливых упреков, которые он осмеливался делать ей иногда, говоря, что она расточает не только свое, но и чужое добро. Я думал, как и он, и говорил ей то же самое, но не пользовался таким влиянием, как он, – и мои слова не имели для нее того значения. Когда Анэ не стало, мне пришлось занять его место, но у меня не было к этому ни способности, ни охоты; я плохо замещал его. Я был недостаточно заботлив и слишком робок; все время ворча про себя, я предоставлял делам идти так, как они шли. Правда, я снискал к себе такое же доверие, как Анэ, но не пользовался его авторитетом. Я видел беспорядок, вздыхал, жаловался, но меня не слушались. Я был слишком молод и горяч, чтоб иметь право требовать рассудительности; когда я пытался вмешиваться и контролировать, маменька ласково трепала меня по щеке, называла своим маленьким ментором{112} и заставляла играть снова ту роль, которая мне подходила.

Глубокое предчувствие беды, в которую рано или поздно неизбежно должны были ввергнуть ее непомерные траты, производило на меня впечатление тем более сильное, что, став управляющим, я сам мог судить о несоответствии между приходом и расходом. В это время и появилась у меня та склонность к скупости, которую я знаю за собой; я всегда бывал безрассудно расточителен только порывами, но до того времени никогда особенно не беспокоился, мало или много у меня денег. Теперь я стал обращать на это внимание и заботиться о своем кошельке. Я становился скаредом из благородных побуждений, так как, право, думал только о том, как бы сберечь для маменьки какие-нибудь средства на случай катастрофы, которую предвидел. Я боялся, что кредиторы посягнут на ее пенсию, что эта пенсия будет отменена, и в своей наивности воображал, что припрятанные мной деньжонки окажут ей тогда большую помощь. Но для того чтобы иметь их, а главное – сохранить, надо было таиться от нее: ведь было бы очень неловко, если бы она узнала, что, в то время как она находится в стесненных обстоятельствах, у меня есть сбережения. Я стал всюду искать какого-нибудь скрытого местечка, где мог бы припрятать несколько луидоров, а затем понемногу увеличить этот запас и в конце концов положить его к ее ногам. Но я так неумело выбирал укромные места, что она всегда открывала их; чтобы показать мне, что она их нашла, она вынимала золото, которое я туда положил, и клала взамен большую сумму, в других монетах. Пристыженный, я вынужден был отдавать свой маленький клад в общее пользование, но она тратила почти все эти деньги на меня, покупая мне платье и разные вещи, например серебряную шпагу, часы и тому подобное.

Окончательно убедившись, что мне никогда не удастся скопить значительную сумму и что собранное было бы для нее ничтожной помощью, я почувствовал наконец, что для предотвращения несчастья, которого я так боялся, мне необходимо научиться самому добывать для нее средства к тому времени, когда она лишится возможности обеспечивать мое существование и увидит, что скоро останется без куска хлеба. К несчастью, подчиняя этот замысел своим вкусам, я упорствовал в безумной попытке добыть себе состояние музыкой и, чувствуя зарождение в своей голове музыкальных мыслей и звуков, возомнил, что скоро стану знаменитостью, современным Орфеем{113}, мелодии которого привлекут к нему все серебро Перу{114}. Я уже начал недурно читать ноты и воображал, что мне ничего не будет

стоить изучить композицию. Трудность заключалась лишь в том, чтобы найти подходящего учителя, так как самостоятельно достичь успеха, с одним трактатом Рамо, я не надеялся, а после отъезда Леметра в Савойе не осталось никого, кто знал бы толк в гармонии.

Тут еще раз проявилась одна из тех непоследовательностей, которыми полна была моя жизнь и которые так часто заставляли меня идти в сторону от намеченной цели, в то время как я думал, что направляюсь к ней прямым путем. Вантюр много говорил мне об аббате Бланшаре, своем учителе композиции, человеке достойном и очень талантливом, который был тогда регентом в Безансонском соборе, а в данное время занимает ту же должность в Версальской капелле. Я вбил себе в голову мысль ехать в Безансон{115}, чтобы брать уроки у аббата Бланшара; мысль эта казалась мне такой разумной, что мне удалось убедить и маменьку. И вот она стала снаряжать меня в дорогу, проявляя при этом свойственную ей щедрость. Таким образом, постоянно носясь с проектами предотвратить ее банкротство и исправить в будущем последствия ее расточительности, я начал с того, что ввел ее в расход на восемьсот франков: я ускорял ее разорение, надеясь в дальнейшем спасти ее от этой беды. Как ни безрассудно было подобное поведение, оба мы были всецело во власти своей иллюзии. Мы были убеждены: я – в том, что хлопочу с пользой для нее, она – что я хлопочу с пользой для себя. Я рассчитывал найти Вантюра еще в Аннеси и попросить у него письмо к аббату Бланшару. Но его там не оказалось. Вместо письма Вантюра мне пришлось удовольствоваться сочиненной им мессой на четыре голоса, которую он оставил мне в рукописи. С этой рекомендацией я отправился в Безансон через Женеву, где повидался со своими родственниками, и через Нион, где навестил отца; он принял меня как обычно и взялся доставить мой чемодан, который должен был прибыть позже меня, так как я ехал верхом. Наконец я добрался до Безансона. Аббат Бланшар принял меня хорошо, обещал свое руководство, предложил свои услуги. Мы уже были готовы начать занятия, как вдруг я узнал из письма отца, что мой чемодан задержан и конфискован в Руссе – французской таможне на границе Швейцарии. Испуганный этим известием, я старался воспользоваться всеми завязавшимися у меня в Безансоне знакомствами, чтобы узнать причину конфискации, так как хорошо знал, что у меня нет никакой контрабанды, и не мог понять, под каким предлогом мой чемодан задержан. Наконец я узнаю, в чем дело; об этом надо рассказать, так как это любопытный случай.

Я познакомился в Шамбери с одним старым лионцем, очень хорошим человеком, по фамилии Дювивье, который во времена Регентства{116} служил в таможне, а потом, не имея ничего другого, поступил в налоговое управление. Он когда-то жил в свете, был талантлив, имел знания, отличался мягкостью и вежливостью в обращении, знал музыку; так как мы работали в одной комнате, то особенно подружились, находясь среди неотесанных медведей, окружавших нас. У него были в Париже корреспонденты, присылавшие ему всякие пустячки – эфемерные новинки, неизвестно откуда появляющиеся и неизвестно как исчезающие, – безделицы, о которых никогда больше не вспоминают, после того как о них перестанут говорить. Я несколько раз приглашал его обедать к маменьке; поэтому он немножко ухаживал за мной и, чтобы быть приятным, старался заинтересовать меня всем этим литературным вздором, всегда внушавшим мне такое отвращение, что я сам никогда в жизни не читал ни одной из таких новинок. Чтобы не огорчать его, я брал эти драгоценные листки, совал их в карман и вспоминал об этом, лишь когда испытывал потребность, для которой они только и пригодны. К несчастью, одна из этих проклятых бумажек осталась в кармане куртки моего нового костюма, который я надевал раза два или три, чтобы не отставать от других служащих. Это была довольно плоская янсенистская пародия на прекрасную сцену из «Митридата» Расина{117}. Не прочтя и десяти стихов, я забыл ее в кармане. Из-за нее-то и был конфискован мой багаж. Чиновники предпослали списку моих вещей неподражаемый

протокол, где высказывали подозрение, что это писанье пришло из Женевы для напечатания и распространения во Франции, обрушивались в священном негодовании на врагов бога и церкви и расточали хвалы своей благочестивой бдительности, помешавшей исполнению адского замысла.

Они, видимо, нашли, что рубашки мои тоже пахнут ересью, потому что из-за проклятой бумажонки было конфисковано все, и я так никогда и не мог добиться ни сведений о моих бедных пожитках, ни их возвращения. Таможенные чиновники, к которым я обращался, требовали столько всяких объяснений, справок, удостоверений, записок, что, тысячу раз потерявшись в этом лабиринте, я вынужден был бросить все. Я очень жалею, что не сохранил протокола таможни в Руссе: этот документ занял бы видное место среди тех, собрание которых должно быть приложено к моему сочинению.

Эта потеря заставила меня немедленно вернуться в Шамбери, отказавшись от занятий с аббатом Бланшаром. Хорошенько взвесив все и убедившись, что несчастья преследуют меня во всех моих начинаниях, я окончательно решил остаться с маменькой, разделить ее судьбу и не беспокоиться без всякого толку о будущем, для которого я ничего не могу сделать. Маменька приняла меня так, словно я привез с собой сокровища. Постепенно она восстановила мой маленький скромный гардероб, и мое несчастье, довольно тяжелое для нас обоих, было очень скоро забыто.

Хотя эта неудача и охладила меня к моим музыкальным планам, я все-таки не перестал изучать своего Рамо и с большим трудом добился наконец того, что начал понимать его и сочинять небольшие пьески, успех которых ободрил меня.

Граф Бельгард, сын маркиза д'Антремона, возвратился из Дрездена после смерти короля Августа{118}. Он долго жил в Париже, страстно любил музыку и был влюблен в произведения Рамо. Брат его, граф Нанжи, играл на скрипке; графиня де ла Тур, их сестра, немного пела. Это обстоятельство способствовало тому, что в Шамбери музыка вошла в моду; стали устраивать нечто вроде публичных концертов; дирижированье сперва хотели передать мне; но потом, заметив, что мне это не под силу, устроили иначе.

Я все время писал для этих концертов пьески своего сочинения и, между прочим, написал кантату, которая всем очень понравилась. Пьеса получилась не особенно высокого качества, однако она изобиловала новыми мотивами и эффектными местами, чего от меня не ожидали. Эти господа не могли поверить, что я, так плохо читая ноты, могу сочинять сносно, и решили, что я пользуюсь чужим трудом. Желая проверить это, Нанжи пришел ко мне однажды утром с кантатой Клерамбо, которую он, по его словам, транспонировал, чтобы удобней было петь, и для нее необходимо было написать новую басовую партию аккомпанемента, поскольку в результате транспозиции аккомпанемент Клерамбо стал неисполним. Я ответил, что работа эта серьезная и ее нельзя исполнить тотчас. Он подумал, что я хочу отделаться, и стал уговаривать меня, чтобы я написал хотя бы аккомпанемент для речитатива. Я написал, конечно, плохо, потому что для любой работы, чтобы сделать ее хорошо, мне нужны спокойствие и свобода; но я написал, во всяком случае, по правилам, и, так как это было в его присутствии, он не мог сомневаться, что элементарные основы композиции мне знакомы. Таким образом, я не потерял учениц, но немного охладел к музыке, видя, что при устройстве концертов обходятся без меня.

Приблизительно тогда же, после заключения мира, французская армия совершила обратный переход через горы. Многие офицеры пришли навестить маменьку, и среди них граф де Лотрек, полковник Орлеанского полка, впоследствии полномочный посланник в Женеве, а в конце концов маршал Франции. Она представила меня; на основании ее рассказов он как будто очень заинтересовался мною и надавал мне кучу обещаний, но вспомнил о них только в последний год своей жизни, когда я уже не нуждался в нем. Молодой маркиз де Сенектер, отец которого был тогда посланником в Турине, тоже проезжал в это время

через Шамбери. Он обедал у г-жи де Ментон; я тоже обедал у нее в этот день. После обеда разговор зашел о музыке: маркиз хорошо знал ее. Тогда была новинкой опера «Иевфай»;{119} он заговорил о ней; принесли ноты. Он сильно смутил меня, предложив мне исполнить эту оперу вдвоем; открыв ноты, он попал на знаменитое место в два хора:

Земля, и ад, и даже небо —
Трепещет все перед творцом.

Он спросил меня: «Сколько вы хотите пропеть партий? Я возьму на себя эти шесть». Я еще не привык тогда к французской легкости и хотя напевал иногда с грехом пополам партитуры, но никак не мог взять в толк, как может один человек исполнять одновременно не только шесть партий, но хотя бы две. В музыке самое для меня трудное – это быстро перескакивать с одной партии на другую, в то же время зорко следя за всей партитурой. Так как я постарался отделаться от этого предложения, г-н Сенектер, видимо, подумал, что я в музыке ничего не смыслю. Вероятно, для того чтобы проверить, так ли это, он предложил мне положить на ноты песню, которую он хотел преподнести м-ль Ментон. Я не мог отказаться. Он пропел песню; я записал ее, даже не заставив много раз повторять. Потом он прочитал ее и нашел, что она записана совершенно точно и правильно. Он заметил мое смущение и с удовольствием похвалил меня за этот маленький успех. Дело, однако, было очень просто. В сущности, я очень хорошо знал музыку; мне не хватало только умения схватывать с первого взгляда, которое ни в чем мне не давалось и которое в музыке приобретается только тщательным упражнением. Как бы то ни было, я был тронут благородным старанием графа изгладить из памяти других и из моей собственной впечатление от моей маленькой неудачи. Лет через двенадцать или пятнадцать, встречаясь с ним в разных домах Парижа, я не раз хотел напомнить ему об этом случае и доказать, что храню о нем воспоминанье. Но с тех пор граф лишился зрения, и, боясь огорчить его напоминанием о его прежней зоркости, я молчал.

Я приближаюсь к тому моменту, с которого начинается переход от моей прошлой жизни к теперешней. Некоторые дружеские отношения того времени, сохранившиеся до сих пор, особенно для меня драгоценны. Они часто заставляют меня пожалеть о том периоде счастливой неизвестности, когда люди, называвшие себя моими друзьями, действительно были ими и любили меня ради меня самого, из чистого доброжелательства, а не из тщеславного стремления быть близким к известному человеку или ради тайного желания иметь благодаря этому больше возможности вредить ему. К этому времени относится начало моего знакомства с моим старым другом Гофкуром, которого я сохранил навсегда, несмотря на все усилия отнять его у меня. Сохранил навсегда! Увы, нет. Недавно я потерял его. Но любовь его ко мне прекратилась только вместе с его жизнью. Г-н де Гофкур был одним из самых любезных людей, когда-либо живших на свете. Невозможно было не полюбить его, жить вместе с ним и не привязаться к нему всем сердцем. Никогда не встречал я более открытого, более ласкового лица, выражавшего больше ясности духа, больше чувства и ума и внушавшего больше доверия. Самый сдержанный человек с первого же взгляда не мог побороть в себе желание тесно сблизиться с ним, как будто знал его двадцать лет; и хотя обычно я крайне смущаюсь в присутствии новых лиц, с ним я в первую же минуту почувствовал себя свободно. Его тон, манера говорить, его речь вполне гармонировали с его лицом. Голос его – отчетливый, звучный, прекрасного тембра бас, – чудесный голос чаровал слух и проникал в сердце. Невозможно было обладать веселостью более ровной и мягкой, грацией более естественной и простой, талантами более приятными и развитыми с большим вкусом. Прибавьте к этому не только любящее, но даже слишком любвеобильное сердце, характер услужливый, но недостаточно разборчивый, готовность ревностно служить своим друзьям или, верней, делаться другом тех, кому можно быть полезным, уменье с великим участием

заниматься делами других, в то же время весьма искусно устраивая свои собственные. Гофкур был сыном простого часовщика и сначала сам был часовщиком. Но его наружность и достоинства призывали его в иную сферу, куда он не замедлил вступить. Он познакомился с г-ном де ла Клозюром, французским резидентом в Женеве, и подружился с ним. Последний доставил ему другие полезные знакомства в Париже, благодаря которым Гофкур получил подряд на поставку соли из Вале{120}, что принесло ему двадцать тысяч ливров ренты.

В кругу мужчин его удача – довольно большая – этим и ограничилась; зато у женщин он был нарасхват; он имел возможность выбирать и поступал, как ему нравилось. Особенно редким и похвальным его качеством было то, что, имея связи в разных слоях общества, он везде был любим, везде желанен, нигде не вызывал ничьей зависти или ненависти; и я уверен, что до самой своей смерти он не имел ни одного врага. Счастливый человек! Каждый год приезжал он на воды в Экс, где собирается лучшее общество из соседних провинций. Находясь в дружеских отношениях со всем дворянством Савойи, он приезжал из Экс-ле-Бен{121} в Шамбери навестить графа Бельгарда и его отца, маркиза д'Антремона, у которого маменька сама познакомилась с ним и познакомила меня. Это знакомство, казалось, должно было кончиться ничем и на долгое время было прервано, но оно возобновилось в обстановке, о которой я скажу потом, и перешло в настоящую привязанность. Этого довольно, чтобы я был вправе говорить о друге, с которым был так тесно связан; но даже если я не был лично заинтересован в сохранении его памяти, то считал бы нужным для чести человеческого рода увековечить память человека, столь обаятельного и счастливого от рождения. Как будет видно из дальнейшего, этот очаровательный человек, подобно другим, имел свои недостатки; но если б он не имел их, то, может быть, нравился бы менее. Чтобы быть интересным, он должен был иметь нечто такое, что приходилось ему прощать.

Другая связь, возникшая в то же время, не прекратилась и продолжала обольщать меня надеждой на земное счастье, с таким трудом угасающей в человеческом сердце. Г-н де Конзье, савойский дворянин, тогда еще молодой и привлекательный, вздумал учиться музыке или, вернее, познакомиться с тем, кто преподавал ее. Обладая умом и вкусом к изящным искусствам, он имел кроткий характер и потому отличался обходительностью, а я очень ценил в людях это качество. Мы подружились[14]. Зародыши литературных и философских идей, начинавших уже бродить в моей голове и ждавших для своего полного развития только обработки и соревнования, получили это в общении с г-ном де Конзье. Он не имел особенного влечения к музыке; это было для меня благом: часы занятий проходили в чем угодно, но только не в исполнении сольфеджий. Мы завтракали, болтали, читали разные новинки и – ни слова о музыке. Переписка Вольтера с прусским наследником{122} наделала в то время много шума; мы часто беседовали об этих двух знаменитых людях, из которых один, взойдя на трон незадолго до этого, уже отчасти проявил себя таким, каким должен был сделаться впоследствии, а другой, в то время вызывавший такое же осуждение, как теперь – восторги, заставлял нас искренно сочувствовать несчастьям, которые, казалось, преследовали его и которые так часто являются уделом великих талантов. Прусский монарх был не очень счастлив в молодости, а Вольтер, казалось, был создан для того, чтобы никогда не быть счастливым. Интерес, который мы питали к тому и другому, распространялся на все, что имело отношение к ним. Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Мой интерес к его произведениям вызывал во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, который восхищал меня. Немного позже появились его «Философские письма». Они, конечно, не являются лучшим его произведением, но именно они развили во мне любовь к знанию, и эта зародившаяся страсть с тех пор уже не угасала.

[14] Я видел его впоследствии и нашел совершенно изменившимся. Что за великий чародей г-н де Шуазель! Ни один из моих старых знакомых не избежал его колдовства. (*Прим. Руссо.*)

Но для меня еще не настало время предаться ей целиком. Я сохранял еще некоторое легкомыслие, жажду скитаний, не исчезнувшую, а лишь уменьшившуюся, так как она находила себе пищу в образе жизни г-жи де Варане, слишком шумном для моего характера, любившего уединение. Толпа незнакомых лиц, ежедневно стекавшихся к ней со всех сторон, и моя уверенность, что все эти люди ищут только возможности надуть ее, каждый на свой манер, делали мое пребывание в доме настоящим мучением. С тех пор как я наследовал Клоду Анэ в доверии его госпожи и ближе присмотрелся к состоянию ее дел, я увидел ухудшение, испугавшее меня. Сотни раз я укорял, просил, настаивал, умолял – все напрасно. Я бросался к ее ногам, ярко изображал угрожающую ей катастрофу, горячо увещевал ее изменить систему своих расходов, начиная с меня, потерпеть немного, пока она еще молода, не увеличивая количества долгов и кредиторов, чтобы на старости лет не подвергаться преследованиям и не очутиться в нищете. Чувствительная к искренности моего порыва, она умилялась вместе со мной. Она не скупилась на самые прекрасные обещания, но стоило появиться какому-нибудь проходимцу, и в одно мгновение все было забыто. После тысячи доказательств бесполезности моих увещаний – что мне оставалось делать, как не закрыть глаза на бедствие, которое я не мог предотвратить? Я стал удаляться от дома, дверь которого не в силах был охранять, совершая небольшие путешествия в Нион, в Женеву, в Лион; заглушая мое тайное горе, они в то же время увеличивали его причину, ибо вводили меня в расходы. Могу поклясться, что ради экономии с радостью переносил бы всевозможные лишения, если бы маменька действительно извлекала из этого пользу. Но, уверенный, что то, в чем я отказал себе, достается каким-то негодяям, я злоупотреблял ее щедростью, чтобы урвать у них хоть частицу, и, как собака, возвращающаяся с бойни, уносил свой клочок от куска, которого не мог спасти.

У меня не было недостатка в поводах для всех этих путешествий, к тому же маменька предоставляла мне их сама: всюду у нее были связи, дела, переговоры, поручения, которые она могла доверить лишь надежному лицу. Она только того и желала, чтобы послать меня, а я только того и желал, чтобы поехать, – все это неизбежно делало мою жизнь довольно кочевою.

Благодаря этим поездкам я завязал хорошие знакомства, оказавшиеся впоследствии приятными или полезными; между прочим, в Лионе я познакомился с г-ном Перришоном и упрекаю себя, что не поддержал этого знакомства, так как он был очень добр ко мне; с добряком Паризо, – о нем я скажу в свое время; в Гренобле – с г-жой Дейбан и женой президента Бардонанша, очень умной женщиной, с которой мы могли бы подружиться, если бы мне пришлось чаще видеться с ней; в Женеве – с г-ном де ла Клозюром, французским резидентом, часто рассказывавшим мне о моей матери, с которой, несмотря на то что ее давно уже не было в живых, сердце его не могло расстаться; с обоими Барильо, один из которых, отец, называвший меня своим внуком, принадлежал к очень милому обществу и был одним из самых достойных людей, каких я когда-либо знал. В смутные времена Республики эти два гражданина бросились в ряды двух враждебных партий: сын примкнул к буржуазии, отец стал на сторону правительства, и когда в 1737 году дело дошло до оружия, я видел, находясь тогда в Женеве, как отец и сын вышли вооруженными из одного и того же дома: один – чтобы отправиться в городскую ратушу, другой – чтобы остаться в своем квартале, – будучи уверены, что часа через два они встретятся лицом к лицу, быть может, для того, чтобы уничтожить друг друга. Это ужасное зрелище произвело на меня такое сильное впечатление, что я поклялся никогда не вмешиваться ни в какую гражданскую войну и никогда не поддерживать внутреннюю свободу ни силой оружия, ни путем личного участия, ни путем одобрения{123}, если когда-либо снова получу свои гражданские права. Должен отдать себе справедливость, что в одном щекотливом случае я выполнил свою клятву, и эта умеренность, думается мне, будет оценена по достоинству.

Но тогда, еще далекий от этой мысли, я был охвачен первым порывом патриотизма, какой возбудила во мне восставшая с оружием в руках Женева. О том, как эта мысль была мне чужда, можно судить по одному очень важному факту; я забыл рассказать о нем в свое время, но его нельзя опустить.

За несколько лет до того мой дядя Бернар уехал в Каролину, руководить там постройкой города Чарльстоуна{124}, по плану, составленному им самим. Вскоре он там умер. Мой бедный кузен тоже умер – на службе у прусского короля, и моя тетка потеряла почти одновременно мужа и сына. Эти потери немного подогрели ее чувство ко мне – единственному из оставшихся у нее родственников. Во время моих поездок в Женеву я жил в ее доме и для развлечения просматривал книги и бумаги покойного дядюшки. Я нашел много интересных сочинений и писем, о которых, конечно, никто не подозревал. Тетка моя, придававшая мало значения этому бумажному хламу, разрешила бы мне взять с собой все, если б я захотел. Я удовлетворился двумя-тремя книгами с пометками моего деда – священника Бернара; среди них оказались «Посмертные произведения» Рого{125}, in-quarto, с превосходными заметками на полях, заставившими меня полюбить математику. Эта книга осталась у г-жи де Варане среди ее собственных, и я очень жалею, что не сохранил ее. К отобранным книгам я добавил пять или шесть рукописных докладов и один напечатанный, принадлежавший известному Мишелй Дюкре{126}, человеку с большим талантом, ученому выдающемуся, но слишком беспокойному, с которым женевское правительство очень жестоко расправилось. Он умер в крепости Арберг, где долгие годы находился в заключении, как говорят, за участие в Бернском заговоре{127}.

Доклад этот представлял собой довольно обоснованную критику большого и нелепого плана укрепления Женевы, частично уже выполненного на посмешище знатоков, не понимавших, какую цель преследовал Совет двухсот{128} при выполнении этого великолепного предприятия. Г-н Мишели, исключенный из комитета по постройке укреплений за то, что порицал этот план, думал, что он как член Совета двухсот и даже просто как гражданин имеет право высказать свое мнение более подробно; он сделал это в своем докладе и имел неосторожность его напечатать, хотя и не выпустил в свет: отпечатано было небольшое количество экземпляров, только для членов Совета двухсот, да и те по распоряжению Малого совета{129} были задержаны на почте. Я нашел этот доклад среди бумаг моего дяди вместе с ответом, который ему поручено было составить, и захватил с собой то и другое. Эту поездку я совершил вскоре после своего ухода из налогового управления, когда еще поддерживал отношения с моим начальником, адвокатом Кокчелли. Через некоторое время директор таможни вздумал просить меня быть крестным отцом его ребенка, а моей кумой сделал г-жу Кокчелли. У меня голова закружилась от этой чести; гордый сближением с г-ном адвокатом, я решил придать себе важности и показать, что достоин такого почета.

Задавшись этой целью, я не нашел ничего лучшего, как показать ему доклад, напечатанный Мишели и являвшийся действительно редким документом, – этим я хотел доказать, что принадлежу к женевской знати, осведомленной в государственных тайнах. Однако из какой-то осторожности, смысл которой я затруднился бы объяснить, я не показал ему ответа моего дяди на доклад, – может быть, потому, что этот ответ был в рукописи, а г-ну адвокату подобало подносить только произведения печатного станка. Однако он так хорошо понял всю ценность бумаги, которую я имел глупость ему доверить, что я уже не получил ее обратно и даже никогда больше не видел, и, убедившись в тщетности своих усилий, решил обратить свой промах в заслугу и считать это подарком. Ни минуты не сомневаюсь, что он сумел объяснить туринскому двору значение этого документа, впрочем, более любопытного, чем полезного, и приложил все усилия к тому, чтобы тем или иным способом получить деньги, которые должен был бы за него заплатить, если б достал его путем покупки.

К счастью, из всех возможных случайностей наименее вероятна та, чтобы король Сардинии решил когда-либо повести осаду Женевы. Но так как считать ее исключенной все же нельзя, я всегда буду упрекать себя за свое глупое тщеславие, из-за которого наиболее уязвимые места города стали известны его давнишнему врагу.

Так провел я два или три года в занятиях музыкой, в преподавании, в путешествиях и проектах, беспрестанно бросаясь от одного дела к другому, стараясь на чем-нибудь остановиться, но не зная на чем; однако мало-помалу чувствовал все более сильное влечение к знанию, встречаясь с писателями, слушая разговоры о литературе, вмешиваясь в них иногда, усваивая из книг больше их фразеологию, чем содержание. Во время посещений Женевы я иногда встречался со своим добрым старым другом Симоном, который разжигал зарождавшееся во мне увлечение свежими новинками литературного мира, взятыми у Байе или Коломье.

Часто также виделся я в Шамбери с одним якобинцем, учителем физики, добряком монахом, имя которого я позабыл; он производил маленькие опыты, очень меня забавлявшие. По его примеру, я захотел сделать симпатические чернила. Для этого я наполнил бутылку более чем до половины негашеной известью, сернистым мышьяком и водою и хорошенько ее закупорил. Кипение началось почти мгновенно и со страшной силой. Я бросился к бутылке, чтобы откупорить ее, но опоздал: она взорвалась, как бомба, прямо мне в лицо. Я наглотался извести и сернистого мышьяка и чуть не умер. Более шести недель я был слепым и таким путем научился не браться за опыты по физике, не зная ее начал.

Это приключение сильно повредило моему здоровью, – оно с некоторого времени значительно ухудшилось. Не знаю, как это случилось, но, будучи крепкого сложения и не предаваясь никаким излишествам, я стал заметно чахнуть. Плечи и грудь у меня довольно широкие, и легкие должны были бы дышать свободно, а между тем я страдал одышкой, мне не хватало воздуха, я невольно вздыхал, испытывал сердцебиение и харкал кровью; потом прибавилась лихорадка, от которой я никогда уже не мог избавиться. Как можно было впасть в подобное состояние в расцвете сил, не имея никаких внутренних повреждений и не сделав ничего, что могло бы разрушить здоровье?

«Меч портит ножны», – говорит пословица. В этом вся моя беда. Страсти мои поддерживали во мне жизнь, и они же убивали меня. Какие страсти? – спросит кто-нибудь. Сущие пустяки, предметы самые ребяческие, какие только могут быть на свете, но они так захватывали меня, словно дело шло об обладании Еленой{130} или о господстве над вселенной. Прежде всего женщины. С тех пор как я стал обладать одной из них, чувства мои успокоились, но сердце по-прежнему не знало покоя. Потребность любви пожирала меня в самом разгаре наслаждения. У меня была нежная мать, милая подруга, но мне нужна была любовница. Я представлял ее себе на месте г-жи де Варане, я видоизменял ее на тысячи ладов, чтобы обмануть самого себя. Если бы, держа в объятиях г-жу де Варане, я думал о том, что держу именно ее, объятия мои были бы не менее страстны, но все мои вожделения погасли бы; я рыдал бы от нежности, но не испытывал бы наслаждения. Наслаждение! Разве оно удел человека? Ах, если бы хоть раз в жизни испытал я всю полноту любовных наслаждений, не думаю, чтобы хрупкое существо мое вынесло это: я умер бы на месте.

Итак, я сгорал от беспредметной любви, а именно такая любовь, может быть, более всего истощает силы. Меня беспокоило и мучило плохое денежное положенье бедной маменьки, а также ее неблагоразумный образ действий, который не мог не привести ее в самом скором времени к полному разорению. Мое жестокое воображенье, всегда опережающее беду, беспрестанно представляло мне картину этого несчастья со всеми крайностями, во всех последствиях. Я заранее представлял себе, как нужда разлучит меня с той, которой я посвятил всю свою жизнь и без которой не мог бы находить в ней радость. Вот отчего душа моя была вечно в тревоге. Желанья и опасения поочередно терзали меня.

Музыка была второй моей страстью, менее пылкой, но не менее пожиравшей меня, благодаря тому пламенному увлечению, с каким я предавался ей, упорно изучая непонятные книги Рамо, с непобедимым упрямством стараясь нагрузить ими свою память, отказывавшуюся служить мне, постоянно бегая по урокам, составляя огромные компиляции и проводя целые ночи за их переписыванием. Но что говорить о постоянных причинах, когда все безумства, бродившие в моей ветреной голове, все мимолетные увлечения дня, путешествие, концерт, ужин, затеваемая прогулка, еще не прочитанный роман, спектакль, который мне предстояло увидеть, – все, что было наименее предусмотренного в моих развлечениях или делах, превращалось у меня в столь же бурные страсти, доставлявшие мне, при всей своей смешной пылкости, настоящее страданье? Вымышленные несчастья Клевеланда{131}, о которых я читал с неистовым волнением, хотя мне часто приходилось откладывать книгу, испортили мне, кажется, больше крови, чем мои собственные бедствия.

Был один женевец по фамилии Багере, служивший в свое время при дворе Петра Великого в России, самый дрянной и самый сумасбродный человек, какого я когда-либо видел, вечно полный проектов, таких же безумных, как и он сам; миллионы у него падали, как дождь, нули для него ничего не значили. Этот человек, приехавший в Шамбери из-за какого-то процесса в сенате, конечно, завладел маменькой, и за свои сокровища из нулей, которые он великодушно расточал, искусно вытягивал ее жалкие экю монета за монетой. Я страшно не любил его; он это видел, – когда имеешь дело со мной, это нетрудно заметить, – и не было такой низости на свете, на которую он не пошел бы, лишь бы меня задобрить. Зная немного игру в шахматы, он предложил научить меня. Я попробовал почти что нехотя и, мало-мальски узнав ходы, стал делать такие большие успехи, что к концу первого сеанса отдал ему вперед туру, которую он уступал мне вначале. Этого было для меня достаточно, чтобы превратиться в раба шахмат. Я покупаю шахматную доску, покупаю Калабрийца{132}, запираюсь у себя в комнате и провожу там дни и ночи, стараясь выучить наизусть все партии, во что бы то ни стало запомнить их, играя один, без отдыха и срока. После двух-трех месяцев этой бешеной работы и невероятных усилий я отправляюсь в кафе, худой, желтый, почти ошалевший. Делаю опыт, снова играю с Багере; он бьет меня раз, два раза, двадцать раз; в голове у меня спуталось столько комбинаций, и воображение мое до такой степени притупилось, что все передо мной было как в тумане, и каждый раз, когда я брался за книгу Филидора или Стамма{133} и упражнялся в изучении партий, со мной происходило то же самое: изнемогая от страшной усталости, я играл еще слабей, чем раньше.

Впрочем, бросал ли я шахматы или вновь ревностно принимался за них, я никогда не поднимался ни на одну ступень, навсегда оставаясь на том уровне, на каком был в конце первого сеанса. Упражняйся я тысячу лет, я достиг бы только того, чтобы давать Багере туру вперед, – и ничего больше.

Стоило тратить время! – скажете вы. А я потратил его немало таким образом. Этот первый опыт я прекратил только после того, как у меня уже не было сил продолжать. Когда я показывался из своей комнаты, я похож был на выходца из могилы, и, продолжай я подобный образ жизни, мне недолго пришлось бы бродить по земле. Читатели согласятся, что с такой головой, да еще в молодости, очень трудно сохранить здоровье.

Ухудшение здоровья подействовало на расположение духа и умерило пылкость моих фантазий. Ослабев, я стал спокойнее, и моя страсть к путешествиям несколько остыла. Сделавшись более усидчивым, я изведал не только скуку, но и меланхолию; страсти сменились ипохондрией: томление мое перешло в печаль; я плакал и вздыхал по пустякам; я чувствовал, что жизнь уходит, а я даже не насладился ею; я сокрушался о том, что оставляю мою бедную маменьку в состоянии, близком к разорению; могу сказать, что я скорбел единственно о том, что покидаю ее, да еще в таком плачевном положении. Наконец я совсем расхворался. Она

ухаживала за мной, как ни одна мать не ухаживает за своим ребенком. Это ей самой принесло некоторую пользу, так как отвлекало от всяких проектов и отдаляло от прожектеров. Как сладостна была бы смерть, если бы она пришла ко мне тогда! Я мало насладился благами жизни, зато испытал и мало ее бедствий. Умиротворенная душа моя могла бы отлететь без тягостного сознания людской несправедливости, отравляющего и жизнь, и смерть. У меня было утешение, что я переживу самого себя в лучшей части своего существа, а это почти то же, что не умирать вовсе. Если бы я не тревожился о ее судьбе, я умер бы так же просто, как отошел бы ко сну, но самые тревоги мои были порождены любовью и нежностью, и этим умерялась их горечь. Я говорил ей: «Вы – хранительница всего моего существа; сделайте так, чтобы я был счастлив». Два или три раза, когда мне было особенно плохо, я, поднявшись ночью с постели, с трудом пробирался к ней в комнату, чтобы подать ей советы насчет ее поведения, – советы, смею сказать, правильные и благоразумные, в которых особенно явно выражалось мое участие к ее судьбе. Словно слезы были моей пищей и моим лекарством, я подкреплял себя ими, проливая их подле нее, вместе с нею, сидя на ее кровати и держа ее руки в своих. Часы протекали в этих ночных беседах, и я возвращался к себе в лучшем состоянии, чем приходил. Довольный и успокоенный обещаниями, которые она мне давала, я засыпал с миром в душе и упованием на провидение. Имея столько причин ненавидеть жизнь, после стольких бурь, волновавших мое существование и превращавших его в бремя, я желал, чтобы смерть, которая должна прекратить его, была бы для меня столь же мало жестокой, какой она была в те минуты.

Благодаря заботам и вниманию, ценой невероятных усилий маменька спасла меня, и, конечно, только она одна могла это сделать. Я мало доверяю врачеванию наших медиков, – зато очень верю в целебные заботы истинного друга: то, от чего зависит наше счастье, мы делаем лучше, чем что-либо другое.

Если существует в жизни сладостное чувство, так именно то, которое мы испытали, когда были возвращены друг другу. Наша взаимная привязанность от этого не возросла – это было бы невозможно, но при всей своей великой простоте она приобрела какую-то особенную задушевность, особенную трогательность. Я стал всецело ее созданием, ее ребенком, больше, чем если бы она была мне родной матерью. Сами того не замечая, мы стали неразлучными, наше существование сделалось как бы единым. Мы чувствовали, что не только необходимы, но и достаточны друг для друга, мы привыкли не думать ни о чем постороннем и ограничили свое счастье и все свои желания только взаимным обладанием, быть может, единственным на свете, – которое, как я уже говорил, было не любовью, но чем-то более существенным, что не зависит от чувственности, пола, возраста, наружности, но от всего, что делает человека самим собой и чего он не может потерять иначе, как прекратив свое существование.

Почему же следствием такого бесценного перелома в отношеньях не явилось счастье до конца ее и моих дней? В этом была не моя вина, – могу подтвердить себе в утешение. Не было в этом и ее вины, по крайней мере сознательной. Было суждено, чтобы неодолимая природа вскоре снова предъявила свои права. Но этот роковой возврат произошел не сразу. Благодарение небу, был промежуток, короткий и бесценный промежуток, окончившийся не по моей вине, и я не могу упрекнуть себя в том, что дурно им воспользовался!

Хотя я поправился от тяжкой болезни, но еще не восстановил своих сил. Грудь еще болела, лихорадка еще продолжала изнурять меня. Мне хотелось только одного: кончить жизнь подле той, что была мне так дорога, поддерживая ее в добрых ее намерениях, давая ей чувствовать, в чем состоит истинное счастье и делая ее жизнь счастливой, насколько это зависело от меня. Но я видел, я чувствовал, что постоянное уединение с глазу на глаз в этом мрачном и печальном доме в конце концов станет тоже печальным. Средство избавиться от этого представилось как бы само собой. Маменька считала, что мне необходимо пить

молоко, и решила отправить меня для этого в деревню. Я не возражал, но поставил условием, что она поедет вместе со мной. Этого было достаточно, чтобы она согласилась; оставалось лишь выбрать место. Наш сад в предместье, собственно говоря, не был загородным; окруженный домами и другими садами, он вовсе не имел сельской привлекательности. К тому же после смерти Анэ мы расстались с этим садом из экономии, так как у нас больше не было охоты разводить в нем растения; да и по другим причинам мы не особенно сожалели об этом убежище.

Воспользовавшись появившимся у нее отвращением к городской жизни, я предложил ей совсем покинуть город и устроиться в приятном уединении – в каком-нибудь маленьком домике, достаточно отдаленном, чтобы отвадить назойливых посетителей. Если бы она согласилась, решение это, внушенное мне ее и моим ангелами-хранителями, обеспечило бы нам счастливые и спокойные дни до той самой минуты, когда нас навсегда разлучила бы смерть. Но не такая доля была нам суждена. Маменьке предстояло испытать все страдания нищеты, для того чтобы, проведя прежние годы своей жизни в изобилии, она оставила ее с меньшим сожалением; а я – жертва всевозможных бедствий – мог бы впоследствии служить примером для всякого, кто, вдохновленный одной лишь любовью к общественному благу и справедливости и сильный только своей правотой, дерзает открыто говорить людям правду, не прибегая к интригам и не примыкая ни к какой стороне.

Маменьку остановил злополучный страх. Она не решилась покинуть свой скверный домишко из опасения рассердить владельца. «Твой проект уединения прекрасен и очень мне по вкусу, – говорила она, – но и в уединении необходимы средства для жизни. Покидая свою тюрьму, я рискую лишиться куска хлеба, и, когда мы останемся нищими среди лесов, мы будем вынуждены вернуться в город. Чтобы иметь меньше нужды возвращаться туда, лучше нам не покидать его окончательно. Будем платить графу де Сен-Лорану эту небольшую пенсию, и он не тронет моей. Поищем какое-нибудь убежище, достаточно удаленное от города, чтобы можно было мирно жить там, и достаточно близкое от него, чтобы возвращаться всякий раз, когда это будет необходимо». Так и было сделано. После непродолжительных поисков мы остановились на Шарметтах, имении г-на де Конзье, находившемся в самом близком соседстве с Шамбери, но настолько уединенном, точно оно было за сто лье. Между двумя довольно высокими холмами на север и на юг простирается долина, а в глубине ее среди камней и деревьев протекает маленький ручей. Вдоль этой долины по склонам холмов разбросаны домики, очень привлекательные для всякого, кому может понравиться убежище несколько дикое и уединенное. Осмотрев два-три домика, мы выбрали наконец самый красивый из них, принадлежавший служащему дворянину г-ну Нуаре. Дом был очень удобен для жилья. Перед ним был сад, расположенный террасами; в верхней части сада – виноградник, нижняя была отведена под фруктовые деревья; напротив – каштановая рощица, вблизи – источник; выше, в горах, – пастбище; словом, было все, что требовалось для маленького хозяйства, которое мы хотели завести. Насколько я могу припомнить время и дату, мы поселились там в конце лета 1736 года. Первый день я был в восторге. «О маменька! – сказал я своей дорогой подруге, обнимая ее и заливаясь слезами радости и умиленья. – Это приют счастья и невинности. Если мы не найдем их здесь, – бесполезно искать их в другом месте».

Книга шестая
(1736–1741)

Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus,
Hortus ubi et tecto vicinus jugis aquæ fons,
Et paulum sylvæ super his foret…[15]

Я не могу прибавить:

Di melius fecere
Auctius atque[16].

Но что до этого? Я не хотел ничего больше, мне не нужно было даже владеть всем этим; мне достаточно было пользоваться; я давно уже говорил и считал, что собственник и обладатель очень часто совершенно разные лица, если даже оставить в стороне супругов и любовников.

Тут начинается краткая пора счастья в моей жизни; тут наступают для меня мирные, но быстротечные минуты, дающие мне право говорить, что и я жил. Минуты, драгоценные и столь горячо оплакиваемые, возобновите для меня сладостное течение, если возможно, теките в моем воспоминании медленнее, чем текли в действительности, когда вы так быстро сменяли одна другую! Как буду я продолжать этот трогательный и простой рассказ, говоря все время об одном и том же? Что должен я сделать, чтобы не наскучить читателям повторением того, о чем сам себе рассказываю непрерывно и без скуки? Если бы еще все, о чем я хочу рассказать, заключалось в действиях, поступках или словах, – я мог бы описать и так или иначе передать их; но как рассказать о том, что не было ни сказано, ни даже подумано, а только почувствовано и пережито, причем я не мог бы указать ни на какой другой источник своего счастья, кроме этого самого чувства?

Я вставал вместе с солнцем – и был счастлив; совершал прогулку – и был счастлив; видел маменьку – и был счастлив; покидал ее – и был счастлив; обегал леса и холмы, бродил по долинам, читал, лентяйничал, работал в саду, срывал плоды, помогал по хозяйству – и счастье сопровождало меня повсюду; оно не заключалось ни в чем определенном, – оно было всецело во мне самом и не могло покинуть меня ни на мгновенье.

Ничто из происшедшего со мною в этот драгоценный период моей жизни, ничто из того, что я делал, говорил, думал за все это время, не исчезло из моей памяти. Предшествующее и последующее я помню смутно и отрывочно; но это время помню целиком, словно оно еще продолжается. Мое воображение, в юности всегда стремившееся вперед, теперь возвращается к прошлому и сладостными воспоминаниями вознаграждает меня за навсегда утраченные надежды. В будущем я не вижу ничего привлекательного; только воспоминания о прошлом могут быть мне отрадны; живые и правдивые, они делают меня счастливым, несмотря на все мои несчастья.

Приведу из этих воспоминаний один пример, по которому можно судить об их силе и правде. Когда мы в первый раз отправились ночевать в Шарметты, маменька села в носилки, а я сопровождал ее пешком. Дорога шла в гору. Маменька была нелегкая, и, боясь слишком

[15] Это лишь было в мольбах: клок поля, не слишком обширный,Где бы сад был и близко от дома бегущий источник,Да ко всему лесок небольшой…

[16] Пространней и лучшеБоги послали.(Гораций, Сатиры, кн. II, 6. *Перев. А. Фета*.)

утомить носильщиков, она приблизительно на полдороге решила сойти, чтобы остальную часть подъема пройти пешком. Вдруг она видит за изгородью что-то голубое и говорит мне: «Вот барвинок еще в цвету!» Я никогда не видал барвинка, но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого, по близорукости, никогда я не мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд; после этого прошло около тридцати лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него внимание. В 1764 году, гуляя в Кресье со своим другом дю Пейру{134}, я поднялся с ним на небольшую гору, на вершине которой был маленький павильон, который он справедливо называл «Бельвю»[17]. В ту пору я уже начинал немного гербаризировать. Подымаясь на гору и заглядывая в кустарники, я вдруг испускаю радостный крик: «Ах, вот барвинок!» И действительно, это был он. Дю Пейру заметил мой восторг, но не понял его причины. Он поймет ее, надеюсь, если когда-нибудь прочтет эти строки. По впечатлению, произведенному на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в душу все, что относится к тому времени.

Деревенский воздух, однако, не вернул мне прежнего здоровья. Я был слаб, – а стал еще слабее. Я не выносил молока и вынужден был отказаться от него. В то время принято было от всего лечиться водою. Я так налег на воду, что она чуть не освободила меня не только от всех болезней, но даже и от жизни. Каждое утро, встав, я шел с большим стаканом к источнику и, прогуливаясь, понемногу выпивал около двух бутылок. Я совсем перестал пить вино за едой. Вода, которую я пил, была жестковата и, как большинство горных вод, плохо усваивалась. Короче говоря, менее чем в два месяца я окончательно испортил себе желудок, до этого вполне исправный. Расстроив пищеварение, я понял, что мне больше уже не поправиться. В то же самое время со мной произошел случай, исключительный как сам по себе, так и по последствиям, которые прекратятся только вместе с моей жизнью.

Однажды утром я, чувствуя себя не хуже обыкновенного, раздвигал складной столик, как вдруг ощутил во всем теле внезапное и почти непостижимое потрясение. Не могу сравнить его ни с чем другим, как только с бурей, поднявшейся в моей крови и мгновенно овладевшей всем моим телом. Артерии мои стали пульсировать с такой ужасной силой, что я не только чувствовал их биение, но даже слышал его, – особенно биение сонных артерий.

К этому присоединился сильный шум в ушах; этот шум слагался из трех, вернее, четырех звуков: тяжелого и глухого жужжания, более ясного ропота, как от бегущей воды, очень резкого свиста и того биения, о котором я только что сказал; я мог без труда считать его удары, не щупая пульса и даже не дотрагиваясь руками до тела. Шум внутри был так силен, что лишил меня прежней тонкости слуха, и я стал если не глухим, то тугоухим, – и уже навсегда.

Можно представить себе мое изумление и ужас. Я решил, что умираю, и лег в постель; позвали врача; я рассказал ему, что со мной произошло, содрогаясь и считая, что моя болезнь неизлечима. Кажется, он был того же мнения, но принялся за свое ремесло. Он пустился в длинные рассуждения, из которых я ничего не понял; потом, в виде вывода из своей великолепной теории, он начал in anima vili[18] то опытное леченье, которое ему вздумалось применить. Оно было так тягостно, так отвратительно, так мало помогало, что скоро надоело мне; через несколько недель, видя, что мне не лучше и не хуже, я оставил постель и начал свою обычную жизнь, с биением артерий и шумом, который с тех пор, то есть вот уже тридцать лет, не покидал меня ни на минуту.

До этого я был большой соня. Совершенная бессонница, присоединившаяся ко всем этим симптомам и постоянно сопровождающая их до сих пор, окончательно убедила меня, что мне осталось недолго жить. Эта уверенность на некоторое время избавила меня от уси-

[17] «Прекрасный вид» (*франц.*).

[18] Как на животном (*лат.*).

лий поправиться. Не будучи в состоянии продлить свою жизнь, я решил воспользоваться теми немногими днями, что мне остались; эта возможность у меня была благодаря странной снисходительности природы, избавившей меня от мучений, которые должно было бы вызывать мое ужасное состояние. Шум в артериях надоедал мне, но я не страдал от него; он не сопровождался ничем, кроме ночной бессонницы да постоянной одышки, однако не доходившей до удушья и дававшей себя чувствовать только при беге или физическом напряжении.

Этот случай, который должен был убить мое тело, убил только мои страсти, и каждый день я благословлял небо за то благотворное действие, которое оказал он на мою душу. Я прямо могу сказать, что начал жить только тогда, когда стал считать себя конченым человеком. Оценив по-настоящему все, с чем мне приходилось расстаться, я обратился к более возвышенным занятиям, как бы в предвидении тех, которые мне скоро предстояло выполнить и которыми я до сего времени пренебрегал. Я часто понимал религию на свой лад, но никогда не жил совсем без религии. Поэтому мне легче было вернуться к этому предмету, для многих столь печальному, но сладостному для тех, кто видит в нем утешение и надежду.

В этом вопросе маменька была мне гораздо полезнее, чем все богословы.

Возводя все в систему, она не преминула точно так же поступить и с религией, – и тут система составилась из очень разнородных идей, отчасти очень здравых, отчасти чрезвычайно нелепых, из чувств, свойственных ее характеру, и предрассудков, связанных с ее воспитанием.

Вообще говоря, верующие делают бога таким, каковы они сами; добрые делают его добрым, злые – злым; полные ненависти и желчи ханжи не видят ничего, кроме ада, потому что им хотелось бы всех осудить на вечную муку; нежные и любящие души совсем не верят в ад; и я не могу прийти в себя от изумления, видя, что добрый Фенелон{135} говорит в своем «Телемахе» об аде так, будто в самом деле верит в него; но я надеюсь, что он в данном случае лгал, потому что в конце концов, несмотря на всю свою правдивость, человек вынужден иногда кривить душой, если он епископ. Маменька не лгала мне; ее незлобивая душа не могла представить себе бога мстительным и вечно гневным, и она видела одно милосердие и благость там, где ханжи усматривают только правосудие и наказание. Она часто говорила, что судить нас по нашим делам было бы со стороны бога несправедливостью, потому что, не дав нам силы, необходимой для того, чтобы мы были праведниками, он не может требовать более того, что дал. Самым странным было то, что, не веря в ад, она тем не менее верила в чистилище, так как не знала, куда девать души злых, не желая ни осудить их, ни поместить с добрыми душами, пока они сами не сделаются такими же. И надо признать, что в самом деле злые и на том, и на этом свете всегда доставляют много хлопот.

Другая странность. Нетрудно заметить, что этой системой разрушается все учение о первородном грехе и возмездии, что она колеблет основы общераспространенного христианства и что во всяком случае католицизм не может при ней существовать. А между тем маменька была, или же по крайней мере считала себя, доброй католичкой, и считала, несомненно, совершенно искренне. Ей казалось, что Священное Писание обычно толкуют слишком буквально и слишком грубо. Все, что в нем говорится о вечных муках, представлялось ей лишь угрозой или иносказанием. Смерть Иисуса Христа представлялась ей примером подлинного божественного милосердия, ниспосланным для того, чтобы научить людей любить бога и так же любить друг друга. Одним словом, верная избранной ею религии, она искренне признавала весь символ веры; но как только дело доходило до обсуждения отдельных догматов, обнаруживалось, что она верит совсем не так, как церковь, хотя и подчиняясь ей во всем. Маменька проявляла при этом простосердечие и искренность, более красноречивую, чем все ученые препирательства, и часто ставившую в тупик ее духовника, от которого она ничего не скрывала: «Я хорошая католичка, – говорила она, – и хочу быть ею всегда; я всей

душой принимаю заветы святой матери-церкви. Я не властна над своей верой, но властна над своей волей: я подчиняю ее без оговорок и хочу верить всему. Чего же вам еще надо?»

Если бы христианской морали вовсе не существовало, я убежден, что маменька все же поступала бы согласно ей, до такой степени мораль эта соответствовала ее характеру. Она следовала всем ее предписаниям, но поступала бы точно так же и без этих предписаний. В делах незначительных она любила повиноваться, и если бы ей было позволено, даже предписано, есть скоромное, она стала бы соблюдать пост для бога и для себя, не примешивая к этому никакого расчета. Но вся эта мораль была подчинена принципам де Тавеля или, верней, – маменька не усматривала в ней ничего, противоречащего им. Со спокойной совестью отдавалась бы она ежедневно двадцати мужчинам, не чувствуя при этом ни угрызений совести, ни желания. Я знаю, что большинство ханжей в этом отношении не более совестливо; но разница в том, что тех совращают их страсти, а ее совращали только ее софизмы. Среди самых трогательных и, смею сказать, самых назидательных бесед она переходила к этому предмету, не меняя ни выражения лица, ни тона и не думая, что противоречит сама себе. Она могла бы даже прервать этот разговор, если бы понадобилось, и потом возобновить его с прежней невозмутимостью: так искренне убеждена она была в том, что все это лишь правила общественной нравственности, которые каждый разумный человек может толковать, применять или обходить, сообразно с обстоятельствами, нисколько не рискуя согрешить перед богом. Хотя в этом вопросе я, конечно, не был с ней согласен, но признаюсь, не смел спорить, стыдясь той малозавидной роли, которую мне пришлось бы при этом играть. Я старался бы установить правила поведения для других, делая исключение для самого себя; но, не говоря уже о том, что темперамент предохранял ее от злоупотребления этими принципами, я знал, что она не из тех женщин, которые поддаются обману, и что требовать исключения для себя – значит предоставить ей делать его для всех, кто ей понравится. Впрочем, я только указываю мимоходом на эту непоследовательность в ряду других: она имела мало влияния на поведение маменьки, а в ту пору и вовсе не влияла на него. Но я обещал точно изложить ее принципы и хочу это обещание сдержать. Возвращаюсь к себе.

Находя в ее взглядах все правила, которые были мне нужны для того, чтоб уберечь свою душу от страха смерти и ее последствий, я с доверием черпал из этого источника веры. Я привязался к маменьке более чем когда-либо; я хотел бы передать ей все свои жизненные силы, которые, казалось, готовы были оставить меня. Возросшая привязанность к ней, убеждение, что мне осталось мало жить, чувство глубокого доверия к судьбе привели к тому, что меня не покидало очень спокойное и даже не лишенное удовольствия состояние, которое, притупляя все страсти, далеко заводящие нас в опасениях и в надеждах, давало мне возможность без тревог и волнений наслаждаться немногими оставшимися мне днями. Прелесть их увеличивалась тем, что я старался доставлять маменьке все удовольствия, способные поддержать в ней влечение к сельской жизни. Стараясь вызвать в ней привязанность к саду, птичьему двору, голубям, коровам, я сам привязывался ко всему этому, и мелкие занятия, наполнявшие весь мой день, не нарушая моего покоя, имели больше значения, чем молоко и всякие лекарства, для поддержания моего бедного организма и для его относительного восстановления.

Сбор винограда и фруктов скрасил нам остаток года, и это еще более привязало нас к сельской жизни и к окружающим нас добрым людям. С большим сожалением встретили мы приход зимы и вернулись в город, как в изгнание: я испытал особенно горестное чувство, потому что, не надеясь снова увидеть весну, думал, что навсегда прощаюсь с Шарметтами. Покидая их, я целовал землю, деревья и, удаляясь, несколько раз оборачивался назад. Давно уже оставив своих учениц, потеряв вкус к городскому обществу и его развлечениям, я больше никуда не выходил, ни с кем не видался, кроме маменьки и г-на Саломона, с некоторого времени ставшего ее и моим врачом. Это был честный и умный человек, убежденный

картезианец{136}, который интересно рассуждал о мироздании; его беседы были для меня гораздо приятней и поучительней всех его врачебных предписаний. Я никогда не мог выносить глупого и бездарного пустословия обыденных разговоров, но разговоры полезные и содержательные всегда доставляли мне большое удовольствие, и я никогда от них не отказывался. Беседы с г-ном Саломоном очень увлекали меня: мне казалось, что с ним я уже приобщаюсь к тем высоким познаниям, которые душа моя приобретет, когда освободится от земных пут. Расположение мое к нему распространялось и на предметы, о которых он трактовал, и я стал разыскивать книги, которые помогли бы мне лучше понимать его. Наиболее для меня подходящими были те книги, где благочестие сочеталось с наукой. Такими были, в частности, труды Оратории{137} и Пор-Рояля{138}. Я принялся читать или, вернее, пожирать их. Мне попала в руки книга отца Лами под заглавием «Беседы о науках». Это было нечто вроде введения к изучению научных книг. Я читал и перечитывал ее сотни раз и решил сделать ее своим путеводителем. Наконец, несмотря на состояние здоровья или, вернее, благодаря ему, я мало-помалу начал чувствовать непреодолимое влечение к наукам и хотя считал каждый свой день последним в жизни, тем не менее учился с таким жаром, точно предполагал жить вечно. Все твердили, что это мне вредно, а я думаю, что это принесло пользу, и не только для души, но и для тела; занятия так увлекали меня, что я забывал о своих болезнях и гораздо меньше страдал. Правда, ничто не приносило мне действительного облегчения; но, не ощущая сильных болей, я привыкал к слабости, к бессоннице, к размышлениям вместо действия и стал наконец смотреть на постепенное и медленное угасание своего организма, как на неизбежный процесс, который может быть остановлен только смертью.

Такое убеждение не только отвлекло меня от всех суетных житейских забот, но освободило и от несносного леченья, которому меня до тех пор, против моего желания, подвергали. Убедившись, что лекарства не спасут меня, Саломон избавил меня от них, а для спокойствия моей бедной маменьки сделал несколько безразличных предписаний, которые питают надежду больного и поддерживают доверие к врачу. Я прекратил строгую диету, начал снова пить вино и по мере сил стал вести образ жизни здорового человека, во всем умеренного, но не отказывающего себе ни в чем. Я стал даже выходить и снова посещать знакомых, в особенности г-на де Конзье, общение с которым было мне очень приятно. Наконец, потому ли, что мне казалось прекрасным учиться до моего последнего часа, или потому, что в глубине моего сердца теплилась надежда на жизнь, – ожидание смерти не только не ослабило моего стремления к наукам, но как будто еще более усилило его, и я спешил набраться знаний, чтобы унести их с собой в другой мир, словно думал, что не найду там ничего больше. Я полюбил книжную лавку Бушара, где собирались литераторы, и так как весна, которую я прежде не надеялся больше увидеть, была уже близка, отобрал несколько книг для Шарметт, на случай, если буду иметь счастье туда вернуться.

Я испытал это счастье и воспользовался им как нельзя лучше. С неописуемой радостью увидел я первые почки. Снова увидеть весну – значило для меня воскреснуть в раю. Только начал таять снег, мы покинули свою темницу и прибыли в Шарметты достаточно рано для того, чтобы услышать первые трели соловья. С тех пор я перестал думать о смерти; и в самом деле странно, что в деревне я никогда не бывал серьезно болен. Я там часто недомогал, но никогда не ложился в постель. Чувствуя себя хуже обыкновенного, я говорил: «Когда увидите, что я умираю, отнесите меня под тень дуба, и я обещаю, что оживу».

Несмотря на слабость, я опять принялся за свои деревенские занятия, но лишь поскольку это позволяли мои силы. Меня очень огорчало, что я не мог сам обрабатывать наш садик; но, копнув раз шесть заступом, я начинал задыхаться, пот катился с меня градом – и приходилось бросать работу. Когда я наклонялся, биение артерий увеличивалось и кровь приливала к голове с такой силой, что я поневоле спешил выпрямиться. Принужденный ограничиться менее утомительными занятиями, я, между прочим, увлекся голубятней

и так полюбил ее, что проводил там целые часы, не скучая ни минуты. Голубь очень пуглив, и приручить его трудно. Но я сумел внушить своим голубям такое доверие, что они повсюду следовали за мной и давались в руки, когда мне вздумается. Как только я выходил в сад или во двор, тотчас два или три голубя садились мне на плечи или на голову; в конце концов, несмотря на удовольствие, эта свита стала так стеснять меня, что пришлось прекратить столь короткие отношения. Я всегда любил приручать животных, особенно пугливых и диких. Мне доставляет огромное удовольствие завоевывать их доверие и никогда его не обманывать. Я хочу, чтобы они любили меня без принуждения.

Я уже говорил, что взял с собой книги; я пользовался ими, но так, что они больше утомляли, чем просвещали меня. У меня было ложное представление о вещах; я думал, что для того, чтоб извлечь из чтения пользу, надо иметь все те знания, о которых идет речь в книге; мне и в голову не приходило, что сам автор черпает их по мере надобности из других книг. Из-за этой нелепой идеи я каждую минуту останавливался, то и дело бросался от одной книги к другой, и нередко, чтобы добраться до десятой страницы той, которую я хотел изучить, мне пришлось бы проглотить целые библиотеки. Однако я так упорно придерживался этой нелепой методы, что потерял бесконечное количество времени и чуть не затуманил себе голову до такой степени, что перестал в чем бы то ни было разбираться и что-либо знать. К счастью, я заметил, что пускаюсь по ложному пути, который может завести меня в бесконечный лабиринт, и сошел с него, прежде чем окончательно заблудился.

При настоящей склонности к наукам первое, что ощущаешь, погружаясь в них, это их связь между собой, в силу которой они взаимно притягиваются, помогают друг другу и объясняют друг друга так, что одна не может обойтись без другой. Ум человеческий не может охватить их все, и необходимо всегда выбрать одну как основную; но, если не имеешь некоторого представления о других, часто плохо разбираешься даже в ней. Я чувствовал, что замысел мой правилен и полезен сам по себе и что надо только изменить методу. Принявшись прежде всего за «Энциклопедию», я разделил ее по отделам. Потом я увидел, что надо поступить наоборот: взять каждую науку в отдельности и проследить ее до того пункта, где все они соединяются. Так я вернулся к обыкновенному синтезу, но вернулся как человек, знающий, чего он хочет. Размышление возместило мне в этом случае недостаток знаний, а здравый смысл оказался хорошим руководителем. Останусь я жив или умру, мне нельзя терять времени. В двадцать пять лет ничего не знать и стремиться узнать все – это значит взять на себя обязательство не терять времени даром. Не зная, в какой момент судьба или смерть остановит мое рвение, я хотел на всякий случай приобрести знания обо всем – и для того чтобы исследовать свои природные дарования, и для того чтобы решить, что более заслуживает изучения.

Начав выполнять этот план, я обнаружил, что существует еще одно преимущество, о котором раньше не думал, – а именно, экономия времени. Должно быть, я не рожден для занятий науками, потому что долгое прилежание утомляет меня, и я не могу усиленно заниматься одним и тем же предметом даже полчаса, в особенности следя за чужой мыслью, хотя своей собственной мысли мне случалось предаваться дольше и даже довольно успешно. После того как я прочитал несколько страниц книги, требующей вдумчивости, мой ум вдруг перестает воспринимать читаемое и теряется в облаках. Упорствуя, я только напрасно изнуряю себя, у меня начинается головокружение, я больше ничего не понимаю. Но при смене разнообразных предметов, хотя бы и непрерывной, один предмет позволяет мне отдохнуть от другого, и я, даже без передышки, гораздо легче за ними слежу. Я воспользовался этим наблюдением в своем расписании и, перемежая предметы, получил возможность заниматься целый день, никогда не утомляясь. Правда, полевые и домашние работы служили мне полезным развлечением; но в своем возрастающем порыве к знанию я скоро нашел средство уры-

вать время для учения и от работы и заниматься сразу двумя делами, забывая о том, что от этого каждое из них идет менее успешно.

Передавая эти подробности, очаровательные для меня, но часто утомительные для читателя, я соблюдаю, однако, умеренность, о которой он и не подозревал бы, если б я не сообщил ему об этом. Например, в данном случае я с наслаждением вспоминаю все свои попытки распределить время таким образом, чтобы употребить его и с наибольшим удовольствием, и с наибольшей пользой, и могу сказать, что время, проведенное мною в уединении и постоянных болезнях, было именно тем периодом моей жизни, когда я был наименее праздным и меньше всего скучал. В этом волшебном уголке я провел два или три лучших летних месяца, стараясь определить свои умственные интересы. Я наслаждался радостями жизни, цену которым так хорошо знал, обществом, столь же непринужденным, как неприятным, – если только можно назвать обществом наш тесный союз, – и теми прекрасными знаниями, к приобретению которых я стремился; для меня стремление это было как бы уже обладанием или даже чем-то еще большим, и удовольствие от учения много способствовало моему счастью.

Не стоит говорить об этих попытках, которые все были для меня радостью, но слишком простой, чтобы ее можно было передать. Еще раз повторяю: истинное счастье нельзя описать, – его только испытываешь, и испытываешь тем сильней, чем меньше у тебя возможности описать его, так как оно не возникает из внешних факторов, а являет собой состояние, длящееся непрерывно. Я часто повторяюсь, но повторялся бы еще больше, если бы говорил об одном и том же всякий раз, как оно приходит мне на ум. Когда мой часто изменявшийся образ жизни наконец установился, вот какой примерно он принял вид.

Каждое утро я вставал до восхода солнца. Через соседний фруктовый сад подымался на красивую дорогу, тянувшуюся над виноградником, и шел по склону гор до самого Шамбери. Гуляя, я произносил свою молитву, заключавшуюся не в бессмысленном бормотании, а в искреннем возношении сердца к творцу милой природы, красоты которой были у меня перед глазами. Я никогда не любил молиться в комнате; мне кажется, стены и все эти жалкие изделия человеческих рук становятся между господом и мною. Я люблю созерцать бога в его творениях, когда мое сердце возносится к нему. Молитвы мои, могу сказать, были чисты и потому достойны быть услышанными. Для себя и для той, от которой я никогда не отделял себя в своих заветных желаниях, я просил только о жизни невинной и спокойной, свободной от порока, горя, тягостей нужды, о смерти праведных и о доле их в будущей жизни. Впрочем, молитва моя состояла больше в восторгах и созерцании, чем в просьбах, и я знал, что перед лицом подателя истинных благ лучший способ получить необходимое состоит не в том, чтобы его вымаливать, а в том, чтобы заслужить. Я возвращался с прогулки довольно долгим кружным путем, с любопытством и наслаждением взирая на окружающие картины сельской жизни – единственные, которые никогда не утомляют ни сердца, ни глаз. Я смотрел издали, начался ли уже день у маменьки. Если ставни у нее были открыты, я бежал к ней, дрожа от радости; если закрыты, я шел в сад и, ожидая ее пробуждения, развлекался повторением пройденного накануне или принимался за работу по саду. Ставни открывались, я спешил обнять ее, еще полусонную, и это объятие, чистое и нежное, самой невинностью своей было полно особого очарования, которое никогда не соединяется с чувственностью.

Наш завтрак обычно состоял из кофе с молоком. Это было у нас самое спокойное время дня, когда мы беседовали всего приятнее. Наши беседы, обычно довольно длительные, навсегда оставили во мне особенное расположение к завтракам; и я предпочитаю обычай Англии и Швейцарии, где завтрак является настоящей трапезой, к которой собираются все, обычаю Франции, где каждый завтракает у себя в комнате или, еще чаще, не завтракает вовсе. После часовой или двухчасовой беседы я до самого обеда возвращался к своим книгам. Я начал с кое-каких философских книг: с «Логики» Пор-Рояля, «Опытов» Локка, с

Мальбранша, Лейбница, Декарта{139} и других. Вскоре я заметил, что все эти авторы находятся между собой почти в постоянных противоречиях, и задался химерическим планом согласовать их, что очень меня утомило и отняло много времени. Я запутался и перестал двигаться вперед. Наконец, отказавшись от этой методы, я усвоил гораздо лучшую, и ей обязан тем, что достиг успехов, несмотря на недостаток способностей, которых, очевидно, у меня было всегда очень мало для изучения наук. Читая любого автора, я принял за правило усваивать его мысли и следить за их развитием, не примешивая к ним ни своих собственных, ни чужих и никогда его не оспаривая. Я сказал себе: «Начнем с того, что станем собирать запас мыслей, истинных или ложных, но во всяком случае ясных, – пока голова моя не наполнится ими достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнивать их и выбирать между ними». Этот метод, я знаю, не безупречен, но он оказал мне услугу в деле моего образования. Через несколько лет, посвященных исключительно усвоению чужих мыслей, – так сказать, не раздумывая и почти не рассуждая, – я приобрел довольно большой запас знаний, которых было достаточно для меня самого и для того, чтоб мыслить без чужой помощи. И когда разъезды и дела лишили меня возможности заглядывать в книги, я развлекался тем, что вспоминал и сравнивал прочитанное, взвешивал каждый предмет на весах разума и порой судил своих учителей. Из-за того, что я стал поздно применять свою способность суждения, она, как я убедился, не потеряла своей силы; и, когда я обнародовал свои собственные идеи, меня не обвинили в том, что я раб своих учителей и клянусь in verba magistri[19].

От этих занятий я перешел к элементарной геометрии; но дальше не пошел, упрямо стремясь преодолеть свою плохую память стократным возвращением к началу и беспрестанным прохождением все того же пути. Мне не нравилась геометрия Евклида, которая заботится больше о цепи доказательств, чем о связи идей; я предпочитал «Геометрию» отца Лами, ставшего с тех пор одним из моих любимых авторов; его сочинения я до сих пор перечитываю с удовольствием. Дальше следовала алгебра, и своим руководителем в ней я выбрал также отца Лами. Когда я подвинулся вперед, я стал изучать «Науку исчисления» отца Рено{140}, потом его «Наглядный анализ», который, впрочем, я только слегка просмотрел. Я так и не дошел до того, чтобы как следует понять смысл применения алгебры к геометрии. Мне не нравится этот способ производить вычисления, не видя, что делается, и мне кажется, что решать геометрическую задачу при помощи уравнений – все равно что играть арию на шарманке. Когда я в первый раз обнаружил при помощи вычисления, что квадрат бинома равен сумме квадратов его членов и их удвоенному произведению, я, несмотря на правильность произведенного мною умножения, не хотел этому верить до тех пор, пока не начертил фигуры. И это не потому, чтобы у меня не было большой склонности к алгебре, которая оперирует отвлеченными величинами, а потому, что в применении к пространству мне нужно было видеть доказательство в линиях; иначе я ничего не мог понять.

За этим следовала латынь. Изучение ее было для меня самым трудным делом, и я никогда не мог достичь в нем больших успехов. Сперва я прибег к латинскому руководству Пор-Рояля, но без пользы. Эти варварские стихи были мне противны до тошноты, и слух мой никогда не мог к ним привыкнуть; я терялся в груде правил и, выучивая последнее, забывал все предшествующие. Затверживанье слов – неподходящее занятие для человека с плохой памятью, а я, для того чтобы развить свою память, упорствовал в нем. В конце концов пришлось его оставить. Я достаточно овладел конструкцией, чтобы читать легкий текст с помощью словаря. Я избрал этот путь, и дело пошло на лад. Я занимался не письменными, а устными переводами и этим ограничился. Со временем я благодаря упражнениям научился бегло читать латинских авторов, но писать и говорить на этом языке никогда не мог; это часто ставило меня в затруднительное положение, особенно когда я, сам не знаю как, ока-

[19] Словами учителя (*лат.*).

зался в кругу людей, занимающихся словесностью. Другое неудобное последствие такого способа обучения заключалось в том, что я никогда не знал просодии и еще менее правила стихосложения. Однако, желая почувствовать гармонию языка в стихах и в прозе, я сделал немало усилий, чтобы достигнуть этого, но убедился, что без учителя это почти невозможно. Изучив состав самого легкого стиха – гекзаметра, – я имел терпение проскандировать почти всего Вергилия и разметить в нем стопы и долготу слогов; впоследствии, когда у меня возникали сомнения относительно долготы и краткости того или иного слога, я советовался со своим Вергилием. Понятно, это приводило меня к ошибкам, из-за вольностей, допускаемых в стихах. Если самообучение имеет некоторые преимущества, с ним связано также много неудобств, а главное, оно полно невероятных трудностей. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было.

К полудню я оставлял книги и, если обед еще не был готов, шел навещать своих приятелей-голубей или работал в саду в ожидании обеда. Слыша, что меня зовут, я прибегал очень довольный и ел с большим аппетитом; вот еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить: как бы я ни был болен, аппетит никогда не изменяет мне. За обедом мы проводили время очень приятно, беседуя о своих делах, в ожидании, когда маменька сможет кушать. Два или три раза в неделю, если была хорошая погода, мы отправлялись пить кофе в свежей, тенистой, прохладной беседке позади дома, которую я обсадил хмелем, – в ней приятно было посидеть, особенно в жару. Там проводили мы часок, осматривая наши овощи, цветы и ведя беседы о нашей жизни, заставлявшие нас еще больше чувствовать прелесть ее. У меня в конце концов появилась еще семейка: пчелы. Я не упускал случая, иногда вместе с маменькой, навестить их; я очень интересовался их работой; меня бесконечно занимало, как они возвращаются с добычей, нагруженные до такой степени, что им трудно передвигаться. В первые дни они сочли мое любопытство нескромным и два или три раза ужалили меня, но потом мы так хорошо познакомились, что, как бы близко я ни подходил, они меня не трогали, и, как бы ни были полны ульи, готовые выпустить рой, пчелы иногда окружали меня, садились мне на лицо, на руки, но ни одна ни разу меня не ужалила. Все животные остерегаются человека – и правы; но как только они убеждаются, что он не собирается вредить им, доверие их становится так велико, что надо быть больше чем варваром, чтобы злоупотребить им.

Потом я возвращался к своим книгам, но мои послеобеденные занятия нужно назвать скорее отдыхом и забавой, чем работой и ученьем. Я всегда терпеть не мог кабинетных занятий после обеда, и вообще всякий труд в дневную жару мне тяжел. Все же я занимался, но не утруждая себя и почти не соблюдая порядка: просто читал, но не изучал ничего. Больше всего уделял я внимания истории и географии; и так как это не требовало умственного напряжения, делал успехи в той мере, в какой позволяла мне моя слабая память. Я хотел изучить отца Пето{141} и погрузился в дебри хронологии; но мне была противна критическая часть, бездонная и безбрежная; я больше заинтересовался точным измерением времени и движением небесных светил. Я мог бы даже увлечься астрономией, если б у меня были инструменты; но мне пришлось довольствоваться элементарными сведениями из книг да несколькими неумелыми наблюдениями при помощи подзорной трубы, только чтобы ознакомиться с общим видом небосвода: моя близорукость не позволяет мне достаточно ясно различать небесные светила невооруженным глазом. У меня сохранилось в памяти одно приключение, воспоминание о котором часто заставляло меня смеяться. Для изучения созвездий я приобрел небесную планисферу. Я прикрепил эту планисферу к раме и в те ночи, когда небо было ясно, выходил в сад и устанавливал раму на четырех шестах с меня высотой, повернув планисферу книзу; для освещения я брал свечу и, чтобы ветер не затушил ее, помещал ее в ведро на земле, между шестами. Потом, глядя попеременно то на планисферу простым глазом, то на светила в подзорную трубу, упражнялся в распознавании звезд и различении созвездий. Я, кажется, говорил, что сад г-на Нуаре был расположен террасами; с дороги было видно

все, что в нем делалось. Однажды вечером крестьяне, проходившие довольно поздно мимо нашего дома, увидали меня в этом причудливом оснащении за моим занятием. Свет, падавший на планисферу, источника которого они не видели, так как он был скрыт от их глаз стенками ведра, четыре шеста, громадный лист бумаги, испещренный какими-то фигурами, рама, блеск оптических стекол, двигавшихся взад и вперед, придавали всему этому зрелищу вид колдовства, который их испугал. Мое одеяние отнюдь не могло их успокоить: шляпа, нахлобученная на ночной колпак, и маменькин ватный халат, который она заставила меня надеть, делали меня в их глазах похожим на настоящего колдуна. И так как было уже около полуночи, они не сомневались, что это начало шабаша. Не желая видеть, что будет дальше, они с перепугу пустились бежать, разбудили соседей, рассказали им о своем видении, и эта история так быстро распространилась, что на следующий день всем в окрестности было известно, что в саду г-на Нуаре нечистая сила справляла шабаш. Не знаю, к чему привел бы весь этот шум, если б один из крестьян, свидетелей моих заклинаний, не пожаловался в тот же день двум иезуитам, которые бывали у нас. Те, еще не зная, в чем дело, заранее успокоили крестьян, а потом рассказали нам эту историю. Я объяснил, чем она вызвана, и мы долго смеялись. Однако было решено, что во избежание подобных случаев я буду производить свои наблюдения без света, а планисферу изучать дома. Те, кто читал в «Письмах с горы» о моей магии{142} в Венеции, я уверен, найдут, что у меня давнишнее призвание к колдовству.

Таков был мой образ жизни в Шарметтах, когда я не был занят полевыми работами; к ним я всегда питал особенное влечение, и в тех случаях, когда это не превышало моих сил, я работал, как настоящий крестьянин. Правда, сил у меня было очень мало, так что единственной моей заслугой в этом отношении являлось лишь мое доброе желание. К тому же я хотел делать сразу два дела и поэтому ни одного не делал как следует. Я вбил себе в голову во что бы ни стало развить свою память и многое стал настойчиво заучивать наизусть. Для этого я всегда носил с собой какую-нибудь книгу, которую во время работы с невероятным трудом изучал и твердил наизусть. Не понимаю, как от этих беспрестанных, упорных и тщетных усилий я в конце концов совсем не отупел. Нужно же было двадцать раз учить и переучивать эклоги Вергилия, из которых я теперь не знаю ни слова! Я потерял и разрознил множество книг благодаря своей привычке носить их с собой повсюду – на голубятню, в сад, на огород, в виноградник. Занятый чем-нибудь другим, я клал книгу у подножья дерева или на изгородь, всегда забывал о ней и нередко через две недели находил ее истлевшей или изглоданной муравьями и улитками. Страсть к учению превратилась у меня в манию, которая делала меня как бы придурковатым, так как я постоянно бормотал себе что-то под нос.

Сочинения Пор-Рояля и Оратории, которые я читал больше всего, сделали меня полуянсенистом; но, несмотря на всю мою доверчивость, их суровая теология внушала мне ужас. Страх перед адом, которого я до тех пор почти совсем не боялся, мало-помалу разрушал мое спокойствие, и не внеси маменька успокоения в мою душу, эта устрашающая доктрина в конце концов совершенно выбила бы меня из колеи. Мой духовник, бывший одновременно и ее духовником, тоже содействовал тому, чтобы я снова почувствовал себя в своей тарелке. Это был отец Геме, иезуит{143}, добрый и мудрый старец, чью память я всегда буду чтить. Он был иезуитом, но отличался детской простотой, и его мораль, скорее мягкая, чем снисходительная, была именно тем, в чем я нуждался, чтобы уравновесить мрачные впечатления от янсенизма. Этот добрый человек и его приятель, отец Коппье, часто навещали нас в Шарметтах, хотя дорога к нам была очень трудна и довольно длинна для людей их возраста. Посещения их были для меня великим благом. Да воздаст господь их душам! Им было уже очень много лет в то время, и я не могу предполагать, что они еще живы теперь. Я тоже ходил к ним в Шамбери и мало-помалу стал в их доме своим человеком; их библиотека была к моим услугам. Воспоминание об этом счастливом времени до такой степени связано с вос-

поминанием об иезуитах, что одно заставляет меня любить другое, и хотя учение их всегда казалось мне опасным, я никогда не мог найти в себе силы искренне возненавидеть их.

Хотелось бы мне знать, западают ли в сердца других людей ребяческие чувства, подобные тем, что западают иногда в мое. Среди моих занятий, в самой невинной жизни, какая только возможна, и несмотря на все, что мне говорили, – страх перед адом все же часто волновал меня. Я спрашивал себя: «В каком нахожусь я состоянии? Если я сейчас умру, буду ли я осужден?» Согласно учению моих янсенистов, это было несомненно, но моя совесть подсказывала мне, что это не так. Вечно пребывая в страхе и колеблясь в этой мучительной нерешительности, я, чтобы найти выход, прибегал к таким смешным средствам, за которые сам охотно запер бы в сумасшедший дом того, кто применяет их. Однажды, среди этих печальных размышлений, я в задумчивости кидал камни в стволы деревьев, делая это с присущей мне ловкостью, то есть почти никогда не попадая. За этим прекрасным занятием мне пришла в голову мысль сделать из него нечто вроде гадания, чтобы успокоить свое волнение. Я сказал себе: «Брошу этот камень вон в то дерево напротив; если попаду – это будет означать спасение, если промахнусь – осужденье». Подумав это, я дрожащей рукой и с бьющимся сердцем кидаю камень, да так удачно, что он попадает в самое дерево; правда, это было нетрудно, так как я постарался выбрать дерево потолще и поближе. Но с тех пор я больше не сомневался в своем спасении. Вспоминая этот случай, не знаю, смеяться мне над собой или плакать. А вы, великие люди, конечно, подымете меня на смех, но, радуясь своему превосходству, не издевайтесь над моей жалкой слабостью, потому что, клянусь вам, я отлично ее сознаю.

Впрочем, эти волнения и тревоги, быть может, неразрывные с благочестием, не были постоянным моим состоянием. Обычно я был довольно спокоен, и мысль о близкой смерти наполняла мою душу не столько скорбью, сколько тихой грустью, не лишенной даже своеобразной прелести. Недавно я нашел среди своих старых бумаг нечто вроде предсмертного напутствия самому себе, в котором я называл себя счастливым, так как умирал в том возрасте, когда находишь в себе достаточно мужества глядеть смерти в лицо, не узнав за всю свою краткую жизнь сильных ощущений, ни телесных, ни нравственных. Как я был прав! Предчувствие заставляло меня бояться, что я останусь жить только для страданий. Казалось, я предвидел судьбу, ожидавшую меня в конце моих дней. Никогда не был я так близок к мудрости, как в ту счастливую пору жизни. Не чувствуя особых угрызений совести за прошлое и без забот о будущем, я отдавался наслаждению настоящим, и это чувство господствовало в моей душе. Набожные люди обыкновенно обладают особого рода чувственностью: они с упоением смакуют дозволенные им невинные удовольствия. Светские люди считают это каким-то преступлением, не знаю почему – или, вернее, знаю очень хорошо: дело в том, что они завидуют людям, испытывающим радость простых удовольствий, к которым сами они давно потеряли вкус. Я сохранил его, этот вкус, и мне было очень приятно со спокойной совестью удовлетворять его. Сердце мое, еще не тронутое, отдавалось всему с радостью ребенка или, вернее, если смею сказать, с восторгом ангела, так как эти мирные наслаждения по своей безмятежности в самом деле были райскими. Обеды на траве в Монтаньоле, ужины в беседке, сбор фруктов и винограда, вечера за трепаньем льна с нашими слугами – все это были для нас настоящие праздники, которым маменька радовалась не меньше, чем я. Уединенные прогулки имели еще больше прелести, так как во время них сердце изливалось с большей свободой. Одну из таких прогулок, составившую эпоху в моих воспоминаниях, мы совершили в День святого Людовика, имя которого носила маменька. Мы отправились вместе ранним утром, после обедни, которую один кармелит отслужил для нас на рассвете в часовне, примыкавшей к дому. Я предложил посетить противоположный склон, где мы еще ни разу не бывали. Мы отправили припасы вперед, так как прогулка предполагалась на весь день. Несмотря на некоторую полноту, маменька ходила неплохо; мы бродили по холмам,

шли из леса в лес, иногда по солнцу, чаще в тени, отдыхая время от времени и не замечая часов. Мы говорили о себе, о своем союзе, о нашей отрадной судьбе и возносили молитвы о ее продлении, которые, однако, не были услышаны. Казалось, все сговорилось сделать этот день счастливым. Недавно прошел дождь, пыли не было; быстро бежали ручьи. Свежий ветерок колыхал листву, воздух был чист; небосклон безоблачен; безмятежное спокойствие царило на небе, как и у нас в сердцах. Мы устроили обед у одного крестьянина, разделив его со всей его семьей, и она благословляла нас от чистого сердца. Эти бедные савояры такие хорошие люди! После обеда мы перебрались под тень больших деревьев; я собирал сухие ветки, чтобы сварить кофе, а маменька травы среди кустарников. Пользуясь цветами того букета, который я нарвал ей по дороге, она объяснила мне множество любопытных подробностей их строения, что очень заинтересовало меня и должно бы было пробудить во мне склонность к занятию ботаникой; но время для этого еще не пришло, – я был слишком поглощен другими занятиями. Мысль, внезапно пришедшая мне в голову, отвлекла меня от цветов и растений. Мое душевное состояние, все, что мы говорили и делали в течение дня, все предметы, привлекавшие мое внимание, напомнили мне что-то вроде сна, который я видел наяву в Аннеси, за семь или восемь лет перед тем, и о котором я говорил в своем месте. Сходство было так разительно, что при мысли об этом я был взволнован до слез. В порыве нежности я обнял свою дорогую подругу. «Маменька, маменька, – страстно сказал я ей. – Этот день был мне обещан уже давно, и я не знаю ничего прекрасней. Благодаря вам я достиг всей полноты счастья; пусть оно отныне не уменьшается, пусть длится до тех пор, пока я буду чувствовать всю его прелесть. Оно кончится только вместе со мной!»

Так протекали мои счастливые дни, – тем более счастливые, что, не замечая ничего, что должно было их нарушить, я в самом деле думал, что они окончатся только с моей жизнью. Не то чтоб поток моих забот окончательно иссяк, но я видел, что он пошел по другому руслу, и, как только мог, направлял его на полезные предметы, чтобы в нем самом найти исцеление. Маменька сама любила деревню, и эта склонность при мне не остывала. Мало-помалу она полюбила и сельские занятия: ей нравилось извлекать доход из земли; и в этом деле у нее были познания, которые она с удовольствием пускала в ход. Не довольствуясь участком земли, снимаемым ею, она брала в аренду то какой-нибудь луг, то поле. Она не могла оставаться праздной и, применив к земледелию свои предпринимательские способности, повела дело так, что могла бы скоро стать крупной фермершей. Мне не очень нравился этот широкий размах, и я противился ему насколько мог, уверенный, что ее всегда будут обманывать и что благодаря ее щедрости и расточительности расходы у нее будут всегда превышать доходы. Однако я утешал себя мыслью, что этот доход по крайней мере не будет ничтожен и поддержит ее существование. Из всех предприятий, которые она могла затеять, это казалось мне наименее разорительным, и, не считая его источником дохода, как это делала она, я видел в нем постоянное занятие, ограждающее ее от мошенников и разоренья. Увлеченный этой мыслью, я пламенно желал набраться сил и здоровья, чтобы быть в состоянии заботиться о ее делах, стать надсмотрщиком над ее рабочими или главным ее работником; и естественно, что труд, который мне приходилось брать на себя ради этого, часто отрывал меня от книг, отвлекал мою мысль от моих недугов и тем самым способствовал улучшению моего здоровья.

На следующую зиму Барийо, вернувшись из Италии, привез мне несколько книг, среди которых были Bontempi и «Cartella per musica» отца Банкьери{144}. Книги эти внушили мне интерес к истории музыки и к теоретическим изысканиям об этом прекрасном искусстве. Барийо некоторое время оставался у нас, а так как я за несколько месяцев перед тем достиг совершеннолетия, было решено, что весной я поеду в Женеву для получения наследства, оставшегося мне от матери, или по крайней мере моей доли этого наследства – в ожидании известий о том, что сталось с братом. Все было сделано так, как решили. Я отправился в

Женеву; отец мой тоже туда приехал. Он давно уж мог появляться в Женеве, не навлекая на себя неприятностей, хотя приговор над ним не был отменен; но так как его уважали за мужество и почитали за честность, то делали вид, будто забыли о его деле; и члены правительства, занятые одним важным проектом, который вскоре осуществился, не хотели преждевременно пугать буржуазию неуместным напоминанием о своей прежней пристрастности.

Я боялся, как бы не возникли затруднения из-за того, что я переменил религию; этого не случилось. Законы Женевы в этом отношении менее суровы, чем законы Берна, где каждый меняющий вероисповедание теряет не только свое звание, но даже имущество. Таким образом, мое имущество не оспаривалось, но, сам не знаю как, свелось к очень незначительной сумме. Хотя в смерти моего брата были почти уверены, однако юридических доказательств ее не имелось, а у меня не было достаточно веских оснований, чтобы вытребовать его долю, и я, не жалея об этом, оставил ее в помощь отцу, который пользовался ею до конца своей жизни. Как только юридические формальности были окончены и я получил свои деньги, я отложил часть на покупку книг и полетел сложить остальное к ногам маменьки. Сердце мое всю дорогу билось от радости, и минута, когда я вручил ей эти деньги, была мне в тысячу раз отрадней той, когда я получал их. Она приняла их с простотой, свойственной прекрасным душам, которые, сами совершая подобные поступки без усилий, не удивляются им у других. Деньги пошли почти целиком на мои нужды, и это было сделано с той же простотой. Их употребление было бы совершенно тем же, будь они получены из другого источника.

Между тем здоровье мое не восстанавливалось – напротив, я хирел на глазах у всех, был бледен как мертвец и худ как скелет; биение в артериях стало ужасным, сердечные припадки у меня участились; я постоянно испытывал стеснение в груди, и моя слабость дошла наконец до того, что мне стало трудно двигаться: я не мог ускорить шаг, не задыхаясь, не мог наклониться без головокружения, не мог поднять самой незначительной тяжести; я был доведен до полного бездействия, что особенно мучительно для такого подвижного человека, как я. Несомненно, ко всему этому примешивались нервы, болезнь счастливых людей; она была и моей болезнью. Я часто плакал без причины, пугался малейшего шелеста листьев, шороха, производимого птицей, томился от внезапных перемен в расположении духа среди спокойной и приятной жизни; все это указывало на скуку, порожденную благополучием, которая, так сказать, заставляет чувствительность сумасбродствовать. Мы так мало созданы для того, чтобы быть счастливыми здесь, на земле, что у нас непременно должны страдать либо тело, либо душа, если только они не страдают вместе, – благополучное состояние одного из них почти всегда нарушает благополучие другого. В то самое время, когда я мог бы наслаждаться радостями жизни, мой пришедший в расстройство организм препятствовал этому, и никто не мог сказать, в чем действительно коренится причина моего недуга. Впоследствии, несмотря на годы и действительно серьезные недуги, тело мое восстановило свои силы, как будто только для того, чтобы я мог лучше чувствовать свои несчастья; и теперь, когда я, больной, почти шестидесятилетний старик, удрученный всевозможными горестями, пишу это, я чувствую в себе больше жизненной силы для страданий, чем когда-то, в цветущем возрасте и на лоне самого подлинного счастья, имел ее для наслаждений.

Чтобы доконать себя, я ввел в свои чтения кое-что из физиологии и принялся изучать анатомию; размышляя о бесконечном количестве частей, составляющих мой организм, а также об их действиях, я каждую минуту ожидал, что все это вот-вот распадется. Ничуть не удивленный тем, что вижу себя умирающим, я, наоборот, скорее удивлялся тому, что еще существую, и каждую болезнь, о которой мне приходилось читать, находил у себя. Я уверен, что если бы не был болен, то непременно заболел бы от этих занятий. Находя у себя симптомы всех болезней, я решил, что страдаю всеми ими сразу, и сверх того заболел наиболее жестокой из них, от которой считал себя избавленным: манией вылечиться; это болезнь, которой трудно избежать, когда примешься читать медицинские книги. В результате поис-

ков, размышлений и сравнений я вообразил, что причина моего недуга – полип в сердце, и сам Соломон был, кажется, поражен этой идеей. Рассуждая последовательно, я должен был бы, исходя из этой мысли, утвердиться в прежнем своем решении. Я поступил иначе. Я напряг все свои умственные способности, чтобы отыскать средство вылечиться от полипа в сердце, с твердым намерением прибегнуть к этому чудодейственному лечению.

В одну из своих поездок в Монпелье{145}, с целью посетить ботанический сад и его смотрителя г-на Соважа, Анэ слышал, что г-н Физ вылечил кого-то от полипа в сердце. Маменька вспомнила об этом и рассказала мне. Этого было достаточно, чтобы внушить мне желание обратиться к Физу. Надежда на излечение придала мне бодрости и силы для предстоящего путешествия. Деньги, полученные из Женевы, доставили средства для него. Маменька не только не препятствовала, но поощряла меня в этом предприятии, и вот я отправился в Монпелье.

Мне не пришлось ехать так далеко за нужным мне врачом. Устав от верховой езды, я нанял в Гренобле носилки. Следом за мной в Муаран прибыли одни за другими еще пять или шесть носилок. Получалось в самом деле настоящее приключение с носилками{146}. Большую часть этих носилок составлял свадебный поезд новобрачной, г-жи дю Коломбье. С ней была другая дама, г-жа де Ларнаж, постарше ее и не такая красивая, но не менее привлекательная. Она должна была из Романа, куда ехала г-жа дю Коломбье, продолжать путь до местечка Сент-Андеоль, близ Пон-Сент-Эспри. Понятно, что при моей уже известной застенчивости знакомство мое с этими блестящими дамами и окружавшей их свитой произошло не сразу; но в конце концов, путешествуя по одной и той же дороге, останавливаясь в одних и тех же гостиницах, вынужденный появляться за общим столом, я не мог избежать знакомства, если не хотел прослыть бирюком; оно состоялось, и даже ранее, чем я того хотел, потому что весь этот шум и гам мало подходили больному, да особенно с таким характером, как у меня. Но любопытство делает плутовок-женщин такими настойчивыми, что, желая познакомиться с мужчиной, они прежде всего стараются вскружить ему голову. Так было и со мной. Г-жа дю Коломбье, окруженная юными шалопаями, не имела времени прельщать меня, да это и не стоило затевать, так как мы должны были скоро расстаться. Но г-же де Ларнаж, менее осаждаемой, надо было подумать о дальнейшей дороге. Она принялась за меня – и прощай, бедный Жан-Жак, или, вернее, – прощайте, лихорадка, нервы, полип! Возле нее все прошло – за исключением некоторого сердцебиенья, но от этого она не хотела меня излечить. Первым поводом к нашему знакомству было дурное состояние моего здоровья. Все видели, что я болен, знали, что я еду в Монпелье; и вид мой, и мои манеры, должно быть, не говорили обо мне, как о распутнике, – вскоре выяснилось, что никто и не предполагает, будто я еду туда кутить. Хотя болезнь – не особенно лестная рекомендация для мужчины в глазах дам, меня на этот раз она сделала интересным. По утрам они присылали узнать о моем здоровье и пригласить меня на чашку шоколада; осведомлялись, как я провел ночь. Однажды, следуя своей похвальной привычке говорить не думая, я ответил, что не знаю. Судя по этому ответу, они предположили, что я глуп; они стали наблюдать за мной, и это наблюдение не повредило мне. Я слышал, как однажды г-жа дю Коломбье сказала своей подруге: «Ему не хватает светскости, но он мил». Это замечание очень меня ободрило и привело к тому, что я действительно стал любезным.

При более близком знакомстве пришлось рассказать о себе, сообщить, откуда я, кто я таков. Это мне было нелегко, так как я отлично понимал, что в хорошем обществе, и особенно среди светских дам, слово «новообращенный» должно погубить меня. Не знаю, как это мне пришло в голову, но я решил выдать себя за англичанина. Я объявил себя якобитом{147}, – мне поверили; я назвался Деддингом, и меня стали называть «господин Деддинг». Но один проклятый старик, некий маркиз де Ториньян, находившийся там, больной, как и

я, страшно дряхлый и довольно сварливый, затеял с «господином Деддингом» разговор. Он заговорил со мной о короле Иакове, о претенденте, о старом дворе в Сен-Жермене{148}. Я был как на иголках, ибо обо всем этом я знал только то немногое, что читал у графа Гамильтона{149} и в газетах; однако это немногое я пустил в ход так удачно, что выпутался из беды и был счастлив уж тем, что меня не вздумали расспрашивать на английском языке, на котором я не знал ни единого слова.

Вся компания сошлась очень тесно и с сожалением ждала минуты расставанья. Мы ползли медленно, как улитки. В воскресенье мы оказались в Сен-Марселине{150}. Г-же де Ларнаж захотелось поехать к обедне; я отправился с нею, и это чуть не испортило все дело. Я держал себя как всегда. По моему скромному и сдержанному виду она приняла меня за ханжу, и, как она сама через два дня в этом призналась, у нее сложилось обо мне очень нелестное мнение. Мне пришлось проявить много галантности, чтобы загладить это впечатление, или, вернее, г-жа де Ларнаж, как женщина опытная и не желающая отказывать себе в удовлетворении своих причуд, захотела рискнуть, сделав первый шаг, чтобы посмотреть, как я выйду из положения. Она так со мной заигрывала, что я, далеко не переоценивая своей наружности, решил, что она смеется надо мной. Из-за этой нелепой мысли я повел себя очень глупо, – хуже, чем маркиз из «Завещания»{151}. Г-жа де Ларнаж не уступила: она со мной кокетничала и говорила мне такие нежности, что даже не такой дурак, как я, очень затруднился бы принять все это всерьез. Чем больше она завлекала меня, тем больше укреплялся я в своей мысли; но особенно мучило меня то, что я в конце концов и в самом деле влюбился. Я говорил себе и ей, вздыхая: «Ах, если бы все это было правдой! Я был бы счастливейшим из смертных». Кажется, простота такого новичка, как я, только усилила ее прихоть; ей захотелось во что бы то ни стало настоять на своем.

В Романе мы оставили г-жу дю Коломбье со всей ее свитой и очень медленно и самым приятным образом продолжали путь втроем: г-жа де Ларнаж, маркиз де Ториньян и я. Больной и ворчливый маркиз был, однако, довольно добрый человек, но, как говорится, не слишком склонный довольствоваться хлебом, слыша запах жаркого. Г-жа де Ларнаж так мало скрывала свое расположение ко мне, что он заметил это раньше меня, и его едкие насмешки могли бы дать мне уверенность в благоволении дамы, о котором я не смел и мечтать, если бы, по странности, свойственной мне одному, я не вообразил, что они сговорились высмеять меня. Эта глупая мысль окончательно перевернула все в моей голове и заставила меня играть самую незавидную роль в том положении, в котором мое сердце, действительно увлеченное, могло бы продиктовать мне роль довольно блестящую. Не понимаю, как г-жу де Ларнаж не оттолкнула моя угрюмость и почему она с величайшим презрением не прогнала меня. Но она была умная женщина и умела распознавать людей; она прекрасно видела, что в моих поступках больше глупости, чем холодности.

Наконец она добилась того, что я понял все. В Баланс{152} мы приехали к обеду и, согласно нашему похвальному обычаю, пробыли там до вечера. Мы остановились за городом в гостинице «Сен-Жак»; я всегда буду помнить эту гостиницу, так же как комнату г-жи де Ларнаж. После обеда она захотела пройтись; она знала, что маркиз плохой ходок; это был удобный случай остаться наедине, – она твердо решила им воспользоваться, потому что времени, чтобы достичь цели, оставалось мало и его нельзя было терять. Мы прогуливались вокруг города вдоль рвов. Там я опять начал длинную историю своих болезней; она отвечала так нежно и так прижимала иногда мою руку к своему сердцу, что только моя чрезмерная глупость мешала мне проверить на деле правдивость ее слов. Забавнее всего было то, что я сам был до крайности взволнован. Я уже сказал, что она была мила; любовь сделала ее очаровательной и придала ей блеск первой молодости; и она кокетничала с таким искусством, что могла бы пленить самого опытного мужчину. Итак, я чувствовал себя очень неловко,

по-прежнему каждую минуту готовый отбросить свою робость, – но боязнь обидеть или не понравиться, еще больший страх быть освистанным, осмеянным, опозоренным, стать предметом застольных бесед и получить от безжалостного маркиза поздравление за свою предприимчивость сдерживали меня; я негодовал на свой дурацкий стыд, но не мог побороть его, хотя и упрекал себя за это. Я был как на пытке; я уже оставил свои повадки селадона, всю неуместность которых почувствовал во время этой прекрасной прогулки. Не зная, как держать себя и что говорить, я молчал; у меня был надутый вид; я делал все, чтобы навлечь на себя гнев, которого так боялся. К счастью, г-жа де Ларнаж приняла более гуманное решение. Она резко прервала это молчание, обвив мне шею руками, и в тот же миг губы ее, прильнув к моим, сказали мне все слишком ясно, чтобы я мог оставаться в заблуждении. Перелом был как нельзя более кстати. Я стал любезным. Пора было сделать это. Она дала мне ту уверенность, отсутствие которой почти всегда мешало мне быть самим собой. Я стал самим собой наконец; никогда еще мои глаза, мои чувства, мое сердце и мои губы не говорили столь красноречиво; никогда еще не искупал я своих ошибок так полно; и если эта маленькая победа стоила г-же де Ларнаж хлопот, – я думаю, ей не пришлось пожалеть об этом.

Проживи я сто лет, я всегда с удовольствием вспоминал бы эту очаровательную женщину. Я говорю «очаровательную», хотя она не была ни молода, ни красива. Но вместе с тем она была не безобразна, не стара, и лицо ее отнюдь не противоречило обаянию ее ума и грации. В отличие от других женщин, наименее свежим был у нее цвет лица; и я думаю, что его испортили румяна. Она имела причины быть податливой: это было для нее средством показать свою действительную цену. Можно было увидеть ее и не полюбить, но нельзя было обладать ею и не обожать ее, и, мне кажется, это доказывает, что она не всегда была так расточительна на ласки, как со мной. Она уступила увлечению слишком быстро и слишком сильно, чтоб это можно было считать простительным, но сердце ее участвовало в нем по крайней мере настолько же, насколько и чувственность; и в то короткое, восхитительное время, которое я провел возле нее, я имел возможность убедиться, что, принуждая меня к умеренности, она, несмотря на свою страстность, больше заботилась о моем здоровье, нежели о своих удовольствиях.

Наше сближение не укрылось от маркиза. Его шутки надо мной не прекратились; напротив, он больше, чем когда-либо, обращался теперь со мной, как с несчастным влюбленным, мучеником своей суровой дамы. У него ни разу не проскользнуло ни слова, ни улыбки, ни взгляда, которые заставили бы меня заподозрить, что он догадывается о наших отношениях; и я готов был думать, что мы его провели, если бы г-жа де Ларнаж, более проницательная, не сказала мне, что он все знает, но, как человек воспитанный, не подает виду. В самом деле, невозможно было вести себя более благородно и проявлять большую учтивость даже по отношению ко мне, если не считать его шуток, особенно усилившихся после моего успеха: он, быть может, приписывал мне честь этого успеха и уже не считал меня таким дураком, каким я казался ему прежде. Он ошибался, как видите, но что из этого? Я воспользовался его заблуждением; и, право, после того как пришла моя очередь смеяться, я выносил его эпиграммы довольно терпеливо и благодушно и несколько раз даже более или менее удачно отвечал на них, гордый тем, что могу щегольнуть перед г-жой де Ларнаж остроумием, которым был ей обязан. Я стал другим человеком.

Мы путешествовали по самым плодородным местам и в самое обильное время года. Всюду у нас был отличный стол благодаря внимательным заботам маркиза. Однако я охотно обошелся бы без того, чтобы эти заботы простирались и на выбор для нас комнат; но он посылал своего лакея вперед, чтобы занять их, и этот плут, по собственному ли почину или по приказанию маркиза, всегда устраивал его рядом с г-жой де Ларнаж, а меня запихивал на другой конец дома. Однако это нисколько не стесняло меня; радость наших свиданий сделалась от этого только еще более острой. Этот восхитительный образ жизни продолжался

четыре или пять дней, в течение которых я насыщался и опьянялся самыми сладостными наслаждениями. Они наполняли мою жизнь, чистые, живые, без всякой примеси горечи; это были первые и единственные наслаждения, которые я вкусил в такой полноте, и должен сказать, что именно г-же де Ларнаж обязан тем, что не умру, не узнав чувственных радостей.

Если отношенье мое к ней не было в собственном смысле слова любовью, оно было, во всяком случае, таким нежным ответом на ее любовь ко мне, исполнено такой жгучей чувственности в минуты обладанья и такой нежной близости во время бесед, что отличалось всем очарованием страсти, без того безумия, которое кружит голову и мешает наслаждаться. Я испытал настоящую любовь только раз в жизни, и это было не к ней. Я никогда не любил ее так, как любил г-жу де Варане, но, может быть, поэтому обладал ею во сто раз полнее. Возле маменьки удовольствие всегда омрачалось грустью, тайным сердечным трепетом, который я преодолевал не без труда: вместо того чтобы радоваться тому, что обладаю ею, я упрекал себя за то, что унижаю ее. Возле г-жи де Ларнаж, наоборот, гордясь тем, что я мужчина и счастлив, я отдавался чувственности с радостью, уверенно; я разделял впечатление, которое производил на ее чувственность; я достаточно владел собою, чтобы с тщеславным восторгом наблюдать свой триумф и извлекать из него то, что могло его удвоить.

Не помню, где нас покинул маркиз де Ториньян, живший в тех краях, но мы оказались одни, не доезжая до Монтелимара; с этого момента г-жа де Ларнаж посадила свою горничную в мои носилки, а я перешел к ней. Могу уверить, что дорога не показалась нам скучной, и мне трудно было бы описать местность, по которой мы проезжали.

В Монтелимаре у г-жи де Ларнаж были дела, задержавшие ее на три дня, в течение которых она, однако, покинула меня всего на четверть часа для визита, повлекшего за собой несносных посетителей и приглашения, от которых она поспешила отказаться.

Она сослалась на препятствия, не помешавшие нам, однако, совершать вдвоем прогулки в самой прекрасной стране и под самым прекрасным небом в мире. О эти три дня! Иногда я так жалел о них; ведь у меня больше не было подобных.

Дорожная любовь не может длиться долго. Нам пришлось расстаться, и, признаюсь, пора уж было; не потому, чтоб я пресытился или был близок к пресыщению: я с каждым днем привязывался все больше; но, несмотря на всю сдержанность моей дамы, у меня уже не оставалось почти ничего, кроме доброй воли. Перед расставаньем я решил воспользоваться тем, что осталось, и она покорилась этому, чтобы оградить меня от опасности сближения с девицами Монпелье. Прощальные сожаленья мы заменили планами будущего свидания. Было решено, что, поскольку такой образ жизни мне полезен, я приеду на зиму в Сент-Андеоль к г-же де Ларнаж. Я должен был побыть только месяца полтора в Монпелье, а она тем временем устроит дела так, чтобы избежать сплетен. Она дала мне подробные наставления о том, что мне следовало знать, что я должен говорить, как держать себя. До того времени мы условились писать друг другу. Она долго и серьезно убеждала меня заботиться о своем здоровье, посоветоваться со знающими врачами, быть внимательным ко всему, что они мне предпишут, и взялась следить, чтобы я, пока буду с ней, выполнял эти предписания, как бы они ни были строги. Думаю, что все это она говорила искренне, потому что любила меня; она дала мне тысячу доказательств этого, более надежных, чем ласки. По моей одежде она заметила, что я не утопал в роскоши; хотя сама она была не богата, но при расставании пыталась заставить меня разделить с ней ее кошелек, который привезла из Гренобля довольно туго набитым, и мне стоило большого труда отклонить это. Наконец я покинул ее, с сердцем, до краев полным ею, оставив, кажется, и в ней искреннюю привязанность ко мне.

Я оканчивал свое путешествие, заново переживая его в воспоминаниях, к тому же очень довольный отличными носилками, где мог с полным удобством предаваться мечтам о наслаждениях, уже полученных, и тех, что мне были обещаны. Я только и думал, что о Сент-Андеоле и о чудесной жизни, там меня ожидавшей; видел только г-жу де Ларнаж и ее

окружение. Остальная вселенная не существовала для меня, даже маменька была забыта. Я перебирал в уме все подробности, сообщенные мне г-жой де Ларнаж, старался составить себе представление о ее жилище, соседях, обществе и образе жизни. У нее была дочь, о которой она очень часто говорила мне с материнским обожанием. Дочери минуло уже пятнадцать лет; она была живая, очаровательная девушка с отличным характером. Мне было обещано, что она будет со мной любезна; я не забыл этого обещания, и мне был о очень любопытно, как м-ль де Ларнаж будет обращаться с близким другом своей матери. Таковы были мои мечтания по дороге от Пон-Сент-Эспри до Ремулена. Мне советовали посмотреть Гардский мост;{153} я так и поступил. Позавтракав отличными фигами, я взял себе проводника до Гардского моста. Это было первое римское сооружение, которое я видел. Я ожидал увидеть памятник, достойный рук, создавших его. Но он превзошел мои ожидания, и это было единственный раз в моей жизни. Только римляне могли создать подобное. Вид этого простого и благородного сооружения поразил меня тем сильней, что оно находится в пустыне, а уединенье и тишина значительно усиливают впечатление от предметов и вызываемый ими восторг. Дело в том, что так называемый мост этот не что иное, как водопровод. Невольно задаешь себе вопрос: какая сила перенесла эти огромные камни так далеко от каменоломни и собрала столько тысяч человеческих рук в необитаемое место? Я обежал три этажа этого великолепного сооружения, почтение к нему почти лишало меня смелости попирать его ногами. Отзвук моих шагов под его необъятными сводами казался мне мощным голосом тех, кто их построил. Я терялся в этой необъятности, словно насекомое. Чувствуя себя маленьким, я в то же время ощущал нечто возвышающее душу и со вздохом говорил себе: «Зачем не родился я римлянином?» Несколько часов пробыл я там в восхищенном созерцании. Я вернулся рассеянный и задумчивый, и мечты мои не были благоприятны для г-жи де Ларнаж. Она позаботилась предостеречь меня от девушек в Монпелье, но не от Гардского моста. Всего предвидеть невозможно.

В Ниме я осматривал арену цирка{154}. Это сооружение гораздо более величественное, чем Гардский мост, произвело на меня меньше впечатления, потому ли, что восхищения оказались исчерпанными при виде первого предмета, или потому, что арена расположена среди города и это менее способно возбудить восторг. Обширный и великолепный цирк окружен дрянными домишками, на самой арене построены другие домишки, еще более жалкие, и все в целом вызывает противоречивое и смутное чувство, в котором удовольствие и удивление заглушаются сожалением и негодованьем. Позже я видел цирк в Вероне{155}, несравненно меньших размеров и не такой красивый, как в Ниме, – но его охраняют и содержат по возможности в порядке и чистоте, и поэтому он произвел на меня более сильное и приятное впечатление. Французы ни о чем не заботятся и не уважают никаких памятников. Они принимаются за все с величайшей горячностью, но ничего не умеют ни окончить, ни сохранить.

Я до такой степени изменился, и сластолюбие, которому я дал волю, во мне до такой степени разгоралось, что однажды я остановился в «Пон-де-Люнеле» только для того, чтобы хорошо поесть в тамошнем обществе. Этот трактир, самый прославленный в Европе, вполне заслуживает своей репутации. Владельцы сумели извлечь все выгоды из его счастливого местоположения, чтобы постоянно иметь обильную и изысканную провизию. В самом деле, любопытно было найти в доме, уединенном и затерянном вдали от города, стол, снабженный всевозможной морской и речной рыбой, превосходной дичью, тонкими винами, при тщательной и заботливой сервировке, какую можно встретить только в домах богатых и знатных, – и все это за тридцать пять су! Но «Пон-де-Люнель» не мог долго просуществовать на широкую ногу и, стремясь поддержать свою репутацию, в конце концов навсегда ее потерял.

В дороге я забыл про свою болезнь и вспомнил о ней только по приезде в Монпелье. Нервность моя совсем прошла, но другие недуги остались, и хотя привычка сделала

меня менее чувствительным к ним, их было достаточно для того, чтобы всякий, неожиданно подвергшийся им, счел себя близким к смерти. На самом деле болезни мои были не столь мучительны, сколь страшны, и заставляли страдать больше дух, чем тело, которому они, казалось, предвещали разрушение. Отвлеченный сильными страстями, я не думал о своем состоянии; но так как болезни мои были вовсе не мнимые, я их снова почувствовал, как только остыл. Поэтому я стал серьезно думать о советах г-жи де Ларнаж и о цели своего путешествия. Я обратился к самым знаменитым врачам, особенно к Физу, и даже, от избытка осторожности, поселился у одного врача на полном пансионе. Это был ирландец по имени Фиц-Морис, у которого на пансионе было довольно много студентов-медиков, и для больного это было особенно удобно; Фиц-Морис брал за стол умеренную плату, а за лечение со своих пансионеров не брал ничего. Он взялся следить за моим здоровьем и за выполнением предписаний Физа. Он хорошо справлялся со своими обязанностями в отношении диеты, – несварением желудка в его пансионе не страдал никто; я не отличался особенной чувствительностью к подобного рода лишениям, но так как сравненье навязывалось само собой, то иной раз не мог в глубине души не признать, что де Ториньян был лучшим поставщиком, чем Фиц-Морис. Но с голоду там все же не умирали, а вся эта молодежь была очень веселой, и новый образ жизни был мне действительно полезен и не давал снова погрузиться в апатию. По утрам я глотал то лекарства, то какие-то воды – кажется, Вальские – и писал письма к г-же де Ларнаж: наша переписка шла своим чередом, и Руссо получал письма для передачи своему другу Деддингу. В полдень я совершал прогулку в Канург с кем-нибудь из моих молодых сотрапезников, которые были отличные ребята; потом все собирались и шли обедать. После обеда большинство из нас было до вечера занято важным делом: мы отправлялись за город сыграть две-три партии в шары. Я не играл, потому что у меня не было для этого ни силы, ни ловкости, но держал пари и поэтому с интересом следил за игроками и шарами, катившимися по неровной и каменистой дороге; это было приятным и очень полезным для моего здоровья моционом, как раз по мне. Закусывали в загородном кабачке. Нет надобности говорить о том, что пирушки эти были веселы, но должен прибавить, что они были пристойны, несмотря на миловидность служанок. Г-н Фиц-Морис, хорошо игравший в шары, был нашим предводителем, и могу сказать, что, несмотря на дурную репутацию студентов, я находил у этой молодежи больше нравственности и порядочности, чем у многих зрелых людей. Они были более шумливы, чем беспутны, более веселы, чем разнузданны, а я так быстро привыкаю к любому образу жизни, если он не требует от меня принуждения, что желал только продолжения такой жизни. Среди студентов было несколько ирландцев, у которых я из предосторожности старался перенять несколько английских слов перед поездкой в Сент-Андеоль, так как время отъезда приближалось. Г-жа де Ларнаж торопила меня в каждом письме, и я готовился ей повиноваться. Было ясно, что доктора, ничего не понимая в моей болезни, считали меня притворщиком и обращались со мной соответствующим образом, пичкая псевдохинином, водами и сывороткой. В противоположность богословам, врачи и философы признают истиной лишь то, что они могут объяснить, и считают свою способность понимания мерилом возможного. Эти господа никак не могли определить моей болезни, – значит, я не был болен: как можно предположить, что доктора не все понимают? Я видел, что они стараются только потешить меня и вытянуть мои деньги; рассудив, что их заместительница в Сент-Андеоле сделает это не хуже, но более приятным способом, я решил отдать ей предпочтение и с этим мудрым намерением покинул Монпелье.

Я уехал в конце ноября, после полутора– или двухмесячного пребывания в этом городе, где оставил дюжину луидоров без всякой пользы как для своего здоровья, так и для образования, если не считать начатого мною под руководством Фиц-Мориса курса анатомии; но мне пришлось отказаться от занятий, – я не в силах был вынести ужасного зловония вскрываемых трупов.

В глубине души недовольный принятым решением, я размышлял о нем, подвигаясь к Пон-Сент-Эспри, находящемуся на дороге как в Сент-Андеоль, так и в Шамбери. Воспоминания о маменьке и ее письма, хотя и более редкие, чем письма г-жи де Ларнаж, пробудили в моем сердце угрызения совести, которые я во время первого путешествия подавил. На обратном пути эти воспоминания стали еще живее и, перевесив жажду наслаждения, заставили меня внять голосу рассудка. Прежде всего могло случиться, что я сыграю теперь роль менее удачно, чем в первый раз. Достаточно мне было встретить в Сент-Андеоле хоть одного человека, побывавшего в Англии или знающего англичан, знающего их язык, и я был бы разоблачен. Семья г-жи де Ларнаж могла оказаться дурно расположенной ко мне и обойтись со мной не особенно учтиво. Да и дочь ее, о которой я против воли думал больше, чем нужно, беспокоила меня: я боялся влюбиться в нее – и был уже наполовину влюблен из-за этого страха. Неужели я еду для того, чтобы в отплату за доброе отношение матери обольстить ее дочь, завязать отвратительную интригу, внести в семью раздор, бесчестие, скандал и ад? Эта мысль привела меня в ужас, я твердо решил бороться с собой и победить себя, в случае если б моя несчастная склонность обнаружилась. Но зачем ввергать себя в эту борьбу? Что за жалкое положение – жить с матерью, которой я уже пресыщен, и пылать страстью к дочери, не смея открыть ей своего сердца! Что за нужда стремиться к подобному положению, идти навстречу несчастий, обид, угрызений совести, из-за удовольствий, самую большую прелесть которых я уже испробовал? Несомненно, прихоть моя уже потеряла первый свой пыл; вкус к наслаждению еще остался, но страсти уже больше не было. К этому еще примешивались мысли о моем положении, о моих обязанностях, о доброй, великодушной маменьке: уже обремененная долгами, она делала для меня безумные траты, разорялась ради меня, а я так недостойно ее обманываю. Последний упрек был настолько сильным, что решил дело. Приближаясь к Пон-Сент-Эспри, я решил не останавливаться в Сент-Андеоле и ехать дальше. Я мужественно выполнил свое решенье, – хотя, признаюсь, не без вздохов, но с внутренним удовлетворением, которое испытывал первый раз в жизни, и говорил себе: «Я заслуживаю своего собственного уважения, долг я предпочел удовольствию. Вот первое, чем я действительно обязан науке: она приучила меня размышлять и сравнивать». После того как я недавно усвоил себе такие чистые принципы, после того как проникся правилами мудрости и добродетели, которым следовал с такою гордостью, мне стало стыдно быть непоследовательным по отношению к самому себе, так скоро и так явно забыв собственные правила, и этот стыд одержал верх над чувственностью. Может быть, в этом решении гордость играла такую же роль, как и добродетель; но если подобная гордость не есть сама добродетель, она так похожа на нее в своих проявлениях, что простительно ошибиться.

Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они возвышают душу и предрасполагают ее к еще лучшим делам; такова человеческая слабость, что приходится включать в число добрых дел и воздержание от зла, которое желаешь совершить. Как только я принял свое решение, я сделался совсем другим человеком, – вернее, снова стал каким был до того, как любовное опьянение изменило меня. Полный самых лучших чувств и желаний, я продолжал свой путь в благом намерении искупить свою вину, думая только о том, как отныне согласовать свое поведение с законами добродетели, посвятив себя без остатка лучшей из матерей, сохраняя ей верность, отвечающую моей привязанности к ней, и не повинуясь другой любви, кроме любви к своим обязанностям. Увы! Искреннее мое обращение к добру, казалось, готовило мне иной жребий, но судьба моя была предначертана и уже начала осуществляться; и когда сердце мое, полное любви ко всему доброму и чистому, стремилось лишь к невинной и счастливой жизни, я уже вплотную приблизился к тому зловещему моменту, за которым должна была потянуться длинная цепь моих бедствий.

Желание поскорее доехать заставило меня передвигаться как можно быстрее. Из баланса я сообщил маменьке о дне и часе своего прибытия. Выиграв сверх расчета полдня, я

нарочно на это время остановился в Шапарийяне, чтобы приехать точно в назначенный срок. Я хотел вкусить во всей сладости счастье снова увидеть маменьку. Я предпочел немного отсрочить его, ради удовольствия видеть, что меня ждут. Эта предосторожность всегда мне удавалась. Я привык к тому, что приезды мои всегда ознаменовывались своего рода торжеством; на этот раз я ждал такой же трогательной встречи и хотел подготовить ее.

Я приехал точно в назначенный час. Уже издали я всматривался, не увижу ли маменьку на дороге; по мере приближения сердце мое билось все сильнее и сильнее. Прихожу запыхавшись, потому что оставил свой экипаж в городе, и никого не вижу – ни во дворе, ни в дверях, ни у окна. Я начинаю волноваться, опасаюсь какого-нибудь несчастья. Вхожу: все спокойно, работники завтракают на кухне, никаких приготовлений. Служанка как будто удивлена моим появлением; она не знала, что я должен был приехать. Подымаюсь наверх, вижу наконец ее, свою милую маменьку, так чисто, так нежно, так горячо любимую. Вбегаю, бросаюсь к ее ногам. «Ах, вот и ты, мой мальчик, – говорит она, обнимая меня. – Хорошо съездил? Как твое здоровье?» Этот прием немного смутил меня. Я спросил, получила ли она мое письмо. Она ответила: «Да». – «А я думал, нет», – сказал я, и объяснение на этом кончилось. С ней был молодой человек. Я знал его, потому что видел один раз у нас в доме перед отъездом; но сейчас он как будто здесь обосновался. Так оно и было. Короче говоря, мое место оказалось занятым.

Этот молодой человек был родом из кантона Во. Отец его, по фамилии Винценрид, был привратником или так называемым капитаном Шильонского замка{156}. Сын г-на капитана был парикмахер-подмастерье; бродя по свету в этом звании, он явился к г-же де Варане, которая приняла его так же хорошо, как принимала всех проезжих, особенно из ее родной провинции. Это был высокий бесцветный блондин, довольно статный, с плоским лицом и таким же умом; он говорил, как красавец Леандр{157}, рассказывая с интонациями и приемами, свойственными людям его ремесла, длинную историю своих любовных успехов, уверял, что называет только половину маркиз, с которыми был в связи, и утверждал, что не причесал ни одной хорошенькой женщины без того, чтобы не украсить рогами ее мужа. Пустой, глупый, невежественный, наглый, – а впрочем, прекраснейший человек на свете. Вот каким был тот, кто заместил меня во время отъезда и был предложен мне в компаньоны по возвращении.

О, если только души, освобожденные от своих земных уз, еще видят из лона вечного света то, что творится у смертных, – прости, дорогая и чтимая мною тень, что я имею не больше снисхождения к твоим ошибкам, чем к своим собственным, и одинаково разоблачаю перед глазами читателей и те и другие! Я должен, я хочу быть таким же правдивым по отношению к тебе, как и к самому себе: при этом ты потеряешь гораздо меньше меня. Твой любезный и кроткий нрав, неисчерпаемая доброта твоего сердца, твоя искренность и все твои превосходные добродетели – сколько искупят они слабостей, если можно назвать так заблуждения одного лишь рассудка! У тебя были ошибки, но не пороки, твои поступки заслуживали порицания, но твое сердце всегда оставалось чистым! Пусть положат на весы добро и зло и рассудят по справедливости: найдется ли другая женщина, чья жизнь была бы вот так же выставлена напоказ и которая посмела бы равняться с тобой.

Пришелец проявлял большое прилежание, усердие, точность при исполнении мелких поручений, которых было всегда очень много; он взял на себя роль надсмотрщика над рабочими. В противоположность мне, он был очень шумлив, его было видно, и в особенности слышно, сразу и на пашне, и на сенокосе, и в лесу, и в конюшне, и на птичьем дворе. Не любил он только сада, потому что работа там была слишком тихая, обходившаяся без шума. Самым большим удовольствием для него было нагружать и возить, пилить или колоть дрова; его всегда можно было видеть с топором или заступом в руках; вечно было слышно, как он всюду бегает, стучит, орет во все горло. Не знаю, за скольких человек он работал, но шумел

за десятерых и даже за целую дюжину. Вся эта сумятица произвела внушительное впечатленье на мою бедную маменьку: она решила, что этот молодой человек – настоящий клад для ее хозяйства. Желая привязать его к себе, она пустила в ход все подходящие, по ее мнению, средства, не забыв и того, на которое более всего рассчитывала.

Уже известны мое сердце, мои чувства, самые постоянные, самые искренние – в особенности те, что заставили меня вернуться к ней. Какое внезапное и полное потрясение всего моего существа! Поставьте себя на мое место, чтобы представить себе это. В одно мгновенье для меня навсегда исчезло счастливое будущее, которое я себе рисовал. Все пленительные мечты, которые я нежно лелеял, погибли, и я, с детства не умевший отделять свое существование от ее жизни, в первый раз увидел себя одиноким. Эта минута была ужасна, дни, за ней последовавшие, – беспросветны. Я был еще молод, но сладкое чувство радости и надежды, оживляющее юность, навсегда покинуло меня. С тех пор существо чувствующее – наполовину умерло. Я видел перед собой только печальные остатки бессмысленной жизни, и если образ счастья еще волновал иногда мои желанья, – это счастье было уже не тем, какое мне свойственно, и я чувствовал, что, достигнув его, не буду действительно счастлив.

Я был так глуп и так доверчив, что бесцеремонный тон пришельца объяснял легкостью маменькиного характера, приближавшей к ней всех, и никогда бы не заподозрил истинной причины, если б она сама не сказала мне о ней. Но маменька поспешила сделать мне это признание с откровенностью, которая довела бы меня до бешенства, если б только мое сердце было способно испытать к ней подобное чувство. Свой поступок она назвала вполне естественным, упрекнула меня в небрежности по хозяйству и сослалась на мои частые отлучки, – как будто ее темперамент требовал заполнения пустоты.

«Ах, маменька, – сказал я ей со стесненным от горя сердцем, – как решаетесь вы так говорить? И это награда за всю мою привязанность! Для того ли вы столько раз спасали мою жизнь, чтобы отнять у меня то, что заставляло меня дорожить ею… Я умру от этого, но вы пожалеете обо мне». Она отвечала мне спокойным тоном, от которого я чуть не сошел с ума, что я еще ребенок, что от таких событий не умирают, что я ничего не потеряю: мы по-прежнему будем добрыми и во всех отношениях близкими друзьями, ее нежная привязанность ко мне не может уменьшиться, и окончится она только вместе с ее жизнью. Одним словом, маменька дала мне понять, что сохранятся все мои права, и я только разделю их с другим, но не лишусь их.

Никогда еще чистота, искренность, сила моих чувств к ней, никогда нежность, честность моей души не ощущались мною полней, чем в эту минуту. Я бросился к ее ногам, я обнял ее колени, проливая потоки слез. «Нет, маменька, – сказал я ей с жаром, – я слишком люблю вас, чтобы унижать вас: обладание вами слишком дорого мне, чтобы я мог разделять его с другим; угрызения совести, сопровождавшие это сближение, когда я его достиг, усилились вместе с моей любовью; нет, я не могу сохранить его той же ценой. Я всегда буду боготворить вас; а вы будьте всегда достойны этого; мне гораздо важней уважать вас, чем обладать вами. О маменька, я уступаю вас вам же самой! Все свои наслажденья я приношу в жертву единению наших сердец. Пусть лучше я тысячу раз погибну, чем вкушу их, унижая ту, которую люблю!»

Я исполнил свое решение, проявив при этом выдержку, смею сказать, достойную того чувства, которым оно было мне внушено. С этой минуты я стал смотреть на свою дорогую маменьку не иначе как глазами настоящего сына; и должен заметить, что хотя она втайне не одобряла моего решения, в чем я имел достаточно случаев убедиться, тем не менее никогда не употребляла никаких средств, чтобы заставить меня отказаться от него: ни вкрадчивых речей, ни ласк, ни хитрых уловок, какими женщины умеют пользоваться, не компрометируя себя, и которые редко не достигают цели.

Принужденный искать своего счастья независимо от нее и не будучи в состоянии даже представить его себе, я впал в другую крайность и стал искать его только в ней. Я делал это так усердно, что почти забывал самого себя. Горячее желание видеть ее счастливой какой бы то ни было ценой поглощало все мои чувства; как ни старалась она отделить свое счастье от моего, я считал ее счастье своим вопреки ей.

Таким-то образом вместе с моими злоключениями стали вырастать семена добродетели, посеянные в глубине моей души, взращенные занятиями наукой и ждавшие для своего полного созревания лишь содействия невзгоды. Первым плодом такого душевного бескорыстия явилось изгнание из моего сердца всякого чувства ненависти и ревности к моему заместителю; наоборот, я хотел, и притом вполне искренне, привязаться к этому молодому человеку, образовать его, поработать над его воспитанием, заставить его почувствовать свое счастье, добиться того, чтобы он стал по возможности достойным этого счастья, – словом, сделать для него то же самое, что сделал для меня в подобном случае Анэ. Но между действующими лицами не было сходства. Обладая большей мягкостью и большими знаниями, я не имел ни хладнокровия и твердости Анэ, ни силы его характера, внушавшей к нему уважение, необходимое мне для достижения успеха. В молодом человеке я находил еще меньше тех качеств, какие Анэ нашел во мне: моей покорности, привязанности, признательности, особенно потребности в его заботах и горячего желания извлечь из них пользу. Все это здесь отсутствовало. Тот, кого хотел я развить, видел во мне лишь скучного педанта и болтуна. Наоборот, собой он любовался, считал себя очень нужным человеком в доме, измерял свои мнимые заслуги производимым шумом и считал свои топоры и заступы гораздо более полезными, чем все мои книжонки. С известной точки зрения он был отчасти прав, но, основываясь на этом, принимал такой важный вид, что можно было помереть со смеху. С крестьянами он корчил из себя дворянина-помещика; скоро он стал так же вести себя со мной и, наконец, даже с маменькой. Его фамилия Винценрид стала казаться ему недостаточно благородной, и он переменил ее на де Куртий; под этой фамилией он впоследствии стал известен в Шамбери и в Мориенне, где впоследствии женился.

Наконец эта вельможная особа достигла того, что стала в доме всем, а я ничем. Когда я имел несчастье в чем-нибудь ему не угодить, он бранил не меня, а маменьку, и страх подвергнуть ее грубостям этого человека заставлял меня покоряться всем его желаниям. Каждый раз, как он колол дрова, – а он делал это с необычайной гордостью, – я должен был находиться при нем в качестве праздного зрителя и безмолвного поклонника его удали. Впрочем, парень этот не был совсем дурным от природы: он любил маменьку, так как невозможно было не любить ее, и даже ко мне не питал злобы; и когда, в промежутках между его вспышками, можно было говорить с ним, он выслушивал нас порой довольно смиренно, откровенно признаваясь, что просто глуп; впрочем, после этого он делал новые глупости. Однако ум его был так ограничен, а все его склонности так низменны, что его было очень трудно в чем бы то ни было убедить и почти невозможно находить удовольствие в общении с ним. К обладанию женщиной, полной очарования, он присоединил в виде второго блюда горничную – старую, рыжую, беззубую, отталкивающие услуги которой маменька хоть и с отвращением, но терпеливо выносила. Я обнаружил эту новую связь и был вне себя от негодования; но я обнаружил также и нечто другое, что еще больше взволновало меня и повергло в отчаяние, более глубокое, чем все, что я испытал до тех пор: это было охлаждение ко мне маменьки.

Воздержание, возложенное мною на себя и как будто одобренное ею, – одна из тех вещей, которые никогда не прощаются женщинами, как бы они ни притворялись, – и не столько потому, что оно связано с лишением для них самих, сколько потому, что они видят в нем равнодушие к себе. Возьмите женщину самую рассудительную, самую философски настроенную, наименее чувственную: в ее глазах величайшее преступление мужчины, хотя бы и безразличного для нее, состоит в том, что, имея возможность обладать ею, он отка-

зывается от этого. Видимо, здесь не может быть исключения, если даже такая сильная и искренняя привязанность была поколеблена моим воздержанием, продиктованным только добродетелью, уважением и преданностью. С тех пор я уже не находил в маменьке той сердечности и доверия, которые были для меня всегда самой нежной отрадой. Теперь она изливала передо мной свое сердце только в тех случаях, когда ей приходилось жаловаться на своего нового любимца. Когда же между ними все шло хорошо, она не баловала меня признаниями. В конце концов она мало-помалу устроила свою жизнь так, что я уже больше в ней не участвовал. Мое присутствие еще доставляло ей удовольствие, но уже не было ей необходимо; и если б я не виделся с ней по целым дням, – она не заметила бы этого.

Незаметно я стал одиноким и чужим в том самом доме, где некогда был душой и где жил, так сказать, вдвойне. Мало-помалу я привык отстраняться от всего, что в нем происходило, и от всех живущих в нем; чтобы избежать постоянных терзаний, я запирался со своими книгами или же уходил в леса, где мог дать волю слезам и вздохам. Такая жизнь скоро сделалась мне невыносимой. Я почувствовал, что физическое присутствие любимой женщины, чье сердце отдалилось от меня, растравляет мои страдания и что, перестав ее видеть, я буду меньше чувствовать жестокость разрыва. Я решил покинуть ее дом и сказал ей об этом; она не только не возражала, но даже одобрила мое намерение. У нее была в Гренобле приятельница, г-жа Дейбанс, муж которой был другом де Мабли, главного судьи в Лионе. Г-н Дейбанс предложил мне взять на себя воспитание детей в семействе г-на де Мабли. Я согласился и уехал в Лион, не оставив за собой и почти не почувствовав сам ни малейшего сожаления о разлуке, хотя прежде одна лишь мысль о ней могла повергнуть меня в смертельное горе.

Я обладал примерно теми познаниями, какие необходимы для воспитателя, и считал, что имею также соответствующий талант. Но в течение года, проведенного у де Мабли, у меня было достаточно оснований разувериться в этом. Мягкостью своего характера я вполне подходил бы для этого занятия, если б моя вспыльчивость и бурные ее проявления не явились помехой. Пока все шло гладко, пока я видел успешность своих забот и трудов, я не щадил себя и был кроток, как ангел. Но я становился дьяволом, когда все шло не так. Если ученики не понимали меня, я выходил из себя, а если они упрямились, я готов был убить их; таким способом, конечно, нельзя было сделать их знающими и послушными. У меня было их двое, разных по характеру. Один, лет восьми-девяти, по имени Сент-Мари, был хорош собой, довольно умен, довольно жив, ветрен, шутлив, хитер, но хитрость его была безобидна. Младший, Кондильяк, производил впечатление тупицы, ротозея, существа упрямого, как мул, не способного ничему научиться. Можно представить себе, что мне приходилось нелегко с такими воспитанниками. Быть может, я и достиг бы успеха, если б обладал терпеньем и хладнокровием, но, не отличаясь ни тем, ни другим, я не мог добиться никакого толку, и занятия шли из рук вон плохо. У меня было достаточно настойчивости, но мне не хватало выдержки и благоразумия. Я пускал в ход только три средства, с детьми всегда бесполезные, а часто даже и вредные: чувствительность, логика, гнев. Занимаясь с Сент-Мари, я то умилялся до слез и старался растрогать его самого, как будто он был способен к настоящим сердечным переживаниям, то лез из кожи, чтобы всяческими доводами убедить его, – точно он мог понять меня; замечая у него иногда довольно тонкие суждения, я принимал это за подлинное логическое мышление, тогда как это было просто резонерство. Маленький Кондильяк был еще более трудным учеником, так как ничего не понимал, ничего не отвечал, оставался ко всему равнодушным, был невероятно упрям и больше всего торжествовал надо мной в тех случаях, когда ему удавалось привести меня в бешенство; тут уж он превращался в мудреца, а я становился ребенком. Я видел все свои ошибки, чувствовал их. Я изучал наклонности своих учеников, вникал в них и не думаю, чтобы когда-либо попадался на их уловки. Но к чему служило мне знание зла, если я не мог искоренить его? Вникая во

все, я ничему не мог помешать, ни в чем не достиг успеха и делал как раз то, чего не следовало делать.

Не лучше, чем с успехами моих учеников, обстояло дело и с моими собственными. Я был рекомендован г-же де Мабли г-жой Дейбанс; она просила г-жу де Мабли научить меня хорошим манерам и уменью держать себя в свете. Г-жа де Мабли проявила некоторую заботливость в этом отношении и пожелала, чтобы я научился принимать гостей в ее доме. Но я делал это так неловко, был так конфузлив, так глуп, что она отказалась от своего намерения и оставила меня в покое. Это не помешало мне, по моему обыкновению, влюбиться в нее. Я сделал достаточно для того, чтобы она это заметила, но не посмел объясниться. Она не была расположена делать какие-либо шаги в этом направлении, да и мне скоро наскучили мои вздохи и томные взгляды, так как я понял, что они ни к чему не приведут.

Живя у маменьки, я навсегда освободился от привычки к мелким кражам, потому что все было в моем распоряжении и мне не было нужды красть. К тому же высокие принципы, которые я воспитал в себе, не могли не предохранить меня от подобных низостей, и с тех пор я обычно не совершал их. Но происходило это не столько благодаря уменью побеждать соблазны, сколько благодаря тому, что был устранен повод для них, и мне грозила бы большая опасность не удержаться от кражи, как в детстве, если б я подвергался искушениям. В этом я убедился, живя у г-на де Мабли. Окруженный дорогими безделушками, я даже не обращал на них внимания, хотя унести их было бы нетрудно. Я прельстился только очень хорошим белым вином из Арбуа: несколько стаканов этого вина, выпитых мною за обедом, разлакомили меня. Оно было немного мутно. Я считал, что хорошо умею очищать вино, похвастался этим, и мне его вверили. Я произвел осаждение и испортил вино, но только на вид, а на вкус оно осталось по-прежнему хорошим; этот случай дал мне возможность время от времени доставать несколько бутылок вина и потягивать его в свое удовольствие у себя в комнате. К несчастью, я не могу пить вино, ничем его не заедая. Как сделать, чтобы иметь хлеб? Невозможно было оставлять его про запас; покупать хлеб, посылая лакеев, значило бы выдать себя и к тому же нанести чуть не оскорбление хозяину дома. Покупать сам я никогда бы не решился. Чтобы важный господин, при шпаге, пошел к булочнику купить кусок хлеба – как это можно! Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса; когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши{158}», и я стал покупать бриоши. Но сколько сложностей, чтобы устроить это! Выйдя один из дому с этим намерением, я иногда обегал весь город, проходя по крайней мере мимо тридцати кондитерских, прежде чем зайти в какую-нибудь из них. Надо было, чтоб в ней оказался только один булочник и чтоб его физиономия понравилась мне, – только в этом случае осмеливался я переступить порог. Но зато, когда я получал драгоценную бриошь и, запершись у себя в комнате, вытаскивал из глубины шкафа бутылку вина, как славно распивал я ее понемногу наедине, читая страницу-другую романа! Чтение за едой было всегда моим любимым занятием; при отсутствии собеседника – это замена общества, которого мне недостает. Я глотаю попеременно то кусок, то страницу, словно книга моя обедает вместе со мной.

Я никогда не был ни распутником, ни кутилой и ни разу в жизни не был пьян; поэтому мои маленькие кражи не были очень заметны. Однако они открылись: меня выдали бутылки. Мне не подали виду, но отстранили меня от погреба. Г-н де Мабли проявил в этом деле порядочность и такт. Это был очень любезный человек, отличавшийся, вопреки суровой, как его профессия, внешности, подлинной мягкостью характера и сердечной добротой. Он был беспристрастен, справедлив и, что трудно было ожидать от судейского, даже очень человеколюбив. Чувствуя его снисходительность, я привязался к нему, и это заставило меня прожить в его доме дольше, чем я предполагал. Но наконец, почувствовав отвращение к занятиям, к которым я оказался не способен, а также к создавшемуся очень неловкому положению, не имевшему для меня ничего приятного, после опытов целого года, в течение которого я не

жалел усилий, – я решил покинуть своих учеников, твердо убежденный, что мне никогда не удастся воспитать их как следует. Г-н де Мабли понимал это так же хорошо, как и я. Однако он, кажется, никогда не решился бы сам отказать мне, если бы я не освободил его от этого труда, – такой чрезмерной снисходительности я в подобном случае, конечно, не одобряю.

Особенно невыносимым казалось мне мое положение из-за постоянного сравнения его с тем, которое я покинул: я вспоминал о милых Шарметтах, о моем саде, деревьях, фонтане, огороде и особенно о той, для которой я был рожден, которая вдыхала душу во все это. Когда я вспоминал ее, вспоминал наши радости, нашу невинную жизнь, сердце мое сжималось и удушье лишало меня сил что-нибудь делать. Сотни раз являлось у меня неодолимое искушение уйти сейчас же, пешком, и снова вернуться к ней, только бы увидеть ее еще хоть раз, – и я рад был бы умереть в то же мгновенье. Наконец я уже не мог противиться столь нежным воспоминаниям, призывавшим меня к ней во что бы то ни стало. Я говорил себе, что не был достаточно терпелив, достаточно снисходителен, достаточно ласков, что я могу еще жить счастливо, в самой нежной дружбе, предавшись ей более, чем до сих пор. И вот я строю самые чудесные планы в мире и горю от нетерпения выполнить их.

Бросаю все, от всего отказываюсь, еду, лечу, приезжаю с теми же восторгами первой молодости и – вот я у ее ног. Я умер бы от радости, если бы в ее встрече, в ее ласках, в ее сердце нашел хоть четверть того, что находил когда-то и что еще принес с собой.

Страшная призрачность человеческих отношений! Она приняла меня как всегда, с сердечной добротой, которая могла исчезнуть только вместе с нею; но я приехал, надеясь найти прошлое, а его уже не было, и оно не могло возродиться. Я не пробыл с ней и получаса, как почувствовал, что мое прежнее счастье умерло навсегда. Я очутился в том самом отчаянном положении, от которого принужден был бежать, и притом не могу сказать, чтобы тут была чья-нибудь вина, потому что Куртий, в сущности, вовсе не был дурным человеком и, увидев меня, кажется, скорей обрадовался, чем огорчился. Но как примириться с тем, что я лишний возле той, для которой когда-то был всем и которая не могла перестать быть всем для меня? Как жить чужим в доме, где я рос как родной? Вид предметов – свидетелей моего былого счастья – делал сравнение еще более мучительным. Я менее страдал бы в другой обстановке. Но постоянные воспоминания усиливали горечь утраты. Томимый бесплодными сожаленьями, предавшись самой черной меланхолии, я снова решил оставаться одиноким все время, кроме часов, отведенных для обеда и ужина. Запершись с моими книгами, я принялся искать в них забвения и полезных знаний; и, чувствуя угрожающую опасность, которой я когда-то так боялся, я снова стал мучиться, стараясь в самом себе найти способы помочь маменьке, когда она останется без средств. Я поставил хозяйство в ее доме так, чтобы оно шло, не ухудшаясь; но после меня все изменилось. Ее управляющий был расточитель. Он хотел блистать, иметь хороших лошадей, хорошие экипажи, любил показываться во всей пышности перед соседями, постоянно возился с предприятиями, в которых ничего не смыслил. Пенсия проедалась вперед, деньги за аренду тоже, плата за дом задерживалась, а долги росли своим чередом. Я предвидел, что на пенсию наложат арест, а может быть, и вовсе ее отменят. Словом, я не ожидал ничего, кроме разорения и бедствий, и минута эта казалась мне такой близкой, что я заранее переживал все ее ужасы.

Мой милый книжный шкаф был мне единственным развлеченьем. Стараясь найти в нем исцеление от душевных страданий, я искал в нем также и лекарства от ожидаемых материальных бедствий и, вернувшись к прежним своим мыслям, снова начал строить воздушные замки, намереваясь избавить бедную маменьку от ужасной нищеты, в которую она, я видел, готова была впасть. Я чувствовал, что недостаточно учен, и считал себя недостаточно одаренным, чтобы блистать в литературе и достигнуть богатства на этом поприще. Новая мысль, пришедшая мне в голову, внушила мне уверенность в себе, которую мои посредственные способности не могли мне дать. Прекратив преподавание музыки, я не перестал

заниматься ею – напротив, я так хорошо изучил теорию, что по крайней мере в этой области мог считать себя ученым. Размышляя о той трудности, с какой я научился разбирать ноты и которую еще испытывал, когда пел с листа, я пришел к мысли, что это зависит, быть может, от самой постановки дела в такой же мере, как и от меня, особенно если учесть, что учиться музыке – занятие вообще не легкое ни для кого. Рассматривая нотные знаки, я часто находил, что они выдуманы неудачно. У меня уже давно возникла мысль обозначать музыкальную шкалу цифрами, чтобы избежать необходимости чертить линии и значки для записи любой песенки. Я не знал только, как передавать такт октавы и длительность звука. Эта мысль снова пришла мне в голову: вернувшись к ней, я увидел, что трудности не являются непреодолимыми. Мои мечты осуществились, и я добился того, что стал записывать музыкальные произведения цифрами с величайшей точностью и, могу сказать, с величайшей простотой. С этого момента я поверил, что судьба моя устроена, и, в страстном желании разделить ее с той, кому был всем обязан, только и мечтал о поездке в Париж, не сомневаясь, что, представив свой проект в Академию, я произведу революцию в музыке. Я привез немного денег из Лиона, а теперь продал свои книги. В две недели мое решение было принято и приведено в исполнение. И вот, полный блестящих идей, внушивших мне этот план, всегда верный самому себе, я покинул Савойю со своей музыкальной системой, как в былые дни покидал Турин с Героновым фонтаном.

Таковы были заблуждения и ошибки моей юности. Я рассказал ее историю с правдивостью, удовлетворяющей мое сердце. Возможно, что впоследствии я украсил свой зрелый возраст некоторыми добродетелями; я желал бы рассказать о них так же откровенно. Но вынужден остановиться. Время может приподнять много покровов. Если память обо мне дойдет до потомства, может быть, оно когда-нибудь узнает, что я должен был сказать. Тогда поймут, почему я умолкаю.

Часть вторая

Книга седьмая (1742–1748)

После двух лет терпеливого молчания я, несмотря на свое решенье, снова берусь за перо. Читатель, отложите свое суждение о причинах, вынуждающих меня к этому: вы сможете судить о них, только прочитав то, что я напишу.

Я показал, как протекла моя молодость, – тихо, ровно и довольно приятно, без больших потрясений и больших успехов. Это посредственное существование было в значительной степени следствием моего характера – пылкого, но слабого, более склонного к унынию, чем к предприимчивости, порывами переходящего от безделья к какому-нибудь занятию и охотно возвращающегося к праздности после первого же утомления, – характера, чуждого больших добродетелей и еще более чуждого больших пороков, постоянно возвращавшего меня к жизни беззаботной и спокойной, для которой я чувствовал себя рожденным, и никогда не позволившего мне устремиться к чему-нибудь великому как в добре, так и в зле.

Какую несходную с прежней картину предстоит мне вскоре развернуть! Судьба, тридцать лет покровительствовавшая моим склонностям, в течение следующих тридцати шла им наперекор; читатель увидит, как из этого постоянного противоречия между моим положением и наклонностями возникли огромные ошибки, неслыханные несчастья и все добродетели (кроме силы), какие только могут возвысить угнетенного.

Вся первая часть была написана по памяти; я, возможно, сделал там много ошибок. Вынужденный писать по памяти и вторую часть, я, вероятно, сделаю их гораздо больше. Милые воспоминания лучших лет моей жизни, прошедших в спокойствии и невинности, оставили во мне множество восхитительных впечатлений, которые я люблю беспрестанно вызывать. Скоро увидят, как отличны от них впечатления, связанные с остальной моей жизнью. Вызывать их – значит возобновлять их горечь. Далекий от желания усилить этими печальными воспоминаниями горечь настоящего, я отстраняю их от себя, насколько могу; и часто мне удается это в такой степени, что я уже не в силах вызвать их в случае нужды. Способность забывать прошлые несчастья есть посланное мне небом утешение в тех несчастьях, которые судьба готовила мне впереди. Моя память, воскрешающая передо мной одни только приятные предметы, – счастливый контраст моему пугливому воображению, заставляющему меня предвидеть в будущем одно только горе.

Все бумаги, которые я собрал, чтобы пополнить пробелы памяти и руководствоваться ими в этом начинании, перешли в другие руки и уже не вернутся ко мне.

У меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать, – это цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них – последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием. Я легко забываю свои несчастия, но не могу забыть свои ошибки и еще меньше – свои добрые чувства. Память о них слишком мне дорога и никогда не исчезнет из моего сердца. Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа, – но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить; а в этом-то главным образом все дело. Непосредственная задача моей исповеди – дать точное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах моей жизни. Дать историю своей души обещал я, и, чтобы верно написать ее, мне не нужно документов, – мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в самого себя.

Однако есть, к счастью, период в шесть или семь лет, для которого я располагаю надежным справочником в виде собрания копий с писем, подлинники которых находятся у дю Пейру. Это собрание, кончающееся 1760 годом, охватывает все время моего пребывания в Эрмитаже и решительной ссоры с моими так называемыми друзьями, – памятную эпоху в моей жизни, ставшую источником всех других моих несчастий. Что касается подлинных писем более позднего времени, очень немногочисленных, которые, может быть, найдутся у меня, то, вместо того чтобы переписывать их в виде продолжения собрания, слишком объемистого, чтобы я мог надеяться утаить его от бдительности моих аргусов{159}, – я буду включать их прямо в эту работу всякий раз, как мне покажется, что они что-нибудь разъясняют, – будь то в мою пользу или мне во вред: ведь мне не приходится опасаться, что читатель как-нибудь забудет, что я пишу свою исповедь, а не апологию; но он не должен также ожидать, что я стану замалчивать правду, если она говорит в мою пользу.

Впрочем, у второй части общее с первой только эта правдивость, а преимущество перед ней – только важность предмета. Во всех же остальных отношениях она может быть только ниже ее. Я писал первую часть с большим удовольствием, с благожелательством, в удобной обстановке – в Утоне или в замке Три;{160} каждое воспоминание, которое мне приходилось воскрешать, было новой радостью. Я беспрестанно возвращался к нему с новым удовольствием и спокойно мог совершенствовать свои описания до тех пор, пока не оставался доволен ими. Теперь моя память и мой ум ослабели, я не способен почти ни к какой работе; этой я занимаюсь только через силу, и сердце мое сжимается от тоски. На память приходят мне теперь одни лишь несчастья, предательства, вероломства, одни лишь горькие и терзающие воспоминания. Я отдал бы все на свете, если б можно было похоронить в ночи времен то, о чем мне придется говорить; и, вынужденный говорить против воли, я должен еще скрываться, хитрить, стараться притворствовать, унижаться до поступков, к которым менее всего пригоден с самого рождения. Потолки надо мной имеют глаза, стены вокруг меня имеют уши; окруженный шпионами и соглядатаями, враждебными и бдительными, в тревоге и беспокойстве бросаю я поспешно на бумагу несколько отрывочных слов, которые едва имею время прочесть, не то что исправить. Я знаю, что вокруг меня непрерывно возводят огромные препятствия и, невзирая на то, всегда боятся, что правда проберется в какую-нибудь щель. Что мне сделать, чтобы помочь ей пробиться? Я делаю попытку без особой надежды на успех. Пусть представят себе, можно ли из всего этого составить приятные картины и придать им привлекательный колорит. Поэтому я предупреждаю тех, кто пожелает прочесть мою исповедь, что избавить их от скуки сможет только желание до конца познать человека да искренняя любовь к справедливости и истине.

В первой части я остановился на том, как, охваченный сожалением, собирался в Париж, оставляя свое сердце в Шарметтах и воздвигая там свой последний воздушный замок: я замышлял когда-нибудь принести туда и сложить к ногам маменьки, вновь ставшей той, что была, сокровища, которые я добуду, – ведь я рассчитывал на свою музыкальную систему, как на верное богатство.

Я остановился на некоторое время в Лионе, чтобы повидать своих знакомых, заручиться кое-какими рекомендательными письмами в Париж и продать свои книги по геометрии, которые захватил с собой. Всюду мне был оказан хороший прием. Г-н и г-жа де Мабли выразили удовольствие по поводу моего приезда и несколько раз звали меня к обеду. Я познакомился у них с аббатом де Мабли{161}, как ранее с аббатом де Кондильяком{162}, тоже приехавшим навестить своего брата{163}. Аббат де Мабли дал мне письма в Париж, между прочим письмо к де Фонтенелю и другое – к графу де Кейлюсу{164}. Знакомство с тем и другим было мне очень приятно, особенно с первым: до самой своей смерти он не переставал про-

являть ко мне приязнь и в разговорах наедине давал мне советы, которыми мне следовало бы воспользоваться лучше.

Я опять встретился с г-ном Бордом{165}. Я уже давно был знаком с ним, и он с великодушной, самой искренней готовностью зачастую оказывал мне поддержку. На этот раз я встретил с его стороны такое же отношение. Он помог мне продать книги, и он же дал мне от себя и достал от других хорошие рекомендации в Париж. Я опять встретил г-на интенданта, знакомством с которым был обязан Борду и которому я в свою очередь обязан знакомством с герцогом де Ришелье{166}, в то время находившимся в Лионе проездом. Г-н Паллю представил меня ему. Герцог ласково принял меня и велел прийти к нему в Париже, что я и делал много раз; однако это высокое знакомство, о котором мне придется часто говорить впоследствии, не принесло мне никакой пользы.

Я снова встретил музыканта Давида, выручившего меня из отчаянного положения во время одного из прежних моих путешествий. Он одолжил или подарил мне шапку и чулки; я так и не отдал их ему, да он и не требовал этого, хотя мы потом часто встречались. Впрочем, я сделал ему впоследствии подарок приблизительно такой же ценности. Я обязан был бы сделать гораздо больше, но речь идет не о том, что мне следовало сделать, а о том, что я сделал, а это, к несчастью, не одно и то же.

Я снова встретил благородного и щедрого Перришона и испытал на себе его обычное великодушие; он сделал мне такой же подарок, как раньше милому Бернару{167}, заплатив за мое место в дилижансе. Я снова встретился с хирургом Паризо, лучшим и самым благодетельным из людей; встретился и с его милой Годфруа, которую он содержал уже десять лет; почти все ее достоинства заключались в мягком характере и сердечной доброте, но ее нельзя было ни видеть без участия, ни оставить без умиления; дело в том, что она была в последней стадии чахотки и вскоре умерла. Ничто не показывает лучше подлинных склонностей человека, чем его привязанности[20]. Достаточно было видеть кроткую Годфруа, чтобы узнать доброго Паризо.

Я очень обязан всем этим благородным людям. Впоследствии я был невнимателен к ним всем: не из неблагодарности, конечно, а из-за той непреодолимой лени, которая нередко давала повод обвинять меня в неблагодарности. Никогда память об их услугах не покидала моего сердца, но мне легче было бы доказать им свою благодарность, чем выразить ее словами. Аккуратная переписка была мне всегда не по силам: если я откладываю ответ, стыд и трудность исправить ошибку заставляют меня усугублять ее, и я совсем перестаю писать. Вот почему я хранил молчание, и получилось так, будто я их забыл. Паризо и Перришон даже не обратили на это внимания, и их отношение ко мне осталось прежним; но через двадцать лет на примере г-на Борда будет видно, до какой мстительности может довести самолюбие умного человека, когда он считает себя задетым.

Прежде чем покинуть Лион, я должен упомянуть еще об одной милой особе, которую опять увидел там с еще большим удовольствием, чем всегда, и которая оставила в моем сердце самые нежные воспоминанья; это м-ль Сэрр, о которой я говорил уже в первой части;{168} знакомство с ней я возобновил у де Мабли. Во время этого путешествия, имея больше досуга, я видел ее чаще; сердце мое загорелось, и очень жарко. У меня были извест-

[20] Если только он с самого начала не ошибся в выборе или характер той, которую он полюбил, не изменился впоследствии под влиянием особых причин, что само по себе вовсе не невозможно. Если бы это правило не допускало исключений, пришлось бы о Сократе судить по его жене Ксантиппе, а о Дионе по его другу Калиппу{493}, но это было бы самым несправедливым и ложным суждением из всех, когда-либо произнесенных. Впрочем, пусть здесь будет устранена какая-либо оскорбительная мысль о моей жене. Правда, она более ограниченна и легковерна, чем я думал; но ее характер, прямой, превосходный, простодушный, достоин полного моего уважения, и она неизменно будет пользоваться им, покуда я жив. (*Прим. Руссо.*)

ные основания думать, что и она не совсем равнодушна ко мне; но она удостоила меня доверия, а это отняло у меня желание им злоупотребить. У нее не было ничего, у меня – тоже; наше положение было слишком сходно, чтобы мы могли соединиться; а ввиду занимавших меня помыслов, я был очень далек от мысли о женитьбе. Она сообщила мне, что молодой купец по фамилии Женев как будто намеревается жениться на ней. Я видел его у нее раз или два; он показался мне человеком порядочным; его считали таким. Убежденный, что она будет с ним счастлива, я желал, чтобы он на ней женился, что он и сделал впоследствии; и чтобы не мешать их невинной любви, я поторопился уехать, пожелав этой очаровательной особе счастья, – пожелание, осуществившееся на земле – увы! – лишь на очень короткий срок, потому что, как я позже узнал, она умерла через два или три года после свадьбы. Поглощенный всю дорогу своей нежной печалью, я понял и часто понимал с тех пор, вспоминая об этом, что если жертвы, приносимые долгу и добродетели, обходятся недешево, они щедро вознаграждаются сладостными воспоминаниями, остающимися после них в глубине сердца.

Насколько в предшествующий свой приезд я видел Париж с непривлекательной стороны, настолько на этот раз я увидел его с блестящей. Правда, не в отношении моего жилища, потому что по адресу, данному мне г-ном Бордом, я поселился в гостинице Сен-Кентен, на улице Кордье, возле Сорбонны, – на скверной улице, в скверной комнате, в скверной гостинице, в которой, однако, живали достойные люди, как Грессе{169}, Борд, аббаты Мабли и де Кондильяк и некоторые другие. К сожалению, я не застал там ни одного из них. Но я познакомился там с некиим г-ном де Бонфоном, хромым дворянчиком, сутягой, корчившим из себя пуриста, и обязан ему знакомством с г-ном Рогеном, теперь старейшим среди моих друзей, а через него познакомился с философом Дидро{170}, о котором мне придется много говорить впоследствии.

Я приехал в Париж осенью 1741 года с пятнадцатью луидорами в кармане, комедией «Нарцисс» и музыкальным проектом в качестве средств к существованию, – следовательно, не мог откладывать попытку пустить их в оборот. Я поспешил прибегнуть к помощи рекомендательных писем. Молодой человек со сносной наружностью, являющийся в Париж и привлекающий к себе внимание талантами, может быть уверен в хорошем приеме. Такой прием был мне оказан; это доставило мне много приятных минут, но не привело ни к чему серьезному. Из всех лиц, к которым у меня были рекомендательные письма, только трое оказались мне полезны: г-н Дамзен, савойский дворянин, тогда конюший принцессы де Кариньян{171} и, кажется, человек близкий к ней; г-н де Боз – секретарь Академии надписей и хранитель Королевской коллекции медалей, и отец Кастель{172} – иезуит, изобретатель цветного клавесина. Все эти рекомендации, кроме письма к Дамзену, я получил от аббата де Мабли.

Г-н Дамзен поспешил пойти мне навстречу, устроив мне два знакомства: одно с де Гаском, председателем бордоского парламента{173}, прекрасно игравшим на скрипке, другое с аббатом де Леоном, жившим тогда в Сорбонне{174}, молодым человеком из высшей знати, очень любезным; он умер в цветущем возрасте, проблистав короткое время в свете под именем шевалье де Рогана. Тому и другому взбрело в голову учиться композиции. Несколько месяцев я давал им уроки, и это немного поддержало мой иссякавший кошелек.

Аббат де Леон почувствовал ко мне расположение и хотел взять меня в секретари; но он был небогат и мог предложить мне всего-навсего восемьсот франков, от чего я, хоть и с сожалением, отказался, – потому что этих денег не могло мне хватить на квартиру, пищу и все необходимое.

Г-н де Боз отнесся ко мне очень хорошо. Он ценил знания и сам обладал ими; он был немного педант. Г-жа де Боз по возрасту годилась ему в дочери; она была светская женщина и модница. Я обедал у них иногда. Невозможно иметь более неловкий, глупый вид, чем тот,

какой был у меня в ее присутствии. Ее непринужденные манеры смущали меня и делали еще более смешным. Когда она протягивала мне тарелку, я тянулся с вилкой, чтобы скромно взять кусочек того, что она мне предлагала; тогда она отдавала предназначавшуюся мне тарелку лакею и отворачивалась, чтобы я не заметил ее смеха. Она и не подозревала, что в голове этого деревенщины все-таки есть кой-какой ум. Г-н де Боз представил меня своему другу де Реомюру{175}, обедавшему у него по пятницам, в дни заседаний Академии наук{176}. Он рассказал ему о моем проекте и желании представить этот проект на рассмотрение Академии. Де Реомюр взялся устроить это и получил согласие. В назначенный день я был введен и представлен им, и в тот же день, 22 августа 1742 года, я имел честь прочитать в Академии доклад, написанный мною для этого случая. Хотя это знаменитое собрание производило весьма внушительное впечатление, я робел перед ним гораздо меньше, чем в присутствии г-жи де Боз, и удовлетворительно справился и с чтением, и с ответами на вопросы. Доклад был удачен и вызвал комплименты, удивившие меня, но в то же время и польстившие мне, потому что я едва мог представить себе, что кого-либо, не принадлежащего к Академии, признают человеком здравого смысла. В комиссию, которую мне назначили, вошли гг. де Меран, Элло и де Фуши{177} – все трое люди достойные, конечно, но ни один из них не знал музыки настолько, чтобы быть в состоянии судить о моем проекте.

Во время моих собеседований с этими господами я с удивлением убедился, что если у ученых иной раз меньше предрассудков, чем у других людей, зато они еще крепче держатся за те, которые у них есть. Как ни слабы, как ни ошибочны были в большинстве своем их возраженья, я ни разу не добился, чтобы мои неоспоримые доводы были ими поняты и удовлетворили их, хотя, надо признаться, что я отвечал обычно робко и в выражениях неудачных. Я не переставал изумляться, с какой легкостью они при помощи нескольких звонких фраз опровергали меня, ничего не поняв. Они раскопали где-то, что один монах, отец Суэтти, выдумал когда-то цифровую гамму. Этого было достаточно, чтобы утверждать, что моя система не нова. Пусть бы так: я, правда, никогда не слыхал об отце Суэтти, и его способ записывания семи нот церковного пения без всякой мысли об октавах не мог идти ни в какое сравнение с моим простым и удобным изобретением, позволявшим без труда записать цифрами любое музыкальное произведение, обозначив ключи, паузы, октавы, такты, темпы и долготу нот, – предметы, о которых Суэтти даже не думал, – тем не менее, если говорить об элементарном выражении семи нот, надо признать, что он был первым его изобретателем. Однако они приписали этому несложному изобретению большее значение, чем оно имело, а кроме того, как только принялись толковать об основах системы, понесли всякий вздор. Самое большое преимущество моей системы заключалось в отмене транспонировки{178} и ключей, так что одна и та же пьеса оказывалась записанной и транспонированной, по желанию, в любом тоне при помощи одной только замены буквы в начале мелодии. Эти господа слыхали от парижских нотных крыс, что способ исполнения при помощи транспонировки никуда не годится. Это послужило им отправной точкой к тому, чтобы превратить в неопровержимое возраженье против моей системы самое важное ее преимущество; и они решили, что моя запись хороша для вокала и негодна для инструментальной музыки, – вместо того чтобы решить, по справедливости, что она хороша для вокальной и еще лучше – для инструментальной. По их докладу Академия выдала мне удостоверение, полное самых лестных комплиментов, среди которых можно было разобрать, что по существу она не признает мою систему ни новой, ни полезной. Я не счел себя обязанным украсить подобным документом работу, озаглавленную «Диссертация о современной музыке»{179}, при помощи которой я апеллировал к публике.

Этот случай дал мне возможность убедиться, насколько, даже при ограниченном уме, глубокое знание хотя бы одного предмета важней для правильного суждения о нем, чем

самая широкая осведомленность в науках, без специального изучения той, о которой идет речь. Единственное веское возражение против моей системы было сделано Рамо{180}. Не успел я объяснить ее, как он увидел ее слабую сторону. «Ваши знаки, – сказал он мне, – очень хороши тем, что просто и ясно выражают долготы, отчетливо отмечают интервалы и всегда показывают простое в удвоенном, – все то, чего не делает обычный нотный знак; но они плохи тем, что требуют умственного усилия, которое не всегда может поспевать за исполнением. Значение обычных нотных знаков, – продолжал он, – мы схватываем глазом без помощи этого усилия. Если две ноты, одна очень высокая, другая очень низкая, соединены группой промежуточных, я с первого взгляда вижу переход от одной к другой в виде смежных ступеней, а у вас, чтобы удостовериться в этом переходе, я вынужден разбирать каждую цифру одну за другой: один взгляд ничего не может дать». Это возражение показалось мне неопровержимым, и я тотчас же согласился; как оно ни было просто и очевидно, только долгая практика в искусстве могла подсказать его, и неудивительно, что оно не пришло в голову ни одному академику; право, все эти великие ученые, которые столько знают, в сущности знают так мало, что каждый из них должен был бы судить только о своем ремесле.

Благодаря частым моим посещениям членов комиссии и других академиков я завязал знакомство со всем, что было в Париже выдающегося в литературе; и впоследствии, когда я вдруг оказался внесенным в список этих имен, меня уже знали. Но в то время, сосредоточившись на своей музыкальной системе, я упорствовал в желании произвести революцию в музыке и сделаться таким путем знаменитостью, что в изящных искусствах всегда соединяется в Париже с богатством. Я заперся у себя в комнате и работал два или три месяца с неописуемым рвением над переплавкой прочтенного мной в Академии доклада в сочинение, предназначенное для публики. Затруднение было в том, чтобы найти издателя, который захотел бы взять мою рукопись: ведь для нее необходимо было произвести некоторый расход на новые печатные знаки, а издатели не кидают своих экю ради начинающих авторов; я же считал вполне справедливым, чтобы мое сочинение вернуло мне хлеб, съеденный мной во время работы над ним.

Бонфон разыскал мне Кийо-отца, который заключил со мной договор на условии равного участия в прибыли, но плату за право публикования я должен был внести сам. Этот Кийо повел дело так, что я остался при одном этом расходе и не выручил ни лиара от издания, получившего, по-видимому, слабое распространение, хотя аббат Дефонтен{181} и обещал мне продвинуть его, а другие журналисты отозвались о нем довольно хорошо.

Величайшим препятствием к испытанию моей системы было опасение, что, если она не будет допущена, время, потраченное на ее изучение, пропадет даром. На это я возражал, что применение моей записи сообщает такую ясность мысли, что даже при разучивании музыки в обычных знаках все-таки получится выигрыш во времени, если начнут обучение с моей системы. Чтобы доказать это на опыте, я выучил музыке молодую американку, мадемуазель Дерулен, с которой познакомил меня г-н Роген. Через три месяца она была в состоянии разобрать любой музыкальный отрывок в моей записи и даже пропеть с листа свободней, чем я сам, всякую арию, не отличающуюся особыми трудностями. Это был успех ошеломляющий, но оставшийся неизвестным.

Другой на моем месте заставил бы газеты шуметь о нем; но, имея некоторый талант к полезным изобретениям, я никогда не имел таланта к их продвижению.

Вот как мой Геронов фонтан оказался еще раз сломанным! Но в этот – второй – раз мне было тридцать лет, и я очутился на мостовой в Париже, где жизнь не дешева. Решение, принятое мною в этой крайности, удивит лишь тех, кто плохо читал первую часть моих воспоминаний. Я только что проделал усилие столь же большое, сколь и бесполезное; мне надо было перевести дыхание. Вместо того чтобы предаваться отчаянию, я спокойно предался лени, вверившись провидению; и, чтобы дать ему время сделать свое дело, я стал проедать

не торопясь несколько еще остававшихся у меня луидоров, сокращая расход на свои приятные развлечения, но не упраздняя его, посещая кафе только через день, а театр только два раза в неделю. Что касается расхода на женщин, тут мне не пришлось производить никакой реформы, так как за всю свою жизнь я не истратил на это ни гроша, если не считать одного раза, о котором мне скоро придется говорить.

Спокойствие, наслаждение, беззаботность, с которыми я отдавался этой беспечной и уединенной жизни, хотя у меня не хватило бы средств просуществовать так и три месяца, представляют собой одну из странностей моей жизни и одну из причуд моей натуры. Я крайне нуждался в поддержке, но именно это обстоятельство отнимало у меня смелость добиваться ее, быть на виду, и необходимость бывать в домах приводила к тому, что эти посещения стали для меня невыносимыми; я перестал ходить даже к академикам и другим литераторам, с которыми уже свел знакомство. Мариво{182}, аббат де Мабли, Фонтенель были почти единственными, у которых я продолжал изредка бывать. Первому я даже показал свою комедию «Нарцисс». Она ему понравилась, и он был так любезен, что внес в нее поправки. Дидро был моложе их, приблизительно моего возраста. Он любил музыку и знал ее теорию; мы с ним толковали о ней; он говорил мне также о задуманных им работах. Скоро это сблизило нас; наша дружба длилась пятнадцать лет и, вероятно, продлилась бы до сих пор, если бы, к несчастью и безусловно по его вине, я не взялся за его собственное ремесло.

Трудно даже представить себе, на что я употребил короткий и драгоценный промежуток, еще остававшийся у меня перед тем, как превратиться в нищего; я убивал это время на заучивание отрывков из поэтов, которые я сто раз учил и столько же раз забывал. Каждое утро, часов в десять, я шел гулять в Люксембургский сад с томиком Вергилия или Руссо{183} в кармане; и там до обеденного часа твердил наизусть то религиозную оду, то буколику, не отчаиваясь из-за того, что, твердя очередные строфы, всякий раз забывал вчерашние. Я помнил, что после поражения Никия у Сиракуз{184} пленные афиняне зарабатывали на жизнь, декламируя поэмы Гомера. Из этого ученого занятия, при помощи которого я надеялся избегнуть нищеты, я извлек только ту пользу, что упражнял свою злосчастную память, заучивая наизусть всех поэтов.

У меня было еще одно не менее надежное средство – это шахматы, которым в те дни, когда я не шел в театр, я регулярно посвящал у Можи все послеобеденное время. Там я познакомился с де Легалем, с некиим Юссоном, с Филидором, со всеми крупными шахматистами того времени, но сам не стал от этого искусней. Я, однако, не сомневался, что стану в конце концов сильней их всех, и полагал, что это будет для меня достаточным источником существования. Какие бы безумства ни забирал я себе в голову, я всегда оправдывал их одним и тем же рассуждением. Я говорил себе: «Кто первенствует в чем-нибудь, тот всегда может быть уверен, что в нем будут нуждаться. Будем же первенствовать, все равно в чем; во мне будут нуждаться, случай представится, и мои достоинства довершат остальное». Это ребячество не было софизмом моего разума, оно было софизмом моей беспечности. Страшась больших и быстрых усилий, которые понадобилось бы мне сделать, чтобы добиться успеха, я потакал своей лени и скрывал от себя эту постыдную слабость доводами, которые были ее достойны.

Итак, я спокойно дожидался, когда моим деньгам придет конец, и, вероятно, нисколько не встревожился бы, истратив последний грош, если бы отец Кастель, к которому я заходил иногда по дороге в кафе, не пробудил меня от моей летаргии. Отец Кастель был сумасброд, но, в сущности, человек добрый: он огорчался, видя, как я проживаюсь, ничего не делая. «Раз музыканты, – сказал он мне, – раз ученые не поют в один голос с вами, перейдите на другую струну и начните посещать женщин. Может быть, тут вам больше повезет. Я говорил о вас г-же де Безанваль; сходите к ней от моего имени. Это добрая женщина; она с удовольствием

увидит земляка своего сына и мужа. Вы встретите у нее ее дочь, г-жу де Брольи, – это ученая женщина. Другая такая же – г-жа Дюпен; я ей тоже говорил о вас; отнесите ей свое сочиненье, она хочет вас видеть и примет хорошо. В Париже можно добиться чего-нибудь только через женщин; они – как бы кривая линия, по отношению к которой мудрецы – асимптоты: непрерывно приближаются к ним, но никогда с ними не соприкасаются».

Некоторое время я откладывал со дня на день эту ужасную повинность. Но наконец собрался с духом и отправился к г-же де Безанваль. Она встретила меня ласково. Когда г-жа де Брольи вошла к ней в комнату, она сказала: «Дочь моя, вот господин Руссо, о котором нам говорил отец Кастель». Г-жа де Брольи похвалила мою работу и, подведя меня к клавесину, доказала мне, что занималась ею. Взглянув на стенные часы, я увидел, что скоро пробьет час, и собрался уходить. Г-жа де Безанваль сказала мне: «Вам очень далеко до дома, оставайтесь; вы пообедаете здесь». Я не заставил себя просить. Через четверть часа я понял из некоторых слов, что обед, на который она меня приглашает, – это обед в буфетной. Г-жа де Безанваль была очень добрая женщина, но ограниченная, и слишком гордилась, что принадлежит к родовитому польскому дворянству; она имела слабое представление об уважении, которое нужно оказывать талантам. Она даже судила обо мне больше по моей манере держаться, чем по костюму, так как одежда на мне была хоть и простая, но очень опрятная и вовсе не говорила обо мне как о человеке, которому следует обедать в буфетной. Я слишком давно забыл туда дорогу и не имел никакого желания опять вступить на нее. Не обнаруживая всей своей обиды, я сказал г-же де Безанваль, что вспомнил об одном небольшом деле, из-за которого мне необходимо вернуться домой, и хотел уйти. Г-жа де Брольи подошла к матери и шепнула ей на ухо несколько слов, оказавших свое действие. Г-жа де Безанваль встала, чтобы удержать меня, и сказала: «Я рассчитываю, что вы сделаете нам честь отобедать с нами». Я решил, что глупо с моей стороны разыгрывать гордеца, и остался. К тому же доброта г-жи де Брольи тронула меня и заинтересовала. Мне было очень приятно пообедать с этой дамой, и я надеялся, что, узнав меня больше, она не пожалеет, что оказала мне эту честь. Г-н председатель де Ламуаньон{185}, большой друг этой семьи, тоже обедал там. Как и г-жа де Брольи, он в совершенстве владел особым парижским говорком, сплошь из метких словечек, из легких и тонких намеков. Бедному Жан-Жаку блеснуть тут было нечем. У него хватило здравого смысла не строить из себя умника, и он молчал. О, если б я всегда был так благоразумен! Я не свалился бы в ту бездну, в которой нахожусь теперь.

Я был в отчаянии от своей неловкости и неуменья оправдать в глазах г-жи де Брольи ее внимание ко мне. После обеда я прибег к обычному средству. В кармане у меня было стихотворное послание к Паризо, написанное во время моего пребывания в Лионе. Эта вещь была не лишена огня; я вложил его в чтенье и заставил их плакать, всех троих. Не знаю, обманывало ли меня тщеславие, или я правильно истолковал то, что видел, но мне показалось, что взгляды г-жи де Брольи говорили ее матери: «Ну что, мама, разве я не была права, когда сказала вам, что этому человеку больше пристало обедать с вами, чем с вашими служанками?» До этой минуты у меня было довольно тяжело на сердце, но, отомстив таким образом, я почувствовал удовлетворенье. Г-жа де Брольи, немного преувеличивая свое благоприятное мнение обо мне, решила, что я произведу в Париже сенсацию и буду иметь успех у женщин. Чтобы направить мою неопытность, она дала мне «Исповедь графа де…»{186}. «Эта книга, – сказала она мне, – ментор, который понадобится вам в свете; вы поступите правильно, если будете справляться с ней иногда». Больше двадцати лет берег я этот экземпляр, испытывая благодарность к руке, давшей мне его, но часто смеялся над мнением, которое эта дама, видимо, имела относительно моей способности пленять женщин. Прочитав это произведе-

ние, я пожелал завязать дружбу с автором. Мое чувство не обмануло меня: это единственный друг, который был у меня среди литераторов[21].

С этих пор я осмеливался рассчитывать на то, что баронесса де Безанваль и маркиза де Брольи, отнесясь ко мне с участием, не оставят меня надолго в безвыходном положении, и я не ошибся. Поговорим теперь о моем появлении у г-жи Дюпен{187}, оставившем в моей жизни более глубокие следы.

Г-жа Дюпен, как известно, была дочерью Самюэля Бернара{188} и г-жи Фонтен. Их было три сестры, которых можно было назвать тремя грациями: г-жа де Лятуш, бежавшая в Англию с герцогом де Кингстоном; г-жа д'Арти, любовница и – больше того – друг, единственный и преданный друг принца де Конти{189}, женщина, пленявшая кротостью, мягкостью своего отличного характера, прелестью ума и неизменной жизнерадостностью; наконец, г-жа Дюпен, самая красивая из трех и единственная, в поведении которой ничто не заслуживает упрека. В награду за гостеприимство, которое г-н Дюпен оказал ее матери, хорошо приняв ее у себя в провинции, та отдала ему руку дочери вместе с огромным состоянием и доставила зятю должность главного откупщика{190}.

Когда я увидел г-жу Дюпен в первый раз, она еще была одной из самых красивых женщин Франции. Она приняла меня за туалетом. Руки ее были обнажены, волосы распущены, пеньюар в беспорядке. Такое обращение было совсем ново для меня; моя бедная голова закружилась; я смущен, волнуюсь – словом, уже влюблен в г-жу Дюпен.

Мое смущение, кажется, не повредило мне в ее глазах; она его не заметила. Она радушно приняла книгу и автора, говорила со мной о моем проекте как человек знающий, пела, аккомпанируя себе на клавесине, оставила меня обедать, посадила за стол рядом с собой. Всего этого было вполне достаточно, чтобы свести меня с ума, что и произошло. Она разрешила мне приходить к ней; я воспользовался и даже злоупотребил этим разрешением. Я ходил к ней чуть не каждый день и обедал у нее два или три раза в неделю. Я умирал от желания объясниться и все не смел. Несколько причин усиливали мою природную робость. Доступ в богатый дом открывал дверь к успеху; я не хотел в своем положении рисковать, что она закроется. Г-жа Дюпен при всей своей любезности была серьезна и холодна; я не находил в ее обращении ничего достаточно завлекающего, чтобы набраться смелости. Ее дом был в то время самым блестящим в Париже. У нее собиралось общество, которое можно было бы назвать самым изысканным, не будь оно столь многочисленным. Она любила принимать у себя всех, о ком говорили в свете: знать, литераторов, красавиц. У нее бывали только герцоги, послы и сановники церкви; принцессу де Роган, графиню де Форкалькье, г-жу де Мирпуа, г-жу де Бриньоле, леди Хервей можно было считать ее приятельницами. Г-н де Фонтенель, аббат де Сен-Пьер, аббат Салье, г-н де Фурмой, г-н де Берни, г-н де Бюффон, г-н де Вольтер принадлежали к ее кругу{191} и постоянно бывали у нее на обедах. Ее сдержанные манеры не очень привлекали молодых людей, но окружающее ее общество из-за этого оказывалось только лучше подобранным, было еще внушительней, и бедный Жан-Жак не мог обольщать себя надеждами блистать в такой обстановке. Итак, я не смел говорить; но, не в силах хранить молчание, я осмелился написать. Два дня она ничего не говорила мне о моем письме. На третий день она вернула мне его, присовокупив несколько слов увещания таким холодным тоном, что у меня сжалось сердце. Я хотел говорить, слова замерли у меня на устах; моя внезапная страсть угасла вместе с надеждой, и после формального объяснения я продолжал бывать у нее, как прежде, ни о чем больше не говоря ей, даже глазами.

---

[21] Я верил в это так долго и так безусловно, что именно ему после своего возвращения в Париж передал рукопись своей «Исповеди». Недоверчивый Жан-Жак никогда не мог поверить в предательство и лживость, пока не становился их жертвой. (*Прим. Руссо*.)

Я думал, что моя глупость забыта, но ошибся. Де Франкей{192}, сын Дюпена и пасынок его супруги, был приблизительно ее и моего возраста. Он был умен, красив; он мог рассчитывать на успех, и говорили, что он имел успех у нее, – может быть, только на том основании, что она женила его на очень некрасивой, очень кроткой женщине и была в отличных отношениях с обоими. Де Франкей любил и поощрял таланты. Музыка, которую он знал очень хорошо, сблизила нас. Я часто виделся с ним, привязался к нему; вдруг он дал мне понять, что г-жа Дюпен находит мои посещения слишком частыми и просит прекратить их. Эта милая просьба могла быть уместной, когда г-жа Дюпен возвращала мне письмо, но через восемь или десять дней, и без всякого повода, она была как будто некстати. Это создавало положение тем более странное, что я по-прежнему был желанным гостем у г-на и г-жи де Франкей. Однако я стал ходить к г-же Дюпен реже и совсем бы перестал бывать у нее, если бы, по другому неожиданному капризу, г-жа Дюпен не попросила меня присмотреть недели полторы за ее сыном, который из-за перемены гувернера временно оставался без надзора. Эти дни были для меня настоящей пыткой, и только желание повиноваться г-же Дюпен помогло мне перенести ее; несчастный Шенонсо уже и тогда имел те дурные наклонности, которые чуть не навлекли позора на его семью и привели его к тому, что он умер на острове Бурбон{193}. Пока я находился при нем, я не позволял ему вредить самому себе или другим, только и всего; но и это стоило мне немалого труда, и я не взял бы на себя этой обязанности еще на неделю, даже если бы г-жа Дюпен в награду отдалась мне.

Де Франкей дружески относился ко мне; я работал с ним: мы начали проходить вместе курс химии у Руэля{194}. Чтобы жить поближе к нему, я оставил свою гостиницу «Сен-Кентен» и поселился в здании для игры в мяч{195} на улице Верделё, выходящей на улицу Платриер, где жил г-н Дюпен. Там я простудился и, не обратив на это внимания, получил воспаление легких, от которого чуть не умер. В молодости я часто болел такими воспалениями – плевритами и особенно ангинами, – перечень их я здесь не привожу, и они так часто заставляли меня смотреть смерти в глаза, что я освоился с ней. Во время выздоровления у меня был досуг подумать о своем положении и горько пожалеть о своей робости, слабости и лени, которая, несмотря на пожиравший меня огонь, заставляла меня томиться в умственной праздности и прозябать на грани нищеты. Накануне того дня, когда я заболел, я пошел слушать оперу Руайе{196}, которую тогда давали и название которой я забыл. Несмотря на пристрастно-благожелательное отношение к талантам других, всегда заставлявшее меня сомневаться в своих собственных дарованиях, я не мог не найти эту музыку слабой, лишенной страсти и изобретательности. Порой я осмеливался говорить себе: «Пожалуй, я сделал бы лучше». Но трепет, вызываемый во мне мыслью о композиции оперы, и важность, которую, как я слышал, придавали этому делу мастера, тотчас же отпугивали меня, и я краснел при одной мысли, что смею думать об этом. Да и где взять человека, который захотел бы написать для меня либретто и поработать над тем, чтобы придать ему желательную мне форму? Однако мысли о музыке и опере вернулись ко мне в дни болезни, и в жару лихорадки я сочинял арии, дуэты, хоры. Хорошо знаю, что сочинил di prima intenzione[22] два или три отрывка, может быть, достойных восхищения мастеров, если б им довелось услышать их в исполнении. О, если б можно было записывать мечты, рождающиеся во время болезни, какие возвышенные творения возникали бы иной раз на глазах у всех!

Мыслям о музыке и опере я предавался и в период выздоровления, но уже более спокойно. Я постоянно думал об этом даже помимо своей воли и, чтобы облегчить сердце, решил сделать попытку написать оперу своими силами – и слова, и музыку. Это не было в полном смысле слова первым опытом. Я сочинил в Шамбери оперу-трагедию под заглавием

[22] В порыве вдохновения (*итал.*).

«Ифис и Анаксарета»{197}, которую имел благоразумие бросить в огонь. В Лионе я написал другую оперу, под названием «Открытие Нового Света»; показав ее г-ну Борду, аббату Мабли, аббату Трюбле{198} и другим, я расправился с ней таким же способом, несмотря на то что уже сочинил музыку к прологу и первому акту и что Давид, прослушавший ее, нашел там отрывки, достойные Буонончини{199}.

На этот раз, прежде чем приняться за работу, я дал себе время обдумать план. Я задумал представить в героическом балете из трех актов три различные темы, каждую в особом музыкальном жанре; взяв для каждого акта темой любовь одного поэта, я назвал эту оперу «Галантные музы». Первый акт, в высоком стиле, был посвящен Тассу; второй, в нежном, – Овидию; третий, под заглавием «Анакреон», должен был дышать весельем дифирамба. Сначала я взялся за первый акт и, работая с увлечением, впервые познал радость музыкального творчества. Однажды вечером, у входа в Оперу, почувствовав, что меня мучают и одолевают мои замыслы, я кладу деньги обратно в карман, бегу домой, запираюсь у себя, ложусь в постель, плотно задернув полог, чтобы не проникал свет, и, отдавшись поэтическому и музыкальному вдохновению, быстро, в семь или восемь часов, сочиняю лучшую часть первого акта. Могу сказать, что моя любовь к принцессе Феррарской (потому что я был Тассом в то время) и мои благородные и гордые чувства перед лицом ее несправедливого брата{200} подарили мне ночь, во сто крат более упоительную, чем если б я провел ее в объятиях самой принцессы. Утром в голове у меня оставалась только малая часть того, что я сочинил; но это малое, почти стертое усталостью и сном, не переставало свидетельствовать о силе мелодий, осколки которых оно собой представляло.

И все же я тогда не очень продвинул свою работу, отвлеченный от нее другими делами. Пока я усердно навещал семью Дюпен, г-жа де Безанваль и г-жа де Брольи, у которых я изредка бывал, позаботились обо мне. Граф де Монтэгю{201}, капитан гвардии, был только что назначен послом в Венецию. Этим назначением он был обязан де Баржаку{202}, за которым настойчиво ухаживал. Г-жа де Безанваль и г-жа де Брольи знали его брата, шевалье де Монтэгю, дворянина из числа приближенных к монсеньору дофину{203}, а также аббата Алари, члена Французской академии, с которым я тоже иногда встречался. Г-жа де Брольи, зная, что посол ищет секретаря, предложила меня. Мы вступили в переговоры. Я просил пятьдесят луидоров жалованья – деньги очень небольшие для должности, требующей представительства. Он соглашался дать мне только сто пистолей и хотел, чтобы я ехал на свой счет. Предложение было смехотворно. Мы не могли столковаться. Г-н де Франкей, прилагавший усилия, чтобы удержать меня в Париже, настоял на своем. Я остался, и г-н де Монтэгю уехал с другим секретарем, по фамилии Фолло, которого ему дали в министерстве иностранных дел. Не успели они приехать в Венецию, как поссорились. Фолло, видя, что имеет дело с помешанным, удрал от него, и г-н де Монтэгю, оставшись при одном молодом аббате де Бини, который был только писцом и не мог справиться с работой секретаря, обратился ко мне за помощью. Его брат, человек умный, сумел заманить меня, дав понять, что должность секретаря связана с известными правами, и я согласился на тысячу франков. Получив двадцать луидоров на дорогу, я отправился.

В Лионе мне очень захотелось избрать путь через Мон-Сени, чтобы проездом повидать мою бедную маменьку, но я спустился по Роне и сел в Тулоне на корабль, столько же из-за войны и ради экономии, сколько для того, чтобы получить паспорт от г-на де Мирпуа{204}, командовавшего тогда армией в Провансе: именно к нему меня направили. Де Монтэгю крайне нуждался во мне и писал письмо за письмом, торопя мой отъезд. Случай задержал меня.

В это время в Мессине была чума. Английский флот, стоявший в гавани на якоре, произвел осмотр фелуки, на которой я находился. Это обрекло нас, по прибытии в Геную после долгого и тяжкого перехода, на трехнедельный карантин. Пассажирам был предоставлен выбор – пройти карантин на борту судна или в лазарете, где, как нас предупредили, мы найдем только голые стены, так как его еще не успели обставить. Все выбрали фелуку. Невыносимая жара, теснота, невозможность шагу ступить, паразиты – все это заставило меня пойти на риск и перебраться в лазарет. Меня отвели в большое двухэтажное, совершенно пустое здание, где я не нашел ни оконных рам, ни стола, ни кровати, ни стула, ни даже скамейки, чтобы сесть, ни охапки соломы, чтобы лечь. Мне принесли мой плащ, спальный мешок, два моих чемодана; за мной заперли тяжелые двери с тяжелыми замками, и я остался один, чтобы на свободе бродить из комнаты в комнату, с этажа на этаж, всюду находя то же безлюдье и ту же пустоту.

Однако я не раскаялся, что предпочел поселиться в лазарете, и, как новый Робинзон, принялся устраиваться на три недели, точно на всю жизнь. Сначала я занялся охотой на вшей, которые завелись у меня на фелуке. Когда же путем частой смены белья и одежды я наконец избавился от них, то принялся обставлять выбранную мною комнату. Я сделал себе хороший тюфяк из фуфаек и рубашек, простыню из нескольких полотенец, сшитых вместе, одеяло из халата, подушку из свернутого плаща. Устроил себе сиденье из одного чемодана, положив его плашмя, и стол из другого чемодана, поставив его на бок. Достал бумагу, письменный прибор, расставил в виде библиотеки десяток книг, которые взял с собой из Парижа. Словом, устроился так хорошо, что, если не считать отсутствия занавесок и оконных рам, в этом совершенно пустом лазарете мне было почти так же удобно, как в моем зале для игры в мяч, на улице Верделе. Еду мне доставляли с большой торжественностью: два гренадера, примкнув штыки, эскортировали ее. Лестница была моей столовой, площадка служила мне столом, ступенька – сиденьем; когда обед был подан, гренадеры, удаляясь, звонили в колокольчик, чтобы известить меня, что пора садиться за стол. В промежутках между трапезами, если я не читал и не писал или не работал над убранством комнаты, я ходил гулять на протестантское кладбище, служившее мне двором, или поднимался на вышку, открытую в сторону гавани, откуда мог видеть прибывающие и отходящие суда. Так провел я две недели и провел бы там все три, ни минуты не скучая, если б г-н де Жуанвиль, французский посланник, которому я сумел переслать письмо, облитое уксусом, надушенное и полусожженное, не сократил срок моего карантина на неделю: я провел эту неделю у него, и признаюсь, в его доме мне понравилось больше, чем в лазарете. Он очень обласкал меня. Его секретарь Дюпон, добрый малый, ввел меня в некоторые дома как в Генуе, так и в окрестностях, где было довольно весело; я достаточно коротко сошелся с ним, и мы долго потом поддерживали переписку. Мой дальнейший путь – через Ломбардию – был приятен. Я увидел Милан, Верону, Брешию, Падую и приехал, наконец, в Венецию{205}, где господин посол с нетерпением ожидал меня.

Я нашел кучи депеш – от французского двора и от других послов; де Монтэгю не мог разбирать зашифрованное, хотя у него были все необходимые для этого ключи. Никогда не работав ни в одной канцелярии и ни разу в жизни не видав служебного шифра, я сначала боялся запутаться, но убедился, что дело это самое простое, и меньше чем в неделю разобрал все, хотя, конечно, над этим не стоило трудиться, потому что посольству в Венеции всегда было почти нечего делать, да и такому человеку, как де Монтэгю, не стали бы поручать какие бы то ни было переговоры. До моего приезда он находился в большом затруднении, не умея ни диктовать, ни разборчиво писать. Я был ему очень полезен; он понимал это и обращался со мной хорошо. Еще одна причина побуждала его к этому. После ухода де Фруле, его предшественника, впавшего в умственное расстройство, французский консул Леблон оставался поверенным в делах; по приезде де Монтэгю он продолжал заниматься

ими, чтобы ввести его в курс. Г-н де Монтэгю, недовольный тем, что другой исполняет его обязанности, хотя сам был совершенно не способен к ним, невзлюбил консула; и, как только я приехал, он отстранил Леблона и передал все дела мне. Они были неотделимы от звания секретаря посольства, и он велел мне это звание принять. Пока я оставался в этой должности, де Монтэгю ни разу не посылал никого другого ни в сенат, ни к своему конференту;{206} и, в сущности, вполне естественно, что он предпочитал иметь секретарем посольства своего человека, чем консула или чиновника, назначенного двором.

Это сделало мое положение довольно приятным и помешало его приближенным, которые все были итальянцами, так же как его пажи и большая часть прислуги, оспаривать у меня первенство в его доме. Я с успехом воспользовался связанной с моим званием властью, чтобы ограждать экстерриториальность посольства от неоднократных попыток нарушить ее, чему наша венецианская охрана не стремилась препятствовать. Но нужно сказать, я ни разу не допустил, чтобы у нас укрывались какие-нибудь грабители, хотя это могло приносить мне доход, а его превосходительство, конечно, не отверг бы полагающейся ему доли.

Он даже осмелился покуситься на права секретариата, которые назывались канцелярскими расходами. Тогда шла война{207}, надо было выправлять паспорта, каждый паспорт приносил цехин секретарю, который изготовлял его и скреплял своей подписью. Все мои предшественники заставляли платить этот цехин как французов, так и иностранцев. Я нашел этот обычай несправедливым и, хотя не был французом, отменил его для французов; но я так строго осуществлял свое право по отношению ко всем другим, что, когда маркиз Скотти, брат фаворита испанской королевы{208}, прислал за паспортом, не приложив цехина, я велел потребовать у него этот цехин, и мстительный итальянец не забыл моей дерзости. Как только узнали о моей реформе в паспортном сборе, за паспортами стали толпами обращаться лжефранцузы, называвшие себя на отвратительном ломаном языке кто – провансальцем, кто – пикардийцем, кто – бургундцем. Так как у меня довольно тонкий слух, им не удавалось провести меня, и я сомневаюсь, чтобы хоть один итальянец утянул у меня мой цехин или хоть один француз уплатил его. Я имел глупость рассказать г-ну Монтэгю, ничего не знавшему об этом, что я сделал. Слово «цехин» заставило его насторожиться; не говоря мне своего мнения об отмене паспортного сбора с французов, он потребовал, чтобы в отношении остальных я вошел с ним в долю на равных началах. Более возмущенный этой низостью, чем задетый в своих интересах, я с достоинством отверг его предложенье. Он стал настаивать, я вспылил. «Нет, сударь, – ответил я ему очень резко, – пусть ваше превосходительство берет то, что ему принадлежит, и оставит мне мое: никогда не уступлю ни одного су». Монтэгю, видя, что ничего не добьется этим путем, пошел по другому и не постыдился сказать мне, что, раз я получаю доход в его канцелярии, справедливо, чтобы я нес и расходы по ней. Я не захотел ссориться по такому поводу, и с тех пор покупал на свои средства чернила, бумагу, сургуч, свечи и прочие мелочи – вплоть до печати, которую велел переделать, причем де Монтэгю ни разу не возместил мне ни лиара. Это не помешало мне уделять кое-что из дохода от паспортов аббату де Бини, доброму малому и далекому от того, чтобы претендовать на что-либо подобное. Он был любезен со мной, я платил ему тем же, и мы всегда жили в ладу.

Познакомившись с работой, я нашел ее менее трудной, чем опасался, хотя у меня не было опыта. Но я состоял при особе посла, столь же неопытного, как и я, который вдобавок, по своему невежеству и упрямству, как нарочно, шел наперекор всему, что здравый смысл и некоторые познания внушали мне полезного для службы ему и королю. Самым разумным его поступком было то, что он сошелся с маркизом де Мари, испанским послом, человеком ловким и проницательным, который при желании мог бы водить его за нос, но, ввиду общих интересов обоих государств{209}, обычно давал ему довольно хорошие советы, если бы Монтэгю не портил их тем, что совал что-нибудь свое в их исполнение. Единственно,

чего им нужно было добиться совместными усилиями, это убедить венецианцев соблюдать нейтралитет. Последние не упускали случая заверить в строгом его соблюдении, между тем как открыто снабжали австрийские войска боевыми припасами и даже рекрутами под видом дезертиров. Г-н де Монтэгю, желавший, как я полагаю, быть приятным Республике, тоже не упускал случая угодить ей и, несмотря на мои протесты, заставлял меня утверждать во всех его донесениях, что Венеция никогда не нарушит нейтралитета. Упрямство и тупоумие этого жалкого человека поминутно вынуждали меня писать и делать нелепости, раз ему так угодно было, но от этого моя работа становилась иногда невыносимой и даже почти невыполнимой. Например, он непременно хотел, чтобы большая часть его донесений королю и министру была зашифрована, хотя бы они по своему содержанию вовсе не требовали этой предосторожности. Я доказывал ему, что между пятницей, когда приходили королевские депеши, и субботой, когда отправлялись наши, слишком мало времени, чтобы чиновник мог зашифровать такое количество их, а я – подготовить всю возложенную на меня огромную переписку. Он нашел прекрасный выход из этого: заготовлять с четверга ответы на депеши, которые должны были прибыть на другой день. Несмотря на все мои доводы относительно неосуществимости, да и нелепости такой системы, эта идея показалась ему столь удачной, что в конце концов пришлось примириться с нею. Все время, пока я состоял при нем, я брал на заметку несколько слов, которые он бросал мне на ходу в течение недели, да кой-какие пустячные сведения, которые я собирал тут и там. Пользуясь таким «материалом», я составлял и неукоснительно приносил ему в четверг утром черновики депеш, подлежащих отправке в субботу, и на скорую руку делал в них кой-какие добавления или поправки, сообразуясь с депешами, полученными в пятницу, на которые наши служили ответом. У него была еще одна забавная причуда, придававшая его переписке невообразимый комизм: отсылать каждое известие к его источнику, вместо того чтобы дать ему следовать своим путем. Он сообщал г-ну Амло{210} придворные новости, г-ну Морепа{211} – парижские, г-ну д'Авренкуру{212} – шведские, г-ну де ля Шетарди{213} – петербургские, а иногда каждому адресату посылал сведения, получаемые от этого самого адресата, которые я только перефразировал немного. Так как из всего, что я приносил г-ну Монтэгю на подпись, он просматривал только депеши королевскому двору, а депеши к другим послам подписывал, не читая, это отчасти давало мне возможность составлять последние на свой лад, и я по крайней мере отсылал известия в перекрестном направлении. Но мне было невозможно придавать разумную форму самым существенным депешам; счастье было еще, если он не успевал втиснуть в них экспромтом несколько строк собственного изделия, что вынуждало меня возвращаться в канцелярию, поспешно переписывать всю депешу, украшенную этим новым самодурством, и оказывать ей честь, зашифровывая ее, – иначе он не подписал бы депеши. Двадцать раз меня искушало желание, ради его репутации, зашифровать не то, что он мне говорил; но, понимая, что никто не уполномочивал меня на подобное самоуправство, я предоставлял ему бредить на собственный риск, довольствуясь тем, что говорю с ним откровенно и выполняю свой долг при нем.

Это я делал постоянно с прямотой, усердием и смелостью, заслуживавшими с его стороны иной награды, чем та, какую я получил в конце концов. Пора уже было, чтобы я стал наконец тем, чем предназначило мне быть небо, одарившее меня счастливыми природными данными, и образование, полученное мною от лучшей из женщин и то, которое я дал себе сам; и это свершилось. Предоставленный самому себе, без друга, без совета, без опыта, в чужом краю, на службе у чужой страны, в толпе плутов, которые ради своей выгоды и ради того, чтобы устранить посрамляющее действие хорошего примера, подбивали меня подражать им; далекий от чего-либо подобного, я во всем, что зависело от меня, верно служил Франции, хотя ничем не был ей обязан, и усердно, как и подобало, служил ее послу. Этой безупречной службой на довольно видном посту я достиг уважения Венецианской респуб-

лики, всех послов, с которыми мы были в переписке, и любовь всех французов, поселившихся в Венеции, не исключая самого консула, которого я против воли заменял в полномочиях, принадлежавших ему по праву и доставлявших мне больше хлопот, чем удовольствия.

Де Монтэгю, всецело отдавшись в руки маркиза Мари, который не интересовался его обязанностями, сам пренебрегал ими до такой степени, что, не будь меня, французы, находившиеся в Венеции, не заметили бы даже, что там есть посол их страны. Когда они приходили к нему, нуждаясь в его покровительстве, он выпроваживал их, не желая даже их выслушать; они отчаялись, и не было больше видно ни одного из них ни среди его приближенных, ни у него за столом; да он и не приглашал их. Я часто делал то, что должен был бы делать он: оказывал французам, обращавшимся к нему или ко мне, все услуги, какие от меня зависели. Во всякой другой стране я сделал бы больше; но, не имея возможности видеться с нужными людьми на их службе, так как сам служил, я часто был вынужден обращаться к консулу; а консул, устроившийся в стране, где была его семья, должен был со многим считаться, и это мешало ему делать то, что он хотел бы. Все же иногда, видя, что он колеблется и не решается говорить, я отваживался на рискованные поступки, из которых иные мне удавались. Воспоминание об одном из них до сих пор вызывает у меня смех: никому не пришло в голову, что театралы Парижа обязаны мне Кораллиной и ее сестрой Камиллой;{214} однако это именно так. Веронезе, их отец, нанялся с дочерьми в итальянскую труппу; получив две тысячи франков на дорогу, он, вместо того чтобы уехать, преспокойно поступил в Венеции в театр Сен-Люк[23], куда Кораллина, несмотря на то что была почти ребенком, привлекала много народу. Герцог де Жевр, в качестве старшего камергера двора, написал послу, чтобы вытребовать отца и дочь. Де Монтэгю, передавая мне письмо, сказал вместо всякого указания: «Взгляните на это!» Я отправился к г-ну Леблону и попросил его поговорить с владельцем театра Сен-Люк – патрицием, кажется, из рода Джустиниани, чтобы тот уволил Веронезе, так как он принят на королевскую службу. Леблон, не придавая особого значения поручению, плохо исполнил его. Джустиниани поднял шум, и Веронезе не был уволен. Это задело меня. Тогда в Венеции был карнавал. Надев плащ и маску, я велел везти себя во дворец Джустиниани. Все свидетели прибытия моей гондолы с ливрейными лакеями посольства были поражены: Венеция никогда не видала ничего подобного. Я вхожу, приказываю доложить о себе под именем una siora maschera[24]. Как только меня ввели, я снимаю маску и называю себя. Сенатор ошеломлен, бледнеет. «Сударь, – говорю я ему по-венециански, – сожалею, что беспокою ваше превосходительство своим посещением; но у вас в театре Сен-Люк есть человек по имени Веронезе, который состоит на службе у короля и которого вас безуспешно просили вернуть; я пришел требовать его от имени его величества». Моя короткая речь произвела впечатление. Не успел я удалиться, как Джустиниани побежал сообщить о происшествии государственным инквизиторам{215}, и те задали ему головомойку. Веронезе был уволен в тот же день. Я велел сказать ему, что, если он не выедет в течение недели, я прикажу арестовать его; и он уехал.

В другой раз я своими силами и почти без чьей-либо помощи выручил из беды капитана торгового корабля. Это был капитан Оливе из Марселя; название корабля я забыл. Его экипаж затеял ссору со славонцами{216}, состоявшими на службе Республики; имели место случаи самоуправства, и судно было подвергнуто такому строгому аресту, что никто, кроме капитана, не мог ни взойти на борт, ни выйти на берег без разрешения. Оливе обратился к послу, тот выпроводил его ни с чем; он побежал к консулу, последний сказал, что это не торговое дело и он не может в него вмешиваться. Не зная больше, что предпринять, Оливе

[23] Я не уверен, не был ли это театр Сен-Самюэль. Собственные имена совершенно ускользают у меня из памяти. (*Прим. Руссо.*)

[24] Маскированной особы (*итал.*).

вернулся ко мне. Я доложил г-ну де Монтэгю, что он должен разрешить мне представить по этому делу записку в сенат{217}. Не помню, согласился ли де Монтэгю на это и представил ли я записку;{218} но хорошо помню, что, так как мои хлопоты не приводили ни к чему и эмбарго продолжалось, я принял решение, которое мне удалось осуществить. Я включил сообщение об этом деле в депешу к г-ну де Морена, и мне стоило немалого труда уговорить де Монтэгю не вычеркивать этот абзац. Я знал, что в Венеции вскрывают наши депеши, хоть они и не стоили такого внимания. У меня были доказательства этого: в газетах я находил целые отрывки из них, слово в слово; я тщетно побуждал посла жаловаться на это вероломство. В расчете на любопытство венецианцев я упомянул об этом злоупотреблении в депеше, чтобы напугать их и заставить освободить судно, так как, если бы пришлось ждать для этого ответ от французского двора, капитан был бы разорен до его получения. Я сделал больше: отправился на судно, чтобы допросить экипаж. Я взял с собой аббата Патизеля, заведующего канцелярией консульства, который отправился скрепя сердце; все эти бедняги боялись вызвать неудовольствие сената. Не имея возможности, вследствие запрета, взойти на корабль, я остался в гондоле и приступил к составлению протокола, допрашивая громким голосом по очереди всех людей экипажа и ставя вопросы так, чтобы получать ответы, благоприятные для французов. Я попытался уговорить Патизеля, чтобы он сам вел допрос и протокол, так как это было скорее его делом, чем моим. Он решительно отказался, не проронил ни слова и еле согласился подписать протокол после меня. Мой поступок, довольно смелый, увенчался, однако, полным успехом, и судно было освобождено задолго до ответа министра. Капитан хотел сделать мне подарок. Не сердясь, я сказал ему, хлопнув его по плечу: «Капитан Оливе, неужели ты думаешь, что тот, кто не взимает с французов неизвестно кем установленного сбора за паспорта, способен торговать покровительством короля?» Он хотел по крайней мере дать в мою честь обед на борту своего корабля; я согласился и привел с собой секретаря испанского посольства по фамилии Каррио, умного и очень любезного человека, который был потом секретарем посольства в Париже и поверенным в делах; по примеру наших послов, я близко сошелся с ним.

Счастлив был бы я, если б, делая с полнейшим бескорыстием все добро, какое только мог, умел при этом вносить достаточно порядка и внимания во всякие мелочи, чтобы не оставаться в дураках и не служить другим в ущерб себе! Но на занимаемом мною посту, где малейшая ошибка не проходит бесследно, я истощал все свое внимание в усилиях не наделать их во вред своей службе. Я соблюдал до конца величайший порядок и величайшую точность во всем, что касалось моей основной обязанности. Не считая нескольких оплошностей в шифрах, которые вынужденная поспешность заставила меня сделать, на что подчиненные г-на Амло однажды пожаловались, ни посол и никто другой ни разу не мог упрекнуть меня в небрежном отношении к своим обязанностям. Это заслуживает быть отмеченным, когда речь идет о таком небрежном и беспечном человеке, как я. Но мне случалось обнаруживать недостаток памяти и усердия в частных делах, поручаемых мне, и любовь к справедливости заставляла меня, по собственному почину, расплачиваться за причиненный ущерб прежде, чем кто-либо вздумает пожаловаться. Приведу только один пример, относящийся к моему отъезду из Венеции, но последствия которого я испытал уже в Париже.

Наш повар Руссло привез с собой из Франции давнишний вексель на двести франков, который его знакомый парикмахер получил от венецианского дворянина Джанетто Нани за поставку париков. Руссло принес мне этот вексель и попросил постараться получить по нему что-нибудь в порядке полюбовного соглашения. Я знал, да и он тоже, что у венецианских дворян в обычае не платить по возвращении на родину долгов, сделанных ими в чужой стране. Когда их хотят к этому принудить, они изводят несчастного кредитора такими проволочками и расходами, что тот приходит в отчаяние и в конце концов бросает все или удовлетворяется сущей безделицей. Я просил г-на Леблона поговорить с Джанетто. Тот признал

вексель, но не согласился платить. После долгих препирательств он обещал наконец отдать три цехина. Когда Леблон принес ему вексель, у Джанетто не оказалось налицо трех цехинов; пришлось ждать. Тем временем произошла моя ссора с послом, после которой я ушел от него. Я оставил бумаги посольства в полнейшем порядке, но вексель Руссло найти не могли. Г-н Леблон уверял, что отдал его мне. Я знал его как человека слишком порядочного, чтобы можно было сомневаться в этом; но я не мог вспомнить, куда девался вексель. Так как Джанетто признал долг, я просил г-на Леблона попытаться получить три цехина под расписку или уговорить его возобновить вексель при помощи дубликата. Джанетто, узнав, что вексель утерян, не захотел сделать ни того, ни другого. Я предложил Руссло три цехина из своего кармана в погашение векселя. Он отказался и предложил, чтобы я договорился в Париже с кредитором, адрес которого дал мне. Парикмахер, узнав, что произошло, потребовал свой вексель или все деньги сполна. Чего бы я ни дал в своем негодовании, чтобы найти этот проклятый вексель! Я уплатил двести франков, хотя и находился в очень стесненном положении. Вот как потеря векселя обеспечила кредитору получение всей суммы долга; а если бы вексель, к несчастию для него, нашелся, он с трудом выручил бы десять экю, обещанные его превосходительством Джанетто Нани.

Обнаружив в себе, как мне казалось, талант к своей новой профессии, я невольно стал относиться к ней с увлечением; и если не считать общества моего друга Каррио и добродетельного Альтуны, о котором мне скоро придется говорить, не считая невинных развлечений на площади Св. Марка{219}, театра и немногих визитов, которые мы с Каррио делали почти всегда вместе, я видел единственное удовольствие в своих обязанностях. Хотя моя работа была не очень трудной, особенно ввиду помощи аббата Бини, тем не менее я был основательно занят, так как переписка была очень обширная и шла война. Каждый день я работал большую часть утра, а в дни прибытия курьера иногда до полуночи. Остальное время я посвящал изучению того дела, которым начал интересоваться, и на основании успешного начала рассчитывал занять впоследствии более видное положение. В самом деле, все были одного мнения обо мне, начиная с г-на Монтэгю: он открыто восхвалял меня и никогда на меня не жаловался; бешеная злоба его против меня возникла впоследствии из-за того, что, не раз безрезультатно протестуя против его действий, я захотел наконец получить расчет. Королевские послы и министры, с которыми мы находились в переписке, высказывали ему по адресу его секретаря такие похвалы, которые должны были бы польстить ему, но в его глупой голове производили обратное действие. В особенности не мог он никогда простить мне одну похвалу, полученную мною при важных обстоятельствах. Об этом стоит рассказать. Граф Монтэгю до такой степени не стеснялся, что даже в субботу – день прибытия почти всех курьеров – уходил из посольства, не дожидаясь окончания работы; беспрестанно подгоняя меня при отправке депеш королю и министрам, он наспех подписывал их и потом бежал не знаю куда, оставив большую часть писем неподписанными. Если это были простые сообщения, мне ничего не оставалось, как составлять из них сводку; но когда бумаги касались королевской службы, необходимо было, чтобы кто-нибудь их подписал, – и подписывал я. Так поступил я, передавая одно важное сообщение, полученное нами от г-на Венсана, королевского поверенного в делах в Вене. Это было в то время, когда князь Лобковиц наступал на Неаполь, а граф Гаж провел достопамятное отступление{220} – самую блестящую военную операцию за все столетие, о которой в Европе говорили слишком мало. Сообщение гласило, что некий человек (приметы его г-н Венсан нам подробно описывал) выезжает из Вены и должен проехать через Венецию, тайно направляясь в Абруццо{221}, где ему поручено поднять народное восстание при приближении австрийцев. В отсутствие графа Монтэгю, ничем не интересовавшегося, я передал это сообщение маркизу де л’Опиталь{222},

и так своевременно, что, может быть, бедному, столь осмеянному Жан-Жаку обязаны Бурбоны сохранением Неаполитанского королевства{223}.

Маркиз де л'Опиталь, поблагодарив как подобало своего коллегу, заговорил с ним о его секретаре и об услуге, которую тот оказал общему делу. Граф Монтэгю, сознавая свое нерадение в этом вопросе, усмотрел в его похвале укор себе и с раздражением передал мне о ней. Таким же образом, как с маркизом де л'Опиталем, хотя и по менее важному поводу, пришлось мне действовать и с графом де Кастелланом, послом в Константинополе. Для сношений с Константинополем не было другой почты, кроме курьеров, которых сенат посылал от времени до времени к своему представителю; об отбытии этих курьеров уведомляли французского посла, чтобы он мог написать таким путем своему коллеге, если считал нужным. Обычно уведомление это приходило за день или за два; но с г-ном Монтэгю так мало считались, что извещали его для виду, за час, за два до отбытия курьера; это не раз ставило меня в необходимость составлять депешу в его отсутствие. Г-н де Кастеллан, отвечая, упоминал обо мне в лестных выражениях; так же поступал в Генуе г-н де Жуанвиль, – вот новые поводы для обиды.

Признаюсь, я не избегал случаев приобрести известность, хотя и не искал их с неуместным усердием. Я служил честно, и мне казалось вполне справедливым стремиться к естественной награде за хорошую службу – то есть к уважению со стороны тех, кто в состоянии судить о ней и награждать за нее. Не стану говорить о том, было ли мое усердие в исполнении своих обязанностей законным поводом для упреков со стороны посла; скажу только, что это единственно, в чем он упрекнул меня до самого дня нашего разрыва.

Его дом, который он никогда не мог поставить на хорошую ногу, наполнялся сбродом; с французами там обращались скверно, итальянцы брали верх; и даже из их среды верные служащие, давно состоявшие при посольстве, все были грубо уволены, – между прочим, его первый дворянин{224}, который достался ему еще от графа де Фруле и которого звали, кажется, граф Пеати или что-то в этом роде. Второй дворянин{225}, назначенный по выбору г-на де Монтэгю, был бандит из Мантуи, по имени Доминик Витали; посол поручил ему надзор за своим домом; путем лукавства и низкой лести Витали втерся к нему в доверие и сделался его любимцем, к великому ущербу для немногих честных людей, еще служивших там, и для секретаря, стоявшего во главе их. Неподкупный глаз честного человека всегда беспокоит мошенников. Одного этого было бы достаточно, чтобы Витали меня возненавидел; но эта ненависть имела и другую причину, делавшую ее еще более непримиримой. Надо об этом рассказать, и пусть меня осудят, если я был не прав.

Посол, согласно обычаю, имел ложу во всех пяти театрах. Каждый день за обедом он говорил, в какой театр хочет пойти вечером; после него выбирал я, а затем дворяне распоряжались остальными ложами. Уходя, я брал с собой ключ от ложи выбранного мною театра. Однажды, в отсутствие Витали, я поручил выездному лакею, служившему мне, принести ключ от ложи в дом, который ему указал. Витали, вместо того чтобы прислать мне ключ, велел передать, что он распорядился ложей иначе. Я был тем более возмущен, что выездной лакей при всех доложил мне об этом. Вечером Витали хотел извиниться передо мною, но я не принял его извинения. «Завтра, милостивый государь, – сказал я, – вы придете принести мне извинение в назначенный час в тот дом, где я получил оскорбление, и в присутствии людей, явившихся свидетелями его; или же послезавтра, что бы ни случилось, – заявляю вам, – либо вы, либо я уйдем отсюда». Мой решительный тон произвел на него впечатление. Со свойственной ему низостью он явился в назначенное время и место публично просить у меня извинения; но потихоньку принял свои меры и, не переставая низкопоклонствовать передо мной, повел такую итальянскую интригу, что, хотя не имел возможности принудить посла уволить меня, поставил меня в необходимость уволиться самому.

Подобный негодяй, конечно, не был способен узнать меня; но он знал обо мне то, что было нужно для его целей. Он знал, что я слишком добродушно и мягко переношу невольные обиды, что я горд и нетерпим к умышленным оскорблениям, что я люблю приличие и достоинство там, где подобает, требую должного к себе уважения и сам внимателен в проявлении его к другим. Пользуясь именно этим, он решил донять меня и добился своего. Все в доме он перевернул вверх дном; он уничтожил то, что я старался поддерживать там: субординацию, чистоту, порядок. Дом, где нет женщины, требует довольно суровой дисциплины, чтобы там царила скромность, неотделимая от достоинства. Витали скоро превратил дом посольства в очаг мерзости и разврата, в притон мошенников и кутил. Он уволил второго дворянина и на его место взял такого же сводника, каким был сам, – содержателя борделя в Круа де Мальт; и оба эти прохвоста, действуя в полном согласии, предались распутству, равному их наглости. За исключением комнаты самого посла, где тоже царили не слишком строгие нравы, не было ни одного угла в доме, где бы порядочный человек мог себя чувствовать сносно.

Так как его превосходительство не ужинал, вечером для нас – дворян и меня – был особый стол, за которым ели также аббат Бини и пажи. В самой скверной харчевне кормят лучше, подают опрятней, приличней и накрывают стол менее грязной скатертью. Нам давали только одну маленькую свечу, сильно коптившую, оловянные тарелки, железные вилки. Полбеды еще было в том, что делалось тайно, но у меня отняли мою гондолу; один среди всех посольских секретарей я был вынужден брать наемную гондолу или же ходить пешком, и я надевал форму служащего его превосходительства, только отправляясь в сенат. Впрочем, все, что происходило в доме, было известно в городе. Все чиновники посольства открыто возмущались. Доминик, единственный виновник всего, кричал громче всех, отлично зная, что непристойное обращение с нами было для меня чувствительней, чем для кого-либо другого. Из всех в доме я один не говорил ничего за его стенами, но я горько жаловался послу и на остальных, и на него самого, так как, натравливаемый исподтишка своим злодеем, он наносил мне каждый день новое оскорбление. Мне приходилось много тратить, чтобы быть на одном уровне со своими собратьями и отвечать занимаемой должности, но я не мог добиться ни одного су из жалованья; когда я просил денег, он говорил о своем уважении и доверии ко мне, как будто этим можно наполнить кошелек и оправдать все расходы.

Эти два бандита окончательно вскружили голову своему хозяину (а она и так держалась у него не особенно твердо) и разоряли его беспрестанными покупками редкостей по безумным ценам, уверяя его, что цены эти грошовые. Они уговорили его снять втридорога палаццо на Бренте{226} и излишек платы разделили с владельцем. Апартаменты там, по обычаю страны, были инкрустированы мозаикой и украшены колоннами и пилястрами из великолепного мрамора. Г-н де Монтэгю гордо приказал закрыть все это еловой обшивкой – только на том основании, что так отделывают помещения в Париже. На подобном же основании он – единственный из всех посланников, находившихся в Венеции, – отнял шпагу у своих пажей и жезл у выездных лакеев. Вот каков был человек, который возненавидел меня единственно за то, что я честно служил ему.

Я терпеливо переносил его пренебрежение, грубость, дурное обращение до тех пор, пока видел в них лишь проявления скверного характера и не замечал в них ненависти; но как только я понял его сознательное намерение лишить меня уважения, которое я заслужил преданной службой, я решил уйти от него. Впервые я почувствовал его недоброжелательство в связи с обедом, который он собирался дать в честь герцога Моденского{227} и его семьи, находившихся в Венеции: он заявил мне, что я не получу места за столом. Задетый за живое, я ответил ему без гнева, что раз я имею честь ежедневно обедать с ним, то, если герцог Моденский требует, чтобы я воздержался от этого в его присутствии, достоинство его превосходительства и мой долг не позволяют согласиться на это. «Как! – сказал он, вспылив. – Мой секретарь, даже не дворянин, претендует на то, чтобы обедать с коронованной

особой, когда мои дворяне не обедают с ней?» – «Да, сударь, – отвечал я, – должность, которою вы почтили меня, ваше превосходительство, настолько облагораживает меня, пока я ее занимаю, что я даже имею преимущество перед вашими дворянами или теми, кто так себя называет, и я принят там, куда они не могут иметь доступа. Вам известно, что в дни, когда вас принимают власти, этикет требует, согласно обычаю, установленному с незапамятных времен, чтобы я сопровождал вас в парадном мундире и имел честь обедать с вами во дворце Святого Марка;{228} и я не понимаю, почему человек, который может и должен публично обедать с дожем и сенатом Венеции, не может обедать частным образом с герцогом Моденским». Хотя аргумент был неопровержим, посол не сдался. Но нам не пришлось возобновить спор, так как герцог Моденский не приехал к нему обедать.

С тех пор он не переставал причинять мне неприятности и нарушать мои права, стараясь лишить меня небольших привилегий, связанных с моей должностью, чтобы передать их своему дорогому Витали; и я уверен, что, если б Монтэгю осмелился послать его в сенат вместо меня, он сделал бы это. Свои частные письма он писал обыкновенно у себя в кабинете, пользуясь услугами аббата Бини. Он воспользовался его помощью, чтобы написать г-ну Морена донесение о деле капитана Оливе, где не только ни словом не упомянул обо мне, хотя я один занимался этим делом, но даже отнял у меня заслугу составления протокола, дубликат которого он послал в Париж, приписав его Патизелю, не проронившему ни слова. Он хотел всячески унизить меня и услужить своему любимцу, но не имел намерения отделаться от меня. Он чувствовал, что меня будет не так легко заменить, как Фолло, который успел уже многое рассказать о нем. Ему непременно нужен был секретарь, который знал бы итальянский язык для ответов сенату, составлял бы все его депеши, вел все дела так, чтобы ему не приходилось ни во что вмешиваться, и соединял бы достоинства хорошей работы с угодливостью ко всем его прощелыгам дворянам. И вот он хотел сохранить меня и укротить, удерживая вдали от моей и от своей родины, без средств для возвращения; и это, быть может, удалось бы ему, если б он действовал осторожнее. Но Витали, имевший другие виды, хотел принудить меня к решению и достиг своей цели. Как только я увидел, что трачу даром силы, что посол превращает в преступление все мои услуги, вместо того чтобы быть за них признательным, что мне больше нечего ожидать от него, кроме неприятностей в посольстве и несправедливостей вне его, и что вследствие дурной славы, которую он приобрел, его враждебные поступки могут мне повредить, а добрые не принесут пользы, я принял решение и потребовал у него расчет, предоставив ему время найти себе секретаря. Не ответив мне ни да, ни нет, он продолжал поступать по-прежнему. Видя, что нет никаких перемен к лучшему и что Монтэгю не считает нужным искать кого бы то ни было на мое место, я написал его брату и, подробно изложив ему свои основания, просил добиться моего увольнения у его превосходительства, добавляя, что оставаться дольше я не в силах.

Я долго ждал ответа. Положение мое становились очень затруднительным; но посол получил наконец письмо от своего брата. Наверно, письмо было резкое: хотя Монтэгю и был подвержен жестоким приступам гнева, я еще не видел у него подобного. Вслед за потоком отвратительных ругательств, не зная больше, что сказать, он обвинил меня в продаже его шифра. Я засмеялся и язвительно спросил, уж не думает ли он, что во всей Венеции найдется человек, достаточно глупый, чтобы дать за его шифр хотя бы экю. Этот ответ привел его в ярость. Он сделал вид, что зовет своих слуг, чтобы выбросить меня в окно. До тех пор я был очень спокоен, но при такой угрозе гнев и возмущение овладели и мной. Я кинулся к двери и запер ее изнутри. «Нет, граф, – сказал я, возвращаясь к нему твердым шагом, – ваши слуги не вмешаются в это дело; будьте довольны, что оно разрешится между нами». Мой поступок, мой вид утихомирили его в тот же миг; было заметно, что он удивлен и испуган. Увидав, что он опамятовался, я простился с ним в немногих словах; потом, не дожидаясь ответа, открыл дверь, вышел и хладнокровно прошел в переднюю мимо его слуг, которые

встали, как обычно, и, кажется, оказали бы физическую поддержку скорее мне против него, чем ему против меня. Даже не заглянув в свою комнату, я сейчас же спустился по лестнице и немедленно покинул дворец, чтобы больше туда не возвращаться.

Я направился прямо к Леблону и рассказал ему о случившемся. Он не очень удивился, так как хорошо знал того, о ком шла речь. Он оставил меня обедать. Этот обед, хотя импровизированный, был блестящ; все видные французы, жившие в Венеции, присутствовали на нем, у посла же не было ни души. Консул рассказал о моем деле всей компании. При этом рассказе раздался общий крик негодования против его превосходительства. Он не рассчитался со мной, не дал мне ни одного су; и, оставшись всего-навсего с несколькими луидорами, я не знал, как мне вернуться во Францию. Все кошельки открылись для меня. Я взял цехинов двадцать у г-на Леблона, столько же у г-на де Сен-Сира, с которым, после консула, был ближе всего. Остальных я поблагодарил. В ожидании отъезда я поселился у правителя канцелярии консульства, чтобы ясно показать этим обществу, что нация не является соучастницею в несправедливостях посла. Последний, в ярости от того, что меня чествуют в моей беде, а от него отвернулись, хоть он и посол, окончательно потерял голову и повел себя как бешеный. Он до того забылся, что вошел в сенат с докладом, требуя моего ареста. По совету аббата Бини, я решил остаться еще на две недели, вместо того чтобы ехать через день, как предполагал. Все видели и одобряли мое поведение; всюду меня уважали. Синьория даже не удостоила ответом нелепую записку посла и передала мне через консула, что я могу оставаться в Венеции, сколько мне заблагорассудится, не опасаясь действий сумасшедшего Монтэгю. Я продолжал видеться со своими друзьями; пошел проститься с послом Испании, который принял меня очень хорошо, и с графом Финокьетти, неаполитанским министром; последнего я не застал, но написал ему, и он ответил мне самым любезным письмом. Я наконец уехал, не оставив, несмотря на мои стесненные обстоятельства, никаких долгов, кроме только что упомянутых небольших займов и долга в пятьдесят экю торговцу Моранди. Каррио взял на себя уплату этих денег, и я так и не вернул их ему, хотя мы с ним после этого часто встречались. Но что касается двух вышеуказанных займов, я полностью уплатил их, как только это оказалось для меня возможным.

Прежде чем расстаться с Венецией, надо упомянуть о развлечениях этого города или по крайней мере о том незначительном участии, которое я принимал в них во время своего пребывания там. При описании моей юности уже видели, как мало искал я свойственных этому возрасту удовольствий или во всяком случае тех, которые считаются таковыми. В Венеции я не изменил своих привычек; а мои занятия, которые, кстати сказать, помешали бы мне их изменить, придали остроту простым развлечениям, какие я себе позволял. Первым и самым приятным из них было общество достойных людей: гг. Леблона, де Сен-Сира, Каррио, Альтуны и одного дворянина из Форли; к большому моему сожалению, я забыл его фамилию, но милое воспоминание о нем каждый раз вызывает во мне волнение; из всех, кого я знал в своей жизни, он был наиболее близок мне по духу. Мы оба дружили с двумятремя англичанами, умными и начитанными, любившими музыку так же страстно, как мы. У всех этих господ были жены, или приятельницы, или любовницы; последние почти все обладали талантом, и у них устраивались музыкальные вечера или балы. Там играли тоже, но очень мало, – живые интересы, таланты, спектакли делали для нас это занятие бессмысленным. Карты – прибежище скучающих людей. Я вывез из Парижа предвзятое мнение французов об итальянской музыке; но у меня было природное музыкальное чутье, против которого предубеждения бессильны. Вскоре у меня появилось к итальянской музыке влечение, возникающее у каждого, кто способен судить о ней. Слушая баркаролы, я находил, что до сих пор не слыхал настоящего пения; и скоро я так увлекся оперой, что, устав болтать, есть и играть в ложах, когда мне хотелось бы только слушать, я часто скрывался от своей компании и переходил в другую ложу. Там, совсем один, запершись на ключ, я без помехи наслаждался

спектаклем и, несмотря на его продолжительность, всегда оставался до конца. Однажды в театре Сен-Кризостом я заснул, – и крепче, чем спал бы в своей постели. Бурные и блестящие арии меня не разбудили, но кто мог бы выразить восхитительное ощущение, которое вызвали во мне нежная мелодия и ангельский напев той арии, что разбудила меня! Какое пробуждение, какое очарование, какой экстаз, когда в одно мгновение у меня открылись и уши, и глаза! Первой моей мыслью было, что я в раю. Я все еще помню эту восхитительную арию и никогда не забуду ее. Начиналась она так:

Conservami la bella
Che si m'accende il cor[25].

Мне захотелось иметь эту арию; я достал ее и долго берег; но она была иной на бумаге, чем в моей памяти. Это были те же ноты, но не то же самое. Эта дивная ария могла исполняться только в моей голове, как было в тот день, когда она разбудила меня.

Музыка, на мой взгляд, далеко превосходящая оперную и не имеющая себе равной ни в Италии, ни в остальном мире, – это музыка scuole. Scuole – благотворительные учреждения, основанные для того, чтобы дать образование нуждающимся молодым девушкам, которым республика впоследствии дает приданое при вступлении либо в брак, либо в монастырь. Среди талантов, которые scuole развивают в молодых девушках, музыкальный на первом месте. По воскресеньям в церкви каждой из четырех венецианских scuole за вечерней можно слушать мотеты для полного хора и оркестра – творения величайших итальянских мастеров, исполняемые под их управлением, причем в хоре, на трибунах, закрытых решетками, поют исключительно девушки, старшей из которых нет и двадцати лет. Я не могу представить себе ничего более упоительного, более трогательного, чем эта музыка: художественное богатство, изысканный стиль песнопений, красота голосов, правильность исполнения – все в этих концертах, лишенных театрального блеска, но восхитительных, соединяется для того, чтобы произвести впечатление, от которого едва ли хоть одно человеческое сердце может быть ограждено. Мы с Каррио ни разу не пропустили воскресной вечерни у Mendicanti{229}. И не мы одни. Церковь всегда была полна любителей музыки; даже оперные певцы приходили совершенствоваться в настоящем искусстве пения по этим прекрасным образцам. Но меня приводили в отчаяние проклятые решетки, пропускавшие только звуки и скрывавшие от меня ангелов красоты, несомненно достойных этой гармонии. Я не мог говорить ни о чем другом. Однажды, когда я заговорил об этом у г-на Леблона, он сказал: «Если вам так хочется посмотреть на этих девочек, ваше желание легко удовлетворить. Я один из попечителей учреждения и приглашу вас к ним на чашку чая». Я не давал ему покоя, пока он не исполнил своего обещания. При входе в гостиную, где находились столь желанные красавицы, меня охватил трепет любви, еще никогда не испытанный мною. Леблон представил мне одну за другой этих знаменитых певиц, имена и голоса которых было все, что я знал о них. «Подойдите, Софи»… Она была ужасна. «Подойдите, Каттина»… Она была крива на один глаз. «Подойдите, Беттина»… Оспа изуродовала ее. Почти ни одной не было без какого-нибудь заметного недостатка. Палач смеялся над моим жестоким разочарованием. Две или три все же показались мне сносными: они пели только в хоре. Я был в отчаянии. За столом с ними стали шутить; они развеселились. Отсутствие красоты не исключает привлекательности; я находил ее в этих девушках. Я говорил себе: «Нельзя так петь, не имея души, она у них есть». Наконец мое мнение о них так изменилось, что я ушел почти влюбленный во всех этих дурнушек. Я едва решился опять пойти послушать их за вечерней. Но вскоре

[25] Сохрани мне красавицу, воспламенившую мое сердце (*итал.*).

я воспрянул духом. Их пение по-прежнему восхищало меня, и голоса так скрашивали их лица, что, пока они пели, я упорно, наперекор воспоминанию, воображал их прекрасными.

Музыка в Италии стоит так дешево, что нет смысла лишать себя ее, если ее любишь. Я взял напрокат клавесин, и за гроши ко мне приходили четыре или пять оркестрантов, с которыми я раз в неделю исполнял отрывки, доставившие мне наибольшее удовольствие в опере. Я заставил их также сыграть несколько симфонических отрывков из моих «Галантных муз». Потому ли, что они понравились, или из желания мне польстить, но балетмейстер театра Сен-Жан-Кризостом велел попросить у меня два из них, и я имел удовольствие услышать их в исполнении прекрасного оркестра, а танцевала их некая Беттина, хорошенькая и, главное, милая девушка, бывшая на содержании у одного испанца, нашего приятеля, по фамилии Фагоага; потом мы часто проводили у нее вечера.

Что касается веселых девиц, то не в таком городе, как Венеция, воздерживаются от них. И меня могли бы спросить: «Неужели вам не в чем признаться по этому поводу?» Да, действительно я могу кое-что рассказать, и я приступлю к этому признанию с той же искренностью, какую проявил в других.

Я всегда испытывал отвращение к публичным женщинам, а в Венеции только они были мне доступны, так как вход в большинство семейных домов мне был закрыт ввиду моей должности. Дочерей г-на Леблона я считал очень привлекательными, но недосягаемыми, и я слишком уважал их отца и мать, чтобы мне могло прийти в голову желать этих девиц.

Больше всего мне нравилась молодая особа по фамилии де Катанео, дочь представителя прусского короля; но в нее был влюблен Каррио; шла даже речь о браке. Он был человек со средствами, я же не имел ничего; он получал сто луидоров жалованья, а я всего сто пистолей; и, помимо того, что я не хотел перебивать дорогу приятелю, я прекрасно знал, что нигде, и особенно в Венеции, с таким тощим кошельком не следует брать на себя роль ухаживателя. Я не потерял пагубной привычки обманывать свои потребности; слишком занятый, чтобы сильно чувствовать те из них, которые сообщает климат, я прожил около года в этом городе так же благоразумно, как жил в Париже, и уехал оттуда через полтора года, сблизившись с другим полом только дважды, при странных обстоятельствах, о которых расскажу.

Первый случай был мне предоставлен почтенным дворянином Витали, через некоторое время после извинения, которое я заставил его официально принести мне. За столом шел разговор о венецианских развлечениях. Эти господа упрекали меня в равнодушии к самому соблазнительному из них, прославляя любезность венецианских куртизанок, и говорили, что во всем мире нет равных им. Доминик заявил, что я непременно должен познакомиться с самой прелестной из них, что он хочет свести меня к ней и что я останусь доволен. Я засмеялся в ответ на это милое предложение, а граф Пеати, человек уже старый и почтенный, сказал с откровенностью, неожиданной у итальянца, что он считает меня слишком благоразумным, чтобы позволить своему врагу вести себя к веселым девицам. Действительно, у меня не было ни намерения, ни соблазна; но, несмотря на это, вследствие непоследовательности, которую мне самому трудно понять, я в конце концов поддался уговорам, вопреки своей привычке, своему сердцу, разуму, даже против своей воли, исключительно по слабости, из стыда выказать боязнь и, как говорят в той стране, per non parer troppo coglione[26]. Padoana[27], к которой мы отправились, была довольно хороша собой, даже красива, но не той красотой, какая нравится мне. Доминик оставил меня у нее. Я велел подать шербет, попросил ее спеть и через полчаса решил уйти, оставив на столе дукат; но на нее напала странная щепетильность, не позволявшая взять деньги, не «заработав» их, а на меня – странная глупость устранить повод к этой щепетильности. Я вернулся во дворец до такой степени уверенный

[26] Чтобы не прослыть слишком трусливым (*итал.*).

[27] Падуанка (*итал.*).

в беде, что первым моим шагом было послать за врачом, чтобы попросить у него лекарства. Ничто не может сравниться с нравственным мученьем, которое я испытывал в течение трех недель, хотя никакой действительный недуг, ни один видимый признак не оправдывал моих опасений. Я не мог себе представить, чтобы можно было выйти из объятий падуанки безнаказанно. Даже врачу стоило невероятных усилий меня успокоить. Он достиг этого, только уверив меня, что я устроен особенным образом и не легко могу заразиться; и хотя я подвергал себя испытанию, быть может, меньше всякого другого мужчины, мое здоровье, с этой стороны никогда не получавшее удара, служит мне доказательством, что врач был прав. Его мнение, однако, не сделало меня безрассудным; и если я действительно одарен таким преимуществом от природы, то могу сказать, что никогда им не злоупотреблял.

Второе мое приключение, и тоже с веселой девицей, было совершенно в другом роде и по началу, и по последствиям. Я говорил, что капитан Оливе дал мне обед у себя на борту и что я привел туда секретаря испанского посольства. Я ждал пушечного салюта. Экипаж встретил нас, взяв на караул, но ни одного фитиля не было зажжено, что очень обидело меня за Каррио, так как я видел, что это задело его; и действительно, на торговых судах приветствовали пушечным салютом людей, которые, конечно, не могли равняться с нами; к тому же я считал, что заслуживаю известного внимания со стороны капитана. Я не скрыл своих чувств, потому что никогда не умею этого делать; и хотя обед был очень хорош и Оливе очень радушно нас угощал, я сел за стол в дурном расположении духа, ел мало, а говорил еще меньше.

Я ожидал залпа по крайней мере при первом тосте. Ничего! Каррио, читавший у меня в душе, смеялся, видя, что я дуюсь, как ребенок. Во время обеда я заметил приближающуюся гондолу. «Ну, сударь, – говорит мне капитан, – берегитесь: это неприятель». Я спрашиваю, что он хочет сказать; он отвечает шуткой. Гондола причаливает, и из нее выходит молодая женщина – ослепительная, очень кокетливо одетая и очень ловкая; в три прыжка она очутилась в каюте, и я увидел ее рядом с собой, прежде чем для нее поставили прибор. Она была столь же очаровательна, сколь резва, – брюнетка, лет двадцати, не больше. Она говорила только по-итальянски; одного звука ее голоса было бы достаточно, чтобы вскружить мне голову. Не переставая есть и болтать, она пристально с минуту смотрит на меня, потом, воскликнув: «Пресвятая дева! Ах, мой дорогой Бремон, как давно я тебя не видела!» – бросается ко мне на грудь, прижимает свои губы к моим и душит меня в объятиях. Ее большие и черные восточные глаза метали мне в сердце огненные стрелы; и хотя неожиданность сначала сбила меня с толку, упоенье очень быстро овладело мной до такой степени, что, несмотря на зрителей, красавице самой пришлось меня сдерживать, потому что я был опьянен или, вернее, пришел в исступление. Заметив, что довела меня до такого состояния, она немного умерила свои ласки, но не свою резвость; и когда сочла нужным объяснить нам причину своего порыва – действительную или вымышленную, – сказала, что я как две капли воды похож на г-на де Бремона, начальника тосканских таможен; что она была без ума от этого г-на де Бремона; что она без ума от него до сих пор; что бросила его, потому что была дура; что заменяет его мной; что хочет любить меня, потому что ей так нравится; что я должен по той же причине любить ее до тех пор, пока это ей не надоест, и что когда она меня бросит, я должен буду перенести это терпеливо, как поступил ее дорогой Бремон. Сказано – сделано. Она завладела мной, как своей собственностью, давала мне на сохранение свои перчатки, свой веер, свой cinda, свой головной убор; приказывала мне идти туда-то, делать то-то, и я повиновался. Она велела мне пойти отпустить ее гондолу, потому что желает воспользоваться моей, и я пошел; она велела мне встать с места и попросить Каррио сесть с ней рядом, потому что ей нужно с ним поговорить, и я исполнил это. Они очень долго разговаривали между собой вполголоса; я не мешал им. Она позвала меня, я вернулся. «Послушай, Джанетто, – сказала она мне, – я не хочу, чтобы меня любили на французский лад, да это было бы

бесполезно: как только тебе наскучит, убирайся. Но не оставайся наполовину, предупреждаю тебя». После обеда мы отправились осматривать стеклянную фабрику в Мурано. Она накупила множество безделушек, за которые без стеснения предоставила нам платить; но сама она давала повсюду на чай, и гораздо больше того, что истратили мы. Судя по безразличию, с каким она сорила собственными деньгами и заставляла нас сорить нашими, было видно, что они не имеют для нее никакой цены. Если она заставляла платить ей, – мне кажется, это было скорее из тщеславия, чем из жадности: она гордилась ценой, которой покупали ее благосклонность.

Вечером мы проводили ее домой. Во время беседы я увидел у нее на туалете два пистолета. «А! – сказал я, взяв один из них. – Вот пудреница нового фасона. Нельзя ли узнать, зачем это вам? Ведь у вас есть другое оружие, более губительное». После нескольких шуток в том же роде она сказала нам с наивной гордостью, придававшей ей еще больше прелести: «Когда я бываю уступчива с людьми, которых не люблю, я заставляю их платить за то, что они нагоняют на меня скуку. Что может быть справедливей? Я терплю их ласки, но не хочу терпеть их оскорблений и не дам промаха, стреляя в того, кто промахнулся, обидев меня».

Уходя, я условился о свиданье на другой день. Я не заставил ее ждать. Я застал ее in vestito di confidenza[28], в более чем легкомысленном наряде, какие известны только в южных странах и который я не доставлю себе удовольствия описывать, хотя слишком хорошо его помню. Скажу только, что рукавчики и ворот были обшиты шелковым шнурком с помпонами розового цвета. Мне показалось, что это оживляет тона прекрасной кожи. Впоследствии я заметил, что это было модой в Венеции, и эффект ее так очарователен, что я удивляюсь, как эта мода не перешла во Францию. У меня и представления не было об ожидавших меня наслаждениях. Я уже рассказывал о г-же де Ларнаж с восторгом, иногда пробуждающимся во мне при воспоминании о ней; но как она была стара, некрасива и холодна по сравнению с моей Джульеттой! Не пытайтесь представить себе прелесть и грацию этой обольстительной девушки, – вы будете слишком далеки от истины. Юные девственницы в монастырях менее свежи, красавицы сераля менее резвы, райские гурии менее обольстительны. Никогда столь нежное наслажденье не было доступно сердцу и чувствам смертного. Ах! Если бы только я сумел упиться им безраздельно и вполне хоть одно мгновенье! Я упивался им, но без очарованья; я ослаблял все его прелести; я убивал их без всякого повода. Нет, природа не создала меня для наслаждения. Она влила в мою безумную голову отраву того невыразимого счастья, жажду которого вложила в мое сердце.

Если в жизни моей было обстоятельство, ясно рисующее мой характер, то именно тот случай, о котором я расскажу. Сила, с которой я в эту минуту держу в памяти цель моей книги, заставит меня здесь пренебречь ложной пристойностью, которая помешала бы мне эту цель осуществить. Кто бы ни были вы, желающие узнать человека, осмельтесь прочесть следующие две-три страницы: вы до конца узнаете Жан-Жака Руссо.

Я входил в комнату куртизанки, как в святилище любви и красоты, а в самой девушке видел обитающее там божество. Никогда не поверил бы, что можно без почтительности и уваженья чувствовать что-либо подобное тому, что она заставила меня испытать. Едва я узнал при первой близости прелесть ее ласк и очарования, как, заранее страшась потерять их плод, я захотел поспешно сорвать его. И вдруг вместо пожирающего меня пламени я чувствую, как смертельный холод течет по моим жилам: ноги у меня подкашиваются, и, близкий к обмороку, я сажусь и плачу, как ребенок.

Кто бы мог угадать причину моих слез и мысли, проносившиеся у меня в голове в эту минуту? Я говорил себе: «Это существо, которым я владею, – дивное произведенье природы и любви; ее душа, тело – все совершенно; она так же добра и великодушна, как обаятельна

[28] В интимном наряде (*итал.*).

и прекрасна; великие мира сего, властители должны бы быть ее рабами; скипетры должны бы быть у ее ног. Между тем вот кто она – несчастная распутница, доступная всем; капитан торгового корабля обладает ею; она бросается на шею мне, хотя знает, что у меня ничего нет, мне, чьи достоинства, о которых она и знать не может, не имеют для нее никакой цены. В этом есть что-то непостижимое. Или сердце мое заблуждается, обманывает мои чувства и делает меня игрушкой низкой твари, или какой-то тайный недостаток, неизвестный мне, разрушает действие ее чар и делает ее отталкивающей для тех, кто должен был оспаривать ее друг у друга». Я принялся искать этот недостаток со странным внутренним напряжением, но мне даже в голову не пришло, что дурная болезнь может играть здесь роль. Свежесть ее тела, яркость ее румянца, белизна зубов, нежность дыхания, ощущение чистоты, исходящее от всего ее существа, так далеко отгоняли от меня эту мысль, что, еще не избавившись от опасений, терзавших меня после свидания с падуанкой, я скорей страшился, что недостаточно здоров для той, с которой был теперь; и я твердо убежден, что на этот раз моя доверчивость не обманывала меня.

Столь уместные размышления взволновали меня до слез. Джульетта, для которой это было, конечно, совсем новым зрелищем при подобных обстоятельствах, первую минуту была в недоуменье; но, обойдя комнату и взглянув в зеркало, она поняла, что отвращение не играло роли в такой причуде, а глаза мои подтвердили это. Ей нетрудно было излечить меня и стереть следы моего маленького позора; но в то мгновенье, когда я готов был замереть от восторга на этой груди, которая, казалось, впервые испытывала прикосновенье мужских губ и рук, я заметил, что у нее один сосок меньше другого. Я прихожу в ужас, рассматриваю и, мне кажется, вижу, что этот сосок и сформирован не так, как другой. И вот я ломаю себе голову, как можно иметь неправильный, уродливый сосок; и, уверенный, что это связано с каким-то важным природным недостатком, беспрестанно переворачивая эту мысль в голове, я вижу ясно как днем, что под видом самой очаровательной женщины, какую я мог себе представить, я держу в объятиях какое-то чудовище, отверженное природой, людьми и любовью. Я дошел в своей глупости до того, что заговорил с ней об этой странной особенности. Она приняла это сначала как шутку и, по своему игривому характеру, стала говорить и делать такие вещи, что я готов был умереть от любви. Но, храня в душе беспокойство, я не мог его скрыть, и наконец Джульетта покраснела, оправила корсаж, поднялась и, не говоря ни слова, стала у окна. Я хотел встать около нее, – она отошла, села на кушетку, поднялась через минуту и, прохаживаясь по комнате с веером, сказала мне холодным и презрительным тоном: «Джанетто, lascia le donne e studia la matematica»[29].

Перед уходом я просил ее о другом свиданье, на завтра, но она перенесла его на третий день, добавив с иронической улыбкой, что мне, наверно, нужен отдых. Я провел это время в болезненном беспокойстве; сердце мое было полно ее очарованием и грацией. Я понимал свое сумасбродство, упрекал себя за него, сожалея, что так плохо воспользовался минутами, проведенными с нею, тогда как только от меня зависело сделать их самыми сладостными в моей жизни, и нетерпеливо ждал мгновенья, которое позволит мне вернуть все, что я потерял, хотя меня все же тяготила мысль, что совершенства этой обаятельной женщины служат ее презренному ремеслу. Я побежал, полетел к ней в условленный час. Не знаю, насколько это посещение могло бы удовлетворить ее пылкий темперамент, – ее тщеславие, во всяком случае, было бы удовлетворено; и я заранее предвкушал восхитительное удовольствие доказать ей всеми способами, как я умею заглаживать свою вину. Она избавила меня от этого испытания. Подъехав, я послал к ней гондольера, и он принес мне известие, что накануне она уехала во Флоренцию. Если я не чувствовал всей своей любви, обладая этой женщиной, я почувствовал мучительный прилив любви, потеряв ее. Безумное сожаленье не покидало

[29] …оставь женщин и займись математикой (*итал.*).

меня. Как ни была она мила, очаровательна в моих глазах, я мог бы утешиться, что лишился ее; но признаюсь, я не мог утешиться, что она сохранила обо мне лишь презрительное воспоминание.

Вот обе мои истории. Полтора года, что я провел в Венеции, не принесли мне больше ничего, о чем стоило бы рассказать, – разве только об одном моем замысле. Каррио любил женщин; наскучив всегда ходить к женщинам, у которых была связь с другими, он забрал себе в голову завести любовницу, и так как мы были неразлучны, он предложил мне нередкий в Венеции способ, заключавшийся в том, чтобы содержать одну любовницу на двоих. Я согласился. Вопрос был в том, чтобы найти такую, которая не внушала бы опасений. Он искал до тех пор, пока не откопал девочку лет одиннадцати-двенадцати, которую недостойная мать хотела продать. Мы пошли вместе посмотреть ее. Сердце мое сжалось при виде этого ребенка; она была белокурая и кроткая, как ягненок; ее никак нельзя было принять за итальянку. Жизнь в Венеции очень дешева; мы дали матери немного денег и позаботились о содержании дочери. У нее был голос; чтобы ее талант мог стать для нее источником заработка, мы купили ей спинет{230} и наняли учителя пения. Все это стоило каждому из нас около двух цехинов в месяц и притом избавляло от других расходов; но так как надо было ждать, чтобы она созрела, это значило сеять для того, чтобы долго дожидаться жатвы. Однако, довольные тем, что можно ходить по вечерам беседовать и совсем невинно играть с этим ребенком, мы развлекались, быть может, ничуть не хуже, чем если б обладали ею. Как справедливо, что больше всего привязывает нас к женщинам не столько разврат, сколько особая приятность жить возле них! Незаметно мое сердце привязалось к маленькой Анзолетте, но отеческой привязанностью, в которой чувственность имела так мало места, что, по мере того как привязанность росла, мне становилось все менее возможным примешивать к ней вожделение. Я предвидел, что сближение с этой девушкой, когда она созреет, было бы для меня ужасным, как самое гнусное кровосмешение. Я предвидел, что чувства доброго Каррио, незаметно для него, принимают то же направление. Не думая об этом, мы готовили себе наслажденья не менее упоительные, чем те, какие сначала имели в виду, и я убежден, что, как бы красива ни стала впоследствии эта бедная девочка, мы не только не стали бы ее развратителями, но были бы ее защитниками. Событие, происшедшее вскоре после этого, не дало мне времени принять участие в этом добром деле; и потому я могу похвалить себя только за благие намерения. Вернемся к моему путешествию.

После ухода от г-на де Монтэгю моим первым намерением было отправиться в Женеву и ждать, чтобы более благосклонная судьба, устранив препятствия, могла соединить меня с моей бедной маменькой. Но шум, вызванный моей ссорой с Монтэгю, и то, что он имел глупость написать о ней двору, заставили меня принять решение самому поехать в Париж – отдать отчет в собственных поступках и пожаловаться на поступки безумца. О своем решении я сообщил из Венеции г-ну дю Тейлю, временно управлявшему министерством иностранных дел после смерти г-на Амло. Я отправился тотчас же вслед за своим письмом: проехал Бергамо, Комо и Домодоссола; перевалил через Симплон. В Сионе г-н де Шеньон, французский поверенный в делах, осыпал меня знаками внимания; в Женеве г-н де ла Клозюр сделал то же самое. Там я возобновил знакомство с де Гофкуром, с которого мне следовало получить небольшую сумму. Я проехал через Нион, не повидав отца; хоть это и было мне до крайности тяжело, но я боялся показаться на глаза моей мачехе после постигшей меня беды, уверенный, что она осудит меня, не пожелав выслушать. Книготорговец Дювильяр, старинный друг моего отца, жестоко упрекал меня за этот поступок. Я объяснил ему причину; и, чтобы искупить свою вину, не подвергаясь встрече с мачехой, я взял карету, и мы отправились вместе в Нион, где остановились в трактире. Дювильяр пошел за моим отцом, который сейчас же прибежал обнять меня. Мы поужинали вместе, и, проведя милый моему

сердцу вечер, я на следующее утро вернулся в Женеву с Дювильяром, навсегда сохранив к нему благодарность за сделанное им тогда для меня добро.

Кратчайший для меня путь лежал не через Лион; но я хотел побывать там, чтобы удостовериться в одном гадком мошенничестве г-на де Монтэгю. Я выписал из Парижа маленький ящик, в котором был шитый золотом камзол, несколько пар манжет, шесть пар белых шелковых чулок и больше ничего. По предложению самого де Монтэгю, я велел присоединить этот ящик, вернее, эту коробку, к его багажу. В «аптекарском» счете, представленном мне вместо уплаты моего жалованья и написанном собственной рукой Монтэгю, он указал, что эта коробка, которую он назвал тюком, весит одиннадцать квинталов{231}, и поставил огромную цену за провоз ее. Благодаря хлопотам г-на Буа де ла Тур, к которому меня направил его дядя г-н Роген, было установлено по спискам лионской и марсельской таможен, что так называемый «тюк» весит всего сорок пять фунтов и что оплата была произведена в соответствии с этим весом. Я присоединил подлинную выписку к счету г-на де Монтэгю и, вооружившись этими документами и некоторыми другими, столь же вескими, отправился в Париж, горя нетерпением пустить их в ход. Во время этого длинного путешествия у меня были маленькие приключения в Комо, Валёи других местах. Я многое увидел и, между прочим, Борромейские острова{232}, которые стоило бы описать. Но времени у меня мало, шпионы преследуют меня; я вынужден делать наскоро и плохо работу, требующую досуга и спокойствия, которых у меня нет. Если когда-либо провидение, обратив на меня свой взор, пошлет мне наконец более спокойные дни, я посвящу их тому, чтобы переработать, если сумею, этот труд или снабдить его по крайней мере приложением, в котором, я чувствую, он очень нуждается[30].

Слухи о моей истории опередили меня, и по приезде в Париж я обнаружил, что в канцеляриях и в широкой публике все возмущены дикими выходками посла. Несмотря на это, несмотря на общее возмущение в Венеции, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные мною, я не мог добиться справедливости. Я не только не получил удовлетворения или возмещения, но был предоставлен усмотренью посла в отношении жалованья, и все это на единственном основании, что, не будучи французом, я не имею права на покровительство Франции и моя ссора с Монтэгю – частное дело между ним и мной. Все были согласны со мной в том, что я оскорблен, обманут, несчастен; что посол – злой самодур, самоуправец и что все это навсегда его обесчестило. Но что поделаешь! Он посол, а я – только секретарь. Законный порядок – или то, что носит это название, – требовал, чтобы я не добился справедливости, и я не добился ее. Я воображал, что, если стану кричать и публично отзываться об этом безумце, как он того заслуживает, будут приняты меры для того, чтобы я замолчал, – а мне только этого и надо было: я твердо решил умолкнуть, когда будет вынесено решение. Но в то время не было министра иностранных дел. Мне предоставили злословить, меня даже поощряли, мне подпевали хором; однако дело не двигалось с места, и наконец, наскучив тем, что все признают меня правым, но отказывают мне в правосудии, я упал духом и бросил все.

Единственным лицом, плохо принявшим меня, хотя я меньше всего ожидал от нее несправедливости, была г-жа де Безанваль. Полная предрассудков относительно прерогатив ранга и знати, она никак не могла согласиться с тем, что посол мог быть виноват перед своим секретарем. Прием, оказанный ею мне, соответствовал этому предрассудку. Меня это так обидело, что, уйдя от нее, я написал ей письмо, может быть, одно из самых сильных и резких писем, какие мне когда-либо приходилось писать, и с тех пор больше никогда не бывал у нее. Отец Кастель принял меня лучше, но сквозь его иезуитскую льстивость я разглядел, что он довольно точно следует одному из великих правил их ордена, заключающемуся в том,

[30] Я отказался от этой мысли. (*Прим. Руссо.*)

чтобы всегда приносить слабого в жертву сильному. Глубокое убеждение в своей правоте и врожденная гордость не позволили мне покорно снести эту предвзятость. Я перестал бывать у отца Кастеля и тем самым общаться с иезуитами, из которых хорошо знал только его. К тому же властный и склонный к интригам характер его собратий, столь не похожий на благодушие доброго отца Эме, так отдалял меня от них, что я с тех пор не видался ни с кем из их среды, если не считать отца Бертье, которого встречал два-три раза у г-на Дюпена, когда он изо всех сил трудился с ним над опровержением Монтескье{233}.

Чтобы больше не возвращаться к Монтэгю, я покончу с тем, что мне еще остается рассказать о нем. Во время наших размолвок я однажды сказал, что ему нужен не секретарь, а писарь – ходатай по делам. Он последовал этому совету и действительно сделал моим преемником настоящего ходатая, который, прослужив меньше года, украл у него двадцать или тридцать тысяч ливров. Монтэгю прогнал его, посадил в тюрьму, прогнал своих дворян со скандалом и шумом, затеял повсюду ссоры, подвергся оскорблениям, которых не стерпел бы лакей, и своими дикими выходками добился наконец того, что его отозвали и послали копаться в своем огороде.

Видимо, один из полученных им выговоров касался его ссоры со мной: вскоре после возвращения он прислал ко мне своего дворецкого, чтобы рассчитаться со мной и дать мне денег. В то время я испытывал нужду в них; мои венецианские долги – долги чести в полном смысле слова – тяготили меня. Я ухватился за открывающуюся возможность уплатить их, так же как и по векселю Джанетто Нани. Я взял ту сумму, какую мне захотели дать, уплатил свои долги и остался по-прежнему без гроша, но избавился от невыносимой тяжести. С тех пор я ничего не слышал о г-не де Монтэгю до самой его смерти, о которой мне сообщила молва. Боже, упокой в мире этого беднягу! Он так же подходил к должности посла, как я в детстве к ремеслу крючкотвора. Между тем только от него самого зависело держаться с достоинством, пользуясь моими услугами, и быстро продвинуть меня к тому положению, для которого граф де Гувон предназначал меня, когда я был молод, и к которому в более зрелом возрасте я сам сделал себя пригодным.

Безнадежность моих справедливых жалоб оставила у меня в душе зачаток возмущения против наших глупых гражданских установлений, которые подлинное общественное благо и настоящую справедливость всегда приносят в жертву какому-то мнимому порядку, ибо в действительности он нарушает всякий порядок и только усиливает притеснение слабых и беззаконие сильных санкцией общественной власти. Два обстоятельства помешали тогда этому зачатку возмущения развиться, как это произошло впоследствии: первое заключалось в том, что дело касалось меня самого, и личный интерес, никогда не создающий ничего великого и благородного, не мог зажечь в моем сердце божественных порывов, порождаемых только чистой любовью к справедливому и прекрасному; вторым было обаяние дружбы, которое умеряло и успокаивало мой гнев влиянием чувства более кроткого. Я познакомился в Венеции с одним бискайцем, другом моего друга Каррио, достойным уважения со стороны всякого порядочного человека. Этот милый юноша, рожденный с задатками всяческих талантов и добродетелей, объездил всю Италию, чтобы развить в себе вкус к изящным искусствам, и, вообразив, что больше ему уже нечему учиться, хотел вернуться прямым путем на родину. Я сказал ему, что искусство – только отдых для такого таланта, как он, созданного для занятий науками, и посоветовал для приобретения вкуса к таким занятиям еще попутешествовать и прожить месяцев шесть в Париже. Он поверил мне и отправился в Париж. Когда я туда приехал, он был там и ждал меня.

Его квартира была слишком велика для него, он предложил мне занять половину; я согласился. Я застал его в разгаре увлечения высокими науками. Для него не было ничего недосягаемого: он пожирал и переваривал все с чудесной быстротой. Как он благодарил меня за то, что я доставил пищу его уму, который терзался жаждой знания, сам об этом

не подозревая! Какие сокровища познаний и добродетелей нашел я в этой сильной душе! Я почувствовал, что встретил наконец друга, какой мне нужен: мы близко сошлись. Наши вкусы были неодинаковы, мы всегда спорили. Оба упрямые, мы никогда ни в чем не были согласны. И вместе с тем мы не могли расстаться; мы без конца противоречили друг другу, но ни один из нас не хотел бы, чтобы другой был иным, чем он есть.

Игнацио-Эммануил де Альтуна был одним из тех редких людей, которых рождает только Испания, но рождает слишком мало для своей славы. У него не было необузданных испанских страстей, обычных в его стране; мысль о мести так же мало могла проникнуть в его ум, как желание отомстить не проникало в его сердце. Он был слишком горд, чтобы быть мстительным, и я часто слышал, как он говорил с большим хладнокровием, что ни один смертный не может оскорбить его душу. С женщинами он был галантен без нежности. Он играл с ними, как с красивыми детьми. Ему нравилось бывать среди любовниц его друзей; но я никогда не видел, чтобы у него была возлюбленная, не замечал в нем желания иметь ее. Огонь добродетели, пожиравший его сердце, ни разу не позволил вспыхнуть огню его чувственности.

После своих путешествий он женился; он умер молодым; он оставил детей; и я уверен, как в самом себе, что его жена была первой и единственной, посвятившей его в радости любви. Наружно он был набожен, как испанец, но внутри – это было благочестие ангела. Не считая себя самого, я, с тех пор как живу, не видел такого терпимого человека. Он никогда ни у кого не осведомлялся о религиозных взглядах. Кто его друг – еврей, протестант, турок, святоша, безбожник – ему не было дела, лишь бы это был честный человек. Упрямец, спорщик в вопросах, не связанных с религией, он, как только шла речь о ней, даже о нравственности, задумывался, умолкал или говорил просто: «Я отвечаю только за себя». Просто невероятно, как можно было сочетать такую возвышенную душу с таким педантичным, доходящим до мелочности умом. Он распределял и устанавливал заранее свой порядок дня по часам, четвертям и минутам и придерживался этого расписания так тщательно, что, если б урочный час пробил, когда он читал книгу, он закрыл бы ее, не дочитав начатой фразы. Из всех этих мер времени, строго распределенных, одни предназначались для такой-то науки, другие – для другой; определенные часы отводились размышлению, беседе, церковной службе, Локку, молитве по четкам, визитам, музыке, живописи; и ни удовольствия, ни искушения, ни любовь не могли нарушить этот порядок; необходимость исполнить свой долг – одна могла бы сделать это. Когда он сообщил мне свое расписание, чтобы я сообразовался с ним, я начал с того, что засмеялся, а кончил тем, что заплакал от восхищения. Никогда он никого не стеснял и сам не выносил стеснения; он был резок с людьми, которые пытались стеснять его церемониалом вежливости. Он был вспыльчив, но не умел дуться. Я часто видел его в гневе, но никогда не видел сердитым. Ничто не могло сравниться с его весельем; он понимал шутку и сам любил шутить; он даже блистал в этом и отличался талантом в эпиграммах. Когда его раздражали, он становился бурным и шумным в речах, голос его был слышен издалека; но пока он кричал, на лице его уже появлялась улыбка, и даже в порывах гнева у него срывалось какое-нибудь забавное словечко, заставлявшее всех расхохотаться. Он не отличался ни смуглым цветом лица, ни флегмой, присущими испанцам. Кожа у него была белая, щеки румяные, волосы каштановые, почти русые. Он был высок ростом и хорошо сложен. Тело его было создано так, чтобы вмещать его душу.

Этот мудрец по сердцу, как и по уму, разбирался в людях – и стал моим другом. В этом весь мой ответ всякому, кто мне не друг. Мы так близко сошлись, что задумали прожить всю жизнь вместе. Я должен был через несколько лет отправиться в Аскойтию{234} и поселиться там в его поместье. Все подробности этого плана были обсуждены между нами накануне его отъезда. Помешало нам только то, что не зависит от людей даже при наилучше состав-

ленных планах. Последующие события – мои бедствия, его женитьба и, наконец, его смерть – разлучили нас навсегда.

Можно подумать, что только черные умыслы злых людей удаются, невинные же планы добрых почти никогда не получают осуществления.

Испытав неудобство зависимости, я дал себе слово никогда не подвергаться ему. Видя, как рушились, едва зародившись, честолюбивые замыслы, внушенные мне обстоятельствами, думая с отвращением о том, чтобы снова вступить на поприще, так успешно начатое и с которого тем не менее я только что был устранен, я решил ни с кем себя не связывать, остаться независимым, применив к делу свои таланты, меру которых я начинал сознавать и о которых был до сих пор слишком скромного мнения. Я вновь принялся за работу над своей оперой, прерванную ради поездки в Венецию; и, чтобы спокойней отдаться ей, я после отъезда д'Альтуны вернулся на свою прежнюю квартиру в гостинице «Сен-Кентен»: она находилась неподалеку от Люксембургского сада, в пустынном квартале, и в ней мне было удобней работать, чем на шумной улице Сент-Оноре. Там ждало меня единственное настоящее утешение, какое небо дало мне изведать в моих несчастьях и которое одно дает мне силы их переносить. Это не мимолетное знакомство; я должен подробней остановиться на том, как оно возникло.

В гостинице была новая хозяйка, уроженка Орлеана. Она взяла белошвейкой девушку из своих краев, лет двадцати двух – двадцати трех, и та обедала вместе с нами, как и хозяйка. Эта девушка, по имени Тереза Левассер{235}, была из хорошей семьи; отец ее служил чиновником монетного двора в Орлеане, мать занималась торговлей. У них было много детей. Так как в Орлеане перестали чеканить монету, отец оказался на улице; мать, едва избежавшая банкротства, плохо справлялась со своими делами, бросила торговлю и переехала в Париж с мужем и дочерью, содержавшей всех троих своим трудом.

В первый же раз, как я увидел эту девушку за столом, я был поражен ее скромными манерами и еще больше ее живым и кротким взглядом, подобного которому я никогда не встречал. За столом, кроме де Бонфона, сидело несколько хвастливых ирландских аббатов и других людей того же сорта. Наша хозяйка сама раньше видала виды; только я говорил и вел себя там пристойно. К девушке стали приставать, я за нее заступился. Тотчас же на меня посыпались сальности. Если бы даже у меня не было никакого влечения к этой бедной девушке, то сострадание и дух противоречия внушили бы мне его. Я всегда любил порядочность в обращении и разговоре, особенно с женщинами. Я открыто стал ее защитником. Заметно было, что она ценит мою заботу, и ее взгляды, оживленные благодарностью, которую она не решалась выразить словами, становились от этого только еще трогательней.

Она была очень застенчива, я тоже. Это общее нам свойство, казалось, отдаляло возможную связь; однако она установилась очень быстро. Хозяйка, заметив это, пришла в бешенство, и грубости ее еще больше содействовали моему успеху у девушки: не имея другой поддержки в доме, кроме меня, она огорчалась, когда я уходил, и с нетерпением ждала своего покровителя. Сходство наших сердец, соответствие наших характеров скоро привели к обычному результату. Она решила, что нашла во мне порядочного человека, и не ошиблась. Я решил, что нашел в ней девушку сердечную, простую, без кокетства, и тоже не ошибся. Я заранее объявил ей, что никогда не брошу ее, но и не женюсь на ней. Любовь, уважение, чистосердечная прямота были создателями моего торжества; и как раз потому, что сердце ее было нежно и чисто, я оказался счастлив, не проявляя предприимчивости.

Ее опасение, как бы я не рассердился, не найдя в ней того, чего, по ее мнению, искал, отдаляло мое счастье более всего другого. Я видел, что она растеряна, смущена, что перед тем, как сдаться, она желает что-то высказать – и не смеет объясниться. Не представляя себе настоящей причины ее смущения, я выдумал причину, совершенно ложную и оскорбительную для ее нравственности: я решил, что она собирается предупредить меня об опасности,

угрожающей моему здоровью, и отдался во власть сомнений, правда, не удержавших меня, но в течение нескольких дней отравлявших мое счастье. Так как мы не понимали друг друга, наши беседы по этому поводу были рядом загадок и обиняков, более чем смешных. Она готова была подумать, что я совсем сумасшедший, я же не знал, что думать о ней. Наконец мы объяснились: она со слезами призналась мне в единственном проступке, совершенном в ранней молодости, – в результате ее неопытности и ловкости соблазнителя. Как только я понял ее, я испустил радостный крик: «Девственность! – воскликнул я. – Искать ее в Париже, у двадцатилетней девушки! Ах, моя Тереза, я слишком счастлив, что обладаю тобой, скромной, здоровой, и избежал того, чего боялся».

Я искал сначала просто возможности развлечься. Я увидел, что достиг большего – нашел себе подругу. Немного привыкнув к этой превосходной девушке и поразмыслив о своем положении, я понял, что думал только о своем удовольствии, а встретил счастье. Мне нужно было взамен угасшего честолюбия сильное чувство, которое наполнило бы мое сердце. Нужно было, если уж говорить до конца, найти преемницу маменьке: раз мне не суждено было жить с ней, мне нужен был кто-нибудь, кто стал бы жить с ее воспитанником и в ком бы я нашел простоту, сердечную покорность, которую она находила во мне. Надо было, чтобы отрада честной и домашней жизни вознаградила меня за отречение от помыслов о блестящей судьбе.

Оставшись совсем один, я почувствовал пустоту в сердце; но достаточно было другого сердца, чтобы наполнить его. Судьба отняла у меня и сделала чужим – отчасти по крайней мере – то существо, ту женщину, для которой природа меня создала. С тех пор я был одинок, так как для меня никогда не существовало перехода между всем и ничем. В Терезе я нашел восполненье, в котором нуждался; благодаря ей я прожил жизнь счастливо, насколько это возможно было по ходу обстоятельств.

Сперва я решил развить ее ум. Напрасный труд. Ее ум таков, каким его создала природа: культура и образование не прививаются к нему. Я не краснею признаться, что она никогда не умела хорошо читать, хотя пишет сносно. Когда я поселился на улице Нев-де-Пти-Шан, в гостинице «Поншартрен», против моих окон были часы, по которым я пытался больше месяца научить ее узнавать время. И теперь она с трудом узнает его. Она никогда не знала порядка, в котором следуют названия месяцев года, и не знает ни одной цифры, несмотря на все мои старания ознакомить ее с ними. Она не умеет считать деньги и совершенно ничему не знает цены. Слово, которое сходит у нее с языка в разговоре, часто противоположно тому, что она хочет сказать. Когда-то я составил словарь ее выражений, чтобы позабавить герцогиню Люксембургскую, и смешные обмолвки Терезы прославились в домах, где я бывал. Но эта женщина, такая ограниченная и, если угодно, такая тупая, отличается величайшей сообразительностью в затруднительных случаях. Часто в Швейцарии, в Англии, во Франции при постигавших меня катастрофах она видела то, чего не видел я сам; она давала мне наилучшие советы; она выручала меня из опасностей, в которые я слепо ввергался; и среди женщин самого высокого круга, среди вельмож и принцев ее чувства, здравый смысл, ответы и поведение обеспечили ей всеобщее уважение, а мне – похвалы, в искренности которых я не мог сомневаться.

Возле любимых людей чувство питает и ум, и сердце и мало испытываешь нужды искать мыслей на стороне. Я жил со своей Терезой так же хорошо, как жил бы с величайшим гением мира. Ее мать, гордившаяся тем, что когда-то воспитывалась у маркизы де Монпипо, воображала себя женщиной тонкого ума, хотела руководить дочерью и нарушала своими ухищрениями простоту наших отношений. Досада на эту помеху заставила меня до некоторой степени превозмочь глупый стыд, мешавший мне показываться с Терезой на людях, и мы совершали вдвоем небольшие прогулки в поле и устраивали маленькие завтраки, восхитительные для меня. Я видел, что она искренне меня любит, и это удваивало мою нежность. Ее

милая близость заменяла мне все; будущее больше не интересовало меня или интересовало только как продолжение настоящего; и я желал только одного: чтобы оно было длительным.

Эта привязанность сделала для меня всякое другое развлечение излишним и пустым. Я выходил из дому только для того, чтобы пойти к Терезе; ее жилище стало почти моим. Такая замкнутая жизнь оказалась столь благоприятной для моей работы, что меньше чем в три месяца моя опера была закончена полностью{236} – музыка и текст. Оставалось только доделать несколько аккомпанементов и соединительных пассажей. Эта ремесленная работа очень мне надоедала. Я предложил Филидору{237} взять ее на себя, предоставив ему участие в доходе. Он приходил два раза и написал несколько пассажей в акте Овидия;{238} но Филидор не мог принудить себя к этой упорной работе ради отдаленной и даже ненадежной выгоды; он больше не пришел, и я сам закончил свой труд.

Когда опера была готова, встал вопрос о том, чтобы извлечь из нее выгоду; и это оказалось более трудным делом. В Париже ничего нельзя добиться, живя замкнуто. Я рассчитывал на поддержку г-на де ла Поплиньера{239}, к которому Гофкур, вернувшись из Женевы, ввел меня. Г-н де ла Поплиньер был меценатом Рамо, г-жа де ла Поплиньер – его послушной ученицей. Рамо, как говорится, делал хорошую и дурную погоду в этом доме. Полагая, что он с удовольствием окажет покровительство произведению одного из своих учеников, я решил показать ему свою оперу. Он не пожелал ознакомиться с ней, заявив, что не станет читать партитуру, так как это слишком его утомит. Ла Поплиньер сказал на это, что можно дать ему прослушать ее, и предложил, что он пригласит музыкантов для исполнения отрывков. Лучшего я не мог желать. Рамо согласился, ворча и беспрестанно повторяя, что – нечего сказать – хорошо должно быть произведение человека, не принадлежащего к цеху и научившегося музыке без посторонней помощи. Я поспешил выписать партии к пяти или шести избранным отрывкам. Мне дали десять оркестрантов и в качестве певцов Альбера, Берара и м-ль Бурбонэ. С самой увертюры Рамо стал намекать своими преувеличенными похвалами, что эта вещь не может быть моей. Он не прослушал ни одного отрывка без признаков нетерпения; но при одной арии контральто, напев которой был мужествен и звучен, а аккомпанемент блестящ, он не мог сдержаться; обратившись ко мне в грубом тоне, возмутившем всех, он заявил, что часть того, что он только что прослушал, несомненно произведение законченного мастера, а остальное сочинено невеждой, не имеющим понятия о музыке. И действительно, мое произведение, неровное и написанное без правил, было то великолепно, то совсем бесцветно, каким неизбежно должно быть произведение человека, взмывающего ввысь порывами вдохновения, но не опирающегося на знание. Рамо не захотел видеть во мне ничего, кроме мелкого похитителя без таланта и вкуса. Присутствующие, в особенности хозяин дома, думали иначе. Г-н де Ришелье{240}, который в это время часто виделся с г-ном де ла Поплиньером и, как известно, с его супругой, услыхал о моем произведении и захотел прослушать его целиком, имея в виду поставить его при дворе, если оно ему понравится. Оно было исполнено за счет короля при полном хоре и оркестре у г-на Банваля, распорядителя придворных увеселений. Франкер дирижировал. Эффект был поразительный: герцог не переставая выражал свое восхищение и аплодировал, а в конце хора в акте Тасса встал, подошел ко мне и, пожимая мне руку, сказал: «Господин Руссо, это восхитительная гармония, я никогда не слыхал ничего прекраснее. Я хочу поставить это произведение в Версале». Присутствовавшая при этом г-жа де ла Поплиньер не сказала ни слова. Рамо, хотя и был приглашен, не пожелал прийти. На следующий день г-жа Поплиньер, стараясь обесценить мою оперу в моих собственных глазах, сказала мне, что, хотя некоторая мишура сначала ослепила де Ришелье, он уже остыл, и она не советует мне рассчитывать на мою оперу. Герцог явился вскоре и заговорил со мной совсем иначе; он сказал много лестного о моем таланте и, по-видимому, был по-прежнему склонен дать мою пьесу в присутствии короля.

«Только акт Тасса не может идти при дворе, – сказал он, – надо заменить его другим». По одному этому слову я заперся у себя и в три недели сочинил взамен Тасса другой акт, сюжетом которого был Гесиод, вдохновленный музой. Я ухитрился вставить в этот акт часть моих злоключений и намекнуть о зависти, которой Рамо удостоил мои таланты. В этом новом акте был менее величественный, но лучше выраженный подъем духа, чем в акте Тасса; музыка его была столь же благородна и гораздо лучше написана, и если бы два другие акта не уступали первому – вся пьеса выдержала бы постановку с успехом. Но пока я работал над ее завершением, меня отвлекло новое предприятие.

В зиму, последовавшую за битвой при Фонтенуа{241}, было много празднеств в Версале; между прочим, давалось несколько опер в театре Птит-Экюри{242}. В их числе была драма Вольтера, озаглавленная «Принцесса Наваррская»{243}, музыку к которой сочинил Рамо; это произведение было только что изменено, переработано и получило новое название: «Празднества Рамиры». Новый сюжет требовал некоторых изменений в прежних дивертисментах – как в стихах, так и в музыке. Нужно было найти кого-нибудь, кто справился бы с этой двойной задачей. Так как Вольтер, находившийся тогда в Лотарингии, и Рамо были заняты в это время оперой «Храм славы» и не могли уделить «Рамире» внимания, де Ришелье подумал обо мне и велел предложить мне взяться за нее, а чтобы я мог лучше разобраться, что нужно сделать, прислал мне отдельно стихи и ноты. Прежде всего я решил не прикасаться к тексту иначе, как с согласия автора, и написал Вольтеру по этому поводу, как и подобало, очень вежливое, даже почтительное письмо. Вот его ответ, оригинал которого находится в связке А, № 1:

«15 декабря 1745 г.

Милостивый государь, вы соединяете в себе два таланта, до сих пор всегда разъединенные. Вот уже у меня два основания, чтобы оценить и стремиться полюбить вас. Мне досадно за вас, что вы собираетесь применить оба эти таланта к труду над произведением, не слишком достойным этого. Несколько месяцев тому назад герцог де Ришелье решительно приказал мне набросать в мгновение ока ряд пустых и отрывочных сцен, которые нужно было приспособить к дивертисментам, составленным не для них. Я повиновался с величайшей точностью и выполнил работу очень быстро и очень плохо. Этот жалкий набросок я послал герцогу де Ришелье, рассчитывая, что он не воспользуется им или что я его исправлю. К счастью, он в ваших руках, и вы его полный хозяин; мне же теперь совсем не до этого. Не сомневаюсь, что вы исправите все ошибки, неизбежно проскользнувшие при столь поспешном составлении простого наброска, и устраните все упущения.

Вспоминаю, что между прочими несуразностями в этих сценах, связывающих дивертисмент, не сказано, каким образом принцесса Гренадина внезапно попадает из тюрьмы в сад и во дворец. Так как празднества в ее честь устраивает не волшебник, а испанский вельможа, мне кажется, ничто не должно происходить по волшебству. Прошу вас, сударь, не откажитесь еще раз взглянуть на это место, – у меня сохранилось о нем только смутное представление. Поглядите, не нужно ли, чтобы тюрьма открылась и нашу принцессу перевели из этой тюрьмы в прекрасный золоченый и блестящий дворец, приготовленный для нее. Я очень хорошо знаю, что все это ничтожно и что недостойно существа мыслящего превращать в серьезное дело такие пустяки; но в конце концов если задача в том, чтобы вызвать как можно меньше недовольства, то нужно вложить как можно больше ума даже в плохой оперный дивертисмент.

Я во всем полагаюсь на вас и на г-на Баллода и рассчитываю скоро иметь честь принести вам свою благодарность и заверить вас, милостивый государь, что я пребываю и т. д.»

Пусть не удивляются чрезвычайной вежливости этого письма по сравнению с другими, неучтивыми письмами, которые Вольтер писал мне потом. Он думал, что я пользуюсь особой благосклонностью герцога де Ришелье, и его всем известная придворная изворотливость побуждала его считаться с новой фигурой, пока он не узнает меру ее влияния.

Получив разрешение г-на де Вольтера и освобожденный от всякой необходимости считаться с Рамо, искавшим только случая повредить мне, я приступил к делу, и в два месяца работа моя была окончена. Что касается стихов, она свелась к очень немногому: я старался только, чтобы была незаметна разница в их стиле, – и я имел смелость полагать, что мне это удалось. Работа над музыкой была более длительной и более тяжелой; помимо того что мне пришлось сочинить несколько украшающих частей, между прочим увертюру, – весь речитатив, который был мне поручен, оказался необычайно трудным: нужно было связать – часто при помощи немногих стихов и очень быстрых переходов – симфонии и хоры весьма отдаленных тональностей; не желая, чтобы Рамо обвинил меня в искажении его арий, я решил не изменять и не транспонировать ни одной из них. Речитатив мне удался. Он был выразителен, полон энергии и в особенности превосходно модулирован. Мысль о двух великих людях, к которым меня удостоили присоединить, возвысила мой талант, и могу сказать, что в этой неблагодарной и не приносящей славы работе, о которой публика даже не могла быть осведомлена, я держался почти на уровне своих образцов.

Пьесу, в том виде, какой я придал ей, репетировали в Большой опере. Из трех авторов присутствовал я один. Вольтер был в отъезде, а Рамо не явился или спрятался.

Слова первого монолога были очень мрачны; вот его начало:

Прерви, о смерть, несчастья этой жизни.

Музыку поневоле пришлось писать соответствующую. Однако именно на этом г-жа де ла Поплиньер основала свою критику, обвиняя меня с большой едкостью в том, что я сочинил похоронную музыку. Г-н де Ришелье благоразумно начал с того, что осведомился, кому принадлежат стихи монолога. Я подал ему рукопись, присланную им мне и удостоверявшую, что стихи принадлежат Вольтеру. «В таком случае, – сказал он, – только Вольтер виноват». Во время репетиции все, что было сочинено мной, было осуждено г-жой де ла Поплиньер и оправдано г-ном де Ришелье. Но в конце концов я имел дело со слишком сильным противником, и мне было заявлено, что нужно изменить в моей работе несколько мест и относительно них мне следует посоветоваться с г-ном Рамо. Удрученный таким заключением вместо ожидаемых похвал, которые, конечно, были мной вполне заслужены, я вернулся домой с растерзанным сердцем. Разбитый усталостью, снедаемый скорбью, я заболел и шесть недель не мог выходить из дому.

Рамо, которому были поручены переделки, намеченные г-жой де ла Поплиньер, прислал ко мне за увертюрой к моей большой опере, чтобы заменить ею только что написанную. К счастью, я учуял подвох и отказал. Так как оставалось всего пять или шесть дней до представления, он не успел сочинить новую увертюру и пришлось оставить мою. Она была написана в итальянской манере, в стиле совсем новом в те времена во Франции. Тем не менее она пришлась по вкусу, и я узнал от де Вальмалета, который был дворецким короля и зятем де Мюссара, моего родственника и друга, что любители остались очень довольны моим произведением и публика не отличила его от произведений Рамо. Однако последний, в согласии с г-жой де ла Поплиньер, принял меры к тому, чтобы осталось неизвестным даже то, что я работал над ним. На либретто, раздаваемых зрителям, где всегда указываются авторы, назван был только Вольтер: Рамо предпочел, чтобы его имя было вычеркнуто, лишь бы рядом не стояло мое.

Как только я получил возможность выходить из дому, я решил отправиться к г-ну де Ришелье. Время было упущено; он только что уехал в Дюнкерк, где должен был руководить посадкой войск, отправляемых в Шотландию{244}. По его возвращении я, чтобы оправдать свою лень, убедил себя, что теперь слишком поздно. Так как с тех пор я больше не видел его, я лишился почета, который заслужил своим произведением, и гонорара, который оно должно было мне доставить; и мое время, мой труд, мое огорчение, моя болезнь и деньги – все пропало даром, не дав мне ни единого су дохода или, вернее, возмещения. Мне, однако, всегда казалось, что г-н Ришелье искренне чувствовал расположение ко мне и был выгодного мнения о моих дарованиях; но моя несчастная судьба и г-жа де ла Поплиньер уничтожили все значение его добрых намерений.

Я не мог понять недоброжелательства этой женщины, которой старался понравиться и за которой довольно усердно ухаживал. Гофкур объяснил мне причины: «Во-первых, – сказал он, – ее дружба с Рамо, которому она поклоняется, ненавидя при этом его возможных соперников; кроме того – вы женевец, а такого преступления она вам никогда не простит». И тут он рассказал мне, что аббат Юбер, тоже женевец и преданный друг г-на де ла Поплиньера, старался удержать его от женитьбы на этой женщине, которую он хорошо знал; за это после свадьбы она воспылала непримиримой ненавистью к нему и ко всем женевцам. «Хотя ла Поплиньер хорошо к вам относится, – прибавил он, – но, насколько я знаю его, – не рассчитывайте на его поддержку. Он влюблен в свою жену; она ненавидит вас; она злая, она ловкая; вы никогда ничего не достигнете в этом доме». Я принял эти слова к сведению.

Тот же самый Гофкур оказал мне приблизительно в то же самое время услугу, в которой я очень нуждался. Только что умер мой добродетельный отец в возрасте около шестидесяти лет{245}. Я перенес эту утрату легче, чем это было бы в другое время, когда трудности моего положения менее поглощали меня. Я не хотел требовать при жизни отца своей доли состояния моей матери, приносившего ему маленький доход; теперь, после его смерти, у меня уже не было причин стесняться в этом вопросе. Но отсутствие юридического доказательства смерти моего брата составляло затруднение, которое Гофкур взялся устранить и действительно устранил при содействии адвоката де Люльма. Так как у меня была самая крайняя нужда в этом маленьком источнике дохода, а получение его было сомнительно, я ожидал решительного известия с живейшей тревогой. Однажды вечером, вернувшись домой, я нашел письмо, в котором должно было содержаться это известие; я схватил письмо, торопясь распечатать его, дрожа от нетерпенья, которого сам устыдился. «Что это! – сказал я себе с презреньем. – Неужели Жан-Жак позволит до такой степени покорить себя корысти и любопытству?» Я тотчас же положил письмо обратно на камин, разделся и спокойно лег в постель; я спал лучше, чем обычно, и встал на другой день довольно поздно, не думая больше о письме. Одеваясь, я увидел его; я вскрыл его не спеша и нашел в нем вексель. Я пережил сразу много радостей; но могу поклясться, что самой сильной была та, что я сумел одержать победу над собой. Я мог бы привести двадцать подобных же случаев в своей жизни, но мне надо торопиться, чтоб иметь возможность обо всем рассказать. Я послал небольшую часть полученных мною денег моей бедной маменьке, сожалея до слез о том счастливом времени, когда я положил бы всю сумму к ее ногам. Она писала мне, и каждое письмо выдавало ее бедственное положение. Она присылала мне груды рецептов и секретов, настаивая, чтобы я при помощи их составил состояние себе и ей. Сознание своей нищеты уже сжимало ей сердце и суживало ум. То немногое, что я ей послал, стало добычей осаждавших ее мошенников. Она не воспользовалась ничем. Это отбило у меня охоту делиться необходимым с какими-то негодяями, в особенности после того, как я сделал бесплодную попытку вырвать ее из их рук, о чем будет сказано ниже.

Время текло, а с ним и деньги. Нас было двое, даже четверо, или, вернее сказать, нас было семь или восемь человек: ведь если Тереза отличалась редким бескорыстием, ее мать

была не такова. Как только она поправила свои обстоятельства благодаря моим заботам, она выписала всю семью, чтобы разделить плоды этих забот. Сестры, сыновья, дочери, внучки – все явились, кроме ее старшей дочери, которая была замужем за смотрителем станции почтовых карет в Анжере. Все, что я делал для Терезы, обращалось ее матерью в пользу этих голодных. Так как я имел дело не с жадной женщиной и не был охвачен безрассудной страстью, я не делал безумных трат. Довольствуясь тем, что содержу Терезу прилично, но без роскоши, избавив ее от острой нужды, я соглашался, чтобы то, что она зарабатывала своим трудом, шло целиком в пользу ее матери, и не ограничивался только этим; но по воле преследовавшей меня судьбы, в то время как маменька была жертвой окружавших ее проходимцев, Тереза была жертвой своей семьи, – и сколько бы я ни делал для дочери и для матери, сами они не пользовались тем, что я для них предназначал. Было странно, что младшая из дочерей г-жи Левассер, единственная не получившая приданого, оказалась кормилицей отца и матери, и после того как ее в детстве били братья, сестры, даже племянницы, они теперь обирали бедную девушку, а она так же плохо умела оградить себя от их воровства, как от их побоев. Только одна из ее племянниц, Готон Ледюк, была довольно славная и довольно кроткого нрава, хоть и испорченная примером и внушениями других. Я часто видел ее вместе с Терезой и стал называть их так, как они называли друг друга: племянницу – племянницей, а тетку – теткой. Обе называли меня дядей. Отсюда имя *тетя,* которым я всегда называл Терезу и которое мои друзья повторяли иногда в шутку.

Ясно, что мне нельзя было терять ни минуты в поисках выхода из создавшегося положения. Полагая, что г-н де Ришелье меня забыл, и больше не надеясь на покровительство двора, я сделал несколько попыток поставить в Париже свою оперу, но встретил трудности, требовавшие много времени для преодоления, а мне с каждым днем приходилось все больше и больше торопиться. Я рискнул предложить свою маленькую комедию «Нарцисс» итальянскому театру. Она была там принята, и я получил туда бесплатный вход, что доставило мне громадное удовольствие; но это было все. Я никак не мог добиться постановки своей пьесы и, наскучив ухаживаньем за актерами, плюнул на них. Я прибег наконец к последнему остававшемуся у меня средству – единственному, к которому должен бы был прибегнуть. Навещая семью г-на де ла Поплиньера, я отдалился от семьи г-на Дюпена. Обе дамы, хоть и родственницы, не ладили друг с другом и не встречались; между двумя семьями не было никакого общения, и только Тьерио уживался и тут и там. Ему было дано порученье постараться вернуть меня к Дюпену. Де Франкей занимался тогда естественной историей и химией и устраивал научный кабинет. Мне кажется, он стремился попасть в Академию наук, хотел написать книгу для этого и считал, что я могу быть ему полезен в этой работе. Г-жа Дюпен, тоже задумавшая написать книгу, имела на меня почти такие же виды. Обоим хотелось иметь в моем лице нечто вроде секретаря, – в этом и была цель увещаний Тьерио. Я предварительно потребовал, чтобы Франкей воспользовался своим влиянием и влиянием Желиотта{246}, для того чтобы мою пьесу начали репетировать в Опере. Он на это согласился. «Галантные музы» были репетированы несколько раз в реквизитной Большой оперы, потом в самом театре. На генеральной репетиции было много народа, и некоторые отрывки вызвали шумные аплодисменты. Однако я сам понял во время исполнения, которым очень плохо дирижировал Ребель{247}, что пьеса не пройдет и даже не может быть поставлена без больших исправлений. Я взял ее обратно, не говоря ни слова и не подвергая себя отказу; но я видел ясно по многим признакам, что мое произведение, будь оно безупречно, все равно не прошло бы. Г-н Франкей обещал мне, правда, что его будут репетировать, но не обещал, что оно будет принято. Он точно сдержал свое слово. Мне всегда казалось и в этом, и во многих других случаях, что ни он, ни г-жа Дюпен и не думали помочь мне приобрести некоторую известность в обществе: может быть, оба опасались, как бы не заподозрили, увидев их книги, что они привили мои таланты к своим. Но г-жа Дюпен всегда считала мои даро-

вания весьма посредственными и пользовалась моими услугами лишь для писанья под ее диктовку или для чисто ученых изысканий, и этот упрек, особенно по ее адресу, был бы очень несправедлив.

Эта последняя неудача окончательно лишила меня мужества. Я оставил всякую надежду на продвижение и славу и, не думая больше о своих подлинных или мнимых талантах, от которых мне было так мало проку, решил посвятить все свое время и свои усилия на то, чтобы обеспечить существование самому себе и своей Терезе любой работой, какую вздумают предложить мне те, кто согласится оказать мне поддержку. Итак, я совсем связал себя с г-жой Дюпен и г-ном Франкеем. Это не дало мне большого богатства: в течение первых двух лет я получал восемьсот-девятьсот франков, мне едва хватало на самое необходимое, так как я был вынужден жить неподалеку от г-жи Дюпен, в меблированных комнатах, в довольно дорогом районе, и оплачивать другое помещение, на краю Парижа, в самом конце улицы Сен-Жак, куда при любой погоде я ходил ужинать почти каждый вечер. Я скоро втянулся и даже вошел во вкус своих новых занятий. Я пристрастился к химии, прослушал вместе с Франкеем несколько лекций у Руэля, и мы принялись марать бумагу, как бог на душу положит, составляя книгу по предмету, из которого усвоили лишь начатки. В 1747 году мы отправились на осень в Турень, в замок Шенонсо – величественное здание на Шере, построенное Генрихом II для Дианы де Пуатье{248}, чьи вензеля еще видны на нем, и ныне принадлежащее г-ну Дюпену, главному откупщику. В этом прекрасном доме жилось очень весело; там был отличный стол, и я разжирел, как монах. Много занимались музыкой. Я сочинил несколько трио для пения, полных довольно выдержанной гармонии, о которых я, может быть, еще буду говорить в приложении, если когда-нибудь напишу его. Ставили комедии. Я сочинил в две недели трехактную комедию, под названием «Смелая затея»{249}. Ее найдут среди моих бумаг; в ней нет других достоинств, кроме того, что она очень веселая. Я сочинил и несколько других маленьких произведений, между прочим стихотворение – «Аллея Сильвии»{250}, по названию одной из аллей парка, тянувшегося вдоль берега Шера. И все это не прерывало ни моей работы по химии, ни работы у г-жи Дюпен.

Пока я толстел в Шенонсо, моя бедная Тереза толстела в Париже на другой лад; и когда я туда вернулся, то оказалось, что работа, которую я вложил в станок, ближе к завершению, чем я ожидал. Это поставило бы меня, ввиду моих обстоятельств, в безвыходное положение, если бы мои соседи по столу не указали мне единственное средство, которое могло меня выручить. Вот одно из тех важных признаний, которые я не могу делать вполне непринужденно, так как, комментируя их, мне пришлось бы либо оправдываться, либо клеймить себя, а здесь я не должен делать ни того, ни другого.

Во время пребывания Альтуны в Париже, вместо того чтобы обедать в трактире, мы столовались обыкновенно по соседству, почти против тупика Оперы, у некоей г-жи Ласелль, жены портного; кормила она довольно плохо, но стол ее тем не менее привлекал многих из-за хорошей и дружной компании, собиравшейся в ее доме, потому что туда не допускали ни одного незнакомого и нужно было быть представленным кем-нибудь из тех, кто там обыкновенно столовался. Командор де Гравиль, старый кутила, благовоспитанный и остроумный, но любитель непристойностей, жил здесь и привлекал сюда легкомысленную и блестящую молодежь из офицеров гвардии и мушкетеров. Командор де Нонан, кавалер всех распутниц Оперы, ежедневно приносил сюда все новости этого притона. Дюплесси, подполковник в отставке, добрый и умный старик, и Анселе, офицер мушкетерского полка, поддерживали здесь известный порядок среди молодежи[31]. Приходили сюда также коммер-

[31] Этому Анселе я преподнес маленькую комедию в свойственном мне духе, под названием «Военнопленные»{494}, которую сочинил после разгрома французов в Баварии и Богемии{495} и которую никогда не осмеливался признать своей или показать кому-либо – по той странной причине, что никогда по адресу короля Франции и французов не было выска-

санты, финансисты, поставщики провианта – люди воспитанные, порядочные, из тех, что выделялись в своей среде: де Бесс, де Форкад и другие, чьи имена я забыл. Короче говоря, здесь бывали приличные люди всех сословий, кроме аббатов и судейских, которых я здесь никогда не видал: было условлено не вводить их сюда. Словом, общество было довольно многочисленное, очень веселое, но без шумливости; там часто дурачились, но без грубости. Старый командор, несмотря на свои по существу сальные рассказы, всегда соблюдал старинную придворную учтивость и если говорил непристойности, то в такой шутливой форме, что даже женщины простили бы его. Он задавал тон всему столу: все эти молодые люди рассказывали о своих любовных проказах столь же вольно, сколь и изящно. Рассказов о женщинах легкого поведения было тем больше, что на улице, по которой нужно было проходить к г-же Ласелль, был магазин Дюша, знаменитой модистки, где работали очень хорошенькие девушки, с которыми наши кавалеры заходили побеседовать до или после обеда. Я развлекался бы там, как и другие, будь у меня больше смелости. Нужно было только войти, как они, но я никогда не решался. Довольно часто обедал я у г-жи Ласелль и после отъезда Альтуны.

Я узнал там тьму очень забавных анекдотов, а также усвоил мало-помалу… нет, слава богу, отнюдь не нравы, но житейские принципы, которые, как я видел, установились в этой среде. Люди честные, но сбившиеся с пути, обманутые мужья, соблазненные женщины, тайные роды – были там самыми обычными темами разговоров; и тот, кто больше других увеличивал население Воспитательного дома, всегда встречал наибольшее одобрение. Я поддался этому; я согласовал свой образ мыслей с тем, который, как я видел, господствует среди очень милых и, в сущности, очень порядочных людей. И я сказал себе: «Раз таков обычай страны, то, живя в ней, можно следовать ему. Вот выход, которого я искал». Я смело решился на него без малейших угрызений совести; мне оставалось только победить сомнения Терезы, и я с огромным трудом заставил ее согласиться на это единственное средство спасти ее честь. Когда ее мать, больше всего боявшаяся новой возни с ребятами, пришла мне на помощь, она сдалась. Выбрали осторожную и надежную акушерку, некую м-ль Гуань, жившую в конце улицы Св. Евстафия, чтобы доверить ей это дело, и, когда пришло время, мать отвела Терезу к м-ль Гуань для родов. Я навещал ее там несколько раз и отнес ей метку, нарисованную мною в двух экземплярах на кусках картона: один из них был положен в пеленки младенца, и акушерка сдала ребенка в контору Воспитательного дома в обычном порядке. На следующий год то же затруднение – и тот же выход, кроме метки, о которой не позаботились. Больше никаких размышлений с моей стороны, никаких возражений со стороны матери: она подчинилась, горько вздыхая. В дальнейшем будет видно, какое пагубное влияние имели эти поступки на мой образ мыслей и мою судьбу. Пока будем держаться этой ранней эпохи. Ее последствия, столь же мучительные, сколь непредвиденные, заставят меня слишком часто к ней возвращаться.

Отмечаю здесь первое свое знакомство с г-жой д’Эпине{251}, имя которой будет часто упоминаться в этих воспоминаниях. Ее девичья фамилия была д’Эсклавель, и она только что вышла замуж за г-на д’Эпине, сына де Ладив де Бельгарда, главного откупщика. Ее муж был музыкантом, подобно Франкею. Она тоже была музыкантша, и страсть к этому искусству установила между этими тремя лицами тесную близость. Де Франкей ввел меня к г-же д’Эпине; я ужинал иногда у нее вместе с ним. Она была приветлива, умна, даровита; это было во всяком случае приятное знакомство. Но у нее была подруга, некая м-ль д’Этт, – она слыла злой женщиной; ее любовник, шевалье де Валори, тоже не отличался добротой. Мне кажется, что общение с этими двумя лицами принесло вред г-же д’Эпине, от природы

зано более искренних похвал, чем в этой пьесе, а я, отъявленный республиканец и фрондер, не решался признать себя панегиристом народа, все принципы которого противоречили моим. Более удрученный несчастьями Франции, чем сами французы, я боялся, чтобы не сочли лестью и низкопоклонством выраженья искренней привязанности, возникновение и причину которой я указал в первой части (кн. V) и которую стыдился обнаружить. (*Прим. Руссо*.)

наделенной превосходными качествами, которые смягчали или искупали ошибки ее требовательного темперамента. Франкей сообщил ей часть дружеского чувства, какое он питал ко мне, и признался мне в своей связи с ней. Я не решился бы говорить здесь об этой связи, если б она не стала общеизвестной настолько, что не осталась скрытой от самого г-на д'Эпине. Де Франкей даже сделал мне относительно этой дамы довольно странные признания; сама она никогда их не делала и даже не знала, что я посвящен в ее тайны, так как я никогда в жизни не вымолвил и не вымолвлю о них ни слова ни ей, ни кому бы то ни было. Доверие, оказанное мне той и другой стороной, поставило меня в очень затруднительное положение, особенно по отношению к г-же де Франкей, – она достаточно знала меня и доверяла мне, хоть я и был связан с ее соперницей. Я утешал как мог эту бедную женщину; муж не платил ей той любовью, какую она питала к нему. Я выслушивал порознь этих трех лиц, но хранил их тайны с величайшей верностью, ни один из троих не мог никогда вырвать у меня тайну двух других; при этом я не скрывал от каждой из этих двух женщин своей привязанности к ее сопернице. Г-жа де Франкей, желавшая воспользоваться моей дружбой для многого, получала решительные отказы, а когда г-жа д'Эпине как-то захотела передать через меня письмо Франкею, она не только получила такой же отказ, но еще очень определенное заявление, что, если она желает навсегда изгнать меня из своего дома, ей стоит только сделать мне вторично такое же предложение. Нужно отдать справедливость г-же д'Эпине: этот поступок не только не вызвал ее неудовольствия, но она рассказала о нем Франкею с похвалой и продолжала принимать меня ничуть не хуже. Таким-то образом, при напряженных отношениях этих трех лиц, которых я должен был щадить, от которых до известной степени зависел и к которым был привязан, – я сохранил до конца их дружбу, уважение и доверие благодаря тому, что держал себя мягко и услужливо, но всегда с прямотой и твердостью. Несмотря на мою глупость и неловкость, г-жа д'Эпине хотела привлечь меня к развлечениям в Шевретте, замке близ Сен-Дени, принадлежавшем де Бельгарду. Там был театр, где часто устраивались спектакли. Мне поручили роль, которую я учил шесть месяцев непрерывно, но на спектакле пришлось ее суфлировать мне от начала до конца.

После этого опыта мне уже больше не предлагали ролей.

Познакомившись с г-жой д'Эпине, я познакомился также с ее невесткой, м-ль де Бельгард, которая вскоре стала графиней д'Удето{252}. В первый раз я видел ее перед самой ее свадьбой; она долго беседовала со мной с обаятельной простотой, так свойственной ей. Я нашел ее очень милой, но был далек от мысли, что эта молодая особа однажды определит мою судьбу и увлечет меня, хотя и без всякой своей вины, в бездну, в которой я теперь нахожусь.

Хотя со времени моего возвращения из Венеции я еще не упоминал о Дидро, а также о своем друге Рогене, однако я не забыл ни того, ни другого и день ото дня все больше и больше сходился с ними, особенно с первым. У него была Нанетта{253}, как у меня – Тереза, – еще одна черта сходства между нами. Но разница была в том, что у моей Терезы, столь же миловидной, как и его Нанетта, был кроткий нрав и уступчивый характер, созданный для того, чтобы привязать порядочного человека, между тем как подруга Дидро, сварливая и злоязычная женщина, не проявляла себя в глазах посторонних ничем, что могло бы искупить ее дурное воспитание. Тем не менее Дидро на ней женился. Это был очень хороший поступок, если он обещал это сделать. Я же, не обещав ничего подобного, не спешил подражать ему.

Я близко сошелся также с аббатом де Кондильяком;{254} как и я, он ничего не представлял собою в литературе, но создан был для того, чтобы стать тем, чем стал теперь. Я первый, может быть, увидел его одаренность и оценил его по достоинству. Ему, кажется, тоже было приятно мое общество, и в ту пору, когда я, запершись у себя в комнате на улице Жан-Сен-Дени, близ Оперы, писал акт о Гесиоде, он нередко приходил пообедать вдвоем со мной

в складчину. Он работал тогда над «Опытом о происхождении человеческих знаний»{255}, своим первым трудом. Когда этот труд был закончен, возникла тяжелая задача найти издателя, который взял бы на себя его опубликование. Парижские книгопродавцы заносчивы и грубы со всяким начинающим, а метафизика{256} была тогда не в моде и не представляла собой особенно привлекательного предмета. Я рассказал Дидро о Кондильяке и его труде; познакомил их. Они были созданы для того, чтобы сойтись; они сошлись. Дидро уговорил книгоиздателя Дюрана взять рукопись аббата, и этот великий метафизик получил за свою первую книгу – и то почти из снисхождения – сто экю, которых, может быть, не имел бы без меня. Так как мы жили в очень отдаленных друг от друга кварталах, то собирались все трое раз в неделю в Пале-Рояле и отправлялись вместе обедать в гостиницу «Панье-Флери». По-видимому, эти еженедельные обеды очень нравились Дидро, потому что он, почти никогда не являвшийся на назначенные свидания, не пропустил ни одной из этих встреч. Там у меня возник проект периодического листка под названием «Зубоскал», который мы должны были составлять по очереди – Дидро и я. Я набросал первый номер, и это познакомило меня с д'Аламбером{257}, которому Дидро говорил о нашем замысле. Непредвиденные обстоятельства помешали нам, и проект так и не был осуществлен.

Два этих писателя только что предприняли составление «Энциклопедического словаря», который сперва должен был быть чем-то вроде перевода Чемберса{258}, похожего на перевод «Медицинского словаря» Джемса{259}, только что законченного Дидро. Последний захотел, чтобы я принял хоть какое-нибудь участие в этом втором начинании, и предложил мне отдел музыки, на что я согласился и написал статьи для этого отдела, наспех и очень плохо, в те три месяца, которые он мне дал, как всем авторам, привлеченным к этому изданию. Но только я один представил работу в назначенный срок. Я передал Дидро свою рукопись, переписанную начисто одним из лакеев г-на де Франкея, Дюпоном, обладавшим очень хорошим почерком, – за переписку я заплатил десять экю из своего кармана, которые никогда не были мне возмещены. Дидро обещал мне от имени книгопродавцев вознаграждение, однако ни он больше не заговаривал со мной об этом, ни я с ним.

Издание «Энциклопедии» было прервано его арестом. «Философские мысли»{260} навлекли на него некоторые неприятности, не имевшие последствий. Иначе вышло с его «Письмом о слепых»{261}, не содержавшим ничего предосудительного, кроме некоторых личных намеков, обидевших г-жу Дюпре де Сен-Мор и г-на де Реомюра, за что он был посажен в Венсенскую башню{262}. Невозможно передать, как огорчила меня эта беда, постигшая моего друга. Мое мрачное воображение, которое всегда делает плохое еще худшим, закипело. Мне казалось, что он останется там до конца своих дней. Голова у меня пошла кругом. Я написал г-же де Помпадур{263}, умоляя ее настоять на освобождении Дидро или добиться, чтобы меня заключили вместе с ним. Я не получил никакого ответа на свое письмо: оно было слишком неблагоразумно, чтобы оказать действие, и я не обольщаю себя мыслью, что условия заключения бедного Дидро были в скором времени смягчены именно из-за моего вмешательства. Но если бы это заключение продлилось еще с той же строгостью, мне кажется, я умер бы от отчаяния у подножия этой злосчастной башни. Впрочем, если мое письмо принесло мало пользы, то я и не ставил его себе в большую заслугу, так как говорил об этом письме очень немногим и никогда не рассказывал о нем самому Дидро.

Книга восьмая
(1749–1755)

Окончив предыдущую книгу, я должен был сделать перерыв. Новая книга начинается с описания длинной цепи моих бедствий.

Постоянно бывая в двух парижских домах из числа наиболее блестящих, я, несмотря на свою малую общительность, все же составил себе там некоторый круг знакомств. Между прочим, я познакомился у г-жи Дюпен с молодым наследным принцем Саксен-Готским и с бароном Туном, его воспитателем. У г-жи де ла Поплиньер я познакомился с другом барона Туна, г-ном Сеги{264}, известным в литературном мире благодаря своему прекрасному изданию Руссо. Барон пригласил нас, Сеги и меня, провести дня два в Фонтеней-су-Буа, где у принца был дом. Мы отправились туда. Проезжая мимо Венсена, я при виде тюремной башни почувствовал такую боль в сердце, что барон заметил это по моему лицу. За ужином принц заговорил об аресте Дидро. Барон, чтобы вызвать меня на разговор, обвинил заключенного в неосторожности; я допустил такую же неосторожность, принявшись горячо защищать его. Мне простили эту чрезмерную пылкость, как человеку, взволнованному несчастьем друга, и перевели разговор на иную тему. Там были еще два немца, состоявшие при принце: один, по фамилии Клюпфель, человек большого ума, был его капелланом и впоследствии сделался его воспитателем, устранив барона; другой был молодой человек, по фамилии Гримм{265}, исполнявший при нем обязанности чтеца, в ожидании какой-нибудь другой должности, и более чем скромный наряд его свидетельствовал о крайней нужде. С того самого вечера мы с Клюпфелем завязали знакомство, скоро превратившееся в дружбу. С Гриммом дело пошло не так быстро, хотя он держался скромно и был очень далек от того самонадеянного тона, какой благополучие сообщило ему впоследствии. На другой день за обедом беседовали о музыке; он хорошо говорил о ней. Я был в восторге, узнав, что он аккомпанирует на клавесине. После обеда велели принести ноты. Мы играли целый день на клавесине принца. Так началась наша дружба, для меня сперва столь отрадная, а под конец столь пагубная. Впредь мне придется много говорить о ней.

Вернувшись в Париж, я узнал приятную новость, что Дидро выпущен из тюремной башни, что его перевели в Венсенский замок, позволили ему гулять в парке и, под честное слово, видеться с друзьями. Как тяжело мне было, что я не мог тотчас же помчаться к нему! Но неотложные занятия задержали меня у г-жи Дюпен на два-три дня, показавшиеся для моего нетерпения двумя или тремя веками; наконец я полетел в объятия друга. Непередаваемая минута! Он был не один: д’Аламбер и казначей церкви Сент-Шапель были у него. Входя, я видел только его; я с криком бросился к нему, крепко сжал его в объятиях, выражая свои чувства только слезами и рыданьями; я задыхался от нежности и радости. Освободившись, он прежде всего обратился к священнику и сказал ему: «Видите, сударь, как любят меня мои друзья?» Весь охваченный волненьем, я не обратил тогда внимания на то, как Дидро сумел извлечь из него выгоду; но впоследствии, вспоминая об этом, я всегда думал, что, будь я на месте Дидро, не такая мысль первой пришла бы мне в голову.

Я нашел, что тюрьма подействовала на него угнетающе. Башня произвела ужасное впечатление; и хотя в замке он чувствовал себя сносно и мог свободно совершать прогулки по парку, даже не обнесенному стеной, но все же нуждался в обществе друзей, чтобы не впасть в мрачное расположение духа. Я, несомненно, больше всех сочувствовал его страданью и полагал, что мое присутствие будет для него наилучшим утешеньем; поэтому, несмотря на очень срочные дела, я навещал его не реже чем через день – либо один, либо с его женой – и проводил с ним послеобеденные часы.

В 1749 году лето было необычайно жаркое. От Парижа до Венсена считается около двух миль. Не имея средств на фиакр, я в два часа дня отправлялся пешком, если был один, и шел быстрым шагом, чтоб прийти пораньше. Придорожные деревья, подстриженные по обычаю страны, не давали почти никакой тени; и часто, побежденный жарой и усталостью, я в изнеможении растягивался на земле. Чтобы идти медленнее, я решил брать с собой какую-нибудь книгу. Однажды я взял «Меркюр де Франс» и, пробегая его на ходу, наткнулся на такую тему, предложенную Дижонской Академией{266} на соискание премии следующего года: «Способствовало ли развитие наук и искусств порче нравов или же оно содействовало улучшению их?»

Как только я прочел это, передо мной открылся новый мир и я стал другим человеком. Я живо помню полученное мной впечатление, но подробности у меня улетучились, лишь только я изложил их в одном из четырех своих писем к г-ну де Мальзербу. Это одно из свойств моей памяти, стоящее того, чтобы быть упомянутым. Она служит мне только до тех пор, пока я на нее полагаюсь; как только я доверяю то, что она хранит, бумаге, она изменяет мне, и раз я что-нибудь записал, я уже больше не помню этого. Свойство это не покидает меня даже в музыке. До того как я начал учиться музыке, я знал наизусть множество песен; как только я научился петь по нотам, я не мог удержать в памяти ни одной мелодии: сомневаюсь, смогу ли воспроизвести теперь целиком хотя бы одну, и даже из числа тех, которые больше всего любил.

В данном случае я помню ясно только то, что, придя в Венсен, я был в возбуждении, граничившем с бредом. Дидро заметил это; я объяснил ему причину и прочел ему прозопопею Фабриция{267}, написанную карандашом под дубом. Он убеждал меня не сдерживать полета мыслей и участвовать в конкурсе. Так я и поступил – и с того момента погиб. Вся остальная моя жизнь и все мои несчастья были неизбежным следствием этого рокового мгновения.

Мои чувства с непостижимой быстротой настроились в тон моим мыслям. Все мелкие страсти были заглушены энтузиазмом истины, свободы, добродетели; и удивительнее всего то, что это пламя горело в моем сердце более четырех или пяти лет так сильно, как, быть может, еще никогда не горело оно в сердце другого человека.

Я работал над этим «Рассуждением» очень странным способом, которого придерживался почти всегда во всех других моих работах. Я посвящал ему свои бессонные ночи. Я размышлял в постели с закрытыми глазами, составляя и переворачивая в голове свои периоды с невероятными усилиями; потом, добившись того, что они меня удовлетворяли, я укладывал их у себя в памяти до тех пор, пока не получал возможности положить их на бумагу; но когда приходило время вставать и одеваться, я все забывал; и когда садился писать, в голове у меня не возникало почти ничего из того, что я сочинил. Я решил взять себе секретарем г-жу Левассер. Я поместил ее с дочерью и с мужем поближе к себе; и чтобы избавить меня от расходов на прислугу, она каждое утро топила мой камин и хозяйничала. Как только она приходила, я, лежа в постели, диктовал ей сочиненное ночью; и этот способ, которому я следовал очень долго, спас многое от моей забывчивости.

Когда «Рассуждение» было готово, я показал его Дидро, который остался очень доволен им и посоветовал кое-что исправить. Между тем это сочинение, полное жара и силы, решительно страдает отсутствием логики и стройности; из всего, что вышло из-под моего пера, оно самое слабое в отношении доводов и самое бедное в отношении соразмерности и гармонии; но с каким талантом ни родись, искусство писать дается не сразу.

Я отправил эту вещь, никому больше о ней не говоря, – кажется, кроме Гримма, с которым после его поступления к графу де Фриезу я завязал самую тесную дружбу. У него был клавесин, который служил нам поводом для сближения и за которым я проводил с ним все свои свободные минуты, распевая итальянские арии и баркаролы без отдыха и передышки, с

утра до вечера или, вернее, – с вечера до утра; и если только меня не находили у г-жи Дюпен, то могли быть уверены, что найдут у г-на Гримма или, во всяком случае, с ним – либо на прогулке, либо на спектакле. Я перестал посещать Итальянскую Комедию, куда имел право бесплатного входа, потому что Гримм ее не любил, и начал вместе с ним за плату бывать во Французской Комедии{268}, к которой он питал страсть. Словом, такое сильное влечение привязывало меня к этому молодому человеку, и я стал с ним до того неразлучен, что даже бедная «тетя» бывала из-за этого забыта, – то есть я стал реже видеться с ней, но моя привязанность к ней ни на минуту не ослабевала в течение всей моей жизни.

Невозможность разделить мои немногие свободные часы между людьми, к которым я был привязан, пробуждала во мне давнишнее желание поселиться вместе с Терезой. До сих пор меня удерживала от этого ее многочисленная семья, а главное – недостаток средств для приобретенья мебели. Но мне представился благоприятный случай, и я воспользовался им. Г-н де Франкей и г-жа Дюпен, хорошо понимая, что восемьсот-девятьсот франков в год не могут быть для меня достаточными, по собственному почину повысили мой годовой гонорар до пятидесяти луидоров; и, кроме того, г-жа Дюпен, узнав, что я задумал обзавестись своим хозяйством, предоставила мне кое-какую мебель. Мы присоединили ее к обстановке, которая уже была у Терезы; наняв квартирку в доме Лангедока на улице Гренель-Сент-Оноре, у очень хороших людей, мы устроились как смогли и прожили там мирно и приятно семь лет, вплоть до моего переезда в Эрмитаж.

Отец Терезы был славный старик, очень кроткий, до крайности боявшийся своей жены; он дал ей прозвище «уголовный следователь», которое Гримм в шутку перенес впоследствии на дочь. Г-жа Левассер была не лишена ума, вернее, хитрости, кичилась своей обходительностью и светскостью; но она отличалась притворной ласковостью, которой я терпеть не мог, давала довольно скверные советы дочери, стараясь сделать ее неискренней со мной, и льстила моим друзьям, каждому порознь – одному за счет другого и за мой счет; впрочем, она была доброй матерью, потому что находила это выгодным для себя, и покрывала проступки своей дочери, потому что извлекала из них пользу. Я окружил эту женщину вниманием, заботами, делал ей маленькие подарки, стараясь заслужить ее любовь, но никак не мог добиться этого, и она была единственным источником огорчения, которое я испытывал у своего домашнего очага. Впрочем, могу сказать, что за эти шесть-семь лет я наслаждался самым полным семейным счастьем, какое только возможно для человеческой слабости. У моей Терезы было ангельское сердце; наша привязанность возрастала вместе с нашей близостью, и мы с каждым днем все более чувствовали, в какой мере созданы друг для друга. Если б наши удовольствия можно было описать, они вызвали бы смех своей простотой: наши прогулки вдвоем за городом, где я роскошно тратил девять-десять су в каком-нибудь кабачке; наши скромные ужины у моего окна, где мы сидели друг против друга на двух низеньких стульях, поставленных на сундук, занимавший всю ширину амбразуры. Подоконник служил нам столом, мы дышали свежим воздухом и могли видеть окрестности, прохожих и тут же, хоть и с четвертого этажа, за едой рассматривать улицу. Кто опишет, кто поймет очарование этих трапез, состоявших вместо всяких блюд из ломтя простого хлеба, нескольких вишен, кусочка сыра и полсетье{269} вина, которое мы распивали вдвоем? Дружба, доверие, близость, нежность душ – какая восхитительная приправа! Иногда мы оставались у окна до полуночи, не замечая этого и не заботясь о времени, пока старая мамаша не напоминала нам о нем. Но опустим эти подробности, которые покажутся нелепыми или смешными; я всегда говорил и чувствовал, что подлинного наслаждения невозможно описать.

Около того же времени я испытал другое, более грубое наслажденье, но это было последнее в таком роде; с тех пор я не мог упрекнуть себя в чем-либо подобном. Я говорил, что пастор Клюпфель был очень милый человек; мое знакомство с ним было ничуть не менее тесным, чем с Гриммом, и перешло в такую же близость; иногда они обедали у меня.

Эти трапезы, более чем скромные, оживлялись тонкими и веселыми шутками Клюпфеля и забавными германизмами Гримма, тогда еще не умевшего правильно говорить по-французски. Чувственность не председательствовала на наших маленьких оргиях; но веселье заменяло ее, и мы чувствовали себя так хорошо вместе, что не могли больше расстаться. Клюпфель нанял квартиру для одной девицы, которая, однако, не перестала принадлежать всем, потому что он не мог содержать ее только для себя. Однажды вечером, входя в кафе, мы встретились с ним, когда он выходил оттуда, направляясь к ней ужинать. Мы стали смеяться над ним; он галантно отомстил нам, зазвав нас на этот ужин, и в свою очередь посмеялся над нами. Мне показалось, что это бедное созданье, от природы хорошее, очень кроткое, мало подходит для своего ремесла, к которому какая-то состоявшая при ней ведьма старательно приучала ее. Болтовня и вино до того оживили нас, что мы забылись. Добрый Клюпфель не захотел угощать наполовину, и мы, все трое, прошли друг за другом в соседнюю комнату с бедняжкой, не знавшей, смеяться ей или плакать. Гримм всегда утверждал, что не дотронулся до нее; видно, только для того, чтоб позабавиться нашим нетерпеньем, он так долго оставался с ней; если же он действительно воздержался, то маловероятно, что сделал это из нравственных побуждений, так как до того, как поступить к графу де Фриезу, он жил у девиц в том же квартале Сен-Рок.

Я ушел с улицы Муано, где жила эта девица, таким же пристыженным, каким выходил Сен-Пре{270} из дома, где его напоили, и, конечно, описывая его историю, я вспомнил свое приключение. Тереза догадалась по некоторым признакам, а главное, по моему смущенному виду, что я в чем-то провинился; я снял с себя эту тяжесть откровенным и немедленным признанием. Я хорошо сделал, так как на другой день явился Гримм и, торжествуя, рассказал ей о моем проступке, сгущая краски, и с тех пор не упускал случая лукаво напомнить ей о нем; это было тем более дурно с его стороны, что, свободно и сознательно доверившись ему, я имел право ожидать, что он не заставит меня в этом раскаиваться. Никогда я не почувствовал так ясно, как в этом случае, всей доброты сердца моей Терезы: она была больше возмущена поступком Гримма, чем оскорблена моей неверностью, и я слышал от нее одни лишь трогательные и нежные упреки, в которых ни разу не заметил ни малейшего следа раздражения.

Простота ума этой превосходной девушки равнялась доброте ее сердца; этим все сказано; но один случай все-таки заслуживает упоминания. Я сказал ей, что Клюпфель – пастор и капеллан принца Саксен-Готского. Пастор был в ее глазах человек столь необыкновенный, что, комично смешивая самые несоответственные понятия, она приняла Клюпфеля за папу. Я подумал, что она сошла с ума, когда возвратился однажды домой и она в первый раз сказала мне, что в мое отсутствие ко мне заходил папа. Я заставил ее объясниться и поспешил рассказать эту историю Гримму и Клюпфелю, за которым прозвище папы так и осталось в нашем кругу. Девице с улицы Муано мы дали имя папессы Иоанны. Сколько было шуток! Мы задыхались от неудержимого хохота. Те, кто в одном письме, которое им вздумалось приписать мне, заставляют меня говорить, будто за всю свою жизнь я смеялся только два раза, не знали меня ни в это время, ни в годы моей юности, – иначе эта мысль, конечно, никогда не могла бы прийти им в голову.

В следующем, 1750, году, когда я уже перестал думать о своем «Рассуждении», я узнал, что оно удостоено премии в Дижоне. Это известие пробудило во мне все идеи, вдохновившие мой труд, оживило их с новой силой и окончательно привело в брожение ту закваску героизма и добродетели, которую с детства мой отец, моя родина и Плутарх вложили в мое сердце. Я не находил ничего более высокого и прекрасного, как быть свободным и добродетельным, быть выше богатства и людского мнения и довольствоваться самим собой. Ложный стыд и боязнь быть осмеянным мешали мне сперва вести себя согласно этим принципам и сразу кинуть резкий вызов взглядам своего века; но я твердо решил сделать это и выпол-

нил свое решение, когда противодействия настолько возбудили мою волю, что она восторжествовала.

Пока я философствовал об обязанностях человека, одно событие заставило меня задуматься о своих собственных обязанностях. Тереза забеременела в третий раз. Слишком искренний с самим собой, слишком гордый внутренне, чтобы допустить противоречие между своими принципами и поступками, я принялся размышлять о будущем своих детей и о своих отношениях к их матери – согласно законам природы, справедливости и разума, а также той чистой, святой и вечной, как ее творец, религии, которую люди осквернили, прикрываясь желанием ее очистить, и превратили своими формулами в какую-то религию слов, – потому что нетрудно предписывать невозможное, когда не даешь себе труда исполнять предписания.

Если я и ошибался в выводах, нет ничего изумительней душевного спокойствия, с которым я следовал им. Если бы я был из тех людей, дурных от рождения, глухих к кроткому голосу природы, в груди которых никогда не зарождалось истинного чувства справедливости и человечности, такое очерствение было бы вполне естественным; но эта сердечная теплота, эта живая впечатлительность, эта способность привязываться и подчиняться своим привязанностям, эти жестокие страдания, когда приходится их разрывать, эта врожденная благожелательность к ближним, эта пламенная любовь ко всему великому, истинному, прекрасному, справедливому, это отвращение ко всякому злу, эта неспособность ненавидеть, вредить и даже желать зла другому, это умиление, это живое и радостное волненье, испытываемое мною перед всем, что добродетельно, великодушно, честно, – может ли все это сочетаться в одной душе с испорченностью, попирающей без зазрения совести самую нежную из обязанностей? Нет, я чувствую и смело говорю: это невозможно. Никогда в жизни ни на одну минуту Жан-Жак не мог быть человеком бесчувственным, жестокосердным отцом. Я мог ошибаться, но не очерстветь. Если б я объяснил свои основания, я сказал бы лишнее. Раз они могли соблазнить меня, они могут соблазнить многих других; я не хочу подвергать молодых людей, которые, возможно, будут читать меня, тяжести того же заблужденья. Скажу только, в чем оно заключалось: не будучи в состоянии сам воспитывать своих детей и отдавая их на попечение общества, с тем чтобы из них вышли рабочие и крестьяне, а не авантюристы и ловцы фортуны, я верил, что поступаю как гражданин и отец; и я смотрел на себя, как на члена республики Платона{271}. С тех пор сердечные сожаления не раз доказали мне, что я ошибся, однако рассудок не только не упрекал меня, но наоборот, – я часто благословлял небо за то, что оно спасло моих детей от участи их отца и от тех бедствий, которые угрожали бы им, если б я вынужден был их просто покинуть. Оставь я их г-же д'Эпине или герцогине Люксембургской, которые по дружбе, или из великодушия, или по какому-нибудь другому побуждению захотели бы взять на себя заботы о них в будущем, – были ли бы они счастливей, сделало ли бы их воспитание по крайней мере честными людьми? Это мне неизвестно; но я убежден, что их довели бы до ненависти к своим родителям, может быть, до отречения от них; во сто раз лучше, чтоб они совсем их не знали.

Итак, мой третий ребенок был помещен в Воспитательный дом, как и первые; то же было и с двумя следующими, потому что всего их было у меня пять. Эта мера казалась мне такой хорошей, разумной, законной, что если я не хвастался ею открыто, то единственно из уважения к матери детей; но я рассказал об этом всем, кто знал о нашей связи: рассказал Дидро, Гримму; сообщил впоследствии г-же д'Эпине, а еще позднее – герцогине Люксембургской. Я делал это свободно, откровенно и без всякого принуждения, так как легко мог скрыть это от всех: Гуань была честная, очень скромная женщина, и я мог всецело на нее положиться. Единственный из моих друзей, кому мне пришлось открыться отчасти по необходимости, был доктор Тьерри, лечивший мою бедную Терезу после одних очень трудных родов. Словом, я не делал никакой тайны из своего поведения, не только потому, что нико-

гда не умел ничего скрывать от друзей, но потому, что действительно не видел тут ничего дурного. Взвесив все, я выбрал для своих детей самое лучшее или то, что считал таким. Я желал бы тогда, желаю и теперь, чтобы меня вскормили и воспитали, как их.

В то время как я рассказывал друзьям о своих делах, г-жа Левассер, со своей стороны, тоже рассказывала о них, но совсем не с такими бескорыстными целями. Я ввел ее и Терезу в дом г-жи Дюпен, которая из дружбы ко мне была к ним очень благосклонна. Мать посвятила ее в тайну дочери. Добрая и великодушная г-жа Дюпен, которой г-жа Левассер не рассказала, насколько я, несмотря на скудость своих средств, был внимателен к их нуждам, с своей стороны щедро помогала им. Дочь, по приказанию матери, скрывала это от меня, пока я жил в Париже; она призналась мне в этом только в Эрмитаже, после многих других сердечных излияний. Я не знал, что г-жа Дюпен – она ни разу не показала мне и виду – была так хорошо осведомлена о моих семейных делах; я до сих пор не знаю, было ли все известно ее невестке, г-же Шенонсо; но жена ее пасынка, г-жа де Франкей, знала все и не могла об этом умолчать. Она сказала мне об этом год спустя, когда я уже оставил их дом. Это побудило меня написать ей письмо, которое можно найти в моем собрании; в нем я привожу те доводы, какие мог высказать, не компрометируя г-жу Левассер и ее семью; поэтому-то я умолчал о наиболее веских мотивах.

Я уверен в скромности г-жи Дюпен и в дружбе г-жи де Шенонсо; я был уверен и в дружбе г-жи де Франкей, которая к тому же умерла задолго до того, как моя тайна получила огласку. Разгласить ее могли только те лица, которым я ее доверил, и действительно это так и случилось после моего разрыва с ними. По одному этому факту можно судить о них. Не желая уклоняться от заслуженного осуждения, я предпочел бы, чтобы меня порицали за мой поступок, чем за такую злобу, какую проявили они. Моя вина велика, но она – заблужденье: я пренебрег своими обязанностями, но в сердце моем не было желанья причинить вред, а отцовские чувства не могли проявиться с достаточной силой по отношению к детям, которых я никогда не видел; между тем изменить дружескому доверию, нарушить самый священный из всех договоров, предать огласке тайны, вверенные нам, обесчестить для забавы обманутого друга, который, расставаясь с нами, уважает нас, – все это уже не заблужденье, а душевная низость и вероломство.

Я обещал написать исповедь, а не самооправданье. Поэтому ограничусь сказанным. Мое дело – говорить правду, дело читателя – быть справедливым. Я больше ничего не требую от него.

После женитьбы г-на де Шенонсо дом его матери стал для меня еще более приятным благодаря достоинствам и уму новобрачной, молодой и очень милой особы, которая как будто выделяла меня среди письмоводителей Дюпена. Она была единственной дочерью виконтессы де Рошешуар, большого друга графа де Фриеза, а через него – и состоявшего при нем Гримма. Однако не г-жа Рошешуар, а я сам ввел его к г-же Шенонсо; но так как характеры их не подходили друг к другу, знакомство не повело к сближению, и Гримм, уже тогда тяготевший к людям с положением, отдал предпочтение матери, женщине высшего света, перед дочерью, которая желала иметь друзей верных и по своему вкусу, не вмешивалась ни в какие интриги и не искала себе положения среди знати.

Г-жа Дюпен, видя, что г-жа де Шенонсо вовсе не так послушна, как она ожидала, создала для нее в доме очень печальную обстановку; но г-жа де Шенонсо, гордая своими достоинствами и, быть может, своим происхождением, предпочла отказаться от удовольствий света и оставаться почти в одиночестве в своих покоях, чем носить ярмо, для которого она не чувствовала себя созданной. Это своеобразное затворничество усилило мою привязанность к ней благодаря той природной склонности, которая влечет меня к несчастным. Я обнаружил у нее ум метафизический и пытливый, хотя порою склонный к софистике. Разговор с ней, вовсе не похожий на беседу с молодой женщиной, только что вышедшей из мона-

стырского пансиона, имел для меня большую привлекательность. Между тем ей не было двадцати лет. Цвет ее лица отличался ослепительной белизной; ее фигура была бы стройной и красивой, если бы она держалась прямей; ее волосы белокуро-пепельного цвета и необычайной красоты напоминали мне волосы моей бедной маменьки в ее лучшую пору, и это сильно волновало мое сердце. Но строгие принципы, которые я недавно установил для себя, решив следовать им во что бы то ни стало, охраняли меня от нее и ее чар. В течение целого лета я проводил по три-четыре часа в день наедине с ней, важно обучая ее арифметике и надоедая ей своими вечными цифрами, – не сказав ей ни одной любезности, не бросив на нее ни одного нежного взгляда. Через пять или шесть лет я не был бы таким мудрым или таким глупцом; но мне было суждено любить настоящей любовью только раз в жизни, и не этой женщине должны были принадлежать первые и последние вздохи моего сердца.

С тех пор как я подружился с г-жой Дюпен, я вполне довольствовался своей участью, не обнаруживая никакого желания улучшить ее. Когда она вместе с де Франкеем увеличила мой гонорар, это было сделано исключительно по их собственному почину. В этом году де Франкей, относившийся ко мне день ото дня все лучше и лучше, задумал облегчить мои стесненные обстоятельства и создать мне более прочное положение. Он был главным сборщиком податей. Дюдуайе, его кассир, был стар, богат и собирался уйти в отставку. Де Франкей предложил мне эту должность, и, чтобы быть в состоянии выполнять ее, я в течение нескольких недель ходил к Дюдуайе за необходимыми указаниями. Но потому ли, что у меня было мало способностей к такой службе, потому ли, что Дюдуайе, желавший, по-видимому, иметь другого преемника, недобросовестно наставлял меня, – я медленно и плохо приобретал необходимые мне познания; и весь этот порядок намеренно запутанных счетов никак не мог хорошенько уместиться у меня в голове. Однако, не усвоив дела в совершенстве, я все-таки овладел обычными операциями настолько, чтобы гладко выполнять их. Я даже приступил к работе. Я вел реестры и кассу, выдавал и принимал деньги, расписки; и хотя у меня было столь же мало склонности, как и способностей к этому занятию, я, с годами став благоразумней, решил побороть отвращение к нему и целиком отдаться своей службе. К несчастью, когда я стал осваиваться с делом, г-н де Франкей отправился в небольшое путешествие, и на это время мне пришлось заведовать его кассой, где, впрочем, в ту пору было не более двадцати пяти – тридцати тысяч франков. Хранение этих денег причиняло мне столько забот и волнений, что я почувствовал, как мало создан для должности казначея; нисколько не сомневаюсь, что волнения, испытанные мною во время отлучки г-на де Франкея, содействовали болезни, уложившей меня в постель после его возвращения.

Я говорил в первой части, что родился умирающим. Органический порок в строении мочевого пузыря почти постоянно вызывал у меня в раннем детстве задержание мочи, и моя тетка Сюзанна, взявшая на себя заботы обо мне, сохранила мне жизнь ценой невероятных усилий. Все-таки она добилась этого; мой крепкий организм наконец взял верх, и в годы молодости мое здоровье настолько укрепилось, что, за исключением изнурительной болезни, историю которой я рассказал, и частых позывов к мочеиспусканию при малейшей разгоряченности, я достиг тридцатилетнего возраста, почти не ощущая своего недуга. Первый приступ старой болезни я почувствовал по приезде в Венецию. Утомление от дороги и ужасная жара вызвали воспаление мочевого пузыря и боли в почках, не покидавшие меня до самой зимы. После моей встречи с падуанкой я считал себя погибшим, но в действительности совсем не пострадал. Томясь больше в воображении, чем телесно, по своей Джульетте, я чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было. И только после ареста Дидро и моих странствий в Венсен по страшной жаре у меня сделалось сильное расстройство в почках, и я уже никогда не мог восстановить своего здоровья.

В то время, о котором я говорю, может быть, немного устав от постылой работы за этой проклятой кассой, я занемог пуще прежнего и пробыл в постели пять или шесть недель

в самом жалком состоянии, какое только можно себе представить. Г-жа Дюпен прислала ко мне знаменитого Морана; однако, несмотря на свое искусство и легкость руки, он причинил мне только невероятные страдания и так и не смог исследовать меня зондом. Он посоветовал мне обратиться к Дарану, и его более гибким катетерам действительно удалось проникнуть внутрь; но, давая г-же Дюпен отчет о моем состоянии, Моран объявил ей, что через шесть месяцев меня не будет в живых. Эти слова, дошедшие до меня, заставили меня серьезно подумать о своем положении и о нелепости жертвовать покоем и радостью немногих оставшихся мне дней ради того, чтобы меня порабощало занятие, к которому я чувствовал отвращенье. Да и как согласовать строгие принципы, только что мной усвоенные, с положением, так мало им соответствующим? К лицу ли мне, кассиру главного сборщика податей, проповедовать бескорыстие и бедность? Эти мысли так глубоко перебродили в моей голове, когда я был в жару, укоренились с такой силой, что с тех пор ничто не могло вырвать их оттуда; и во время моего выздоровления я хладнокровно утвердился в решениях, принятых в бреду. Я навсегда отрекся от попыток приобрести богатство и составить себе карьеру. Решив провести в независимости и в бедности короткий срок, который мне оставалось жить на свете, я приложил все силы души, чтобы разорвать оковы предрассудков и мужественно делать все, что казалось мне хорошим, не смущаясь тем, что скажут люди. Просто невероятно, какие препятствия мне пришлось преодолеть, какие усилия потратить, чтобы восторжествовать над ними. Я достиг успеха, насколько это было возможно, и добился большего, чем сам надеялся. Если бы мне так же удалось свергнуть иго дружбы, как иго общественного мнения, я осуществил бы до конца свое намерение – быть может, самое великое или по крайней мере самое полезное для добродетели, какое только когда-либо замыслил смертный. Но между тем как я попирал бессмысленные суждения пошлой черни, так называемых знатных особ и так называемых мудрецов, – я позволил поработить себя и руководить мною, как ребенком, мнимым друзьям; они же, завидуя тому, что я пошел один по новой дороге, – под видом забот о моем счастье, на деле хлопотали о том, чтобы сделать меня смешным, и прежде всего постарались унизить меня, а затем оклеветали. Они завидовали не столько моей литературной известности, сколько преобразованию моей личной жизни, относившемуся к этой эпохе: они, может быть, простили бы мне мою блестящую репутацию как писателя, но не могли простить, что своим поведением я подаю пример, который, видимо, раздражал их. Я был рожден для дружбы; мой уживчивый и кроткий характер поддерживал ее без труда. Пока я жил в безвестности, меня любили все, кто меня знал, и у меня не было ни одного врага; но, как только я приобрел имя, я потерял друзей. Это было очень большим несчастьем. Еще большее несчастье заключалось в том, что я был окружен людьми, которые называли себя моими друзьями и пользовались правами друзей только для того, чтобы привести меня к гибели. Продолжение этих воспоминаний разоблачит этот гнусный сговор; здесь я только отмечаю его зачатки; скоро можно будет увидеть, как завязывалась первая петля.

Я хотел жить независимо. Однако надо было добывать средства к существованию. Для этого я придумал очень простой способ: переписку нот за постраничную плату. Если б какое-нибудь другое, более солидное занятие могло привести к той же цели, я взялся бы за него; но так как это дело было мне по вкусу и было единственным, которое могло без порабощения моей личности давать мне насущный хлеб, я выбрал его. Считая, что мне больше нет необходимости заглядывать в будущее, и заставив умолкнуть тщеславие, я из кассира богатого финансиста превратился в переписчика нот. Я находил, что очень выиграл от этого выбора, и так мало в нем раскаивался, что оставил это ремесло только в силу необходимости, рассчитывая при первой возможности вернуться к нему.

Успех моего первого «Рассуждения» позволил мне осуществить свой замысел. Когда мне была присуждена премия, Дидро взялся его напечатать. В то время я был болен и лежал в постели; он прислал мне записку, извещая о выходе «Рассуждения» в свет и о произведен-

ном впечатлении. «Его превозносят до небес, – сообщал он. – Успех беспримерный!» Эта благосклонность публики, никем заранее не подготовленная, и притом к автору неизвестному, дала мне первую настоящую уверенность в своем таланте, в котором я, несмотря на внутреннее чувство, до тех пор всегда сомневался. Я понял также, что мог извлечь из этого успеха выгоду для выполнения своего намерения: переписчик, сколько-нибудь известный в литературе, надо думать, не останется без работы.

Как только мое решение было окончательно принято, я письменно уведомил об этом г-на де Франкея, чтобы поблагодарить как его, так и г-жу Дюпен за всю их доброту ко мне и попросить у них заказов. Ничего не поняв в этой записке и полагая, что я все еще нахожусь в лихорадочном бреду, Франкей прибежал ко мне. Он увидел, что мое решение твердо, что его не удастся поколебать. Тогда он рассказал г-же Дюпен и всем другим, что я сошел с ума; я предоставил ему говорить что угодно и продолжал идти своим путем. Я начал свое преобразование с внешности; отказался от золотого шитья и белых чулок, надел круглый парик, снял шпагу и продал свои часы, говоря себе с невыразимой радостью: «Хвала небу! Мне больше не понадобится узнавать, который час!» Г-н де Франкей имел учтивость довольно долго ждать, прежде чем распорядиться местом своего казначея. Наконец, видя, что мое решение твердо, он передал кассу д'Алибару, бывшему гувернеру молодого Шенонсо и известному в ботанике своей «Flora parisiensis»[32].

Как ни сурова была моя реформа в области трат, я вначале не распространил ее на белье: у меня сохранился обильный запас прекрасного белья, являвшегося остатком от моей экипировки в Венеции, и я им очень дорожил. Заботясь сначала только о чистоте, я постепенно превратил белье в предмет роскоши, обходившийся мне не дешево. Кто-то оказал мне добрую услугу, избавив меня от этого рабства. Накануне Рождества, когда мои домоправительницы были у вечерни, а я в духовном концерте, была взломана дверь на чердак, где было развешано все наше белье после стирки. Украли все, в том числе сорок две рубашки великолепного полотна, составлявшие основу моего бельевого гардероба. Соседи описали нам человека, который в тот вечер вышел из нашего дома с узлами, и мы с Терезой заподозрили в краже ее брата, слывшего большим негодяем. Мать горячо отвергла это подозрение, но столько примет подтверждало его, что мы остались при нем, хотя г-жа Левассер сердилась на нас. Я не решился предпринять тщательные розыски, из боязни найти больше, чем желал бы. Этот брат больше не показывался у меня и наконец совсем исчез. Я оплакивал судьбу Терезы и свою, связанную с такой разношерстной семьей, и более чем когда-либо умолял свою подругу сбросить столь опасное ярмо. Это происшествие излечило меня от страсти к хорошему белью, и с тех пор у меня всегда было самое простое белье, более подходящее к остальному моему одеянию.

Завершив таким образом свою реформу, я думал только о том, чтобы сделать ее прочной и длительной; старался вырвать из своего сердца всякую зависимость от людских толков, боязнь осуждения, которая могла отвратить меня от того, что было само по себе хорошим и благоразумным. Благодаря шуму, вызванному моими сочинениями, мое решение переменить жизнь тоже произвело шум и привлекло ко мне заказчиков, так что начало моих занятий перепиской было довольно счастливо. Однако некоторые причины помешали мне достигнуть успеха, какого я мог бы добиться при других обстоятельствах. Прежде всего – мое плохое здоровье. Перенесенный мною приступ не прошел бесследно, и я уже никогда не чувствовал себя таким здоровым, как раньше; думаю, что лечившие меня врачи причинили мне не меньше вреда, чем сама болезнь. Я обращался по очереди к Морану, Дарану,

[32] Не сомневаюсь, что Франкей и его клевреты теперь рассказывают обо всем этом совсем по-другому; но я основываюсь на том, что он в ту пору и много времени спустя – до самого возникновения заговора – говорил всем; люди здравомыслящие, добросовестные, наверно, помнят это. (*Прим. Руссо.*)

Гельвецию{272}, Малуэну, Тьерри: все они люди очень ученые, все мои друзья, все лечили меня, каждый по-своему, но не принесли мне никакого облегчения и очень меня изнурили. Чем послушнее я выполнял их предписания, тем более становился желтым, худым, слабым. Они запугивали меня, определяя мое состояние по действию своих снадобий, и воображение рисовало мне лишь цепь страданий: уремию, песок, камни и, наконец, смерть. Все, что приносит другим облегченье, – отвары, ванны, кровопусканье, – усиливало мои страдания. Убедившись, что одни только зонды Дарана оказывают на меня некоторое действие, я вообразил, будто не могу без них жить, и хотя они приносили мне лишь минутное облегчение, я принялся делать, с большими затратами, громадные запасы зондов, чтобы иметь их при себе всю жизнь, даже в том случае, если Дарана не станет. В течение восьми или десяти лет я постоянно прибегал к ним, – и надо полагать, что со всеми теми зондами, которые у меня еще остались, я накупил их на пятьдесят луидоров. Понятно, что столь дорогое, мучительное, тяжелое лечение не давало мне работать не отвлекаясь и что умирающий не может вкладывать много пыла в свою работу ради насущного хлеба.

Литературные занятия также отвлекали меня и наносили не меньший ущерб моей ежедневной работе. Едва мое «Рассуждение» вышло в свет, как защитники наук обрушились на меня, словно сговорившись. Возмущенный тем, что столько ничтожных господ Жоссов{273}, даже не понимавших сущности вопроса, желают решать его в качестве знатоков, я взялся за перо и обошелся с некоторыми из них так, что насмешники остались не на их стороне.

Некий г-н Готье из Нанси, попавшийся первым мне под перо, получил жестокую трепку в письме к Гримму{274}. Вторым был сам король Станислав{275}, нашедший возможным вступить со мною в бой. Такая честь вынудила меня, отвечая ему, изменить тон. Я взял тон более серьезный, но не менее решительный, и, не отказывая в уважении автору, полностью опроверг само сочиненье. Я знал, что один иезуит, отец Мену, приложил к нему руку; я доверился своему чутью, чтобы отличить то, что принадлежало государю, от того, что принадлежало монаху; и, беспощадно обрушиваясь на все фразы иезуита, я вскрыл попутно один анахронизм, который мог исходить – как я полагал – только от его преподобия. Не знаю, почему эта статья вызвала меньше шума, чем другие мои сочинения, но она остается до сих пор произведением, единственным в своем роде. Я ухватился в ней за представившуюся мне возможность показать публике, как частное лицо может выступить на защиту истины даже против коронованной особы. Трудно взять тон одновременно более гордый и более почтительный, чем тот, в каком я отвечал ему. К счастью, я имел дело с противником, к которому питал искреннее почтение и мог без лести засвидетельствовать его; это я и сделал с большим успехом и не роняя своего достоинства. Мои друзья испугались за меня и уже видели меня в Бастилии. Я же ни одной минуты не боялся этого и был прав. Этот добрый государь, прочитав мой ответ, сказал: «Поделом мне, больше не стану соваться». С тех пор я получал от него разные знаки уважения и благосклонности, и о некоторых из них мне придется упомянуть; а мое сочинение спокойно обошло Францию и Европу, причем никто не нашел в нем ничего, достойного порицания.

Немного времени спустя у меня явился новый противник, совсем неожиданный, – тот самый г-н Борд из Лиона, который за десять лет перед тем проявил ко мне большое дружеское расположение и оказал мне несколько услуг. Я не забыл его, но был к нему невнимателен из лености и не послал ему своих сочинений, так как не представлялось удобной оказии. Следовательно, я был виноват перед ним; и вот он выступил против меня, однако сдержанно; я ответил тем же. Он возразил уже в более решительном тоне. На это возражение я дал такой ответ, что он умолк, но сделался с тех пор самым ярым моим врагом; когда для меня наступило время жестоких бедствий, он выпустил против меня отвратительные пасквили и даже совершил путешествие в Лондон исключительно с целью повредить мне там.

Вся эта полемика очень занимала меня; однако, отнимая много времени от моей переписки, она приносила мало пользы торжеству истины и мало прибыли моему кошельку. Писсо, мой тогдашний издатель, всегда давал мне сущую безделицу за мои брошюры, а часто и вовсе ничего не давал; например, за свое первое «Рассуждение» я не получил ни лиара: Дидро отдал его напечатать безвозмездно. А то немногое, что Писсо мне давал, приходилось долго ждать и вытягивать по одному су. Между тем переписка не клеилась. Я занимался двумя ремеслами: это верный способ плохо исполнять оба. Два моих занятия были несовместимы еще и потому, что каждое требовало от меня совершенно противоположного образа жизни. Успех моих первых сочинений сделал меня модным писателем. Я возбуждал любопытство: всем хотелось поглядеть на чудака, который не ищет ни с кем знакомства и заботится только о том, чтобы жить свободно и счастливо на свой лад, – этого было достаточно, чтобы выполнение его планов стало невозможным. В моей комнате вечно толклись люди, приходившие под разными предлогами и отнимавшие у меня время. Женщины пускались на всякие хитрости, чтобы зазвать меня на обед. Чем резче обходился я с людьми, тем они становились настойчивей. Я не мог отказывать всем. Создавая себе тысячи врагов своими отказами, я беспрестанно оказывался рабом собственной снисходительности; и, как я ни старался, у меня никогда не было за весь день свободного часа.

Тут я почувствовал, что быть бедным и независимым не всегда так легко, как это воображают. Я хотел жить своим ремеслом; общество не желало этого. Придумывали тысячу разных способов, чтобы вознаградить меня за потерю времени. Пожалуй, были готовы показывать меня, как Полишинеля, взимая по столько-то с персоны. Не могу себе представить зависимости более унизительной и жестокой, чем эта. Я не видел другого средства избавиться от нее, как отказываться от подарков, крупных и мелких, не делая исключения ни для кого. Все это только привлекало ко мне дарителей, желавших добиться чести победить мое упорство и принудить меня быть им обязанным наперекор самому себе. Иной не дал бы мне одного экю, если б я у него попросил, но не переставал надоедать мне своими приношениями и в отместку за то, что я отвергал их, оценивал мой отказ как надменность и рисовку.

Нетрудно догадаться, что мое решение и принятый мною образ жизни пришлись не по вкусу г-же Левассер. Дочь при всем своем бескорыстии не могла не следовать указаниям матери; и обе мои домоправительницы, как называл их Гофкур, не всегда были так тверды в своих отказах, как я. Хотя от меня многое скрывали, я видел достаточно для того, чтобы понимать, что вижу не все; и меня мучила не столько возможность навлечь на себя подозрение в соучастии, – это легко было предотвратить, – сколько жестокая мысль, что я никогда не могу быть хозяином в своем доме и самому себе. Я просил, заклинал, сердился – все безуспешно; мамаша выставляла меня вечным ворчуном и грубияном; она постоянно шепталась с моими друзьями; все было тайной и загадкой для меня в моем собственном доме; и чтобы не вызывать беспрестанных бурных сцен, я больше не осмеливался осведомляться о том, что там происходит. Чтобы избавиться от всей этой суетни, понадобилась бы твердость, на которую я не был способен. Я умел кричать, но не действовать; мне предоставляли говорить, но поступали по-своему.

Из-за этих постоянных дрязг и повседневных назойливых посетителей мое жилище и Париж опротивели мне. Когда мои недомогания позволяли мне выходить из дому, я шел гулять один; я мечтал о своей великой системе, я набрасывал кое-какие мысли, с ней связанные, на бумагу, пользуясь для этого записной книжкой и карандашом, которые были у меня всегда в кармане. Вот каким образом непредвиденные неприятности, сопряженные с избранным мною образом жизни, окончательно втянули меня в литературу; и вот почему во все свои первые произведения я вносил желчное раздражение, которое заставило меня заняться ими.

Еще одно обстоятельство способствовало этому. Бывая против своего желания в большом свете, я, однако, не был в состоянии ни усвоить его тона, ни подчиниться ему; поэтому я решил обойтись без него и создать себе свой собственный тон. Так как источником моей глупой и угрюмой застенчивости, которую я не мог преодолеть, была боязнь нарушить приличия, я решил, чтобы придать себе смелости, отбросить их. Я сделался циничным и язвительным – от смущения; прикидывался, что презираю вежливость, хотя просто не умел соблюдать ее. Правда, суровость, согласная с моими новыми принципами, облагораживалась в моей душе, приобретала в ней бесстрашие добродетели; и, смею сказать, именно на этой священной основе она удержалась лучше и дольше, чем этого следовало бы ожидать, так как резкость противоречит моей натуре. Несмотря на репутацию мизантропа, которую мой внешний вид и несколько удачно сказанных слов создали мне в свете, нет сомнения, что в своем кругу я плохо выдерживал роль: мои друзья и близкие знакомые водили этого дикого медведя, как ягненка, и, ограничивая свои сарказмы горькими, но общими истинами, я никогда не мог сказать кому бы то ни было ни одного обидного слова.

Мой «Деревенский колдун» окончательно сделал меня модным в свете{276}, и скоро во всем Париже не было человека популярнее меня. История этой пьесы, составившей эпоху, связана с историей моих знакомств в ту пору. Тут я должен войти в подробности, чтобы был понятен мой последующий рассказ.

У меня было довольно много знакомых, но только два избранных друга – Дидро и Гримм. Моей натуре свойственно желание объединять всех, кто мне дорог, и я так любил их обоих, что и они вскоре подружились. Я свел их; они сошлись и стали более близкими друзьями между собой, чем со мной. У Дидро знакомых было без числа; но Гримму, иностранцу и новичку{277}, надо было их приобрести. Я постарался помочь ему в этом. Я познакомил его с Дидро; познакомил с Гофкуром. Я повел его к г-же де Шенонсо, к г-же д'Эпине, к барону Гольбаху{278}, с которым я сошелся почти против своего желания. Все мои друзья стали друзьями Гримма, – это было очень понятно; но никто из его друзей не стал моим другом, – вот что было уже менее понятно. Когда он жил у графа де Фриеза, то часто давал нам обеды у себя; но никогда я не видел никакого проявления дружбы или благосклонности ни от графа де Фриеза, ни от графа Шомбера, его родственника, очень коротко знакомого с Гриммом, ни от других лиц, мужчин или женщин, с которыми Гримм был через них связан. Я исключаю только аббата Рейналя{279}, который, несмотря на то что дружил с ним, выказал себя и моим другом: с редко встречающейся щедростью он предложил мне в одном случае свой кошелек. Но я знал аббата Рейналя задолго до того, как Гримм с ним познакомился, и был очень привязан к нему после одного его поступка, не очень значительного, но полного такой деликатности и благородства в отношении меня, что я никогда этого не забывал.

Аббат Рейналь – несомненно, горячо преданный друг. Я получил доказательство этого почти в то время, о котором говорю, и по отношению к тому же Гримму, с которым он был в тесной дружбе. Гримм, будучи несколько времени в дружеских отношениях с мадемуазель Фель, вдруг безумно в нее влюбился и задумал отбить ее у Кагюзака{280}. Красавица, гордясь своим постоянством, выпроводила нового претендента. Гримм взглянул на дело трагически и решил, что надо умереть. Он внезапно захворал весьма странной болезнью, о которой читателям, быть может, когда-либо приходилось слышать. Он проводил дни и ночи в непрерывной летаргии, с совершенно открытыми глазами, с правильно бьющимся пульсом, но не говоря ни слова, не принимая пищи, не двигаясь, иногда как будто слыша, но ничего не отвечая, даже знаками; не было никаких признаков лихорадки, он не обнаруживал ни волнения, ни боли и лежал как мертвый. Мы с аббатом Рейналем поочередно дежурили у его постели; аббат, человек более крепкий и более здоровый, чем я, проводил возле него ночи, я – дни; мы никогда не пропускали своего дежурства, и ни один из нас никогда не уходил, пока

не явится другой. Граф де Фриез встревожился и привел к нему Сенака; тщательно осмотрев его, Сенак сказал, что это пустяки, и ничего не прописал. Страх за моего друга заставил меня внимательно следить за поведением врача, и я заметил, что, выходя, он улыбался. Однако больной еще несколько дней оставался неподвижным, не принимая ни бульона, ни чего бы то ни было, кроме вишневого варенья: время от времени я клал ему ягоды в рот, и он очень охотно их проглатывал. В одно прекрасное утро он встал, оделся и возобновил свой обычный образ жизни, совершенно не подымая разговора ни со мной, ни, насколько я знаю, с аббатом Рейналем, ни с кем бы то ни было о странной своей летаргии и о той заботе, которую мы о нем проявляли, пока длилась его болезнь.

Это происшествие, разумеется, вызвало толки; и действительно, получился чудесный рассказ о том, как жестокость девицы из Оперы чуть не заставила влюбленного в нее человека умереть от отчаяния. Такая красивая страсть сделала Гримма модным; вскоре он прослыл воплощением любви, дружбы и преданности. Эта репутация привела к тому, что в высшем свете стали искать с ним знакомства и чествовать его, и тогда он отдалился от меня, так как я был для него только приятелем на худой конец. Он постепенно все больше ускользал от меня, и я это ясно видел, потому что, без громких слов, искренне питал к нему все те горячие чувства дружбы, которые он лишь выставлял напоказ. Я был очень рад его успеху в свете, однако мне не хотелось, чтобы из-за этого он забывал своего друга. Я сказал ему однажды: «Гримм, вы обращаете на меня мало внимания, но я прощаю вам это. Когда пройдет первое опьянение блестящими успехами и вы почувствуете всю их пустоту, я надеюсь, вы вернетесь ко мне – и вы найдете меня все тем же, а теперь можете не стесняться, я предоставляю вам свободу и жду вас». Он ответил мне, что я прав, повел себя в соответствии с этим и стал так пренебрегать мною, что я больше не видел его иначе как у наших общих друзей.

Главным местом наших встреч, до того как он близко сошелся с г-жой д’Эпине, был дом барона Гольбаха. Этот барон, сын выскочки, обладал довольно большим состоянием и пользовался им благородно, принимая у себя писателей и людей выдающихся; сам он благодаря своим знаниям и просвещенности был среди них вполне на своем месте. Издавна он был дружен с Дидро и через его посредство искал знакомства со мной, даже прежде чем мое имя стало известным. Врожденное отвращение долго мешало мне пойти ему навстречу. Когда он однажды спросил меня о причине, я ответил: «Вы слишком богаты». Он стал упорствовать и победил наконец. Величайшим моим несчастьем всегда было неуменье противостоять ласке: я уступал ей, и это всегда кончалось для меня плохо.

Другое знакомство, превратившееся в дружбу, как только я получил право претендовать на нее, было знакомство с Дюкло{281}. За несколько лет до того я в первый раз встретил его в Шевретте, у г-жи д’Эпине, с которой он был в очень хороших отношениях. Мы только пообедали вместе; он уехал в тот же день; но мы беседовали несколько минут после обеда. Г-жа д’Эпине говорила ему обо мне и о моей опере «Галантные музы». Дюкло, сам одаренный большими талантами, любил людей одаренных; почувствовав ко мне симпатию, он пригласил меня к себе. Несмотря на мое давнее расположение к нему, подкрепленное знакомством, застенчивость и леность удерживали меня до тех пор, пока я думал, что он приглашает меня только из вежливости; но ободренный своим первым успехом и его похвалами, дошедшими до меня, я посетил его, и он отдал мне визит. Так начались между нами отношения, благодаря которым он всегда будет мне дорог: именно в силу этих отношений и свидетельства моего собственного сердца, я знаю, что прямота и честность могут иногда сочетаться с занятиями литературой.

Я не упоминаю здесь о многих других знакомствах, – тех, что были следствием моих первых успехов и длились до тех пор, пока не было удовлетворено любопытство. Я был человеком, на которого стремились посмотреть, а на другой день не находили в нем ничего нового. Впрочем, одна женщина, искавшая знакомства со мной в то время, поддерживала его

дольше, чем все другие. Это была маркиза де Креки, племянница судьи де Фруле, посланника в Мальте, брат которого был предшественником графа де Монтэгю на посту французского посла в Венеции и которого я посетил по своем возвращении оттуда. Г-жа де Креки написала мне; я пошел к ней, и она приняла меня дружески. Я обедал у нее иногда; я встретил там нескольких писателей и, между прочим, г-на Сорена{282}, автора «Спартака», «Барневельдта» и других пьес, ставшего впоследствии моим жесточайшим врагом, чему я не могу придумать другой причины, кроме той, что я ношу имя человека, которого его отец самым недостойным образом преследовал.

Читателю ясно, что от ремесла переписчика, обязанного скрипеть пером с утра до вечера, меня отвлекало очень многое, а поэтому оно было для меня не особенно прибыльным, ибо я не мог выполнять заказы внимательно и больше половины времени, остававшегося у меня для работы, терял на то, чтобы подчищать и выскабливать свои ошибки или переписывать лист сызнова. Из-за такой докучной обстановки Париж день ото дня становился для меня все несноснее, и я горячо стремился в деревню.

Не раз проводил я по нескольку дней в Маркусси, где у г-жи Левассер был знакомый викарий, у которого мы все устраивались так, чтобы ему не было от этого неудобств. Один раз Гримм ездил туда с нами[33]. У викария был хороший голос, он недурно пел и, хотя не знал нот, мог разучить партию с большой легкостью и точностью. Мы проводили время в пении моих трио, написанных в Шенонсо. Я сочинил там еще два или три новых, на слова, которые кое-как состряпали Гримм и викарий. Не могу удержаться, чтобы не пожалеть об этих трио, написанных и петых в минуты самой чистой радости и оставшихся вместе со всеми моими нотами в Угоне{283}. Возможно, мадемуазель Девенпорт уже сделала из них папильотки; но они были написаны по большей части хорошим контрапунктом, и, право, стоило их сохранить. После одного из этих маленьких путешествий, во время которого я имел удовольствие видеть Терезу довольной и веселой и сам тоже очень веселился, я написал викарию, очень быстро и очень плохо, послание в стихах, которое найдут среди моих бумаг.

У меня было, поближе к Парижу, другое пристанище, чрезвычайно приятное для меня, – у г-на Мюссара, моего соотечественника, родственника и друга, устроившего себе в Пасси очаровательный уголок, где я провел много безмятежных часов. Мюссар был ювелир и человек рассудительный. Честно нажив на своем деле порядочное состояние и выдав свою единственную дочь замуж за дворецкого короля – г-на де Вальмалета, сына биржевого маклера, он принял мудрое решение оставить на старости лет торговлю и дела, чтобы в промежуток времени, оставшийся ему перед смертью, отдохнуть от треволнений жизни и насладиться мирными радостями. Добряк Мюссар, настоящий философ в жизни, жил без забот в очень уютном собственном доме посреди красивого сада, который насадил собственными руками. Разрыхляя землю в этом саду, расположенном уступами, он нашел ископаемые раковины – и в таком количестве, что его экзальтированное воображение стало видеть одни лишь раковины во всей природе, и он наконец в самом деле поверил, что вселенная состоит только из раковин, из обломков раковин, и что вся земля не что иное, как ракушечный известняк. Беспрестанно занятый этим предметом и своими странными открытиями, он так воспламенился этими идеями, что они превратились бы в его голове в целую систему, то есть в безумную манию, если бы, к счастью для его разума, но к большому несчастью для его друзей, которым он был дорог и которые находили у него самое приятное убежище, смерть не похитила его у них путем самой странной и жестокой болезни: это была опу-

[33] Так как я упустил рассказать здесь об одном маленьком, но памятном происшествии, которое было у меня там с этим самым Гриммом, когда мы собирались обедать у фонтана Сен-Вандрилль, то не стану возвращаться к нему; но, раздумывая о нем впоследствии, я пришел к заключению, что Гримм уже в то время замышлял в глубине своего сердца заговор, осуществленный им впоследствии с таким необычайным успехом. (*Прим. Руссо.*)

холь в желудке, которая, все разрастаясь, мешала ему есть и привела наконец к тому, что после нескольких лет страданий он умер от голода. Я не могу вспомнить без боли в сердце о последних днях этого несчастного и достойного человека; Ленье и я оказались единственными друзьями, посещавшими его до последнего часа, – остальных отпугивало зрелище его страданий; он пожирал глазами угощение, которое подавали нам по его приказанию, а сам почти не имел возможности проглотить несколько капель жидкого чая, чтобы через минуту желудок не выбросил их обратно. Но до этого скорбного времени сколько я провел у него приятных часов среди его избранных друзей! Во главе их я ставлю аббата Прево{284}, очень любезного и очень простого человека, сердце которого одушевляло его достойные бессмертия творения; ни в его нраве, ни в обращении не было следа того мрачного колорита, который он сообщал своим произведениям; назову еще доктора по фамилии Прокоп, маленького Эзопа{285}, имевшего успех у женщин; Буланже{286}, знаменитого после своей смерти автора «Восточного деспотизма», распространявшего, кажется, взгляды Мюссара на вопрос о продолжительности мирозданья; из женщин – г-жу Дени{287}, племянницу Вольтера, – в то время просто добрую особу, еще не претендовавшую на остроумие; г-жу Ванлоо, не красавицу, конечно, но женщину очаровательную и певшую, как ангел; самое г-жу де Вальмалет, которая тоже пела и, хотя отличалась худобой, была бы очень привлекательна, если б только меньше прилагала к тому стараний. Таково в основном было общество, собиравшееся у г-на Мюссара, и оно очень нравилось мне, но беседы с хозяином дома наедине и его конхилиомания{288} нравились мне больше; и могу сказать, что более шести месяцев я работал в его кабинете с таким же удовольствием, как и он сам.

Он уже давно утверждал, что при моем состоянии здоровья воды Пасси будут спасительны для меня, и заклинал приехать и пользоваться ими у него. Чтобы вырваться хоть ненадолго из городской сутолоки, я сдался наконец и провел в Пасси недели полторы, которые принесли мне много пользы, – больше потому, что я жил в деревне, чем потому, что пользовался водами. Мюссар играл на виолончели и страстно любил итальянскую музыку. Однажды вечером мы много говорили о ней перед сном, особенно о комических операх; мы оба видели их в Италии и были от них в восторге. Ночью мне не спалось, я принялся мечтать, как можно было бы для постановки во Франции сочинить пьесу в таком жанре, потому что комедия «Увлечение Рагунды»{289} была совсем не похожа на них. Утром, гуляя и принимая воды, я наспех сочинил некоторое подобие стихов и подобрал к ним напевы, пришедшие мне в голову. Я набросал все это под сводами павильона, стоявшего в верхней части сада. За чаем я не утерпел, чтобы не показать этих арий Мюссару и мадемуазель Дювернуа, его экономке, которая поистине была очень добрая и милая девица.

Три сделанных мною наброска содержали первый монолог: «Увы, слуга потерян мной», арию колдуна: «С тревогою любовь растет», и последний дуэт: «Хочу с тобой, Колен, я быть» и т. д. Я так мало считал это достойным продолжения, что, если б не аплодисменты и одобрения обоих моих слушателей, бросил бы свои листки в огонь и не думал о них больше, как делал столько раз с вещами, по меньшей мере такими же хорошими; но тут меня так разгорячили, что в шесть дней моя пьеса была готова почти до последнего стиха, набросана вся музыка; в Париже мне пришлось сделать только несколько речитативов и дополнений; я окончил все с такой быстротой, что в три недели мои сцены были отделаны и годны к постановке. В них не хватало только дивертисмента, который я написал много позже.

Возбужденный сочинением этой пьесы, я страстно желал услышать ее и отдал бы все на свете, чтобы ее поставили по моему вкусу и при закрытых дверях, – как, говорят, однажды сделал это Люлли, заставив сыграть свою «Армиду»{290} для себя одного. Однако у меня не было возможности испытать это удовольствие иначе как при публике, и, чтобы насладиться своей пьесой, мне необходимо было провести ее в Опере. К несчастью, она была в совер-

шенно новом жанре, к которому уши парижан совсем не привыкли; и к тому же слабый успех «Галантных муз» заставлял меня предвидеть такой же прием и для «Колдуна», если я представлю его под своим именем. Дюкло вывел меня из затруднения и взялся добиться пробной репетиции, сохранив в тайне имя автора. Чтобы не выдать себя, я на этой репетиции не присутствовал, и «маленькие скрипачи»[34], дирижировавшие ею, сами не знали, кто ее автор, пока всеобщее одобрение не засвидетельствовало качество пьесы. Все, кто ее слышал, были от нее в восторге, и уже на другой день во всех домах не говорили ни о чем другом. Распорядитель дворцовых увеселений г-н де Кюри, присутствовавший на репетиции, попросил пьесу для постановки при дворе. Дюкло, зная мои намерения и полагая, что я буду меньше хозяином своей пьесы при дворе, чем в Париже, отказал ему. Кюри потребовал ее официально. Дюкло не уступал, и спор между ними стал таким горячим, что однажды в Опере они готовы были вызвать друг друга на дуэль, и их едва примирили. Попробовали обратиться ко мне; я отослал за разрешением вопроса к Дюкло. Пришлось опять вести с ним переговоры. Герцог д'Омон вмешался в этот спор. Дюкло счел наконец необходимым уступить власти, и пьеса была отдана для представления в Фонтенбло.

Частью, которой я больше всего дорожил и где я более всего удалялся от обычного пути, был речитатив. Мой речитатив был отмечен совершенно новой выразительностью и согласовался с произношением слов. Сохранить это ужасное новшество не посмели из боязни, как бы оно не оскорбило ослиных ушей. Я согласился, чтобы Франкей и Желиотт написали другой речитатив, но не стал в это вмешиваться.

Когда все было готово и назначен день представления, мне предложили поехать в Фонтенбло посмотреть хоть последнюю репетицию. Я отправился туда в придворной карете, с мадемуазель Фель, Гриммом и, кажется, аббатом Рейналем. Репетиция прошла сносно; я остался ею доволен больше, чем ожидал. Оркестр, составленный из оперного и королевского, был большой. Желиотт играл Колена; мадемуазель Фель – Колетту; Кювилье – колдуна; хор был из Оперы. Я мало говорил; Желиотт заправлял всем; я не хотел контролировать им сделанное и, несмотря на свой суровый тон, смущался среди всех этих людей, как школьник.

На следующее утро, в день, назначенный для представления, я пошел позавтракать в кафе «Гран-Коммен». Там было много народу. Говорили о репетиции, происходившей накануне, и о трудностях попасть на нее. Один офицер заявил, что он вошел без труда, подробно рассказал обо всем, что там происходило, описал автора, сообщил о том, что автор делал, что говорил. Но в этом довольно длинном рассказе, произнесенном с такой же уверенностью, как и простотой, меня изумило то, что в нем не было ни одного слова правды. Мне было совершенно ясно, что тот, кто говорит с таким знанием дела об этой репетиции, вовсе не был на ней, раз он имел перед глазами и не узнавал того самого автора, которого, по собственным словам, так хорошо видел. Сцена эта произвела на меня впечатление самое странное. Этот человек был уже немолод; ни в его манерах, ни в тоне разговора не было ничего фатовского и хвастливого. Судя по наружности, его можно было принять за человека порядочного, а орден Св. Людовика свидетельствовал, что он старый офицер. Я невольно заинтересовался им, несмотря на его наглость. По мере того как он умножал свои выдумки, я краснел, опускал глаза, сидел как на иголках; я искал иногда в самом себе доводов в пользу того, что он заблуждается и притом чистосердечно. Боясь, как бы кто-нибудь не узнал меня и тем самым не сконфузил бы обманщика, я не говорил ни слова и поспешил допить свой шоколад; проходя мимо него, я низко опустил голову и торопливо вышел, пока присутствующие продолжали разглагольствовать обо мне. На улице я заметил, что я весь в поту; не сомневаюсь, что,

[34] Так называли Ребеля и Франкера{496}, в юности известных тем, что они всегда вместе ходили играть на скрипке по домам. (*Прим. Руссо.*)

если бы в кафе кто-нибудь узнал и окликнул меня, я был бы смущен и пристыжен, как виноватый, – настолько мне тягостна была мысль о неприятном положении, в каком очутился бы этот бедняга, неожиданно изобличенный во лжи.

Вот я подошел к одному из тех критических моментов своей жизни, о которых мне трудно рассказывать только потому, что почти невозможно, чтобы сам рассказ не носил на себе отпечатка осужденья или оправданья. Попытаюсь все-таки передать, как, и в силу каких побуждений, я действовал, не прибавляя к этому ни похвал, ни порицанья.

В этот день я был в своем обычном небрежном виде: длинная борода и довольно плохо причесанный парик. Принимая этот недостаток благопристойности за проявление мужества, я вошел в таком виде в ту самую залу, куда должны были прибыть немного времени спустя король, королева, королевская семья и весь двор.

Г-н де Кюри провел меня в свою ложу, где я и уселся. Это была большая ложа на подмостках, а напротив нее, несколько выше, находилась маленькая ложа, где поместился король с г-жой де Помпадур. Я был единственный мужчина среди дам, сидевших в переднем ряду, и не мог сомневаться, что меня посадили туда нарочно, всем напоказ. Когда залу осветили и я почувствовал, что меня в таком одеянии видят все эти люди в великолепных нарядах, мне стало не по себе; я спросил себя: на своем ли я месте, пристойно ли мне быть здесь? И после нескольких тревожных минут ответил себе: «Да», с неустрашимостью, происходившей, может быть, скорее от невозможности отступления, чем от убедительности доводов. Я сказал себе: «Я на своем месте, раз я смотрю на сцене свою пьесу, раз я сюда приглашен, раз я написал ее только для этой цели и раз в конце концов никто не имеет больше прав, чем я сам, наслаждаться плодами моей работы и моего таланта. Я одет был как обычно – не лучше, не хуже; если только я опять стану рабом общественного мнения хоть в чем-нибудь, мне вскоре придется подчиниться ему во всем. Чтобы всегда быть самим собой, я нигде не должен краснеть за то, что одет согласно положению, которое я избрал. Мой внешний вид прост и небрежен, но чист и опрятен; точно так же и борода сама по себе не представляет ничего неопрятного, раз она дана мужчинам природой и, в зависимости от времени и моды, иногда считается украшением. Меня могут найти смешным и невежей? Что мне до этого! Я должен уметь переносить насмешки и порицание, лишь бы они не были заслуженны». После этого короткого разговора с собой я убедил себя настолько, что стал бы неустрашимым, если б понадобилось. Но, вследствие ли присутствия короля или по естественному расположению сердец, незаметно было ничего, кроме предупредительности и благовоспитанности в том любопытстве, предметом которого я оказался. Я был так тронут, что вновь стал беспокоиться о себе и об участи своей пьесы, боясь не оправдать благожелательного отношения ко мне и ясной готовности приветствовать меня. Я был вооружен против издевательства зрителей, но их ласковый вид, которого я совсем не ожидал, так покорил меня, что я дрожал, как ребенок, когда началось представление. Вскоре, однако, я успокоился. Актеры играли очень плохо, но пели прекрасно, и вообще музыкальная часть исполнялась хорошо. С первой же сцены, которая действительно отличается трогательной наивностью, я услышал в ложах шепот удивления и одобрения, необычный на представлениях такого рода пьес. Возрастающее волнение скоро достигло такой степени, что охватило весь зал и, – как сказал бы Монтескье, – усиливало свое действие своим собственным действием. В сцене двух влюбленных оно достигло высшего предела. В присутствии короля нельзя аплодировать, поэтому было слышно все; от этого выиграли и пьеса, и автор. Вокруг себя я слышал шепот женщин, казавшихся мне прекрасными, как ангелы. Они говорили друг другу вполголоса: «Прелестно! Восхитительно! Каждый звук трогает сердце!» Удовольствие от того, что я вызвал восторг стольких очаровательных особ, взволновало меня самого до слез, и я не мог удержать их при первом дуэте, заметив, что плачу не один. Была минута, когда я мысленно оглянулся на самого себя, вспомнив о концерте де Трейторана. Это воспоминание

окрылило меня: так раб возносит венец над головой триумфатора; но оно было коротким, и скоро я всецело отдался упоению своей славой. Однако я убежден, что наслаждение от близости женщин сыграло здесь не меньшую роль, чем авторское тщеславие; и конечно, будь там одни мужчины, меня не пожирало бы, как это было весь тот вечер, желанье осушить своими губами восхитительные слезы, которые я заставлял проливать. Я видел пьесы, возбуждавшие более сильное восхищение, но никогда не видал, чтобы такой полный, сладостный и трогательный восторг царил в течение всего спектакля и особенно в день первого представления при дворе. Те, кто видел этот спектакль, наверно, помнят его, потому что впечатление было единственное в своем роде.

В тот же вечер герцог д'Омон велел мне сказать, чтобы на другой день к одиннадцати часам я явился во дворец и он представит меня королю. Г-н де Кюри, передавший мне это приглашение, прибавил, что, как полагают, дело идет о пенсии и король хочет сам объявить мне о ней.

Можно ли поверить, что ночь, последовавшая за таким блестящим днем, была для меня ночью тоски и тревоги? При мысли о предстоящей аудиенции я прежде всего подумал о своей потребности часто выходить, заставившей меня очень страдать во время спектакля, – может быть, она будет мучить меня в галерее или в апартаментах короля, среди всей этой знати, ожидающей появления его величества. Этот недуг был главной причиной, мешавшей мне посещать собрания и задерживаться у женщин. Мне делалось дурно от одной лишь мысли о том положении, в какое эта потребность поставила бы меня. Я предпочел бы умереть, чем пережить такой скандал. Только те, кому знакомо подобное состояние, могут представить себе, с каким ужасом я думал об этой опасности. Кроме того, я рисовал себе, как я буду стоять перед королем, как меня представят его величеству, как он соблаговолит остановиться и заговорить со мной. В ответах нужны точность и находчивость. По своей проклятой застенчивости я смущаюсь перед каждым ничтожным незнакомцем, и разве эта робость покинет меня перед королем Франции или позволит мне удачно придумать в одно мгновенье то, что необходимо сказать? Я хотел сохранить суровый вид и тон, усвоенный мной, и вместе с тем показать, что чувствителен к чести, оказанной мне столь великим монархом. Надо было облечь какую-нибудь высокую и полезную истину в форму прекрасной и заслуженной похвалы. Чтобы заранее приготовить удачный ответ, надо было бы предвидеть все, что он может мне сказать; но я был убежден, что даже при таких обстоятельствах не вспомню в его присутствии ни слова из всего приготовленного. Что будет со мной в этот момент, да еще на глазах у всего двора, если от смущенья у меня вырвется какая-нибудь из моих обычных нелепостей? Эта опасность встревожила меня, испугала, и я трепетал до такой степени, что решил – была не была! – не подвергаться ей.

Я терял, правда, пенсию, в некотором роде предложенную мне, но избавлялся от ига, которое она на меня наложила бы. Прощай, истина, свобода, мужество! Как осмелился бы я после этого говорить о независимости и бескорыстии? Приняв пенсию, мне оставалось бы только льстить или молчать; да и кто поручился бы, что мне стали бы ее выплачивать? Сколько шагов надо для этого предпринять, перед сколькими людьми ходатайствовать! Чтобы сохранить ее за собой, мне пришлось бы взять на себя столько забот, что, пожалуй, лучше будет обойтись без нее. Поэтому я решил, что, отказываясь от нее, делаю выбор, вполне согласный с моими принципами, и приношу видимость в жертву действительности. Я сказал о своем решении Гримму, и он ничего не возразил. Перед другими я сослался на нездоровье и уехал в то же утро.

Мой отъезд произвел шум и вызвал всеобщее осуждение. Мои основания не могли быть поняты всеми; обвинить меня в глупой гордости было гораздо проще и лучше удовлетворяло зависть всякого, кто чувствовал, что не способен был бы так поступить. На другой день Желиотт написал мне записку, в которой подробно сообщал об успехе моей пьесы и

говорил, что ею увлечен сам король. Целый день, писал он мне, его величество не переставая поет самым фальшивым голосом во всем королевстве: «Увы! слуга потерян мной; душа моя полна тоской!» Он добавлял, что недели через две должно состояться второе представление «Колдуна», которое подтвердит в глазах публики полный успех первого.

Через два дня, когда я около девяти часов вечера шел ужинать к г-же д'Эпине, у самых дверей мне пересек дорогу фиакр. Кто-то сидевший в нем сделал мне знак сесть в экипаж; это был Дидро. Он стал говорить мне о пенсии с жаром, которого я в таком деле не ожидал от философа. Он не видел преступления в моем нежелании быть представленным королю, но видел ужасное преступление в моем равнодушии к пенсии. Он сказал мне, что, если я не заинтересован лично, мне непозволительно забывать о г-же Левассер и ее дочери; что у меня есть по отношению к ним обязанности и я не должен упускать ни одного возможного и честного способа обеспечить их; а так как, в сущности, нельзя было сказать, что я отказался от пенсии, он утверждал, что раз, по-видимому, есть намерение пожаловать ее мне, я должен домогаться и добиться ее какой бы то ни было ценой. Меня тронуло его усердие, но я не мог одобрить его доводов, и у нас завязался на эту тему очень горячий спор – мой первый спор с ним. Впоследствии все наши споры были в таком же роде: он предписывал мне то, что, по его мнению, я должен был делать, а я отказывался, полагая, что не должен так поступать.

Мы расстались очень поздно. Я хотел повести его ужинать к г-же д'Эпине, но он не согласился. Мое желание объединить всех, кого я люблю, заставляло меня в разные времена делать множество попыток познакомить их, и дошло до того, что однажды я привел г-жу д'Эпине к его двери, но он не принял нас и всячески противился этому знакомству, отзываясь о ней самым презрительным образом. И только после моей размолвки с ними обоими у них завязались дружеские отношения, и он начал отзываться о ней почтительно.

С этих пор Дидро и Гримм, казалось, поставили себе задачей отдалить от меня моих домоправительниц, давая им понять, что если они живут в нужде, то этому причиной моя злая воля и что со мной они никогда ничего не добьются. И тот и другой старались уговорить их покинуть меня, обещая им при помощи влияния г-жи д'Эпине мелочную торговлю солью, табачную лавку и не знаю что еще. Они хотели даже вовлечь в свой заговор Дюкло и Гольбаха, но первый всегда отказывался от этого. Я тогда отчасти догадывался обо всей этой интриге, но более определенно узнал о ней только долгое время спустя, и мне часто приходилось оплакивать слепое и нескромное усердие моих друзей: они заботились о моем счастье, но прибегали для этого к средствам, которые могли сделать меня только несчастным: при моем болезненном состоянии меня стремились довести до самого печального одиночества.

В следующем, 1753, году «Колдун» был сыгран в Париже во время карнавала, и к этому моменту я успел написать увертюру и дивертисмент. Этот дивертисмент, в том виде, как он напечатан, должен был от начала до конца заключать в себе связное действие, и сюжет его, по-моему, давал место очень приятным картинам. Но когда я предложил эту идею Опере, меня даже не поняли, и пришлось сшивать пенье и танцы на обычный манер: поэтому дивертисмент, полный прелестных выдумок, не исключающих действия, имел очень посредственный успех. Я снял речитатив Желиотта и восстановил свой, в том виде как я его сочинил и как он напечатан; и этот речитатив, признаюсь, немного офранцуженный, то есть произносимый актерами нараспев, не только никого не шокировал, но даже понравился не меньше, чем арии, и показался публике так же хорошо написанным. Я посвятил свою пьесу г-ну Дюкло, оказавшему ей покровительство, и объявил, что это будет моим единственным посвящением. Я сделал, однако, еще одно, с его согласия, и он, наверно, был более польщен этим исключением, чем если б я не допустил никакого.

В связи с этой пьесой у меня есть много историй, но другие, более важные предметы не оставляют мне времени распространяться здесь о них. Я, может быть, вернусь к ним когда-нибудь в дополнении. Однако упомяну об одной из них, так как она может иметь отношение

ко всему последующему. Однажды я знакомился в кабинете барона Гольбаха с его нотами; перебрав множество нот всякого рода, он сказал мне, показывая сборник пьес для клавесина: «Вот пьесы, сочиненные для меня; они полны вкуса, очень певучи; никто не знает и не увидит их, кроме меня одного. Выберите какую-нибудь из них и включите в свой дивертисмент». Имея в голове гораздо больше мелодий для арий и симфоний, чем я мог использовать, я очень мало интересовался принадлежащими ему нотами. Но он так меня уговаривал, что из любезности я выбрал одну пастораль и, сократив ее, превратил в трио для выхода подруг Колетты. Через несколько месяцев, в то время, когда снова ставили на сцене «Колдуна», я пришел однажды к Гримму и застал у него общество вокруг клавесина, из-за которого он быстро встал при моем появлении. Взглянув машинально на пюпитр, я увидел тот самый сборник барона Гольбаха, раскрытый как раз на той самой пьесе, которую он уговорил меня взять, уверяя, что она никогда не выйдет из его рук. Несколько времени спустя я увидел еще раз этот самый сборник на клавесине г-на д'Эпине, в тот день, когда у него занимались музыкой. Ни Гримм и никто другой никогда не говорили об этой арии, и я сам говорю о ней здесь только потому, что некоторое время спустя распространился слух, будто автор «Деревенского колдуна» – не я. Так как я никогда не был великим кропателем нот, то убежден, что, не будь моего «Музыкального словаря», в конце концов стали бы говорить, что я не знаю музыки[35].

Незадолго до постановки «Деревенского колдуна» в Париж приехали итальянские буффоны;{291} им позволили играть в Опере, не предвидя, какое впечатление они там произведут. Хотя труппа была отвратительная и оперный оркестр, тогда очень невежественный, калечил, как вздумается, пьесы, которые давали буффоны, тем не менее итальянцы нанесли французской опере такой урон, что она уже никогда не могла оправиться. Сравнение этих двух видов музыки, исполняемой в один и тот же день на том же самом театре, открыло французам уши: не было решительно никого, кто мог бы вынести нашу тягучую музыку после живого и отчетливого ритма итальянцев; как только буффоны кончали, все уходили. Пришлось изменить порядок и перенести буффонов в конец. Давали «Аглаю», «Пигмалиона», «Сильфа», – ничто не удерживалось в программе. Только «Деревенский колдун» выдержал сравнение и имел успех даже после «La Serva Padrona»[36]. Когда я сочинял свою интермедию, моя голова была полна итальянцами; это они подали мне самую мысль о ней, но я совсем не предвидел, что ее когда-нибудь будут слушать наряду с итальянскими операми. Если б я был плагиатором, сколько хищений обнаружилось бы в этом случае и как старались бы, чтобы эти хищения были замечены! Но нет, как ни старались, в моей музыке не нашлось ни малейшего сходства с какой-либо другой; и все мои напевы при сравнении с мнимыми оригиналами оказались столь же новыми, как и характер музыки, которую я создал. Если бы такому же испытанию подвергли Мондонвиля{292} или Рамо, от них бы ничего не осталось.

Буффоны создали итальянской музыке страстных приверженцев. Весь Париж разделился на два лагеря; поднялись споры более горячие, чем если бы речь шла о каком-нибудь государственном или религиозном вопросе. Одна партия, более могущественная, более многочисленная, состоявшая из вельмож, богачей и женщин, поддерживала французскую музыку; другая, более живая, более утонченная, более восторженная, состояла из настоящих знатоков, людей даровитых и талантливых. Маленькая кучка их собиралась в Опере, под ложей королевы. Другая партия заполняла весь партер и остальную часть залы, но главный очаг ее находился под ложей короля. Вот откуда появились названия знаменитых партий того времени: «угол короля» и «угол королевы». Спор, разгораясь, породил брошюры. Угол

[35] Я совсем не предвидел, что это все-таки будут говорить, несмотря на «Словарь». (*Прим. Руссо.*)

[36] «Служанка-госпожа» (*итал.*).

короля вздумал шутить – он был осмеян «Маленьким Пророком»{293}. Затем он пустился в рассуждения – и был сокрушен «Письмом о французской музыке»{294}. Эти две маленькие статьи – одна Гримма, другая моя – единственные, пережившие само разногласие; все остальные уже умерли.

Но «Маленький Пророк», которого, вопреки моему желанию, долго упорно приписывали мне, был принят как шутка и не доставил ни малейшего огорчения своему автору, тогда как «Письмо о музыке» было принято всерьез и восстановило против меня всю нацию, – она сочла себя оскорбленной за свою музыку. Описание невероятного действия этой брошюры было бы достойно пера Тацита{295}. То было время большой распри между парламентом и духовенством{296}. Парламент только что был устранен; возбуждение достигло высшей точки; все угрожало близким восстанием. Появилась брошюра; и тотчас же все другие споры были забыты: стали думать только об опасности, грозящей французской музыке, и все ополчились против одного меня. Возмущение было так сильно, что нация никогда не могла вполне простить мне это. При дворе колебались только в выборе между Бастилией{297} и изгнанием; и тайный приказ об аресте был бы уже отправлен, если б г-н де Вуайе не дал понять, что это смешно. Когда прочтут, что моя брошюра о музыке, может быть, предотвратила государственный переворот, это сочтут бредом. Однако это очень реальная истина, которую весь Париж еще может засвидетельствовать, потому что прошло не больше пятнадцати лет со времени этой странной истории.

Если не посягнули на мою свободу, то, во всяком случае, не удержались от оскорблений по моему адресу; даже моя жизнь была в опасности. Оркестр Оперы составил благородный заговор с целью убить меня при выходе из театра. Мне сказали об этом; я стал только усерднее посещать Оперу и лишь много времени спустя узнал, что Анселе, командир мушкетеров, расположенный ко мне, предупредил выполнение заговора, приказав, без моего ведома, охранять меня при выходе из театра. Управление Оперой только что перешло к городу. Первым подвигом купеческого старшины было лишить меня права бесплатного посещения спектаклей, причем это было сделано в форме самой неприличной, какая только возможна: мне публично отказали в этом праве при входе в зал, и я вынужден был взять себе билет в амфитеатр, чтобы избежать стыда не быть допущенным в этот день на спектакль. Несправедливость была тем более вопиющей, что единственной платой, которую я назначил за свою пьесу, уступая ее Опере, было постоянное право на бесплатный вход; право каждого автора бесплатно смотреть свою пьесу принадлежало мне на двойном основании: я особо оговорил его в присутствии г-на Дюкло. Правда, мне прислали в счет гонорара, через кассира Оперы, пятьдесят луидоров, которых я не просил, но помимо того, что эти пятьдесят луидоров отнюдь не составляли суммы, полагавшейся мне по правилам, эта плата не имела никакого отношения к праву бесплатного входа, которое было формально оговорено и совершенно от нее не зависело. В этом поступке было столько несправедливости и грубости, что публика, тогда относившаяся ко мне крайне враждебно, все же единодушно была возмущена, так что иной, еще накануне оскорблявший меня, на другой день громко кричал в зале, что стыдно отнимать право свободного входа у автора, который столь бесспорно заслужил его и мог бы даже требовать его на двоих. Так оправдалась итальянская пословица: «Ognun ama la giustizia in casa d'altrui»[37].

Я мог принять по этому поводу только одно решенье: потребовать обратно свое произведение, раз меня лишали условленной цены. Я написал с этой целью д'Аржансону{298}, в ведомстве которого находилась Опера, и присоединил к своему письму докладную записку; она была неопровержима, но осталась без ответа и последствий, так же как и мое письмо.

[37] «В чужом деле каждый любит справедливость» (*итал.*).

Молчание этого несправедливого человека глубоко задело меня и не увеличило то малое уважение, которое я всегда питал к его характеру и талантам. Итак, мою пьесу удержали в Опере и обманом лишили меня вознаграждения, за которое я ее отдал. Поступи так слабый с сильным – это признали бы воровством; но когда так поступает сильный со слабым – это только присвоение чужого добра.

Что же касается денежной прибыли от этого произведения, то оно хотя не принесло мне и четверти того, что принесло бы в руках другого, все же дало мне возможность существовать несколько лет, не занимаясь перепиской, которая шла все время довольно плохо. Я получил сто луидоров от короля, пятьдесят от г-жи де Помпадур – за представление в Бельвю{299}, где она сама играла роль Колена, пятьдесят из Оперы и пятьсот франков от Писсо – за напечатание; так что эта интермедия, стоившая мне никак не больше пяти-шести недель работы, принесла мне почти столько же денег, несмотря на мою неудачливость и бестолковость, сколько впоследствии принес «Эмиль», стоивший мне двадцати лет размышлений и трех лет работы. Но за материальное благополучие, доставленное мне этой пьесой, я заплатил бесконечными неприятностями: она была источником тайной зависти, которая прорвалась лишь долгие годы спустя. Со времени ее успеха я не замечал более ни у Гримма, ни у Дидро и почти ни у кого другого из знакомых мне литераторов той сердечности, той искренности, того удовольствия видеть меня, которые, как мне казалось, я находил до тех пор. Как только я появлялся у барона, разговор переставал быть общим. Разбивались на маленькие группы, шептали друг другу на ухо, и я оставался один, не зная, с кем заговорить. Я долго терпел это оскорбительное отчуждение и, видя, что г-жа Гольбах, всегда любезная и милая, принимает меня хорошо, переносил дерзости ее мужа, пока они были переносимы; но однажды он напал на меня без причины, без повода и с величайшей грубостью, в присутствии Дидро, не проронившего ни слова в мою защиту, и в присутствии Маржанси, часто говорившего мне после этого, что он восхищался мягкостью и сдержанностью моих ответов; изгнанный из этого дома таким недостойным обхождением, я ушел, решив больше туда не возвращаться. Это не помешало мне говорить всегда с уважением о Гольбахе и о его доме, между тем как он всегда отзывался обо мне только в обидных, презрительных выражениях, называя меня не иначе как «этот жалкий педант», хотя никогда не мог указать какую-либо мою вину перед ним или перед кем-нибудь, в ком он принимал участие. Вот как он в конце концов оправдал мои предсказания и опасенья. Что касается меня, то, мне кажется, люди, называвшие себя моими друзьями, простили бы мне, что я пишу книги, и превосходные книги, потому что эта слава не была чужда и им; но они не могли мне простить того, что я написал оперу, и блестящего успеха, выпавшего на долю этого произведения, ибо никто из них не был в состоянии вступить на то же поприще и претендовать на те же почести. Один Дюкло, стоявший выше зависти, казалось, даже усилил свое расположение ко мне и ввел меня к мадемуазель Кино, в чьем доме я встретил так же много внимания, любезности, ласки, как мало находил всего этого у г-на Гольбаха.

В то время как «Деревенский колдун» шел в Опере, подымался вопрос о его авторе и во Французской Комедии, но менее счастливо. В течение семи или восьми лет я не мог добиться постановки своего «Нарцисса» у итальянцев, да и потерял интерес к их театру, так как они плохо играли французские пьесы, и охотнее отдал бы «Нарцисса» французам. Я сказал об этом желании актеру Ла Ну{300}, с которым познакомился, а он, как известно, был человек порядочный и сам писатель. «Нарцисс» понравился ему, он взялся поставить его анонимно, а в ожидании этого добыл мне разрешение на бесплатный вход во Французскую Комедию, доставившее мне большое удовольствие, так как я всегда предпочитал этот театр остальным двум{301}. Моя пьеса была принята с похвалами и представлена{302} без упоминания имени автора, но у меня есть основания думать, что для актеров и многих других оно не

осталось неизвестным. М-ль Госсен и м-ль Гранваль{303} играли роли влюбленных; и хотя, на мой взгляд, понимания целого не было достигнуто, нельзя было сказать, чтобы пьеса была совсем плохо сыграна. Во всяком случае, я был удивлен и тронут снисходительностью публики, имевшей терпение спокойно слушать ее с начала до конца и даже выдержать второе представление, не обнаруживая ни малейшего признака нетерпения. Что до меня, то я так скучал на премьере, что не мог досидеть до конца и, сбежав со спектакля, зашел в кафе «Прокоп», где встретил Буасси и некоторых других, вероятно соскучившихся так же, как я. Там я открыто произнес свое peccavi[38], смиренно или гордо признав себя автором пьесы и говоря о ней то, что все думали. Это публичное признание со стороны автора того, что его провалившаяся пьеса плоха, вызвало большое восхищение, а мне совсем не показалось тягостным. Я даже нашел удовлетворение своему самолюбию в том, что мужественно сделал это признание, и мне думается, что достойнее было сделать его, чем молчать из глупого стыда. Но так как было ясно, что эта пьеса, хоть и расхолаживающая на сцене, выдерживает чтение, я пустил ее в печать и в предисловии, принадлежащем к числу удачных моих сочинений, впервые изложил свои принципы немного более открыто, чем делал это до тех пор.

Вскоре мне представился случай развить их полностью в труде гораздо большего значения: если я не ошибаюсь, именно в том же, 1753, году Дижонской Академией была объявлена тема «О происхождении неравенства среди людей». Потрясенный важностью вопроса, я был удивлен, что Академия решается предложить его; но раз у нее нашлось достаточно храбрости для этого, я тоже набрался храбрости и взялся за разработку.

Чтобы спокойно обдумать эту великую тему, я совершил семи– или восьмидневное путешествие в Сен-Жермен{304} с Терезой, а также с нашей хозяйкой – женщиной очень славной – и с одной из ее подруг. Я считаю эту прогулку одной из самых приятных в своей жизни. Стояла прекрасная погода; наши добрые спутницы взяли на себя хлопоты и покупки; Тереза развлекалась с ними; а я, не заботясь ни о чем, приходил без стеснения только в часы наших веселых трапез. Все остальное время дня, уйдя поглубже в лес, я искал; я находил там картину первобытных времен, историю которых смело стремился начертать; я обличал мелкую людскую ложь; я дерзнул обнажить человеческую природу, проследить ход времен и событий, извративших ее, и, сравнивая человека, созданного людьми, с человеком естественным, показать людям, что достигнутое ими мнимое совершенство – источник их несчастий. Моя душа, восхищенная этим величественным созерцанием, возносилась к божеству; и, видя с этой высоты, как мои ближние в слепом неведении идут по пути своих предрассудков, своих заблуждений, несчастий, преступлений, я кричал им слабым голосом, которого они не могли услышать: «Безумцы, вы беспрестанно жалуетесь на природу. Узнайте же, что все ваши беды исходят от вас!»

Из этих размышлений возникло «Рассуждение о неравенстве» – труд, понравившийся Дидро больше всех других моих сочинений, и для которого его советы были мне особенно полезны;[39] однако во всей Европе нашлось очень мало читателей, понявших его, а среди них никого, кто захотел бы о нем говорить. Он был написан для соискания премии; и я послал его, заранее уверенный, что не получу ничего, ибо знал, что не за такого рода произведения академиями даются награды.

---

[38] Покаяние (*лат.*).

[39] В то время, когда я писал это, у меня еще не было никакого подозрения о великом заговоре Дидро и Гримма, иначе я легко распознал бы, насколько первый злоупотреблял моим доверием, чтобы придать моим произведениям тот жестокий и мрачный характер, которого они больше не имели, когда он перестал меня направлять. Отрывок о философе, который приводит самому себе доказательства, заткнув уши, чтобы не слышать жалоб несчастного, – написан в его духе; он снабдил меня и другими темами, еще более мрачными, которыми я не решился воспользоваться. Но я приписывал его настроение тому состоянию, которое вызвала в нем Венсенская башня и довольно сильную дозу которого можно найти в его «Клервале»; я никогда не думал подозревать в этом злой умысел. (*Прим. Руссо.*)

Эта прогулка и это занятие благотворно подействовали на мое расположение духа и на мое здоровье. Страдая задержанием мочи, я в последние годы полностью вверил себя врачам; они же, не облегчив моего недуга, истощили мои силы и расшатали мой организм. Из Сен-Жермена я вернулся окрепшим и почувствовал себя гораздо лучше. Я принял это к сведению и, решив выздороветь или умереть без врачей и без лекарств, простился с ними навсегда и стал жить изо дня в день, сидя смирно, когда не мог ходить, и передвигаясь, как только имел к тому силы. Парижская жизнь среди людей с претензиями очень мало отвечала моему вкусу; интриги литераторов, их постыдные распри, их недостаточная добросовестность в книгах, их самоуверенный тон в обществе были мне так ненавистны, так противны, я встречал так мало мягкости, сердечной откровенности, искренности даже в общении с друзьями, что вся эта парижская сутолока опостылела мне, и я начал пламенно стремиться в деревню. Мое занятие не давало мне возможности там поселиться, но я старался по крайней мере проводить за городом все свободные часы. В течение нескольких месяцев я каждый день после обеда ходил гулять в Булонский лес{305}, обдумывая темы своих произведений, и возвращался домой только к ночи.

Гофкур, с которым я был тогда очень дружен, вынужден был поехать в Женеву по служебным делам и предложил взять меня с собой; я согласился. Я чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы обойтись без ухода моей домоправительницы: было решено, что она примет участие в поездке, а мать будет сторожить дом. И вот, устроив все свои дела, мы выехали втроем 1 июня 1754 года.

Я должен отметить это путешествие, как эпоху первого испытания, нанесшего удар моему доверчивому характеру, с которым я родился и которому вплоть до сорокадвухлетнего возраста всегда вверялся без оговорок и без помех. У нас была наемная карета; мы передвигались на одних и тех же лошадях, очень маленькими перегонами. Я часто выходил и шел пешком. Едва мы проехали полпути, как Тереза стала проявлять самое решительное нежелание оставаться в карете наедине с Гофкуром, и если я, несмотря на ее просьбы, выходил, она тоже выходила и шла пешком. Я долго бранил ее за этот каприз и так решительно ему воспротивился, что она в конце концов была вынуждена объяснить его причину. Мне показалось, что я в бреду; я упал с облаков, когда узнал, что мой друг, г-н де Гофкур, человек старше шестидесяти лет, подагрик, импотент, истощенный распутством и наслаждениями, старался с самого начала нашего отъезда соблазнить особу, которая была уже не хороша, не молода и принадлежала его другу; и при этом он прибегал к самым низким, самым постыдным средствам, вплоть до того, что предлагал ей свой кошелек, пытался возбудить ее чтением отвратительной книги и показывал гнусные картинки, которыми эта книга была полна. В негодовании Тереза вышвырнула однажды его мерзкую книгу за окно кареты; и я узнал, что в первый же день, когда жестокая головная боль заставила меня лечь спать без ужина, он употребил все время своего пребывания наедине с Терезой на попытки и проделки, более достойные сатира или козла, чем порядочного человека, а ведь я доверил ему свою подругу и самого себя. Какая неожиданность! Как совсем по-новому сжалось мое сердце! До этого я считал дружбу неотделимой от всех нежных и благородных чувств, составляющих все ее очарование, – и вот, в первый раз в своей жизни, я вынужден был связать ее с презрением и отнять свое доверие и уважение у человека, которого любил и который, как мне казалось, любит меня! Негодяй скрывал от меня свою подлость. Чтобы не выдать Терезу, мне пришлось скрыть от него свое презрение и затаить в глубине своего сердца чувства, о которых он не должен был знать. Сладкая и святая иллюзия дружбы! Гофкур первый поднял твою пелену с моих глаз. Сколько жестоких рук мешали ей с тех пор снова опуститься!

В Лионе я покинул Гофкура и дальше поехал через Савойю, не в силах еще раз быть так близко от маменьки и не повидаться с ней. Я увидел ее… В каком состоянии, боже мой! Как она опустилась! Что осталось у нее от прежней добродетели? Неужели это была та

самая г-жа де Варане, женщина некогда столь блистательная, к которой направил меня кюре Понвер? Мое сердце разрывалось! Я не видел для нее другого выхода, как только покинуть страну. Я опять повторил ей, горячо и напрасно, свои настояния, с которыми обращался к ней несколько раз в своих письмах: переехать на мирное житье ко мне, так как я готов посвятить свои дни и дни Терезы на то, чтобы сделать ее счастливой. Она меня не послушалась, говоря, что связана своей пенсией, хотя этой пенсией, которую ей выплачивали аккуратно, сама она давно уже не пользовалась. Я еще раз дал ей немного денег, – гораздо меньше того, что должен был бы дать, гораздо меньше того, что дал бы, не будь я твердо убежден, что она не воспользуется из этих денег ни одним су. Во время моего пребывания в Женеве она ездила в Шабле и заехала ко мне в Гранж-Каналь. Ей не хватало денег, чтобы закончить свою поездку. Пусть будет известна еще такая черта ее сердца. У меня не было при себе нужной суммы; я послал ей деньги через час с Терезой. Бедная маменька! У нее оставалось, как последняя драгоценность, только одно маленькое колечко; она сняла его со своего пальца и хотела надеть на палец Терезы, но та тотчас же надела его ей обратно и, целуя эту благородную руку, оросила ее слезами. Тогда для меня был как раз подходящий момент расквитаться со своим долгом. Надо было все бросить, последовать за ней, оставаться при ней до ее последнего часа и разделить ее судьбу, какова бы она ни была. Ничего этого я не сделал. Я был отвлечен другой привязанностью, а мои чувства к ней ослабели, так как я не надеялся, что они могут быть ей полезными. Я сокрушался о ней, но за ней не последовал. Из всех угрызений совести, испытанных мною в жизни, вот самое сильное и неотступное. Этим я заслужил ужасные кары, с тех пор не переставшие на меня обрушиваться! Пусть будут они искуплением моей неблагодарности! Она проявилась в моих поступках, но слишком терзала мое сердце, чтобы оно могло когда-нибудь быть сердцем неблагодарного.

Перед отъездом из Парижа я набросал посвящение к своему «Рассуждению о неравенстве». Я окончил его в Шамбери и указал именно этот город, рассудив, что лучше, во избежание всяких придирок, не указывать ни Франции, ни Женевы. Прибыв в Шамбери, я отдался республиканскому энтузиазму, который привел меня туда. Оказанный мне прием еще усилил этот энтузиазм. Меня чествовали, ласкали во всех слоях общества; я целиком отдался патриотическому рвению; устыдясь того, что я лишился прав гражданства{306} из-за принадлежности к другому культу, отличному от культа моих отцов, я решил открыто вернуться к последнему. Я думал, что, поскольку Евангелие одинаково для всех христиан, а сущность догмы различается лишь попытками объяснить то, чего нельзя понять, в каждой стране только верховной власти принадлежит право определять и культ, и эту непостижимую догму; а стало быть, обязанность гражданина – принять догму и следовать культу, предписанному законом. Частое общение с энциклопедистами не только не поколебало моей веры, но еще более укрепило ее благодаря свойственному мне отвращению к спорам и к группам. Изучение человека и вселенной показало мне во всем конечные причины и разум, ими управляющий. Чтение Библии, и особенно Евангелия, которым я прилежно занимался последние годы, внушило презрение к низким и глупым толкованиям учения Иисуса Христа со стороны людей, менее всего достойных понимать его. Словом, философия, привязав меня к сущности религии, отвратила меня от груды мелких, убогих формул, которыми люди опутали ее. Полагая, что для человека разумного нет двух способов быть христианином, я считал также, что все относящееся к форме и дисциплине в каждой стране зависит от законов. Из этого принципа, столь разумного, столь общественного, столь мирного и навлекшего на меня столь жестокие преследования, я сделал вывод, что, желая быть гражданином своей страны, я должен вернуться к культу, установленному в ней, и стать протестантом. Я решился на это и даже подчинился наставлениям пастора моего прихода, находившегося за городом. Единственно, чего я желал, – это не быть обязанным являться в консисторию{307}. Ради меня согласились отступить от совершенно точного предписания церкви и назначили

комиссию из пяти или шести человек, чтобы выслушать мое исповедание веры частным образом. К несчастью, пастор Пердрио, человек любезный и мягкий, с которым я сошелся, вздумал сказать мне, что моего выступления в этой маленькой комиссии ждут с радостью. Это ожидание так сильно испугало меня, что, заучивая днем и ночью в течение трех недель приготовленную мною краткую речь, я, когда надо было произнести ее, так смутился, что не мог сказать ни слова и сыграл в этой беседе роль самого глупого школьника. Члены комиссии говорили за меня, а я глупо отвечал: «да» и «нет»; потом я был допущен к причастию и восстановлен в правах гражданина{308}. Я был включен в список внутренней охраны, которую несут только граждане и горожане{309}, и присутствовал на заседании чрезвычайного генерального совета{310} для принятия присяги синдика{311} Мюссара. Я был так тронут добротой, оказанной мне в этом случае советом и консисторией, а также любезным и учтивым обхождением со стороны всех должностных лиц, пасторов и граждан, что, склоняясь на неотступные уговоры добряка Делюка{312}, а еще более повинуясь своей собственной склонности, решил поехать в Париж, привести в порядок дела, взять все самое необходимое, устроить г-жу Левассер и ее мужа или обеспечить их пропитание и затем вернуться с Терезой в Женеву, чтобы прожить там остаток своих дней.

Приняв это решение, я оставил на время серьезные дела, чтобы до своего отъезда развлечься с друзьями. Из всех этих развлечений мне понравилась больше всего прогулка на лодке по озеру вместе с Делюком-отцом, его невесткой, двумя его сыновьями и моей Терезой. Мы потратили неделю на эту поездку при великолепной погоде. Я сохранил живое воспоминание о видах на противоположном конце озера, поразивших меня, и описал их через несколько лет в «Новой Элоизе»{313}.

Главные знакомства, завязанные мною в Женеве, кроме уже упомянутого семейства Делюк, были с молодым пастором Верном, которого я знал еще в Париже и о ком держался лучшего мнения, чем он впоследствии заслужил; с г-ном Пердрио, тогда деревенским пастором, теперь профессором изящной словесности, о милом и любезном обществе которого я всегда буду сожалеть, хотя он и счел хорошим тоном отдалиться от меня; с г-ном Жалабером, тогда профессором физики, а позднее – советником и синдиком; я прочел ему свое «Рассуждение о неравенстве», только без посвящения, и он, казалось, был от него в восторге; с профессором Люлленом, с которым до самой его смерти я оставался в переписке и который даже поручил мне закупку книг для библиотеки; с профессором Берне, отвернувшимся от меня, как и все, после того как я дал ему доказательства привязанности и доверия, которые должны были бы его растрогать, если бы можно было чем-либо растрогать теолога; с Шаппюи, приказчиком и преемником Гофкура, которого он решил вытеснить, но сам скоро оказался вытесненным; с Марсе де Мезьером, старым другом моего отца, дружески относившимся и ко мне; некогда он оказал важные услуги своему отечеству, но, сделавшись драматургом и претендуя попасть в Совет двухсот{314}, изменил свои принципы и стал предметом насмешек после своей смерти. Но тот, от кого я ждал больше всего, – был Мульту{315}, молодой человек, подававший самые большие надежды своими талантами и своим умом, полным огня; я всегда любил его; хотя его поведение в отношении меня часто бывало двусмысленным и он водил знакомство с моими злейшими врагами, но, несмотря на все это, я убежден, что именно он наиболее призван стать защитником моей памяти и мстителем за своего друга.

Среди этой рассеянной жизни я не утратил ни вкуса, ни привычки к одиноким прогулкам и часто уходил довольно далеко по берегу озера; в это время голова моя, привыкшая к работе, не оставалась праздной. Я обдумывал уже составленный мною план «Политических установлений»{316}, – труда, о коем мне скоро придется говорить; я обдумывал также «Исто-

рию Вале»{317} и план трагедии в прозе; сюжетом ее я выбрал Лукрецию;{318} при этом я не терял надежды сразить насмешников, дерзнув еще раз выпустить на сцену эту несчастную, когда она уже не могла появиться ни на одном французском театре. Я пробовал в то же время свои силы над Тацитом и перевел первую книгу его «Истории»; эту рукопись найдут среди моих бумаг.

После четырехмесячного пребывания в Женеве я вернулся в октябре в Париж, избежав проезда через Лион, чтобы не встретиться в дороге с Гофкуром. Предполагая вернуться в Женеву не раньше весны, я стал вести зимой прежний образ жизни и возобновил свои занятия; главным из них был просмотр корректур моего «Рассуждения о неравенстве», отданного мною в печать в Голландию книгоиздателю Рею, с которым я незадолго до этого познакомился в Женеве. Так как это сочинение было посвящено Республике и такое посвящение могло не понравиться Малому совету{319}, я хотел посмотреть, какое впечатление оно произведет в Женеве, прежде чем вернуться туда. Впечатление оказалось неблагоприятным для меня; посвящение, продиктованное мне чистейшим патриотизмом, только создало мне врагов в Совете и завистников среди буржуазии. Г-н Шуэ, тогда первый синдик, написал мне вежливое, но холодное письмо, которое найдут в моем собрании (связка А, № 3). Я получил от частных лиц – среди прочих от Делюка и де Жалабера – несколько комплиментов, и это было все; я не видел, чтобы хоть один женевец оценил по достоинству тот сердечный пыл, которым было проникнуто это сочинение. Такое безразличие возмутило всех, кто его заметил. Вспоминаю, что однажды в Клиши, за обедом у г-жи Дюпен, с участием Кроммелена, президента республики, и г-на де Мирана, этот последний во всеуслышание заявил за столом, что Совет обязан наградить меня подарком и публичными почестями за этот труд и что он навлечет на себя позор, если пренебрежет этим. Кроммелен, низкий человек, полный черной злобы, не посмел ничего возразить в моем присутствии, но сделал ужасную гримасу, заставившую г-жу Дюпен улыбнуться. Единственная выгода, доставленная мне этим трудом, кроме того, что он удовлетворил мое сердце, было звание гражданина, данное мне друзьями, а потом, по их примеру, и публикой; но впоследствии я утратил это звание из-за того, что слишком его заслуживал.

Эта неудача не помешала бы мне осуществить свое намерение вернуться в Женеву{320}, если бы с ним не вступили в соревнование побуждения, более властные над моим сердцем. Г-н д’Эпине, желая пристроить недостающее крыло к замку в Шевретте, производил огромные траты, чтобы закончить его. Отправившись однажды с г-жой д’Эпине посмотреть на эти работы, мы прошли на четверть мили дальше пруда, откуда шла вода в парк, примыкавший к лесу Монморанси; близ пруда был красивый плодовый сад с маленькой, сильно разрушенной сторожкой, носившей название «Эрмитаж». Это уединенное и очень приятное место поразило меня, когда я увидел его в первый раз, еще до своего путешествия в Женеву. У меня в восторге невольно вырвалось: «Ах, сударыня, какое восхитительное жилище! Вот приют, словно созданный для меня!» Г-жа д’Эпине не поддержала разговор на эту тему; но во второй приезд я был крайне удивлен, найдя вместо старой лачуги почти заново построенный домик, очень хорошо отделанный внутри и очень удобный для маленького хозяйства на три человека. Г-жа д’Эпине приказала возвести эту постройку потихоньку и с очень небольшими затратами, выделив немного материалов и нескольких рабочих со строительства при замке. Во вторую нашу прогулку она сказала мне, увидя мое удивленье: «Вот ваш приют, мой медведь; вы его выбрали, дружба предлагает его вам; надеюсь, он отнимет у вас жестокую мысль удалиться от меня». Не думаю, чтобы когда-либо в жизни я был взволнован так сильно, так восхитительно; я оросил слезами благодетельную руку своего друга; и если я не был побежден в ту самую минуту, то сильно заколебался. Г-жа д’Эпине, не желавшая встретить отказ, столь настойчиво убеждала меня, пустила в ход столько средств, стольких

людей, вплоть до привлечения на свою сторону г-жи Левассер и ее дочери, что наконец восторжествовала над моими намерениями. Отказавшись от пребывания на родине, я решил, я обещал жить в Эрмитаже. Оставалось только ждать, пока дом просохнет; тем временем г-жа д'Эпине позаботилась о его меблировке, и в ту же весну все было готово к въезду.

Моему решению много способствовало то обстоятельство, что Вольтер обосновался около Женевы{321}. Я понял, что этот человек произведет там целый переворот, что, поехав в свое отечество, я встречу там тот же тон, дух и те же нравы, от которых бежал из Парижа, что мне придется вести беспрерывную борьбу, и у меня не будет другого выбора в своем поведении, как сделаться либо несносным педантом, либо малодушным и дурным гражданином. Письмо, написанное мне Вольтером о моем последнем произведении, дало мне повод намекнуть на эти опасения в своем ответе; впечатление, им произведенное, подтвердило их. С тех пор я стал считать Женеву потерянной для себя, и я не ошибся. Может быть, я должен был бы пойти навстречу буре, если б чувствовал способность к этому. Но что бы я сделал один, застенчивый и очень плохо владеющий даром речи, против человека заносчивого, богатого, пользовавшегося поддержкой сильных мира сего, отличавшегося блестящим красноречием и уже ставшего кумиром женщин и молодежи? Я побоялся бесполезно подвергать испытанию свое мужество; я послушался своего мирного нрава, своей любви к покою, которые если и обманули меня, то обманывают еще и сегодня в том же самом вопросе. Удалившись в Женеву, я мог бы отвратить от себя великие бедствия; но сомневаюсь, чтобы, при всем своем пламенном и патриотическом рвении, я совершил бы что-нибудь великое и полезное для своей страны.

Троншен, приблизительно тогда же поселившийся в Женеве, через некоторое время приехал в Париж, где ловко втирал очки и откуда вывез целые сокровища. Тотчас же после приезда он зашел ко мне вместе с шевалье де Жокуром. Г-жа д'Эпине очень желала посоветоваться с ним наедине, но проникнуть сквозь толпу жаждущих, чтобы попасть к нему, было нелегко. Она прибегла к моей помощи. Я уговорил Троншена посетить ее. Так, при моем содействии, они завязали знакомство, которое впоследствии закрепили за мой счет. Такова всегда была моя участь: стоило мне сблизить двух людей, из которых каждый в отдельности был моим другом, как они непременно объединялись против меня. Хотя уже в то время Троншены составляли заговор с целью поработить свое отечество{322} и поэтому должны были бы смертельно ненавидеть меня, доктор все же долго выказывал ко мне прежнее доброжелательство. Он даже написал мне после своего возвращения в Женеву, предлагая место почетного библиотекаря. Но я уже сделал выбор, и это предложение не поколебало меня.

В ту пору я снова стал бывать у г-на Гольбаха. Поводом к этому была смерть его жены; она умерла, как и г-жа Франкей, во время моего пребывания в Женеве. Дидро, сообщая мне эту весть, упомянул о глубокой скорби мужа. Его горе тронуло мое сердце. Мне самому было жаль эту милую женщину. Я написал по этому поводу г-ну Гольбаху. Столь печальное событие заставило меня забыть все его проступки; и когда я вернулся из Женевы, а он сам вернулся из поездки по Франции, предпринятой им, чтоб рассеяться, вместе с Гриммом и другими друзьями, я пошел к нему и продолжал бывать у него до своего переезда в Эрмитаж. Когда в этой клике узнали, что г-жа д'Эпине, с которой он тогда еще не встречался, приготовила мне там помещение, на меня градом посыпались насмешки; уверяли, что я нуждаюсь в фимиаме, в городских развлечениях и не выдержу одиночества даже в течение двух недель. Зная истину, я не мешал им говорить что угодно и продолжал действовать по-своему. Г-н Гольбах оказал мне, однако, услугу[40], пристроив доброго старика Левассера; ему было

[40] Вот один из примеров того, как изменяет мне память. Много времени спустя, после того как это было написано, я узнал, беседуя со своей женой о ее старике отце, что совсем не Гольбах, а де Шенонсо, в ту пору один из попечителей богадельни, поместил его туда. Но я совсем позабыл об этом и готов был поклясться, что это сделал Гольбах. (*Прим. Руссо.*)

более восьмидесяти лет; его жена, тяготившаяся им, настойчиво просила меня избавить ее от него. Его поместили в богадельню, где старость и огорчение от разлуки с семьей свели его в могилу почти сразу после переезда. Его жена и дети мало жалели о нем; только Тереза, нежно любившая его, никогда не могла утешиться в этой утрате и терзалась мыслью, что отец, столь близкий к смерти, должен был уйти в богадельню и кончил свои дни на чужих руках.

Почти в это же время я увидел у себя посетителя, которого совсем не ждал, хоть это был очень старый знакомый. Я говорю о своем друге Вантюре, в одно прекрасное утро неожиданно явившемся ко мне, когда я менее всего думал об этом. Он стал совсем другим человеком. Перемена была разительной. Печать разврата разрушила все его прежнее обаяние, и я не мог вести с ним задушевную беседу. Или глаза мои были уж не те, или ум его огрубел от распутства, или весь его прежний блеск объяснялся только молодостью, которая миновала. Я встретился с ним почти равнодушно, а расстались мы довольно холодно. Но когда он ушел, мысль о нашей прежней дружбе вызвала во мне воспоминание о моих юных годах, так нежно, так разумно посвященных ангельской женщине, изменившейся теперь не меньше, чем он. Мне вспомнились мелкие эпизоды того счастливого времени – романтический день в Туне, так невинно и приятно проведенный в обществе двух очаровательных девушек, у одной из которых я поцеловал руку; это было единственной оказанной мне милостью, и этот день оставил в моем сердце такое сильное, волнующее, длительное сожаление; вспомнились восхитительные восторги юного сердца, которые я пережил тогда во всей их силе и миновавшие, казалось, навсегда. Все эти нежные воспоминания заставили меня проливать слезы о моей протекшей юности, о ее увлечениях, отныне для меня недоступных. Ах, сколько бы слез пролил я из-за позднего и рокового их возврата, если бы предвидел, каких страданий он будет мне стоить!

Прежде чем покинуть Париж, я испытал в течение зимы, предшествующей моему отъезду, приятное моему сердцу удовольствие и наслаждался им во всей его чистоте. Палиссо{323}, академик из Нанси, известный несколькими драмами, только что поставил одну из них в Люневиле, в присутствии польского короля. Желая, очевидно, польстить ему, он вывел в этой драме человека, осмелившегося поспорить с королем, взяв в руку перо. Станислав, великодушный и не любивший сатиры, пришел в негодование, что осмелились делать такие личные выпады в его присутствии. Граф де Трессан написал по приказу этого государя д'Аламберу и мне, уведомляя, что его величество намерен потребовать изгнания г-на Палиссо из своей академии{324}. Мой ответ был горячей просьбой к г-ну де Трессану ходатайствовать перед польским королем о прощении Палиссо. Милость была оказана, и де Трессан, сообщая мне о ней от имени короля, добавил, что этот факт будет записан в протокол академии. Я возразил, что это значило бы не столько оказать милость, сколько продлить кару. Наконец путем настойчивых просьб я добился, что ничего не будет упомянуто в протоколах и от этого дела не останется никакого гласного следа. Все это сопровождалось как со стороны короля, так и со стороны де Трессана изъявлениями уважения и почтительности, чрезвычайно лестными для меня; и я понял в этом случае, что уважение людей, которые сами его весьма достойны, вызывает в душе чувство, гораздо более приятное и благородное, чем тщеславие. Я переписал в своем собрании письма де Трессана со своими ответами, а оригиналы их находятся в связке А под № 9, 10 и 11.

Я хорошо понимаю, что, если этим мемуарам удастся увидеть свет, я сам увековечиваю здесь воспоминание о факте, след которого хотел уничтожить; но я передаю и много других фактов против своего желания. Перед моими глазами всегда стоит великая цель моего предприятия, и неотложная обязанность осуществить ее во всем ее объеме не позволит мне отвлечься от нее более мелкими соображениями, которые отклонили бы меня от моей задачи. В том странном, исключительном положении, в котором я нахожусь, я должен говорить

только истину и не могу считаться с чем-либо иным, кроме нее. Чтобы хорошо меня знать, надо меня знать со всех сторон – с хороших и дурных. Моя исповедь неизбежно связана с исповедью многих людей: ту и другую я пишу с неизменной откровенностью во всем, что касается меня, и хотя не считаю себя обязанным проявлять по отношению к кому бы то ни было больше снисходительности, чем к самому себе, я желаю иметь ее к другим возможно больше. Я хочу быть всегда справедливым и правдивым, отзываться о других насколько возможно лучше, говорить дурное о них только постольку, поскольку оно меня касается и поскольку я вынужден к этому. Кто вправе требовать от меня большего в том положении, в какое я поставлен? Моя исповедь пишется отнюдь не для того, чтобы опубликовывать ее при моей жизни или при жизни заинтересованных лиц. Если б я мог распоряжаться своей судьбой и судьбой этой рукописи, она увидела бы свет лишь долгое время спустя после моей и их смерти. Но мои могущественные притеснители, страшась истины, прилагают все усилия, чтобы стереть даже ее следы, и я вынужден сделать ради нее все, что мне позволяют мое неоспоримое право и самая строгая справедливость.

Если бы память обо мне должна была угаснуть вместе со мной, я предпочел бы, никого не компрометируя, безропотно снести незаслуженный и преходящий позор; но, раз моему имени суждено жить, я должен передать вместе с ним воспоминание о носившем его несчастном человеке, показав себя таким, каков я был в действительности, а не в том виде, в каком несправедливые враги без устали стараются меня изобразить.

Книга девятая
(1756–1757)

Нетерпеливое желание переселиться в Эрмитаж не позволило мне дожидаться тепла, и, как только мое помещение было готово, я поспешил переехать туда под громкое гиканье гольбаховской клики, надменно предсказывавшей, что я не перенесу трех месяцев одиночества и в скором времени возвращусь с позором, чтобы жить, как они, в Париже. Не обращая никакого внимания на их насмешки, я счастлив был вернуться в свою стихию после пятнадцатилетнего пребывания вне ее. С тех пор как я против воли вступил в свет, я не переставал жалеть о своих милых Шарметтах и о тихой жизни, которую вел там. Я чувствовал себя созданным для уединения и деревни: мне невозможно было жить счастливо в другом месте; в Венеции, в круговороте общественных дел, когда я был облечен своего рода представительством, среди гордых замыслов продвижения вверх; в Париже, в вихре большого света, среди наслаждений вечерних пиров, среди блеска театральных представлений, в чаду тщеславия – всюду мои рощи, мои ручьи, мои одинокие прогулки являлись мне в воспоминаниях, чтобы отвлечь меня, опечалить, пробудить во мне вздохи и желанья. Все работы, к которым мне удалось принудить себя, все честолюбивые замыслы, порывами воодушевлявшие мое рвенье, не имели другой цели, как достичь когда-нибудь этих блаженных сельских досугов, и я уже тешил себя надеждой, что возвращаюсь к ним. Не добившись прочного довольства, которое одно, как мне прежде казалось, могло привести меня к радостям сельской жизни, я полагал, что, по своему особому положению, я в состоянии обойтись без него и достичь той же цели совершенно противоположным путем. У меня не было ни одного су ренты, но у меня было имя, были дарования; я был умерен и отрешился от наиболее разорительных потребностей, навязываемых общественным мнением. Кроме того, хоть и ленивый по натуре, я бывал трудолюбивым, если хотел этого; и моя леность не была леностью бездельника, а человека независимого, любящего работать, только когда он считает нужным. Мое ремесло переписчика нот не было блестящим и доходным, но оно было надежно. Меня одобряли в обществе за то, что я имел мужество избрать его. Я мог рассчитывать, что в работе у меня не будет недостатка и при усердном труде мне будет хватать на жизнь. Две тысячи франков, остававшихся у меня от дохода с «Деревенского колдуна» и других моих произведений, составляли запас, избавлявший меня от нужды; несколько сочинений, находившихся у меня в работе, должны были составить мне, минуя обирал-книгопродавцев, дополнительные средства, достаточные для того, чтобы я мог работать без спешки, не изнуряя себя и даже располагая досугом для прогулок. Мое маленькое семейство, состоявшее из трех человек, занятых полезным трудом, не было очень обременительным. Словом, мои средства, соответствующие моим нуждам и желаниям, позволяли мне устроить себе счастливую и долгую жизнь в условиях, к каким я чувствовал наибольшую склонность.

Я мог бы выбрать занятие гораздо более прибыльное: вместо того чтобы закабалять свое перо перепиской, я мог посвятить его всецело собственным произведениям, и по размаху, мной взятому и который я чувствовал себя в силах удержать, они принесли бы мне достаток и даже богатство, – стоило мне только присоединить кое-какие писательские уловки к стремлению публиковать хорошие книги. Но я чувствовал, что если буду писать для хлеба, то скоро погублю свое дарование, ибо оно заключается у меня не столько в искусном пере, сколько в сердце, порождено возвышенным и благородным образом мыслей, который только один и мог его питать. Ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного пера. Необходимость и жадность, пожалуй, заставили бы меня работать быстрее, но не лучше. Если бы потребность в успехе и не вовлекла меня в интриги, она все-таки заставила бы меня говорить не то, что полезно и правдиво, а то, что нравится толпе, и вместо

выдающегося писателя, каким я мог стать, я сделался бы только бумагомарателем. Нет, нет, я всегда чувствовал, что положение писателя может давать и известность, и почет только до тех пор, пока оно не является ремеслом. Слишком трудно мыслить благородно, когда мыслишь для того, чтобы жить. Чтобы быть в состоянии, чтобы иметь смелость говорить великие истины, надо быть независимым от успеха. Я бросал свои книги в публику с уверенностью, что высказываюсь в них для общего блага, не заботясь об остальном. Если произведение оказывалось отвергнутым, тем хуже для тех, кто не хотел извлечь из него пользу. Что до меня, я не нуждался в их одобрении, чтобы жить. Ремесло переписчика могло прокормить меня, даже если бы мои книги оставались на полках, но именно поэтому они и расходились.

9 апреля 1756 года я покинул город, с тем чтобы больше туда не возвращаться. Я не считаю проживанием нескольких своих наездов в Париж, Лондон и другие города, всегда на короткое время и против желания. Г-жа д'Эпине приехала к нам, желая доставить нас троих в своей карете; ее арендатор явился за моим небольшим багажом, и я был водворен в тот же день. Мое маленькое убежище оказалось отделанным и обставленным просто, но чисто и даже со вкусом. Рука, приложившая свои заботы к этому убранству, делала его неоценимым в моих глазах, и я находил восхитительным, что буду жить гостем у своего друга, в доме, нарочно выстроенном ею для меня.

Было холодно, и кое-где еще лежал снег, но земля уже начинала покрываться растительностью; показывались фиалки и подснежники, на деревьях начали распускаться почки, и ночь моего приезда была даже отмечена первым пением соловья, почти у меня под окном, в лесу, прилегавшем к дому. Поутру, пробудившись после легкого сна, я забыл о своем переселении и подумал, что все еще нахожусь на улице Гренель, как вдруг щебетанье птиц заставило меня вздрогнуть, и я воскликнул в восторге: «Наконец все мои желания исполнились!» Первой моей заботой было отдаться впечатлениям от сельских предметов, окружавших меня. Вместо того чтобы устраиваться на новом месте, я стал предпринимать прогулки, и не было тропинки, просеки, рощи, уголка вокруг моего жилища, которых я не обошел бы на другой же день. Чем больше я присматривался к этому прелестному убежищу, тем больше чувствовал, что оно создано для меня. Это место, скорее уединенное, чем дикое, заставило меня мысленно переноситься на край света. В нем были те трогательные красоты, которых не встретишь в окрестностях городов; и, очутившись здесь, нельзя было подумать, что находишься только в четырех милях от Парижа.

Через несколько дней, отданных упоенью сельской жизнью, я принялся приводить в порядок свои старые бумаги и распределил время для занятий. Утренние часы я, как всегда, отвел переписке, а послеобеденное время – прогулке с записной книжкой и карандашом в руках. Я никогда не мог писать и свободно размышлять иначе как sub dio[41] и не хотел менять этот метод; я решил, что лес Монморанси, начинавшийся почти у моей двери, будет отныне моим рабочим кабинетом. У меня было несколько начатых работ, я пересмотрел их. Я был довольно богат замыслами, но в городской суете выполнение их шло медленно. Я рассчитывал проявить больше прилежания, когда буду меньше отвлекаться. Кажется, я довольно хорошо оправдал это ожиданье и, хотя часто болел, часто отлучался в Шевретту, в Эпине, в Обон, в замок Монморанси, хотя в моем жилище меня часто осаждали любопытные бездельники, а полдня я был всегда занят перепиской, – если сочтут и измерят сочинения, написанные мной за шесть лет в Эрмитаже и в Монморанси, – то признают, я уверен, что если я в этот промежуток и терял время, то, во всяком случае, не в праздности.

Из всех моих сочинений я всего больше обдумывал и охотнее обрабатывал «Политические установления»; им я готов был посвятить всю свою жизнь: в этом произведении я

[41] Под открытым небом (*лат.*).

видел венец своей славы. Мысль о нем впервые зародилась у меня тринадцать или четырнадцать лет тому назад, когда я находился в Венеции и имел случай заметить недостатки ее прославленного государственного устройства. С тех пор взгляды мои значительно расширились благодаря изучению истории нравов. Я увидел, что все коренным образом связано с политикой и, как бы ни старались это изменить, каждый народ будет только таким, каким его заставляет быть природа его государственного устройства. А великий вопрос о наилучшем государственном устройстве, какое только возможно, казалось мне, сводится к следующему: какова природа государственного устройства, способного создать народ самый добродетельный, самый просвещенный, самый мудрый, – словом, самый лучший, понимая это в широком смысле? Мне казалось, что этот вопрос очень тесно связан с другим, как бы он ни был от него отличен: какое государственное устройство по природе своей ближе всего к закону? Отсюда – что такое закон? И цепь вопросов такой же значительности. Я видел, что все это приводит меня к великим истинам, полезным для счастья человеческого рода, но особенно для счастья моей родины, где я не нашел во время своей недавней поездки туда достаточно правильных и достаточно ясных, на мой взгляд, понятий о законе и свободе. И я счел, что лучше всего внушить им такие понятия косвенным путем, ибо это не заденет их самолюбия и они не будут оскорблены тем, что я оказался дальновиднее их.

Хотя я уже пять или шесть лет работал над этим произведением, оно еще мало подвинулось вперед. Книги такого рода требуют размышления, досуга, спокойствия. Кроме того, я писал, как говорится, наудачу и не хотел сообщать о своем замысле никому, даже Дидро. Я опасался, как бы книга не показалась слишком смелой для века и страны, в которых я писал, и как бы ужас моих друзей не помешал мне выполнить этот замысел[42]. Я не знал также, будет ли моя книга готова вовремя и появится ли в свет еще при моей жизни. Я хотел иметь возможность без стесненья дать своему предмету все, чего он требует от меня; само собой разумеется, что, не имея склонности к сатире и вовсе не желая никого задевать, я буду всегда безупречно справедлив. Конечно, я хотел полностью воспользоваться принадлежащим мне от рождения правом мыслить, но неизменно сохраняя уваженье к государственному устройству той страны, где мне приходится жить, и никогда не выходя из повиновенья ее законам; и, очень внимательный к тому, чтобы не нарушить международного права, я не хотел также пугливо отказываться от предоставляемых им преимуществ.

Признаюсь даже, что как иностранец, живущий во Франции, я находил свое положение чрезвычайно удобным: я мог смело говорить истину, хорошо зная, что если не стану, как я и намеревался, ничего печатать в этом государстве без разрешения, то не буду обязан никому отчетом в своих убеждениях и в их обнародовании за его пределами. Я был бы гораздо менее свободен даже в Женеве, где магистрат имел право придраться к содержанию моих книг, в каком бы месте они ни были напечатаны. Это соображение много содействовало тому, что я уступил настояниям г-жи д'Эпине и отказался от намерения переселиться в Женеву. Я чувствовал, как сказал это в «Эмиле»[{325}], что если кто-либо, не будучи интриганом, хочет посвятить свои книги истинному благу родины, тот не должен сочинять их в ее пределах.

Я считал свое положение наиболее благоприятным, – будучи уверен, что хотя французское правительство, может быть, не слишком благосклонно смотрит на меня, но оно поставит себе за честь – если не покровительствовать мне, то по крайней мере оставить меня в покое. Как мне казалось, с его стороны будет очень простым и, однако ж, очень ловким политическим ходом – вменить себе в заслугу терпимость к тому, чему нельзя помешать:

[42] Такое опасение внушала мне главным образом благоразумная строгость Дюкло; что касается Дидро, то, не знаю почему, во всех моих беседах с ним я становился более насмешливым и язвительным, чем это свойственно моей природе. Это-то как раз и удержало меня от того, чтобы посовещаться с ним о предприятии, в которое я хотел вложить только силу разума, без малейшего признака настроения и пристрастия. О тоне сочинения можно судить по «Общественному договору»[{497}], представляющему извлечение оттуда. (*Прим. Руссо*.)

ведь если бы меня изгнали из Франции, – а это было единственное, что имели право сделать, – мои книги все-таки были бы написаны и, может быть, с меньшей сдержанностью, тогда как, оставляя меня в покое, автора делали поручителем за его сочинения и, кроме того, уничтожая предубеждение, прочно укоренившееся в остальной Европе, создавали Франции репутацию просвещенного государства, соблюдающего уважение к международному праву.

Тот, кто заключит на основании последующих событий, что моя доверчивость обманула меня, может очень ошибиться. В буре, захлестнувшей меня, книги послужили предлогом, а целью нападения была моя личность. Очень мало беспокоились об авторе, но хотели погубить Жан-Жака; и величайший вред моих сочинений видели в том, что они могли доставить мне славу. Но не будем забегать вперед. Я не знаю, разъяснится ли впоследствии в глазах читателей эта тайна, до сих пор не понятная для меня. Знаю только, что если бы гонения, которым я подвергся, вызваны были провозглашенными мною принципами, то я стал бы жертвой гораздо раньше. Мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью{326}, чтобы не сказать дерзостью, появилось и, по-видимому, произвело свое действие еще до моего удаления в Эрмитаж, но никому и в голову не приходило не только нападать на меня, но даже мешать распространению моей книги во Франции, где она продавалась так же открыто, как в Голландии{327}. После того столь же беспрепятственно появилась и встречена была, смею сказать, с таким же восторгом «Новая Элоиза»; между тем (это покажется почти невероятным) предсмертное исповедание веры этой самой Элоизы{328} совершенно то же, что исповедание савойского викария. Все, что есть смелого в «Общественном договоре», было высказано раньше в «Рассуждении о неравенстве»; все, что есть смелого в «Эмиле», уже имелось в «Юлии». Если эти смелые мысли не возбудили никакого ропота против первых двух сочинений – значит, не они возбудили его и против последних.

В тот момент гораздо более занимало меня другое начинание, приблизительно в том же духе, задуманное не столь давно: это было изложение трудов аббата де Сен-Пьера{329} – замысел, о котором я, увлекаемый нитью своего повествования, не мог говорить до сих пор. Идея эта была мне подсказана после моего возвращения из Женевы аббатом де Мабли, – не непосредственно, а через г-жу Дюпен, до некоторой степени заинтересованную в том, чтобы я взялся за этот труд. Г-жа Дюпен была одной из трех или четырех красивых женщин Парижа, чьим баловнем являлся старый аббат де Сен-Пьер; и хотя ей не было отдано решительное предпочтение, она все же делила его с г-жой д'Эгийон. Она сохранила к памяти этого добряка уважение и преданность, делавшие честь им обоим, и ее самолюбие было бы польщено, если б ее секретарь воскресил мертворожденные произведения ее друга. В этих сочинениях попадались превосходные мысли, но они были так плохо выражены, что чтение их являлось нелегким делом: удивительно, что аббат де Сен-Пьер, смотревший на своих читателей, как на больших детей, говорил с ними, однако, как со взрослыми, слишком мало заботясь о том, чтоб заставить их понять его. Мне предложили эту работу, как полезную саму по себе и очень подходящую для человека трудолюбивого в качестве ремесленника, но ленивого в качестве автора, находящего труд мышления очень утомительным и предпочитающего разъяснять и развивать в своем духе чужие идеи, чем создавать собственные. К тому же, не ограничивая меня ролью толкователя, мне не запрещали иногда думать самому; и я мог придать своему произведению такую форму, чтобы многие важные истины прошли в нем в облачении аббата де Сен-Пьера еще более счастливо, чем в моем. Задача, впрочем, была нелегкая. Предстояло прочесть, продумать, изложить двадцать три тома – расплывчатых, нелепых, полных длиннот, повторений, близоруких или ложных взглядов, среди которых надо было выудить несколько великих, прекрасных мыслей, дававших мне мужество перенести тяжкое бремя этой работы. Не раз я готов был бросить ее, если б мог под приличным предлогом от нее уклониться; но, получив рукописи аббата, переданные мне его

племянником, графом де Сен-Пьером, по просьбе Сен-Ламбера, я некоторым образом взял на себя обязательство использовать их; надо было либо вернуть их, либо постараться что-нибудь из них сделать. Именно с этим последним намерением я перевез рукописи аббата в Эрмитаж и решил, что это будет первая работа, которой я отдам свои досуги.

Я обдумывал еще третий труд, идеей которого был обязан наблюдениям, сделанным над самим собой; и я чувствовал в себе тем большую смелость предпринять его, что надеялся создать книгу, действительно полезную людям, и даже одну из самых полезных, какую только можно им дать, если только выполнение будет достойно намеченного мною плана. Известно, что большинство людей в течение своей жизни часто бывают не похожи на самих себя и как будто превращаются совсем в других людей; я хотел создать книгу не для того, чтобы установить этот общеизвестный факт, – в виду у меня был предмет более новый и даже более важный: отыскать причины таких изменений, остановиться на тех, которые зависят от нас, и показать, как мы сами можем ими управлять, чтобы сделаться лучше и увереннее в себе. Ведь бесспорно, что честному человеку труднее противиться уже сформировавшимся желаниям, которые он должен побороть, чем предупреждать, заменять или видоизменять те же самые желанья, если он в состоянии найти их источник. Человек, подвергающийся искушению, один раз устоит, потому что он силен, а в другой раз падет, потому что слаб; но если б и на этот раз он был таким же, как прежде, то удержался б от падения.

Глубоко исследуя самого себя и изыскивая в других, с чем связаны эти душевные состояния, я нашел, что они зависят большей частью от предшествовавшего впечатления, произведенного внешними предметами, что внутренне нас непрерывно видоизменяют наши ощущения и наши органы, и мы носим, сами того не замечая, в своих мыслях, чувствованиях, в самих своих поступках, последствия этих видоизменений. Поразительные и многочисленные наблюдения, собранные мной, были совершенно неоспоримы и по своим физическим свойствам казались мне пригодными для выработки внешнего режима, который, изменяясь согласно обстоятельствам, может привести душу в состояние, наиболее благоприятное для добродетели, или удержать ее в этом состоянии. От скольких заблуждений уберегли бы разум, скольким порокам помешали бы родиться, если бы умели принудить животные силы служить на благо нравственному порядку, который они так часто нарушают! Климат, времена года, звуки, цвета, мрак, свет, стихии, пища, шум, тишина, движение, покой – все воздействует на наш организм и, следовательно, на нашу душу; все это дает тысячи почти безошибочных способов управлять чувствами, обращаясь к их источнику, и не позволять им господствовать над нами. Такова была основная мысль, уже занесенная мною на бумагу; я надеялся, что эта идея окажет воздействие на людей благородных и искренне любящих добродетель, но опасающихся своей слабости; мне казалось нетрудным сделать из этой мысли книгу, которую будет столь же приятно читать, как мне приятно писать ее. Однако я очень мало работал над этим произведением, озаглавленным «Чувственная мораль, или Материализм мудреца»[{330}]. Обстоятельства, которые скоро станут известны, отвлекли меня и помешали заниматься этим произведением; читатель узнает, какова была судьба моего наброска, связанная с моей собственной гораздо теснее, чем это может показаться.

Кроме всего этого, я обдумывал с некоторых пор систему воспитания: г-жа де Шенонсо, очень боявшаяся для сына системы, которой придерживался ее муж, просила меня заняться этим вопросом. Хотя этот предмет был мне не особенно по вкусу, но власть дружбы такова, что он занимал меня больше всех других. Поэтому-то из всех замыслов, о которых я только что говорил, только этот я довел до конца. Цель, которую я себе ставил, работая над ним, должна была, мне кажется, заслужить автору другую участь. Но не будем преждевременно касаться здесь этого печального предмета. И без того мне придется слишком много говорить о нем в дальнейшем повествовании.

Все эти разнообразные планы давали мне темы для размышлений во время прогулок; я, кажется, уже говорил, что не могу размышлять иначе как во время ходьбы; как только я останавливаюсь, я перестаю думать: голова моя действует только вместе с ногами. Однако я был настолько предусмотрителен, что запасся и кабинетной работой на случай дождливой погоды. Это был мой «Музыкальный словарь»[{331}], разбросанные, искромсанные, бесформенные материалы которого делали необходимой коренную переработку этого труда. Я привез несколько книг, нужных для этого; я употребил два месяца на выписки из многих других книг, выданных мне Королевской библиотекой, причем мне было даже разрешено взять некоторые в Эрмитаж. Это были мои запасы для компилятивной работы на дому, когда погода не позволяла выходить, а переписывать надоедало. Такой распорядок был мне весьма удобен; я прибегал к нему как в Эрмитаже, так и в Монморанси, и даже потом – в Мотье, где окончил эту работу, делая одновременно и другие; я всегда находил, что перемена труда – настоящий отдых.

Некоторое время я довольно точно следовал этому распорядку и чувствовал себя очень хорошо; но в весеннюю пору г-жа д'Эпине стала чаще приезжать в Эпине или в Шевретту, и я убедился, что обстоятельства, сначала не тяготившие меня, но которых я не принял в расчет, сильно мешают моим планам. Я уже упомянул, что у г-жи д'Эпине были чрезвычайно милые качества: она очень любила своих друзей, с большим усердием оказывала им услуги, не жалела для них ни своего времени, ни хлопот и безусловно заслуживала, чтобы и друзья отвечали ей вниманием. До сих пор я выполнял эту обязанность, не считая ее бременем; но в конце концов я понял, что наложил на себя цепи и что только дружба мешала мне почувствовать их тяжесть; последняя усугублялась еще моим отвращением к многолюдному обществу. Г-жа д'Эпине вышла из затруднения, сделав мне предложение, казалось, удобное для меня, но более удобное для нее: она предложила, что будет сообщать всякий раз, как будет оставаться одна или почти одна. Я согласился, не сообразив, к чему это меня обязывает. Вышло так, что я ходил к ней не в те часы, какие были удобны для меня, а в те, которые удобны ей, и никогда не был уверен, что смогу располагать собой хоть один день. Это стеснение сильно уменьшало удовольствие моих встреч с нею. Я обнаружил, что обещанная мне свобода была мне дана лишь под условием, чтобы я никогда ею не пользовался; и когда я раз-другой попробовал не пойти к г-же д'Эпине, это вызвало столько посланий, записок, столько тревог о моем здоровье, что лишь ссылка на тяжелую болезнь – я видел это ясно – могла избавить меня от необходимости бежать по первому зову. Пришлось подчиниться этому игу; я это сделал, и даже довольно охотно для такого великого врага зависимости, как я, – моя искренняя привязанность к г-же д'Эпине в значительной мере мешала мне замечать оковы, которые налагало это чувство. Вызывая меня к себе, она стремилась сколько-нибудь заполнить пустоту, образуемую вокруг нее отсутствием ее обычных приближенных, – замена для нее довольно скудная, но все-таки это было лучше полного одиночества, которого она не могла выносить. У нее был гораздо более приятный способ заполнить эту пустоту, с тех пор как она вздумала приобщиться к литературе и забрала себе в голову во что бы то ни стало сочинять романы, письма, комедии, сказки и другие пустяки в этом роде. Но ее занимало не столько писание, сколько чтение своих произведений, и если ей случалось намарать подряд две-три страницы, ей нужно было быть уверенной, что по окончании столь огромного труда найдутся по крайней мере двое-трое благосклонных слушателей. Я имел честь быть включенным в число избранных только при условии присутствия кого-нибудь еще. Один же я почти всегда считался существом ничтожным: так относились ко мне не только у г-жи д'Эпине, но и у г-на Гольбаха, и всюду, где задавал тон г-н Гримм. Это ничтожество мое было для меня очень удобно при всех обстоятельствах, за исключением беседы вдвоем, когда я не знал, как держать себя, не смел толковать о литературе, о которой мне не следовало судить, ни говорить о любви, так как я был слишком робок и больше смерти боялся

смешного положения старого волокиты. Да и мысль об этом никогда не приходила мне в голову в присутствии г-жи д'Эпине и, возможно, не пришла бы даже в том случае, если б я провел всю свою жизнь возле нее: не потому, чтоб я испытывал отвращение к ее личности; наоборот – может быть, я слишком любил ее как друг, чтобы любить как любовник. Для меня было удовольствием видеть ее, говорить с нею. Ее беседа, довольно приятная в обществе, была суха наедине; я тоже не обладал даром цветистой речи и не мог оказать ей большой поддержки. Стыдясь слишком долгого молчанья, я изощрялся, чтоб оживить разговор, и часто он утомлял меня, но никогда мне не надоедал. Мне было очень приятно оказывать ей маленькие услуги, а мои невинные, совсем братские поцелуи, по-видимому, и в ней не вызывали чувственности. Она была очень худа, очень бледна, и грудь у нее была плоская, как ладонь. Одного этого недостатка было бы довольно, чтоб заморозить меня: мое сердце и мои ощущения всегда отказывались видеть женщину в существе плоскогрудом; да и другие причины, о которых незачем говорить, заставляли меня забывать ее пол.

Решившись, таким образом, на неизбежную подчиненность, я отдался ей без сопротивленья и находил ее, по крайней мере первый год, менее тягостной, чем мог ожидать. Г-жа д'Эпине, обычно проводившая почти все лето в деревне, на этот раз пробыла в Шевретте лишь часть его, – потому ли, что дела задержали ее в Париже, потому ли, что отсутствие Гримма делало для нее пребывание в Шевретте менее приятным. Я пользовался промежутками, когда она не жила там или когда у нее собиралось большое общество, и в эти дни наслаждался уединением с моей доброй Терезой и ее матерью, – так, чтобы хорошенько почувствовать его цену. Хотя я довольно часто ездил в деревню, но уже в течение нескольких лет почти не пользовался ее благами; и поездки за город всегда в обществе людей с претензиями, всегда испорченные условностью, только обостряли во мне жажду сельских удовольствий, картину которых я видел лишь мельком, словно для того, чтобы сильней почувствовать их отсутствие. Мне так надоели гостиные, фонтаны, рощи, цветники, а еще больше скучное тщеславие, выставлявшее все это напоказ; я был так измучен брошюрами, клавесином, игрой в «три»{332}, новыми знакомствами, глупыми остротами, пошлым жеманством, ничтожными пустомелями и торжественными ужинами, что, когда украдкой бросал взгляд на скромный простой куст терновника, на изгородь, луг, овин, когда я вдыхал, проходя по деревушке, запах вкусной яичницы с кервелем{333}, когда слышал вдалеке безыскусственную песню пастушек, – я посылал к черту и румяна, и фижмы, и амбру. С сожаленьем помышляя о домашнем обеде и местном вине, я от всего сердца дал бы оплеуху и господину главному повару, и господину дворецкому, заставлявшим меня обедать в тот час, когда я обычно ужинаю, и ужинать в тот час, когда я сплю, а в особенности – господам лакеям, пожиравшим глазами куски у меня на тарелке и, под страхом смерти от жажды, вынуждавшим меня расплачиваться за поддельное вино своего хозяина в десять раз дороже, чем я заплатил бы за лучшее вино в кабачке.

Но вот я наконец у себя, в приятном и уединенном приюте; я волен вести здесь ту независимую, ровную и спокойную жизнь, для которой чувствовал себя созданным. Прежде чем говорить о действии на мое сердце столь нового для меня положения, следует возобновить в памяти мои тайные привязанности, чтобы можно было лучше проследить причины успеха этих новых изменений.

Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, определившим мое нравственное существо. Мне нужна была привязанность, поскольку узы прежней привязанности, которая могла бы заполнить всю мою жизнь, были так жестоко разорваны. Жажда счастья никогда не иссякает в сердце человека. Маменька старилась и опускалась! У меня было доказательство, что она больше не может быть счастливой здесь, на земле. Оставалось искать своего собственного счастья, так как я потерял всякую надежду когда-нибудь разделить его с ней. Я переходил некоторое время от одной идеи к другой и от одного замысла к

другому. Мое путешествие в Венецию могло бы вовлечь меня в общественную жизнь, если б человек, с которым я связался, имел хоть каплю здравого смысла. Я легко падаю духом, особенно в предприятиях трудных и требующих выдержки. Неудача этого начинания отвратила меня от всякого другого; считая согласно моему давнему убеждению предметы отдаленные приманкой для простаков, я решил жить с тех пор день за днем, не видя в жизни больше ничего, что побуждало бы меня напрягать силы.

Как раз в то время состоялось мое знакомство с Терезой. Мягкий характер этой хорошей девушки, казалось, так подходил к моему, что я привязался к ней чувством, неуязвимым для времени и обид, и все, что могло бы его уничтожить, только увеличивало его. Сила этой привязанности будет видна впоследствии, когда я обнажу глубокие раны, которыми она истерзала мне сердце в самый разгар моих бедствий, но вплоть до той минуты, когда я это пишу, у меня ни разу ни перед кем не вырвалось ни единого слова жалобы.

Когда станет известно, что, сделав все, презрев все, чтобы только не разлучаться с ней, после двадцати пяти лет, проведенных с нею наперекор судьбе и людям, я кончил тем, что на старости лет женился на ней, хотя она этого не ожидала и не просила, а я не давал ни обязательств, ни обещаний, – то решат, что неистовая страсть с первого же дня вскружила мне голову и постепенно довела меня до последнего сумасбродства; и еще больше подумают так, когда узнают те особые и важные причины, которые должны были помешать мне когда-либо дойти до этого. Что же подумает читатель, если я скажу ему со всей искренностью, которую он теперь должен за мной признать, что с первой минуты, как я увидел ее, и до сих пор, я ни разу не почувствовал ни малейшей искры любви к ней, что я желал обладать ею так же мало, как и г-жой де Варане, и что чувственная потребность, которую я удовлетворял с нею, была у меня только потребностью пола, не имевшей ничего общего с личностью? Он подумает, что я устроен иначе, чем другие люди, и, видимо, не способен испытывать любовь, раз она не имела отношения к чувствам, привязывавшим меня к женщинам, которые были мне всего дороже. Терпенье, мой читатель! Приближается роковой момент, когда вам придется слишком ясно убедиться в своей ошибке.

Я повторяюсь, это верно; но так надо. Первая моя потребность, самая большая, самая сильная, самая неутолимая, заключалась всецело в моем сердце: это потребность в тесном общении, таком интимном, какое только возможно; поэтому-то я нуждался скорей в женщине, чем в мужчине, скорей в подруге, чем в друге. Эта странная потребность была такова, что самое тесное соединение двух тел еще не могло быть для нее достаточным; мне нужны были две души в одном теле; без этого я всегда чувствовал пустоту. И вот мне казалось моментами, что такой пустоты я больше не ощущаю. Эта молодая женщина, привлекательная тысячью превосходных качеств, а в то время даже и внешностью, без тени искусственности или кокетства, заключила бы в себе одной мое существованье, если бы я мог, как сначала надеялся, заключить ее существованье в себе. Мне нечего было бояться мужчин, – я уверен, что был единственным, которого она действительно любила, и ее спокойный темперамент не нуждался в других, даже когда я перестал быть для нее мужчиной. У меня не было семьи; у нее она была; но эта семья, в которой все были столь отличны от нее по характеру, оказалась не такой, чтоб я мог сделать ее своей семьей. В этом была первая причина моего несчастья. Чего только я не отдал бы, чтобы стать сыном ее матери! Я все для этого сделал, но не достиг цели. Напрасно я старался слить в одно наши интересы: это оказалось невозможным. У г-жи Левассер всегда находились свои личные интересы, противоположные моим и даже интересам ее дочери, которые уже не были отдельными от моих. Она и другие ее дети и внуки уподобились пиявкам и обкрадывали Терезу, – что было еще самым меньшим злом из всех, какие они причиняли ей. Бедная девушка, привыкшая покоряться даже своим племянницам, молча позволяла обирать себя и распоряжаться собой; и я с болью видел, что расточаю свой кошелек без всякой пользы для нее. Я попытался отдалить ее от

матери; она этому решительно воспротивилась. Я отнесся с уважением к ее сопротивлению и стал ценить ее за это еще больше; но отказ ее тем не менее послужил во вред и ей, и мне. Преданная своей матери и родным, она принадлежала им больше, чем мне, больше, чем себе самой; их жадность была для нее не так разорительна, как пагубны их советы. Наконец, если благодаря своей любви ко мне, благодаря своей хорошей натуре она избегла полного порабощения, то все же была подчинена настолько, что это в большинстве случаев мешало воздействию хороших правил, которые я старался ей внушить; и какие меры я ни принимал, мы всегда оставались разъединенными.

Вот каким образом, несмотря на искреннюю и взаимную привязанность, в которую я вложил всю нежность своего сердца, пустота в нем все-таки никогда не была заполнена. Явились дети, которые могли бы эту пустоту заполнить; стало еще хуже. Я содрогнулся перед необходимостью поручить их этой дурно воспитанной семье, – ведь они были бы воспитаны ею еще хуже. Пребывание в Воспитательном доме было для них гораздо менее опасным. Вот основание принятого мной решения, более веское, чем все выставленные мной в письме к г-же де Франкей; однако оно было единственным, о котором я не смел говорить. Я предпочел остаться менее оправданным в столь тяжком проступке и пощадить семью женщины, которую любил. Но можно судить по поведению ее несчастного брата, должен ли я был – что бы об этом ни говорили – подвергать своих детей такому воспитанию, какое было дано ему?

Не имея возможности насладиться во всей полноте необходимым тесным душевным общением, я искал ему замены, которая, не заполняя пустоту, позволяла бы мне меньше ее чувствовать. За неимением друга, который был бы всецело моим другом, я нуждался в друзьях, чья порывистость преодолела бы мою инертность, вот почему я берег, укреплял свою дружбу с Дидро, с аббатом Кондильяком и завязал с Гриммом новую дружбу, еще более тесную, и вот, наконец, из-за этого несчастного «Рассуждения», историю которого я рассказал, я, сам того не думая, оказался снова брошенным в литературу, хотя считал, что навсегда отошел от нее.

Мой дебют привел меня новым путем в другой умственный мир, простой и превосходный порядок которого я не мог созерцать без восхищения. Вскоре, углубившись в него, я стал видеть во взглядах наших мудрецов только заблужденье и безумство, в нашем общественном строе – только гнет и нищету; обольщенный своей глупой гордостью, я считал себя призванным уничтожить все эти авторитеты и, решив, что для того, чтобы заставить себя слушать, надо согласовать свои поступки со своими принципами, усвоил необычное поведение, следовать которому мне не позволили: мои мнимые друзья не могли с ним примириться, потому что я подавал пример другим; между тем, сделав меня сначала смешным, поведение это в конце концов принесло бы мне почет, если б у меня была возможность твердо его держаться.

До тех пор я был добр; с того времени я стал добродетелен или по крайней мере опьянен добродетелью. Это опьянение началось у меня в голове, но перешло в сердце. Самая благородная гордость зарождалась там на обломках вырванного с корнем тщеславия. В моем поведении не было ничего наигранного, я на самом деле стал таким, каким казался; и в течение по крайней мере четырех лет, пока это восторженное состояние сохраняло всю свою силу, я был бы способен совершить все самое великое и прекрасное, что только свойственно человеческому сердцу. Вот источник моего внезапного красноречия, вот откуда распространился в моих первых книгах тот поистине небесный огонь, который воспламенял меня, но ни единая искра которого не вырвалась в течение сорока предшествующих лет, потому что он еще не был зажжен.

Я в самом деле преобразился; мои друзья, мои знакомые не узнавали меня. Я уже больше не был тем робким, скорее застенчивым, чем скромным, человеком, не умевшим ни держать себя, ни говорить в обществе, приходившим в замешательство от шутливых слов, красневшим от женского взгляда. Смелый, гордый, неустрашимый, я повсюду нес с собой

уверенность, тем более твердую, что она была проста и заключалась в моей душе, а не в манере себя держать. Презренье, внушенное мне глубокими размышлениями, к нравам, правилам поведенья и предрассудкам нашего века делало меня нечувствительным к насмешкам тех, кто был подвластен этим понятиям, и я подавлял острые словечки насмешников своими приговорами, как раздавил бы насекомое между пальцев. Какая перемена! Весь Париж повторял едкие и язвительные сарказмы того самого человека, который за два года до этого и десять лет спустя не знал, что ему сказать и где найти слова, чтобы выразить свои мысли. Пусть поищут в мире состояние, наиболее чуждое моей натуре, – найдут именно это. Если захотят вспомнить один из тех коротких моментов в моей жизни, когда я становился другим и переставал быть самим собой, – такой момент найдут именно в том периоде, о котором я говорю; но длился он не каких-нибудь шесть дней или шесть недель, а около шести лет и, быть может, длился бы до сих пор, если б особые обстоятельства не прекратили его и не вернули меня к моей натуре, над которой я хотел возвыситься.

Перемена во мне началась, как только я уехал из Парижа, как только избавился от зрелища пороков этого большого города, вызывавших мое негодование. Не видя людей ничтожных, я перестал их презирать, не видя злых, я перестал их ненавидеть. Мое сердце, не созданное для ненависти, стало лишь оплакивать их бедствия и больше не замечало их злобы. Такое состояние души, более спокойное, но менее возвышенное, вскоре убило пламенный энтузиазм, так долго воодушевлявший меня, и незаметно для других, почти незаметно для самого себя, я опять стал боязливым, снисходительным, робким, – словом, я стал тем Жан-Жаком, каким был прежде.

Если бы переворот только вернул меня к самому себе и на этом остановился, – все было бы хорошо; но, к несчастью, он пошел дальше и быстро увлек меня в другую крайность. С тех пор мятущаяся душа моя постоянно переходила за черту спокойствия, и такие колебания, беспрестанно возобновляясь, никогда не позволяли ей удержаться на этой черте. Вникнем в подробности этого второго переворота – страшной и роковой эпохи в моей жизни, не имеющей примера среди смертных.

Нас было только трое в нашем убежище, досуг и уединенье должны были, естественно, еще более сблизить нас. Так это и случилось со мной и Терезой. Мы проводили вдвоем под древесной сенью очаровательные часы, и я никогда так хорошо не чувствовал их отраду. Мне казалось, что и Тереза тоже наслаждается ею больше, чем прежде. Она открыла мне свое сердце без утайки и сообщила о своей матери и семье то, что имела силы долгое время скрывать от меня. Обе они получали от г-жи Дюпен множество подарков, которые та делала из приязни ко мне; но мать, старая плутовка, чтоб не сердить меня, брала их себе или отдавала другим своим детям, не оставляя ничего для Терезы, и строго-настрого запрещала ей говорить мне об этом, что бедняжка и выполняла с невероятной покорностью.

Но больше всего я был удивлен, когда узнал, что, кроме особых разговоров, которые Дидро и Гримм часто вели с той и с другой, чтоб отдалить их от меня, хотя и не достигли цели благодаря сопротивлению Терезы, – оба они беседовали по секрету с ее матерью; и Тереза никак не могла узнать, что они между собой замышляли. Она знала только, что тут были замешаны маленькие подарки и имели место какие-то посещения, которые старались держать от нее в тайне и поводы которых были ей совершенно неизвестны. Уже задолго до того, как мы уехали из Парижа, у г-жи Левассер вошло в обычай посещать Гримма два или три раза в месяц и проводить у него по нескольку часов в таких секретных разговорах, что Гримм всегда отсылал из комнаты лакея.

Я решил, что они возобновили свой прежний замысел, в который старались втянуть Терезу, обещая устроить ей и матери через г-жу д'Эпине розничную торговлю солью, табачную лавочку, – одним словом, соблазняя их приманкой прибыли. Их уверяли, что я не только не имею возможности что-нибудь сделать для них, но из-за них не могу достигнуть чего бы

то ни было даже для самого себя. Во всем этом я не видел ничего, кроме добрых намерений, и ничуть не был за это в претензии. Только таинственность возмущала меня, особенно со стороны г-жи Левассер: старуха становилась с каждым днем все угодливей и вкрадчивей со мной, что не мешало ей исподтишка беспрестанно упрекать дочь за то, что та меня слишком любит и по глупости все мне рассказывает сама себе во вред.

Эта женщина обладала исключительным искусством снимать десять урожаев с одного поля, скрывая от одного то, что получала от другого, а от меня то, что получала от всех. Я мог бы простить ей жадность, но не мог простить притворства. Зачем ей нужно было от меня таиться, когда она хорошо знала, что я видел свое счастье почти единственно в счастье ее дочери и ее собственном? Все, что я делал для ее дочери, я делал для себя; но то, что я делал для матери, заслуживало с ее стороны некоторой благодарности; ей следовало быть признательной за это по крайней мере своей дочери и любить меня из-за любви к ней. Я избавил эту старуху от крайней нищеты; она получала от меня свое содержание, она была обязана мне всеми знакомствами, из которых извлекала такую выгоду. Тереза долгое время кормила ее своим трудом, а теперь кормила моим хлебом. Она получала все от дочери, для которой ничего не сделала, а другие ее дети, которых она одарила, ради которых сама разорилась, не только ее не содержали, но еще пожирали и ее, и мои средства. Я полагал, что в этом положении она должна была бы считать меня своим единственным другом, самым надежным своим покровителем и не только не держать от меня в тайне мои собственные дела, не только не составлять против меня заговоров в моем собственном доме, – но преданно осведомлять меня обо всем, что могло меня интересовать, если она узнавала об этом раньше меня. Какими же глазами должен был я смотреть на ее фальшивое и загадочное поведение? Что должен был я думать, особенно о чувствах, которые она старалась привить своей дочери? Какой чудовищной должна была быть ее неблагодарность, если и дочери она пыталась внушить ее!

Все эти размышления отвратили наконец мое сердце от этой женщины до такой степени, что я не мог больше глядеть на нее, не презирая. Тем не менее я не переставал обращаться почтительно с матерью моей подруги, оказывая ей во всем почти сыновнее уважение и внимание; но, правда, я не любил долго оставаться с ней: совсем не в моем характере стеснять себя.

Вот еще один из тех моментов моей жизни, когда я видел счастье очень близко, но не имел возможности его достигнуть и без всякой своей вины упустил его. Если б у этой женщины оказался хороший характер, мы были бы счастливы все трое до конца наших дней; тот из нас, кто остался бы в живых последним, был бы достоин сожаления. Между тем посмотрите, какой оборот приняли дела, и рассудите, мог ли я изменить его.

Г-жа Левассер, видя, что я занял большое место в сердце ее дочери, а она потеряла в нем свое, попробовала отвоевать его и, вместо того чтобы приблизиться ко мне через дочь, попыталась совсем отдалить ее от меня. Один из способов, которые она применила, заключался в том, что она призвала на помощь свою семью. Я просил Терезу не приглашать никого из них в Эрмитаж, она обещала. Их вызвали туда в мое отсутствие, не спрашиваясь у нее; а потом вынудили у нее обещание не говорить мне ничего. Когда первый шаг был сделан, все остальное было легко; если хоть раз что-нибудь скроешь от того, кого любишь, больше уж не будет совестно так поступать с ним во всем. Всякий раз как я был в Шевретте, Эрмитаж наполнялся гостями, которые недурно проводили там время. Мать всегда возьмет верх над дочерью, доброй по природе; однако, каким бы путем г-жа Левассер ни принималась за дело, она никогда не могла вовлечь Терезу в свои замыслы и уговорить ее объединиться с ней против меня. Что до самой старухи, то ее решение было бесповоротно: видя на одной стороне свою дочь и меня, у которых можно было жить и только, а на другой – Дидро, Гримма, Гольбаха, г-жу д'Эпине, многое обещавших и кое-что дававших, она решила, что невозможно

промахнуться, примкнув к жене главного откупщика и к барону. Будь я дальновидней, я понял бы уже в то время, что пригрел змею у себя на груди; но по своей слепой доверчивости, которую тогда еще ничто не поколебало, я даже не представлял себе, что можно желать вреда тому, кого ты должен любить. Видя, как вокруг меня плетут тысячи козней, я только умел жаловаться на тиранию тех, кого называл своими друзьями и кто хотел, по моему мнению, заставить меня быть счастливым скорей на их, чем на мой собственный лад.

Хотя Тереза отказалась заключить союз с матерью, она опять сохранила ее тайну; ее побуждение было похвально; не скажу, хорошо или дурно она поступила. Две женщины, имеющие секреты, любят болтать между собой; это сближает их: Тереза, деля свою привязанность между нами двоими, заставляла меня иногда чувствовать, что я одинок, потому что я не мог считать настоящим обществом то, которое составляли мы втроем. Тогда-то я живо почувствовал, какую сделал ошибку в первое время нашей связи, что не воспользовался покорностью, вызванною любовью, чтобы развить в Терезе ее ум и дать ей знания; тесней сближая нас в нашем уединении, они приятно заполнили бы и ее и мое время, никогда не давая нам почувствовать тягость беседы вдвоем. Нельзя сказать, чтобы разговор между нами не клеился, что у нас не было тем для беседы и что Тереза казалась скучающей во время наших прогулок, но у нас попросту было слишком мало общих интересов, чтобы они доставляли большой запас тем. Мы уже не могли без конца говорить о наших планах, отныне ограниченных намерением наслаждаться жизнью. Предметы, нам встречавшиеся, вызывали во мне размышления, которые были ей недоступны. Двенадцатилетняя привязанность уже не нуждалась в речах; мы слишком хорошо знали друг друга, чтобы открыть один другому что-нибудь новое. Оставалась возможность чесать язык, злословить и отпускать плоские шутки. В уединении особенно чувствуешь, какое преимущество жить с человеком, умеющим мыслить. Я и без этого всегда находил удовольствие в ее обществе; но ей было бы нужно оценить это, чтобы постоянно находить удовольствие в моем. Хуже всего было то, что нам вдобавок приходилось искать случая для наших свиданий: ее мать, сделавшаяся мне невыносимой, вынуждала ловить их. Я был стеснен у себя в доме; этим все сказано; видимость любви портила добрую дружбу. Мы жили в близком общении, не имея близости между собой.

Как только мне показалось, что Тереза ищет иногда предлогов, чтобы уклониться от прогулок, которые я ей предлагал, я перестал предлагать их, не досадуя на нее за то, что они нравятся ей меньше, чем мне. Удовольствие вовсе не зависит от нашей воли. Я был уверен в ее сердце, этого мне было достаточно. Пока мои удовольствия были ее удовольствиями, я наслаждался ими вместе с ней; когда этого не стало, я предпочел ее удовлетворение своему собственному.

Вот каким образом, лишь наполовину обманутый в своих надеждах, ведя жизнь по своему вкусу, в месте, мною избранном, с женщиной, которая была мне дорога, я все-таки дошел до того, что почувствовал себя почти совсем одиноким. То, чего мне недоставало, мешало мне наслаждаться тем, что я имел. В счастье и в наслаждении мне надо было все или ничего. Дальше будет видно, почему я счел эти подробности необходимыми. Теперь возобновлю свой рассказ.

Я думал, что найду сокровища в рукописях, переданных мне графом де Сен-Пьером. Разбираясь в них, я увидел, что там нет почти ничего, кроме собрания уже напечатанных сочинений его дяди, с заметками и поправками его рукой, и некоторых его статеек, еще не увидевших свет. Прочтя его сочинения о морали, я укрепился в мысли, возникшей у меня на основании нескольких его писем, которые показала мне г-жа де Креки: ум у него был обширней, чем я думал. Но углубленное изучение его политических трудов обнаружило передо мной лишь поверхностные взгляды, проекты полезные, но невыполнимые из-за идеи, от которой автор никак не мог отрешиться: будто люди руководятся больше своими познаниями, чем страстями. Высокое мнение де Сен-Пьера о современной науке заставило его усво-

ить ложный принцип об усовершенствованном разуме, как основе всех проектируемых им учреждений и источнике всех его политических софизмов. Этот редкий человек, составлявший украшение своего века и всего человечества с тех пор, как оно существует, быть может, единственный, не знавший другой страсти, кроме страсти к разуму, – однако только и делал, что переходил во всех своих системах от заблуждения к заблуждению, так как хотел сделать людей подобными себе самому, вместо того чтобы брать их такими, каковы они есть и какими останутся. Он трудился лишь для воображаемых существ, думая, что трудится для своих современников.

Ввиду всего этого я находился в некотором затруднении, какую форму придать своему труду? Оставить вымыслы автора без опровержения – значило не сделать ничего полезного; опровергнуть их со всей строгостью – значило поступить нечестно, потому что хранение этих рукописей, на которое я согласился и которое даже просил предоставить мне, обязывало меня отнестись к их автору с почтением. Наконец я принял решение, показавшееся мне самым пристойным, разумным и целесообразным: изложить идеи автора и свои собственные отдельно, а для этого стать на его точку зрения, осветить ее, развить и сделать все, чтобы ее можно было оценить по достоинству.

Таким образом, мой труд должен был состоять из двух совершенно отдельных частей: одной, предназначенной для изложения различных проектов автора в том виде, как я только что сказал; и другой, которая должна была появиться лишь после того, как первая произведет свое действие, и где я высказал бы свое суждение об этих проектах, что, сознаюсь, могло бы порой подвергнуть их участи сонета в «Мизантропе»[{334}]. Во главе всего труда должно было идти жизнеописание автора, для которого я собрал довольно хорошие материалы, льстя себя надеждой использовать их, не испортив. Мне случалось видеть аббата де Сен-Пьера в старости, и благоговение, которое я хранил к его памяти, было ручательством, что граф не остался бы недоволен моим обращением с его родственником.

Я сделал опыт с «Вечным миром» – самым значительным и разработанным из всех сочинений, входивших в это собрание, и, прежде чем погрузиться в свои размышления, имел мужество перечесть решительно все, что аббат написал на эту прекрасную тему, причем я ни разу не пришел в отчаяние ни от его длиннот, ни от повторений. Публика видела этот пересказ, так что мне нечего говорить о нем. Что же касается разбора, которому я подверг «Вечный мир», то он вовсе не был напечатан, и не знаю, будет ли напечатан когда-нибудь; но разбор этот был написан в одно время с пересказом. От «Вечного мира» я перешел к «Полисинодии»[{335}] или «Множественности советов»; сочинение это было написано при регенте, с целью поддержать назначенное им правительство, но привело к изгнанию аббата де Сен-Пьера из Французской академии за некоторые выпады против предшествующего правительства, рассердившие герцогиню дю Мен и кардинала де Полиньяка. Я довел этот труд, как и предыдущий, до конца – как в смысле разбора, так и изложения, – но на этом остановился, не желая продолжать работу, к которой мне не следовало бы и приступать.

Соображение, побудившее меня от нее отказаться, напрашивалось само собой, и удивительно, как оно не пришло мне в голову раньше. Большая часть писаний аббата де Сен-Пьера состояла из критических замечаний о некоторых сторонах французского правительства, причем иные были такие смелые, что было непонятно, как они прошли для него безнаказанно. Но в министерских канцеляриях аббата де Сен-Пьера всегда считали скорее кем-то вроде проповедника, нежели настоящим политическим деятелем, и позволяли ему говорить все, что ему захочется, так как прекрасно видели, что его никто не слушает. А если б я добился того, чтобы его стали слушать, дело приняло бы другой оборот. Он был француз, я нет; и, осмелившись повторять его суждения, хоть и под его именем, я давал повод задать мне вопрос, немного резкий, но небезосновательный, – с какой стати я вмешиваюсь? К счастью, я понял, какие нарекания навлеку на себя, и постепенно отступил. Я знал, что,

живя одиноко среди людей, к тому же более могущественных, чем я, при всех моих стараниях не смогу оградить себя от зла, которое они пожелают мне причинить. Только одно тут зависело от меня: поступать по крайней мере так, что, если им вздумается причинить мне зло, оно оказалось бы несправедливостью. Это правило, побудившее меня оставить аббата де Сен-Пьера, часто заставляло меня отказываться от замыслов, гораздо более мне дорогих. Некоторые люди, всегда готовые превратить беду в преступленье, были бы очень удивлены, если б узнали, как я всю жизнь старался, чтобы никто не имел основания сказать мне о моих бедствиях: «Ты их вполне заслужил!»

Оставив этот труд, я некоторое время был в нерешительности, за какой мне после него приняться, и этот промежуток бездействия был моей гибелью, позволив моим размышлениям обратиться на меня самого, за отсутствием иного предмета, который бы меня занял. У меня больше не было планов на будущее, которые могли бы увлечь мое воображение; у меня даже не было возможности составлять их, потому что мое положение было как раз таким, к какому влекли меня мои желания; новых желаний не возникало, а сердце мое было еще пусто. Это состояние было тем мучительней, что я не представлял себе другого, достойного предпочтения. Я сосредоточил самую нежную свою привязанность на одной женщине, нравившейся мне и отвечавшей мне взаимностью. Я жил с ней, ни в чем себя не стесняя и, так сказать, с полной непринужденностью. Однако тайная сердечная тоска не покидала меня ни подле нее, ни вдали. Обладая ею, я чувствовал, что она все еще не моя; и одна мысль, что я для нее – не все, делала то, что она была для меня почти ничем.

У меня были друзья обоего пола, к которым я был привязан чувством самой чистой дружбы, самого глубокого уважения; я рассчитывал на полнейшую взаимность с их стороны, и мне даже не приходило в голову усомниться в их искренности; между тем эта дружба была для меня скорее терзанием, чем радостью, из-за их упорного, даже ожесточенного противоречия моим вкусам, склонностям, образу жизни, – до такой степени, что стоило мне только высказать желание по поводу чего-нибудь, что могло интересовать только меня и не имело отношения к ним, как они тотчас же объединялись против меня, вынуждая меня от этого отказаться. Это упорное контролирование всех моих поступков, тем более несправедливое, что я не только не контролировал их поступки, но даже не осведомлялся о них, стало мне до того тягостным, что даже письма их внушали мне какой-то ужас, когда я их распечатывал. И – увы! – ужас этот слишком часто оправдывался при чтении. Я находил, что люди, которые все были моложе меня и сами очень нуждались в уроках, расточаемых ими мне, не имели права обращаться со мной, как с ребенком. «Любите меня, как я люблю вас, – говорил я им, – в остальном не вмешивайтесь в мои дела больше, чем я вмешиваюсь в ваши; вот все, о чем я вас прошу». Если из этих двух просьб они соглашались исполнить одну, то уж во всяком случае не последнюю.

У меня появилось отдельное жилище в очаровательном уединении; там я был сам себе господин и мог жить на свой лад, не опасаясь, что кому-нибудь вздумается меня контролировать. Однако это обиталище налагало на меня обязанности, приятные для исполнения, но непременные. Вся моя свобода зависела от случая; больше, чем приказаниями, я был порабощен собственной волей. У меня не было ни одного дня, когда, просыпаясь, я мог бы сказать: «Я проведу этот день как мне захочется». Больше того – кроме зависимости от распоряжений г-жи д'Эпине, у меня была еще другая, гораздо более несносная: зависимость от публики и незваных гостей. Расстояние, отделявшее меня от Парижа, не мешало тому, чтобы ко мне ежедневно являлись толпы бездельников; не зная, что делать со своим временем, они без всякого стеснения расхищали мое. Я подвергался беспощадному нападению, когда меньше всего ожидал этого, и редко мне случалось составить какой-нибудь славный распорядок дня без того, чтобы его не расстроили посетители.

Короче говоря, не находя настоящей радости среди благ, которых я больше всего желал, я возвращался мыслью к ясным дням своей юности и порой восклицал со вздохом: «Ах, это совсем не то, что было в Шарметтах!»

Воспоминания о разных периодах моей жизни привели меня к размышлениям о том пределе, которого я достиг, и я увидел себя уже на склоне лет жертвой мучительных недугов; может быть, недалек конец моего пути, а между тем я еще не вкусил полностью почти ни одного из тех наслаждений, которых жаждало мое сердце, не дал выхода сильным чувствам, которые – я это знал – сохранились в нем, не изведал, даже не коснулся того опьяняющего сладострастия, властное присутствие которого чувствовал в своей душе и которое, за отсутствием предмета, оставалось подавленным и могло найти себе выход только во вздохах.

Как могло случиться, что, имея душу от природы чувствительную, для которой жить – значило любить, я не мог до тех пор найти себе друга, всецело мне преданного, настоящего друга, – я, который чувствовал себя до такой степени созданным для дружбы? Как могло случиться, что, обладая столь пылкими чувствами и сердцем, исполненным любви, я хоть раз в жизни не зажегся ее пламенем к определенному предмету? Пожираемый потребностью любить и не получив ни разу возможности удовлетворить ее в полной мере, я видел себя в преддверии старости и смерти, хотя еще не жил.

Эти печальные, но трогательные размышления заставляли меня замыкаться в самом себе с сожалением, не лишенным приятности. Мне казалось, что судьба в долгу передо мной в чем-то таком, чего она мне не дала. Зачем одарила она меня от рождения исключительными способностями, если они останутся до конца моей жизни без применения? Чувство своей внутренней ценности, порождая сознание этой несправедливости, до некоторой степени вознаграждало меня за нее; я плакал, и мне было отрадно давать волю слезам.

Я предавался этим размышлениям в самое лучшее время года, в июне месяце, в тени зеленых рощ, под пенье соловья и журчанье ручьев. Все наперерыв старалось снова погрузить меня в ту соблазнительную негу, для которой я был рожден, но от которой строгий и суровый образ жизни, вызванный долгим кипением чувств, должен был бы навсегда освободить меня. К несчастью, я вспомнил обед в Тунском замке и свою встречу с двумя очаровательными девушками – в то же время года и почти в такой же местности, в какой я был теперь. Это воспоминание, которому невинность придавала особую прелесть, вызвало другие, подобные ему. Вскоре я увидел в сборе вокруг себя всех, кто волновал меня в моей юности: мадемуазель Галлей, мадемуазель де Графенрид, мадемуазель де Брейль, г-жу Базиль, г-жу де Ларнаж, своих хорошеньких учениц, – кончая обольстительной Джульеттой, которую сердце мое не может забыть. Я увидел себя, окруженного целым сералем гурий – моими старинными знакомками; горячее влеченье к ним не было для меня новым чувством. И вот кровь моя бурлит, голова моя кружится, несмотря на уже седеющие волосы, – и степенный гражданин Женевы, суровый Жан-Жак, приближаясь к сорока пяти годам, вдруг опять превращается в сумасбродного пастушка. Охватившее меня опьянение, внезапное и безумное, было, однако, столь длительным и столь сильным, что для того, чтобы мне излечиться от него, понадобился целый переворот – неожиданный и ужасный по тем бедствиям, в которые он меня вверг.

Это опьянение, до какой бы степени оно ни доходило, все же не одурманило меня настолько, чтобы я забыл свои лета и свое положение, чтобы я льстил себя надеждой еще внушить любовь к себе, чтобы я попытался наконец заронить в чье-нибудь сердце искру того пожирающего, но бесплодного огня, который, я чувствовал, с самого детства сжигает мне сердце. Я нисколько не надеялся на это, даже не желал этого. Я знал, что время любви миновало, слишком хорошо понимал, как смешны старые волокиты. Я вовсе не хотел оказаться в их положении; и такой человек, как я, не мог бы стать самонадеянным и уверенным в себе на склоне дней, не обнаружив этих качеств в лучшую пору жизни. К тому же, друг

мира, я побоялся бы домашних бурь и слишком сердечно любил свою Терезу, чтобы доставлять ей огорчения, проявляя к другим более горячие чувства, чем те, какие она внушала мне. Как же поступил я в этом случае? Несомненно, мой читатель уже догадался об этом, если хоть немного следовал за мной до сих пор. Невозможность овладеть реальными существами толкнула меня в страну химер; не видя в житейской действительности ничего, что было бы достойно моего бреда, я нашел ему пищу в идеальном мире, который мое богатое воображение скоро населило существами, отвечавшими потребности моего сердца, и никогда это средство не являлось более кстати и не было более плодотворным. В своих непрерывных восторгах я упивался бурными потоками самых восхитительных чувств, когда-либо наполнявших сердце человека. Совсем забывая о человеческом роде, я создал себе общество из существ совершенных, божественных как своей добродетелью, так и красотой, – друзей надежных, нежных, верных, каких никогда не находил здесь, на земле. Я так пристрастился витать в эмпиреях, среди прелестных творений моей фантазии, что отдавал ей без счета часы и дни и забывал обо всем на свете; едва съедал я второпях кусок, как уже горел нетерпением вырваться из дому и поскорее вернуться в свои милые рощи. Если в ту минуту, когда я спешил в очарованный мир, ко мне приезжали жалкие смертные, чтобы удержать меня на земле, я не мог ни скрыть, ни умерить досады и, больше не владея собой, оказывал им такой резкий прием, что его можно было бы назвать грубым. Все это только увеличивало мою репутацию мизантропа, – хотя я заслужил бы совсем противоположное мнение о себе, если бы окружающие лучше читали в моем сердце.

В разгар моей самой сильной экзальтации я вдруг уподобился бумажному змею, которого потянули за шнурок: сама природа вернула меня с небес на землю при помощи довольно сильного приступа моего недуга. Я прибегнул к зонду – единственному средству, облегчавшему мои боли, и это положило конец моей ангельской любви; помимо того, что нельзя быть влюбленным, когда испытываешь боль, мое воображение, воспламеняющееся среди природы, под сенью дерев, томится и угасает в комнате, под балками потолка. Я часто жалел, что на свете нет дриад; среди них я неминуемо нашел бы предмет своей привязанности.

Другие домашние передряги усилили в это время мои огорчения. Г-жа Левассер, хотя и была со мной любезна, восстанавливала против меня свою дочь как только могла. Я получил письма от своих прежних соседей, в которых сообщалось, что милая старушка сделала без моего ведома несколько долгов от имени Терезы, а та знала, но ничего не сказала мне об этом. Необходимость уплатить эти долги сердила меня гораздо меньше, чем тайна, которую из них делали. Как могла женщина, от которой у меня не было никаких секретов, что-то скрывать от меня? Разве можно что-нибудь утаивать от тех, кого любишь? Гольбаховская клика, видя, что я совсем не езжу в Париж, начала не на шутку опасаться, как бы мне не полюбилась деревня и я не оказался бы до того сумасбродным, чтобы остаться там навсегда. И вот начались козни, при помощи которых пытались окольным путем вернуть меня в город. Дидро, не желая сразу показываться в подлинном своем виде, начал с того, что отдалил от меня Делейра, которого я познакомил с ним; Делейр воспринимал и передавал мне мнения, внушаемые ему Дидро, не понимая его настоящей цели.

Казалось, все способствовало тому, чтобы вывести меня из моей сладкой и безрассудной мечтательности. Я еще не оправился от своего припадка, когда получил экземпляр поэмы «О разрушении Лиссабона»;{336} я подумал, что она была послана мне автором, а это обязывало меня написать ему и высказаться о его произведении. Я сделал это в письме; много времени спустя оно было напечатано без моего согласия, о чем будет рассказано ниже.

Пораженный тем, что этот «бедняга», так сказать, подавленный благополучием и славой, тем не менее горько вопиет о бедствиях человеческой жизни и твердит, что на земле все плохо, я задался безрассудной целью заставить его прийти в себя и доказать ему, что все на свете прекрасно. Вольтер, всегда делавший вид, будто верит в бога, на самом деле верил

только в дьявола, ибо его мнимый бог – существо злокозненное, которое, по его представлению, находит наслаждение только в том, чтобы вредить людям. Бросающаяся в глаза нелепость этой доктрины особенно возмутительна, когда человек пользуется всевозможными жизненными благами, вкушает полное счастье, но стремится довести своих ближних до отчаяния страшной и жестокой картиной всевозможных бедствий, от которых он сам избавлен. Имея больше его прав исчислять и взвешивать злополучия человеческой жизни, я добросовестно исследовал их и доказал ему, что ни за одно из этих несчастий нельзя винить провидение и что источником их является не столько природа, сколько злоупотребление человека своими способностями. Я обращался к нему в этом письме со всем вниманием, учтивостью, осторожностью и, могу сказать, уважением, какие только возможны. Впрочем, зная исключительную чувствительность его самолюбия, я отправил это письмо не лично ему, а доктору Троншену, его домашнему врачу и другу, уполномочив его передать письмо или уничтожить, в зависимости от того, что он найдет уместным. Троншен передал письмо. Вольтер ответил мне в немногих строках, что, будучи сам больным и имея на руках другого больного, откладывает на время свой ответ, и не сказал ни слова по существу вопроса. Троншен, пересылая мне эти строки, присоединил к ним свою записку, где выказал мало уважения к их автору.

Я никогда не опубликовывал и даже никому не показывал этих двух писем, потому что не люблю хвастать такого рода маленькими триумфами; но подлинники их целы и находятся в моем собрании (связка А, № 20 и 21). Позднее Вольтер опубликовал обещанный мне, но неприсланный ответ. Это не что иное, как роман «Кандид»[{337}], о котором я ничего сказать не могу, потому что не читал его.

Все эти события должны были бы окончательно отвлечь и излечить меня от моих фантастических любовных мечтаний, и, может быть, это было средство, посланное мне небом, чтобы предупредить их пагубные последствия; но моя несчастная звезда оказалась сильней, и только я начал опять выходить, как мое сердце, голова и ноги направились по прежнему пути. Я хочу сказать – прежнему в некоторых отношениях: помыслы мои, уже менее выспренние, остались на этот раз на земле, но предметами их я тщательно избирал только самое привлекательное во всем, что на ней существует, так что избранное было не менее химерично, чем воображаемый мир, покинутый мной.

Я представил себе любовь, дружбу – эти два кумира моего сердца – в самых восхитительных образах. Я украсил их всеми очарованиями пола, всегда обожаемого мной. Я рисовал себе скорее двух подруг, чем двух друзей, потому что если подобный пример редок, тем более он привлекателен. Я одарил их характерами, подходящими друг к другу, но различными, наружностью не совершенной, но в моем вкусе, – одушевленной добротой и чувствительностью. Одну я сделал брюнеткой, другую – блондинкой; одну – живой, другую – нежной; одну наделил благоразумием, другую – легкомыслием, но легкомыслием таким трогательным, что, казалось, от него выигрывает сама добродетель. Я дал одной из них возлюбленного, для которого другая была нежным другом и даже чем-то больше; но я не допускал ни соперничества, ни ссор, ни ревности, потому что всякое тягостное чувство дорого обходится моему воображению, и я не хотел омрачать эту радостную картину ничем, унижающим природу. Влюбленный в эти два прелестных образа, я отождествил себя с возлюбленным и другом, насколько это было возможно; но я представил его молодым и привлекательным, наделив его, кроме того, достоинствами и недостатками, которые знал за собой.

Чтобы поместить своих героев в подходящую обстановку, я перебрал одно за другим самые красивые места, которые видел в своих путешествиях. Но я не нашел рощи, достаточно свежей, пейзажа, достаточно трогательного, которые отвечали бы моим желаниям. Может быть, меня удовлетворили бы долины Фессалии[{338}], если б я видел их; но мое воображение, утомленное вымыслами, стремилось найти какой-нибудь действительно существу-

ющий уголок, чтобы он служил точкой опоры и сообщил бы видимость реальности тем обитателям, которых я хотел там поселить. Я долго думал о Борромейских островах{339}, где меня приводили в восторг чудесные сады, но решил, что там для моих героев слишком много украшений и искусства. Однако мне необходимо было озеро, и я наконец остановился на том, вокруг которого мое сердце никогда не переставало блуждать. На берегу этого озера я выбрал место, к которому уже с давних пор влекли меня мои мечты о счастье, не дарованном мне судьбой. Родина моей бедной маменьки все еще имела для меня особую привлекательность. Контрасты рельефа, богатство и разнообразие пейзажей, великолепие, величие целого, восхищающего чувства, волнующего сердце, возвышающего душу, заставили меня сделать окончательный выбор, и я поселил своих молодых воспитанниц в Веве.

Вот все, что я придумал поначалу; остальное было прибавлено уже впоследствии.

Я долго ограничивался таким неопределенным планом, потому что его было достаточно, чтобы наполнить мое воображение приятными предметами, а мое сердце – чувствами, которые оно любит питать. Эти призраки, возвращаясь вновь и вновь, приобретали все большую четкость и наконец получили в моем мозгу определенную форму. Тогда-то мне пришла фантазия выразить некоторые из созданных мною положений на бумаге и, вспомнив все, что я пережил в юности, дать таким образом своего рода выход той потребности любви, которую я не мог удовлетворить, хотя она обуревала меня.

Сперва я набросал на бумаге несколько разрозненных писем, без всякой связи и последовательности, а когда решил связать их, то часто бывал в большом затруднении. Как ни маловероятно, тем не менее это правда: первые две части были написаны почти целиком таким способом – без продуманного плана и даже без расчета на то, что у меня когда-нибудь возникнет соблазн сделать из этого законченное произведение. Поэтому-то обе эти части, составленные позже из материалов, не предназначавшихся для такой цели, полны словесных излишеств, от которых свободны последующие.

В самом разгаре моих сладких грез меня посетила г-жа д’Удето в первый раз в своей жизни, но, к несчастью, как будет видно ниже, – не в последний. Графиня д’Удето была дочь покойного де Бельгарда, главного откупщика, и сестра д’Эпине, а также де Лалива и де ла Бриша, которые оба потом были церемониймейстерами при дворе. Я говорил, что познакомился с ней, когда она была еще в девицах. После ее замужества я встречался с ней только на празднествах в Шевретте у г-жи д’Эпине, ее невестки. Часто проводя с ней по нескольку дней то в Шевретте, то в Эпине, я не только всегда встречал с ее стороны очень любезное обращение, но мне даже казалось, что она относится ко мне с благосклонностью. Мы оба были хорошими ходоками, она любила гулять со мной, и беседа между нами не иссякала. Однако я никогда не бывал у нее в Париже, хотя она много раз звала меня и даже настаивала, чтоб я приехал. Ее близость с де Сен-Ламбером{340}, с которым у меня начала завязываться дружба, сделала ее еще интересней в моих глазах, и как раз для того, чтобы сообщить мне вести об этом друге, бывшем тогда, кажется, в Магоне{341}, она посетила меня в Эрмитаже.

Этот визит был немного похож на начало романа. Она заблудилась в пути. Ее кучер, свернув с дороги на повороте, хотел проехать напрямик от мельницы в Клерво до Эрмитажа, но в топкой лощине карета увязла в грязи, г-жа д’Удето решила выйти из экипажа и дойти пешком. Ее легкие башмачки скоро промокли, она попала в болото; ее слугам стоило большого труда вытащить ее оттуда; наконец она добралась до Эрмитажа, в мужских сапогах, оглашая воздух громким смехом; при виде ее я тоже расхохотался. Ей необходимо было переодеться; Тереза позаботилась об этом, а я, отбросив этикет, пригласил ее отведать наших деревенских кушаний, которые очень ей понравились. Было поздно; она оставалась недолго; но свидание было такое веселое, что пришлось ей по вкусу, и она, видимо, была не

прочь повторить его. Однако осуществила она это намерение только через год; но – увы! – это запоздание ни от чего меня не спасло.

Никто не отгадает, чем я занимался осенью: караулил фруктовый сад г-на д'Эпине. В Эрмитаже был пруд, откуда была проведена вода для парка в Шевретте; кроме того, там был фруктовый сад, окруженный стенами и приносивший г-ну д'Эпине больше плодов, чем его огород в Шевретте, хотя три четверти их разворовывались. Чтобы не быть совершенно бесполезным гостем, я взял на себя управление садом и надзор за садовником. Все шло хорошо, пока плоды были зеленые, но по мере их созревания я стал замечать, что они исчезают, и не мог понять, куда они деваются. Садовник уверял меня, что их поедают сурки. Я объявил войну суркам, истребил их большое количество, но плоды продолжали исчезать по-прежнему. Так как я караулил усердно, то наконец обнаружил, что сам садовник и есть главный сурок. Он жил в Монморанси, приходил оттуда по ночам с женой и детьми, уносил собранные за день плоды и отправлял их для продажи на парижский рынок так открыто, будто у него свой собственный сад. Этот негодяй, которого я осыпал благодеяниями, детей которого Тереза одевала, а отца, занимавшегося нищенством, я почти содержал, преспокойно и нагло обкрадывал нас, пользуясь тем, что никто из нас троих не проявил достаточно бдительности, чтобы навести порядок; он, например, сумел в одну ночь опустошить мой погреб, так что наутро я ничего не нашел. Пока он крал только мое добро, я терпел, но, взяв на себя ответственность за фруктовый сад, я вынужден был указать вора. Г-жа д'Эпине просила меня дать ему расчет, прогнать его и подыскать другого, что я и сделал. Так как этот отъявленный мошенник каждую ночь бродил вокруг Эрмитажа, вооруженный толстой, окованной железом дубиной вроде палицы, в сопровождении других таких же бездельников, я, для успокоения моих домоправительниц, которые страшно его боялись, приказал его преемнику постоянно ночевать в Эрмитаже; но и это их не успокоило; тогда я велел попросить у г-жи д'Эпине ружье, которое стал держать в комнате нового садовника, наказав этому человеку пустить ружье в ход только в случае крайней необходимости, при попытке взломать дверь или забраться в сад, и притом стрелять холостыми зарядами – только для того, чтобы напугать воров. Конечно, это было наименьшей предосторожностью, какую мог принять ради всеобщей безопасности человек больной, вынужденный провести зиму в лесу в обществе двух робких женщин. Кроме того, я приобрел собачку, чтобы она служила нам сторожем. В это время меня навестил Делейр; я рассказал ему о происшествии и посмеялся вместе с ним над своими военными приготовлениями. Вернувшись в Париж, он захотел в свою очередь позабавить всем этим Дидро, и вот каким образом Гольбахова клика узнала, что я не на шутку решил провести зиму в Эрмитаже. Эта твердость, которой они не ожидали, сбила их с толку; и, еще не придумав какой-нибудь новой выходки, чтобы сделать мне мое убежище неприятным[43], они через посредство Дидро отдалили от меня Делейра; сперва он находил мои меры предосторожности вполне понятными, но в конце концов объявил их несовместимыми с моими принципами и более чем нелепыми. В своих письмах он осыпал меня насмешками, достаточно язвительными, чтобы меня обидеть, если б я был расположен к этому. Но, преисполненный тогда чувств ласковых и нежных и невосприимчивый к чему-либо другому, я не видел в этих ядовитых сарказмах ничего, кроме шутки, и находил их только забавными, тогда как всякий другой нашел бы их оскорбительными.

Бдительностью и заботливым присмотром мне удалось так хорошо уберечь сад, что, несмотря на очень плохой урожай фруктов в том году, сбор оказался втрое больше против

[43] В настоящее время я дивлюсь своей глупости, помешавшей мне заметить, когда я писал эти строки, что досада, с которой гольбаховцы смотрели на мой отъезд в деревню и пребывание там, касалось главным образом старухи Левассер, потому что таким образом ее не было у них под рукой и она не могла руководить ими в их клеветнических выдумках, снабжая их точными указаниями времени и места. Эта мысль, пришедшая мне на ум так поздно, отлично объясняет мне странность их поведения, которое при всяком другом предположении необъяснимо. (*Прим. Руссо.*)

предыдущих лет; правда, я совсем не щадил себя, оберегая его, вплоть до того, что сам сопровождал возы, отправляемые в Шевретту и в Эпине, даже сам таскал корзины; и я вспоминаю, как однажды мы с Терезой тащили такую тяжелую корзину, что, изнемогая под этой ношей, были вынуждены отдыхать каждые десять шагов, а когда донесли, то обливались потом.

Когда дождливая осень обрекла меня на затворничество, мне захотелось вернуться к своим домашним занятиям; это оказалось невозможным. Всюду я видел перед собой только двух очаровательных подруг, их друга, их окружение, тот край, где они жили, и предметы, созданные или украшенные для них моим воображением. Я ни минуты не принадлежал себе, бред не покидал меня. Несмотря на долгие, но тщетные усилия отогнать от себя эти вымыслы, они в конце концов совсем околдовали меня, и я стал уж думать только о том, чтобы внести в них некоторый порядок, последовательность и создать из этого нечто вроде романа{342}.

Самым большим затруднением был для меня стыд за то, что я так определенно и открыто вступаю в противоречие с самим собою. После тех строгих принципов, которые я только что так шумно провозгласил, после всех суровых правил, которые так рьяно проповедовал, после стольких язвительных выпадов против расслабляющих, напоенных любовью и негой книг, можно ли было представить себе что-нибудь более неожиданное и возмутительное, чем то, что я сам, своей собственной рукой, вношу себя в списки авторов подобных книг, столь жестоко мною осужденных. Я сознавал свою непоследовательность во всей ее силе, упрекал себя в ней, краснел за нее, негодовал на себя, но всего этого было недостаточно, чтобы образумить меня. Окончательно покоренный, я вынужден был пойти на риск и решиться бросить вызов молве, оставляя за собой возможность позже обсудить вопрос, показывать кому-нибудь свою работу или нет: тогда я еще не предполагал, что дойду до ее опубликования.

Остановившись на этом решении, я с головой погружаюсь в свои грезы и, по мере того как их обдумываю, нахожу наконец что-то вроде плана, выполнение которого теперь известно. Это было, конечно, лучшим исходом, к какому я мог прийти в своих безумствах: любовь к добру, никогда не покидавшая моего сердца, дала им полезное применение, так что и нравственность могла бы извлечь из них выгоду. Созданные мной сладострастные картины потеряли бы всю свою прелесть, если бы в них отсутствовал нежный колорит невинности. Не устоявшая перед соблазном девушка вызывает жалость; любовь может сделать ее интересной, и она часто ничего не теряет в привлекательности; но кто может вынести без негодования зрелище современных нравов? И что может быть возмутительнее гордости неверной жены, открыто попирающей все свои обязанности, претендующей на благодарность мужа за то, что она оказывает ему милость, не давая себя застать на месте преступления? Совершенных существ нет в природе, и уроки их недоступны нам. Но если молодая женщина, наделенная от рождения сердцем столь же нежным, сколь честным, еще девушкой позволяет любви одержать над собой победу, а в супружестве находит в себе силы в свою очередь победить эту любовь и снова стать добродетельной, – то кто бы ни говорил вам, что вся эта картина в целом непристойна и малопоучительна, – тот лгун и лицемер, не слушайте его.

Кроме этой задачи – изобразить нравы и супружескую честность, – задачи, коренным образом связанной со всем общественным устройством, я втайне поставил себе и другую, имеющую в виду общественный мир и согласие, быть может, более высокую, более значительную, – во всяком случае, в переживаемое нами время. Буря, поднятая «Энциклопедией»{343}, не только не улеглась, но была тогда в самом разгаре. Обе партии, устремившиеся друг на друга с величайшей яростью, больше походили на бешеных волков, в ожесточении терзающих друг друга, чем на христиан и философов, желающих просветить, убедить и вернуть друг друга на путь истины. Той и другой партии недоставало, может быть, только деятельных и пользующихся доверием вождей, чтобы борьба между ними превратилась в граж-

данскую войну; и бог знает, к чему привела бы религиозная гражданская война, в которой жесточайшая нетерпимость была, в сущности, с обеих сторон одинакова. Прирожденный враг всякого духа пристрастия, я откровенно высказывал тем и другим суровые истины, но они не слушали меня. Я прибег к другому средству, в своей простоте считая его превосходным: я думал смягчить их взаимную ненависть, уничтожив их предрассудки, и попытаться показать каждой партии заслуги и добродетели другой, достойные общественного уважения и почета со стороны всех смертных. Эта не особенно благоразумная затея, предполагавшая в людях добросовестность, ввергла меня в ту самую ошибку, за которую я упрекал аббата Сен-Пьера, и имела лишь тот успех, которого следовало ожидать: партии объединились только для того, чтобы общими силами обрушиться на меня. Пока опыт не доказал мне моего безумия, я предавался ему, смею сказать, с усердием, достойным моих побуждений; я рисовал характеры Вольмара и Юлии{344} с восхищением, надеясь, что мне удастся представить их обоих привлекательными и даже более того – заставить любить одного из любви к другому.

Довольный тем, что в общих чертах набросал свой план, я вернулся к созданным раньше подробным ситуациям и построил две первые части «Юлии», законченные и переписанные мной набело в ту же зиму с невыразимым наслаждением, причем я употреблял для этого самую прекрасную бумагу с золотым обрезом, голубой и серебряный песок для просушивания чернил, голубую ленточку для сшивания тетрадей – словом, не находил ничего достаточно изящным и милым для очаровательных девушек, по которым сходил с ума, как второй Пигмалион{345}. Каждый вечер, сидя у горящего камина, я читал и перечитывал эти две части моим домоправительницам. Дочь, не говоря ни слова, рыдала вместе со мной от умиления; мать, не находя здесь никаких галантностей и ничего не понимая, оставалась безучастной и довольствовалась тем, что в минуты молчания твердила: «Это очень красиво, сударь».

Г-жа д’Эпине, беспокоясь, что я живу зимой один среди лесов, в уединенном доме, очень часто присылала справляться обо мне. Никогда еще не получал я от нее таких бесспорных доказательств дружбы ко мне и никогда моя дружба к ней не отвечала на них с такой горячностью. С моей стороны было бы дурно не отметить в числе этих доказательств то, что она прислала мне свой портрет и просила указаний, как ей получить мой, написанный Латуром{346} и выставлявшийся в Салоне{347}. Точно так же не должен я обойти молчанием другое проявление ее внимания; оно покажется смешным, но добавляет еще одну черту к истории моего характера благодаря впечатлению, произведенному им на меня. Однажды, в сильный мороз, открывая присланный ею пакет с несколькими покупками, которые она взялась для меня сделать, я нашел в нем короткую нижнюю юбку из английской фланели; г-жа д’Эпине писала, что носила ее сама и хочет, чтобы я сделал себе из нее жилет. Записка была прелестна, полна ласки и наивности. Эта забота, более чем дружеская, показалась мне такой нежной, словно г-жа д’Эпине сняла с себя одежду, чтобы одеть меня, и я в волнении раз двадцать, плача, поцеловал записку и юбку. Тереза решила, что я помешался. Странно, что из всех знаков дружбы, выказываемых мне г-жой д’Эпине, ни один не трогал меня так, как этот, и даже после нашего разрыва я ни разу не вспомнил его без умиления. Я долго берег ее записочку, и она была бы у меня до сих пор, если б ее не постигла участь других моих писем того времени.

Хотя моя болезнь в ту зиму почти не давала мне передышки и я часто прибегал к помощи зондов, в общем, однако, с самого моего приезда во Францию не было времени, которое я провел бы так отрадно и спокойно. В течение четырех или пяти месяцев, когда дурная погода ограждала меня от неожиданных посетителей, я упивался больше чем когда-либо этой жизнью – независимой, ровной и простой, которую я тем более ценил, чем более ею наслаждался, не имея иного общества, кроме двух моих домоправительниц в реальной

действительности и двух кузин – в воображении. С каждым днем я все больше и больше радовался, что имел благоразумие принять это решение, несмотря на вопли друзей, недовольных тем, что я освободился от их тирании; а когда я узнал о покушении сумасброда{348}, когда Делейр и г-жа д'Эпине сообщили мне в своих письмах о беспокойстве и волнении, охвативших Париж, как я благодарил небо за то, что оно избавило меня от зрелища ужасов и преступлений, которые только питали бы и обостряли желчное расположение духа, вызванное во мне общественными тревогами, тогда как в своем уединении, видя вокруг только радостные и ласковые предметы, сердце мое предавалось одним приятным чувствам. Я с удовольствием отмечаю эти последние мирные минуты, посланные мне судьбою. Весна, последовавшая за этой спокойной зимой, ознаменовалась началом тех несчастий, которые мне остается описать, и в сплетенье их уже не встретится подобного промежутка, когда бы я мог свободно вздохнуть.

Впрочем, мне как будто припоминается, что и в течение этого мирного промежутка, даже в глуши моего уединения, гольбаховцы не совсем оставили меня в покое. Дидро затеял какие-то дрязги, и, если я не ошибаюсь, именно в эту зиму напечатан был его «Побочный сын»{349}, о котором мне скоро придется говорить. По причинам, которые будут объяснены в дальнейшем, у меня осталось очень мало достоверных документов об этой эпохе моей жизни, а те, что сохранились, очень неточны в отношении дат. Дидро, например, никогда не ставил чисел на своих письмах. Г-жа д'Эпине, г-жа д'Удето помечали свои письма только днем недели, и Делейр большей частью поступал, как они. Когда я захотел расположить эти письма по порядку, пришлось ставить в углу даты, за которые я не могу ручаться. Поэтому я не имею возможности с точностью установить начало этих ссор и предпочитаю рассказать ниже в одном месте все, что могу вспомнить о них.

Возвращение весны усилило мой нежный бред, и среди моих любовных восторгов я сочинил для последних частей «Юлии» несколько писем, насыщенных тем упоением, в котором я их написал. Среди других могу указать на письма об Элизиуме и о катании на лодке по озеру;{350} если мне не изменяет память, они находятся в конце четвертой части. Всякий, кто, читая эти два письма, не почувствует, что сердце его смягчается и тает от того же умиления, которое мне их продиктовало, должен закрыть книгу: он не создан для того, чтобы судить в вопросах чувства.

Как раз в это время г-жа д'Удето неожиданно посетила меня второй раз. В отсутствие мужа, капитана кавалерии, и любовника, тоже служившего, она поселилась в Обоне, в долине Монморанси, где сняла довольно красивый домик. Оттуда она и приехала вторично в Эрмитаж. Эту поездку она проделала верхом в мужском костюме. Хоть я не люблю такого рода маскарадов, романтический характер этого пленил меня – и вспыхнула любовь. Так как она была первой и единственной во всей моей жизни, ее последствия сделали ее навсегда для меня памятной и ужасной; да будет мне позволено войти в некоторые подробности.

Графине д'Удето было в ту пору около тридцати лет, и она не была красива; лицо ее портили следы оспы, цвет его был недостаточно нежен; она была близорука, и глаза у нее были немного круглые; но при всем этом она казалась очень молодой, и лицо ее, живое и милое, дышало лаской; у нее был целый лес длинных черных волос, вьющихся от природы и падавших почти до колен; фигура ее отличалась изяществом, а во всех ее движениях была какая-то угловатость и вместе с тем грация. У нее был бесхитростный и приятный ум: веселье, ветреность и наивность счастливо сочетались в нем. Речь ее порой искрилась очаровательными остротами, которых она не выискивала – они вырывались сами собой. Она обладала многими приятными талантами: играла на клавесине, хорошо танцевала, писала недурные стихи. Характер у нее был ангельский: душевная мягкость являлась его основой; он соединял в себе все добродетели, за исключением осторожности и силы. А главное – имея

дело с ней, на нее можно было так твердо полагаться, зная ее неизменную честность, что даже врагам ее не было надобности от нее прятаться. Под врагами я разумею людей или, вернее, женщин, ненавидевших ее; сама же она не умела ненавидеть, и я думаю, что эта общая нам обоим черта много способствовала зарождению моей страсти. В минуты самых дружеских бесед с нею я никогда не слыхал, чтобы она дурно отзывалась об отсутствующих, даже говоря о своей невестке. Она не умела ни утаить перед кем бы то ни было свою мысль, ни скрыть какое-нибудь чувство, и я убежден, что она говорила о своем возлюбленном даже с мужем, как говорила о нем со своими друзьями, знакомыми – положительно со всеми. Наконец – и это неопровержимо доказывает чистоту и искренность ее прекрасного нрава, – хотя она была склонна к самому отчаянному легкомыслию, к самой смешной опрометчивости, и нередко у нее бывали выходки, очень опасные для нее самой, – никогда она не делала ничего оскорбительного для кого бы то ни было.

Ее выдали замуж очень рано и против воли за графа д'Удето, человека с положением, хорошего офицера, но игрока, сутягу, человека нелюбезного; она никогда не любила его. Она нашла в г-не де Сен-Ламбере все достоинства своего мужа, но в сочетании с более приятными качествами: умом, добродетелями и талантами. Если что-нибудь заслуживает прощения в нравах нашего века, так это, конечно, привязанность, очищенная продолжительностью, облагороженная своими проявлениями и проникнутая взаимным уважением.

Она приезжала ко мне, как я предполагаю, отчасти по личному побуждению, но еще больше ради того, чтобы доставить удовольствие де Сен-Ламберу. Он поощрял ее к этому и был прав, полагая, что дружба, зарождавшаяся между нами, сделает общение приятным для всех троих. Она знала, что мне известна их связь, и, имея возможность говорить со мной о нем без стесненья, – естественно, находила удовольствие в моем обществе.

Она приехала; я увидел ее; я был опьянен беспредметной любовью, это опьянение ослепило меня; предмет любви был найден в ней, я увидел свою Юлию в г-же д'Удето и скоро уже ничего не видел, кроме г-жи д'Удето, но облеченной всеми совершенствами, какими я в мечтах украшал кумир своего сердца. И, на мою погибель, она завела речь о Сен-Ламбере, говоря о нем, как страстная любовница. Заразительная сила любви! Слушая ее, чувствуя ее близость, я был охвачен восхитительным трепетом, какого никогда не испытывал возле другой. Она говорила, и я был растроган. Мне казалось, что я интересуюсь только ее чувствами, но я сам заражался ими: я пил большими глотками из отравленной чаши, ощущая пока одну лишь ее сладость. Наконец, незаметно для меня и незаметно для нее самой, она внушила мне к себе все чувства, какие выражала по отношению к своему возлюбленному. Увы! Слишком поздно, слишком мучительно было загораться страстью – столь же бурной, сколь и несчастной, – к женщине, сердце которой было полно любви к другому!

Несмотря на необычайные душевные движения, которые я испытывал возле нее, я не сразу заметил, что со мной произошло; только после ее отъезда, когда я захотел обратить свои мысли к Юлии, я был поражен тем, что мог теперь думать только о г-же д'Удето. Тут глаза мои раскрылись, и я застонал от боли, поняв свое несчастье, – но я еще не предвидел его последствий.

Я долго колебался, раздумывая, как мне вести себя с ней, точно истинная любовь оставляет место рассудку и размышлениям. Я еще не принял никакого решения, как она приехала еще раз и захватила меня врасплох. На этот раз я уже знал, что со мною. Стыд, спутник зла, сделал меня безмолвным, дрожащим перед ней: я не смел произнести ни слова, не смел поднять на нее глаза; меня охватило невыразимое волнение, и она это не могла не заметить. Я решил не скрывать своего состояния, но предоставить ей самой угадать причину: это значило сказать ей все достаточно ясно.

Будь я молод и привлекателен и окажись г-жа д'Удето слаба, я осудил бы ее; но этого не было; я могу лишь одобрять ее и восхищаться ею. Путь, избранный ею, был путем вели-

кодушия и благоразумия. Она не могла резко отдалиться от меня, не объяснив причины Сен-Ламберу, желавшему, чтобы она меня посещала: это значило бы вызвать между двумя друзьями разрыв и, быть может, столкновение, которого она хотела избежать. У нее ко мне было уважение и благожелательность. Она сжалилась над моим безумием, не поощряя его; она желала и старалась излечить меня от него. Ей очень хотелось сохранить для своего возлюбленного и для самой себя друга, которого она высоко ценила; ни о чем не говорила она с таким удовольствием, как о том интимном и милом обществе, которое мы могли бы составить втроем, когда я стану благоразумным; она не всегда ограничивалась дружескими увещаниями и не скупилась при случае на более резкие упреки, вполне мной заслуженные.

Сам я скупился на них еще меньше: оставшись один, я пришел в себя; оттого, что высказался, я стал спокойней; безответная любовь, известная той, которая внушила ее, переносится легче. Я с такой силой упрекал себя за свою любовь, что должен был бы излечиться, если б это было возможно. Какие веские основания призывал я себе на помощь, чтобы задушить ее! Мой образ жизни, мои чувства, мои принципы, стыд, измена, предательство, злоупотребление дружеским доверием, нелепость в моем возрасте пылать сумасбродной страстью к женщине, сердце которой уже занято, которая не сможет ни ответить взаимностью, ни оставить мне какую-нибудь надежду, – к тому же страстью, не только не способной что-нибудь выиграть от постоянства, но становившейся с каждым днем все более мучительной.

Кто поверит, что это последнее соображение, которое должно было прибавить веса всем остальным, как раз и помогло мне обойти их? «Зачем мне упрекать себя за безумие, вредное только мне одному? – думал я. – Разве я молодой кавалер, опасный для г-жи д'Удето? Судя по моим угрызениям совести, я воображаю, будто мои изящные манеры, наружность, мой наряд могут обольстить ее? Эх, бедный Жан-Жак, люби сколько вздумается со спокойной совестью и не бойся, что твои вздохи повредят Сен-Ламберу!»

Уже известно, что я никогда не был самонадеян, даже в молодости. Такой образ мыслей соответствовал моему умственному складу, льстил моей страсти; этого было достаточно, чтоб я отдался ей безраздельно и даже стал смеяться над неуместными угрызениями совести, вызванными, как казалось мне, скорее тщеславием, нежели благоразумием.

Поучительный пример для честных душ: порок никогда не нападает открыто, а находит способ захватить врасплох, всегда прикрываясь каким-нибудь софизмом и нередко какой-нибудь добродетелью.

Виновный без угрызений совести, я скоро стал виновным без меры; и пусть взглянут, бога ради, на то, как страсть моя следовала моей натуре, чтобы в конце концов увлечь меня в пропасть. Сначала она приняла вид смиренный, чтобы успокоить меня, а для того, чтобы сделать предприимчивым, довела это смирение до подозрительности. Г-жа д'Удето, не переставая напоминать мне о моем долге, о благоразумии, ни на одну минуту не поощряя моего безумия, относилась ко мне в остальном с величайшей добротой и взяла в обращении со мной тон самой нежной дружбы. Дружбы было бы для меня довольно, – утверждаю это, – если б я считал ее искренней; но, находя ее слишком пылкой, чтобы быть подлинной, я почему-то вбил себе в голову, что любовь, так мало подходящая к моему возрасту, моему поведению, унизила меня в глазах г-жи д'Удето; что молодая ветреница хочет только посмеяться надо мной и над моими запоздалыми нежностями; что она поверила мою тайну Сен-Ламберу; что он, негодуя на мое вероломство, принял участие в ее замыслах, и оба действуют в согласии, чтобы вскружить мне голову и высмеять меня. Такой вздор, заставивший меня сумасбродствовать в двадцать шесть лет, когда я встретился с г-жой де Ларнаж, которой совсем не знал, был бы мне, пожалуй, простителен и в сорок пять лет в отношениях с г-жой д'Удето, если бы мне не было известно, что она и ее любовник слишком порядочные люди, чтобы позволить себе столь жестокую забаву.

Г-жа д'Удето продолжала посещать меня, и я немедленно отдавал ей визиты. Она любила гулять, как и я; мы совершали продолжительные прогулки в очаровательной местности. Счастливый своей любовью и возможностью говорить о ней, я был бы в самом сладостном положении, если бы мое сумасбродство не нарушало всей его прелести. Она сначала совершенно не понимала моего глупого отношения к ее ласкам, но сердце мое никогда не умеет скрывать того, что в нем происходит, и она недолго оставалась в неведении относительно моих подозрений. Она попыталась обратить это в шутку, но уловка не удалась: припадки бешенства были ее следствием, и она переменила тон. Ее сострадательная нежность была неодолима; она делала мне упреки, проникавшие мне в душу; она проявила по поводу моих несправедливых опасений беспокойство, которым я злоупотребил, потребовав доказательств, что она не смеется надо мной. Она поняла, что не было иного средства успокоить меня. Я сделался настойчивым; положение было щекотливое. Удивительно, беспримерно, быть может, что женщина, уже вынужденная идти на уступки, так дешево отделалась. Она не отказала мне ни в чем, на что могла пойти самая нежная дружба. Она не уступила мне ничего, что могло бы сделать ее неверной, и я испытал унижение, убедившись, что пламя, разгоравшееся во мне от малейшего проявления ее благосклонности, не зажигало в ней ни одной искры.

Я где-то сказал, что чувственности не надо уступать ничего{351}, если хочешь отказать ей в чем-нибудь. Чтобы понять, до какой степени это правило оказалось неверным по отношению к г-же д'Удето и насколько она была права, полагаясь на самое себя, нужно было бы вникнуть в подробности наших долгих и частых бесед с глазу на глаз и проследить их во всей их пылкости за четыре месяца, проведенные нами вместе, в близости, почти беспримерной для двух друзей разного пола, придерживающихся известных границ, которых мы ни разу не переступили. О, как поздно узнал я настоящую любовь и как дорого заплатили мои чувства и мое сердце за утраченное время! И каковы же должны быть восторги, испытываемые подле любимого существа, которое нас любит, если даже неразделенная любовь приносит блаженство!

Но я не прав, говоря «неразделенная любовь»: моя любовь в известном смысле разделялась; она была одинакова с обеих сторон, хотя и не взаимна. Мы оба были опьянены любовью: она – к своему возлюбленному, а я – к ней; наши вздохи, наши восхитительные слезы сливались; нежные поверенные друг друга, наши чувства были в таком соответствии, что им было бы невозможно в чем-нибудь не смешаться. И тем не менее среди этого опасного опьянения она ни разу не забылась ни на минуту, а я утверждаю, клянусь, что если, увлеченный своим чувством, иногда и пытался поколебать ее верность, то никогда по-настоящему этого не желал. Самая сила моей страсти сдерживала мои порывы. Необходимость жертвы возвышала мою душу. Ореол всех добродетелей украшал в моих глазах кумир моего сердца; осквернить ее божественный облик – значило уничтожить его. Я мог бы совершить преступление; сто раз оно было совершено в моем сердце; но осквернить мою Софи? Да разве это возможно? Нет, нет, – я сто раз говорил ей самой, что если б я был властен утолить свое желание, если б по собственной своей воле она подчинилась мне, то, за исключением нескольких кратких минут забытья, я отказался бы быть счастливым такой ценой. Я слишком любил ее, чтобы желать обладанья.

От Эрмитажа до Обона около мили; во время моих частых поездок мне случалось ночевать там; однажды вечером, после ужина мы вдвоем пошли в сад прогуляться при чудном лунном свете. За садом рос довольно большой лесок, и мы прошли по нему к красивой купе деревьев, украшенной водопадом, мысль о котором подал я, а она велела ее осуществить. Бессмертное воспоминание невинности и наслажденья! В этой роще, сидя с ней на дерновой скамье, под цветущей акацией, я нашел, чтобы выразить движения своего сердца, поистине достойный их язык. Это было в первый и единственный раз в моей жизни, но я был велик,

если можно назвать великим все то, что любовь, самая нежная и самая пламенная, может вызвать милого и пленительного в сердце мужчины. Сколько упоительных слез пролил я, припав к ее коленям! Сколько слез заставил ее пролить против ее воли! Наконец в невольном восторге она воскликнула: «Нет, ни один человек не был так достоин любви и ни один влюбленный не любил так, как вы! Но ваш друг Сен-Ламбер слушает вас, и мое сердце не может любить дважды». Я умолк, вздыхая, я поцеловал ее. Что за поцелуй! Но и только. Уже шесть месяцев она жила одна, то есть вдали от любовника и от мужа; три месяца я видел ее почти ежедневно, и любовь всегда была третьей между нами. Мы только что ужинали вдвоем, мы были одни в роще, при лунном свете, и после двухчасовой беседы, самой пылкой и самой нежной, она вышла ночью из этой рощи и из объятий своего друга такой же нетронутой, такой же чистой телом и душой, какой пришла. Читатель, взвесьте все эти обстоятельства, я больше ничего не прибавлю!

И пусть не воображают, что и тут моя чувственность оставалась в покое, как возле Терезы или маменьки. Я уже сказал, что на сей раз это была любовь – любовь во всей своей силе и во всем своем исступлении. Я не буду описывать ни волнений, ни содроганий, ни трепета, ни судорожных порывов, ни замираний сердца, постоянно тогда испытываемых мною: об этом можно судить уже по тому впечатлению, которое производил на меня один лишь ее образ. Я уже сказал, что от Эрмитажа до Обона было довольно далеко. Я ходил туда через очаровательные холмы Андийи. Я шел, мечтая о той, которую сейчас увижу, о ее ласковой встрече, об ожидавшем меня поцелуе. Один этот поцелуй, этот роковой поцелуй, еще прежде чем она дарила мне его, воспламенял мою кровь до такой степени, что у меня мутилось в голове, темнело в глазах, мои дрожащие колени отказывались поддерживать меня; я бывал вынужден остановиться, сесть; весь мой организм приходил в неописуемое расстройство; я был близок к обмороку. Сознавая опасность, я старался, уходя из дому, развлечься и думать о другом. Но не успевал я пройти и двадцати шагов, как воспоминания и порождаемые ими явления возвращались, чтобы накинуться на меня, не давая мне возможности освободиться, и как я ни старался, мне, кажется, ни разу не удалось проделать в одиночестве этот путь безнаказанно. Я приходил в Обон слабый, изнуренный, в изнеможении, едва держась на ногах. Но стоило мне увидеть ее – и все опять было хорошо; я чувствовал возле нее только бремя неисчерпаемой, но всегда бесполезной силы. На моем пути, недалеко от Обона, был живописный горный уступ под названием Олимп, куда мы иногда ходили, каждый со своей стороны.

Я являлся первый, – мне всегда приходилось ждать ее. И как дорого стоило мне это ожиданье! Чтобы развлечься, я пробовал писать ей записки, и то, что я писал в них карандашом, я мог бы начертать своей собственной кровью; я никогда не мог дописать до конца ни одной так, чтобы ее можно было прочесть. Когда г-жа д'Удето находила одну из этих записок в нише – нашем условленном тайнике, – она могла только убедиться, в каком поистине отчаянном состоянии я писал ей. Это состояние, и особенно его длительность, три месяца непрерывного возбуждения и сдержанности, довели меня до такого изнурения, что я не мог оправиться от него в течение нескольких лет; и в конечном счете оно было причиной грыжи, которую я унесу или которая сама унесет меня в могилу. Такова история единственного любовного наслаждения человека с темпераментом, быть может, самым пламенным, но в то же время самым робким, какой только создавала природа. Таковы были последние счастливые дни, отсчитанные мне на земле. С этого времени моя жизнь – почти непрерывная цепь несчастий.

Из всей моей жизни видно, что мое сердце, прозрачное как хрусталь, ни на минуту не могло скрыть сколько-нибудь сильного чувства, овладевшего им. Пусть же решают, мог ли я долго таить свою любовь к г-же д'Удето. Наша близость бросалась всем в глаза, мы не делали из нее никакого секрета. Она была не такова, чтобы нуждаться в этом. Г-жа д'Удето

питала ко мне самую нежную дружбу и нисколько не упрекала себя за это; я относился к ней с величайшим уважением, лучше всех зная, как она достойна этого, и нам казалось, что мы в безопасности от пересудов; но так как она была откровенна, рассеянна, ветрена, а я – правдив, неловок, горд, нетерпелив, вспыльчив, мы больше подавали повода к толкам, чем если бы действительно были виновны. Мы оба бывали в Шевретте, часто встречались там, иногда заранее условившись о встрече. Там мы проводили время, как обычно: гуляли каждый день вдвоем, беседовали о любви того и другого, о своем долге, о нашем друге, о своих невинных замыслах; и мы всегда прогуливались в парке против апартаментов г-жи д'Эпине, под ее окнами, откуда она непрестанно наблюдала за нами, думая, что мы бросаем ей вызов, и глаза ее насыщали ей сердце яростью и негодованием.

Все женщины владеют искусством скрывать свой гнев, особенно когда он силен; г-жа д'Эпине, вспыльчивая, но рассудительная, обладала этим искусством в высшей степени. Она притворилась, будто ничего не замечает, ничего не подозревает; она удвоила ко мне внимание, заботливость, чуть не кокетство, однако с невесткой обращалась подчеркнуто неучтиво, выказывала презрение к ней и, казалось, хотела приобщить к этому и меня. Легко понять, что это ей не удалось; но для меня это было пыткой. Разрываемый противоречивыми чувствами, я в одно и то же время был тронут ее вниманием и с трудом сдерживал свой гнев, видя, как она неуважительно относится к г-же д'Удето. Ангельская доброта последней заставляла ее переносить все, не жалуясь и даже не сердясь. К тому же она часто бывала так рассеянна и всегда так мало чувствительна к подобным вещам, что в большинстве случаев ничего не замечала.

Я был поглощен своей страстью, не видел ничего, кроме Софи (это было одно из имен г-жи д'Удето), и даже не заметил того, что стал посмешищем всего дома и гостей. В числе их оказался барон Гольбах, насколько мне известно, до тех пор никогда не бывавший в Шевретте. Будь я тогда таким же недоверчивым, каким стал впоследствии, у меня явилось бы сильное подозрение, что г-жа д'Эпине нарочно пригласила его, чтобы доставить ему забавное зрелище влюбленного гражданина. Но тогда я был так глуп, что не видел того, что всем бросалось в глаза. Однако вся моя глупость не помешала мне заметить, что у барона более довольный, более веселый вид, чем обычно. Вместо того чтобы угрюмо смотреть на меня, по своему обыкновению, он бросал мне насмешливые намеки, которых я совсем не понимал. Я широко раскрывал глаза, ничего не отвечая; г-жа д'Эпине хваталась за бока от хохота; я не мог взять в толк, какая муха их укусила. Так как пока не было ничего, переходящего границы шутки, самое лучшее, что я мог сделать, если б что-нибудь заметил, – это отвечать в том же духе. Но надо сказать, что сквозь насмешливое веселье барона в глазах его просвечивало злорадство, которое, может быть, встревожило бы меня, если бы в то время я заметил это так же ясно, как вспомнил впоследствии.

Однажды, навестив г-жу д'Удето в Обоне после одной из поездок в Париж, я нашел ее печальной и заметил, что она плакала. Я принужден был сдержать себя, так как тут была г-жа де Бленвиль, сестра ее мужа; но как только я улучил минуту, я выразил ей свое беспокойство. «Ах, – сказала она, вздыхая, – я очень боюсь, как бы ваше безумие не стоило мне покоя всей моей жизни. Сен-Ламбер осведомлен – и в дурную сторону. Он не обвиняет меня, но недоволен и, что еще хуже, отчасти скрывает это от меня. К счастью, я ничего не утаила от него в моих отношениях с вами, завязавшихся при его поддержке. Мои письма были полны вами, как мое сердце; я скрыла от него только вашу безрассудную любовь, от которой надеялась вас исцелить; но я вижу, что он хоть и не упоминает о ней, все же ставит мне ее в вину. На нас донесли, меня оклеветали, но не в том дело! Или порвем совсем, или будьте таким, каким вы должны быть. Я больше не хочу ничего скрывать от своего возлюбленного».

Тут я в первый раз почувствовал стыд, унизительное сознание своей вины перед молодой женщиной, чьи справедливые упреки выслушал и чьим руководителем должен был

быть. Этого возмущения самим собой, быть может, было бы достаточно, чтобы преодолеть мою слабость, но нежное сострадание к жертве моего безрассудства снова размягчило мое сердце. Увы! Могло ли оно в эту минуту стать твердым, когда оно было переполнено заливавшими его слезами? Однако умиление вскоре перешло в гнев против гнусных доносчиков, видевших только дурное в чувстве преступном, но невольном, и не замечавших, даже не представлявших себе искренней честности сердца, искупавшей его. Недолго оставались мы в неведении относительно того, чьей рукой был нанесен удар.

Мы оба знали, что г-жа д'Эпине в переписке с Сен-Ламбером. Это была не первая буря, поднятая ею против г-жи д'Удето; она делала тысячи попыток оторвать его от возлюбленной, причем иные из них были так успешны, что заставляли дрожать и страшиться последствий. Кроме того, Гримм, кажется, сопровождавший де Кастри в армию, был в Вестфалии{352}, как и Сен-Ламбер. Они виделись иногда. Гримм несколько раз пытался добиться благосклонности г-жи д'Удето, но безуспешно. Очень обиженный, он совсем перестал встречаться с ней. Можно представить себе, с каким хладнокровием он, при своей пресловутой скромности, отнесся к тому, что она, по-видимому, оказывает предпочтение человеку значительно старше его и о ком он, Гримм, с тех пор как стал вхож к великим мира сего, всегда говорил покровительственным тоном.

Мои подозрения относительно г-жи д'Эпине превратились в уверенность, когда я узнал о том, что произошло у меня дома. Когда я бывал в Шевретте, Тереза часто приходила туда, либо для передачи мне писем, либо для ухода за мной, необходимого при моих немощах. Г-жа д'Эпине спросила ее, не переписываюсь ли я с г-жой д'Удето. Тереза призналась в этом, и г-жа д'Эпине стала уговаривать ее передавать ей для прочтения письма г-жи д'Удето, уверяя, что сумеет запечатывать их так ловко, что ничего не будет заметно. Тереза даже вида не подала, что это предложение возмущает ее, и ничего не сказала мне, а только стала лучше прятать письма, которые мне приносила, – очень уместная предосторожность, потому что г-жа д'Эпине приказала следить за ее приходом и, ожидая ее на пути, несколько раз доходила в своей дерзости до того, что сама шарила у нее за корсажем. Больше того! Однажды, напросившись вместе с г-ном де Маржанси на обед в Эрмитаж (в первый раз, с тех пор как я там поселился), она воспользовалась временем, когда я гулял с Маржанси, вошла в мой кабинет вместе с г-жой Левассер и дочерью и стала настаивать, чтобы она показала ей письма г-жи д'Удето. Если бы мать знала, где я прячу эти письма, они были бы выданы; к счастью, только дочь знала об этом и заявила, что я ни одного не сохранил. Ложь, разумеется, – но полная честности, преданности и великодушия, тогда как правда была бы не чем иным, как предательством! Г-жа д'Эпине, видя, что уговорить Терезу ей не удастся, попробовала возбудить в ней ревность, упрекая ее за снисходительность и ослепленье. «Как можете вы не видеть, что между ними преступная связь? – сказала она ей. – Если, несмотря на все, что бросается вам в глаза, вы нуждаетесь еще в доказательствах, постарайтесь получить их; вы говорите, что он уничтожает письма г-жи д'Удето, как только прочтет их; ну, так собирайте аккуратно клочки и давайте их мне: я берусь складывать их». Вот какие наставления давал мой друг близкой мне женщине.

У Терезы хватило такта довольно долго молчать обо всех этих происках, но, видя мое замешательство, она сочла себя обязанной все мне сказать, для того чтоб я знал, с кем имею дело, и принял меры, ограждая себя от готовившихся против меня козней. Мое негодование, моя ярость не поддаются описанию. Вместо того чтобы скрыть свою осведомленность от г-жи д'Эпине и по ее примеру прибегнуть к хитрости, я дал волю своему порывистому нраву и с обычной своей опрометчивостью открыто разразился гневом. Можно судить о моей неосторожности по следующим письмам, достаточно показывающим образ действий обеих сторон.

Записка г-жи д’Эпине (связка А, № 44):

«Что это вас не видно, дорогой друг? Я беспокоюсь о вас. Ведь вы обещали мне как можно чаще приходить сюда из Эрмитажа. Я на это полагалась, а между тем вы не были уже целую неделю. Если б мне не сказали, что вы в добром здоровье, я подумала бы, что вы хвораете. Ждала вас третьего дня и вчера, а вы так и не появились. Боже мой! Что же с вами? У вас нет никаких дел и огорчений, иначе – льщу себя этой надеждой – вы тотчас же пришли бы поделиться ими со мной. Значит, вы больны! Успокойте меня поскорее, прошу вас. Прощайте, дорогой друг; и пусть это «прощайте» принесет мне от вас «добрый день».

Ответ:

Среда, утром

«*Я* еще ничего не могу сказать вам. Жду, когда буду лучше осведомлен, и это случится рано или поздно. Пока будьте уверены, что обвиненная невинность найдет пламенного защитника и клеветники раскаются, кто бы они ни были».

Вторая записка от той же (связка А, № 45):

«Знаете, ваше письмо пугает меня! Что вы хотите им сказать? Я перечитала его раз тридцать. Право, ничего не понимаю. Вижу только, что вы встревожены, обеспокоены и ждете, когда это пройдет, чтобы рассказать мне все. Мой дорогой друг, разве такой у нас был уговор? Что же сталось с нашей дружбой, с нашим доверием? И как я потеряла их? На меня или за меня сердитесь вы? Как бы там ни было, приходите сегодня же вечером, умоляю вас; вспомните, что еще недели не прошло, как вы обещали мне ничего не таить в сердце и сейчас же говорить мне все. Мой дорогой друг, я живу этим доверием… Только что еще раз перечитала ваше письмо; понимаю в нем не больше прежнего, но оно приводит меня в трепет. Мне кажется, вы страшно взволнованы. Я хотела бы успокоить вас, но, не ведая причин вашего волнения, не знаю, что вам сказать, кроме того, что я буду так же несчастна, как вы, пока не увижу вас. Если вы не придете сегодня вечером в шесть часов, я отправлюсь завтра в Эрмитаж, какова бы ни была погода и как бы я себя ни чувствовала, потому что не могу больше выносить такого беспокойства. Прощайте, мой дорогой, добрый друг. На всякий случай решаюсь вам сказать, не зная, нужно это вам или нет, чтобы вы поберегли себя и постарались не давать тревоге разрастаться в одиночестве. Муха превращается в чудовище, я часто это испытывала».

Ответ:

Среда, вечером

«Не могу ни навестить вас, ни принять вас у себя, пока длится моя тревога. Доверия, о котором вы пишете, уже нет, и вам будет нелегко восстановить его. Я теперь вижу в вашей настойчивости только желание извлечь из признаний другого какую-нибудь выгоду, которая соответствовала бы вашим намерениям, и сердце мое, всегда готовое излиться в сердце, раскрывшееся для него, замкнулось перед хитростью и лукавством. Узнаю обычную вашу ловкость в том, что вы находите мою записку непонятной. Неужели вы считаете меня таким простаком, чтобы я мог поверить, что вы ее не поняли? Нет, но я сумею победить ваши уловки чистосердечием. Объясняюсь ясней, чтоб вы меня поняли еще меньше.

Двое возлюбленных, тесно друг с другом связанные и достойные взаимной любви, дороги мне: я, конечно, уверен, что вы не поймете, о ком я говорю, если я не назову их вам. Я

предполагаю, что делались попытки их разъединить и мной воспользовались, чтобы вызвать ревность в одном из них. Выбор не очень ловок, но он показался удачным злобе; и в этой злобе я подозреваю вас. Надеюсь, что дело становится ясней.

Итак, та женщина, которую я больше всего уважаю, якобы совершила с моего ведома гнусность – разделила свое сердце и самое себя между двумя любовниками, а я, оказывается, был одним из этих подлецов? Если б я знал, что вы хоть одну минуту могли думать так о ней и обо мне, я возненавидел бы вас до самой смерти. Но я обвиняю вас не в том, что вы это думали, а в том, что вы это сказали. Не понимаю только, кому из троих хотели вы в этом случае повредить, но если вы дорожите покоем, – страшитесь несчастья, которое принесла бы удача вашего замысла. Я не скрывал ни от вас, ни от нее, как много дурного я вижу в известного рода связях; но я хочу, чтобы они кончались способом, столь же благородным, как и их источник, и чтобы незаконная любовь превратилась в вечную дружбу. Неужели я, никогда никому не сделавший зла, потерплю, чтобы его причинили моим друзьям? Нет, я никогда бы вам этого не простил; я стал бы вашим непримиримым врагом. Только ваши тайны я бы пощадил, так как никогда не буду человеком бесчестным.

Полагаю, что мое недоумение продлится не очень долго. Я не замедлю узнать, ошибся ли я. Тогда мне придется, быть может, загладить большую вину, и ничего в жизни я не сделаю с таким легким сердцем. Но знаете ли вы, как искуплю я свои ошибки в течение недолгого времени, которое мне еще осталось провести возле вас? Я сделаю то, чего не сделает никто, кроме меня, – откровенно скажу вам все, что о вас думают в свете и какие изъяны в своей репутации вам нужно устранить. Несмотря на мнимых друзей, вас окружающих, после моего отъезда можете проститься с правдой: вы уж не найдете никого, кто бы сказал ее вам».

Третья записка от той же (связка А, № 46):

«Я не поняла вашего утреннего письма; я сказала вам это, потому что это правда. Сегодняшнее вечернее понимаю; не опасайтесь, чтобы я стала когда-нибудь отвечать на него: я постараюсь поскорее забыть его; мне вас жаль, но я не могу отделаться от горечи, которым оно наполняет мою душу. Как! Я прибегала к хитрости, к лукавству с вами? Вы обвиняете меня в самой последней низости? Прощайте, я жалею, что вы имеете… Прощайте, я сама не знаю, что говорю… Прощайте; постараюсь как можно скорее простить вас. Приходите, когда пожелаете; вы будете приняты лучше, чем заслужили своими подозрениями. Только избавьте себя от забот о моей репутации. Какое мне дело до того, что обо мне говорят. Мое поведение хорошо, и мне этого довольно. Между прочим, я совсем не знаю, что произошло с двумя лицами, столь же дорогими мне, как и вам».

Последнее письмо вывело меня из страшного затруднения, но повергло в другое, ничуть не меньшее. Хотя обмен этими письмами происходил в течение одного дня с чрезвычайной быстротой, однако этого промежутка было достаточно, чтобы мои приступы ярости поутихли и я осознал всю чудовищную неосторожность своих действий. Г-жа д’Удето больше всего настаивала на том, чтобы я сидел смирно, предоставив ей одной найти выход из создавшегося положения и устранить, особенно в данную минуту, возможность разрыва и огласки; я же самыми открытыми и самыми ужасными оскорблениями довел дело до того, что вызвал бешеную злобу в сердце женщины, и без того слишком склонной к ненависти. Я, понятно, должен был ожидать от нее лишь такого гордого, высокомерного и презрительного ответа, после которого мне оставалось только покинуть ее дом, если я не хотел признать себя человеком недостойным. К счастью, еще более ловкая, чем я был вспыльчив, она характером своего ответа избавила меня от такой крайности. Но нужно было или уезжать, или немед-

ленно идти к ней; иного выбора не было. Я решился на последнее, очень затрудняясь, как держать себя при неизбежном объяснении. Как мне уладить дело, не компрометируя ни г-жи д'Удето, ни Терезы? Горе той, которую я назвал бы! Жестокая и опытная интриганка вечно преследовала бы ее беспощадной местью. С целью предупредить это несчастье я нарочно в своих письмах говорил лишь о подозрениях, чтобы не быть вынужденным приводить доказательства. Правда, это делало мою несдержанность еще более непростительной, поскольку одни только подозрения не давали мне права обращаться с женщиной – и особенно с другом – так, как я обращался с г-жой д'Эпине. Но здесь-то и возникала великая и благородная обязанность, достойно мною выполненная, – обязанность искупить свои тайные ошибки и слабости, приняв на себя ответственность за более серьезные поступки, хотя я не был на них способен и никогда их не совершал.

Мне не пришлось отражать нападение, которого я опасался, – я отделался страхом. При моем появлении г-жа д'Эпине, вся в слезах, кинулась мне на шею. Такой неожиданный прием, да еще со стороны старого друга, чрезвычайно меня растрогал, и я тоже расплакался. Я сказал ей несколько слов, не имевших особенного смысла, она тоже сказала несколько слов, в которых его было еще меньше, и все этим кончилось. Подали ужин, мы пошли к столу; я решил, что объяснение отсрочено, но обязательно произойдет после ужина, а потому вид у меня был жалкий. Я бываю так подавлен малейшей тревогой, что не могу скрыть ее от самых непроницательных взглядов. Мое смущение должно было придать ей смелости; однако она не хотела действовать наудачу, и после ужина объяснений было не больше, чем до него. Их не было и на следующий день; мы провели его с глазу на глаз, но говорили мало и только о предметах безразличных; лишь иногда я учтивыми фразами старался показать, что хотя еще ничего не могу сообщить относительно своих подозрений, но уверяю ее с полной правдивостью, что, если они окажутся необоснованными, вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы загладить такую несправедливость. Она не проявила ни малейшего желания точно узнать, каковы эти подозрения, почему они у меня возникли, и все наше примирение свелось к объятию при первой встрече. Так как обиженной была только она, по крайней мере по форме, я подумал, что не мне искать разъяснений, если она не ищет их, и я ушел как пришел. В дальнейшем мы поддерживали прежние отношения; я скоро почти совсем забыл об этой ссоре и по глупости решил, что она тоже забыла о ней, ибо она ничем не показывала, что помнит ее.

Как будет видно дальше, это огорчение, навлеченное на меня моей слабостью, было не единственным: у меня были и другие, не менее чувствительные, в которых я совсем не был виновен, и единственной причиной их было желание вырвать меня из моего уединения[44], не давая мне там покоя. Такого рода попытки исходили от Дидро и гольбаховцев. Со времени моего поселения в Эрмитаже Дидро не переставал изводить меня то сам, то через Делейра; скоро я увидел по насмешкам Делейра над моими прогулками в рощах, с каким удовольствием они перерядили отшельника во влюбленного пастушка. Но в моих схватках с Дидро речь шла не об этом: они имели более важные причины. После опубликования «Побочного сына» он прислал мне экземпляр этой книги, и я прочел ее с тем интересом и вниманием, с каким относишься к произведениям друга. Читая нечто вроде поэтики в форме диалога, приложенной к пьесе, я был удивлен и даже немного опечален, увидев среди многих неучтивых, но сдержанных выпадов против отшельников следующее суровое и резкое суждение, произнесенное без всяких оговорок: «Только злой любит уединение». Это суждение неясно и, мне кажется, может быть понято в двух смыслах: один из них – очень верный, другой –

[44] Вернее, вырвать из него старуху, в которой они нуждались для устройства заговора. Удивительно, как за все время этой длительной бури моя глупая доверчивость мешала мне понять, что именно ее, а не меня хотят снова видеть в Париже. (*Прим. Руссо*.)

очень ложный; ведь невозможно, чтобы человек, любящий одиночество и желающий быть одиноким, мог и желал бы кому-нибудь вредить, – а следовательно, его нельзя считать злым. Суждение это само по себе требовало пояснения, тем более со стороны автора, у которого, в то время как он его опубликовал, был друг, удалившийся в уединение. Мне казалось непристойным и неучтивым, что, публикуя это суждение, он забыл этого одинокого друга, а если вспомнил о нем, то не сделал, хотя бы в общей форме, достойного и справедливого исключения – не только ради этого самого друга, но и ради других почтенных мудрецов, во все времена искавших тишины и покоя в уединении, и которых в первый раз, с тех пор как существует мир, писатель осмеливался одним росчерком пера всех без различия превратить в злодеев.

Я нежно любил Дидро, искренне уважал его и с полным доверием рассчитывал на те же чувства с его стороны. Но выведенный из терпения неутомимым упорством, с каким он вечно нападал на мои вкусы, склонности, образ жизни, на все, что касалось только одного меня; возмущенный тем, что человек моложе меня хочет во что бы то ни стало руководить мной, как ребенком; задетый легкостью, с какой он давал обещания, и небрежностью, с какой он их исполнял; наскучив столькими назначенными им, но не состоявшимися по его вине свиданиями и дерзостью, с какою он вновь и вновь назначал их, чтобы опять не прийти; раздраженный тщетными ожиданиями его по три-четыре раза в месяц, в дни, установленные им самим, и обедами в одиночестве по вечерам, после того как я ходил к нему навстречу в Сен-Дени и ждал его весь день, – я чувствовал, что сердце мое переполнено этими многократными обидами. Но последняя показалась мне более важной и больше уязвила меня, чем все остальные. Я написал ему, сетуя на него, но с такой мягкостью и нежностью, что вся бумага моя была залита слезами; и письмо мое было так трогательно, что должно было вызвать слезы и у него. И что же он ответил мне! Вот его письмо от слова до слова (связка А, № 33):

«Я очень рад, что мое произведение вам понравилось и растрогало вас. Вы не разделяете моего мнения об отшельниках. Говорите о них сколько хотите хорошего, но вы будете единственным из них, о ком я буду думать хорошо; да и то еще много нужно было бы тут сказать, если б с вами можно было говорить, не раздражая вас. Женщина восьмидесяти лет! и прочее. Мне передали одну фразу из письма сына г-жи д'Эпине, – эта фраза должна была очень вас огорчить, или же я плохо знаю глубину вашей души».

Надо объяснить последние строки этого письма.

В начале моего пребывания в Эрмитаже казалось, что г-же Левассер там не нравится и она находит дом слишком уединенным. Когда мне были переданы ее разговоры по этому поводу, я предложил отправить ее обратно в Париж, если ей там больше нравится, обещав, что я буду платить за ее помещение и заботиться о ней так же, как если б она жила с нами. Она отвергла мое предложение, уверяя, что в Эрмитаже ей очень хорошо, что деревенский воздух ей полезен; и было видно, что это правда, потому что она там, можно сказать, помолодела и чувствовала себя гораздо лучше, чем в Париже. Тереза уверяла меня даже, что в глубине души ее мать была бы очень недовольна, если бы мы покинули Эрмитаж, который действительно был восхитительным уголком; к тому же она очень любит возиться в саду и в огороде, отданных в ее ведение, а говорит она то, что ей велено говорить, чтобы побудить меня вернуться в Париж.

Когда эта попытка не удалась, они попробовали задеть мою совестливость, чтобы добиться того, чего не добились любезностью, и объявили преступлением, что я держу эту старую женщину в деревне, вдали от врачебной помощи, которая могла понадобиться в ее годы; они не подумали о том, что и она, и многие другие старики, жизнь которых продлил прекрасный воздух этого края, могли получить эту помощь в Монморанси, находившемся

в двух шагах от Эрмитажа. Как будто старики существуют только в Париже и нигде в другом месте жить не в состоянии. Г-жа Левассер ела много и с крайней прожорливостью, поэтому она была подвержена разлитию желчи и сильным поносам, продолжавшимся у нее по нескольку дней и заменявшим ей лекарство. В Париже она никогда ничего не предпринимала, предоставляя действовать природе. Так же она поступала и в Эрмитаже, хорошо зная, что это лучшее средство. Все равно: раз в деревне нет ни докторов, ни аптекарей, оставлять ее там – значило, оказывается, желать ее смерти, хотя она чувствовала себя превосходно. Дидро следовало бы определить, до каких лет можно держать старых людей вне Парижа, не подвергаясь обвинению в человекоубийстве. Вот одно из ужасных обвинений, на основании которых он не желал исключить меня из своего приговора, будто только злой ищет уединения; вот что обозначал его патетический возглас и слово «прочее», которое он благодушно к нему добавил: «Женщина восьмидесяти лет! и прочее». Я подумал, что не могу лучше ответить на этот упрек, как обратившись к самой г-же Левассер. Я попросил ее откровенно написать г-же д'Эпине о своем желании. Чтобы она чувствовала себя непринужденной, я не стал читать ее письма и показал ей свое письмо к г-же д'Эпине, которое написал по поводу другого, еще более резкого письма Дидро, оставленного мною по ее настоянию без ответа. Приведу свое письмо к г-же д'Эпине полностью:

Четверг

«Г-жа Левассер будет вам писать, мой добрый друг; я просил ее искренне высказать вам свое мнение. Чтобы она чувствовала себя совсем непринужденно, я сказал ей, что не хочу читать ее письма, и прошу вас ничего не говорить мне о его содержании.

Я не отправлю своего ответа Дидро, раз вы против этого, но я чувствую себя глубоко оскорбленным, и признать себя виноватым было бы с моей стороны низостью и ложью, которых я себе не позволю. Евангелие предписывает получившему пощечину подставить другую щеку, но не просить прощения. Помните ли вы того человека в комедии, который кричит: «Караул!», нанося удары палкой? Вот – роль нашего философа.

Не обольщайтесь тем, что не позволите ему приехать в такую дурную погоду. Гнев даст ему время и силы, в которых отказывает дружба, и в первый раз в жизни он приедет в тот день, когда обещал. Он будет из кожи лезть, только бы приехать и повторить мне на словах те оскорбления, какие бросает мне в своих письмах; я и тут перенесу их терпеливо. Он вернется в Париж и заболеет там, а я, по обыкновению, прослыву ужасным человеком. Что поделаешь? Надо терпеть.

Но не удивляет ли вас мудрость этого человека; он хотел приехать в Сен-Дени в фиакре, пообедать там и привезти меня обратно в фиакре, а через неделю пишет (связка А, № 34), что по своим средствам он может отправиться в Эрмитаж только пешком. Говоря его языком, нельзя считать совершенно исключенной возможность, что эти речи искренни; но в таком случае за неделю произошли странные изменения в его средствах.

Сочувствую вашему горю по поводу болезни вашей матушки, но вы видите, что мое горе еще тяжелее. Меньше страдаешь, когда люди, которых любишь, болеют, чем когда они жестоки и несправедливы.

Прощайте, мой добрый друг. В последний раз говорю с вами об этом несчастном деле. Вы мне пишете о поездке в Париж с хладнокровием, которое очень обрадовало бы меня в другое время».

По совету г-жи д'Эпине я написал Дидро о том, как поступил по отношению к г-же Левассер. И когда г-жа Левассер, как и следовало ожидать, предпочла остаться в Эрмитаже, где она чувствовала себя прекрасно, где всегда имела общество и приятно проводила время, Дидро, уж не зная, какое приписать мне преступление, стал ставить мне в вину эту мою

предосторожность, по-прежнему обвиняя меня также за то, что г-жа Левассер живет в Эрмитаже, хотя она сама это выбрала и хотя только от нее зависело вернуться в Париж, сохранив ту поддержку с моей стороны, какую она получала возле меня.

Вот объяснение первого упрека в письме Дидро (№ 33). Объяснение второго упрека содержится в его письме № 34:

«Книжник (это было шутливое прозвище, данное Гриммом сыну г-жи д'Эпине), наверное, писал вам, что на валу было двадцать нищих, погибавших от голода и холода и ожидавших лиара, который вы им обычно давали. Вот образец нашей болтовни, и если бы вы слышали остальное, она позабавила бы вас не меньше».

А вот ответ на этот страшный аргумент, которым Дидро, видимо, весьма гордился:

«Я, кажется, уже ответил Книжнику, то есть сыну откупщика, что не жалею ожидающих моего лиара бедняков, которых он видел на валу; что он, вероятно, щедро вознаградил их; что я назначаю его своим заместителем; что парижским беднякам не придется жаловаться на эту замену; что мне нелегко будет найти столь же подходящую замену для бедных в Монморанси, кои гораздо больше в ней нуждаются. Здесь есть добрый и почтенный старик, который, проведя всю жизнь в труде и больше к нему не способный, на старости лет умирает с голоду. Совесть моя испытывает больше удовлетворения от того, что я каждый понедельник даю ему два су, чем от милостыни оборванцам на валу, даже если б я роздал им сто лиаров. Как вы забавны, философ: вы смотрите на городских жителей, как на единственных людей, по отношению к которым у вас есть обязанности. Между тем только в деревне научаешься любить человечество и служить ему: в городах учишься только презирать его».

Таковы были странные соображения, на основании которых умный человек имел глупость серьезно вменять мне в преступление мое добровольное удаление из Парижа и намеревался доказать мне на моем собственном примере, что нельзя жить вне столицы, не будучи дурным человеком. Мне непонятно теперь, как мог я отвечать ему и сердиться, вместо того чтобы попросту рассмеяться ему в лицо. Тем не менее решения г-жи д'Эпине и вопли, поднятые гольбаховским лагерем, так подкупили умы в его пользу, что большинство считало меня неправым в этом деле и что г-жа д'Удето, восторженная поклонница Дидро, пожелала даже, чтоб я поехал к нему в Париж и сделал первые шаги к примирению; оно было полным и искренним с моей стороны, но оказалось очень непродолжительным. Г-жа д'Удето прибегла к аргументу, победившему мое сердце, указав на то, что Дидро несчастен. Помимо бури, разразившейся против «Энциклопедии»[{353}], ему пришлось тогда вынести другую, очень сильную, – по поводу сюжета его пьесы: несмотря на предпосланное пояснение, говорили, что он взят целиком у Гольдони[{354}]. Дидро, еще более чувствительный к критике, чем Вольтер, был этим подавлен. У г-жи де Графиньи даже хватило злости распустить слух, будто я порвал с ним из-за этого. Мне казалось, что справедливость и великодушие требуют, чтобы я публично доказал противное. Я отправился в Париж и не только провел два дня с Дидро, но и жил у него. С тех пор как я поселился в Эрмитаже, это было мое второе путешествие в Париж. Первое я совершил, поспешив на помощь бедному Гофкуру, когда у него был удар, от которого он никогда вполне не оправился, и во все время болезни Гофкура я не отходил от его постели, пока не миновала опасность.

Дидро принял меня хорошо. Сколько обид может загладить объятье друга! Какие следы их могут после этого остаться в сердце? Объяснений было у нас немного. В них нет нужды, когда обвинения взаимны. Нужно сделать только одно – предать их забвенью. Он не вел

против меня подкопов, – по крайней мере я о них не знал; положение было иное, чем с г-жой д'Эпине. Он показал мне план «Отца семейства». «Вот лучшая защита «Побочного сына», – сказал я ему. – Храните молчание, тщательно отделайте эту пьесу и потом вместо всякого ответа киньте ее сразу в лицо своим врагам». Он так и сделал и остался доволен. Месяцев за шесть до этой встречи я послал ему две первые части «Юлии», чтобы узнать его мнение. Он еще не читал их. Мы прочли вместе одну тетрадь. Он сказал, что все это «листки» – это было его выражение, – то есть нашел, что они многословны и напыщенны. Я и сам это чувствовал, но это была болтовня в бреду; я никогда уж не мог исправить ее. Последние части не такие. Особенно четвертая и шестая – они представляют образец слога.

На другой день после моего приезда он непременно захотел повести меня ужинать к Гольбаху. Расчеты между нами были далеко не в порядке; я даже хотел разорвать соглашение относительно рукописи по химии, так как меня приводила в негодование мысль быть чем-нибудь обязанным этому человеку. Дидро одержал верх. Он поклялся, что Гольбах любит меня всем сердцем, что нужно простить ему тон, который он принимает со всеми и от которого его друзьям приходится страдать больше других. Он стал доказывать, что отказаться от дохода с этой рукописи, после того как я за два года перед тем принял его, значило нанести Гольбаху незаслуженное оскорбление, и этот отказ можно было бы даже истолковать в дурную сторону, как скрытый упрек за такое долгое ожидание сделки. «Я вижу Гольбаха каждый день, – прибавил он, – и лучше вас знаю его душевное состояние. Если б вы не имели основания быть им довольны, неужели вы думаете, что ваш друг был бы способен советовать вам пойти на низость?» Короче говоря, с обычной своей уступчивостью я дал себя уговорить, и мы отправились ужинать к барону. Он принял меня, как всегда, но жена его была со мной холодна, почти неучтива. Я не узнал любезной Каролины, до своего замужества проявлявшей ко мне большую благосклонность. Но мне уже давно казалось, что, с тех пор как Гримм стал посещать семейство д'Эн, ко мне там стали относиться не столь приязненно, как прежде.

Когда я был в Париже, туда приехал из армии Сен-Ламбер{355}. Я ничего об этом не знал и увидел его только после своего возвращения в деревню, – сперва в Шевретте, потом в Эрмитаже, куда он пришел вместе с г-жой д'Удето, чтобы пригласить меня обедать. Можно себе представить, с каким удовольствием я принял их! Но еще большее удовольствие доставило мне их доброе согласие. Довольный тем, что не нарушил их счастья, я сам был счастлив от этого, и могу поклясться, что в период моей безумной страсти, и даже в тот момент, когда я мог отнять у него г-жу д'Удето, я не хотел и не испытывал никакого искушения сделать это. Я находил, что она прелестна, любя Сен-Ламбера, и не мог представить себе, чтобы она была такой же, любя меня самого; нисколько не желая нарушать их союз, я на самом деле домогался в своем бреду только того, чтоб она позволила мне любить себя. Наконец, какой бы сильной страстью я к ней ни пылал, я находил, что быть поверенным ее любви для меня не менее сладостно, чем быть ею любимым, и ни одной минуты я не смотрел на ее возлюбленного, как на своего соперника, а всегда как на своего друга. Скажут, что это тоже не была любовь, – пусть, но в таком случае это было чем-то большим.

Сен-Ламбер держал себя, как человек порядочный и рассудительный: поскольку я один был виновен, я один и был наказан, да и то снисходительно. Он обошелся со мной строго, но по-дружески; я увидел, что кое-что потерял в его уважении, но ничего – в его дружбе. Я утешался этим, зная, что первое мне будет гораздо легче восстановить, чем второе, и что он слишком умен, чтобы принять невольную и мимолетную слабость за порочный нрав. Если и была моя вина в том, что произошло, то она была невелика. Разве я добивался общества его любовницы? Не сам ли он прислал ее ко мне? Не она ли искала моего общества? Мог ли я уклониться от ее посещений? Что должен был я сделать? Они одни были причиной зла, а мне пришлось пострадать за это. На моем месте он поступил бы так же, как я, – может быть,

хуже. Ведь в конце концов, как ни верна, как ни достойна уважения была г-жа д'Удето, она была женщина; он отсутствовал; случаи представлялись часто, искушение было сильно, и ей было бы очень трудно защищаться все время с одинаковым успехом против человека, более предприимчивого. Право, в таком положении нелегко было и для нее, и для меня установить определенные границы, которых мы ни разу не позволили себе переступить.

Хотя в глубине души я и оправдывал себя, видимость говорила так убедительно против меня, что мной владел непреодолимый стыд; я держал себя при Сен-Ламбере как виноватый, и он нередко злоупотреблял этим, чтобы унизить меня. Один случай может обрисовать наши взаимоотношения. Я читал ему после обеда письмо, написанное за год перед тем Вольтеру; Сен-Ламбер слышал об этом письме. Во время чтения он заснул; и я, когда-то такой гордый, а теперь такой глупец, не смел прервать чтения и продолжал читать под его храп. Таковы были мои поступки и такова была его месть; но, как человек великодушный, он проявлял ее только в обществе нас троих.

Когда он уехал, я убедился, что г-жа д'Удето очень изменила свое отношение ко мне. Я был так удивлен, как будто не мог этого ожидать; я был задет этой переменой больше, чем следовало, и мучительно страдал. Казалось, что все, от чего я ожидал своего исцеления, только глубже вонзило мне в сердце стрелу, и я лишь переломил ее, но не вырвал.

Я решил пересилить себя и ничего не пожалеть, чтобы превратить свою безумную страсть в чистую и прочную дружбу. Я составлял для этого самые прекрасные планы, но для их выполнения мне необходимо было содействие г-жи д'Удето. Когда я заговорил с ней об этом, она слушала меня рассеянно и смущенно; я почувствовал, что мое общество перестало доставлять ей удовольствие, и ясно понял, что произошло нечто такое, чего она не хочет мне сказать и чего я так никогда и не узнал. Эта перемена, объяснения которой я никак не мог добиться, приводила меня в отчаяние. Г-жа д'Удето потребовала, чтобы я вернул ей все ее письма; я вернул их все до единого, но одно время она сомневалась в этом. Такое оскорбительное недоверие было новым ударом для моего сердца, а ведь ей следовало бы хорошо знать его. Она отдала справедливость моей порядочности, но не сразу. Я догадался, что, пересмотрев пакет, переданный мной, она убедилась в своей ошибке; я даже заметил, что ей совестно, и это дало мне возможность кое-чего достигнуть. Она не могла взять обратно свои письма, не возвратив мои. Она сказала, что сожгла их; я в свою очередь осмелился усомниться в этом и, признаюсь, сомневаюсь до сих пор. Нет, таких писем не бросают в огонь. Письма «Юлии» нашли пылкими. Боже мой, что же сказали бы об этих! Нет, нет, никогда у женщины, которая могла внушить такую страсть, не хватит духу предать огню ее доказательства. И я не опасаюсь также, чтобы она злоупотребила ими; я не считаю ее способной на это, и, кроме того, я принял свои меры. Глупый, но сильный страх быть осмеянным заставил меня повести переписку с нею в таком тоне, что она не решилась бы показывать мои письма другим. В своем опьянении я доходил до столь большой вольности, что говорил ей «ты», но какое «ты»! Наверное, оно не оскорбляло ее. Впрочем, несколько раз она протестовала против этого, но безуспешно. Ее протесты только усиливали мою тревогу; к тому же я уже не мог отступить. Если эти письма еще существуют{356} и если их когда-нибудь прочтут, то узнают, как я любил.

Горе, причиненное мне охлаждением г-жи д'Удето, и уверенность в том, что я его не заслужил, привели меня к странному решению пожаловаться на нее самому Сен-Ламберу. В ожидании ответа на мое письмо к нему я накинулся на развлечения, которых мне следовало бы искать раньше. В Шевретте стали устраивать празднества; я писал для них музыку. Желание блеснуть перед г-жой д'Удето ее любимым талантом возбуждало мое вдохновение; его оживляла и другая причина: стремление показать, что автор «Деревенского колдуна» знает музыку; я давно замечал, что кто-то втайне старается сделать это сомнительным, по крайней мере в отношении композиции. Мой дебют в Париже, испытания, которым я там неодно-

кратно подвергался в доме г-на Дюпена и у г-жи де ла Поплиньер, вся музыка, сочиненная мною там за четырнадцать лет, среди самых знаменитых артистов и у них на глазах, наконец, опера «Галантные музы», даже «Колдун», а также мотет, написанный мною для мадемуазель Фель и спетый ею в Духовном концерте{357}, мои частые беседы об этом прекрасном искусстве с величайшими мастерами – все, казалось, должно было помешать возникновению подобного сомнения или рассеять его. Тем не менее оно существовало даже в Шевретте, и я увидел, что и г-н д'Эпине не свободен от него. Притворяясь, будто не замечаю этого, я взялся сочинить мотет по случаю освящения часовни в Шевретте и просил г-на д'Эпине снабдить меня текстом по своему выбору. Он поручил де Линану, гувернеру своего сына, составить текст. Де Линан подобрал слова, подходящие к сюжету, и через неделю, после того как мне их дали, мотет был закончен. На этот раз досада была моим Аполлоном, и никогда еще такая звучная музыка не выходила из-под моего пера. Слова начинаются так: Ecce sedes hic Tonantis[45]. Торжественность вступления соответствует словам[46], и во всем мотете красота напева такова, что поразила всех. Я писал для полного оркестра. Г-н д'Эпине собрал лучших оркестрантов. Г-жа Бруна, итальянская певица, пела мотет, и под хороший аккомпанемент. Мотет имел такой успех, что его потом давали в Духовном концерте и, несмотря на тайные козни и негодное исполненье, он два раза вызвал аплодисменты. Для празднования именин г-на д'Эпине я подал мысль о постановке особого рода пьесы – полудрамы-полупантомимы; ее написала г-жа д'Эпине, а я сочинил музыку. Гримм, приехав, услыхал о моих успехах в гармонии. Через час о них уже не было речи; но по крайней мере – насколько мне известно – больше не поднимался вопрос о том, знаю ли я композицию.

Как только Гримм приехал в Шевретту, где я и без того не чувствовал себя особенно приятно, он сделал для меня пребывание там невыносимым своим важным видом, какого я никогда ни у кого не замечал и даже не мог себе представить. Накануне его приезда меня выселили из занимаемой мною почетной комнаты – смежной с комнатой г-жи д'Эпине: ее приготовили для г-на Гримма, а мне дали другую, более отдаленную. «Вот как новые гости выживают старых», – смеясь, сказал я г-же д'Эпине. Она как будто смутилась. В тот же вечер я хорошо понял причину этого, узнав, что между ее комнатой и той, что я освободил, есть потайная дверь, которую она сочла излишним мне показывать. Ее связь с Гриммом не была тайной ни для кого – ни в ее доме, ни в обществе, ни даже для ее мужа; тем не менее, вместо того чтобы признаться мне, она эту связь решительно отрицала, хотя я был поверенным ее тайн, имевших для нее гораздо больше значения, и она была за них совершенно спокойна. Я понял, что эта скрытность исходила от Гримма: зная все мои тайны, он не хотел, чтоб я был посвящен хоть в одну из его собственных.

Несмотря на мое прежнее чувство дружбы, не совсем еще угасшее, и на действительные достоинства этого человека, мое расположение к нему не могло не исчезнуть, ибо он сам постарался его уничтожить. Он обращался со мною будто какой-нибудь граф де Тюфьер:{358} едва удостаивал отвечать на мой поклон, ни разу не заговорил со мной и своим молчанием на мои вопросы скоро отучил меня заговаривать с ним. Он всюду входил первым, всегда занимал первое место, не обращая на меня ни малейшего внимания. Пусть бы так, если б он не вкладывал во все это подчеркнутой оскорбительности. Вот один из тысячи примеров. Однажды вечером г-жа д'Эпине, чувствуя себя не совсем здоровой, распорядилась, чтобы ей принесли поесть в ее комнату, и поднялась к себе наверх ужинать у камина. Она предложила мне пойти с ней, что я и сделал. Вслед за нами явился Гримм. Столик был уже накрыт; на нем было только два прибора. Подают; г-жа д'Эпине садится с одной стороны у камина, г-

[45] Вот он, трон Гремящего (*лат.*).

[46] Я узнал потом, что эти слова принадлежат де Сантею{498} и что г-н де Линан украдкой присвоил их себе. (*Прим. Руссо.*)

н Гримм берет кресло, устраивается с другой стороны; придвинув столик, ставит его посредине, развертывает салфетку и принимается за еду, не говоря мне ни слова. Г-жа д'Эпине краснеет и, чтоб побудить его загладить свою грубость, предлагает мне свое собственное место. Он не произносит ни слова, даже не смотрит на меня. Не имея возможности подойти к камину, я хожу по комнате, ожидая, когда мне принесут прибор. Он заставил меня ужинать на краю стола, вдали от камина, не проявив ни малейшей учтивости к человеку больному, старше его годами, раньше его принятому в доме, куда я же и ввел его и где он в качестве фаворита хозяйки должен был бы всячески оказывать мне внимание. Все его обращение со мной было в том же роде. Даже нельзя сказать, чтобы он обходился со мной, как с человеком, стоящим ниже его: он просто не ставил меня ни во что. Я с трудом узнавал в нем прежнего жалкого учителя, который в доме принца Саксен-Готского считал себя польщенным, если я обращал на него взгляд. Еще труднее было мне примирить это глубокое молчание и наглую спесь с нежной привязанностью ко мне, которой он хвастался перед всеми, кто действительно был моим другом.

Правда, он вспоминал о ней только для того, чтобы пожалеть о моей судьбе, хотя я никогда на нее не жаловался, посочувствовать моей печальной доле, хотя я был вполне доволен ею, посокрушаться о том, что я наотрез отказываюсь от благодетельных забот, которые он на словах готов был расточать мне. Вот с каким искусством заставлял он восхищаться своим трогательным великодушием и порицать неблагодарного мизантропа, незаметно приучая всех к мысли, что между таким покровителем, как он, и таким несчастным, как я, могут существовать только отношения благодетеля, с одной стороны, и обязанного – с другой, но отнюдь не дружеские отношения равного с равным. Но я тщетно пытался понять, чем могу быть обязанным своему новому покровителю. Я давал ему деньги взаймы, он мне никогда не давал денег; я ухаживал за ним во время его болезни, он почти вовсе не навещал меня, когда я бывал болен; я сблизил его со всеми своими друзьями, он старался отдалить от меня своих друзей; я всячески прославлял его, он если когда-нибудь и прославлял меня, то не публично и совсем на другой лад. Ни разу он не оказал мне и даже не предложил ни малейшей услуги. Каким же образом являлся он моим меценатом? В каком отношении был я обязан ему? Это выходило за пределы моего понимания и выходит до сих пор.

Правда, он был более или менее высокомерен со всеми, но ни с кем не обращался до такой степени грубо, как со мной. Помню, как однажды Сен-Ламбер чуть не запустил в Гримма тарелкой, когда тот за столом пытался уличить его во лжи, дерзко сказав: «Это неправда». К своему тону, резкому от природы, он прибавил еще самодовольство выскочки и стал просто забавен своей дерзостью. Общение с великими мира сего до того вскружило ему голову, что он стал напускать на себя важность, какая бывает только у самых неразумных вельмож. Он никогда не звал своего лакея иначе как: «Эй!», как будто монсеньор Гримм не знал, кто из множества его слуг дежурит при нем. Посылая слугу за покупками, он бросал деньги на пол, вместо того чтоб дать в руку. Словом, он совершенно забывал, что его слуга – человек, и обращался с ним с таким возмутительным презрением, с таким черствым пренебреженьем, что этот бедный малый, очень добродушный, рекомендованный ему г-жой д'Эпине, попросил расчет только потому, что не мог больше терпеть подобного обращения. Он был Лафлер этого нового Хвастуна{359}.

Столь же пустой и фатоватый, сколь тщеславный, с мутными глазами навыкате, с развинченными манерами, он имел претензию нравиться женщинам и после своей комедии из-за мадемуазель Фель слыл среди многих дам человеком с сильными чувствами. Это ввело его в моду и привило ему вкус к чисто женскому щегольству: он начал прихорашиваться, его туалет стал для него вопросом первостепенной важности; все знали, что он белится; я сперва не верил этому, но потом поверил – не только потому, что цвет лица у него стал лучше и что я сам видел чашки с белилами на его туалете, но и потому, что, войдя однажды утром к нему

в комнату, застал его за чисткой ногтей особой щеточкой{360}, и он с гордостью продолжал это занятие при мне. Я решил, что человек, способный проводить каждое утро по два часа за чисткой ногтей, может также посвящать несколько минут на то, чтобы покрывать свою кожу белилами. Добряк Гофкур, не лишенный остроумия, довольно забавно прозвал его Tyran le Blanc{361}.

Все это были только чудачества, но совершенно чуждые моему нраву. Они меня окончательно отвратили от него. Мне трудно было представить себе, чтобы человек, у которого до такой степени вскружилась голова, мог сохранить доброе сердце. Ничем он так не хвастался, как душевной тонкостью и горячими чувствами. Но как же все это сочеталось с недостатками, свойственными мелким душам? Разве могут сильные и постоянные порывы чувствительного сердца оставлять человеку столько времени для мелких забот о своей маленькой особе? Боже мой! Кто чувствует в своем сердце этот божественный огонь, тот стремится излить его и раскрыть свою душу. Такой человек желал бы на лице своем выразить все свое сердце; он никогда не станет искать прикрас в белилах и румянах.

Я вспомнил сущность его теории, изложенной мне г-жой д'Эпине и усвоенной ею. Она заключалась в одном пункте: единственная обязанность человека – во всем следовать влечениям своего сердца. Этот взгляд, когда я узнал о нем, заставил меня сильно призадуматься, хотя в то время я принял его только за игру остроумия. Но вскоре я увидел, что этот принцип на самом деле составляет правило его поведения, а впоследствии испытывал это, к сожалению, на самом себе. Это и есть та внутренняя доктрина, о которой столько говорил мне Дидро, хотя никогда не объяснял ее. Я вспомнил, как за несколько лет перед тем меня часто предупреждали, что это человек фальшивый, что он только прикидывается чувствительным и, главное, что он не любит меня. Вспомнил я несколько эпизодов, рассказанных мне по этому поводу де Франкеем и г-жой де Шенонсо, которые не уважали его; а между тем они должны были хорошо его знать, потому что г-жа де Шенонсо была дочерью г-жи де Рошешуар, близкого друга покойного графа де Фриеза, а де Франкей, в то время очень дружный с де Полиньяком, подолгу жил в Пале-Рояле как раз в то время, когда Гримм стал вхож туда. Весь Париж знал, какое он проявлял отчаяние после смерти графа де Фриеза. Он решил поддержать репутацию, которую создал себе после суровости мадемуазель де Фель; я лучше, чем кто бы то ни было, разгадал бы обман, будь я тогда менее ослеплен. Пришлось отвезти страдальца в особняк де Кастри, где он достойно сыграл свою роль, предавшись безутешной скорби. Каждое утро он отправлялся в сад, чтобы поплакать вволю, и прикладывал к глазам мокрый от слез платок, пока его можно было видеть из окон дома; но люди, о которых он и не думал, видели, как на повороте аллеи он тотчас же клал платок в карман и вытаскивал книгу. Это наблюдение, несколько раз повторенное, скоро распространилось по Парижу и почти тотчас же было забыто. Я сам о нем забыл; случай, касавшийся меня лично, напомнил мне о нем. Тяжелобольной, я лежал в постели на улице Гренель; он был в деревне; однажды утром он прибежал ко мне запыхавшись и сказал, что сию минуту приехал; я узнал через несколько минут, что он приехал накануне и в тот же вечер его видели в театре.

Мне вспомнилось множество фактов в том же роде. Особенно поразило меня одно наблюдение, и я был крайне удивлен, что сделал его так поздно. Я познакомил Гримма со всеми без исключения своими друзьями; все они стали его друзьями. Я был неразлучен с ним и не хотел иметь ни одного знакомого дома, где бы он ни бывал. Одна лишь г-жа де Креки отказалась принять его, и с тех пор я почти перестал посещать ее. Гримм, со своей стороны, приобрел другие знакомства – самостоятельно или при помощи графа де Фриеза. Из всех его друзей ни один никогда не стал моим другом; он ни разу не предложил хотя бы познакомить меня с ними, а из тех, кого я иногда встречал у него, никогда ни один не проявил ко мне ни малейшего доброжелательства, даже граф де Фриез, хотя Гримм жил у

него и, следовательно, мне было бы очень приятно завязать с ним отношения; даже граф де Шомбер, его родственник, с которым Гримм был на еще более короткой ноге.

Более того, мои собственные друзья, сделавшиеся благодаря мне и его друзьями, нежно привязанные ко мне до знакомства с ним, заметно изменились ко мне после того, как это знакомство состоялось. Он никогда не поделился со мной ни одним из своих друзей, я поделился с ним всеми своими, и он в конце концов всех их отнял у меня. Если таковы плоды дружбы, каковы должны быть плоды ненависти?

Сам Дидро вначале не раз предупреждал меня, что Гримм, которому я так доверяю, мне вовсе не друг. Впоследствии он заговорил иначе, когда сам перестал быть моим другом.

Способ, каким я распорядился судьбою своих детей, не требовал содействия ни с чьей стороны. Я сказал о нем, однако, своим друзьям, – единственно для того, чтоб их об этом осведомить и не казаться им лучше, чем я был на самом деле. Этих друзей было трое: Дидро, Гримм, г-жа д'Эпине. Дюкло, человеку, наиболее достойному моего доверия, я не сказал ничего. Однако он узнал об этом. От кого? Не знаю. Маловероятно, чтобы тайну нарушила г-жа д'Эпине, знавшая, что я мог бы жестоко отомстить ей, последовав ее примеру, – будь я на это способен. Оставались Гримм и Дидро, в то время весьма тесно связанные между собой, особенно в своих действиях против меня; и более чем вероятно, что они сообща совершили это преступленье. Я готов побиться об заклад, что Дюкло – единственный из близких мне людей – сохранил мою тайну, хотя узнал о ней не от меня и, следовательно, имел право говорить об этом.

Гримм и Дидро, задумав отнять у меня моих домоправительниц, старались вовлечь в свой заговор и Дюкло, но тот всегда с презрением отклонял их замыслы. Только впоследствии узнал я от него все, что произошло между ними по этому поводу. Но уже в то время я узнал достаточно от Терезы, чтобы понимать, что во всем этом есть какая-то затаенная цель и что мной хотят распоряжаться, если не наперекор моим желаниям, то, во всяком случае, без моего ведома; или же хотят превратить этих двух женщин в орудия для достижения какой-то скрытой цели. Все это, конечно, было мало похоже на прямодушие. Сопротивление Дюкло доказывает это неопровержимо. Пусть верит кто хочет, что это была дружба.

Мнимая дружба двух этих людей была для меня одинаково гибельной как в моем доме, так и вне его. Их долгие и частые разговоры с г-жой Левассер в течение нескольких лет значительно изменили отношение этой женщины ко мне и, конечно, не в мою пользу. О чем шла речь во время этих странных бесед наедине? Зачем эта глубокая таинственность? Неужели разговор с этой старухой был настолько приятен, чтобы его поддерживать с такой готовностью, и настолько значителен, чтоб делать из него такую тайну? В течение трех или четырех лет, пока длились эти совещания, они казались мне смешными; размышляя о них позднее, я начал им удивляться. Это удивление превратилось бы в тревогу, если б уже в то время я знал, что эта женщина готовит мне.

Несмотря на мнимую заботу обо мне, – чем Гримм кичился в обществе и что трудно было согласовать с тоном, принятым им в обращении со мной, – я не видел с его стороны решительно ничего, что шло бы мне на пользу, и его притворное сострадание гораздо меньше имело целью помочь мне, чем унизить меня. Он даже лишал меня, насколько это было в его власти, заработка, который давало мне избранное мною ремесло, объявляя повсюду, что я плохой переписчик. Признаю, что тут он говорил правду, но не ему было говорить ее. Он показывал, что это не шутка, так как пользовался услугами другого переписчика и не оставлял мне ни одного заказчика, которого только мог у меня отнять. Можно было подумать, что его цель – поставить меня в материальную зависимость от него и, чтобы этого добиться, лишить меня средств существования.

Взяв все это во внимание, рассудок мой заставил наконец замолчать мое прежнее расположение, все еще подымавшее голову. Я признал характер Гримма в лучшем случае сомни-

тельным, а его дружбу неискренней. Решив больше с ним не видеться, я предупредил об этом г-жу д'Эпине и обосновал свое решение несколькими неоспоримыми фактами, теперь уже всеми позабытыми.

Г-жа д'Эпине сильно возражала против этого решения, хотя мало что могла выдвинуть против моих доводов. Она еще не сговорилась с Гриммом. Но на другой день, вместо того чтобы на словах объясниться со мной, прислала мне письмо, очень ловко составленное ими вместе. Не входя ни в какие фактические подробности, она оправдывала Гримма, ссылаясь на его замкнутый характер; вменяя мне в преступление, что я заподозрил своего друга в измене, она убеждала примириться с ним. Это письмо поколебало меня. После этого у нас произошел разговор, к которому она оказалась лучше подготовленной, чем в первый раз, и я окончательно сдался: я пришел к мысли, что, может быть, ошибся и что в таком случае я серьезно виноват перед другом и должен загладить свою вину.

Короче говоря – как это уже бывало у меня с Дидро и с бароном Гольбахом, – я и на этот раз, наполовину по собственному желанию, наполовину по своей слабости, сам сделал все шаги, которых имел право требовать от другого: я отправился к Гримму, как второй Жорж Данден{362}, просить у него извинения за обиды, которые он мне нанес. Я сделал это, повинуясь ложному убеждению, заставлявшему меня тысячу раз в жизни подвергаться унижениям перед мнимыми друзьями: ведь я воображал, будто нет такой ненависти, которую нельзя было бы обезоружить мягкостью и ласковым обращением, тогда как, наоборот, – ненависть злых только усиливается, когда для нее нет никаких оснований, а сознание собственной несправедливости для них – лишний повод обвинять того, кто является ее жертвой. Я убедился в этом на своем собственном жизненном опыте, встретив в лице Гримма и в лице Троншена разительное подтверждение этого правила: оба стали неумолимыми моими врагами по прихоти, ради удовольствия, из каприза; ни тот ни другой не могут приписать мне какую-нибудь вину[47], а между тем ярость их растет с каждым днем, как у тигров, оттого что им так легко ее удовлетворить.

Я рассчитывал, что, пристыженный моей снисходительностью, моей готовностью примириться, Гримм встретит меня с распростертыми объятиями, дружески и нежно. Но он встретил меня точно римский император, и никогда еще мне не приходилось видеть подобной спеси. Я совершенно не был подготовлен к такому приему. Смущенный ролью, так мало мне подходящей, я в нескольких словах с робким видом объяснил цель своего посещения, а он, прежде чем милостиво простить меня, очень величественно произнес многословную, заранее приготовленную речь, содержащую длинный перечень его редких добродетелей, особенно в отношениях с друзьями. Он усиленно подчеркивал одно обстоятельство, сначала очень меня удивившее: всем известно, что он всегда сохраняет своих друзей. Во время его речи я думал, что для меня было бы очень печально оказаться единственным исключением из этого правила. Он много раз и с большой аффектацией возвращался к этому и навел меня на мысль, что, следуй он только влечению своего сердца, – он меньше бы восхищался этим «правилом» и что он сделал себе из него полезное средство для достижения успеха в жизни. До тех пор я и сам всегда сохранял своих друзей, с самого раннего детства я не потерял ни одного из них, если только их не отнимала у меня смерть; но я никогда не задумывался над этим, это не было «правилом», которое я себе предписал. Но если это было качество, общее тогда нам обоим, почему же он кичился им передо мной, как преимуществом, если только заранее не имел в виду приписать мне его отсутствие? Потом он постарался унизить меня,

[47] Только впоследствии я дал Троншену прозвище «жонглер», но это было много позднее – после того как он открыто стал моим врагом и возбудил жестокие преследования против меня в Женеве и других местах. Но я скоро перестал применять даже и это прозвище, когда окончательно стал жертвой гонений. Низкое мщение недостойно моего сердца, и ненависть никогда не находит в нем почвы. (*Прим. Руссо*.)

приводя доказательства предпочтения, которое наши общие друзья оказывали ему передо мной. Я знал об этом предпочтении так же хорошо, как и он; вопрос был в том, в силу чего он приобрел его: при помощи заслуг или ловкости? возвышаясь сам или стремясь унизить меня? Наконец, когда он по своему усмотрению установил между собой и мной надлежащее расстояние, чтобы придать цену своей милости, он соблаговолил дать мне поцелуй мира в легком объятии, похожем на прикосновение короля к посвящаемому в рыцари вассалу. Я свалился с облаков, я был ошеломлен, я не знал, что сказать, я не находил слов. Вся эта сцена была похожа на выговор, который воспитатель делает своему ученику, милостиво отменив розги. Всякий раз как я вспоминаю о ней, я не могу не подумать о том, насколько обманчивы суждения, основанные на видимости, которой толпа придает такое значение, и как часто виноватые проявляют смелость и гордость, а невиновные – стыд и смущение.

Мы помирились; это все-таки принесло облегчение моему сердцу: всякая ссора погружает его в смертельную тоску. Нетрудно представить себе, что такое примирение не изменило обращение Гримма, а только отняло у меня право жаловаться. Поэтому я принял решение все терпеть и больше ничего не говорить.

Столько огорчений, сыпавшихся одно за другим, повергли меня в состояние подавленности, не оставлявшей мне сил, чтобы снова овладеть собой. Не получая ответа от Сен-Ламбера, забытый г-жой д'Удето, не решаясь больше ни с кем делиться своими мыслями, я начал опасаться, что, сделав дружбу кумиром своего сердца, быть может, принес свою жизнь в жертву призракам! Из всех, с кем я был связан, после проверки у меня осталось только два человека, к которым я сохранил прежнее уважение и доверие: Дюкло (но со времени своего удаления в Эрмитаж я потерял его из виду) и Сен-Ламбер. Мне казалось, что я могу загладить свою вину перед последним, только излив перед ним свое сердце без утайки, и я решил принести ему полную исповедь во всем, что только не компрометировало его любовницу. Не сомневаюсь, что такое решение было западней, в которую вовлекала меня моя страсть, чтобы приблизить меня к г-же д'Удето, и все же я, конечно, бросился бы в объятия ее любовника, безраздельно предался бы его руководству и довел бы откровенность до последних возможных пределов. Я уже готов был написать ему второе письмо, будучи уверен, что на этот раз он ответит мне, – как вдруг узнал печальную причину его молчанья. Он не вынес трудностей военного похода: г-жа д'Эпине сообщила мне, что у него был удар; г-жа д'Удето сама заболела от огорчения и была не в состоянии тотчас же написать мне, но через два-три дня известила меня из Парижа, где находилась в то время, что он велел отвезти себя в Аахен, так как хотел лечиться там ваннами. Я не говорю, что это печальное известие огорчило меня так же, как ее, но думаю, что вызванная им тоска была не менее мучительной, чем ее скорбь и слезы. Печальные мысли о тяжелом положении Сен-Ламбера, опасения, что, может быть, и душевные тревоги были тому причиной, терзали меня больше, чем все случившееся со мною самим, и я болезненно почувствовал, что мне не хватает сил, необходимых для того, чтобы перенести столько невзгод. К счастью, этот великодушный друг недолго оставлял меня в столь удрученном состоянии; он не забыл меня, несмотря на свою болезнь, и я скоро узнал из его письма, что я слишком дурно оценил его чувства и преувеличил опасность его положения. Но пора перейти к великому перевороту в моей судьбе, к катастрофе, разделившей мою жизнь на две столь различные части, и рассказать, какая незначительная причина привела к таким ужасным последствиям.

Однажды, когда я меньше всего об этом думал, за мной прислала г-жа д'Эпине. Войдя к ней, я заметил в ее взгляде и во всей ее манере держаться смущение, тем более поразившее меня, что это было ей совершенно несвойственно, – никто в мире не умел лучше, чем она, владеть выражением своего лица и своими чувствами. «Мой друг, – сказала она, – я еду в Женеву; у меня болит грудь, здоровье мое расстроено до такой степени, что я должна все бросить и ехать, чтобы повидать Троншена и посоветоваться с ним». Это решение, принятое

так внезапно и накануне зимних холодов, тем более меня удивило, что, когда я расстался с ней за тридцать шесть часов до этого, о нем не было и речи. Я спросил ее, кого она возьмет с собой; она ответила, что хочет взять своего сына и г-на де Линана, и потом небрежно добавила: «А вы, мой медведь, не поедете со мной?» Не думая, что она говорит серьезно, так как она знала, что в зимнее время я едва в состоянии выходить из своей комнаты, я стал шутливо расспрашивать, какую пользу больному может принести больной спутник? Она сама, по-видимому, сделала это предложение несерьезно, и о нем больше не было речи. Мы говорили только о приготовлениях к ее отъезду, которыми она занималась очень энергично, так как решила ехать через две недели.

Не нужно было большой проницательности, чтобы понять, что это путешествие имело тайный повод, но что его от меня скрывают{363}. Во всем доме это было секретом только для меня. На другой день Тереза открыла мне его, а Терезе его поведал дворецкий Тейсье, узнавший все от горничной. Хоть я и не обязан перед г-жой д'Эпине хранить эту тайну, раз узнал об этом не от нее, однако она так тесно связана с другими, сообщенными мне ею, что их невозможно отделить; поэтому я буду молчать об этом предмете. Но эти тайны, которые никогда не выходили и не выйдут ни из моих уст, ни из-под моего пера, знало слишком много народу, и они не могли оставаться неизвестными всему окружению г-жи д'Эпине.

Услыхав об истинной причине этого путешествия, я чуть было не распознал скрытое действие враждебной руки в попытке сделать меня телохранителем г-жи д'Эпине; но она так мало настаивала, что я продолжал рассматривать эту попытку как несерьезную и только посмеялся над смешной ролью, которую сыграл бы, если б имел глупость взять на себя такую обязанность. Впрочем, г-жа д'Эпине только выиграла от моего отказа, так как добилась того, что муж взялся сам сопровождать ее.

Через несколько дней я получил от Дидро записку, которую привожу здесь. Эта записка, небрежно сложенная пополам, так что каждый мог ее легко прочесть, была прислана мне по адресу г-жи д'Эпине и передана де Линану, гувернеру ее сына и поверенному ее тайн.

Записка Дидро (связка А, № 52):

«Я, видимо, создан для того, чтобы любить вас и причинять вам огорчения. Узнал, что г-жа д'Эпине едет в Женеву, и не слышу, что вы ее сопровождаете. Друг мой, если вы довольны г-жой д'Эпине, надо ехать с ней; если недовольны, тем более надо ехать. Вас тяготит бремя ваших обязательств по отношению к ней? Вот случай отчасти расплатиться и облегчить это бремя. Представится ли вам в жизни другой случай доказать ей свою признательность? Она едет в страну, где будет для всех чужой. Она больна, она будет нуждаться в том, чтобы ее развлекали и занимали. Надвигается зима, друг мой! Состояние вашего здоровья является, может быть, большим препятствием, чем мне кажется. Но разве вам хуже теперь, чем было месяц тому назад и чем будет в начале весны? Совершите ли вы через три месяца это путешествие с большими удобствами, чем теперь? Что касается меня, то признаюсь вам, что, если б я не мог перенести путешествия в карете, я взял бы палку и последовал за ней пешком. И потом, не опасаетесь ли вы, что ваше поведение будет дурно истолковано? Вас заподозрят или в неблагодарности, или в другом тайном побуждении. Я хорошо знаю, что, как бы вы ни поступили, за вас всегда будет говорить голос вашей собственной совести; но достаточно ли одного этого голоса и позволительно ли пренебрегать до такой степени мнением других людей? Впрочем, друг мой, я пишу вам все это только для того, чтобы исполнить свой долг перед вами и перед самим собой. Если моя записка вам не понравится, киньте ее в огонь, и пусть о ней не будет больше речи, как если б она вовсе не была написана. Шлю вам привет, люблю и обнимаю вас».

Я был ошеломлен, я дрожал от гнева при чтении этой записки и едва мог дочитать ее до конца, но все же заметил, с какой ловкостью Дидро притворно взял в ней тон, более мягкий, ласковый, учтивый, чем в остальных своих письмах, в которых называл меня самое большее «мой дорогой», не удостаивая дать мне название друга. Я без труда понял, каким рикошетом попала ко мне эта записка; об этом довольно прозрачно говорили подпись, форма, обороты и даже ее обходный путь: обычно мы переписывались по почте или через нарочного из Монморанси, и это был первый и единственный случай, когда он написал мне по адресу г-жи д'Эпине.

Когда несколько утих первый порыв негодования, я взялся за перо, стремительно набросал ответ и сейчас же отнес его из Эрмитажа, где в то время находился, в Шевретту, решив в своем слепом гневе прочесть г-же д'Эпине и записку Дидро, и мой ответ:

«Дорогой друг, вы не можете знать, насколько я обязан г-же д'Эпине, насколько меня связывают мои обязательства, действительно ли я нужен ей в путешествии, желает ли она, чтоб я ее сопровождал, возможно ли это для меня и какие причины могут заставить меня воздержаться от поездки. Я не отказываюсь обсудить с вами эти вопросы; но согласитесь, предписывать мне столь настойчиво, как я должен поступить, не ознакомившись с обстоятельствами, – это большая опрометчивость, мой дорогой философ. Но хуже всего, по-моему, то, что ваше мнение исходит не от вас. Не говоря о том, что я вовсе не склонен допускать, чтобы под вашим именем мной руководил всякий встречный и поперечный, я вижу в этом рикошете уловки, совершенно не соответствующие вашей прямоте, и хорошо будет для вас и для меня, если вы впредь от них воздержитесь.

Вы боитесь, как бы мое поведение не было дурно истолковано; но я не верю, чтобы сердце, подобное вашему, могло дурно судить о моем. Другие, может быть, говорили бы обо мне лучше, если б я был больше похож на них. Избавь меня, боже, от их одобрения! Пусть злые шпионят за мной и толкуют обо мне: Руссо не способен их испугаться, а Дидро – слушать их.

Вы хотите, чтобы я кинул в огонь вашу записку, если она мне не понравится, и чтобы о ней больше не было речи. Неужели, по-вашему, мне так легко забыть то, что исходит от вас? Дорогой мой, вы так же дешево цените мои слезы, причиняя мне огорчение, как мою жизнь и здоровье, уговаривая меня взять на себя такие заботы. Если б вы могли отнестись к этому по-иному, ваша дружба была бы для меня более отрадной, и я стал бы менее достоин сожаленья».

Войдя в комнату г-жи д'Эпине, я застал у нее Гримма, и это меня очень обрадовало. Я прочел им оба письма громким и внятным голосом, с отвагой, на какую сам не считал себя способным, и прибавил в конце маленькую речь, которая была ее достойна.

При этой смелости, неожиданной со стороны человека, обычно робкого, оба они сидели пораженные, ошеломленные, не отвечая ни слова; главное, я увидел, как этот надменный человек опустил глаза в землю, не в силах выдержать моего сверкающего взгляда. Но в ту же минуту в глубине своего сердца он поклялся погубить меня, и я убежден, что они сговорились об этом, прежде чем разойтись.

Приблизительно в то же время я получил наконец через г-жу д'Удето письмо Сен-Ламбера (связка А, № 57), написанное еще в Вольфенбюттеле{364}, через несколько дней после случившегося с ним несчастья, – в ответ на мое письмо, очень задержавшееся в пути. Этот ответ, полный доказательств уважения и дружбы, принес мне утешение, в котором я в то время так нуждался, и дал мне силы и решимость заслужить их. С этого момента я

стал исполнять свой долг; но несомненно, что, если б Сен-Ламбер оказался менее разумным, менее великодушным, менее порядочным, я погиб бы безвозвратно.

Погода портилась, и начинался отъезд из деревни. Г-жа д'Удето указала мне день, когда она рассчитывала приехать проститься с долиной, и назначила мне свиданье в Обоне. Этот день случайно оказался тем самым, в который г-жа д'Эпине покидала Шевретту и отправлялась в Париж, где должна была закончить приготовления к своему путешествию. К счастью, она уехала утром, и у меня еще было время, расставшись с ней, пойти пообедать к ее невестке. В кармане у меня было письмо Сен-Ламбера; я несколько раз перечитал его на ходу. Это письмо послужило мне защитой от собственной слабости. Я принял и выполнил решение видеть в г-же д'Удето только друга и возлюбленную моего друга; и я провел наедине с ней четыре или пять часов в восхитительном спокойствии, бесконечно более приятном, даже в смысле наслаждения, чем те порывы жгучей страсти, которые я испытывал возле нее до тех пор. Слишком хорошо зная, что сердце мое не изменилось, она была тронута моими усилиями владеть собой; она стала больше уважать меня за это, и я имел удовольствие убедиться, что ее расположение ко мне не исчезло. Она сообщила мне о скором возвращении Сен-Ламбера; хотя он и оправился после удара, однако был не в состоянии выносить тяготы войны и решил оставить службу, чтобы спокойно жить возле своей возлюбленной. Мы строили очаровательные планы о тесном кружке из нас троих и, конечно, могли рассчитывать на прочность этого союза, принимая во внимание, что основу его составляли все чувства, способные объединить нежные и открытые сердца, а мы втроем соединяли в себе достаточно талантов и знаний, чтобы довольствоваться друг другом и не нуждаться ни в ком постороннем. Увы! Предаваясь надеждам на такую сладостную жизнь, я и не представлял себе той, которая ожидала меня. Потом мы заговорили о моих теперешних отношениях с г-жой д'Эпине. Я показал письмо Дидро и свой ответ, подробно рассказал обо всем, что произошло в связи с этим, и объявил о своем решении уехать из Эрмитажа. Г-жа д'Удето горячо возражала против этого, приводя доводы, сильно подействовавшие на мое сердце. Она сообщила, как ей хотелось, чтобы я согласился поехать в Женеву, потому что моим отказом непременно воспользуются и постараются скомпрометировать ее. Впрочем, она не настаивала на этом, зная причины моего отказа не хуже меня самого, но заклинала меня любой ценой уклоняться от всякой ссоры и обосновать свое решение достаточно правдоподобными доводами, которые устранят несправедливое подозрение, будто она как-то причастна к нему. Я ответил ей, что она возлагает на меня нелегкую задачу, но что я готов искупить свою вину даже ценой своей репутации и согласен оберегать ее доброе имя всеми способами, с какими только может примириться моя честь. Скоро будет видно, сумел ли я выполнить это обязательство.

Могу поклясться, что не только моя несчастная страсть не утратила своей силы, но что я никогда не любил своей Софи более горячо, более нежно, чем в тот день. Однако так велико было впечатление от письма Сен-Ламбера, так сильно сознание долга и отвращение к вероломству, что во время всего этого свидания я оставался возле нее совершенно спокойным, и у меня даже не было искушения поцеловать ей руку. Прощаясь, она поцеловала меня при своих слугах. Этот поцелуй, столь отличный от тех, которые я похищал у нее иногда под сенью деревьев, был мне залогом того, что я снова владею собой; я почти уверен, что, если б у моего сердца было время окрепнуть в спокойствии, мне не понадобилось бы и трех месяцев, чтобы коренным образом исцелиться.

На этом кончаются мои личные отношения с г-жой д'Удето, – отношения, о которых каждый может судить по внешним признакам, смотря по склонности своего собственного сердца, но в которых моя страсть к этой прелестной женщине, страсть, быть может, самая сильная, какую когда-либо испытал человек, всегда будет возвеличена перед лицом неба и нас обоих необычайными и тяжкими жертвами, принесенными нами долгу, чести, любви и дружбе. Мы слишком высоко стояли в глазах друг друга, чтобы с легким сердцем себя

уронить. Нам слишком дорого было наше взаимное уважение, чтобы мы решились потерять его, и самая сила чувств, которая могла сделать нас виновными, как раз помешала этому.

Вот каким образом после такой продолжительной дружбы с одной из этих женщин и такой горячей любви к другой я в один и тот же день расстался с каждой из них: с одной мы больше никогда в жизни не виделись, а с другой встретились только два раза, при обстоятельствах, о которых я расскажу дальше.

После их отъезда я оказался в большом затруднении: как мне выполнить столько обязательств, неотложных и противоречивых, явившихся последствиями моей опрометчивости? Если б я был в своем обычном состоянии, когда мне предложили поехать в Женеву, мне после моего отказа следовало бы только сидеть смирно, и этим все кончилось бы. Но я так безрассудно поступил, что этого дела нельзя было оставить, и я не мог избежать дальнейших объяснений иначе, как покинув Эрмитаж; однако я обещал г-же д'Удето не делать этого, по крайней мере в данный момент. Кроме того, она потребовала, чтобы я как-нибудь оправдал перед своими так называемыми друзьями отказ от этой поездки, чтобы его не приписали ее влиянию. Между тем я не мог привести истинную его причину, не оскорбив г-жи д'Эпине, которой я, конечно, должен был быть признателен за все, что она сделала для меня. Взвесив все как следует, я увидел, что нахожусь перед тяжким, но неизбежным выбором – погрешить против г-жи д'Эпине, против г-жи д'Удето или против самого себя, – и я решился на последнее. Я решился на это смело, твердо, без уловок и с таким великодушием, что оно бесспорно могло смыть вину, которая довела меня до такой крайности. Мои враги, быть может, ждали этой жертвы, погубившей мою репутацию, и сумели извлечь из нее выгоду: в результате их усилий я лишился уважения общества; но она вернула мне мое собственное уважение и утешила меня в моих несчастиях. Не в последний раз, как будет видно, принес я подобную жертву, и не в последний раз воспользовались этим, чтобы меня сокрушить.

Только Гримм как будто не принимал никакого участия во всей этой истории, и я решил обратиться к нему. Я написал ему длинное письмо, в котором объяснил нелепость попыток вменить мне в обязанность поездку в Женеву, бесполезность, даже обременительность моего присутствия там для г-жи д'Эпине и указал наконец, что это повлекло бы за собой много неудобств для меня самого. Я не устоял перед искушением и дал ему понять, что хорошо осведомлен о некоторых обстоятельствах и считаю очень странным требование, чтобы именно я совершил эту поездку, тогда как сам он уклоняется от нее, и о нем даже не упоминают. Я не имел возможности открыто привести основания своего отказа и вынужден был молоть вздор, так что это письмо могло придать мне в глазах публики видимость немалой вины; но оно было образцом сдержанности и скромности для людей, которые, подобно Гримму, хорошо знали все то, о чем я умалчивал, и они полностью оправдывали мое поведение. Я даже не побоялся добавить лишнее обстоятельство против самого себя: я приписал упреки Дидро другим своим друзьям и намекнул, что так же думает и г-жа д'Удето; это было верно, но я умолчал, что, убежденная моими доводами, она изменила свое мнение. Я притворился, что досадую на нее, – это был лучший способ снять с нее подозрения в сообщничестве со мной.

Письмо мое заканчивалось доказательством доверия, которым всякий другой был бы тронут: я убеждал Гримма взвесить мои доводы и высказать потом свое мнение; при этом я соглашался последовать его совету, каков бы он ни был; и я действительно намерен был так поступить, даже если б он настаивал на моем отъезде. Раз г-н д'Эпине сопровождал свою жену в этой поездке, моя роль становилась совершенно другой, тогда как ведь сначала хотели возложить все на меня, и о нем зашла речь только после моего отказа.

Ответ Гримма заставил себя ждать и был очень странный. Привожу его здесь (смотрите связку A, № 59):

«Отъезд г-жи д’Эпине отложен; ее сын болен, и приходится ждать его выздоровления. Я обдумаю ваше письмо. Сидите спокойно у себя в Эрмитаже. Я сообщу вам мое мнение в свое время. Так как она во всяком случае не уедет в ближайшие дни, торопиться нет нужды. Пока, если считаете своевременным, можете предложить ей свои услуги, хоть это не кажется мне существенным. Зная ваше положение так же хорошо, как вы сами, она, без сомнения, ответит на это предложение, как должно. По-моему, вы выиграете лишь то, что получите возможность сказать тем, кто настаивает на вашей поездке, что вы предлагали свои услуги, но их не приняли. Впрочем, я не понимаю, почему вы думаете, что наш философ – рупор всего света. Если он хочет, чтоб вы ехали, почему вы воображаете, что и все ваши друзья этого хотят? Напишите г-же д’Эпине, – ответ ее может послужить возражением всем этим друзьям, раз вам так хочется им возразить. Прощайте; шлю поклон г-же Левассер и Прокурору»[{365}].

Я был изумлен, ошеломлен этим письмом. Охваченный тревогой, я старался понять, что оно может значить, – и не находил ему разгадки. Как! Вместо того чтобы попросту ответить на мое письмо, он обещает его «обдумать», как будто у него мало было для этого времени! Он даже предупреждает, что мне придется подождать, как будто речь шла о разрешении глубокой проблемы или как будто для его намерений было важно отнять у меня всякую возможность проникнуть в его мысли до той минуты, когда он пожелает объявить их мне! Что же означают эти предосторожности, эти проволочки, эта таинственность? Разве так отвечают на доверие? Это ли язык чистосердечия и искренности? Я напрасно старался найти благородное толкование этому поведению; я не находил его. Каково бы ни было его намерение, если оно было направлено против меня, ему нетрудно было достигнуть цели, а я ничем не мог помешать этому. Обласканный в доме большого вельможи, принятый в свете, задавая тон в наших общих кружках, где он был оракулом, он мог, с обычной своей ловкостью, производить какие угодно манипуляции, а у меня, одиноко живущего в своем Эрмитаже, далекого от всего, лишенного чьих бы то ни было советов, не имеющего ни с кем сношений, – у меня не было другой возможности, как только ждать и сидеть смирно. Я ограничился тем, что написал г-же д’Эпине самое учтивое письмо по поводу болезни ее сына, но избежал западни и не предложил сопровождать ее.

После бесконечного ожидания в самой мучительной неизвестности, в какую вверг меня этот жестокий человек, я узнал через неделю или полторы, что г-жа д’Эпине уехала, и получил от Гримма второе письмо. Оно состояло только из семи или восьми строк, но я их даже не дочитал… Это был разрыв, но в выражениях, продиктованных самой адской злобой, становившихся даже глупыми из-за чрезмерного желания сделать их обидными. Он лишал меня возможности лицезреть его, словно запрещая въезд в свои владения. Если б я мог хладнокровно прочесть это письмо, я бы расхохотался. Но я не перечитал его, даже не дочитал до конца; я сейчас же отослал его обратно со следующей запиской:

«Я долго не поддавался справедливому недоверию, но наконец узнал вас, хоть и слишком поздно.

Так вот какое письмо соблаговолили вы обдумать на досуге! Возвращаю его вам: оно писано не для меня. Мое письмо можете показывать кому угодно и можете открыто ненавидеть меня; с вашей стороны будет одной ложью меньше».

Разрешая ему показывать мое предыдущее письмо кому угодно, я имел в виду один пункт в его письме, по которому можно судить о величайшей ловкости, с какой он повел все это дело.

Я уже сказал, что людям, не осведомленным в обстоятельствах, мое письмо могло дать повод к большим нареканиям на меня. Он с радостью заметил это; но как воспользоваться этим преимуществом, не компрометируя себя? Показывая это письмо, он навлек бы на себя упрек в злоупотреблении доверием друга.

Чтобы выйти из этого затруднения, он задумал порвать со мной самым обидным образом и подчеркнуть в своем письме, что щадит меня, не показывая моего письма. Он был твердо уверен, что под влиянием гнева и возмущения я отклоню его притворную деликатность и разрешу ему показывать мое письмо всем: именно этого-то он и добивался, и все случилось так, как он подготовил. Он пустил мое письмо по всему Парижу со своими комментариями, не имевшими, однако, такого успеха, как он ожидал. Нашли, что разрешение показывать мое письмо, которое он сумел у меня вынудить, не избавляет его от порицания за то, что он с такой готовностью поймал меня на слове и старается вредить мне. Все спрашивали, какие у нас с ним личные счеты? Чем вызвана столь сильная ненависть? Наконец, находили, что, если б даже с моей стороны была вина, вынуждавшая его пойти на разрыв, – дружба, даже угасшая, все же имеет свои права, и ему следовало уважать их. Но, к несчастью, Париж легкомыслен; мимолетные суждения быстро забываются; отсутствующим неудачником пренебрегают; удачливый хитрец импонирует своим присутствием; игра интриги и злобы длится, возобновляется, и вскоре ее непрестанное действие уничтожает все, что ей мешало.

Вот каким образом, после такого долгого обмана, этот человек наконец снял передо мной маску, убежденный, что при созданном им положении дел он уже в ней не нуждается. Освободившись от опасения быть несправедливым к этому негодяю, я его предоставил собственной совести и перестал думать о нем. Через неделю после этого письма я получил от г-жи д'Эпине ответ на мое предыдущее письмо, написанный в Женеве (связка В, № 10). По тону, какой она взяла в нем в первый раз в жизни, я понял, что и он, и она, рассчитывая на успех своих козней, действуют заодно и, считая меня человеком безвозвратно погибшим, предаются уже безо всякого риска удовольствию окончательно уничтожить меня.

Положение мое действительно было самым плачевным. Я видел, что от меня отдаляются все мои друзья, и не имел возможности узнать, как и почему это случилось. Дидро, хвалившийся, что всегда останется моим другом и вот уже три месяца обещавший посетить меня, все не являлся. Между тем наступила зима, а с ней начались приступы моих обычных болезней, Мой организм, хоть и крепкий, не мог вынести борьбы стольких противоположных страстей. Я был так изнурен, что не имел ни сил, ни мужества ничему противостоять. Если бы, вопреки моим обязательствам, вопреки настойчивым доводам Дидро и г-жи д'Удето, я решился в это время покинуть Эрмитаж, я не знал бы, куда мне деваться и как выбраться. Я оставался в неподвижности и отупении, не имея сил ни действовать, ни думать о чем бы то ни было. Одна мысль о том, чтобы сделать шаг, написать письмо, сказать несколько слов, приводила меня в содрогание. Однако я не мог оставить без возраженья письмо г-жи д'Эпине, если не хотел признать себя достойным того обращения, какому она и ее друг подвергали меня. Я решил высказать ей свои чувства и намерения, ни одной минуты не сомневаясь, что из человечности, из великодушия, из благопристойности, из добрых чувств, которые, мне казалось, она сохранила ко мне наряду с дурными, она поспешит согласиться со мной. Вот мое письмо:

Эрмитаж, 23 ноября 1757 г.

«Если б от скорби умирали, то меня уж не было бы в живых. Но в конце концов я принял решение. Наша дружба угасла, сударыня; но хотя ее уже нет, она сохраняет свои права, и я умею их уважать. Я не забыл вашей доброты ко мне, и если я уже не могу любить вас, то все

же вы можете рассчитывать на мою признательность к вам. Всякое другое объяснение было бы излишним: за меня моя совесть, вас я отсылаю к вашей.

Я хотел уехать из Эрмитажа и должен был сделать это. Но говорят, что мне следует остаться здесь до весны. Раз мои друзья этого хотят, я останусь до весны, если вы согласны».

Написав и отправив это письмо, я стал думать только о том, как бы успокоиться, поправить в Эрмитаже свое здоровье, восстановить свои силы и принять меры к тому, чтобы уехать весной без шума и не подчеркивая разрыва. Но, как сейчас будет видно, это не входило в расчеты г-на Гримма и г-жи д'Эпине.

Несколько дней спустя я наконец имел удовольствие дождаться посещения Дидро, столько раз обещанного и откладываемого. Оно пришлось как нельзя более кстати: Дидро был мой самый старый друг, почти единственный, оставшийся у меня; можно представить себе, с какой радостью я увидел его при подобных обстоятельствах. Сердце мое было переполнено, я его излил перед ним. Я открыл ему глаза на многие факты, которые перед ним утаили, извратили или выдумали. Я рассказал ему из всего происшедшего то, что имел право рассказать. Я не делал вида, будто скрываю от него то, что он слишком хорошо знал: что причиной моей гибели была любовь, столь же несчастная, как и безрассудная, но я не признался, что г-жа д'Удето была о ней осведомлена или по крайней мере что я открылся ей. Я рассказал ему о недостойных проделках г-жи д'Эпине, старавшейся завладеть совершенно невинными письмами ее невестки ко мне. Мне хотелось, чтобы он узнал об этих подробностях от тех самых лиц, которых она пыталась подкупить. Тереза рассказала все как было; но что сталось со мной, когда очередь дошла до матери и я услышал, как она объявила, будто ровно ничего об этом не знает! Таковы были ее слова, и она никогда от них не отказывалась. Не прошло и четырех дней с тех пор, как она мне самому повторила этот рассказ, и вот в присутствии моего друга она говорит мне в глаза, что это ложь. Такой поступок показался мне решающим, – тут я хорошо понял, как неосторожно с моей стороны было держать эту женщину около себя. Я не разразился упреками; я едва удостоил ее нескольких презрительных слов. Я понял, чем обязан дочери, непоколебимая прямота которой представляла такой контраст с недостойной низостью матери. Но с той поры я принял твердое решение расстаться с этой старухой и ждал только удобного момента.

Этот момент наступил раньше, чем я ожидал. 10 декабря я получил от г-жи д'Эпине ответ на свое предыдущее письмо.

(Связка Б, № 11.) Вот его содержанье:

Женева, 1 декабря 1757 г.

«В течение нескольких лет я всячески выказывала вам дружбу и участие; теперь мне остается только пожалеть вас. Вы очень несчастны. Желаю, чтобы ваша совесть была так же чиста, как моя. Это, может быть, будет необходимо для вашего покоя.

Если вы хотели уехать из Эрмитажа и должны были сделать это, меня удивляет, как ваши друзья могли остановить вас. Что касается меня, – я не советуюсь с друзьями о том, что велит мне мой долг, и мне больше нечего сказать вам о вашем».

Столь неожиданная, с такою резкостью выраженная отставка не оставляла мне ни минуты для колебаний. Надо было немедленно уехать, какова бы ни была погода, в каком бы я ни был состоянии, если б даже мне пришлось провести ночь в лесу и на снегу, покрывавшем тогда землю; и чтобы ни сказала и ни сделала г-жа д'Удето, она не могла бы удержать меня: я очень желал угодить ей во всем, однако не доходя до низости.

Я оказался в самом ужасном затруднении, какое когда-либо испытывал; но мое решение было принято; я поклялся, что, при любых обстоятельствах, я через неделю покину Эрмитаж. Я приступил к вывозу своего имущества, решив скорей бросить его в поле, чем не сдать через неделю ключи; я прежде всего хотел, чтобы все было кончено раньше, чем напишут об этом в Женеву и получат ответ. Никогда еще я не чувствовал в себе такого мужества; все мои силы вернулись ко мне. Чувство чести и негодование возвратили мне их, чего г-жа д'Эпине, несомненно, не ожидала. На помощь мне пришел счастливый случай. Г-н Мата, уполномоченный принца Конде{366} при вотчинном суде, услыхал о моих затруднениях. Он велел предложить мне домик в своем саду Мон-Луи, в Монморанси. Я принял предложение с готовностью и благодарностью. Сделка немедленно состоялась; я велел прикупить кое-какую мебель к той, что уже была у меня, чтобы нам с Терезой было на чем спать. Я велел перевезти вещи на телегах; это стоило большого труда и больших затрат. Несмотря на лед и снег, мой переезд был окончен в два дня, и 15 декабря я сдал ключи от Эрмитажа, уплатив жалованье садовнику, но не имея возможности уплатить за помещение.

Что касается г-жи Левассер, то я объявил ей, что нам надо расстаться; дочь пыталась поколебать это решение, но я остался непреклонен. Я отправил ее в Париж в наемном экипаже, с теми вещами и мебелью, которые были общие у нее с дочерью. Я дал ей немного денег и обязался платить за ее помещение у ее детей или в другом месте, заботиться о ее пропитании, насколько это будет для меня возможно, и никогда не оставлять ее без куска хлеба, пока он будет у меня самого.

Наконец, на второй день после моего приезда в Мон-Луи, я написал г-же д'Эпине следующее письмо:

Монморанси, 17 декабря 1757 г.

«Ничего не может быть проще и неотложнее, сударыня, как выехать из вашего дома, раз вам неугодно, чтобы я оставался в нем. Так как вы не согласны на то, чтоб я прожил в Эрмитаже до весны, я уехал оттуда 15 декабря. Мне было предназначено судьбой въехать в этот дом против своего желания и точно так же выехать из него. Благодарю вас за ваше приглашенье поселиться там и благодарил бы еще больше, если б заплатил за него не так дорого. Вы правы, считая меня несчастным; никто на свете не знает лучше вас, как это верно. Если несчастье – ошибиться в выборе своих друзей, то не меньшее несчастье – очнуться от столь сладкого заблужденья».

Вот правдивый рассказ о моем пребывании в Эрмитаже и о причинах, заставивших меня уехать оттуда. Я не мог его сократить; важно было изложить все с величайшей точностью, так как эта эпоха моей жизни имела на последующее такое влияние, которое продлится до моего последнего дня.

Книга десятая (1758–1759)

Необычайная энергия, вызванная во мне временным возбуждением и позволившая мне уехать из Эрмитажа, покинула меня, как только я оказался за его пределами. Едва я устроился на новом месте, как сильные и частые приступы моей болезни осложнились новыми страданиями: меня с некоторых пор мучила грыжа, причем я не знал, что со мной. Скоро я стал жертвой жесточайших припадков. Врач Тьерри, мой старый друг, навестил меня и объяснил мне мое состояние. Зонды, свечи, бандажи и прочие атрибуты старческих недугов, разложенные вокруг, заставили меня жестоко почувствовать, что нельзя безнаказанно сохранять молодое сердце, когда тело перестало быть молодым. Весна нисколько не восстановила моих сил; я провел весь 1758 год в состоянии изнеможенья и думал, что уже подхожу к концу своего жизненного пути. Я ждал этого момента с каким-то нетерпеньем. Отрешившись от химер дружбы, освободившись от всего, что заставляло меня любить жизнь, я больше не видел в ней ничего, что могло бы сделать ее для меня приятной; впереди мне представлялись одни страданья и беды, мешающие наслаждаться существованием. Я мечтал о том, как я стану мгновенно свободным и навеки спасусь от врагов. Но вернемся к нити событий.

Мой переезд в Монморанси как будто озадачил г-жу д'Эпине: она этого, видимо, не ожидала. Плохое состояние моего здоровья, суровое время года, всеобщее забвенье, в котором я оказался, – все внушало ей и Гримму уверенность, что, доведя меня до последней крайности, они вынудят меня просить пощады и униженно добиваться, чтоб меня оставили в убежище, откуда чувство чести повелевало мне удалиться. Я переехал так внезапно, что у них не было времени предотвратить удар и не оставалось другого выбора, как только поставить все на карту и либо окончательно потерять меня, либо постараться вернуть в Эрмитаж. Гримм выбрал первое; но мне кажется, г-жа д'Эпине предпочла бы второе; об этом я сужу по ее ответу на мое последнее письмо, где она заметно смягчает тон, взятый ею в предыдущих письмах, и как будто оставляет открытым путь к примирению. Она заставила меня ждать ответа целый месяц, и такое запоздание тоже говорит о том, что ей трудно было придать ему приличную форму и придумать необходимое объяснение. Выказывать особую любезность она не могла, не компрометируя себя; но после прежних ее писем и моего неожиданного отъезда можно только удивляться, как тщательно она избегает какого бы то ни было обидного слова. Привожу ее ответ целиком (связка Б, № 23), чтобы читатели могли судить об этом:

Женева, 17 января 1758 г.

«Только вчера, милостивый государь, я получила ваше письмо от 17 декабря. Мне прислали его в ящике, полном разных вещей, а ящик находился в пути все это время. Я отвечу только на приписку: само письмо мне не совсем понятно. Если б у нас была возможность объясниться, я охотно отнесла бы все происшедшее за счет недоразуменья. Возвращаюсь к приписке. Как вы, наверно, помните, милостивый государь, мы условились, что жалованье садовнику в Эрмитаже будет проходить через ваши руки, чтобы дать ему сильнее почувствовать свою зависимость от вас и избавить вас от смешных и непристойных сцен, подобных тем, которые устраивал его предшественник. Доказательством этому служит то, что его жалованье за первые два квартала было вручено вам, а за несколько дней до своего отъезда я условилась с вами, что суммы, выданные вами вперед, будут вам возвращены. Я знаю, что сначала вы отказывались; но ведь вы выплачивали вперед по моей просьбе – следовательно, я должна вернуть долг, как мы и договорились. Кагуэ сообщил мне, что вы не пожелали взять эти деньги. Решительно тут какое-то недоразумение. Я отдала распоряжение, чтобы их опять отнесли вам; право, я не вижу причины, почему вы, несмотря на наш уговор, желаете

оплачивать моего садовника, – и даже за то время, когда вы уже не жили в Эрмитаже. Итак, я надеюсь, милостивый государь, что, вспомнив все, о чем я имею честь вам писать, вы не откажетесь принять деньги, любезно уплаченные вами за меня».

После всего, что произошло, я потерял доверие к г-же д'Эпине и решил не возобновлять с ней отношений; я не ответил на это письмо, и наша переписка на этом кончилась. Видя, что мое решение принято, она приняла свое и, примкнув уже целиком к замыслу Гримма и гольбаховской клике, сообща с ними старалась потопить меня. Пока они орудовали в Париже, она действовала в Женеве. Гримм, впоследствии уехавший к ней, довершил то, что она начала. Троншен, которого они привлекли без труда, оказал им деятельную поддержку и стал одним из самых свирепых моих преследователей, хотя, подобно Гримму, никогда не имел ни малейшего повода на меня жаловаться. Все трое в полном согласии принялись тайно сеять в Женеве семена, давшие жатву четыре года спустя.

Трудней пришлось им в Париже, где я был более известен, а сердца менее расположены к ненависти и не так легко проникаются ею. Чтобы наносить удары с большей меткостью, они прежде всего пустили слух, будто я отошел от них по своему почину (смотрите письмо Делейра, связка Б, № 30). После этого, прикидываясь по-прежнему моими друзьями, они стали ловко распространять коварные обвинения, придавая им характер жалоб на несправедливость друга. Таким образом они вызывали больше доверия, их охотнее выслушивали, а меня порицали. Глухие обвинения в предательстве и неблагодарности произносились с большой осторожностью, но тем большее впечатление производили. До меня дошло, что они приписывают мне чудовищные злодейства, но я никогда не мог узнать, в чем, по их рассказам, эти злодейства заключались. На основании молвы я мог вывести только то, что речь шла о следующих четырех главных преступленьях: 1) моем удалении в деревню; 2) моей любви к г-же д'Удето; 3) отказе сопровождать в Женеву г-жу д'Эпине; 4) отъезде из Эрмитажа. Если они прибавляли к этому еще другие упреки, то приняли при этом такие надежные меры, что мне оказалось совершенно невозможным когда-либо узнать, в чем эти упреки заключались.

Именно к этому-то моменту я, кажется, могу приурочить изобретение той системы, которую мои гонители применяли с успехом столь огромным, что это может показаться чудом всякому, кто не знает, с какой легкостью принимается на веру все, что благоприятствует человеческой злобе. Постараюсь в немногих словах объяснить, к чему сводится эта темная и таинственная система, насколько мой взгляд мог проникнуть в нее.

Обладая именем уже знаменитым и известным во всей Европе, я сохранил всю простоту своих прежних вкусов. Мое смертельное отвращение ко всему, что называется сговором, кликой, интригой, сохранило мне свободу и независимость, не знающую других цепей, кроме сердечных привязанностей. Одинокий, всюду чужой, живущий в уединении, без опоры, без семьи, не признавая ничего, кроме своих принципов и обязанностей, я бесстрашно следовал путями правды, ни в ком не заискивая и никого не щадя в ущерб истине и справедливости. Более того, удалившись за два года перед тем в уединение, не переписываясь ни с кем о злободневных событиях, не имея отношения к тому, что делается в свете, не получая никаких известий и не интересуясь ими, я жил в четырех лье от Парижа, столь же отделенный от этой столицы своим равнодушием, как был бы отделен от нее морским пространством, живя на острове Тиньяне{367}.

Гримм, Дидро, Гольбах, наоборот, находясь в центре круговорота, жили, вращаясь в самом высшем свете, и делили между собой едва ли не все его сферы. Сговорившись, они могли заставить слушать их всюду: среди вельмож, остроумцев, литераторов, судейских чинов и женщин. Ясно, какое это давало преимущество трем тесно сплотившимся лицам против четвертого, находившегося в том положении, в каком оказался я. Правда, Дидро и Гольбах были не из тех (по крайней мере я так думаю), кто способен плести черные интриги:

у одного на это не хватило бы злости[48], а у другого – ловкости; но именно благодаря этому союз их был прочнее. Гримм один составлял у себя в голове план и сообщал из него остальным только то, что могло привлечь их к соучастию. Он имел на них такое влияние, что легко этого добивался, а результаты соответствовали его великой изобретательности.

Эта великая изобретательность подсказала ему, какое преимущество представляет его позиция по сравнению с моей; поэтому он замыслил, не компрометируя себя, испортить мою репутацию и создать мне совершенно противоположную, окружая меня при этом глухой стеной, которую мне невозможно было пробить, чтобы бросить свет на его происки и сорвать с него маску.

Такое предприятие было нелегким, поскольку надо было скрыть всю его мерзость от глаз тех, кто должен был принять в нем участие. Надо было обмануть порядочных людей; надо было отстранить от меня всех, не оставив мне ни одного друга – ни малого, ни великого. Да что я говорю! Надо было устроить так, чтобы ни одного слова правды не дошло до меня. Если бы хоть один великодушный человек пришел и сказал мне: «Вы разыгрываете добродетельного, а между тем вот что говорят про вас и вот на основании чего о вас судят. Что вы на это скажете?», правда восторжествовала бы, и Гримм был бы уничтожен. Он это знал; но он изучил самого себя и мерил людей по своей мерке. Мне обидно за честь человечества, что расчет его был так верен. Он вел свой подкоп во мраке и поневоле должен был продвигаться к своей цели медленно. Вот уж двенадцать лет, как он следует своему замыслу, а самое трудное еще не сделано: надо еще обмануть все общество. Еще есть глаза, следящие за ним пристальней, чем он думает. Он этого опасается и еще не смеет выставить свои козни на свет божий[49]. Но он открыл нетрудный способ вовлечь в них власть, и эта власть вершит мою судьбу. Имея эту опору, он подвигается вперед с меньшим риском. Так как приспешники власти не испытывают особого стремления к правому пути и еще меньше к откровенности, ему уже больше не приходится опасаться вмешательства кого-либо из порядочных людей; прежде всего нужно, чтоб я был окружен непроницаемым мраком и чтобы его козни были постоянно скрыты от меня, ибо он знает, что, с каким бы искусством он ни ткал их, они никогда не выдержат моего взгляда. Великая ловкость этого клеветника заключается в том, что он как бы щадит меня и придает своему вероломству видимость великодушия.

Я уловил первые последствия этой системы по глухим обвинениям со стороны гольбаховской клики, хотя и не мог ни понять, ни даже догадаться, в чем эти обвинения заключаются. Делейр сообщал мне в своих письмах, что мне приписывают какие-то злодейства; то же самое, но более таинственно, говорил мне Дидро. Но когда я вступал с тем и другим в объяснения, все сводилось к вышеперечисленным пунктам. Я чувствовал постепенное охлаждение в письмах г-жи д'Удето. Я не мог приписывать это Сен-Ламберу, – он продолжал мне писать все так же дружески и даже навестил меня после своего возвращения. Не мог я приписать причину этого и себе, потому что мы расстались с нею очень дружелюбно. И с того времени только мой отъезд из Эрмитажа мог быть ей неприятен, но она сама поняла его необходимость. И вот, не зная, чему приписать это охлаждение, в котором она не признавалась, но которое было слишком заметно моему сердцу, я стал опасаться всего. Я знал, что она очень считается со своей невесткой и Гриммом, из-за их отношений с Сен-Ламбером; я боялся их интриг. Из-за этих волнений опять открылись мои раны, и мои письма стали такими бурными, что она прекратила со мной переписку.

Мне мерещились тысячи ужасов, но что происходило в действительности, я не мог разобрать отчетливо. Такое положение невыносимо для человека с воображением, легко вос-

---

[48] С тех пор как была написана эта книга, все, что мне удалось различить в окружающей меня тайне, вызывает во мне опасение, что я не знал Дидро. (*Прим. Руссо*.)

[49] С тех пор как это было написано, он совершил этот шаг с самым полным и непостижимым успехом. Мне кажется, это Троншен сообщил ему необходимое мужество и средства. (*Прим. Руссо*.)

пламеняющимся. Если бы я жил в совершенном уединении, если б не знал ничего, я был бы спокойнее; но сердце мое еще хранило привязанности, дававшие моим врагам тысячу преимуществ передо мною, и пробивавшиеся в мое убежище слабые лучи позволяли мне лучше различать глубину скрываемых от меня тайн.

Я, несомненно, изнемог бы от этой муки, слишком жестокой, слишком невыносимой для моего открытого и прямого характера, ибо я не умею скрывать свои чувства и страшусь тех, которые скрыты от меня; но, по счастью, представилось нечто интересное для моего сердца, отвлекшее меня от того, чем я был поглощен против воли, и это подействовало на меня благотворно. Навестив меня последний раз в Эрмитаже, Дидро говорил мне о статье «Женева», которую д'Аламбер написал для «Энциклопедии»;{368} он сообщил мне, что эта статья, согласованная с некоторыми женевцами из высшего круга, имела целью учреждение в Женеве театра, что меры приняты и театр не замедлит открыться. Так как Дидро, по-видимому, находил, что это очень хорошо, и не сомневался в успехе, и так как у меня с ним было слишком много других спорных вопросов, помимо этой статьи, я ничего не сказал ему; но, возмущенный всей этой затеей, имеющей целью занести соблазн на мою родину, я с нетерпением ждал тома «Энциклопедии» с этой статьей, чтобы решить, не будет ли возможности выступить с каким-нибудь возраженьем, которое отразило бы жестокий удар. Я получил этот том после того, как поселился в Мон-Луи, и нашел, что статья написана очень ловко, искусно и достойна ее автора. Это, однако, не заставило меня отказаться от намерения ответить на нее. Несмотря на угнетенное состояние, несмотря на свои жестокие огорченья, на суровое время года и неудобства моего нового жилища, где я еще не успел устроиться, я принялся за работу с усердием, все преодолевшим.

Довольно суровой зимой, в феврале месяце, находясь в состоянии, описанном выше, я каждый день отправлялся на два часа по утрам и на столько же после обеда в открытую башню, стоявшую на краю сада, в котором находился мой домик. Башня эта, возвышавшаяся в конце проведенной по насыпи аллеи, выходила на долину и пруд в Монморанси, и с нее можно было видеть на горизонте простой, но внушительный замок Сен-Грасьен, убежище добродетельного Катина{369}. В этом помещении, в то время обледенелом, не защищенном от ветра и снега, я работал, не согреваемый никаким огнем, кроме огня своего собственного сердца, и в течение трех недель составил свое «Письмо к д'Аламберу о зрелищах»{370}. Это было – поскольку «Юлия» была готова только наполовину – первое из моих произведений, работая над которым я испытывал удовольствие. До тех пор возмущенная добродетель заменяла мне Аполлона; на этот раз его заменили душевная нежность и кротость. Несправедливости, которых я был лишь свидетелем, приводили меня в гнев; те, которых я стал жертвой, опечалили меня; но моя печаль, лишенная желчи, была печалью сердца, слишком любящего, слишком нежного, обманувшегося в тех, кому оно приписывало свой собственный склад, и вынужденного замкнуться в самом себе. Переполненное всем, что со мной только что произошло, еще встревоженное столькими потрясениями, сердце мое смешивало свои страдания с мыслями, которые рождались во мне при обдумывании моей темы, и это сказалось в моем сочиненье. Сам того не замечая, я описал в нем свое тогдашнее положение; я обрисовал Гримма, г-жу д'Эпине, г-жу д'Удето, Сен-Ламбера, самого себя. Сколько восхитительных слез пролил я за этой работой! Увы, в ней слишком чувствуется, что любовь, роковая любовь, от которой я старался излечиться, не покинула моего сердца. Ко всему этому примешивалась какая-то жалость к себе: я чувствовал себя умирающим и обращался к людям с последним прости. Далекий от страха смерти, я смотрел на ее приближение с радостью; но мне было жаль покинуть ближних, прежде чем они узнают, чего я стою, прежде чем поймут, как любили бы они меня, если б лучше меня знали. Вот тайные причины особого тона, которым это сочинение так резко отличается от предыдущего.

Я исправил «Письмо к д'Аламберу», переписал его начисто и уже собирался отдать в печать, как вдруг, после долгого молчания, получил письмо от г-жи д'Удето, повергшее меня в новую печаль, самую сильную из всех, какие мне до тех пор доводилось испытывать. В этом письме (связка Б, № 34) она сообщала мне, что моя страсть к ней известна всему Парижу; что я говорил о своем чувстве людям, предавшим его огласке; что слухи о нем, дойдя до ее любовника, чуть не стоили ей жизни; что, наконец, он оценил ее поведение по справедливости и мир между ними восстановлен, но что она обязана ради него, так же как ради себя самой и своей репутации, порвать со мной всякие отношения; впрочем, она уверяла меня, что оба они никогда не перестанут интересоваться мной, будут защищать меня в обществе, а она будет время от времени справляться обо мне.

«И ты, Дидро! – воскликнул я. – Недостойный друг!..» Однако я все еще не мог решиться осудить его. Ведь моя слабость была известна и другим людям, и они могли рассказать о ней. Я хотел сомневаться… но вскоре это уже стало невозможным. Некоторое время спустя Сен-Ламбер совершил поступок, достойный его великодушия. Достаточно зная меня, он представлял себе, в каком состоянии я должен был находиться, когда одни из друзей меня предали, а другие покинули. Он навестил меня. В первый раз у него было мало времени. Он приехал второй раз. К сожалению, я не ждал его и меня не было дома. Он застал Терезу, и их беседа продолжалась более двух часов. Они сообщили друг другу немало фактов, которые было очень важно знать и ему, и мне. Через него я с изумлением узнал, что в свете все уверены, будто г-жа д'Эпине жила со мной, как она живет теперь с Гриммом, и Сен-Ламбер изумился в свою очередь, узнав, насколько этот слух ложен. К великому неудовольствию этой дамы, Сен-Ламбер был на моей стороне; и все разъяснения, полученные мной в результате этой беседы, окончательно уничтожили во мне всякое сожаление о том, что я бесповоротно порвал с ней. Относительно г-жи д'Удето он сообщил Терезе несколько подробностей, неизвестных ни ей, ни даже самой г-же д'Удето; знал их только я и доверил одному Дидро на правах дружбы; и для того чтобы поведать о них, он выбрал как раз Сен-Ламбера. Это последнее обстоятельство заставило меня окончательно решиться и порвать с Дидро; но я долго обдумывал, как это осуществить, – я заметил, что тайные разрывы оказывались невыгодными для меня, поскольку позволяли самым жестоким моим врагам по-прежнему носить маску дружбы.

Правила приличия, установленные на этот счет в свете, словно продиктованы духом лжи и предательства. Казаться другом человека, когда вы перестали им быть, – значит, оставлять за собой возможность вредить ему, обманывая честных людей. Я вспомнил, как знаменитый Монтескье, поссорившись с отцом де Турнемином{371}, стал во всеуслышание объявлять об этом, говоря всем и каждому: «Не слушайте ни отца Турнемина, ни меня, когда мы говорим друг о друге, потому что мы перестали быть друзьями». Этот образ действий встретил живое одобрение; все хвалили его прямоту и великодушие. Я решил в отношении Дидро последовать этому примеру. Но как из моего уединения объявить о разрыве достоверным образом и не вызвать скандала? Я решил вставить в свое сочиненье, в виде примечания, отрывок из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»{372}, полагая, что тогда этот разрыв и даже повод к нему станут совершенно ясными для посвященных, а остальные ничего не будут знать; а главное – я старался упоминать о друге, от которого отказывался, с уважением, подобающим даже угасшей дружбе. Все это можно видеть в самом сочинении.

В этом мире не знаешь, где найдешь, где потеряешь; и, видно, всякий честный поступок становится преступлением, если враждебна судьба. Тот самый шаг, которым восхищались в Монтескье, на меня навлек только порицания и упреки. Как только сочиненье мое было напечатано и я получил его экземпляры, я послал один из них Сен-Ламберу, который накануне написал мне от имени г-жи д'Удето и своего самую дружескую записку (связка Б, № 37). А вот что он написал мне, отсылая обратно экземпляр моей книги (связка В, № 38):

Обои, 10 октября 1758 г.

«Право, сударь, я не могу принять вашего подарка. Когда я прочел строки, где, упоминая о Дидро, вы цитируете отрывок из «Экклезиаста» (он ошибается: это из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»), книга выпала у меня из рук. После наших разговоров этим летом вы, казалось мне, убедились в том, что Дидро неповинен в нескромности, которую вы ему приписываете. Может быть, он в чем-нибудь и виноват перед вами, – мне это неизвестно. Но я полагаю, что это не дает вам права наносить ему публичное оскорбление. Вы знаете, каким преследованиям он подвергается, и вы присоединили голос прежнего друга к крикам завистников. Не могу скрыть от вас, сударь, насколько этот чудовищный поступок возмущает меня. Я не связан дружбой с Дидро, но я почитаю его и глубоко чувствую, какое огорчение вы причиняете человеку, которого – по крайней мере при мне – вы никогда не упрекали ни в чем, кроме некоторой слабости характера. Сударь, мы слишком расходимся в принципах, чтобы когда-нибудь договориться. Забудьте о моем существовании; наверное, это вам будет нетрудно. Я никогда не делал людям ни большого добра, ни большого зла, о которых помнят долго. Со своей стороны обещаю вам, сударь, забыть вашу личность и помнить только ваш талант».

Это письмо столько же истерзало, сколько возмутило меня; чрезмерность огорченья наконец вернула мне гордость, и я ответил ему следующей запиской:

Монморанси, 11 октября 1758 г.

«Сударь, читая ваше письмо, я оказал вам честь, удивившись ему, и имел глупость испытать из-за него волненье; но я нашел, что оно недостойно ответа.

Я больше не хочу переписывать по заказам г-жи д'Удето. Если она не имеет намерения оставить у себя то, что находится у нее, то может прислать мне обратно; я верну ей деньги. Если она оставит рукописи у себя, – пусть все-таки пришлет за оставшейся бумагой и деньгами. Прошу ее одновременно вернуть мне проспект, который у нее хранится. Прощайте, сударь».

Мужество в несчастье бесит низкие сердца, но нравится сердцам великодушным. По-видимому, записка эта заставила Сен-Ламбера одуматься, и он пожалел о том, что сделал; но, в свою очередь слишком гордый, чтобы сознаться в этом открыто, он ухватился за возможность смягчить нанесенный им удар, а может быть, сам эту возможность и подготовил. Через две недели я получил следующее письмо от г-на д'Эпине (связка Б, № 10):

Четверг, 26-го

«Я получил книгу, сударь, которую вы были так добры прислать мне, и читаю ее с величайшим удовольствием. Я всегда испытывал удовольствие при чтении всех сочинений, вышедших из-под вашего пера. Примите за это мою искреннюю благодарность. Я приехал бы выразить ее вам лично, если бы дела мои позволили мне побыть некоторое время в ваших краях; но нынешний год я провел очень мало времени в Шевретте. Господин и госпожа Дюпен просят меня устроить там обед в ближайшее воскресенье. Я рассчитываю, что приедут также гг. де Сен-Ламбер, де Франкей и г-жа д'Удето. Вы доставили бы мне большое удовольствие, сударь, если б захотели присоединиться к нам. Все мои гости желают вас видеть и будут счастливы разделить со мной удовольствие провести с вами часть дня. Имею честь быть с совершенным уважением и т. д.»

Это письмо заставило сильно биться мое сердце. Пробыв целый год притчей Парижа, я дрожал при мысли о том, чтобы выставить себя напоказ в присутствии г-жи д'Удето, и едва находил в себе мужество подвергнуться такому испытанию. Однако раз она и Сен-Ламбер этого хотят, раз д'Эпине говорит от имени всех приглашенных и не называет среди них ни одного, кого я не был бы рад видеть, я решил, что в конце концов ничем себя не скомпрометирую, если поеду туда, куда меня приглашают как бы все присутствующие. Итак, я обещал быть. В воскресенье была дурная погода. Г-н д'Эпине прислал за мной свою коляску, и я отправился.

Мое появление произвело сенсацию. Меня никогда не встречали так ласково. Казалось, вся компания хорошо понимает, как я нуждаюсь в ободрении. Одни только французские сердца способны на такую деликатность. Между тем я застал там больше гостей, чем ожидал; среди прочих – графа д'Удето, которого я совсем не знал, и его сестру г-жу де Бланвиль, об отсутствии которой не пожалел бы. За год до этого она несколько раз приезжала в Обон, и ее невестка во время своих прогулок со мною нередко подолгу заставляла ее скучать в ожидании нашего возвращения. Она питала ко мне враждебное чувство и за этим обедом потешила его вдоволь. Как нетрудно догадаться, присутствие графа д'Удето и Сен-Ламбера ставило меня в смешное положение, и я, смущавшийся при самой обыкновенной беседе, на этот раз был не слишком блестящ. Никогда я так не страдал, никогда не имел такого жалкого вида, никогда не получал таких неожиданных уколов. Наконец, когда все встали из-за стола, я отошел от этой мегеры; тут я с удовольствием увидел, что Сен-Ламбер и г-жа д'Удето подходят ко мне, и после обеда мы довольно долго беседовали втроем – по правде говоря, о предметах безразличных, но с той же непринужденностью, как до моего проступка. Такое внимание не прошло бесследно для моего сердца, и если бы Сен-Ламбер мог читать в нем, он, конечно, остался бы мною доволен. Могу поклясться, что хотя, приехав в Шевретту, я при виде г-жи д'Удето чуть не лишился чувств от сердцебиения, – возвращаясь, я почти не думал о ней: я был занят одним Сен-Ламбером.

Несмотря на язвительные сарказмы г-жи де Бланвиль, обед этот оказал на меня благотворное действие, и я был очень доволен, что согласился быть на нем. Я убедился, что интриги Гримма и Гольбаха не оторвали от меня моих прежних знакомых[50], и еще приятнее было мне видеть, что чувства ко мне г-жи д'Удето и Сен-Ламбера изменились меньше, чем я думал; и, наконец, я понял, что если он держит ее в отдалении от меня, то причина этому – больше ревность, чем дурное мнение обо мне. Это утешило и успокоило меня. Уверенный в том, что не вызываю презренья у тех, кого уважаю, я с тем большим мужеством и успехом мог бороться с собственным сердцем. Если мне не удалось окончательно потушить в нем преступную и несчастную страсть, я по крайней мере держал ее в таких границах, что с тех пор не совершил ни одной ошибки. Переписка по заказам г-жи д'Удето, которую она предложила мне возобновить, мои сочинения, которые я продолжал посылать ей по мере их выхода, – все это еще вызывало с ее стороны время от времени кое-какие послания и записки, незначительные, но любезные. Она даже сделала больше, как будет видно. Поведение нас троих в отношении друг друга, после того как дружба прекратилась, может служить образцом того, как расстаются порядочные люди, когда им больше не следует видеться.

Обед этот имел для меня и другие выгодные последствия: о нем заговорили в Париже, и он послужил окончательным опровержением слухам, повсюду распространявшимся моими недругами, будто я нахожусь в смертельной вражде со всеми, кто на нем присутствовал, а в особенности с г-ном д'Эпине. Уезжая из Эрмитажа, я очень учтиво благодарил его в письме, он мне ответил не менее учтиво; и свидетельства взаимного вниманья не прекратились ни в отношениях с ним, ни в отношениях с его братом г-ном де Лаливом, который даже приехал

[50] Вот чему в простоте своего сердца я верил, еще когда писал «Исповедь». (*Прим. Руссо.*)

ко мне в Монморанси и прислал мне свои гравюры. Кроме обеих невесток г-жи д'Удето, у меня ни с кем из ее родных никогда не было никаких неприятностей.

«Письмо к д'Аламберу» имело большой успех. Так было со всеми моими сочиненьями, но на этот раз успех был связан с более благоприятными для меня последствиями: с тех пор измышления гольбаховской клики уже вызывали недоверие. Когда я уехал в Эрмитаж, эти господа со свойственным им самомнением предсказывали, что я не выдержу там и трех месяцев. Увидев, что я выдержал двадцать месяцев и, вынужденный уехать из Эрмитажа, все-таки поселился в деревне, они стали утверждать, что я это сделал, только чтоб настоять на своем, и что я до смерти скучаю в этом убежище, но, снедаемый гордыней, предпочитаю пасть там жертвой собственного упрямства, чем отказаться от него и вернуться в Париж. «Письмо к д'Аламберу» было проникнуто душевной кротостью, неподдельность которой чувствовалась. Если б в моем убежище меня грызла печаль, мой тон выдал бы это. Ведь эта печаль сквозила во всех моих произведениях, написанных в Париже, но ее не было в первом же написанном мною в деревне. Для всех умеющих наблюдать – это было решающим. Все убедились, что я вернулся в свою стихию.

Между тем это же самое сочинение, как ни было оно полно кротости, доставило мне из-за моей неловкости и постоянно преследующих меня неудач нового врага среди литераторов. Еще раньше я познакомился у г-на де Поплиньера с Мармонтелем{373}, и знакомство это продолжалось у барона. Мармонтель редактировал «Меркюр де Франс». Из чувства гордости я не посылал своих сочинений редакторам периодических изданий, а в то же время мне хотелось послать Мармонтелю эту статью, но так, чтобы он не подумал, будто она послана ему, как редактору журнала, для отзыва о ней в «Меркюр»; поэтому я написал на предназначавшемся для него экземпляре, что дарю его не редактору журнала «Меркюр», а г-ну Мармонтелю. Я считал, что делаю ему очень лестный комплимент, а он счел это жестоким оскорбленьем и стал моим непримиримым врагом. Он выступил в «Меркюр» против моего «Письма» вежливо, но с желчью, которую нетрудно было заметить, и с тех пор не упускал случая повредить мне в обществе и в скрытой форме поносил меня в своих сочинениях. Как трудно не задеть чрезвычайно чувствительное самолюбие литераторов и какие надо принимать предосторожности, чтобы не оставить даже в комплиментах, которые им делаешь, ничего такого, что может хотя бы самым отдаленным образом давать повод к неправильному толкованию!

Успокоившись во всех отношениях, я воспользовался достигнутым мною досугом и независимостью, чтобы с большим упорством снова приняться за свои труды. В ту зиму я кончил «Юлию» и послал ее Рею, который в следующем году напечатал ее. Однако эта работа была еще раз прервана – меня отвлекли мелкие, но довольно неприятные события. Я узнал, что в Опере готовится новая постановка «Деревенского колдуна». Возмущенный наглым обращением этих людей с моей собственностью, я отыскал докладную записку, в свое время посланную мною г-ну д'Аржансону{374}, но оставшуюся без ответа, и, подправив ее, отдал резиденту Женевы г-ну Селону вместе с письмом, которое он согласился передать графу де Сен-Флорантену{375}, сменившему д'Аржансона в управлении Оперой. Де Сен-Флорантен обещал дать ответ – и не дал никакого. Дюкло, которому я написал о моем протесте, поговорил с «маленькими скрипачами», и те согласились вернуть мне – не мою оперу, а право бесплатного входа, которым я уже не мог пользоваться. Видя, что нигде справедливости не добьешься, я отступился. Дирекция Оперы, не отвечая на мои доводы и даже не слушая их, продолжала распоряжаться «Деревенским колдуном», словно своей собственно-

стью, и извлекать из него прибыль, несмотря на то что он совершенно бесспорно принадлежит мне одному[51].

С тех пор как я сбросил иго своих тиранов, я вел жизнь довольно приятную и мирную: я был лишен очарования слишком пылких привязанностей, но и свободен от их цепей. Отвратившись от друзей-покровителей, желавших во что бы то ни стало распоряжаться моей судьбой и поработить меня своими непрошеными и мнимыми благодеяниями, я решил впредь ограничиваться отношениями, основанными на простом доброжелательстве, которые, не стесняя свободы, составляют отраду жизни, ибо необходимым условием их является равенство. У меня было достаточно такого рода связей, и я мог наслаждаться радостями общения с людьми, не мучаясь зависимостью от них. Как только я отведал этого образа жизни, я почувствовал, что в моем возрасте мне иного не надо, что благодаря ему я могу кончить свои дни в тишине и спокойствии, вдали от бури свар и дрязг, чуть было не поглотивших меня.

Когда я жил в Эрмитаже и затем, после своего переселения в Монморанси, я завел по соседству несколько приятных знакомств, ни к чему меня не обязывавших. Прежде всего назову молодого Луазо де Молеона{376} – в то время он был начинающий адвокат, еще не знавший, какое займет положение. В отличие от него, я на этот счет не сомневался и предсказывал ему блестящую карьеру, которую он действительно делает теперь на глазах у всех. Я говорил ему, что, если он будет строго разборчив в выборе дел и станет выступать лишь защитником правды и добродетели, его талант, окрыленный этими возвышенными чувствами, сравнится с гением величайших ораторов. Он последовал моему совету и убедился, насколько я был прав. Его защита де Порта достойна Демосфена. Каждый год он проводил каникулы в четверти лье от Эрмитажа, в Сен-Брисе, лене Молеонов, принадлежавшем его матери, где некогда жил великий Боссюэ{377}. Вот лен, благородную славу которого нелегко будет удержать на прежней высоте после смены подобных владельцев.

В той же деревне Сен-Брис у меня был знакомый книготорговец Герен, человек умный, образованный, любезный и для своего положения выдающийся. Он познакомил меня также с Жаном Неольмом, амстердамским книгоиздателем, его корреспондентом и другом, напечатавшим впоследствии моего «Эмиля».

Не доходя Сен-Бриса, жил мой знакомый г-н Мальтор, священник из Грослея, созданный скорее для того, чтобы быть государственным деятелем и министром, чем деревенским священником; ему следовало бы по крайней мере управлять епархией, если б только должности раздавались сообразно талантам. Он был прежде секретарем графа дю Люка и очень хорошо знал Жана-Батиста Руссо. Питая в равной мере уважение к памяти этого знаменитого изгнанника и отвращение к негодяю Сорену, погубившему его, он знал о том и о другом немало любопытных историй, которые Сеги не поместил в жизнеописание первого, пока еще не увидевшее свет. Он уверял меня, что граф дю Люк не только никогда не имел повода жаловаться на Руссо, но до конца своей жизни сохранял к нему чувство самой горячей дружбы.

Г-н Мальтор, которому, после смерти его покровителя, г-н Вентимий дал это довольно хорошее место, в свое время исполнил немало важных поручений; несмотря на старость, он сохранял о них ясную память и очень хорошо рассуждал. Беседа его, столь же поучительная, сколь и занимательная, нисколько не была похожа на беседу деревенского священника: он соединял познания кабинетного ученого с тоном светского человека. Из всех моих постоянных соседей его общество было мне всего приятнее, и именно с ним я расстался с наибольшим сожалением.

[51] Теперь он принадлежит ей по новому договору, который она заключила со мной совсем недавно. (*Прим. Руссо*.)

В Монморанси у меня были ораторьянцы{378}, – среди других отец Бертье, профессор физики, к которому, несмотря на легкий налет педантства, я привязался за его добродушие. Мне, однако, трудно было понять, как сочетается в нем большая простота с желанием всюду втереться – к вельможам, к женщинам, к представителям благочестия, к философам. Он проявлял при этом исключительную ловкость и умел всем угодить. Его общество было мне очень приятно. Я всем рассказывал об этом. По-видимому, до него дошло, как я отзываюсь о нем. Однажды он с усмешкой поблагодарил меня за то, что я считаю его простаком. В его улыбке я заметил какой-то сардонический оттенок, совершенно изменивший его облик в моих глазах, и с тех пор эта улыбка часто приходила мне на память. Я не могу найти для нее лучшего сравнения, чем улыбку Панурга, покупающего барана у Дандено{379}. Наше знакомство началось вскоре после моего приезда в Эрмитаж, куда он очень часто приходил ко мне. Я уже поселился в Монморанси, когда он вернулся обратно в Париж. Там он часто навещал г-жу Левассер. Однажды, совершенно для меня неожиданно, он написал мне от имени этой особы, что Гримм предлагает взять ее на свое попечение и она просит моего разрешения принять предложенье. Я узнал из этого письма, что речь идет о пенсии в триста ливров и что г-же Левассер предстоит переехать в Дейль, между Шевреттой и Монморанси. Не могу передать впечатления, произведенного на меня этой новостью; она была бы менее удивительна, если б Гримм имел десять тысяч ливров дохода либо какие-нибудь более понятные отношения с этой старухой, и если бы мне не вменяли в великое преступление то, что я увез ее в деревню, куда он сам вздумал теперь переселить ее, как будто она с тех пор помолодела. Я понял, что милая старушка спрашивает у меня разрешения, – без которого она в случае моего отказа могла бы отлично обойтись, – только потому, что боится потерять то, что я со своей стороны давал ей. Благотворительность Гримма показалась мне странной; однако в то время она не поразила меня так, как впоследствии. Но если б даже я знал тогда все, до чего дознался с тех пор, я все-таки дал бы ей согласие; я должен был это сделать, поскольку не мог противопоставить предложению Гримма что-нибудь более значительное. С тех пор отец Бертье до известной степени излечил меня от легковерия, которое казалось ему таким забавным, когда я приписывал ему добродушие.

Этот самый отец Бертье был знаком с двумя лицами, почему-то искавшими знакомства со мной, хотя, право, в наших вкусах было весьма мало общего. Это были какие-то странные субъекты, люди без роду без племени, наверно, даже и настоящее имя их не было известно. Они были янсенистами, и их считали переодетыми священниками, – может быть, оттого, что они очень смешно носили шпагу, с которой никогда не расставались. В их манерах, в каждом жесте была необычайная таинственность, придававшая им вид вожаков какой-то партии, и я нисколько не сомневался, что они пишут в церковной печати. Одного – высокого, благодушного, вкрадчивого – звали Ферро; другого – низенького, коренастого, насмешливого, щепетильного – Миньяр.

Они выдавали себя за двоюродных братьев. Жили они в Париже, вместе с д'Аламбером у его кормилицы, по фамилии Руссо, и сняли в Монморанси маленькое помещение на лето. Они хозяйничали сами, без прислуги и без посыльного. Каждый по очереди в течение недели ходил за провизией, готовил обед и убирал комнаты. Впрочем, жили они неплохо; мы иногда обедали друг у друга. Не знаю, почему они интересовались мной; я же интересовался ими только потому, что они играли в шахматы, и, чтобы сыграть какую-нибудь жалкую партию, я выдерживал четыре часа скуки. Так как они всюду совались и старались во все вмешаться, Тереза называла их «кумушками», и прозвище это так и осталось за ними в Монморанси.

Таковы были главные мои деревенские знакомые; к ним еще надо добавить славного человека, моего хозяина г-на Мата. Если бы я захотел жить в Париже с приятностью, у меня было и там достаточно знакомых за пределами литературной среды, где только одного Дюкло я мог считать своим другом, так как Делейр был еще слишком молод, и к тому же я

не мог забыть, с какой легкостью он играл при мне роль рупора философской клики, хоть он и отошел от этих людей (по крайней мере я так думал), насмотревшись на их интриги против меня.

Прежде всего у меня был давний и почтенный друг Роген, – друг доброго старого времени, любивший меня не как известного писателя, а как человека, и поэтому я эту дружбу сохранил навсегда. Были у меня также добрый Лонье, мой соотечественник, и его дочь, которая тогда была еще в живых. Был у меня один молодой женевец Куанде, добрый малый, как мне казалось, заботливый, услужливый, усердный, но невежественный, легкомысленный, чрезвычайный хвастун; он явился ко мне в самом начале моего пребывания в Эрмитаже, никем не званный и не прошенный, сам себя рекомендовал и скоро обосновался у меня против моей воли. У него был некоторый вкус к живописи, и он знал художников. Он оказался мне полезен в вопросе об эстампах для «Юлии», так как взял на себя хлопоты относительно рисунков, их гравировки и хорошо справился с этим делом.

У меня был дом г-на Дюпена, уже не столь блестящий, как в годы молодости г-жи Дюпен, но все же остававшийся благодаря достойным хозяевам и собиравшемуся там обществу одним из лучших домов в Париже. Так как я никого им не предпочел и отошел от них только для того, чтобы жить свободным, они не переставали относиться ко мне дружески, и я мог быть уверен, что во всякое время буду хорошо принят г-жой Дюпен. Я мог даже считать ее одной из своих деревенских соседок, с тех пор как они устроились в Клиши, куда я ездил иногда на день, на два и где бывал бы чаще, если бы г-жа Дюпен и г-жа Шенонсо лучше ладили между собой. Но трудность делить свое время и внимание между двумя женщинами, не симпатизирующими друг другу, приводила к тому, что в Клиши я чувствовал себя стесненно. Привязанный к г-же де Шенонсо более ровной и более тесной дружбой, я имел удовольствие видеться с ней с большей непринужденностью в Дейле, почти рядом со мною, где она сняла маленький дом; а нередко она и сама навещала меня.

У меня была еще г-жа де Креки; она ударилась в крайнее благочестие и перестала встречаться с д'Аламберами, Мармонтелями и большинством литераторов, за исключением, кажется, аббата Трюбле, который в то время был чем-то вроде полуханжи и даже ей достаточно надоел. Мною она дорожила, и я не потерял ее расположения и продолжал переписываться с нею. Она прислала мне к Новому году в подарок манских пулярдок и решила посетить меня летом, но ее планам помешал приезд герцогини Люксембургской, о которой я должен говорить особо: ей всегда будет принадлежать почетное место в моих воспоминаниях.

Был у меня еще человек, которого мне следовало бы упомянуть первым после Рогена, – это мой прежний собрат и друг де Каррио, исполнявший должность секретаря испанского посольства в Венеции, а потом в Швеции, где испанское правительство сделало его поверенным в делах и, наконец, назначило секретарем посольства в Париже. Он совершенно неожиданно появился у меня в Монморанси. Грудь его была украшена каким-то испанским орденом (название его я позабыл) в виде великолепного креста из драгоценных камней. Ему пришлось в своих документах прибавить одну букву к фамилии де Каррио, и он уже назывался кавалер де Каррион. Я нашел его все тем же: такое же прекрасное сердце и ум, день ото дня все более привлекательный. Я завязал бы с ним прежнюю тесную дружбу, если бы Куанде, по своему обыкновению, встав между нами, не воспользовался моим отдаленьем, чтобы вместо меня и от моего имени втереться в его доверье, и, якобы желая услужить мне, вытеснил меня.

Воспоминание о де Каррионе приводит мне на память одного из моих деревенских соседей, о котором я тем более не вправе умолчать, что должен признаться в непростительной провинности по отношению к нему. Это был почтенный г-н Леблон, оказавший мне услугу в Венеции; совершая с семейством путешествие по Франции, он снял деревенский

дом в Брише, недалеко от Монморанси[52]. Как только я узнал, что он мой сосед, я сердечно порадовался и почел не только обязанностью, но и удовольствием нанести ему визит. Я пошел на другой же день. По дороге я встретил знакомых, направлявшихся ко мне; пришлось вернуться с ними. Через два дня я отправился снова; он обедал в Париже со всей семьей. В третий раз он был дома; я услышал женские голоса, увидал у дверей коляску и перепугался: мне хотелось, по крайней мере в первый визит, повидать его как следует и потолковать с ним о наших прежних знакомых. Словом, я откладывал свое посещение со дня на день, а потом мне стало стыдно, что я так запоздал выполнить этот долг, и я вовсе не выполнил его: заставив так долго ждать себя, я уже не имел смелости появиться. Эта небрежность могла по справедливости рассердить г-на Леблона и придать моей лени вид неблагодарности; однако я чувствовал в глубине души себя виновным столь мало, что если б имел возможность сделать г-ну Леблону что-нибудь действительно приятное, даже без его ведома, то, наверно, преодолел бы свою лень. По беззаботности, по небрежности я всегда откладывал выполнение своих мелких обязанностей, и это причинило мне больше вреда, чем настоящие пороки. Худшие мои провинности были упущеньями: я редко делал то, чего не следовало делать, но, к сожалению, еще реже то, что следовало.

Раз уж я остановился на своих венецианских знакомствах, мне следует упомянуть одно, относящееся к тому времени, и которое я тоже прекратил совсем недавно. Это знакомство с г-ном де Жуанвилем, продолжавшим после своего возвращения из Генуи выказывать мне большую дружбу. Он очень любил бывать у меня и толковать со мной об итальянских делах и сумасбродствах г-на де Монтэгю, о котором он в свою очередь знал немало подробностей благодаря своим обширным связям в ведомстве иностранных дел. Я имел также удовольствие встретиться у него со своим старым товарищем Дюпоном, купившим должность у себя в провинции и приезжавшим иногда по делам в Париж. Г-н де Жуанвиль постепенно стал все больше и больше искать моего общества, так что это становилось даже стеснительным для меня; хотя мы жили довольно далеко друг от друга, у нас бывали бурные объяснения, если я целую неделю не приходил к нему обедать. Отправляясь в свое поместье, он всякий раз настаивал, чтобы я поехал с ним; но, проведя там однажды неделю, показавшуюся мне очень длинной, я больше не хотел туда ездить. Де Жуанвиль был, несомненно, человек порядочный и благовоспитанный, в некотором отношении даже приятный, но недалекий; он был красив, почти как Нарцисс, и довольно скучен. У него было странное собрание редкостей, быть может, единственное в мире; он сам уделял этим диковинкам много внимания и занимал ими своих гостей, хотя это подчас не доставляло им большого удовольствия. Де Жуанвиль собрал очень полную коллекцию водевилей, имевших обращение при дворе и в Париже за время более чем пятьдесят лет, со множеством анекдотов, которых нигде больше нельзя было найти. Вот материалы по истории Франции, каких не сыщешь ни у какой другой нации!

Однажды, в пору наших лучших отношений, он оказал мне такой холодный, такой ледяной прием, совсем непохожий на его обычное обращение со мной, что я, дав ему возможность объясниться и даже попросив его об этом, ушел от него с твердым решением никогда больше у него не бывать, и выполнил это решение. Меня не заманишь туда, где я был хоть однажды дурно принят; и на этот раз не было около меня Дидро, который взял бы г-на де Жуанвиля под защиту. Напрасно ломал я себе голову, чем я перед ним провинился; я не мог ничего придумать. Я был уверен, что никогда не говорил ни о нем, ни о его близких иначе как самым уважительным образом, – я был искренне к нему привязан; да и помимо того, что я не мог сказать о нем ничего, кроме хорошего, моим нерушимым правилом всегда было говорить только уважительно о домах, где я бываю.

[52] Когда я писал это, полный своей прежней слепой доверчивости, я не подозревал о подлинной цели и значении его приезда в Париж. (*Прим. Руссо*.)

Наконец, думая и передумывая, вот к какой я пришел догадке. Когда мы виделись с ним последний раз, он угощал меня ужином у своих знакомых девиц, вместе с двумя-тремя служащими ведомства иностранных дел, людьми очень любезными, ни видом, ни манерой держаться не похожими на распутников; могу поклясться, что я, со своей стороны, провел весь вечер в довольно печальных размышлениях о несчастной судьбе этих женщин. Я не вносил своего пая, потому что ужином нас угощал г-н де Жуанвиль, и ничего не платил девицам, не дав им возможности заработать, как это было с падуанкой. Мы вышли вместе, довольно веселые и в добром согласии. Не возвращаясь больше к этим девицам, я через три-четыре дня отправился обедать к г-ну де Жуанвилю, которого с тех пор не видел, и встретил там описанный выше прием. Не умея придумать другую причину, кроме какого-нибудь недоразуменья, связанного с тем ужином, и видя, что он не желает давать объяснений, я перестал к нему ходить, но продолжал посылать ему свои сочиненья. Он нередко просил передать мне привет; и когда я однажды встретил его в фойе театра, он стал любезно пенять мне за то, что я перестал его навещать. Но я не изменил своего решения. Вся эта история производила скорей впечатленье размолвки, чем разрыва. Как бы то ни было, поскольку я не встречал его больше и не слыхал о нем с тех пор, было бы слишком поздно идти к нему после многолетнего перерыва. Вот почему г-на де Жуанвиля я не включаю теперь в мой список, несмотря на то что в течение довольно долгого времени бывал у него в доме.

Не стану раздувать список большим количеством имен, – знакомых менее близких или переставших быть близкими за время моего отсутствия, но с которыми я тем не менее продолжал иногда видеться в деревне, как у меня, так и у моих соседей, – например, с аббатами де Кондильяк и де Мабли, г-ми де Меран, де Лалив, де Буажлу, Ватле, Анселе и другими, – их было бы слишком долго перечислять. Вскользь упомяну я и о своем знакомстве с г-ном де Маржанси, дворянином для поручений при короле, бывшим членом гольбаховской группы, покинувшим ее, как и я, и бывшим другом г-жи д'Эпине, оставившим ее, как и я; упомяну также о знакомстве с его другом Демаи{380}, знаменитым, но быстро позабытым автором комедии «Нахал». Маржанси был моим деревенским соседом, так как его именье находилось возле Монморанси. Мы были старые знакомые, а соседство и известное сходство жизненного опыта сблизили нас еще более. Демаи вскоре умер. Он был человек достойный и неглупый, но несколько напоминал героя своей комедии, был фатоват в обществе женщин, и они не особенно жалели о нем.

Не могу обойти молчаньем завязавшиеся к тому времени новые отношения, так повлиявшие на всю остальную мою жизнь, что я должен отметить их начало. Речь идет о г-не Ламуаньоне де Мальзербе{381}, первом председателе налоговой палаты, в то время ведавшем печатью, которой он, к великому удовлетворению литераторов, управлял столь же просвещенно, как и мягко. Я ни разу не был у него в Париже; тем не менее я всегда видел от него большое снисхождение во всем, что касалось цензуры; и я знал, что не однажды он очень сурово одергивал тех, кто писал против меня. Я получил новые доказательства его расположения в связи с печатаньем «Юлии»: пересылать почтой из Амстердама корректуры такого большого произведения стоило очень дорого; г-н де Мальзерб, имея право бесплатной корреспонденции, разрешил направлять корректуры по его адресу и пересылал их мне также бесплатно, за подписью своего отца, г-на канцлера. Когда в Амстердаме сочинение было напечатано, он разрешил распространять его в королевстве только после того, как разойдется парижское издание, которое он велел отпечатать в мою пользу, вопреки моей воле. Поскольку эта прибыль была бы с моей стороны воровством у Рея, которому я продал рукопись, я не хотел принимать предназначенный мне подарок без его согласия, а когда он весьма великодушно это согласие дал, я решил разделить с ним сто пистолей, вырученных за парижское издание, но Рей отказался от них. Однако из-за этих ста пистолей мне пришлось испы-

тать огорченье, о котором де Мальзерб не предупредил меня: роман был страшно искалечен, а распространение хорошего издания было отложено до той поры, когда разойдется плохое.

Я всегда считал г-на де Мальзерба человеком испытанной прямоты. Ни разу не было ничего такого, что заставило бы меня хоть на минуту усомниться в его честности; но при этом высоком качестве – он человек слабохарактерный и, желая оградить от беды тех, в ком принимает участие, иногда вредит им. Он не только велел выкинуть более ста страниц в парижском издании, но произвел сокращение, которое можно было назвать предательским, и в экземпляре хорошего издания, посылая его г-же де Помпадур. В этой книге у меня где-то говорится, что жена угольщика более достойна уважения, чем любовница принца. Эта фраза пришла мне в голову в пылу творчества, без всякого намека, клянусь в этом. Перечитывая роман, я подумал, что такие слова, пожалуй, сочтут намеком. Однако, придерживаясь чрезвычайно опасного правила ничего не выбрасывать, если совесть говорит мне, что я не имел в виду ни на что намекать, когда писал, – я не стал вычеркивать эту фразу и ограничился тем, что вместо слова «король», которое написал сначала, поставил слово «принц». Такое смягчение показалось де Мальзербу недостаточным; он выбросил всю фразу в оттиске, который велел нарочно отпечатать и вклеить как можно аккуратней в экземпляр г-жи де Помпадур. Этот маневр не укрылся от нее. Нашлись добрые люди, которые указали ей на это. Что касается меня, я узнал обо всем этом лишь долгое время спустя, когда начал испытывать на себе последствия ее гнева.

Не в этом ли заключается также первоисточник скрытой, но неумолимой ненависти со стороны другой дамы{382}, находившейся в подобном же положении, хотя я и не подозревал об этом и даже не был с нею знаком, когда писал свой роман? Книга вышла в свет, после того как знакомство уже состоялось, и я очень тревожился. Я сказал о своих опасениях кавалеру де Лорензи, но он посмеялся надо мной и уверил меня, что дама совсем не обидчива и даже не обратила внимания на эту фразу. Я поверил, – немного легкомысленно, быть может, – и весьма некстати успокоился.

В начале зимы я получил новое доказательство доброго отношения ко мне де Мальзерба, очень меня тронувшее, хоть я и не счел возможным им воспользоваться. Открылась вакансия в «Газете ученых»{383}. Маржанси написал мне, предлагая эту вакансию как бы от себя. Но мне нетрудно было догадаться по характеру письма (связка B, № 33), что он получил соответствующие указания и полномочие; и сам он дал мне понять впоследствии (связка B, № 47), что ему было поручено сделать мне такое предложение. Место требовало пустячной работы. Речь шла только о составлении двух обзоров в месяц по книгам, которые должны были доставлять мне на дом; мне не приходилось бы ездить в Париж даже для того, чтобы лично поблагодарить начальство. Таким образом я вступал в общество первоклассных литераторов: гг. де Мерана, Клеро, де Гиня и аббата Бартелеми;{384} с первыми двумя я уже был знаком, а с двумя другими мне очень хотелось познакомиться. Наконец за такой легкий труд, который можно было выполнять с таким удобством, я получал бы гонорар в размере восьмисот франков. Я несколько часов раздумывал, прежде чем решиться, и могу поклясться, что колебался только из боязни рассердить Маржанси и вызвать неудовольствие г-на де Мальзерба. Но наконец невыносимое стеснение работы по заказу и зависимости от сроков, а еще больше – уверенность в том, что я буду плохо выполнять возложенные на меня обязанности, взяли верх надо всем и я решил отказаться от места, для которого не подходил. Я знал, что весь талант мой зависит только от душевного пыла и влечения к тем предметам, о которых мне предстоит писать, и только любовь к великому, истинному, прекрасному способна воодушевить меня. А какой интерес могли представлять для меня темы большей части книг, обзор которых я должен был составлять, и самые эти книги? Равнодушие к делу заморозило бы мое перо и опошлило бы мой ум. Думали, что я могу писать, как

ремесленник, подобно всем другим литераторам; я же никогда не умел писать иначе как по страсти. Это было, конечно, не то, что требовалось «Газете ученых». И я написал Маржанси письмо, поблагодарив его со всей возможной учтивостью и подробно объяснив причину своего отказа, чтобы ни он сам, ни де Мальзерб не могли подумать, будто я отказываюсь из каприза или гордости. Действительно, оба они одобрили мое решение, не изменили своего приветливого обращения со мной, и дело это было сохранено в такой тайне, что в публику о нем никогда не проникало ни малейших сведений.

Предложение это явилось в момент неблагоприятный, я не мог его принять, потому что с некоторого времени задумал совсем оставить литературу и в особенности – ремесло писателя. Все, что со мной произошло, совершенно отвратило меня от литераторов. А я на опыте убедился, что невозможно идти по этому пути, не поддерживая с ними отношений. Столь же опротивели мне и светские люди и вообще тот двойственный образ жизни, который я вел, принадлежа наполовину себе, наполовину кругам, для которых совсем не подходил.

Больше чем когда-либо я чувствовал – и притом на основании неопровержимого опыта, – что всякий неравный союз всегда невыгоден для слабой стороны. Имея дело с людьми богатыми и находящимися в другом положении, чем избранное мной, я, не держа открытого дома, как они, был в то же время вынужден во многом подражать им, и мелкие расходы, ничего для них не составлявшие, для меня были столь же разорительны, сколь и неизбежны. Иной едет, например, погостить к знакомым в деревню, – ему и за столом, и в спальне прислуживает собственный лакей, он посылает этого лакея за всем, что ему нужно; не имея никакого дела с хозяйской прислугой непосредственно, даже не видя ее, он дает ей на чай когда и сколько вздумает; а я – один, без слуги – всецело зависел от хозяйских слуг, расположения которых по необходимости должен был добиваться, чтобы избежать больших неудобств; являясь в глазах прислуги ровней хозяину, я должен был обращаться с ней, как его ровня, и одаривать ее даже больше всякого другого, потому что действительно гораздо больше нуждался в ней. Еще полбеды, когда слуг мало; но в тех домах, где я бывал, их было много, все чрезвычайные наглецы, плуты, народ очень расторопный в смысле угождения своим собственным интересам, – и мошенники эти умели сделать так, что я беспрерывно в них нуждался. Парижанки очень умны, но о таких вещах имеют самое превратное представление, и, желая поберечь мои средства, они меня разоряли. Если я ужинал в городе довольно далеко от дома, то хозяйка ни за что не позволяла мне послать за извозчиком, а приказывала заложить лошадей и отвезти меня домой; она при этом бывала очень довольна, что дала мне возможность сберечь двадцать четыре су на извозчика, и не думала о том, что я должен дать экю ее лакею и кучеру. Писала ли мне дама из Парижа в Эрмитаж или в Монморанси, она, жалея те четыре су, которые я должен был бы уплатить за доставку письма, посылала мне его со своим слугой; он приходил усталый, весь в поту, и я считал себя обязанным накормить его и дать ему экю, вполне им заслуженное. Предлагала ли она мне провести неделю-другую у нее в деревне, она говорила себе: «Все-таки бедный малый сэкономит за это время, еда ничего не будет ему стоить». Она не думала, что в течение этого времени я совсем не буду работать, что мои домашние расходы на хозяйство, квартиру, белье и одежду не прекратятся; что я буду платить цирюльнику вдвое дороже и что у нее мне придется тратить гораздо больше, чем у себя дома. Хотя я позволял себе такое скромное расточительство только в тех немногих домах, где имел обыкновенье гостить, оно тем не менее было для меня разорительно. Могу заверить, что я истратил не менее двадцати пяти экю в доме г-жи д'Удето в Обоне, где ночевал не более четырех или пяти раз, и более ста пистолей в Эпине и Шевретте за те пять или шесть лет, когда был там частым гостем. Эти расходы неизбежны для человека моего характера, не умеющего ни о чем позаботиться, ни к чему примениться, ни вынести вида угрюмого лакея, когда тот ворчит и прислуживает вам неохотно. Даже у г-жи Дюпен, где я был свой человек и оказывал слугам тысячу любезностей, от них я никогда не прини-

мал ни одной услуги иначе как за деньги. В дальнейшем пришлось совершенно отказаться от этих маленьких трат, которых мое положение уже не позволяло мне делать; и тогда я еще сильнее почувствовал неудобство бывать у людей неодинакового со мной положения.

Будь еще такая жизнь мне по вкусу, я утешался бы тем, что обременительный расход оправдывается моими удовольствиями; но разоряться для того, чтобы скучать, было просто нелепо. Меня до такой степени тяготил подобный образ жизни, что, воспользовавшись свободным промежутком, который тогда у меня наступил, я решил не прерывать его и, совершенно отказавшись от большого света, от сочиненья книг, от всех литературных связей, замкнуться на весь остаток дней в узкой и мирной сфере, для которой был создан.

Доход от «Письма к д'Аламберу» и «Новой Элоизы» немного поправил мои финансы, сильно истощившиеся в Эрмитаже. В перспективе у меня было около тысячи экю. «Эмиль», за которого я принялся вплотную, когда кончил «Элоизу», сильно подвинулся вперед, и доход от него должен был по крайней мере удвоить эту сумму. Я задумал поместить этот капитал так, чтобы он давал мне небольшую пожизненную ренту, которая вместе с заработком от переписки позволила бы мне существовать, не прибегая к помощи писательского пера. У меня было еще два сочиненья в работе. Первое – это мои «Политические установления». Я проверил, в каком состоянии эта книга, и обнаружил, что на нее нужно потратить еще несколько лет труда. У меня не хватило мужества продолжать ее и ждать, когда она будет окончена, чтобы осуществить свой план. Итак, отказавшись от завершения этого труда, я решил извлечь из него то, что возможно, а все остальное сжечь; взявшись за дело горячо, я, не прерывая работы над «Эмилем», меньше чем в два года придал окончательную отделку «Общественному договору».

Оставался «Музыкальный словарь». Это была работа ремесленная, для денег, и ее можно было делать во всякое время. Я решил, что брошу ее или буду продолжать, как мне вздумается, – смотря по тому, окажется ли она необходимой для меня или излишней при собранных мною средствах. Что же касается «Чувственной морали», то этот труд, едва лишь намеченный, я совершенно оставил.

У меня был еще план: если удастся обойтись совсем без переписки, уехать куда-нибудь подальше – из-за наплыва посетителей жить близ Парижа было для меня очень дорого и приходилось поэтому тратить много времени на заработок. А для того чтобы не скучать в своем убежище, как скучает, говорят, всякий писатель, когда оставит перо, я приготовил себе занятие, которое могло бы заполнить пустоту моего одиночества и избавляло бы меня от искушения напечатать при жизни еще что-нибудь. Не знаю, что за фантазия пришла Рею, но он уже давно убеждал меня написать свои воспоминания. Хотя история моей жизни была до тех пор не богата событиями, однако я чувствовал, что воспоминания мои могут стать интересны той прямотой, которую я способен проявить в них; и я решил сделать их произведением единственным в своем роде, написать его с беспримерной правдивостью, чтобы в нем можно было увидеть душу хотя бы одного человека без всяких прикрас. Я всегда смеялся над фальшивой наивностью Монтеня:{385} он как будто и признает свои недостатки, а вместе с тем приписывает себе только те, которые привлекательны; тогда как я всегда считал и теперь считаю, что я, в общем, лучший из людей, и вместе с тем уверен, что, как бы ни была чиста человеческая душа, в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян. Я знал, что в обществе меня рисовали чертами, до такой степени непохожими на мои, а иногда и такими уродливыми, что, даже не скрывая ничего дурного в себе, я могу только выиграть, если покажу себя таким, каков я есть. Поскольку это невозможно сделать, не показав и других людей такими, каковы они есть, подобное сочиненье не могло бы появиться в свет ранее моей собственной смерти и смерти многих других, а это еще больше придавало мне смелости написать свою «Исповедь», за которую мне никогда не придется ни перед кем краснеть. И вот, решив посвятить свои досуги тщательному выполнению этой задачи, я при-

нялся собирать письма и бумаги, которые могли направить или пробудить мою память, глубоко сожалея обо всем, что когда-то разорвал, сжег, потерял.

Этот проект полного уединенья, один из самых разумных, какие только у меня бывали, прочно укоренился в моем уме, и я уже принялся за его осуществленье, когда небо, готовившее мне иную участь, кинуло меня в новый водоворот.

Монморанси, старинная и прекрасная вотчина знаменитого рода, который носит это имя, после конфискации уже не принадлежит ему{386}. Она перешла через сестру герцога Анри к роду Конде, переменившему название Монморанси на Энгьен. В этом герцогстве нет другого замка, кроме старой башни, где приносили клятву вассалы, а теперь хранится архив. Но в Монморанси, или Энгьене, есть особняк, выстроенный Круаза, по прозвищу «Бедный», – величественный, как самые великолепные замки, и заслуженно называемый замком. Внушительность этого прекрасного здания, терраса, на которой оно расположено, вид, открывающийся оттуда, – быть может, единственный в мире, – его просторная, расписанная превосходной кистью гостиная, окружающий его сад, разбитый по плану знаменитого Ленотра{387}, – все это составляет гармоническое целое, поразительно величавое и вместе с тем пленяющее какой-то простотой. Герцог Люксембургский{388}, занимавший тогда этот дом, приезжал два раза в год в эти края, где некогда его предки были хозяевами, и проводил здесь в общей сложности пять или шесть недель, как частный человек, но в роскоши, не уступавшей старинному блеску его рода. В первый свой приезд туда после моего переселения в Монморанси маршал и его супруга прислали лакея, который передал мне поклон от их имени и приглашение ужинать у них, когда мне будет угодно. И в каждый свой приезд они не забывали повторять то же самое приветствие и приглашенье. Это привело мне на память г-жу де Безанваль, пославшую было меня обедать в буфетную. Времена переменились; но я остался тот же. Я не желал, чтоб меня посылали в буфетную, и мало дорожил столом вельмож. Я предпочел бы, чтоб они оставили меня в покое, не чествуя и не унижая. На учтивость герцога и герцогини Люксембургских{389} я ответил вежливо и почтительно, но не принял их приглашения. Мое нездоровье, мой застенчивый нрав и неуменье вести разговор заставляли меня содрогаться при одной мысли о появлении в обществе придворных, и я даже не пошел в замок поблагодарить, хотя понимал, что как раз этого-то и хотят от меня и что вся эта предупредительность вызвана скорей любопытством, чем расположением.

Между тем любезности продолжались и даже все усиливались. Графиня де Буффле, очень дружившая с супругой маршала, приехав погостить в Монморанси, прислала узнать о моем здоровье и выразила желанье меня видеть. Я ответил, как должно, но не тронулся с места. В следующий приезд, на Пасху 1759 года, кавалер де Лоранзи, принадлежавший к двору принца де Конти и кругу герцогини Люксембургской, несколько раз был у меня; мы завязали знакомство; он настаивал, чтобы я сделал визит в замок; я не послушался. Наконец однажды, в полдень, когда я меньше всего этого ожидал, ко мне приехал сам герцог Люксембургский в сопровожденнии пяти или шести лиц. На этот раз никак нельзя было уклониться: под страхом прослыть нахалом и невежей я уже не мог не отдать ему визита и не засвидетельствовать своего почтения его супруге, от лица которой он осыпал меня самыми любезными комплиментами. Так начались, в недобрый час, отношения, от которых я уже не мог больше защититься, хотя с полным основанием страшился их, пока не оказался в них втянутым.

Я ужасно боялся герцогини Люксембургской. Я знал, что она хороша собой. Я видел ее несколько раз в театре и у г-жи Дюпен, за десять-двенадцать лет перед тем, когда она еще была герцогиней де Буффле и блистала красотой в первом расцвете; но ее считали злой, и такая репутация столь знатной дамы вызывала во мне трепет. Едва я увидел ее, как уже был покорен. Я нашел в ней ту чарующую прелесть, то обаяние, не исчезающее с годами,

которое всего более способно подействовать на мою душу. Я предполагал, что она говорит умно, но колко и язвительно. Ничуть не бывало: она говорит совсем не так, гораздо лучше. Разговор ее не пересыпан блестками остроумия. В нем нет неожиданных оборотов, сопоставлений, нет даже, собственно, того, что называется гибкостью ума; но он полон восхитительного изящества, никогда не поражающего и всегда очаровывающего. Ее похвалы тем более пленительны, что они так просты; кажется, будто она не думая роняет их вскользь и будто уста ее говорят от избытка чувств. Мне в первое же посещение показалось, что, несмотря на мой неловкий вид и нескладную речь, я ей понравился. Все придворные дамы мастерицы уверить в этом, когда хотят, – будь то правда или нет, – но не все умеют, подобно герцогине Люксембургской, сделать эту уверенность такой отрадной, что сомневаться в ней не хватает духу. В первый же день я готов был почувствовать к ней полное доверие (вскоре я действительно почувствовал его), если б ее падчерица, герцогиня де Монморанси, ветреная, довольно хитрая и довольно насмешливая особа, не принялась за меня и своей болтовней не вызвала у меня подозрения, что под покровом бесчисленных похвал со стороны ее маменьки и притворного заигрыванья со стороны ее самой меня попросту вышучивают.

Может быть, я не так-то легко разуверился бы в этом, если б оставался только в обществе этих дам; но исключительная благосклонность самого маршала убедила меня, что их любезность неподдельная. Принимая во внимание мою застенчивость, можно только удивляться, до чего быстро завязались у нас с герцогом отношения равного с равным, как ему того хотелось, и не менее удивительна его готовность ничем не нарушать полнейшую независимость, в которой я желал жить. И он, и его супруга были уверены в том, что я доволен своим положением, не желаю изменять его, и, по-видимому, не интересовались моим материальным положением и не думали о моем устройстве; хотя я не мог сомневаться в теплом внимании их обоих ко мне, они не предлагали мне места или какой-либо поддержки, если не считать одного раза, когда герцогиня пожелала, чтобы я согласился вступить во Французскую академию. Я напомнил о своей религии; герцогиня сказала, что это не препятствие и что она берется уладить это. Я ответил, что, как ни велика для меня честь принадлежать к столь славной корпорации, но, отказав г-ну де Трессану и в известном смысле даже польскому королю вступить в Нансийскую академию, я, не нарушая приличий, не могу сделаться членом какой-либо другой. Герцогиня не настаивала, и больше об этом не было речи. Такая простота в отношениях со столь знатными особами, имевшими возможность все сделать для меня, поскольку герцог был – и вполне заслуженно – личным другом короля, представляла удивительный контраст с беспрестанными, предупредительными и назойливыми заботами со стороны покинутых мною друзей-покровителей, которые старались не столько услужить мне, сколько унизить меня.

Когда маршал посетил меня в Мон-Луи, мне было нелегко принять его вместе со свитой в единственной моей комнате, – не потому, что я вынужден был усадить его среди грязных тарелок и разбитых горшков, а потому, что пол в комнате прогнил, и я боялся, как бы под тяжестью свиты он совсем не провалился. Озабоченный не столько опасностью, угрожавшей мне лично, сколько той, которой из-за своей снисходительности подвергался этот добрый вельможа, я поспешил увести своего гостя и, несмотря на еще холодную погоду, повел его в мою башню, совершенно открытую и не имевшую печи. Когда мы туда пришли, я объяснил ему причину, заставившую меня принимать его в этом помещении; он передал об этом своей супруге, и оба стали меня уговаривать перейти на время, пока у меня будут перестилать пол, в другое помещение – в замке или, если мне больше нравится, в уединенном здании, расположенном посреди парка и носившем название «Малого замка». Об этом очаровательном месте стоит поговорить.

Парк или сад в Монморанси расположен не на ровном месте, как в Шевретте, а на склонах, пригорках и в ложбинах, удачно использованных искусным художником, разбросавшим

здесь рощи, гроты, пруды, бельведеры и с помощью уменья и таланта, если можно так выразиться, увеличившим пространство, само по себе довольно ограниченное. Парк этот в верхней своей части увенчан террасой и замком; в нижней он сужается, а затем снова расширяется в направлении долины, причем образуемый узкой частью угол занимает большой пруд. Между оранжереей, построенной в широкой части парка, и прудом, дремлющим в кольце холмов, по которым красиво разбросаны рощицы и одинокие деревья, находится упомянутый выше «Малый замок». Здание это вместе с окружающим его участком земли когда-то принадлежало знаменитому Лебрену{390}, любовно выстроившему и украсившему его с тем восхитительным вкусом в области орнаментации и архитектуры, которым питалось творчество этого великого живописца. С тех пор замок перестраивался, однако всегда по чертежам первого владельца. Он невелик, прост, но изящен. Так как он стоит в низине, между водоемом оранжереи и большим прудом, и, следовательно, не огражден от сырости, в нем посредине проделали сквозной перистиль, по бокам которого тянутся в два этажа колонны; благодаря такому устройству воздух овевает все здание и, несмотря на его положение, стены остаются сухими. Если смотреть на это строение с противоположной высоты, откуда открывается на него чудный вид, кажется, что оно со всех сторон окружено водой, и можно подумать, что это какой-то очарованный остров или самый красивый из трех Борромейских островов на Лаго-Маджоре, называемый Isola bella.

В этом-то уединенном здании мне и предоставили на выбор одно из четырех жилых помещений, которые в нем находятся, не считая нижнего этажа, состоящего из зала для танцев, бильярдной и кухни. Я взял самое маленькое и простое, над кухней, которую тоже отдали мне. Комнаты отличались чистотой, мебель в них была белая и голубая. В этом-то восхитительном уединении, среди лесов и вод, под пенье всевозможных птиц, вдыхая аромат цветущих апельсинных деревьев, писал я в непрерывном восторге пятую книгу «Эмиля», и свежим ее колоритом я в значительной мере обязан окружавшей меня обстановке.

С какой поспешностью бежал я каждое утро при восходе солнца вдохнуть благоуханного воздуха в перистиле! Какой вкусный кофе с молоком пил я там наедине с моей Терезой! Моя кошка и собака составляли нам компанию. Одной этой свиты было бы мне довольно на всю жизнь, и я никогда не знал бы скуки. Я чувствовал себя там как в земном раю: моя жизнь текла с той же невинностью, и я наслаждался таким же счастьем.

В свой июльский приезд герцог и герцогиня Люксембургские выказали мне столько внимания и ласки, что, живя у них и осыпанный их милостями, я не мог отблагодарить их иначе, как частыми посещениями. Я почти не расставался с ними: утром я шел засвидетельствовать свое почтенье супруге маршала и обедал там, днем отправлялся на прогулку с маршалом; но ужинать я не оставался из-за многолюдного общества и потому, что там ужинали слишком поздно для меня. До сих пор все было пристойно, и ничего дурного не произошло бы, сумей я этим ограничиться. Но я никогда не умел держаться середины в своих привязанностях и просто выполнять требования общества. Я всегда был либо всем, либо ничем; вскоре я стал всем. Видя, что меня чествуют, балуют особы столь значительные, я переступил границу и воспылал к ним такой дружбой, какую позволительно иметь только к равным. В свое обращение я внес всю свойственную ей непринужденность, тогда как они никогда не расставались со своей обычной вежливостью. Впрочем, я никогда не чувствовал себя вполне свободно с супругой маршала. Хоть и не совсем успокоившись относительно ее характера, я опасался его менее, чем ее ума, – он меня тревожил. Я знал, что к разговору она требовательна, и с полным правом. Мне было известно, что женщины, в особенности знатные дамы, желают, чтобы их занимали, и лучше задеть их, чем заставить скучать; по ее замечаниям о только что ушедших собеседниках я мог представить себе, что она должна думать о моих неловких речах. Мне было так страшно разговаривать при ней, что я прибег к вспомогательному средству: это было чтение. Она слышала о «Юлии», знала, что это сочинение печата-

ется, и выразила желание поскорей познакомиться с ним; я сказал, что могу прочесть его; она согласилась. Каждое утро я являлся к ней к десяти часам утра; приходил маршал; дверь закрывали. Я читал, сидя возле ее постели; и я так хорошо рассчитал свое чтение, что его хватило бы на время их пребывания в деревне, хотя бы даже оно не прерывалось[53]. Успех этого средства превзошел мои ожидания. Герцогиня увлеклась «Юлией» и ее автором; она говорила только обо мне, занималась только мной, осыпала меня любезностями, обнимала по десять раз на день. Она пожелала, чтобы мое место за столом было всегда рядом с нею, а когда некоторые вельможи хотели занять его, говорила, что оно принадлежит мне, и сажала их на другое место. Можно представить себе, как меня очаровывала такая благосклонность, если малейшая ласка покоряет меня. Я искренне привязался к ней. Видя такое внимание и чувствуя, что мой ум лишен той приятности, которая могла бы оправдать его, я боялся только одного: как бы приязнь не перешла в отвращенье, – и, к несчастью для меня, этот страх оказался слишком основателен.

Наверно, была какая-то врожденная противоположность между ее образом мыслей и моим, если, помимо тысячи неловкостей, постоянно прорывавшихся у меня в разговоре и даже в письмах, когда я бывал с ней в самых лучших отношениях, случалось, что ей многое не нравилось, и я не мог понять почему. Приведу только один пример, хотя мог бы привести их двадцать. Она знала, что я переписываю для г-жи д'Удето «Элоизу» за постраничную оплату. Она пожелала тоже получить экземпляр на тех же условиях. Я обещал и, включив ее тем самым в число своих заказчиков, написал ей что-то любезное и почтительное по этому поводу; по крайней мере таково было мое намерение. Вот ее ответ (связка B, № 43), заставивший меня свалиться с облаков:

Версаль, вторник

«Я рада, я в восхищении: ваше письмо доставило мне бесконечное удовольствие; спешу сообщить вам об этом и поблагодарить вас.

Вот подлинные выраженья вашего письма: «Хотя вы, несомненно, очень выгодная заказчица, я не без колебаний беру с вас деньги: в сущности, это я должен был бы платить вам за удовольствие работать для вас». Ничего к этому не прибавлю. Я огорчена, что вы никогда ничего не сообщаете мне о своем здоровье. Это интересует меня больше всего. Люблю вас от всего сердца. Признаюсь, что с великим огорчением сообщаю об этом письменно, так как была бы рада сказать вам об этом лично. Герцог любит вас и обнимает от души».

Получив это письмо, я отложил более тщательное изучение его и поспешил ответить, чтобы протестовать против всякого дурного толкования моих слов. А после многодневного обдумыванья – вполне естественно, полный тревоги, по-прежнему ничего не понимая, – вот какой я дал по этому поводу окончательный ответ:

Монморанси, 8 декабря 1759 г.

«Со времени моего последнего письма я сотни раз думал об этой фразе. Я рассматривал ее в ее собственном и прямом смысле, разбирал во всех смыслах, какие только можно ей придать, и признаюсь, милостивая государыня, – не знаю, должен ли я принести вам извинения или это вы должны просить их у меня».

[53] Крупное поражение{499}, очень огорчившее короля, заставило герцога Люксембургского немедленно вернуться ко двору. (*Прим. Руссо.*)

Прошло уже десять лет с тех пор, как эти письма были написаны. Я часто думал о них с того времени; и моя глупость в этом вопросе до сих пор настолько велика, что мне так и не удалось понять, что могла она найти в этой фразе – не говорю, обидного, но хотя бы неприятного.

Относительно рукописного экземпляра «Элоизы», который пожелала иметь герцогиня Люксембургская, я должен рассказать, какое сделал к нему добавление, чтобы отличить его каким-нибудь заметным преимуществом от всех других. Я написал отдельно приключения милорда Эдуарда{391} и долго колебался, включать или не включать их, целиком или в отрывках, в это произведение, где они казались мне нужными. В конце концов я решил совсем их выбросить, потому что они отличаются по тону от всего остального и могли нарушить его трогательную простоту. К этому у меня появилось и другое, более веское основание, когда я лучше узнал герцогиню. Дело в том, что в этих приключениях фигурирует одна римская маркиза с отвратительным характером, отдельные черты которого, совсем не свойственные герцогине, могли быть приписаны ей теми, кто знал ее только понаслышке. Поэтому я очень радовался своему решению и укрепился в нем. Но, горячо желая обогатить ее экземпляр чем-нибудь таким, чего не было ни в одном другом, я не нашел ничего лучшего, как сделать из этих злосчастных приключений выдержки и прибавить их туда. Мысль безрассудная, нелепая, и объяснить ее можно только слепой судьбой, увлекавшей меня к гибели!

Quos vult perdere Jupiter, dementat{392}.

Я был настолько глуп, что сделал выдержки с особой тщательностью, потратив на них много труда, и послал ей этот отрывок, как самую прекрасную вещь на свете, – причем предупреждал, что сжег оригинал (как это и было в действительности), что выдержки сделаны для нее одной и их никто никогда не увидит, если только она сама не покажет их. Все это, нисколько не убедив ее в моем благоразумии и скромности, как я рассчитывал, только дало ей повод думать, будто я усматриваю здесь обидное для нее сходство. Я безрассудно был уверен, что она придет в восторг от моего поступка. Однако, вопреки моим ожиданиям, она не выразила по этому поводу никакого восхищения и, к великому моему удивлению, никогда ни одним словом не упомянула о присланной тетради. Но я по-прежнему был доволен своей находчивостью и только много времени спустя – по другим признакам – заметил, какое впечатление она произвела.

Относительно ее экземпляра мне пришла в голову еще одна идея, более благоразумная, но по своим отдаленным последствиям явившаяся для меня не менее вредной: все содействует року, когда он влечет человека к несчастью. Мне захотелось украсить эту рукопись рисунками для гравюр к «Юлии», оказавшимися одного формата с тетрадью. Я попросил эти рисунки у Куанде, так как они принадлежали мне с любой точки зрения, тем более что я отдал ему весь доход с гравюр, а оттиски с них расходились в большом количестве. Куанде настолько же хитер, насколько я лишен хитрости. Заставив себя упрашивать, он добился того, что узнал, зачем они мне понадобились. Тогда, под предлогом, что ему захотелось прибавить к этим рисункам несколько украшений, он принудил меня оставить их у него, и кончилось тем, что поднес их сам.

Ego versiculos feci, tulit alter honores[54]{393}.

[54] Я сложил стихи, а славу другой пожинает (*лат.*).

Это окончательно открыло ему двери дома герцога Люксембургского, и с тех пор он стал бывать там запросто. После моего временного переселения в «Малый замок» Куанде очень часто приходил туда ко мне, и всегда с самого утра, – особенно когда герцог и герцогиня бывали в Монморанси. Получалось так, что, для того чтобы провести с ним день, я не показывался в замке. Меня стали упрекать за это отсутствие; я объяснил причину. Меня попросили привести г-на Куанде; я привел его. А плут Куанде только этого и добивался. Так, благодаря исключительной доброте ко мне герцога и герцогини служащий г-на Телюзона, которого хозяин иногда удостаивал сажать с собой за стол, когда не было гостей, вдруг оказался допущенным к столу маршала Франции, в общество принцев, герцогинь, самой высокой придворной знати. Никогда не забуду, как однажды Куанде нужно было вернуться в Париж раньше обычного и маршал после обеда сказал присутствующим: «Пойдем прогуляемся по дороге в Сен-Дени; проводим господина Куанде». Голова бедного малого окончательно закружилась. Что до меня, я разволновался и не мог сказать ни слова. Я шел позади, плача как ребенок и изнемогая от желания целовать следы доброго маршала. Но история с переписываньем «Элоизы» заставила меня забежать вперед. Вернемся к изложению событий по порядку, насколько позволит мне память.

Как только домик в Мон-Луи был готов, я его чисто и просто омеблировал и вернулся туда, не желая нарушить правило, принятое мною при выезде из Эрмитажа, – иметь всегда свою собственную квартиру; но я не мог также отказаться от своего помещения в «Малом замке». Я взял с собой ключ от него и, дорожа прелестными завтраками в перистиле, часто ночевал там и проводил иногда по два, по три дня, как на даче. Из всех частных лиц в Европе я обладал тогда, быть может, самым лучшим и приятным помещением. Мой хозяин, г-н Мата, самый милый человек на свете, предоставил мне целиком руководство ремонтом в Мон-Луи и пожелал, чтобы я распоряжался его рабочими, а он совсем не будет вмешиваться. И вот я ухитрился сделать себе из одной комнаты на втором этаже полную квартиру, состоящую из спальни и гардеробной. На первом этаже были кухня и комната Терезы. Башня служила мне кабинетом; в ней поставили хорошую застекленную перегородку и сложили камин. Поселившись там, я для развлечения принялся украшать террасу, уже осененную двумя рядами молодых лип; я велел прибавить к ним еще два, чтобы получилась зеленая беседка, и поставить там каменный стол и скамьи; посадил вокруг сирень, жасмин и жимолость, разбил параллельно обоим рядам деревьев прекрасный цветник. Эта терраса была расположена выше, чем терраса замка; с нее открывался не менее прекрасный вид; я приручил там множество птиц; она служила мне гостиной, где я принимал маршала и его супругу, герцога де Вильруа, принца де Тенгри, маркиза д'Армантьера, герцогиню де Монморанси, герцогиню де Буффле, графиню де Валантинуа, графиню де Буффле и других лиц того же ранга, которые не отказывались совершать паломничество из замка в Мон-Луи по очень утомительному подъему. Всеми этими посещениями я был обязан благосклонности герцога и герцогини Люксембургских; я понимал это, и сердце мое было полно благодарности. Однажды в припадке умиления я сказал герцогу, обнимая его: «Ах, господин маршал, я ненавидел великих мира сего, пока не узнал вас, а теперь ненавижу их еще больше, – ибо вы показали мне, как легко им было бы заставить себя обожать». Впрочем, приглашаю всех, кто знал меня в это время, засвидетельствовать, заметили ли они, чтобы весь этот блеск хотя бы на минуту ослепил меня, чтобы дым этого фимиама одурманил мне голову, изменился ли я в своем обращении, стал ли менее прост в своих манерах, раздружился ли с соседями, перестал ли тесно общаться с народом, не был ли так же готов всем услужить когда мог, не раздражаясь из-за бесчисленных и нередко бессмысленных беспокойств, которые постоянно мне доставляли. Если сердце влекло меня в замок Монморанси вследствие искренней привязанности к его хозяевам, оно также заставляло меня возвращаться в мои края, чтобы насладиться радостями жизни спокойной и простой, без которой для меня нет счастья.

Тереза подружилась с дочерью каменщика, моего соседа, некоего Пийе, а я подружился с ним самим; и вот, пообедав утром в замке – не ради удовольствия, а чтобы сделать приятное супруге маршала, с каким нетерпеньем возвращался я вечером оттуда, чтобы поужинать с добряком Пийе и его семьей то у него в доме, то у меня!

Кроме этих двух квартир, я скоро получил еще третью – в парижском особняке герцога и герцогини Люксембургских: хозяева так настаивали на том, чтобы я навещал их там иногда, что я согласился, несмотря на свое отвращенье к Парижу, где после своего отъезда в Эрмитаж был только два раза, о чем я уже говорил. Впрочем, теперь я ездил туда только по определенным дням, единственно для того, чтобы поужинать, и возвращался на другой день утром. Я входил и выходил через сад, примыкавший к бульвару, так что мог сказать, ничуть не погрешив против истины, что нога моя не касалась парижской мостовой.

Среди этого кратковременного благоденствия издали уже надвигалась катастрофа, положившая ему конец. Вскоре после моего возвращения в Мон-Луи у меня завязалось там – как обычно, помимо моего желания – новое знакомство, тоже составляющее целую эпоху в истории моей жизни. Из дальнейшего будет видно – в хорошем или дурном смысле слова. Новой знакомой была маркиза де Верделен, моя соседка, муж которой незадолго перед тем купил загородный дом в Суази, возле Монморанси. Мадемуазель Аре, дочь графа Арса, человека знатного, но бедного, вышла замуж за г-на де Верделена, старого, безобразного, глухого, кривого, со шрамом на лице, резкого, грубого, ревнивого, а в общем добродушного, если к нему умело подойти, и обладателя ренты в пятнадцать-двадцать тысяч ливров, за которую ее и выдали. Этот селадон весь день ругался, кричал, бушевал и доводил жену до слез, но в конце концов всегда делал то, что она хотела, воображая, что делает ей назло, так как она умела уверить его, будто он сам этого хочет, а она этому противится. Г-н де Маржанси, о котором я упоминал, был другом этой дамы и стал другом ее мужа. За несколько лет перед тем он сдал им свой замок Маржанси, возле Обона и Андийи, и они жили там как раз в период моего страстного увлечения г-жой д'Удето. Г-жа д'Удето и г-жа де Верделен были знакомы через г-жу д'Обтер, их общую приятельницу; и так как сад Маржанси находился на пути к горе «Олимп», куда любила ходить г-жа д'Удето, г-жа де Верделен дала ей ключ, чтобы она могла проходить через сад. Благодаря этому ключу и я часто проходил через этот сад вместе с ней, но я не любил неожиданных встреч, и, когда г-жа де Верделен случайно попадалась нам на пути, я оставлял их вдвоем, ничего не говоря, и проходил вперед. Столь мало галантное поведение вряд ли могло расположить ее ко мне. Однако, приехав в Суази, она все-таки стала искать встреч со мной. Она несколько раз являлась ко мне в Мон-Луи, но не заставала меня; видя, что я не отдаю ей визита, она вздумала вынудить меня к этому и послала мне несколько горшков с цветами для моей террасы. Пришлось пойти поблагодарить ее; этого было достаточно: мы познакомились.

Знакомство это сначала омрачалось бурями, как все мои знакомства, которые завязались против моего желания. Оно, собственно, никогда не было вполне мирным. Склад ума г-жи де Верделен был слишком чужд моему. Колкости и эпиграммы выходят из ее уст с такой простотой, что необходимо постоянное напряжение внимания – для меня чрезвычайно утомительное, – чтобы заметить, когда она только шутит, а когда насмехается. Пришедший мне на память пустяк дает об этом достаточное представление. Ее брат был только что назначен командиром фрегата, действовавшего против англичан{394}. Я заговорил о том, как лучше вооружить этот фрегат и в то же время не перегрузить его. «Ну да, – сказала она совершенно спокойным тоном, – пушек берут ровно столько, сколько нужно для сражения». Мне редко случалось слышать, чтобы она говорила хорошо о каком-нибудь отсутствующем друге, не обмолвившись ни словом осуждения. Ко всему она относилась или дурно, или насмешливо, не делая исключения даже для своего друга Маржанси. Но особенно несносной для меня была ее манера постоянно докучать мне посылочками, подарочками, записочками, на кото-

рые мне приходилось отвечать и ломать себе голову, придумывая, как выразить благодарность и отказаться. Однако наши частые встречи с ней привели к тому, что я в конце концов к ней привязался. У нее были свои огорченья, как и у меня. Взаимные признания сделали наши беседы наедине интересными для нас обоих. Ничто так не связывает сердца, как отрада совместных слез. Мы искали друг у друга утешения, и потребность эта часто заставляла меня смотреть сквозь пальцы на многое. Я вкладывал столько суровости в мою откровенность с нею, выказывал иногда так мало уважения к ее характеру, что, в сущности, надо было очень уважать ее, чтобы думать, что она способна искренно простить меня. Вот образчик писем, какие я иногда писал ей, причем надо заметить, что ни разу ни в одном из своих ответов она не обнаружила ни малейшей обиды.

Монморанси, 5 ноября 1760 г.

«Вы говорите, сударыня, что неудачно выразились, давая этим мне понять, что я выражаюсь дурно. Вы толкуете о своей мнимой глупости, чтобы дать мне почувствовать мою глупость. Вы хвалитесь, что вы женщина простая, точно боитесь, что вас поймают на слове, и просите у меня извинений для того, чтобы я догадался попросить извинения у вас. Да, сударыня, я прекрасно знаю: я глупец, простак и еще хуже, если возможно; я плохо выбираю выражения, на взгляд прекрасной французской дамы, которая обращает так много внимания на слова и говорит так хорошо, как вы. Но учтите, что я употребляю их в обычном смысле, не ведая и не заботясь о том, как найдут нужным истолковать их в добродетельном парижском обществе. Если порой мои выражения неясны, я стараюсь, чтобы мое поведение уточнило их смысл» и т. д.

Остальная часть письма приблизительно в том же тоне. Взгляните на ответ (связка Г, № 41) и представьте необыкновенную мягкость женского сердца, которое после такого письма способно быть так мало злопамятным, как это обнаруживает ее ответ и как это проявлялось во всегдашнем ее обращении. Куанде, предприимчивый, смелый до бесстыдства и подстерегавший всех моих друзей, не замедлил втереться к г-же де Верделен, воспользовавшись моим именем, и стал бывать у нее, без моего ведома, запросто, чаще, чем я сам. Странное существо был этот Куанде. Он являлся от моего имени ко всем моим знакомым, обосновывался у них, ходил к ним обедать без церемоний. Обуреваемый стремлением услужить мне, он говорил обо мне не иначе как со слезами на глазах; но когда приходил ко мне, то хранил глубокое молчание обо всех своих знакомствах и обо всем, что, как ему было известно, могло интересовать меня. Вместо того чтобы сообщить мне все, что он узнал, или сказал, или видел интересного для меня, он сам слушал и расспрашивал меня. Он никогда не знал о жизни в Париже ничего другого, кроме того, что я сообщал ему; словом, все говорили мне о нем, но он не говорил мне ни о ком: он был сдержанным и таинственным только со своим другом. Но оставим пока Куанде и г-жу де Верделен. Мы вернемся к ним в дальнейшем.

Через некоторое время после моего возвращения в Мон-Луи ко мне пришел художник Латур и принес мой портрет пастелью, который он за несколько лет перед тем выставлял в Салоне. Он тогда хотел подарить мне этот портрет, но я не принял подарок. Однако г-жа д'Эпине, подарившая мне свой портрет, желала иметь мой и уговорила меня попросить его у Латура. Некоторое время ушло на ретушевку. За этот промежуток произошел мой разрыв с г-жой д'Эпине; я вернул ее портрет; и так как уже не могло быть речи о том, чтобы я дал ей свой, я повесил его у себя в комнате в «Малом замке». Там его увидел герцог Люксембургский; портрет ему понравился; я предложил герцогу взять его себе; он согласился, и я послал этот портрет ему. Маршал и его супруга поняли, что я был бы очень рад получить их портреты. Они заказали миниатюры очень хорошему художнику, отдали вправить их в бонбоньерку из горного хрусталя с золотой оправой и подарили мне ее так любезно, что

привели меня в восторг. Герцогиня ни за что не согласилась, чтобы ее портрет был помещен на верхней стороне крышки. Она не раз упрекала меня в том, что я люблю маршала больше, чем ее, и я не опровергал этого, ибо это была правда. Поместив свой портрет с внутренней стороны крышки, она показала мне очень любезно, но и очень ясно, что не забывает об этом предпочтении.

Приблизительно в это время я сделал глупость, которая отнюдь не способствовала сохранению ее доброго расположения ко мне. Хотя я вовсе не знал г-на де Силуэта{395} и не испытывал к нему особой симпатии, я высоко ценил его административную деятельность. Когда он начал накладывать свою тяжелую руку на финансистов, я видел, что время для этого выбрано неблагоприятное, но горячо желал успеха такому мероприятию; узнав, что г-н де Силуэт отставлен, я со свойственной мне опрометчивостью написал ему следующее письмо, которое, конечно, не берусь оправдывать.

Монморанси, 2 декабря 1759 г.

«Благоволите, сударь, принять дань уважения от отшельника, вам неизвестного, но высоко ценящего ваши таланты, почитающего вас за вашу административную деятельность и всегда питавшего лестную для вас уверенность, что вы недолго удержитесь на своем посту. Не видя возможности спасти государство иначе как за счет разорившей его столицы, вы пренебрегли криками стяжателей, наживающих деньги. Видя, как вы расправляетесь с этими негодяями, я завидовал вам; видя, что вы оставили свою должность, не изменив себе, я восхищаюсь вами. Будьте довольны собой, сударь: вам досталась в удел честь, которой вы долго будете пользоваться без соперников. Проклятия мошенников составляют славу человека, идущего путями правды».

Герцогиня Люксембургская, зная, что я написал это письмо, заговорила о нем со мной, приехав в Монморанси на Пасху; я показал его; она пожелала иметь копию; я дал; но, давая, я не знал, что сама она принадлежит к стяжателям, которые были заинтересованы в откупах и добились смещения Силуэта. Можно подумать, что всеми своими неловкими поступками я нарочно, для развлечения, стремился возбудить к себе ненависть любезной и могущественной женщины, а на самом деле я с каждым днем все больше привязывался к ней и вовсе не желал навлечь на себя ее немилость, хотя своими промахами и делал все необходимое для этого.

Мне кажется, довольно излишне указывать, что именно к ней относится история с опиатом г-на Троншена, о котором я говорил в первой части; другая дама была г-жа де Мирпуа. Они мне никогда больше об этом не напоминали, ни та, ни другая; однако, даже если б не было известно ни одно из последующих событий, трудно допустить, чтобы герцогиня могла в самом деле забыть об этом. Но я вовсе не ждал печальных результатов от своих глупостей, успокаивая себя сознанием, что ни одной из них не сделал с целью обидеть: как будто женщина может когда-нибудь простить подобный промах, даже если она вполне уверена, что это невольная оплошность. Однако, хотя она, казалось, ничего не видела, ничего не замечала и я еще не обнаруживал, чтобы она оказывала мне меньше внимания и обращалась со мною иначе, чем прежде, – все возрастающее и слишком хорошо обоснованное предчувствие заставляло меня беспрестанно бояться, что очень скоро на смену увлечению придет скука. Мог ли я ожидать от столь знатной дамы постоянства, когда я подвергал его таким испытаниям из-за недостатка ловкости? Я даже не мог скрыть от нее, как меня тревожит мое глухое предчувствие, и становился еще более угрюмым. Об этом можно судить по следующему письму, содержащему очень странное предсказанье.

Это письмо, в моем черновике не датированное, относится самое позднее к октябрю 1760 года:

«Как ваша доброта мучительна! Зачем смущать покой отшельника, отказавшегося от радостей жизни, чтобы не знать ее огорчений? Я проводил свои дни в тщетных поисках прочных привязанностей. Я не мог найти их в условиях, для меня достижимых; неужели я должен искать их в вашем кругу? Ни честолюбие, ни корысть не соблазняют меня; я не тщеславен и не боязлив. Я могу противиться всему, кроме ласки. Зачем вы пользуетесь моей слабостью, которую мне надо побороть? Ведь расстояние между нами так велико, что порывы моего чувствительного сердца не приблизят его к вашему. Разве достаточно одной лишь благодарности для сердца, которое не знает иного способа отдать себя, кроме чувства дружбы, сударыня? Ах, в этом мое несчастье! Вы с г-ном маршалом вольны употреблять это слово – «дружба», но с моей стороны безумие понимать вас буквально. Вы играете, а я привязываюсь, и конец игры готовит мне новую печаль. Как ненавижу я ваши титулы и как жалею вас за то, что вы их носите! Вы кажетесь мне столь достойными наслаждаться радостями простой жизни. Зачем не живете вы в Кларане!{396} Я отправился бы туда за своим счастьем; но замок Монморанси, но Люксембургский дворец… Разве там место для Жан-Жака? Разве туда друг равенства должен нести привязанность чувствительного сердца, которое, оплачивая такой ценой оказываемое ему уваженье, верит, что дает не меньше, чем получает? Вы тоже добры и чувствительны; я знаю, я видел это. Жалею, что раньше думал иначе. Но на той ступени, где вы находитесь, при вашем образе жизни, ничто не может оставить впечатления длительного, и столько новых предметов внимания взаимно вытесняют друг друга, что не остается ни одного. Вы забудете меня, сударыня, после того как лишите меня возможности последовать вашему примеру. Большая доля вашей вины будет в том, что я стану несчастен, и это с вашей стороны непростительно».

Я упомянул о герцоге только для того, чтобы подобные комплименты не показались ей слишком резкими, а по существу я был вполне уверен в нем, и мне в голову ни разу не приходило опасаться за длительность его дружбы. Ничто из того, что смущало меня в отношении его супруги, ни на одну минуту я не распространял на него самого. Ни разу, хотя бы в самой малой степени, я не усомнился в его характере: я знал, что он слаб, но не способен к измене. Я не опасался возможности его охлаждения так же, как не ждал от него и героической привязанности. Простота, непринужденность нашего общения говорили о том, что мы оба уверены друг в друге. И оба были правы. Пока жив, я буду чтить, буду нежно любить память этого достойного вельможи; и сколько ни старались отдалить его от меня, я до такой степени убежден в том, что он умер моим другом, как если б принял его последний вздох.

Во второй их приезд в Монморанси, в 1760 году, ввиду того что «Юлия» была уже прочитана, я прибег к чтению «Эмиля», чтобы сохранить свое положение возле герцогини; но это не имело такого успеха – потому ли, что тема пришлась менее по вкусу или чтение в таком количестве в конце концов наскучило. Однако, считая, что книгопродавцы всегда меня обманывают, она пожелала взять на себя хлопоты по изданию этой книги, чтобы оно принесло мне больше выгоды. Я согласился, при непременном условии, что «Эмиль» будет напечатан не во Франции; по этому вопросу у нас даже вышел долгий спор: я утверждал, что молчаливого разрешения добиться невозможно и даже просить об этом рискованно, а иначе печатать свою книгу в пределах королевства не соглашался; она утверждала, что при системе, принятой правительством, это не составит для цензуры ни малейшего затруднения. Она нашла способ привлечь на свою сторону г-на де Мальзерба, и он прислал мне по этому поводу собственноручное длинное письмо, где доказывал, что «Исповедание веры савойского викария», – как раз такое произведение, которое встретит одобрение всего света, и в частности – французского двора. Я был удивлен, что этот сановник, всегда столь опасли-

вый, вдруг проявляет такую сговорчивость. Так как книга была им одобрена, печатанье ее тем самым становилось законным, и у меня больше не было возражений. Однако, по странной щепетильности, я продолжал настаивать, чтобы она печаталась в Голландии и чтоб это было поручено книгоиздателю Неольму, которого я сам указал, предупредив его; но я не возражал, чтобы прибыль от издания пошла какому-нибудь французскому книгопродавцу и чтобы после выпуска оно было распространено в Париже или любом другом месте, лишь бы распространение его меня не касалось. Вот в точности то, что было условлено между герцогиней и мною, после чего я передал ей свою рукопись.

На этот раз она привезла с собой свою внучку, мадемуазель де Буффле, теперь герцогиню де Лозен. Ее звали Амели. Это было прелестное существо. У нее было действительно невинное личико, невинная нежность, невинная застенчивость. Не может быть ничего милей и привлекательней ее облика, нежней и целомудренней чувств, вызываемых ею. Впрочем, это был еще ребенок, – ей не было одиннадцати лет. Супруга маршала, находя ее слишком застенчивой, старалась ее расшевелить. Она несколько раз позволяла мне целовать ее, что я делал с обычной своей угрюмостью. Вместо ласковых слов, которые всякий другой говорил бы на моем месте, я оставался безмолвным, смущенным, и не знаю, кому было более стыдно – бедной девочке или мне. Раз я встретил ее одну на лестнице в «Малом замке»: она шла от Терезы, у которой сидела ее гувернантка. Не зная, что ей сказать, я попросил разрешения поцеловать ее, и она позволила это так же простодушно, как приняла мой поцелуй утром – по приказанию бабушки и в ее присутствии. На другой день, когда я читал «Эмиля» у изголовья супруги маршала, мне как раз попался отрывок, где я справедливо осуждаю то, что сделал накануне. Она нашла, что моя мысль очень верна, и сказала по этому поводу что-то очень дельное, отчего я покраснел. Как проклинаю я свою невероятную глупость, так часто придававшую мне вид гадкий и виноватый, тогда как я был только сбит с толку и смущен! Подобная конфузливость у человека, относительно которого известно, что он не лишен ума, производит даже впечатление фальшивого оправдания. Могу, однако, поклясться, что при этом предосудительном поцелуе, как и всегда, сердце и чувства мои были не менее чисты, чем у мадемуазель Амели; и могу даже поклясться, что, если бы в ту минуту я мог избежать встречи с ней, я сделал бы это, – не потому, чтобы мне не доставляло большого удовольствия ее видеть, но мне просто было трудно придумать и сказать ей мимоходом что-нибудь приятное. Как может это быть, чтобы ребенок приводил в смущение человека, которого не пугала власть королей? Но что поделать? Как вести себя, когда у меня нет никакой находчивости? Если я принуждаю себя разговаривать с встречными людьми, я неизменно говорю что-нибудь неуместное; если же я ничего не говорю, меня считают мизантропом, дикарем, медведем. Полная глупость была бы гораздо выгодней, чем такое отсутствие светских способностей, оказавшееся гибельным при тех способностях, которыми я действительно обладал.

Под конец своего пребывания в Монморанси герцогиня сделала доброе дело, и я принял в нем некоторое участие. Дидро очень неосторожно обидел принцессу де Робек, дочь маршала. Палиссо{397}, которому она покровительствовала, отомстил за нее, написав комедию «Философы», где меня безобидно высмеял, а Дидро изобразил в чрезвычайно дурном свете. Вероятно, автор пьесы обошелся со мной мягче не столько из уважения ко мне, сколько из опасения рассердить отца своей покровительницы, зная, что тот любит меня. Книгопродавец Дюшен, тогда совсем незнакомый мне, прислал мне эту пьесу, когда она была напечатана; подозреваю, что это было сделано по распоряжению Палиссо, может быть, предполагавшего, что я с удовольствием увижу, как он смешивает с грязью человека, с которым я порвал. Он очень ошибся. Порвав с Дидро, которого я считал не столько дурным, сколько нескромным и бесхарактерным, я навсегда сохранил к нему в душе привязанность, даже уважение, и чтил память о нашей прежней дружбе, так как знал, что долгое время она была

с его стороны такой же искренней, как и с моей. Совсем другое дело Гримм – человек, лживый по природе, никогда меня не любивший, даже не способный любить: он с радостью, без всякого повода к неудовольствию, только ради того, чтобы удовлетворить свою черную зависть, стал моим тайным гонителем и жестоко клеветал на меня. Гримм теперь в моих глазах ничто, а Дидро всегда останется для меня моим бывшим другом. Я был возмущен до глубины души этой отвратительной пьесой; я не мог дочитать ее до конца и отослал обратно Дюшену со следующим письмом:

Монморанси, 21 мая 1760 г.

«Просматривая присланную вами пьесу, сударь, я содрогнулся, обнаружив, что меня хвалят в ней. Я не принимаю этого отвратительного подарка. Уверен, что, посылая ее, вы не желали нанести мне оскорбленья; но вы не знаете или забыли, что я имел честь быть другом достойного человека, гнусно очерненного и оклеветанного в этом пасквиле».

Дюшен показал мое письмо Дидро; оно должно было его тронуть, но возбудило в нем досаду. Его самолюбие не могло простить мне моего великодушия, и я узнал, что жена его с ожесточением всюду поносит меня; но это не произвело на меня особого впечатления, поскольку мне было известно, что все ее считают базарной торговкой.

Дидро в свою очередь нашел мстителя – в лице аббата Морелле{398}, написавшего против Палиссо сочиненьице в виде подражания «Маленькому пророку», под заглавием «Видение». В этой статье Морелле очень неосторожно оскорбил г-жу де Робек, а ее друзья добились его заключения в Бастилию, – я уверен, что сама она не причастна к этому, так как по натуре чужда мстительности, да и была в ту пору почти при смерти.

Д'Аламбер, близкий друг аббата Морелле, написал мне, чтобы я попросил герцогиню Люксембургскую похлопотать о его освобождении, обещая в благодарность похвалить ее в «Энциклопедии»[55].

Вот мой ответ:

«Я не ждал вашего письма, сударь, чтобы выразить супруге маршала свое огорченье по поводу ареста аббата Морелле. Она знает, с каким участием я отношусь к нему, узнает теперь, с каким участием относитесь к нему вы, и для нее будет довольно, что он человек достойный, чтобы отнестись к нему с участием самой. Однако, хотя она и г-н маршал удостаивают меня благоволения, составляющего отраду моей жизни, и имя вашего друга является в их глазах рекомендацией для аббата Морелле, я не знаю, до каких пределов пристало им употребить в данном случае влияние, связанное с их рангом и уважением, которым они пользуются. Я даже не уверен, что мщение, о котором идет речь, имеет в виду принцессу де Робек, как вы, видимо, думаете; и если б это было даже так, не следует ожидать, чтобы наслаждение местью было свойственно исключительно философам, и что, если они будут поступать, как женщины, женщины станут философами. Я покажу ваше письмо герцогине Люксембургской и сообщу вам, что она ответит. Но, мне кажется, я достаточно знаю ее и заранее могу уверить вас, что она с удовольствием окажет содействие освобождению аббата Морелле, однако не примет той лестной дани благодарности, которую вы обещаете заплатить ей в «Энциклопедии», – так как она делает добро не для похвал, а повинуясь своему доброму сердцу».

[55] Это письмо вместе с несколькими другими исчезло из Люксембургского дворца, когда мои бумаги находились там на сохранении. (*Прим. Руссо.*)

Я не пожалел усилий, стараясь пробудить участие и сострадание герцогини по отношению к бедному узнику, и достиг этого. Она нарочно поехала в Версаль, чтобы повидать графа де Сен-Флорантена, и из-за этой поездки сократила свое пребывание в Монморанси. Маршал уехал одновременно с нею и отправился в Руан, куда король послал его в качестве губернатора Нормандии, чтобы успокоить какие-то волнения в парламенте{399}. Вот письмо (связка Г, № 23), написанное мне герцогиней Люксембургской через день после ее отъезда:

Версаль, среда

«Маршал уехал вчера в шесть часов утра. Еще не знаю, поеду ли я к нему. Жду от него вестей, потому что он сам не знает, сколько времени пробудет там. Я видела г-на де Сен-Флорантена; он наилучшим образом расположен к аббату Морелле, но усматривает препятствия в этом деле, которые, однако, надеется преодолеть, когда будет на докладе у короля на следующей неделе. Я также просила, как милости, чтобы аббата не высылали, потому что об этом шла речь, – его хотели выслать в Нанси. Вот чего мне удалось добиться, сударь. Но обещаю вам не оставлять г-на де Сен-Флорантена в покое, пока дело не кончится согласно вашему желанию. Нужно ли говорить, что мне было грустно так рано покинуть вас. Льщу себя надеждой, что вы в этом не сомневаетесь. Люблю вас от всего сердца и на всю жизнь».

Через несколько дней я получил записку от д'Аламбера (связка Д, № 26), которая доставила мне искреннюю радость:

1 августа

«Благодаря вашим хлопотам, мой дорогой философ, аббата выпустили из Бастилии, и арест его не будет иметь последствий. Он уезжает в деревню и шлет вам, так же как и я, тысячу благодарностей и приветов. Vale et me ama»[56].

Аббат тоже написал мне несколько дней спустя благодарственное письмо (связка Г, № 29), где я, однако, не нашел особенной сердечности и где он даже в известной мере умалял оказанную мной услугу. А через некоторое время я обнаружил, что д'Аламбер и он отчасти – не скажу вытеснили, но заменили меня у герцогини Люксембургской, и я потерял в ее глазах столько же, сколько они выиграли. Впрочем, я очень далек от подозрений, что аббат Морелле был причастен к постигшей меня немилости; для этого я слишком уважаю его. О д'Аламбере я здесь ничего не скажу: я вернусь к нему в дальнейшем.

В это время у меня было еще одно дело, послужившее поводом для последнего моего письма к г-ну де Вольтеру. Он всем заявлял, что письмо это – гнусное оскорбление, но никогда никому не показывал его. Я возьму здесь на себя то, чего не пожелал сделать он.

Аббат Трюбле, которого я немного знал, но видел очень редко, письмом от 13 июня 1760 года (связка Г, № 11) предупредил меня, что г-н Формей{400}, его друг и корреспондент, напечатал в своем журнале мое письмо к г-ну де Вольтеру о землетрясении в Лиссабоне. Аббат Трюбле хотел знать, как это опубликование могло произойти, и, отличаясь пронырливым, иезуитским складом ума, спрашивал, что́ я думаю о перепечатке этого письма, но сам не высказывал своего мнения. Мне глубоко ненавистны подобные хитрецы, и, выражая ему должную благодарность, я придал ей, однако, жесткий тон, который был им замечен; однако это не помешало ему приставать ко мне еще в двух-трех письмах до тех пор, пока он не узнал все, что ему было надо.

Что бы ни говорил Трюбле, я отлично понял, что Формей не перепечатал мое письмо, а первый опубликовал его. Я знал его как дерзкого плагиатора, бесцеремонно извлекавшего

[56] Прощай и люби меня (*лат.*).

прибыль из чужих произведений, хотя в то время он еще не доходил до такого невероятного бесстыдства, чтобы снять с уже опубликованной книги имя автора, поставить на ней свое имя и продавать эту книгу в свою пользу[57]. Но каким путем мое письмо попало к нему? Об этом нетрудно было догадаться, но, по свойственной мне наивности, я все-таки был в затруднении. Хотя в этом письме я воздавал Вольтеру чрезмерные почести, однако он – даже при всех своих неучтивых поступках по отношению ко мне – имел бы основание жаловаться, если б подумал, что я позволил напечатать письмо, не испросив его согласия; и я решил объясниться с ним. Вот мое второе письмо, на которое он не дал никакого ответа, притворившись, чтобы лучше оправдать свою грубость, будто приведен им в бешенство:

Монморанси, 17 июня 1760 г.

«Я не предполагал, сударь, что окажусь когда-либо снова в переписке с вами. Но, узнав, что в Берлине напечатано письмо, написанное мною вам в 1756 году, я должен объяснить свое поведение в этом деле и исполню эту обязанность правдиво и откровенно.

Это письмо, действительно адресованное вам, не было предназначено для печати. Я передал его под этим условием трем лицам, которым в силу прав дружбы не мог отказать в чем-либо подобном; но эти же права еще менее позволяли им злоупотребить моим доверием и нарушить данное обещанье. Этими тремя лицами были г-жа де Шенонсо, невестка г-жи Дюпен, графиня д'Удето и один немец, по фамилии Гримм. Г-жа де Шенонсо желала, чтобы это письмо было напечатано, и просила моего согласия на это. Я ей ответил, что оно зависит от вас. Вас попросили дать согласие, вы в нем отказали, и об этом больше не было речи.

Между тем г-н аббат Трюбле, с которым у меня нет никаких отношений, пишет мне, движимый благородной предупредительностью, что, получив оттиск одной из книг журнала г-на Формея, он прочел там это самое письмо, с извещением, помеченным 23 октября 1759 года, где редактор говорит, что нашел его за несколько недель перед тем у берлинских книгопродавцев и, так как это один из тех летучих листков, которые быстро исчезают бесследно, счел себя обязанным поместить его в своем журнале.

Вот, сударь, все, что я знаю. Не может быть сомнений, что в Париже до сих пор даже не слыхали об этом письме. Не может быть сомнений, что экземпляр, рукописный или печатный, который оказался в руках у г-на Формея, мог попасть к нему либо от вас, что невероятно, либо от одного из трех только что названных мной лиц. Наконец, не может быть сомнений, что обе дамы не способны на подобное предательство. Больше я ничего не могу знать в своем уединении. У вас есть корреспонденты, при помощи которых вам легко было бы, если только стоит труда, добраться до источника и выяснить, как было дело.

В том же письме аббат Трюбле сообщает мне, что он хранит свой экземпляр у себя и не покажет его никому без моего согласия, которого я, разумеется, не дам. Но, возможно, этот экземпляр не единственный в Париже. Я желал бы, сударь, чтобы письмо это не было там напечатано, и сделаю для этого все, что от меня зависит. Но если мне не удастся это предотвратить и я узнаю об этом заблаговременно, то воспользуюсь своим преимуществом и без колебаний напечатаю его сам. Мне кажется, это справедливо и естественно.

Что касается вашего ответа на мое письмо, я никому его не передавал, и вы можете быть уверены, что он не будет напечатан без вашего согласия[58], а я, разумеется, не позволю себе просить его у вас, хорошо зная, что то, что один человек пишет другому, не предназначается для публики. Но если б вы пожелали написать ответ для опубликования и прислать его мне, я обещаю вам присоединить его к моему письму и не возражать на него ни слова.

---

[57] Так он впоследствии присвоил себе «Эмиля». (*Прим. Руссо.*)

[58] Само собой понятно – при его жизни и моей; и, конечно, самая строгая щепетильность не могла бы потребовать большого, – особенно по отношению к человеку, который попирает ее. (*Прим. Руссо.*)

Я не люблю вас, сударь: вы причинили мне самые мучительные страдания, – мне, вашему ученику и почитателю. Вы развратили Женеву{401} в награду за гостеприимство, которое она вам оказала; вы отдалили от меня моих сограждан в награду за те хвалы, которые я расточал вам, находясь среди них. Вы делаете мне пребывание на родине невыносимым; из-за вас мне придется умереть на чужбине, лишенным всех утешений умирающего и вместо всяких почестей быть выброшенным на свалку, тогда как вам на моей родине будут оказывать все почести, каких может ожидать человек. Я, наконец, ненавижу вас, раз вы того желали; но ненавижу как человек, который мог бы вас любить, если б вы пожелали этого. Из всех моих прежних чувств к вам в сердце у меня осталось только восхищение, в котором нельзя отказать вашему прекрасному дарованию, и любовь к вашим произведениям. Если я не могу чтить в вас ничего, кроме ваших талантов, это не моя вина. Я никогда не откажу им в уважении, которого они заслуживают, и мои поступки всегда будут ему соответствовать. Прощайте, сударь»[59].

Среди всех этих мелких литературных дрязг, все более укреплявших меня в моем решении, я был удостоен самой большой почести, какую только доставляли мне мои произведения и к которой я был всего чувствительней: принц де Конти соблаговолил дважды посетить меня – один раз в «Малом замке», другой – в Мон-Луи. Он даже выбрал оба раза такое время, когда герцогини Люксембургской не было в Монморанси, желая подчеркнуть, что он приехал ради меня. Я никогда не сомневался, что первыми знаками внимания со стороны этого принца я обязан ей и г-же де Буффле; но не сомневаюсь также, что благоволением, которое он с тех пор всегда выказывал мне, я обязан самому себе и его приязни ко мне лично[60].

Так как моя квартира в Мон-Луи была очень мала, а местоположение башни очаровательно, я повел принца туда, и он в довершение своих милостей пожелал оказать мне честь, сыграв со мною в шахматы. Я знал, что он выигрывает у кавалера де Лоранзи, который был сильнее меня. Однако, несмотря на знаки и ужимки кавалера и других присутствующих, я делал вид, будто не замечаю их, и выиграл обе партии. Кончив, я сказал тоном почтительным, но серьезным: «Монсеньор, я слишком почитаю ваше высочество и поэтому не опасаюсь выигрывать у вас в шахматы». Этот великий принц, полный ума и просвещенности и столь достойный того, чтобы ему не льстили, думается мне, понял, что я один обращаюсь с ним как с человеком, и у меня есть все основания полагать, что он был мне искренне благодарен за это.

Если б он был этим недоволен, и тогда я не стал бы упрекать себя за свое нежелание обмануть его в чем бы то ни было, и, конечно, мне не приходится также упрекать себя за то, что в сердце своем я недостаточно отвечал на его доброту, хотя иногда делал это нелюбезно, тогда как сам он необыкновенно обаятельно выказывал мне свою милость. Несколько дней спустя он прислал мне корзину дичи, и я принял ее надлежащим образом. Через некоторое время он прислал другую; и один из его ловчих написал мне, по его приказанию, что это дичь от охоты его высочества, застреленная им самим. Я принял и на этот раз, но написал г-же де Буффле, что больше принимать не буду. Письмо мое было встречено всеобщим порицанием, и по заслугам: отказаться принять в подарок дичь от принца крови, да еще делающего подарок так учтиво, – это не столько щепетильность гордого человека, желающего

[59] Следует заметить, что прошло почти семь лет с тех пор, как это письмо было мною написано, а я не говорил о нем и не показывал его ни одной живой душе. Так же было и с теми двумя письмами, которые г-н Юм прошлым летом заставил меня написать ему, – до тех пор, пока он не поднял из-за них всем известную шумиху. Все то дурное, что мне приходится говорить о моих врагах, я говорю по секрету, им одним. Если же можно говорить о них хорошее, я говорю это публично и от всего сердца. (*Прим. Руссо*.)

[60] Обратите внимание, как упорно держалось это слепое и глупое доверие после всех оскорблений, которые должны были открыть мне глаза. Оно прекратилось только после моего возвращения в Париж в 1770 году. (*Прим. Руссо*.)

сохранить независимость, сколько грубость зазнавшегося невежи. Я никогда не перечитывал этого письма в своем собрании без того, чтоб не покраснеть и не пожалеть, что написал его. Но ведь я задумал писать исповедь не для того, чтобы замалчивать свои глупости, а эта невежливость так возмущает меня самого, что я не позволю себе скрыть ее.

Я едва не сделал другой глупости, вздумав стать его соперником: в ту пору г-жа де Буффле была еще его любовницей, а я ничего не знал об этом. Г-жа де Буффле довольно часто навещала меня, вместе с кавалером де Лоранзи. Она была красива и еще молода. Она усвоила римский строй мыслей, а у меня он всегда был романтический, что довольно близко. Я чуть было не увлекся; думаю, она это заметила; кавалер де Лоранзи заметил тоже: по крайней мере он заговорил со мной об этом, и в таком тоне, что отнюдь не обескуражил меня. Но на этот раз я оказался благоразумным; да и пора было образумиться в пятьдесят лет. Помня урок, преподанный мною в «Письме к д'Аламберу», я постыдился так дурно им воспользоваться самому. К тому же я узнал то, чего не знал раньше, и, конечно, только совсем потеряв голову, можно было соперничать с такой высокой особой. Наконец я, быть может, еще не вполне исцелился от своей страсти к г-же д'Удето; чувствуя, что никто уже не может занять ее место в моем сердце, я навсегда простился с любовью. Теперь, когда я пишу это, я только что испытал на себе очень опасное заигрыванье и очень волнующие взгляды одной молодой женщины, имевшей свои виды; но если она притворилась, будто забыла о двенадцати моих пятилетиях, то я помнил о них. Выпутавшись из этих сетей, я уже не боюсь упасть и отвечаю за себя до конца моих дней.

Г-жа де Буффле, заметив, какое волнение она во мне вызвала, имела также возможность заметить, что я справился с ним. Я не настолько безумен и не настолько тщеславен, чтобы вообразить, будто мог в моем возрасте понравиться ей; но на основании некоторых слов, сказанных ею Терезе, мне показалось, что я заинтересовал ее. Если это было так и если она не простила мне этого обманутого интереса, приходится признать, что я действительно рожден для того, чтобы быть жертвой своих слабостей; победившая любовь оказалась для меня роковой, а любовь побежденная – еще более пагубной.

На этом кончается собрание писем, служившее мне путеводителем при написании этих двух книг. Дальше я пойду только по следам своих воспоминаний. Но жестокие воспоминания этих дальнейших лет запечатлелись во мне с такою силой, что, теряясь в необъятном море моих несчастий, я не могу забыть подробностей первого своего крушения, хотя последствия его помню лишь смутно. Поэтому в следующей книге я могу идти вперед еще довольно уверенно. Но дальше мне уж придется подвигаться только ощупью.

Книга одиннадцатая (1760–1762)

Хотя «Юлия», уже давно находившаяся в печати, к концу 1760 года еще не вышла в свет, вокруг нее уже начинался шум. Герцогиня Люксембургская рассказывала о ней при дворе, г-жа д'Удето – в Париже. Последняя даже взяла у меня разрешение для Сен-Ламбера прочесть ее в рукописи польскому королю, и король пришел в восторг. Дюкло, которому ее тоже дали прочесть по моей просьбе, рассказал о ней в Академии. Весь Париж жаждал познакомиться с романом: книгопродавцев на улице Сен-Жак и ту лавку, что в Пале-Рояле{402}, осаждали люди, справлявшиеся о нем. Наконец он появился, и успех его, против обыкновения, равнялся нетерпению, с каким его ожидали. Супруга дофина{403}, прочитав его одной из первых, отозвалась о нем герцогу Люксембургскому как о чудном произведении. Литераторы разошлись во мнениях, но приговор света был единодушен; в особенности женщины сходили с ума от книги и от автора до такой степени, что даже и в высшем кругу не много нашлось бы таких, над которыми я, при желании, не одержал бы победу. Я располагаю доказательствами этого, но не хочу приводить их; не нуждаясь в проверке, они подтверждают мое мнение. Странно, что книга эта была лучше принята во Франции, чем в остальной Европе, хотя французы – и мужчины, и женщины – получили в ней не очень хорошую оценку. Вопреки моим ожиданиям, наименьший успех она имела в Швейцарии, а наибольший – в Париже. Разве дружба, любовь и добродетель царят в Париже более, чем во всяком другом месте? Нет, конечно; но там еще царит та восхитительная способность восприятия, которая наполняет сердце возвышенным стремлением к ним и заставляет ценить в других чистые, нежные, благородные чувства, нас уже покинувшие. Теперь разврат повсюду одинаков; во всей Европе нет ни нравственности, ни добродетели; но если где еще существует любовь к ним, то именно в Париже[61].

Надо уметь хорошо разбираться в человеческом сердце, чтобы сквозь множество предрассудков и искусственных страстей различить в нем настоящие, естественные чувства. Требуются необыкновенная чуткость и такт, которые дает лишь воспитание в большом свете, чтобы почувствовать, если смею так выразиться, всю сердечную тонкость, которой полно это произведение. Я без опасения ставлю четвертую часть его рядом с «Принцессой Клевской»{404} и утверждаю, что, если бы обе эти книги читала только провинция, все их значенье никогда не было бы понято. Не приходится поэтому удивляться, что наибольший успех выпал этой книге при дворе. Она изобилует чертами смелыми, но затененными, которые должны нравиться в том кругу, где их умеют распознавать. Но и здесь необходимо оговориться. Такое чтение мало что даст умникам особого сорта, у которых нет ничего, кроме хитрости, которые проницательны лишь на дурное и ничего не видят там, где взгляду открывается только добро. Если бы, например, «Юлия» была выпущена в одной известной нам стране, которую я подразумеваю, я уверен, что никто не дочитал бы ее до конца, и книга моя умерла бы{405}, едва появившись на свет.

Я собрал большую часть писем, полученных в связи с этим произведением, в одну связку, – она находится у г-жи де Надайак. Если собрание этих писем выйдет когда-нибудь в свет, в нем обнаружатся очень странные явления и противоречия в оценках, показывающие, что значит иметь дело с публикой. Наименее замеченным ею осталось то, что всегда будет делать эту книгу произведением единственным: простота сюжета и цельность интриги, которая сосредоточена в трех лицах и поддерживается на протяжении шести томов,

[61] Я писал это в 1769 году. (*Прим. Руссо.*)

без эпизодов, без романических приключений, без каких-либо злодейств в характере лиц или в действиях. Дидро очень хвалил Ричардсона{406} за удивительное разнообразие его картин и множество персонажей. Действительно, за Ричардсоном та заслуга, что он дал им всем яркую характеристику; но что касается большого их числа, то эта черта у него общая с самыми ничтожными романистами, возмещающими скудость своих идей количеством персонажей и приключений. Нетрудно возбудить внимание, беспрестанно рисуя неслыханные события и новые лица, проходящие наподобие фигур в волшебном фонаре; гораздо труднее все время поддерживать это внимание на одних и тех же предметах и притом без чудесных приключений. И если при прочих равных условиях простота сюжета увеличивает прелесть произведения, то романы Ричардсона, превосходные во многих отношениях, в этом не могут быть поставлены рядом с моим. Тем не менее мой роман умер, я это знаю, – и знаю причину этого; но он воскреснет.

Больше всего я опасался, как бы (из-за простоты) мое повествование не оказалось скучным и как бы в своем стремлении поддержать интерес до конца книги я не потерпел неудачу, потому что не давал ему достаточно пищи. Меня успокоил один факт, польстивший мне больше всех похвал, которые доставило мне это произведение.

Оно появилось в начале карнавала. Рассыльный доставил его княгине де Тальмон в день бала в Опере. После ужина она приказала, чтобы ее одели к балу и, в ожидании отъезда, принялась читать новый роман. В полночь она велела закладывать лошадей и продолжала чтение. Ей доложили, что лошади поданы, – она ничего не ответила. Слуги, видя, что она увлеклась, пришли напомнить ей, что уже два часа ночи. «Еще успеется», – сказала она, не отрываясь от книги. Несколько времени спустя часы ее остановились, и она позвонила, чтобы узнать, который час. Ей ответили, что пробило четыре. «Если так, – сказала она, – ехать на бал уже поздно; пусть распрягут лошадей». Она велела раздеть себя и читала до утра.

С тех пор как мне рассказали об этом случае, я всегда желал познакомиться с г-жой де Тальмон, не только для того, чтобы узнать от нее самой, действительно ли все так было, но еще и потому, что, как мне казалось, невозможно столь сильно заинтересоваться «Элоизой», не имея того шестого чувства, того нравственного чутья, которым одарены весьма немногие и без чего никто не поймет моего сердца.

Женщины потому благосклонно отнеслись ко мне, что прониклись убеждением, будто я написал свою собственную историю и сам являюсь героем этого романа. Эта вера до того укоренилась, что г-жа де Полиньяк написала г-же де Верделен, чтобы она уговорила меня показать ей портрет Юлии. Все были убеждены, что невозможно так живо изображать чувства, которых сам не испытал; нельзя живописать порывы любви иначе, как черпая их в своем собственном сердце. В этом они были правы, и нет сомненья, что я писал этот роман в самом пламенном экстазе; но они ошибались, думая, что для такого экстаза нужны реальные предметы; никто даже не представлял себе, до какой степени могут воспламенять меня воображаемые существа. Если б не воспоминания молодости и не г-жа д'Удето, любовь, мной пережитая и описанная, была бы только любовью к сильфидам. Я не хотел ни укреплять, ни уничтожать заблужденья, мне выгодного. Можно видеть из предисловия в форме диалога{407}, напечатанного мной отдельно, как я поддерживал догадки публики. Ригористы говорят, что я должен был объявить истину напрямик. Но я не вижу, почему обязан был это сделать, и думаю, что в таком признании, не вызванном необходимостью, было бы больше глупости, чем прямоты.

Почти в это же время появился «Вечный мир»{408}, – рукопись его предыдущим летом я уступил некоему де Бастиду{409}, редактору журнала под названием «Весь мир», в который он хотел во что бы то ни стало впихнуть все мои рукописи. Он был знаком с Дюкло и явился

ко мне просить от его имени, чтоб я помог ему заполнить его журнал. Он слышал о «Юлии» и желал, чтобы я поместил ее там; он хотел также напечатать «Эмиля»; вероятно, он стал бы просить у меня и «Общественный договор», если б подозревал о его существовании. Наконец, измученный его назойливостью, я решил уступить ему за двенадцать луидоров отрывок из «Вечного мира». Мы договорились о том, что отрывок этот будет напечатан у него в журнале; но как только он завладел рукописью, то нашел более удобным напечатать ее отдельно, с некоторыми сокращениями по требованию цензора. Что было бы, если б я присоединил к этому труду и свою критику; но, к счастью, я ничего не сказал о ней де Бастиду, и она не входила в наш договор. Критика эта и теперь еще находится в рукописи среди моих бумаг. Если она когда-нибудь увидит свет, то убедятся, как жалки были мне шутки и самодовольный тон Вольтера по этому поводу, ибо я хорошо знал меру способности этого бедняги в политических вопросах, которые он брался обсуждать.

Среди своих успехов у публики и благосклонности дам я замечал, что в доме герцога и герцогини Люксембургских положение мое ухудшается, – не у маршала, который, казалось, день ото дня питает ко мне все большую дружбу и приязнь, а у его супруги. С тех пор как мне нечего было читать ей, ее покои стали менее доступны для меня; и во время приездов в Монморанси я, хотя и являлся в замок довольно часто, видел ее уже только за столом. Теперь у меня не было постоянного места возле нее. Так как она больше мне его не предлагала и мало говорила со мной, да и мне нечего было сказать ей, я предпочитал сесть где-нибудь в другом месте, где чувствовал себя свободней, – особенно вечером.

И невольно у меня явилась привычка садиться поближе к маршалу.

Помнится, я уже говорил, что не ужинал в замке, и это действительно было так в начале знакомства; но так как герцог никогда не обедал и даже не садился за стол, получилось, что через несколько месяцев, уже став своим человеком в замке, я еще ни разу не ел вместе с хозяином дома. Он был так добр, что высказал сожаленье об этом. Это заставило меня ужинать иногда в замке, когда там было мало гостей, и мне это очень понравилось. Обедали там неплотно и наскоро, зато ужин был очень продолжительный, потому что за вечерним столом с удовольствием отдыхали после долгой прогулки, очень вкусный, потому что герцог любил покушать, и очень приятный, потому что герцогиня бывала тогда очаровательной, радушной хозяйкой. Без этого объяснения трудно понять конец одного письма герцога Люксембургского (связка B, № 36), где он пишет мне, что с наслаждением вспоминает наши прогулки; в особенности, прибавляет он, когда, возвращаясь по вечерам, мы не находили во дворе следов от карет; дело в том, что каждое утро песок во дворе сглаживали граблями, чтобы уничтожить колеи, а по числу этих следов можно было судить, много ли карет привезли гостей среди дня.

В 1761 году переполнилась чаша горестных утрат, пережитых этим добрым вельможей с тех пор, как я имел честь узнать его; как будто страдания, предназначенные мне судьбой, должны были начаться с человека, к которому я был более всего привязан и который был всего более этого достоин. В первый год он потерял сестру, герцогиню де Вильруа; на второй – дочь, принцессу де Робек; на третий лишился своего единственного сына, герцога де Монморанси, и единственного внука, графа Люксембургского, – последних представителей своего рода и своего имени. Все эти утраты он перенес мужественно, но сердце его истекало кровью до конца его дней, и здоровье непрерывно ухудшалось. Неожиданная и трагическая смерть сына должна была оказаться для него ударом тем более мучительным, что произошла она как раз в тот самый момент, когда король пожаловал маршалу для сына должность капитана лейб-гвардии и обещал передать ее впоследствии внуку. Маршалу пришлось видеть жестокое зрелище медленного угасания его последнего потомка, подававшего великие надежды; а все случилось из-за слепого доверия матери к врачу, который вместо всякой пищи давал этому бедному ребенку одни лишь лекарства, и тот умер от истощения. Увы!

Если б послушали меня, и дед, и внук были бы оба еще живы. Сколько толковал я, сколько писал г-ну маршалу, как просил г-жу де Монморанси отменить более чем суровый режим, который она, доверясь своему врачу, заставила своего сына соблюдать. Герцогиня Люксембургская, разделявшая мое мнение, не хотела вторгаться в права матери; герцог, добрый и слабохарактерный, не любил противоречить. Г-жа де Монморанси слепо верила Борде{410}, и сын ее в конце концов стал жертвой этой веры. Как радовался этот бедный ребенок, когда ему позволяли пойти с г-жой де Буффле в Мон-Луи, где Тереза угощала его чем могла! Как счастлив он был ввести в свой голодный желудок немного пищи! Я оплакивал в душе жалкое положение знати, видя, как этот единственный наследник такого большого поместья, такого громкого имени, стольких титулов и званий с жадностью нищего пожирает какой-нибудь маленький кусочек хлеба! Но сколько я ни толковал и как ни бился, врач одержал победу, и ребенок умер с голоду.

Доверие к шарлатанам, погубившее внука, свело в могилу и деда; к этому еще присоединилось малодушное желание герцога скрыть от самого себя свои старческие недуги. Время от времени маршал испытывал некоторую боль в большом пальце ноги; приступ ее случился однажды в Монморанси, вызвав бессонницу и легкую лихорадку. Я осмелился произнести слово «подагра»; г-жа герцогиня стала меня бранить. Лакей, исполнявший обязанности хирурга маршала, заявил, что это не подагра, и принялся лечить больное место успокаивающей мазью. К несчастью, боль утихла, а когда она вернулась, прибегли к тому же успокоительному средству. Состояние ухудшилось, боли усилились, а вместе с ними было усилено применение лекарства. Герцогиня, убедившись наконец, что это подагра, воспротивилась бессмысленному лечению. Его, однако, продолжали применять втайне, и через несколько лет герцог Люксембургский погиб по своей вине, – из-за того, что лечился у домороще нного целителя. Но не будем так сильно забегать вперед: о скольких несчастьях должен я рассказать, прежде чем дойду до этого.

Удивительно, с какой роковой неизбежностью решительно все, что я говорил и делал, вызывало неудовольствие герцогини, меж тем как у меня не было другого желания, как сохранить ее расположение. Несчастья, которые обрушились на герцога одно за другим, еще сильней привязывали меня к нему, а следовательно, и к герцогине, так как оба они всегда казались мне настолько тесно связанными, что чувства, направленные на одного из них, неизбежно распространялись и на другого. Маршал старел. Постоянное присутствие при дворе, беспокойства, с этим связанные, непрерывные охоты, а в особенности утомительные очередные дежурства – все это требовало юношеских сил, а уже не было ничего, что могло бы поддержать его силы на этом поприще. Раз его титулам суждено было разойтись по чужим рукам, а имя его должно было угаснуть вместе с ним, какой интерес был ему продолжать хлопотливую жизнь, главной целью которой было обеспечить своим детям благоволенье монарха. Однажды, когда мы были втроем, без посторонних и он жаловался на утомленье от службы при дворе, как человек, утративший бодрость после жестоких утрат, я осмелился заговорить с ним об отставке и подал ему такой же совет, какой Киней подал Пирру{411}. Он вздохнул и не дал решительного ответа. Но лишь только мы остались вдвоем с герцогиней, она принялась сильно выговаривать мне за этот совет, видимо, ее встревоживший. Она привела один довод, который я счел правильным, и потому решил больше не касаться этого вопроса: от долгой привычки придворная жизнь стала для герцога настоящей потребностью, а в то время была для него даже средством рассеяться, и отставка, которую я советовал ему, оказалась бы для него не столько отдыхом, сколько изгнанием; причем праздность, скука, печаль окончательно и очень скоро извели бы его. Хотя герцогиня должна была бы видеть, что убедила меня и вполне могла рассчитывать на мою верность данному ей обещанию, которого я не нарушил ни разу, она явно не была спокойна на этот счет, и я вспоминаю, что с тех пор мои беседы с маршалом наедине стали реже и почти всегда их прерывали.

Итак, моя неловкость и незадачливость дружно вредили мне во мнении герцогини, а люди, которых она чаще всего видела и больше всего любила, не выручали меня из беды. Особенно не хотел это делать аббат де Буффле, самый блестящий молодой человек, какого только можно себе представить; он, кажется, никогда не был ко мне особенно расположен. Из всего общества, окружавшего супругу маршала, он единственный не оказывал мне ни малейшего внимания, а теперь мне даже казалось, что с каждым его приездом в Монморанси я что-нибудь терял в ее отношении ко мне. Правда, даже помимо его желания, для этого было достаточно одного его присутствия: до такой степени грация и острота его шуток подчеркивали неуклюжесть моих тяжеловесных spropositi[62]. В первые два года он почти не приезжал в Монморанси, и благодаря снисходительности супруги маршала я там держался; но как только он стал появляться чаще, я был бесповоротно уничтожен. Я захотел было укрыться под его крылом, устроив так, чтобы он отнесся ко мне дружелюбно; но я искал его приязни с обычной своей угрюмостью, которая не могла ему нравиться, да и принялся за это дело так неловко, что окончательно погубил себя в глазах супруги маршала, нисколько не улучшив отношения ко мне аббата. При его уме все дороги были ему открыты; но неспособность к труду и жажда развлечений позволили ему достигнуть во всем только полуталантов. Зато у него их много, а в большом свете только это и надо, чтобы блистать. Он очень мило сочиняет стишки, очень мило пишет записочки, бренчит на цитре и с грехом пополам мажет пастелью. Он вздумал писать портрет герцогини Люксембургской: портрет вышел ужасный. Она утверждала, что сходства нет никакого, и это была правда. Злодей аббат спросил мое мнение, и я, как дурак и лжец, сказал, что портрет похож. Я хотел польстить аббату, но зато не польстил герцогине, и она это запомнила; а аббат, добившись своего, насмеялся надо мной. Такой исход моего запоздалого первого опыта научил меня воздерживаться от угодничества и глупой лести.

Мой талант в том, чтобы с достаточной энергией и смелостью говорить людям полезные, но суровые истины; этого мне и надо было держаться. Я не создан не только для лести, но и для славословия. Мои неловкие похвалы причинили мне больше вреда, чем мои резкие осуждения. Приведу здесь один пример, такой ужасный, что его последствия не только определили мою судьбу на весь остаток жизни, но, быть может, окажутся решающими и для всей моей репутации в потомстве.

Во время наездов в Монморанси г-н де Шуазель{412} иногда приезжал в замок ужинать. Однажды он явился туда в тот момент, когда я только что ушел. Заговорили обо мне: герцог рассказал ему мою венецианскую историю с г-ном де Монтэгю. Шуазель выразил сожаленье, что я оставил это поприще, и сказал, что, если я хочу опять вступить на него, он очень охотно устроит меня. Герцог передал мне его слова. Меня они тронули, тем более что я не избалован вниманием министров; и если бы здоровье позволяло мне думать об этом – кто знает, не повторил ли бы я прежней глупости, несмотря на принятое решение. Честолюбие обыкновенно овладевало мною лишь в те короткие промежутки, когда меня покидали все остальные страсти. Но одного такого промежутка было бы достаточно, чтобы вернуть меня на службу. Доброе намерение г-на де Шуазеля расположило меня в его пользу и увеличило уваженье, которое я питал к нему за его таланты, судя о них по мероприятиям возглавляемого им правительства; в частности, Семейный договор, казалось мне, говорил о нем как о первоклассном государственном деятеле. Еще более выигрывал он в моих глазах по сравнению со своими предшественниками, не исключая и г-жи де Помпадур, которую я считал своего рода премьер-министром; и когда прошел слух, что один из двух – он или она – вытеснит другого, мне казалось, что, желая его победы, я желаю славы Франции. Я всегда чувствовал к г-же де Помпадур антипатию, даже до того, как она попала в фавор, – когда видел ее у г-

[62] Промахов (*итал.*).

жи де ла Поплиньер и ее фамилия была еще д'Этиоль. С тех пор я был недоволен ее молчаньем по поводу Дидро и всеми ее поступками относительно меня, как в связи с «Праздненствами Рамиры» и «Галантными музами», так и в связи с «Деревенским колдуном», не доставившим мне ни в каком виде тех выгод, которые соответствовали бы его успеху. И во всех обстоятельствах я убеждался, что она очень мало расположена оказать мне услугу; это не помешало, впрочем, кавалеру де Лоранзи предложить мне написать что-нибудь в честь этой дамы, и он даже намекнул, что это может быть мне полезным. Такое предложение меня возмутило; я отлично понял, что оно исходило не от него, – я знал, что этот человек, ничтожный сам по себе, всегда думает и действует только по внушению других. Я слишком плохо владею собой и не мог скрыть от него свое презренье к его предложению, так же как не мог таить от кого бы то ни было свою антипатию к фаворитке; и она знала об этом, я уверен; словом, желая победы г-ну де Шуазелю, я следовал своему естественному расположению к нему и думал также о своих интересах. Проникнутый уважением к его талантам и совсем не зная его лично, полный благодарности за его доброе отношенье ко мне и совершенно неосведомленный в своем уединенье о его вкусах и образе жизни, я заранее смотрел на него, как на мстителя за общество и за меня самого. Приложив тогда в последний раз руку к «Общественному договору», я в одном штрихе дал понятие обо всем, что думал о предшествующих министрах{413}, и о том человеке, который начал их затмевать. В данном случае я нарушил самое твердое свое правило и, кроме того, не подумал о том, что, когда хочешь в своем произведении хвалить и порицать людей, не называя имен, надо привести свою хвалу в такое соответствие с тем лицом, к кому она относится, чтобы самое болезненное самолюбие не могло усмотреть здесь чего-либо двусмысленного. В этом вопросе мной владела безумная беспечность: мне даже не пришло в голову, что кто-нибудь может исказить смысл моих слов! Дальше будет видно, был ли я прав.

Мне всегда везло на знакомства с женщинами-писательницами. Я надеялся, что избегу этого по крайней мере среди великих мира сего. Как бы не так! Это и здесь меня преследовало. Впрочем, герцогиня Люксембургская, насколько я знаю, никогда не страдала этой манией; зато графиня де Буффле ею страдала. Она сочинила трагедию в прозе, которая была прочитана, ходила по рукам и превозносилась в кругу принца де Конти; но, не удовлетворившись этими похвалами, она пожелала услышать также мое мнение. Она услышала его: мнение было сдержанное, – такое, какого заслуживало ее сочиненье. Кроме того, я почел своим долгом указать, что пьеса ее, озаглавленная «Великодушный раб», имеет очень большое сходство с малоизвестной, но все же переведенной английской пьесой под заглавием «Оруноко». Г-жа де Буффле поблагодарила меня за сообщенье, но, впрочем, уверяла, что ее пьеса ничуть не похожа на английскую. Я никогда никому не говорил об этом плагиате, кроме нее; да и ей самой сказал лишь для того, чтоб выполнить обязанность, ею возложенную на меня. И все-таки не раз мне пришлось вспоминать об участи Жиль-Блаза{414}, выполнившего такую же обязанность при архиепископе-проповеднике.

Помимо аббата де Буффле, не любившего меня, помимо г-жи де Буффле, по отношению к которой я совершил проступки, каких никогда не прощают ни женщины, ни авторы, остальные друзья герцогини тоже были, как мне всегда казалось, совсем не расположены стать моими друзьями. Это относится к председателю Эно{415}, который, вступив в ряды писателей, не был свободен от их недостатков; это же относится к г-же Дюдефан и мадемуазель де Леспинас:{416} обе они находились в очень дружеских отношениях с Вольтером и были близкими приятельницами д'Аламбера, причем вторая в конце концов даже стала вместе с ним жить, – разумеется, с самыми честными намереньями: ничего другого тут и увидеть нельзя. Сначала я очень заинтересовался г-жой Дюдефан, которую утрата зрения делала в моих глазах достойной состраданья; но ее образ жизни, столь противоположный моему (я

вставал почти в тот час, когда она ложилась спать); ее безудержная страсть к пустому остроумию; значение, придаваемое ею, в хорошем или в дурном смысле, всякому появившемуся грязному пасквилю; исключительная пристрастность, не позволявшая ей говорить ни о чем уравновешенно и спокойно; невероятные предрассудки, непреодолимое упрямство, нелепое сумасбродство, до которого доводила ее упорная предвзятость суждений, – все это скоро отвратило меня от желания оказывать ей услуги. Я отдалился от нее; она это заметила; этого было довольно, чтобы привести ее в ярость; и хотя мне было достаточно ясно, до какой степени может быть опасна женщина с подобным характером, я все же предпочел бич ее ненависти бичу ее дружбы.

Мало того что я почти не имел друзей в кругу герцогини Люксембургской, у меня еще были враги в ее семье. Враг был у меня там только один, но такой, что в моем теперешнем положении он опаснее ста врагов. Конечно, это был не брат ее, герцог де Вильруа: он не только навестил меня, но несколько раз приглашал в Вильруа, и когда я ответил ему со всем возможным уважением и учтивостью, он, приняв этот неопределенный ответ за согласие, уговорился с герцогом и герцогиней Люксембургскими о поездке туда на две недели, причем и мне предложено было принять в ней участие. Состояние моего здоровья требовало ухода и не позволяло мне сниматься с места без риска: я просил герцога помочь мне уклониться от поездки. Из его письма (связка Д, № 3) можно видеть, что он это сделал самым любезным образом, и герцог де Вильруа продолжал относиться ко мне так же хорошо, как прежде. Его племянник и наследник, молодой маркиз де Вильруа, не разделял благосклонности герцога ко мне, но, признаться, и с моей стороны племянник не пользовался тем уважением, с каким я относился к дяде. Развязные манеры этого маркиза делали его несносным в моих глазах. Я обращался с ним холодно и навлек на себя его вражду. Однажды вечером, за столом, он позволил себе резкость, на которую я отвечал неудачно, потому что я глуп, всегда теряюсь, а гнев, вместо того чтобы подстегнуть ничтожную мою находчивость, совсем отнимает ее. У меня была собака, которую мне подарили щенком вскоре после моего переезда в Эрмитаж; я назвал ее Герцог. Эта собака, не отличавшаяся красотой, но редкой породы, стала моим спутником, моим другом и без сомнения заслуживала это звание более, чем многие из тех, кто его получил; она была знаменита в замке Монморанси своим преданным, ласковым нравом и привязанностью, нас с ней соединявшей. Но из очень глупого малодушия я переименовал ее в Турка, между тем как множество собак носят кличку Маркиз, и ни один маркиз на это не обижается. Маркиз де Вильруа, узнав о том, что я переменил кличку собаки, так пристал ко мне с этим, что мне пришлось поведать всем сидевшим за столом о своем поступке. В этой истории для герцогов было оскорбительным не столько то, что я дал псу такую кличку, сколько то, что я ее переменил. На беду, за столом сидело несколько герцогов: герцог Люксембургский, его сын, да и сам маркиз де Вильруа, который должен был со временем получить титул герцога и теперь носит его; он злорадно наслаждался, видя, в какое затруднительное положение поставил меня и какое это произвело впечатление. На другой день меня уверили, что герцогиня Люксембургская сильно журила за это своего племянника: можно представить себе, насколько этот выговор – если допустить, что он действительно имел место, – должен был улучшить его отношенье ко мне.

Единственной поддержкой против всего этого, как в Люксембургском дворце, так и в Тампле{417}, был у меня только кавалер де Лоранзи, заявлявший, что он считает себя моим другом; но еще более он был другом д'Аламбера, под сенью которого слыл среди женщин великим геометром. К тому же он был чичисбеем или скорей угодником графини де Буффле, большой приятельницы д'Аламбера; кавалер де Лоранзи существовал только ею и для нее. Итак, никто из окружавших герцогиню Люксембургскую не старался сгладить мои нелепые промахи; напротив, все как будто сговорились вредить мне в ее мнении. Однако, помимо того, что она пожелала взять на себя хлопоты относительно издания «Эмиля», она дала мне в

то же время еще одно доказательство своего интереса и доброжелательства, и я поверил, что, даже наскучив мной, она сохранила и навсегда сохранит ко мне чувство участия, обещанное мне на всю жизнь.

Решив, что можно полагаться на такую приязнь, я в беседе с герцогиней стал облегчать свое сердце признанием во всех своих ошибках, ибо держался с друзьями нерушимого правила показывать им себя в точности таким, каков я есть, – ни лучше, ни хуже. Я рассказал о своей связи с Терезой и обо всем, что из этого последовало, не умолчав и о том, как я поступил со своими детьми. Она приняла мою исповедь очень снисходительно, даже слишком, и воздержалась от заслуженного мной порицания. Особенно тронуло меня ее ласковое обращение с Терезой: она делала ей маленькие подарки, присылала за нею, упрашивала навещать, принимала ее в замке очень приветливо и часто целовала при всех. Бедняжка Тереза преисполнилась восторга и признательности, и, конечно, я разделял их, так как расположение герцога и герцогини ко мне, перенесенное на мою подругу, трогало меня еще больше, чем их благосклонность ко мне лично.

Довольно долго все оставалось в таком положении; но наконец супруга маршала простерла свою доброту до того, что пожелала взять из приюта одного из моих детей. Она знала, что я велел положить в пеленки первого моего ребенка ярлык с меткой; она попросила у меня образец этой метки, и я дал его. Она поручила розыски Ларошу, своему лакею и доверенному; предпринятые им поиски оказались бесплодны: он ничего не нашел, хотя прошло не более двенадцати-четырнадцати лет, и будь списки Воспитательного дома в надлежащем порядке или ведись поиски тщательно, метка не должна была бы исчезнуть. Все же я был менее огорчен этой неудачей, чем это было бы, если бы я следил за судьбой ребенка с самого его рожденья. А если бы, наведя справки, мне выдали какого-нибудь ребенка за моего, сердце мое терзала бы неизвестность, сомнения в том, что это действительно он, что его не подменили другим, и я не насладился бы подлинным, естественным чувством отцовства во всем его очаровании: ведь оно нуждается, по крайней мере в период детства ребенка, в поддержке со стороны привычки.

Продолжительная разлука с ребенком, которого еще не знаешь, ослабляет и наконец уничтожает отцовское и материнское чувство; и никогда мы не будем любить дитя, которого отдали на воспитание кормилице, так же сильно, как того, который был выкормлен на наших глазах. Это суждение может смягчить последствия моей вины, зато усиливает ее самое.

Может быть, не бесполезно отметить, что при посредничестве Терезы этот самый Ларош познакомился с г-жой Левассер, которую Гримм продолжал держать в деревне Дейль, рядом с Шевреттой и совсем близко от Монморанси. После моего отъезда именно через Лароша передавал я этой женщине деньги, так как не переставал оказывать ей поддержку, и, кажется, он часто носил ей подарки от супруги маршала; таким образом, жалеть ее не было решительно никаких оснований, хоть она и жаловалась постоянно. Что касается Гримма, то я говорил о нем с герцогиней только против своей воли, потому что избегаю говорить о людях, которых вынужден ненавидеть; но она несколько раз заводила речь о нем, не высказывая своего мнения и ни разу не дав мне понять, знакома она с этим человеком или нет. Так скрытничать с людьми, которых любишь и которые сами с нами откровенны, не в моих правилах, особенно когда дело идет о чем-то касающемся их самих; и с тех пор я размышлял иногда об осторожности, проявленной герцогиней в данном случае, но лишь после того как другие события заставляли меня невольно подумать об этом.

Долгое время я ничего не слышал об «Эмиле», переданном мною герцогине Люксембургской, но наконец узнал, что состоялась сделка с парижским книгоиздателем Дюшеном, а через него – с книгоиздателем Неольмом в Амстердаме. Герцогиня прислала мне для подписи оба экземпляра моего договора с Дюшеном. Я увидел, что почерк, которым они написаны, тот же, что и в письмах г-на де Мальзерба ко мне, написанных не его рукой. Я увидел

в этом доказательство того, что мой договор заключается с ведома и согласия представителя власти, и с полным доверием подписал условие. Дюшен давал мне за рукопись «Эмиля» шесть тысяч франков, из них половину наличными, и, кажется, сто или двести авторских экземпляров. Подписав оба дубликата, я отослал их к герцогине, согласно ее желанию: один она дала Дюшену, другой оставила у себя, вместо того чтобы прислать мне, и с тех пор я больше никогда его не видел.

Знакомство с герцогом и герцогиней Люксембургскими несколько отвлекло меня от моего замысла удалиться от света, но я не отказался от него. Даже в пору наибольшего благоволения ко мне супруги маршала я всегда чувствовал, что только ради своей искренней привязанности к маршалу и к ней я скрепя сердце терплю их окружение и распорядок в их доме. Мне было очень трудно примирить эту привязанность с их образом жизни, не отвечающим моим вкусам и вредным моему здоровью, которому постоянное стесненье и поздние ужины никак не давали поправиться, несмотря на все заботы обо мне: в этом отношении, как и во всех остальных, проявлялось величайшее внимание; например, каждый вечер, после ужина, маршал, ложившийся рано, всегда чуть не насильно уводил меня, чтобы я тоже лег спать. Только незадолго до моей катастрофы он, не знаю почему, перестал проявлять такое внимание.

Еще до того как мне стало заметно охлажденье супруги маршала, я, чтобы избегнуть немилости, хотел привести в исполненье прежний свой план; но, не имея средств, был вынужден ждать заключенья условий на «Эмиля», а тем временем закончил отделку «Общественного договора» и послал его Рею, назначив за рукопись тысячу франков, которые он и уплатил мне. Не мешает упомянуть об одном незначительном факте, связанном с этой рукописью. Я передал ее в тщательно запечатанном пакете Дювуазену, священнику кантона Во и капеллану при голландском посольстве: он иногда бывал у меня и взялся переслать пакет Рею, с которым поддерживал отношения. Рукопись, написанная мелким почерком, была очень невелика и не оттопыривала его кармана. Однако при переезде через заставу пакет – не знаю, каким образом – попал в руки чиновников, которые вскрыли его, рассмотрели содержимое и потом вернули Дювуазену, когда тот заявил протест от имени посла. Таким образом, он получил возможность прочесть рукопись – и воспользовался ею; он простодушно сообщил мне об этом и отозвался с великими похвалами о моем сочинении, не прибавив ни одного критического или отрицательного замечанья, очевидно, решив выступить мстителем за христианство{418}, когда «Общественный договор» появится в свет. Дювуазен снова запечатал пакет и отослал рукопись Рею. Таково было в основном его повествованье в письме, где он отдавал мне отчет об этом деле; и это все, что я узнал.

Кроме этих двух книг и моего «Музыкального словаря», над которым я продолжал время от времени работать, у меня было подготовлено к печати несколько сочинений менее значительных. Я предполагал выпустить их либо отдельно, либо в общем собрании моих произведений, если когда-нибудь предприму его издание. Большая часть этих сочинений находится еще в рукописи у Дюпейру; главным из них был «Опыт о происхождении языков»; я давал его читать г-ну де Мальзербу и кавалеру де Лоранзи; последний хорошо отозвался о нем. Я рассчитывал, что все эти произведения, взятые вместе, дадут мне, за вычетом расходов, капитал в восемь или десять тысяч франков, который я хотел обратить в пожизненную ренту – частью на свое имя, частью на имя Терезы. После чего, как я уже сказал, я уехал бы с нею в какую-нибудь провинцию и там, не занимая больше публику своей особой, сам помышлял бы только о том, чтобы мирно закончить свой жизненный путь, продолжая делать окружающим добро, какое будет мне доступно, и писать на досуге задуманные мною воспоминания.

Таков был мой план; осуществление его – я не должен умолчать об этом – облегчалось великодушием Рея. В Париже мне говорили о Рее много дурного, но он оказался един-

ственным книгоиздателем, о котором я могу отозваться с похвалой[63]. Мы, по правде говоря, нередко ссорились при издании моих сочинений: он был легкомыслен, а я вспыльчив. Но в вопросах материальных и в связанных с ними мелочах, несмотря на то что у меня никогда не было с ним формального договора, я всегда видел с его стороны одну только аккуратность и честность. Он даже был единственным, кто откровенно признавался мне, что ему выгодно иметь дело со мной; нередко он говорил, что обязан мне своим состоянием, и предлагал поделиться им. Не имея возможности излить свою благодарность на меня непосредственно, он пожелал засвидетельствовать ее мне хотя бы через мою домоправительницу, назначив ей пожизненную пенсию в триста франков, и отметил в акте, что это делается в благодарность за выгоды, мной ему доставленные. Он совершил этот поступок без претензий, без шума, посвятив в дело одного меня, и если бы я сам не рассказывал об этом всем и каждому, никто ничего не узнал бы. Я был так тронут, что с тех пор проникся к Рею настоящей дружбой. Через некоторое время он пригласил меня быть крестным отцом одного из его детей; я согласился, и теперь для меня является большим огорчением, что в том положении, до какого меня довели, я лишен всякой возможности проявить свою привязанность к крестнице и ее родителям чем-либо полезным для них. Почему, столь чувствительный к скромному великодушию этого книгоиздателя, я так мало ценю шумное усердие стольких людей высокого полета, торжественно возглашающих на весь мир о благодеяниях, которые они, по их словам, намеревались мне оказать, хотя я никогда не видел от них никакого добра. Их это вина или моя? Они ли пустые болтуны или я неблагодарен? Вдумчивый читатель, взвесьте и решите, я же промолчу.

Эта пенсия стала существенным подспорьем для Терезы и большим облегченьем для меня. Впрочем, я был очень далек от того, чтобы извлекать из этого, так же как и из всех других подарков, которые ей делали, выгоду лично для себя. Она всегда распоряжалась всем этим сама. Если ее деньги хранились у меня, я давал ей в них подробный отчет, ни разу не употребив из них ни лиара на наши общие расходы, даже когда она бывала богаче меня. «Что мое, то наше, – говорил я, – а что твое, так только твое». Я никогда не переставал следовать этому правилу, которое часто повторял ей. Люди, имевшие низость обвинять меня, будто я принимал ее руками подарки, от которых отказывался, судили обо мне по себе и очень плохо знали меня. Я охотно ел бы с ней вместе хлеб, ею заработанный, но никогда не стал бы есть тот, который ей дали. Пусть она сама засвидетельствует это и теперь, и тогда, когда по законам естества переживет меня. К сожалению, она во всех отношениях мало смыслит в экономии, ничего не бережет и очень много тратит – не из тщеславия или чревоугодия, а единственно от небрежности. В здешнем мире никто не совершенен; и раз необходимо, чтобы ее превосходные качества были искуплены, я предпочитаю, чтобы у нее были лучше недостатки, чем пороки, хотя бы недостатки эти и причиняли нам обоим еще больше вреда. Трудно представить себе, какие усилия я прилагал, чтобы скопить для нее, как когда-то для маменьки, немного денег на черный день. Но все мои труды пропали даром. Ни та, ни другая никогда не сообразовались со своими средствами; и сколько я ни старался, все неизменно уплывало, едва появившись. Как ни скромно одевалась Тереза, ей никогда не хватало пенсии Рея на одежду, и каждый год мне приходилось добавлять ей на это из своих средств. Мы с ней не созданы для того, чтобы разбогатеть; и уж конечно, я не причислю этого к своим несчастьям.

Печатанье «Общественного договора» шло довольно быстро. Иначе обстояло дело с «Эмилем»; а я ждал его выхода, чтобы удалиться от света, как задумал. Дюшен присылал мне время от времени образцы шрифтов для выбора; но стоило мне выбрать, как он, вместо того

[63] Когда я писал это, я не воображал, не представлял себе, не мыслил возможными все подлоги, которые обнаружил потом в печатном тексте своих сочинений и в которых ему пришлось признаться. (*Прим. Руссо*.)

чтобы приступить к делу, присылал новые. Когда мы наконец окончательно договорились о формате, о шрифте и у него уже было несколько листов отпечатано, он из-за одной моей незначительной поправки в корректуре начал все снова, и через шесть месяцев мы были на том самом месте, что и в первый день. Пока длились эти опыты, я убедился, что сочинение печатается и во Франции, и в Голландии, так что одновременно подготовляются два издания. Что я мог поделать? Я уже больше не был хозяином своей рукописи. Я не только был непричастен к французскому изданию, но всегда возражал против него. Однако, раз изданию этому так или иначе суждено было осуществиться и раз оно служило образцом для другого, надо было посмотреть корректуру и последить за тем, чтобы мою книгу не искалечили и не исказили. К тому же сочиненье печаталось с согласия представителя власти; он в известном смысле даже руководил этим изданием, очень часто писал мне по этому поводу и даже приезжал ко мне, при обстоятельствах, о которых я сейчас расскажу.

Пока Дюшен подвигался вперед черепашьим шагом, Неольм, которого он задерживал, подвигался еще медленней. Листы, по мере выхода, высылались ему неаккуратно. Ему почудилась нечестность в поступках Дюшена, вернее – в поступках Ги, действовавшего за него; видя, что договор не выполняется, он забрасывал меня письмами, полными жалоб и сетований, но я ничем не мог помочь ему, так как и сам имел все основания сетовать и жаловаться. Его друг Герен, в то время очень часто со мной встречавшийся, беспрестанно толковал мне об этой книге, но всегда с величайшей сдержанностью. Он и знал и не знал, что она печатается во Франции; знал и не знал, что представитель власти принимает в этом участие. Сожалея о том, что эта книга причинит мне хлопоты, он как будто упрекал меня в неблагоразумии, хотя никогда не говорил, в чем оно заключается. Он беспрестанно лукавил и вилял и говорил, казалось, только для того, чтобы заставить меня высказаться. Моя беспечность тогда была так велика, что я смеялся над его осторожностью и таинственностью, как над дурной привычкой, усвоенной от министров и должностных лиц, у которых он постоянно бывал. Уверенный, что я поступил с этой книгой вполне правильно, глубоко убежденный, что она не только получила одобрение и поддержку представителя власти, но даже справедливо заслужила и положительное отношение министерства, я радовался, что имел мужество сделать полезное дело, и смеялся над малодушными друзьями, видимо беспокоившимися за меня. Дюкло принадлежал к их числу, и, признаюсь, моя вера в его прямоту и просвещенность могла бы заставить меня встревожиться, по его примеру, если б я не был так убежден в пользе этого сочинения и в честности его покровителей. Дюкло пришел ко мне от имени г-на Байя, когда «Эмиль» был еще в печати; он заговорил о нем. Я прочел ему «Исповедание веры савойского викария»; он прослушал очень спокойно и, по-видимому, с большим удовольствием. Когда я кончил, он сказал мне: «Как, сударь, это входит в состав произведенья, которое печатается в Париже?» – «Да, – ответил я, – и его следовало бы отпечатать в Лувре, по приказу короля». – «Пусть так, – сказал он. – Но сделайте мне одолжение, не говорите никому, что вы читали мне этот отрывок». Такой неожиданный поворот удивил меня, но не испугал. Я знал, что Дюкло часто видится с де Мальзербом, и не мог понять, как может он думать так несходно с последним об одном и том же предмете.

Я жил в Монморанси уже четыре года и ни одного дня не чувствовал себя вполне здоровым; хотя воздух там прекрасный, но вода плохая, и, возможно, это было одной из причин, усиливших мои обычные недуги. К концу осени 1761 года я совсем расхворался и провел всю зиму в почти непрерывных страданиях. Физическая боль, усилившаяся от множества неприятностей, в свою очередь делала их еще более тягостными. С некоторых пор меня угнетали глухие и печальные предчувствия, хотя я не знал их причины. Я получал довольно странные анонимные письма, да и подписанные были не менее странны. Одно такое письмо я получил от советника парижского парламента, который, будучи недоволен современным положением вещей и не предвидя ничего хорошего в будущем, обращался ко мне за сове-

том, какое выбрать ему убежище в Женеве или в Швейцарии, чтобы удалиться туда вместе с семьей. Такое же письмо получил я от г-на де***, председателя…ского парламента, с предложением редактировать для этого парламента, находившегося тогда в дурных отношениях со двором, доклады и представления, причем мне должны были передаваться все нужные для этого документы и материалы. Когда я болен, я бываю раздражителен; получая такие письма, я сердился, и это сказалось в моих ответах. Конечно, я упрекаю себя не за то, что наотрез отказался сделать, о чем меня просили, ибо эти письма могли быть ловушками, подстроенными моими врагами[64], да и просили меня о том, что противно моим принципам, от которых я меньше чем когда-либо хотел отступать; но, имея возможность отказать вежливо, я отказывал грубо, и в этом я был не прав.

Оба упомянутые письма находятся в моих бумагах. Письмо советника меня нисколько не удивило: так же как он и многие другие, я сам думал, что обветшалое государственное устройство угрожает Франции близким крушением. Бедствия неудачной войны{419} – следствие ошибок правительства, страшное расстройство финансов, постоянные разногласия в управлении, разделенном в то время между двумя или тремя министрами, открыто враждовавшими между собой и в своем стремлении повредить друг другу губившими королевство; всеобщее недовольство в народе и во всех сословиях государства; самодурство упрямой женщины{420}, у которой прихоти брали верх над умом, если только он у нее был, и почти всегда отстранявшей от должности наиболее способных, чтобы назначить тех, кто ей больше нравился, – все оправдывало предвидение советника, так же как публики и мое собственное. Предвиденье это даже не раз заставляло меня взвешивать: не следует ли мне самому поискать убежища за пределами королевства до наступления грозящих ему смут? Но, зная, что я человек незначительный и мирного нрава, я подумал, что в том уединении, о каком я мечтал, никакая гроза не сможет до меня добраться, и огорчался только тем, что при таких обстоятельствах герцог Люксембургский должен взять на себя поручения, которые ухудшат отношение к нему правительства. Мне хотелось, чтобы он обеспечил себе убежище на тот случай, если огромная государственная машина рухнет, как можно было опасаться при тогдашнем положении вещей; и мне еще до сих пор представляется несомненным, что, если бы бразды правления не попали наконец в одни руки{421}, французская монархия была бы теперь при последнем издыхании.

Здоровье мое ухудшалось, а печатанье «Эмиля» шло все медленней и наконец совсем остановилось, причем мне оставалась неизвестной причина этого; Ги не соблаговолил ни написать, ни даже ответить мне, и я не имел возможности ни получить какие-либо сведения, ни узнать, что происходит, так как де Мальзерб был в то время за городом. Никогда никакое несчастье, каково бы оно ни было, не смущает и не подавляет меня, если только я знаю, в чем оно заключается; но у меня врожденная боязнь потемок; я страшусь мрака и ненавижу его; тайна всегда тревожит меня: она слишком противна моему нраву, до беспечности открытому. Вид самого отвратительного чудовища, думается, не слишком испугал бы меня; но если б я увидел ночью фигуру в белой простыне, меня охватил бы страх. И вот мое воображение, подстегиваемое таким долгим молчаньем, принялось создавать призраки. Чем сильней горело у меня сердце желаньем видеть мое последнее и лучшее произведенье изданным, тем больше терзался я загадкой, в чем задержка, и, всегда доводя все до крайности, в остановке печатанья книги стал видеть запрещенье ее. Между тем, не представляя себе ни причины, ни характера этого запрета, я оставался в самой жестокой неизвестности. Я писал письмо за письмом Ги, де Мальзербу, герцогине Люксембургской; и так как ответа не было или он приходил с запозданием, я совершенно терялся и доходил до исступленья.

[64] Я, например, знал, что…ский председатель был тесно связан с энциклопедистами и гольбаховцами. (*Прим. Руссо.*)

К несчастью, я узнал в это самое время, что отец Гриффе, иезуит, говорил об «Эмиле» и даже приводил из него отрывки. В тот же миг воображенье мое воспламенилось и с быстротою молнии разоблачило передо мной всю тайну беззакония: я увидел весь ход дела так ясно, так отчетливо, словно меня осенило откровенье. Я вообразил, что иезуиты, взбешенные презрительным тоном, каким я говорю об их школах, завладели моим сочиненьем; что именно они затормозили его изданье; что, осведомленные Гереном, своим другом, о состоянии моего здоровья и предвидя мой скорый конец, в котором я сам не сомневался, они хотят оттянуть печатанье до этого момента, с намереньем сократить, испортить мое сочиненье и приписать мне, в своих целях, взгляды, отличные от моих. Удивительно, какое множество фактов и обстоятельств пришло мне на ум в подтверждение этой безумной выдумки и какое они придали ей правдоподобие, – да что я говорю! – сделали ее доказанной и очевидной. Герен совершенно предался иезуитам, я знал это. Им я приписал всю ту дружескую предупредительность, которую он проявлял ко мне; я уверил себя, что по их наущению он уговорил меня заключить договор с Неольмом, что через этого Неольма они получили первые листы моего сочинения, что потом они нашли способ остановить его печатанье у Дюшена, а может быть, и захватили мою рукопись, чтобы потрудиться над ней вволю, не торопясь, а когда моя смерть развяжет им руки, они выпустят его перелицованным по своему вкусу. Я всегда чувствовал, несмотря на вкрадчивость отца Бертье, что иезуиты не любят меня, не только как энциклопедиста, но и потому, что все мои принципы еще более противоречат их правилам и влиянию, чем неверие моих собратьев, так как фанатизм безбожия и фанатизм ханжества сходятся на общей им обоим нетерпимости и могут даже объединяться, как это было в Китае и как это было по отношению ко мне, – тогда как разумная и нравственная религия, не признавая человеческой власти над совестью, вырывает почву из-под ног у защитников этой власти.

Я знал, что г-н канцлер тоже очень дружен с иезуитами;{422} я боялся, как бы сын, запуганный отцом, не оказался вынужденным отступиться от сочиненья, которому покровительствовал. Мне даже казалось, что я замечаю последствия этого отступничества в придирках, чинимых мне в связи с первыми двумя томами, когда из-за всякого пустяка требовали перепечатки; а ведь остальные два тома, как известно, полны столь острых мест, что если бы они подверглись такой же цензуре, как и два первых, то пришлось бы целиком их переделать. Я знал, кроме того (это мне сказал сам де Мальзерб), что аббат де Грав, на которого он возложил обязанность наблюдать за этим изданием, тоже сторонник иезуитов. Повсюду виделись мне иезуиты. Я не думал о том, что они находятся накануне изгнания и крайне заняты собственной защитой, что у них немало других забот, кроме того, чтобы мешать печатанью книги, в которой о них не было речи. Я не прав, когда говорю: «не думал о том»: я очень об этом думал; и это же возражение поспешил сделать мне и г-н де Мальзерб, как только я сообщил ему о своих подозрениях. Но в силу обычного заблуждения, свойственного человеку, желающему из своего уединенья судить о тайне важных дел, о которой он ничего не знает, я ни за что не хотел поверить, что иезуиты в опасности, и считал слухи об этом уловкой с их стороны, призванной усыпить бдительность противников. Их прежние неоспоримые успехи вызвали во мне такое ужасающее представление об их могуществе, что я уже оплакивал унижение парламента. Мне было известно, что г-н де Шуазель учился у иезуитов, что г-жа де Помпадур была с ними в неплохих отношениях и что лига иезуитов с фаворитами и министрами всегда считалась выгодной для обеих сторон в их борьбе против общих врагов. Двор как будто ни во что не вмешивался; а я был убежден, что если орден иезуитов получит когда-нибудь жестокий удар, то уж, во всяком случае, нанесет его не парламент, у которого не хватит на это сил. В бездействии двора я видел основание для их спокойствия и предвестие их торжества. Наконец, усматривая во всех этих слухах только хитрость и козни с их стороны и считая, что, поскольку положение их совершенно твердое, у них есть время на

все, – я не сомневался, что они скоро сокрушат и янсенизм, и парламент, и энциклопедистов, и всех, не желающих подчиниться их игу; наконец, что если они дадут моей книге выйти, то лишь переделав ее настолько, что она станет их оружием; моим именем воспользуются, чтобы обмануть читателей.

Я чувствовал себя умирающим; и удивительно, как подобное сумасбродство не доконало меня, – до такой степени ужасна была мне мысль, что после моей смерти память моя будет обесчещена в самой ценной и лучшей моей книге. Никогда я так не боялся умереть; и думаю, что если бы я умер при подобных обстоятельствах, то умер бы в отчаянии. Даже теперь, когда я вижу, как беспрепятственно выполняется самый черный, самый страшный заговор, какой когда-либо был направлен против доброго имени человека, я умру гораздо спокойней, так как уверен, что оставлю в своих книгах свидетельство о себе, и рано или поздно оно восторжествует над людскими кознями.

Г-н де Мальзерб, поверенный и свидетель моих тревог, чтобы их успокоить, предпринял шаги, доказывающие его неисчерпаемую сердечную доброту. Герцогиня Люксембургская содействовала этому доброму делу и несколько раз ездила к Дюшену узнавать, в каком положении издание. Наконец печатанье возобновилось и пошло быстрей, хотя я так и не узнал, почему оно приостанавливалось. Г-н де Мальзерб потрудился даже приехать в Монморанси, чтобы успокоить меня; это ему удалось: моя глубокая вера в его прямоту, одержав верх над заблуждениями бедной моей головы, обеспечила полный успех его старанию избавить меня от них. Видя, как я терзаюсь своими бреднями, он, естественно, нашел, что я достоин жалости, и пожалел меня. Беспрестанно повторявшиеся пересуды окружавшей его философской клики пришли ему на память. Когда я переселился в Эрмитаж, они объявили, как я уже упоминал, что долго мне там не выдержать. Убедившись, что я упорствую, они стали утверждать, что это из упрямства, из гордости, оттого что мне стыдно отступиться, – и что я умираю со скуки и чувствую себя несчастным. Де Мальзерб поверил и написал мне об этом. Подобное заблуждение в человеке, которого я так уважал, огорчило меня, и я написал ему одно за другим четыре письма, где объяснил ему действительные основания своего поведения, правдиво описал свои вкусы и наклонности, свой характер и все, что происходило в моем сердце. Эти четыре письма, написанные сразу набело, поспешно, не отрывая пера от бумаги, и даже неперечитанные, – может быть, единственное, что я за всю свою жизнь написал легко; и это тем более удивительно, что я испытывал тогда жестокие страдания. Чувствуя, что изнемогаю, я скорбел при мысли, что оставлю у порядочных людей столь неверное мнение о себе; и четыре мои письма были, в сущности, беглым наброском, которым я постарался восполнить отсутствие задуманных мною воспоминаний. Письма понравились де Мальзербу, и он показал их в Париже; они представляют собой в известном смысле краткий обзор того, что я излагаю здесь подробно, а потому их следует сохранить. В моих бумагах можно найти их копии, снятые по моей просьбе и присланные мне Мальзербом несколько лет спустя.

Ожидая недалекого смертного часа, я огорчался лишь тем, что среди литераторов нет никого, кому бы я мог доверить на хранение свои бумаги, чтобы он разобрал их, когда меня не станет. Со времени поездки в Женеву я завязал дружбу с Мульту; я чувствовал симпатию к этому молодому человеку и хотел бы, чтоб он закрыл мне глаза. Я высказал ему это желание, и, думаю, он не отказался бы выполнить этот долг человеколюбия, если б его дела и семья позволили это. Лишенный и этого утешения, я хотел по крайней мере доказать ему свое доверие и послал ему «Исповедание веры савойского викария» до выхода сочинения в свет. Мульту остался им доволен; но мне показалось, что в своем ответе он не разделял уверенности относительно впечатления, какое оно произведет. Он пожелал иметь какое-нибудь другое мое произведение, которого бы не было ни у кого. Я послал ему «Слово над гро-

бом герцога Орлеанского», составленное мною для аббата Дарти: оно не было произнесено, потому что, против ожидания Дарти, это было поручено не ему.

Итак, печатание возобновилось, продолжалось и закончилось довольно благополучно; я заметил ту странность, что после перепечаток, которых сурово требовали для первых двух томов, последние два тома были пропущены без всяких возражений, и содержание их не представило ни малейшей помехи для опубликования. Но мне все-таки пришлось пережить некоторое беспокойство, и я не могу умолчать о нем. После того как я испытал страх перед иезуитами, мне довелось испытать его перед янсенистами и философами. Враг всего, что зовется группой, союзом заговорщиков, кликой, я никогда не ожидал ничего хорошего от людей, принадлежащих к ним. «Кумушки» с некоторых пор покинули прежнее свое жилище и поселились совсем рядом со мной, – из их комнаты было слышно, что говорилось у меня в комнате и на террасе, а из их сада можно было легко перелезть через невысокую стену, отделявшую его от моей башни. Я устроил в этой башне свой рабочий кабинет, у меня там стоял стол, заваленный корректурами и листами «Эмиля» и «Общественного договора»; я скреплял листы по мере того как мне присылали их, и все томы были у меня собраны задолго до их выхода в свет. Моя рассеянность, моя небрежность, доверие к г-ну Мата, в саду которого я уединялся, приводили к тому, что нередко я забывал вечером запереть свою башню и утром находил дверь открытой настежь; это нисколько меня не беспокоило бы, если б мне не показалось, что я замечаю беспорядок в своих бумагах. После того как я несколько раз сделал такое наблюдение, я стал тщательно запирать башню. Однако замок был скверный, ключ не повертывался как следует. Присматриваясь внимательнее, я стал замечать еще больше беспорядка в бумагах, чем когда оставлял все открытым. Наконец один из томов моих сочинений исчез на день и две ночи, и я не мог понять, куда он девался, а на третий день утром нашел его у себя на столе. Ни тогда, ни впоследствии я не имел подозрения ни на г-на Мата, ни на его племянника г-на Дюмулена, так как знал, что оба они любят меня, и всецело доверял им. Меньше доверия питал я теперь к «кумушкам». Я знал, что, будучи янсенистами, они тем не менее поддерживают какие-то отношения с д'Аламбером и живут в одном доме с ним. Это несколько встревожило меня и заставило быть осторожней. Я убрал бумаги к себе в комнату и совсем перестал встречаться с этими людьми, узнав к тому же, что они растрезвонили в нескольких домах о первом томе «Эмиля», который я имел неосторожность дать им. Хотя мы оставались соседями до самого моего отъезда, у меня с тех пор больше не было общения с ними.

«Общественный договор» появился за месяц или за два до «Эмиля»[{423}]. Рей, от которого я всегда требовал, чтобы он не ввозил во Францию ни одной из моих книг, потихоньку обратился к должностному лицу за разрешением ввезти это издание через Руан, куда он отправил его морем. Рей не получил никакого ответа; посланные им тюки пролежали в Руане несколько месяцев, а затем их отослали ему обратно; сделана была даже попытка их конфисковать, но Рей поднял такой шум, что их возвратили ему. Некоторые любопытные вытащили из них в Амстердаме несколько экземпляров, и книга пошла по рукам, не вызвав большого шума. Молеон, слышавший про это и даже кое-что видевший, рассказал мне об этом таинственным тоном, который меня удивил и даже встревожил бы, если б я не был уверен, что во всех отношениях удовлетворил требованиям закона и мне не в чем себя упрекнуть; я успокоил себя при помощи всегдашнего своего правила. Я даже не сомневался, что г-н де Шуазель, уже расположенный в мою пользу, не отнесется равнодушно к похвале, которую мое уваженье заставило меня сделать ему в этом сочинении, и защитит меня от недоброжелательства г-жи де Помпадур.

У меня, конечно, было в то время больше чем когда-либо оснований рассчитывать на доброе отношение герцога Люксембургского и на его поддержку в случае надобности, потому что никогда еще он не давал мне таких частых и таких трогательных доказательств

дружбы. В пасхальный приезд не проходило дня, чтобы он не навестил меня, так как мое плачевное состояние не позволяло мне бывать в замке. Наконец, видя, что мои страдания не прекращаются, он даже добился от меня согласия позвать брата Кома{424}, послал за ним, сам привел его ко мне и имел мужество (в вельможе, конечно, редкое и похвальное) присутствовать при мучительной и долгой операции. Дело, впрочем, сводилось к простому зондированию; но со мной это никому не удавалось, даже Морану, принимавшемуся за это несколько раз, но всегда безуспешно. Брат Ком обладал необыкновенно искусной и легкой рукой; ему удалось наконец ввести тоненький зонд, промучив меня, правда, более двух часов, в течение которых я старался удерживать стоны, чтобы не терзать чувствительного сердца доброго маршала. При первом исследовании брату Кому показалось, что он нашел большой камень, и он сказал мне об этом; при втором он уже не нашел его. Исследовав меня во второй и третий раз с осторожностью и тщательностью, из-за которых операция показалась мне очень долгой, он объявил, что камня нет, но предстательная железа затвердела и ненормально увеличена; он установил, что мочевой пузырь большой и в хорошем состоянии, и кончил заявленьем, что я буду много болеть, но проживу долго. Если второе предсказание исполнится с такой же точностью, как и первое, мои страданья кончатся не скоро.

Итак, долгие годы меня лечили от болезней, которых у меня не было, а в конце концов я узнал, что болезнь моя – неизлечимая, но не смертельная – прекратится лишь вместе с моим существованием. Мое воображенье, связанное этим указанием, уже не рисовало мне в будущем мучительной смерти от камней в мочевом пузыре. Я перестал бояться, не сделался ли кончик зонда, отломившийся в мочевом канале много времени тому назад, ядром камня. Освободившись от недугов воображаемых, более для меня страшных, чем недуги реальные, я легче переносил последние. С тех пор я всегда страдал от своей болезни гораздо меньше, чем до этого, и, вспоминая о том, что этим облегченьем обязан герцогу Люксембургскому, я с умилением отношусь к его памяти.

Вернувшись, так сказать, к жизни и более чем когда-либо занятый мыслями, как провести остаток ее, я ждал для выполнения своего плана лишь выхода из печати «Эмиля». Я подумывал о Турени{425}, где бывал прежде, – мне очень нравился мягкий ее климат и мягкий нрав ее обитателей.

La terra molle, e lieta, e dilettosa,
Simili a se gli abitator produce[65].

Я уже раньше сообщал о своем плане герцогу Люксембургскому, но он старался отговорить меня; теперь я опять заговорил с ним об этом, как о деле решенном. Тогда он предложил мне замок Мерлу, в пятнадцати лье от Парижа, как самое подходящее убежище, в котором и ему, и герцогине было бы приятно меня устроить. Предложенье тронуло меня и пришлось мне по вкусу. Прежде всего надо было осмотреть этот уголок; мы договорились о дне, когда маршал пришлет своего лакея с коляской, чтобы отвезти меня туда. В этот день мне сильно нездоровилось; пришлось отложить поездку, а возникшие затем препятствия помешали мне осуществить ее. Узнав впоследствии, что поместье Мерлу принадлежит не маршалу, а его супруге, я тем легче утешился, что мне не удалось туда поехать.

Наконец «Эмиль» появился, причем уже не было речи ни о перепечатках, ни о других затруднениях. Перед выходом его в свет маршал попросил меня вернуть все относящиеся к этому сочинению письма де Мальзерба. Беспредельное доверие к обоим и глубокая уверенность в собственной безопасности помешали мне вдуматься в странный и даже тревожный характер этой просьбы. Я возвратил письма, за исключением одного или двух, случайно

[65] Веселый край, приветливый и милый,И жители во всем ему подобны(*итал.*) (*Tasso*).

оставшихся в моих книгах. За несколько времени до того де Мальзерб сообщил мне, что отберет у Дюшена письма, которые я писал ему во время моих тревог по поводу происков иезуитов; надо признаться, письма эти не делали особенной чести моей рассудительности. Но я ответил, что ни в чем не хочу казаться лучше, чем я есть, и что он может оставить Дюшену письма. Не знаю, как он поступил.

Книга не была встречена с таким бурным восторгом, как остальные мои сочинения. Никогда ни один труд не вызывал так много похвал отдельных лиц и так мало общественного одобрения. Все, что говорили и писали мне люди, наиболее способные о нем судить, подтвердило мне, что это лучшая и самая значительная из моих книг. Но все похвалы высказывались с самыми странными предосторожностями, как будто было очень важно сохранить в тайне все, что о ней говорится хорошего. Г-жа де Буффле, заявившая мне, что автор такой книги заслуживает памятника и почестей от всего человеческого рода, в конце своей записки бесцеремонно просила меня вернуть ей эту записку. Д'Аламбер, писавший мне, что это произведение решительно свидетельствует о моем превосходстве и должно поставить меня во главе всех литераторов, не подписал своего письма, хотя подписывал все прежние письма. Дюкло, преданный друг, человек правдивый, но осмотрительный, высоко оценил книгу, однако не пожелал письменно высказаться о ней. Лакондамин{426} накинулся на «Исповедание веры» и понес вздор; Клеро{427} в своем письме тоже ограничился этим отрывком; но он не побоялся написать, как взволновало его чтение, и заявил мне – это его подлинные слова, – что оно согрело его старую душу. Из всех, кому я послал свою книгу, он был единственный, кто громко и свободно, во всеуслышание сказал все, что думал о ней хорошего.

Мата, которому я тоже дал экземпляр «Эмиля» до того, как книга поступила в продажу, одолжил его г-ну де Блеру, советнику парламента, отцу страсбургского интенданта. У де Блера был загородный дом в Сен-Гратьене, и Мата, давний его знакомый, навещал его там иногда. Он дал ему прочесть «Эмиля» раньше, чем книга вышла в свет. Возвращая ее, де Блер сказал ему в точности следующие слова, которые в тот же день были мне переданы: «Господин Мата, вот превосходная книга, но о ней вскоре заговорят больше, чем это будет желательно автору». Когда он передал мне это, я только посмеялся и увидел в этом многозначительный тон судейского, все облекающего в тайну. Остальные дошедшие до меня тревожные отзывы произвели на меня не больше впечатленья. Отнюдь не предвидя надвигавшейся на меня катастрофы, уверенный в том, что мое произведенье полезно, прекрасно убежденный, что я во всех отношениях поступил правильно, твердо рассчитывая на полную поддержку герцогини Люксембургской и даже на расположение ко мне правительства, я поздравлял себя с принятым мною решением удалиться от света посреди своих триумфов и в тот момент, когда я сокрушил всех своих завистников.

Одно только тревожило меня при выходе в свет этой книги, и то не столько в отношении моей безопасности, сколько в смысле чистоты совести. В Эрмитаже, в Монморанси я с негодованием наблюдал притеснения, которым подвергаются крестьяне в угоду жадной к развлечениям знати: они вынуждены терпеть потраву, производимую дичью в их полях, не смея прибегать к иным средствам защиты, кроме шума, и проводя ночи на участках, засеянных бобами и горохом, с барабанами, котлами, колокольцами, чтобы отпугивать кабанов. Свидетель варварской беспощадности, с какой граф де Шароле относился к этим беднякам, я в конце «Эмиля» сделал выпад против такой жестокости: новое нарушение моих правил, не оставшееся безнаказанным. Я узнал, что служащие принца де Конти не менее жестоко поступали на его землях; я дрожал при мысли, что этот принц, к которому я был проникнут уваженьем и признательностью, почтет себя оскорбленным, приняв на свой счет то, что возмущенное человеколюбие заставило меня сказать относительно его дяди. Однако, поскольку совесть моя была совершенно спокойна, я доверился ее голосу и хорошо сделал. По крайней

мере мне никогда не приходилось слышать, чтобы принц обратил какое бы то ни было внимание на эти строки, написанные задолго до того, как я имел честь стать знакомым ему.

Незадолго до выхода в свет моей книги или спустя несколько дней после этого – не помню точно когда, – появилось другое сочинение на эту же тему{428}, списанное слово в слово с моего первого тома, за исключением нескольких пошлостей, которыми было разбавлено это заимствование. На книге стояло имя одного женевца, некоего Балексера, а на заглавном листе было указано, что она удостоилась премии Гарлемской академии. Я понял без труда, что эта Академия и эта премия созданы специально для данного случая, чтобы скрыть от глаз публики плагиат; но я увидел также, что все это основано еще на какой-то интриге, в которой я ничего не понимал; либо моя рукопись была передана в чьи-то руки, без чего эта кража не могла бы осуществиться, либо нужно было сочинить историю о мнимой премии и этим как-нибудь объяснить ее возникновение. Только через много лет, по одному слову, вырвавшемуся у д'Ивернуа, я проник в эту тайну и догадался, кто пустил в ход г-на Балексера.

Уже начали раздаваться глухие раскаты, предшествующие грозе, и всякому мало-мальски проницательному наблюдателю стало ясно, что вокруг моей книги и меня самого куется заговор и что скоро он даст себя знать. Между тем моя уверенность, моя глупость доходили до того, что я не только не предвидел своей беды, но не догадывался о причине ее даже тогда, когда почувствовал ее действие. Сперва довольно ловко стали распространять мнение, что, преследуя иезуитов, нельзя проявлять пристрастной снисходительности к книгам и авторам, нападающим на религию. Меня укоряли, зачем я поставил свое имя на «Эмиле», – как будто я не ставил его на всех других своих книгах, не вызывая этим никаких возражений. Казалось, сожалеют о необходимости предпринять какие-то шаги, нежелательные, но требуемые обстоятельствами и вызванные моей неосторожностью. Слухи об этом дошли до меня, но ничуть меня не встревожили: мне даже не пришло в голову, чтобы во всей этой истории что-либо могло касаться лично меня, до такой степени я чувствовал себя безупречным, стоящим на твердой почве, соблюдающим все правила и уверенным, что герцогиня Люксембургская не покинет меня в трудную минуту из-за вины, которая если и существовала, то падала всецело на нее. Но, зная, как в подобных случаях происходит дело, а именно, что существует обыкновение преследовать издателей, щадя авторов, – я несколько тревожился за Дюшена, опасаясь, как бы де Мальзерб не отрекся от него.

Я оставался спокоен. Слухи усилились, и скоро характер их изменился. Казалось, мое спокойствие раздражает публику, а в особенности парламент. Через несколько дней возбуждение достигло страшных размеров, и угрозы обратились непосредственно против меня. Членам парламента совершенно открыто заявляли, что нельзя ничего добиться, сжигая книги, а надо жечь авторов. Об издателях же совсем не было речи. Когда эти рассуждения, более достойные какого-нибудь инквизитора из Гоа{429}, чем сенатора, дошли до меня в первый раз, я был твердо уверен, что это выдумка гольбаховцев, желавших испугать меня и побудить к бегству. Я смеялся над этой жалкой хитростью и говорил себе, издеваясь над ними, что если б они знали истинное положение дела, то поискали бы другого способа внушить мне страх. Но наконец шум до того усилился, что стало ясно: положение серьезно. Герцог и герцогиня Люксембургские в тот год ускорили второй свой приезд в Монморанси и были там уже в начале июня. Я слышал в замке очень мало разговоров о моих новых книгах, несмотря на то что они так нашумели в Париже; сами хозяева дома вовсе не говорили мне о них. Но однажды утром, когда я был один с герцогом, он сказал мне: «Разве вы дурно отзывались о господине де Шуазеле в «Общественном договоре»?» – «Как? – воскликнул я, отступая в изумлении. – Нет, клянусь вам, наоборот: пером, не знающим лести, я воздал ему величайшую хвалу, какой только когда-либо удостаивался министр». И я тут же привел ему это место. «А в «Эмиле»?» – опять спросил он. – »Ни слова, – ответил я, – там нет ни одного

слова о нем». – «Ах! – заметил он с несвойственной ему живостью. – Надо было сделать то же самое и в «Договоре» или выразиться ясней». – «Мне казалось, что я так и выразился, – прибавил я, – я достаточно уважал его для этого». Герцог, видимо, хотел что-то сказать: я заметил, что он готов открыть мне что-то; но он сдержался и промолчал. Злосчастная политика придворного, преобладающая над дружбой даже в лучших сердцах!

Этот разговор, как ни был он короток, выяснил мне мое положение – по крайней мере до известной степени – и дал мне понять, что угроза направлена именно на меня. Я оплакивал судьбу, неслыханно преследующую меня, обращающую во вред мне все, что бы я ни говорил и ни делал хорошего. Однако, чувствуя себя в этом деле под защитой герцогини Люксембургской и г-на де Мальзерба, я не представлял себе, каким образом можно устранить их и добраться до меня; но, во всяком случае, мне стало ясно, что больше уже не будет речи ни о справедливости, ни о правосудии и никто не даст себе труда разбираться, действительно я виноват или нет. Гроза бушевала все сильнее. Дело дошло даже до того, что Неольм в припадке болтливости выразил сожаление, что связался с этим произведением, так как не сомневается относительно участи, ожидающей и автора, и книгу. Одно меня все-таки успокаивало: я видел, что герцогиня Люксембургская спокойна, довольна и даже весела; несомненно, она уверена в успехе своего предприятия, если ничуть не тревожится за меня, не высказывает мне ни слова сочувствия или извинения и смотрит на то, какой оборот принимает дело, столь хладнокровно, словно не имеет к нему никакого отношения и нисколько не интересуется моей судьбой. Более всего удивляло меня ее молчание. Мне казалось, что она должна была бы что-нибудь сказать. Г-жа де Буффле была как будто менее спокойна. Она то уезжала, то приезжала с возбужденным видом, много хлопотала и уверяла меня, что принц де Конти все делает, чтобы отразить удар, готовящийся мне и целиком приписываемый ею моменту: парламенту было важно не дать иезуитам повода обвинять его в равнодушии к религии. Однако она возлагала, видимо, слабые надежды на то, что шаги, предпринимаемые принцем и ею самой, будут иметь успех. Все ее беседы со мной, скорее тревожные, чем успокоительные, сводились к тому, чтобы склонить меня к отъезду, и она все время рекомендовала Англию, где предлагала создать мне дружеские связи, – между прочим, со знаменитым Юмом{430}, принадлежавшим к числу ее давнишних друзей. Видя, что я упорно сохраняю спокойствие, она пустила в ход средства, более способные поколебать меня. Она дала мне понять, что, если меня арестуют и станут допрашивать, мне придется назвать герцогиню Люксембургскую, а дружеское отношение герцогини ко мне, конечно, заслуживает того, чтобы я постарался не компрометировать ее. Я ответил, что она может быть спокойна, – я не скомпрометирую герцогиню. Она возразила, что такое решение легче принять, чем выполнить: и тут она была права, – в особенности относительно меня, ибо я твердо решил никогда не приносить ложной присяги и не лгать перед судьями, какой бы риск ни был связан с правдивым показанием.

Видя, что это соображенье произвело на меня известное впечатление, хотя я все еще не решался бежать, она заговорила о заключении в Бастилию на несколько недель, как о способе избежать подсудности парламенту: он не вмешивается в дела государственных преступников. Я нисколько не возражал против этой своеобразной милости, при условии, чтобы просьба о ней исходила не от моего лица. Поскольку она больше не говорила об этом, я впоследствии стал думать, что она сделала это предложение только для того, чтобы испытать меня, и что такой выход был сочтен нежелательным.

Через несколько дней маршал получил от дейльского священника, друга Гримма и г-жи д'Эпине, письмо с сообщением – по его словам, вполне достоверным, – что парламент будет действовать против меня с самой крайней суровостью, и в определенный день, который он называл, я буду заключен под стражу. Я подумал, что это сообщение гольбаховской выделки; я знал, что парламент строго придерживается формы, а ведь было бы полным ее наруше-

нием начинать в данном случае с ареста, не установив юридически, признаю ли я книгу своей и являюсь ли действительно ее автором. «При одних только преступлениях против общественной безопасности, – говорил я г-же де Буффле, – достаточно простого указания, чтобы обвиняемый был подвергнут аресту из опасения, как бы он не скрылся от правосудия. Но когда намереваются покарать проступок, подобный моему, заслуживающий почестей и наград, то обрушиваются на книгу и стараются насколько возможно не касаться автора». Она выдвинула против этого тонкое различие, которое я позабыл, – доказывая, что меня из милости хотят подвергнуть аресту, вместо того чтобы вызывать на допрос. На другой день я получил письмо от Ги, сообщавшего мне, что, будучи в этот самый день у генерального прокурора, он видел у него на письменном столе черновик обвинительного заключения против «Эмиля» и его автора. Заметьте, что этот самый Ги был компаньоном Дюшена, напечатавшего сочиненье, и он-то, совершенно спокойный за себя, из милосердия сообщал это автору! Можно представить себе, насколько это показалось мне правдоподобным! Как это просто, как естественно, чтобы книгоиздатель, удостоенный аудиенции генерального прокурора, преспокойно читал рукописи и черновики, разбросанные у этого должностного лица на столе! Г-жа де Буффле и другие подтвердили мне то же самое. Мне пришлось услышать столько нелепостей, что я готов был подумать, будто весь мир сошел с ума.

Хорошо понимая, что под всем этим кроется какая-то тайна, которую мне не хотят открыть, я спокойно ждал событий, положившись на свою правоту и невиновность во всем этом деле, и счастлив был сознанием, что, какое бы преследование меня ни постигло, я удостоюсь чести пострадать за правду. Далекий от того, чтобы бояться и прятаться, я каждый день ходил в замок и совершал обычную свою послеполуденную прогулку. 8 июня, накануне появления указа, я совершил ее с двумя профессорами-ораторьянцами – отцом Аламанни и отцом Мандаром. Мы взяли с собой в Шампо{431} полдник и съели его с большим аппетитом. Стаканы мы забыли и заменили их соломинками ржи, через которые высасывали вино из бутылки, стараясь выбрать соломинку потолще, чтобы больше выпить. Никогда в жизни мне не было так весело.

Я рассказывал о том, как в молодости страдал бессонницей. С тех пор у меня осталась привычка читать по вечерам в постели до тех пор, пока глаза не начнут слипаться. Тогда я гашу свечу и стараюсь вздремнуть, что обыкновенно недолго продолжается. Вечерним моим чтением обычно бывает Библия, и я прочел ее всю таким способом по крайней мере пять или шесть раз. В этот вечер, чувствуя себя более возбужденным, чем всегда, я читал дольше обычного и прочел целиком книгу, кончающуюся «Левитом с горы Ефремовой», – то есть «Книгу судей», если не ошибаюсь, ибо с тех пор я больше в нее не заглядывал. Эта история произвела на меня сильное впечатление и грезилась мне даже во сне, как вдруг я был разбужен шумом и светом. Свеча в руках Терезы осветила Ларош; видя, что я быстро поднялся на своем ложе, он проговорил: «Не пугайтесь, я от супруги маршала; она пишет вам сама и посылает письмо принца де Конти». В самом деле, в письме герцогини Люксембургской я нашел письмо этого принца, только что привезенное ей нарочным и извещавшее, что, несмотря на все его усилия, со мной решено поступить по всей строгости. «Возбуждение чрезвычайное, – писал он. – Удар нельзя отвести ничем: двор требует этого, парламент этого хочет; в семь часов утра будет издан указ об аресте, и тотчас же пошлют схватить его. Я добился того, чтобы его не преследовали, если он удалится. Но если он желает, чтобы его арестовали, его арестуют».

Ларош заклинал меня от имени супруги маршала встать и отправиться к ней для совещания. Было два часа ночи, она только что легла. «Она вас ждет, – прибавил он, – и не хочет заснуть, не повидавшись с вами». Я поспешно оделся и помчался к ней.

Она показалась мне взволнованной. Это было в первый раз, и ее смятение тронуло меня. Захваченный врасплох, среди ночи, я сам был не чужд тревоги; но при виде герцогини

я забыл о самом себе, отдавшись мысли о ней и о жалкой роли, которую ей придется сыграть, если я позволю себя схватить; чувствуя в себе достаточно мужества, чтобы всегда говорить одну только правду, как бы она мне ни вредила и ни губила меня, я не находил в себе ни присутствия духа, ни достаточной ловкости, а может быть, и достаточной твердости, и опасался скомпрометировать ее, если на меня будет оказано сильное давление. Поэтому-то я решился пожертвовать своей славой ради ее спокойствия, – сделать в данном случае для нее то, чего я ни при каких условиях не сделал бы для себя. Как только мое решение было принято, я объявил ей о нем, не желая уменьшать значения своей жертвы требованием платы за нее. Я твердо уверен, что она не могла сомневаться в моих побуждениях; однако она не сказала мне ни одного слова, которое давало бы понять, что она не осталась к ним безразлична. Я был до того поражен этим равнодушием, что подумал, не отказаться ли мне; но вошел маршал; несколько минут спустя приехала из Парижа г-жа де Буффле. Они сделали то, что должна была сделать герцогиня. Я поддался их лести; мне стало стыдно отступать, и речь пошла уже только о месте, куда мне направиться, и о времени отъезда. Маршал предложил мне остаться на несколько дней у него инкогнито, чтобы спокойно все обсудить и принять нужные меры. Я не согласился на это, как и на предложение тайком отправиться в Тампль. Я предпочитал уехать в тот же день, чем прятаться где бы то ни было.

Чувствуя, как много у меня тайных и влиятельных врагов в королевстве, я полагал, что, невзирая на свою привязанность к Франции, я должен из нее удалиться, чтобы обеспечить себе спокойствие. Первым моим намерением было отправиться в Женеву, но после краткого размышления я отказался от этой глупости. Я знал, что французское правительство еще более влиятельно в Женеве, чем в Париже, и если оно решило меня преследовать, то и там не оставит в покое. Я знал, что «Рассуждение о неравенстве» вызвало в Совете двухсот ненависть ко мне, тем более опасную, что он не смел ее обнаружить. Наконец я знал, что, когда «Новая Элоиза» вышла, Совет по инициативе доктора Троншена поспешил запретить ее; но, видя, что никто не следует его примеру даже в Париже, устыдился своей опрометчивости и отменил запрещение. Я не сомневался, что теперь, когда предоставляется более благоприятный случай, он постарается воспользоваться им. Я знал, что, несмотря на кажущееся сочувствие, в сердцах всех женевцев царит зависть ко мне, и они ждут только возможности утолить ее. Тем не менее любовь к родине звала меня туда, и если б я мог льстить себя надеждой, что буду жить там в мире, я не стал бы колебаться. Но так как ни честь, ни рассудок не позволяли мне скрываться там как беглецу, я решил только приблизиться к ней и ждать в Швейцарии, какое решение примут относительно меня в Женеве. Скоро читатель увидит, что неизвестность была непродолжительна.

Г-жа де Буффле очень отрицательно отнеслась к этому решению и опять принялась уговаривать меня ехать в Англию. Она не поколебала меня. Я никогда не любил ни Англии, ни англичан; и все красноречие г-жи де Буффле не только не победило моей нелюбви, но – не знаю почему – как будто увеличило ее.

Я решил ехать в тот же день, и уже с утра всем говорили, что я уехал. Ларош, посланный за моими бумагами, не хотел сказать даже Терезе, уехал я или нет. С тех пор как я принял решение написать когда-нибудь свои воспоминания, я собрал много писем и других бумаг, так что Ларошу пришлось сделать несколько поездок. Часть этих бумаг, уже разобранная, была отложена; я посвятил остаток утра разборке других, чтобы взять с собой только то, что может оказаться мне полезным, и сжечь остальное. Герцог Люксембургский пожелал помочь мне в этой работе, потребовавшей столько времени, что мы не могли окончить ее в течение утра и я не успел ничего сжечь. Маршал предложил, чтобы я предоставил ему самому закончить разборку, сжечь ненужное, ни с кем не советуясь, и переслать мне то, что будет отобрано. Я принял его предложение, обрадовавшись возможности отделаться от этой заботы и провести немногие остающиеся часы с дорогими мне лицами, с которыми расста-

вался навсегда. Он взял ключ от той комнаты, где я оставил бумаги, и по моей настойчивой просьбе послал за моей бедной Терезой, угнетаемой смертельной тревогой за меня и за себя самое, так как она каждую минуту ждала судебных приставов и не знала, как вести себя и что отвечать им. Ларош привез ее в замок, ничего не рассказав ей; она думала, что я уже далеко; увидев меня, она закричала и кинулась в мои объятья. О дружба, родство сердец, привычка, близость! В тот сладкий и жестокий миг соединились все проведенные вместе счастливые, нежные и мирные дни, чтобы дать мне сильнее почувствовать горе первой разлуки после почти семнадцати лет, в течение которых мы едва ли хоть один день провели, не видя друг друга. Маршал, свидетель этих объятий, не мог удержаться от слез. Он оставил нас одних. Тереза не хотела больше расставаться со мной. Я объяснил ей все неудобство ее совместного отъезда со мной и необходимость для нее остаться, чтобы распродать мои вещи и собрать деньги. Когда издается указ о чьем-либо аресте, обычно забирают бумаги этого человека, опечатывают его вещи или составляют им опись и назначают к ним хранителя. Значит, ей надо остаться, чтобы следить за всем происходящим и постараться устроить все возможно лучше. Я обещал ей, что скоро она будет опять со мной; маршал подтвердил мое обещание. Но я ни за что не хотел говорить ей, куда еду, чтобы на вопросы тех, кто придет за мной, она могла правдиво утверждать, что ей об этом ничего не известно. Целуя ее на прощанье, я почувствовал какое-то необычайное волненье и сказал ей в порыве, который – увы! – оказался пророческим: «Дитя мое, тебе надо вооружиться мужеством. Ты делила со мной благополучие моих счастливых дней; тебе предстоит, если ты этого хочешь, разделить мои несчастья. Последовав за мной, не жди ничего, кроме огорчений и бед. Рок, постигший меня в этот печальный день, будет преследовать меня до последнего моего часа».

Мне оставалось только подумать об отъезде. Судебные приставы должны были явиться в десять часов. Было уже четыре часа пополудни, когда я уехал, а они еще не появлялись. Мы решили, что я поеду на почтовых. У меня не было экипажа; маршал подарил мне кабриолет и дал лошадей и кучера до первой станции, где благодаря принятым им мерам лошади были мне предоставлены без всяких затруднений. Так как в этот день я не обедал за общим столом и не показывался в замке, дамы пришли проститься со мной на антресоли, где я провел весь день. Супруга маршала несколько раз обняла меня с довольно печальным видом; но я чувствовал, что эти объятия уже не так крепки, как те, что она расточала мне за два или три года до этого. Г-жа де Буффле тоже обняла меня и наговорила мне много приятного. Более неожиданным было для меня объятие г-жи де Мирпуа, также присутствовавшей там. Супруга маршала де Мирпуа – особа чрезвычайно холодная, церемонная, сдержанная и, сдается мне, не вполне свободная от надменности, свойственной Лотарингскому дому{432}. Она никогда не проявляла особого внимания ко мне. Потому ли, что, польщенный неожиданной честью, я стремился поднять ей цену в своих собственных глазах, потому ли, что и в самом деле она вложила в прощальное объятие сострадание, присущее благородным сердцам, но я нашел в этом движении души и в ее взгляде нечто энергическое, тронувшее меня. Вспоминая об этом впоследствии, я часто подозревал, что она была осведомлена о том, какая ожидает меня участь, и не могла удержаться от жалости.

Маршал не раскрывал рта и был бледен как смерть. Он хотел во что бы то ни стало проводить меня до экипажа, ожидавшего у водопоя. Мы прошли через сад, не говоря ни слова. У меня был ключ от парка; я отпер калитку и, вместо того чтобы положить ключ себе в карман, молча отдал его герцогу. Он взял его с удивительной поспешностью, о которой я невольно часто вспоминаю с тех пор. Мне не случалось переживать в своей жизни более горькой минуты, чем это расставанье. Объятье было долгое и безмолвное: мы оба чувствовали, что это было последнее прощанье.

Между Барром и Монморанси я встретил наемную карету; в ней сидели четверо в черном; они поклонились мне с улыбкой. На основании того, что Тереза сообщила мне впослед-

ствии о внешности судебных приставов, о времени их приезда и о том, как они себя держали, я не сомневался, что это были они, – особенно когда узнал потом, что указ об аресте был издан не в семь часов, как меня предупреждали, а только в полдень. Мой путь лежал через Париж. Совершенно открытый кабриолет – плохая защита от любопытных взглядов. Я видел на улицах нескольких лиц, которые поклонились мне, как знакомые, но я не узнал никого. В тот же вечер я свернул с дороги, чтобы заехать в Вильруа. В Лионе путники должны являться к коменданту. Это могло оказаться неудобным для человека, не желающего ни лгать, ни менять свое имя. Я поехал с письмом герцогини Люксембургской – просить г-на де Вильруа устроить так, чтобы меня освободили от этой повинности. Г-н де Вильруа дал мне письмо, которым я не воспользовался, потому что не поехал через Лион. Письмо это осталось нераспечатанным в моих бумагах. Герцог очень уговаривал меня ночевать в Вильруа, но я предпочел продолжать путь и сделал в тот день еще два перегона.

Экипаж мой был на жестких рессорах, ехать в нем было очень неудобно, и я не мог проезжать в день большое расстояние. К тому же у меня был недостаточно внушительный вид, чтобы мне хорошо служили, а известно, что во Франции почтовые лошади чувствуют только тот хлыст, который бьет по плечам кучера. Я попробовал щедрыми чаевыми возместить отсутствие барской внешности и манер, – вышло еще хуже. Меня стали принимать за человека низкого звания, посланного по чужому делу и едущего на почтовых в первый раз в жизни. С этих пор я получал одних только кляч и стал игрушкой в руках кучеров. Я кончил тем, с чего должен был бы начать: набрался терпения и продолжал путь, как вздумается моим возницам.

У меня было бы чем заняться в дороге, если б я отдался мыслям обо всем, что со мной только что произошло. Но это не свойственно ни уму моему, ни сердцу. Удивительно, с какой легкостью я забываю прошедшее зло, как бы свежо оно ни было. Насколько ожидание беды пугает и смущает меня, настолько же воспоминание о ней возникает во мне слабо и угасает без труда, как только она уже в прошлом. Мое жестокое воображение, беспрестанно терзающее меня мыслью о том, как предупредить еще не случившееся несчастье, отвлекает мою память и помогает забыть о минувшем. Против того, что совершилось, уже не приходится принимать мер предосторожности, и незачем о нем думать. Я, так сказать, переживаю свое несчастье заранее: чем больше я страдал, предвидя его, тем легче мне забыть о нем. Напротив того, беспрестанно думая о своем былом счастье, я вспоминаю и как бы вновь переживаю его и вновь могу наслаждаться им, когда захочу. Именно этому счастливому свойству, чувствую, обязан я тем, что никогда не знал духа злопамятства, клокочущего в мстительном сердце из-за постоянного воспоминания о полученных обидах и терзающего его всею болью, которую оно хотело бы причинить своему врагу. От природы вспыльчивый, я подвержен порывам гнева, даже бешенства; но никогда желание мести не пускало во мне корней. Я уделяю слишком мало внимания обиде, чтобы уделять много внимания обидчику. Я думаю о зле, которое он мне причинил, только из-за того зла, которое он может причинить еще; и будь я уверен, что он этого не сделает, причиненное им зло было бы тотчас мною забыто. Нам много толкуют о прощении обид: бесспорно, это прекрасная добродетель, но мне она не свойственна. Не знаю, могло ли бы мое сердце преодолеть свою ненависть, ибо оно никогда не испытывало ее: я слишком мало думаю о своих врагах, а потому не могу похвалиться, что прощаю им. Не знаю, в какой мере они мучают себя, чтобы мучить меня. Я в их руках; у них вся власть, они пользуются ею. Есть только одно, что находится за пределами их могущества и в чем я для них неуязвим: мучаясь из-за меня, они не в силах заставить меня мучиться из-за них.

На другой день после отъезда я уже позабыл и все, что только что произошло, и парламент, и г-жу де Помпадур, и г-на де Шуазеля, и Гримма, и д'Аламбера, и их козни, и их сообщников; я не вспомнил бы об этом за все свое путешествие, если б мне не приходилось

принимать известные предосторожности. Вместо всего этого у меня возникло воспоминание о том, что я читал в последний раз накануне отъезда. Вспомнил я также «Идиллии» Геснера{433}, за некоторое время перед тем присланные мне его переводчиком Юбером. Обе эти мысли были у меня так отчетливы и до такой степени сплелись в моем уме, что мне захотелось попробовать соединить их, обработав в духе Геснера сюжет «Левита с горы Ефремовой». Пасторальный наивный стиль, казалось, мало подходит к такому мрачному сюжету, и трудно было ждать, что в моем тогдашнем положении у меня явятся веселые мысли для оживления темы. Все же я сделал попытку, единственно для того, чтобы развлечься в дороге, и без всякой надежды на успех. Но едва я приступил к делу, как был удивлен приятностью своих мыслей и легкостью, с какой мне удается их выразить. В три дня я сочинил первые три песни этой маленькой поэмы, законченной потом в Мотье. Я уверен, что за всю свою жизнь не написал ничего, что было бы проникнуто более умилительной нежностью нравов, отличалось бы более свежим колоритом, более наивным рисунком, большей верностью эпохе, более античной простотой во всем, и это – несмотря на страшный и, в сущности, отвратительный сюжет, так что, помимо всего прочего, за мной была заслуга преодоления трудности. Если «Левит с горы Ефремовой» и не лучшее из моих сочинений, то оно навсегда останется самым моим любимым. Я никогда не перечитывал его и, думается, никогда не перечитаю без того, чтобы не почувствовать восторг беззлобного сердца, которое не только не очерствело в несчастьях, но в самом себе находит награду и утешение. Соберите всех великих философов, обнаруживающих в своих книгах такую стойкость против бедствий, которых они никогда не испытали; поставьте их в положение, сходное с моим, и предложите им в первую минуту негодования за поруганную честь написать подобное сочиненье: вы увидите, как они справятся с этим.

Уезжая из Монморанси в Швейцарию, я принял решение остановиться в Ивердене, у своего доброго старого друга Рогена, удалившегося туда за несколько лет перед тем и приглашавшего меня погостить у него. По дороге я узнал, что Лион остается в стороне, и, таким образом, мне не пришлось проезжать через него. Но зато я попал бы в Безансон, место военных действий{434}, представлявшее, следовательно, те же неудобства. Я решил взять влево и проехать через Сален, под предлогом посетить племянника г-на Дюпена – де Мерана, служившего на солеварне и в свое время звавшего меня к себе. Уловка удалась; я не застал де Мерана; очень обрадованный, что мне нет надобности останавливаться, я продолжал свой путь, и никто не чинил мне препятствий.

Вступив на территорию Берна{435}, я велел остановиться. Я вышел из экипажа, простерся ниц, поцеловал землю и в восторге воскликнул: «О небо, защита добродетели, хвала тебе! Я касаюсь свободной земли!» Так, в слепом уповании, я всегда увлекался тем, что должно было составить мое несчастье. Мой кучер в изумлении подумал, что я сошел с ума. Я снова сел в экипаж и через несколько часов испытал радость, столь же чистую, как и сильную, почувствовав себя в объятиях почтенного Рогена. Ах, вздохнем свободно несколько мгновений в доме этого достойного человека! Мне нужно набраться мужества и сил; они мне скоро понадобятся.

Не без причины задержался я в этом повествовании на всех обстоятельствах, которые мог припомнить. Хоть они и не кажутся особенно ясными, но, когда держишь в руках нить всей интриги, могут бросить свет на ее ход; и, например, не давая непосредственного объяснения проблеме, которую я сейчас выдвину, они сильно помогают разрешить ее.

Предположим, что для осуществления заговора, жертвой которого я явился, мое удаление было совершенно необходимо; чтобы добиться его, все должно было произойти почти так, как произошло. Но если бы, не поддавшись страху под впечатлением ночного вызова герцогини Люксембургской и не смутившись поднятой ею тревогой, я продолжал держаться

так же твердо, как вначале, и, вместо того чтобы оставаться в замке, вернулся бы оттуда к себе в постель и спокойно проспал все раннее утро, был ли бы я все-таки арестован? Важный вопрос, от которого зависит разрешение многих других; при его рассмотрении оказалось бы не лишним принять во внимание срок, когда было вынесено постановление с угрозой ареста, и срок фактического издания указа об аресте. Грубый, но наглядный пример того, какое значение имеют малейшие подробности при изложении фактов, чтобы по индукции можно было открыть их тайные причины.

Книга двенадцатая (1762–1765)

Здесь начинается черное дело, тьмой которого я окутан вот уже восемь лет, не имея возможности каким бы то ни было способом пронизать этот страшный мрак. В бездне страданий, поглотившей меня, я чувствую наносимые мне удары, вижу орудие, которым их наносят, но не могу разглядеть, чья рука его направляет и каким образом пускает его в ход. Бесчестье и бедствия обрушиваются на меня словно сами по себе, не выдавая ее присутствия. Когда из моего истерзанного сердца вырываются стоны, я произвожу впечатление человека, жалующегося без причины, и виновники моей гибели находят непостижимый способ сделать публику соучастницей своего заговора, хотя сама она не подозревает о нем и не замечает его результатов. Таким образом, повествуя о событиях, меня касающихся, о преследованиях, которым я подвергся, и обо всем, что со мной случилось, я не в состоянии добраться до направляющей руки и, передавая факты, установить их причины. Первичные причины все намечены в трех предыдущих книгах; там освещены все побуждения, все тайные мотивы. Но каким образом сочетаются эти различные причины, вызывая в моей жизни столь необычайные события, – этого я не могу объяснить даже предположительно. Если среди моих читателей найдутся настолько великодушные люди, что пожелают углубиться в эти тайны и открыть истину, пусть они внимательно перечтут три предыдущие книги. Пусть затем соберут доступные им сведения относительно всякого факта, о котором будут читать в следующих книгах, пусть переберут интригу за интригой и исполнителя за исполнителем вплоть до первых двигателей всего, – я твердо знаю, к чему приведут их эти исследования, но сам я теряюсь на темном и извилистом пути, в подземных ходах, которые туда ведут.

Во время своего пребывания в Ивердене я познакомился со всем семейством Рогена и, между прочим, с его племянницей г-жой Буа де ла Тур и ее дочерьми, с отцом которых, как я уже, кажется, говорил, я был когда-то знаком в Лионе. Она приехала в Иверден повидать дядю и сестер; ее старшая дочь – лет четырнадцати – привела меня в восхищение своим здравым смыслом и превосходным характером. Я проникся самой нежной дружбой к матери и к дочери. Последнюю Роген хотел выдать за своего племянника, полковника, человека уже пожилого, тоже выказывавшего мне большое расположение. Но хотя дядя горячо стоял за этот брак и племянник тоже очень желал его, а мне дорого было исполнение их желаний, большая разница в летах и крайнее отвращение девушки к жениху побудили меня посоветовать матери отклонить этот брак, и он не состоялся. Полковник женился позже на м-ль Дийан, своей родственнице, отличавшейся, по-моему, прекрасным характером и красотой, и она сделала его счастливейшим из мужей и отцов. Несмотря на это, Роген не мог забыть, что я в этом случае пошел наперекор его желаниям. Я утешился сознанием, что как в отношении его самого, так и в отношении его семьи выполнил долг священной дружбы, состоящей не в том, чтобы быть всегда приятным, а в том, чтобы подавать добрые советы.

Я недолго оставался в неведении, какой прием ожидает меня в Женеве, если я вздумаю туда вернуться. Мою книгу там сожгли, и постановление о моем аресте было издано 18 июня, то есть через девять дней после того, как это сделали в Париже. Столько невероятных нелепостей было нагромождено в женевском постановлении, и церковный эдикт был в нем так грубо нарушен, что я отказывался верить первым дошедшим до меня известиям о нем, а когда они окончательно подтвердились, я стал дрожать при мысли, как бы столь очевидное и вопиющее нарушение всех законов – начиная с закона здравого смысла – не перевернуло всю Женеву вверх дном. Вскоре я мог успокоиться: там все осталось на месте. Если и поднимался ропот черни, он был против меня, и все болтуны и педанты публично говорили обо мне, как о школьнике, которого грозят высечь за то, что он плохо знает катехизис.

Оба эти постановления были сигналом к громким проклятьям, обрушившимся на меня во всей Европе с беспримерным неистовством. Все газеты, все журналы, все брошюры самым оглушительным образом забили в набат. Особенно французы, – этот мягкий, вежливый, великодушный народ, гордящийся благопристойностью и вниманием по отношению к несчастным, – вдруг, позабыв основные свои добродетели, отличились количеством и жестокостью оскорблений, которыми щедро осыпали меня. Как только меня не называли! Нечестивец, атеист, одержимый, бесноватый, хищный зверь, волк… По поводу приписываемой мне волчьей натуры новый издатель «Газеты Треву» опубликовал бред, ясно обнаруживавший его собственную сущность. Право, можно было подумать, что в Париже боятся познакомиться с полицией, опубликовав сочиненье на любую тему без приправы в виде какого-нибудь оскорбления по моему адресу. Тщетно стараясь открыть причину этой единодушной вражды ко мне, я готов был подумать, что все сошли с ума. Как? Редактор «Вечного мира» сеет раздор? Человек, выпустивший «Савойского викария», – нечестивец? Автор «Новой Элоизы» – волк? Автор «Эмиля» – бесноватый? О господи! Кем бы я стал, если б опубликовал книгу «Об уме»{436} или другое подобное произведение? А между тем в буре, поднявшейся против автора этой книги, публика не только не присоединила своего голоса к голосу его преследователей, но своими похвалами отомстила им за него. Пусть же сравнят его книгу с моими, пусть сравнят столь различный прием и обращение с обоими авторами во многих европейских государствах и подыщут для этих различий причины, способные удовлетворить человека разумного: вот все, чего я требую, и умолкаю.

Мне так понравилось в Ивердене, что я, по горячему настоянию Рогена и всей его семьи, принял решение там остаться. Г-н де Муари де Женжен, байи{437} этого города, своим вниманием тоже побуждал меня остаться в управляемом им краю. Полковник так настаивал, чтобы я занял маленький флигель, находившийся у него в усадьбе между двором и садом, что я согласился, и он тотчас же принялся меблировать его и обставлять всем необходимым для моего маленького хозяйства. Сам Роген хлопотал больше всех и не отходил от меня с утра до ночи ни на минуту. Я был всегда чувствителен к его ласке и вниманию, но иногда он мне сильно надоедал. Уже был назначен день моего переселения во флигель, и я написал Терезе, чтобы она ехала ко мне, как вдруг я узнал, что в Берне против меня собирается гроза, которую приписывали ханжам и первопричину которой я так и не мог понять. Сенат, неизвестно кем подстрекаемый, как будто решил не давать мне покоя в моем убежище. При первом же известии об этом волнении байи написал в мою защиту нескольким членам правительства, коря их за слепую нетерпимость и стыдя за намерение отказать в приюте преследуемому, но достойному человеку, тогда как столько преступников находят убежище в их стране. Некоторые благоразумные люди полагали, что горячность его упреков скорее ожесточила, чем смягчила умы. Как бы ни было, ни вес, ни красноречие моего защитника не могли отразить удара. Предупрежденный о приказе, который ему придется мне объявить, он заранее сообщил мне о нем, и, чтобы не ждать этого приказа, я решил уехать на другой же день. Затруднение было лишь в том, куда ехать; Женева и Франция были для меня закрыты, и легко было предвидеть, что в этом деле каждая страна поспешит последовать примеру своей соседки.

Г-жа Буа де ла Тур предложила мне поселиться в пустующем, но полностью меблированном доме, принадлежавшем ее сыну и находившемся в деревне Мотье, в Валь-де-Травере, Невшательского графства{438}. Нужно было только перевалить через гору, чтобы попасть туда. Предложение было тем более кстати, что во владениях прусского короля я, само собой разумеется, становился недостижимым для преследований{439}, и во всяком случае религия не могла быть для них предлогом. Но одно тайное затруднение, о котором мне нельзя было говорить, заставляло меня сильно колебаться. Моя врожденная любовь к справедливости и тайное влечение к Франции внушали мне отвращение к прусскому королю, который, каза-

лось мне, своими принципами и поступками попирает всякое уважение к естественному закону и всем человеческим обязанностям. Среди гравюр в рамке, которыми я украсил свою башню в Монморанси, был портрет этого государя, а под ним вторая строка двустишия:

Он мыслит, как мудрец, а правит, как король.

Этот стих под всяким другим пером оказался бы довольно высокой похвалой, но у меня смысл его был достаточно ясен, и притом его вполне разъясняла предыдущая строка{440}. Двустишие это видели все, кто посещал меня, а таких было немало. Кавалер де Лоранзи даже записал его, чтобы показать д'Аламберу, и я не сомневался, что последний позаботился поднести его этому государю от моего имени. Я еще усугубил свою вину одним местом в «Эмиле», где было достаточно ясно, кого я подразумеваю под именем Адраста, царя данайцев{441}. Это не ускользнуло от внимания хулителей, поскольку г-жа де Буффле в беседе со мной неоднократно наводила разговор на этот предмет. Таким образом, я был вполне уверен, что занесен красными чернилами в списки прусского короля; и к тому же, если предположить, что он придерживался тех принципов, какие я осмелился приписывать ему, мои сочинения и их автор по одному этому могли быть ему только неприятны: известно, что злые люди и тираны всегда смертельно ненавидели меня, даже не зная меня лично, на основании одного чтения моих сочинений.

Тем не менее я решился отдаться на его милость и не думал, что особенно рискую. Я знал, что низкие страсти подчиняют себе только слабых, а на людей крепкого закала, каким я всегда признавал его, имеют мало влияния. Мне казалось, что в его мастерство правителя входит и уменье проявлять великодушие в такого рода случаях и что по его характеру это ему на самом деле доступно. Я полагал, что возможность низкой и легкой мести ни на минуту не поколеблет в нем любви к славе. Ставя себя на его место, я допускал, что он воспользуется обстоятельствами, чтобы подавить тяжестью своего великодушия человека, осмелившегося дурно думать о нем. Поэтому я отправился на жительство в Мотье, считая, что он способен почувствовать цену такого доверия. Я сказал себе: «Если Жан-Жак возвышается до Кориолана, окажется ли Фридрих ниже предводителя вольсков?»{442}

Полковник Роген захотел во что бы то ни стало совершить вместе со мной переезд через гору и устроить меня в Мотье. Одна из невесток г-жи Буа де ла Тур, г-жа Жирардье, для которой предназначенный мне дом был очень удобен, не испытала при моем появлении особенного удовольствия; однако она любезно ввела меня во владение моей квартирой, и я питался у нее в ожидании приезда Терезы и устройства моего маленького хозяйства.

После отъезда из Монморанси, хорошо понимая, что отныне я буду на земле скитальцем, я колебался, позволить ли Терезе присоединиться ко мне и делить со мной скитания, на которые я был обречен? Я понимал, что из-за этой катастрофы наши отношения изменятся, и все, что до сих пор было с моей стороны милостью и благодеянием, отныне станет тем же с ее стороны. Быть может, ее привязанность выдержит испытание моих бедствий, но сама она будет истерзана, и ее горе только увеличит мои муки. Если же моя опала охладит ее сердце, она даст мне почувствовать, что ее верность – жертва; и вместо того чтобы понять, какая для меня радость разделить с ней свой последний кусок хлеба, она будет думать только о том, как благородно поступила, согласившись следовать за мной повсюду, куда забросит меня судьба.

Надо сказать все; я не утаил ни пороков моей бедной маменьки, ни своих собственных; я не должен щадить и Терезу; и каким бы удовольствием ни было для меня воздать честь столь дорогому мне существу, я не хочу скрывать ее недостатков, если только невольное угасание сердечных привязанностей может считаться недостатком. Уже давно стал я замечать ее охлаждение. Я чувствовал, что она смотрит на меня не так, как прежде, когда мы были

молоды; и чувствовал это тем сильней, что сам оставался по отношению к ней все таким же. Я опять попал в то же затруднительное положение, последствия которого испытал с маменькой, и те же самые последствия оно вызвало и у Терезы. Не будем искать совершенств за пределами естества; вероятно, то же самое случилось бы с любой женщиной. Решение, принятое мною относительно моих детей, каким бы разумным оно мне ни казалось, не всегда оставляло мое сердце спокойным. Обдумывая свой «Трактат о воспитании»[{443}], я почувствовал, что пренебрег обязанностями, от которых ничто не могло освободить меня. Наконец угрызения совести достигли такой силы, что вынудили у меня почти открытое признание в начале «Эмиля»:[{444}] оно выражено так ясно, что после этого удивительно, как хватало мужества упрекать меня за мой поступок. Между тем мое положение было теперь такое же и даже еще хуже из-за злобы моих недоброжелателей, только и жаждавших уличить меня в чем-нибудь дурном. Я опасался рецидива и, не желая этим рисковать, предпочитал обречь себя на воздержание, чем подвергнуть Терезу возможности снова стать матерью. К тому же я заметил, что сношенья с женщинами сильно ухудшают мое здоровье. Это двойное основание заставляло меня принимать решения, которые я иногда плохо соблюдал; но за последние три-четыре года я выполнял их гораздо строже. С этого же времени я заметил охлажденье Терезы: она была по-прежнему привязана ко мне, но по чувству долга, а не по любви. Разумеется, это делало наши отношения менее приятными, и я подумал, что, будучи уверенной в неизменных моих заботах о ней, где бы я ни находился, она, может быть, предпочтет остаться в Париже, чем скитаться со мной. Однако она проявила такое горе при нашем расставании, так требовала от меня твердого обещания, что мы опять соединимся, и после моего отъезда выражала как принцу де Конти, так и герцогу Люксембургскому такое сильное желание быть со мною, что у меня не только не хватало духу заговорить с ней о разлуке, но даже сам я едва смел думать об этом. Почувствовав в своем сердце, до какой степени мне невозможно обойтись без нее, я немедленно стал звать ее к себе, и она приехала. Двух месяцев не прошло, как мы расстались; но за столько лет это была наша первая разлука. Мы оба сильно ее чувствовали. Как мы дрожали, обнимаясь! О, как сладки слезы любви и радости! Как упивалось ими мое сердце! Зачем мне дано было так мало их пролить?

По приезде в Мотье я написал милорду Кейту[{445}], маршалу Шотландии, губернатору Невшателя, чтобы известить его о том, что я укрылся во владениях его величества, и попросить его покровительства. Он ответил мне со свойственным ему великодушием, которого я и ожидал. Он пригласил меня к себе. Я был у него с г-ном Мартине, коронным судьей[{446}] Валь-де-Травера, бывшим в большой милости у его превосходительства. Почтенная наружность этого славного и добродетельного шотландца произвела на меня большое впечатление, и с этой самой минуты между нами возникла крепкая дружба, которая с моей стороны всегда оставалась неизменной и была бы такой же и с его стороны, если бы злодеи, отнявшие у меня все утешенья в жизни, не воспользовались моим удаленьем и его старостью, чтобы оклеветать меня перед ним.

Джордж Кейт, наследственный маршал Шотландии и брат знаменитого генерала Кейта, прожившего славную жизнь и доблестно павшего на поле брани, в молодости оставил родину и был осужден на изгнание за то, что стал на сторону дома Стюартов[{447}], в котором он, однако, скоро разочаровался, заметив в нем дух несправедливости и тирании, всегда составлявший характерную особенность этого рода. Он долго жил в Испании, климат которой очень ему нравился, и, наконец, как и брат, перешел на службу к прусскому королю, умевшему разбираться в людях и принявшему их так, как они того заслуживали. Он был хорошо вознагражден за этот прием немалыми услугами, оказанными ему маршалом Кейтом, и кое-чем еще более ценным – искренней дружбой милорда маршала. Великая, истинно республиканская и гордая душа этого достойного человека могла подчиниться только игу

дружбы; но ей она подчинялась так, что, имея совершенно иные принципы, он с той минуты, как привязался к Фридриху, видел только его одного. Король давал ему важные поручения, посылал его в Париж, в Испанию; и, наконец, когда он состарился и стал нуждаться в отдыхе, дал ему в виде пенсии губернаторство в Невшателе, возложив на него благородную задачу провести там остаток жизни в заботах о счастье этого маленького народа.

Невшательцы любят одну только мишуру и показной блеск, не умеют ценить истинные достоинства и принимают болтовню за ум; увидев человека спокойного и простого, они приняли его скромность за высокомерие, откровенность – за грубость, скупость на слова – за глупость и стали противиться его благодетельным заботам, потому что он желал быть полезным без вкрадчивости и не умел льстить тем, кого не уважал. Когда в нелепой истории с пастором Птипьером{448}, изгнанным своими собратьями за то, что он не хотел, чтобы они были осуждены на вечную муку, милорд воспротивился превышению власти со стороны пасторов, – против него поднялась вся страна, интересы которой он защищал; и в момент моего приезда этот глупый ропот еще не затих. Его считали, во всяком случае, человеком, склонным к предвзятости; и из всех взводившихся на него обвинений это было, пожалуй, наименее несправедливое. Первым моим чувством при виде этого почтенного старца была жалость: меня поразила худоба его тела, уже истощенного годами; но, взглянув на его живое, открытое и благородное лицо, я почувствовал доверие и уваженье, взявшие верх над всеми другими чувствами. На мое очень краткое приветствие он ответил тем, что заговорил о чем-то другом, словно прошла уже неделя, как я проживаю здесь. Он даже не предложил нам сесть. Чопорный судья тоже продолжал стоять. А я увидел в проницательном и хитром взгляде милорда что-то такое ласковое, что сразу почувствовал себя непринужденно и без церемоний уселся на софу рядом с ним. Он тотчас заговорил очень простым тоном; я понял, что такое свободное обращение доставляет ему удовольствие и что он подумал: «Это не невшателец».

Странное действие большого сходства характеров! В возрасте, когда сердце обычно уже утрачивает свое естественное тепло, у этого доброго старца оно прониклось ко мне горячей приязнью, всех удивившей. Он посетил меня в Мотье под предлогом охоты на перепелов и провел там два дня, не дотронувшись до ружья. Между нами установилась такая дружба (в полном значении этого слова), что мы не могли друг без друга обойтись. Замок Коломбье, в котором он жил летом, находился в шести лье от Мотье; не реже чем раз в две недели я бывал у него, гостил сутки, потом возвращался пешком, и сердце мое всегда было полно им. Волненье, некогда мной испытанное во время моих путешествий из Эрмитажа в Обон, было совсем иное, конечно; но оно не было более нежным, чем то, с каким я приближался к Коломбье. Сколько слез умиленья проливал я нередко дорогой, думая об отеческой доброте, о милых добродетелях, о кроткой философии этого почтенного старца! Я называл его отцом, он меня сыном. Эти нежные имена отчасти дают представленье о привязанности, соединявшей нас, но еще не дают представления о нашей потребности друг в друге и о постоянном желании быть вместе. Он во что бы то ни стало хотел поселить меня в замке Коломбье и долго настаивал, чтобы я занял помещение, которое мне обычно отводили там. В конце концов я сказал ему, что чувствую себя в Мотье свободней и предпочитаю всю жизнь ходить к нему. Он одобрил мою откровенность, и об этом больше не было речи. О добрый милорд! О мой достойный отец! Как и теперь еще сердце мое волнуется при мысли о вас! Ах, варвары! Какой удар нанесли они мне, оторвав вас от меня! Но нет, нет, великий человек, вы остаетесь и останетесь всегда тем же для меня, как и я остался все прежним. Вам налгали, но не могли изменить вас.

Милорд маршал не лишен недостатков; он мудрец, но человек. При самом проницательном уме, при самом тонком чутье, какие только возможны, при самом глубоком знании людей он иногда позволяет себя обмануть и остается при этом в заблуждении. У него странный характер; что-то чудное, необычайное есть в самом складе его ума. Он как бы забывает

о людях, которых видит каждый день, и вспоминает о них в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. Его внимание кажется своенравным, подарки – прихотью, а не желанием сделать приятное. Он тотчас же дает или посылает, что ему вздумается, будь это вещь очень дорогая или ничтожная – безразлично. К нему является, например, молодой женевец, желающий поступить на службу к прусскому королю: милорд дает ему вместо письма мешочек гороху и велит передать королю; при виде этой странной рекомендации король тотчас же принимает подателя на службу. У возвышенных натур есть общий язык, недоступный пошлым умам. Эти маленькие чудачества, напоминающие капризы хорошенькой женщины, делали милорда маршала в моих глазах еще интересней. Я был вполне уверен, и еще больше убедился в этом впоследствии, что в серьезных случаях они не влияли ни на его чувства, ни на внимательное отношение к человеку, связанному с ним дружбой. Но правда и то, что самый способ делать одолженье отличается у него той же странностью, что и его манеры.

Приведу один только случай. Так как переход из Мотье в Коломбье был для меня слишком утомителен, я обычно делал его в два приема: выходил из дому после обеда и ночевал в Бро, на полпути. Хозяин по фамилии Сандоз, которому приходилось хлопотать в Берлине об одной милости, крайне для него важной, попросил меня склонить его превосходительство к поддержке. Охотно соглашаюсь. Беру его с собой; оставляю его в прихожей и говорю о его деле милорду, но тот мне ничего не отвечает. Утро на исходе. Проходя через залу обедать, вижу бедного Сандоза, изнывающего в ожидании. Думая, что милорд забыл о нем, я, перед тем как сесть за стол, заговариваю о нем снова; в ответ – ни звука, как раньше. Я нашел этот способ дать мне почувствовать, что я назойлив, немного грубым и замолчал, втайне пожалев бедного Сандоза. Возвращаясь на другой день, я был очень удивлен его благодарностью за хороший прием и вкусный обед у его превосходительства, принявшего к тому же его прошение. Через три недели милорд прислал ему рескрипт, о котором он просил, подписанный королем и препровожденный министром; а ведь он не пожелал сказать ни мне, ни просителю ни слова об этом деле, и я думал, что он не захотел заниматься им. Я готов без конца говорить о Джордже Кейте! С ним связаны мои последние светлые воспоминания; вся остальная моя жизнь была сплошным горем и душевной мукой. Воспоминания о ней так печальны и так смутны, что мне уже невозможно внести сколько-нибудь порядка в свои рассказы. Отныне я буду вынужден излагать факты без всякой последовательности – так, как они будут возникать в моей памяти.

Мне недолго пришлось беспокоиться о приюте благодаря ответу короля милорду маршалу, в котором, надо полагать, я нашел хорошего адвоката. Его величество не только одобрил то, что маршал сделал, но еще поручил ему (нужно все сказать) дать мне двадцать луидоров. Добрый милорд, смущенный подобным порученьем и не зная, как деликатней выполнить его, постарался устранить из него обиду, превратив эти деньги в подарок натурой, и сообщил мне, что он получил приказ снабдить меня дровами и углем для моего маленького хозяйства. Он даже прибавил, – быть может, по собственному почину, – что король охотно прикажет построить мне домик по моему вкусу, если я пожелаю выбрать для этого место. Такое предложенье очень меня тронуло и заставило забыть скудость первого подарка. Я не принял ни того, ни другого, но стал смотреть на Фридриха, как на своего благодетеля и покровителя, и так искренне привязался к нему, что с тех пор стал в той же мере дорожить его славой, в какой прежде считал его успехи незаслуженными. По поводу мира, в скором времени им заключенного{449}, я очень тонко выразил свою радость, красиво убрав гирляндами занимаемый мною дом, и с мстительной гордостью потратил на это почти столько же, сколько король хотел подарить мне. Так как мир был заключен, я полагал, что, поскольку военная и политическая слава Фридриха достигла зенита, он захочет стяжать славу другого рода, оживив свои владения, восстановив в них торговлю, земледелие, обновив их почву, заселив все пустующие земли, поддерживая мир среди всех своих соседей,

сделавшись арбитром Европы, после того как был ее бичом. Он без риска мог вложить шпагу в ножны, с уверенностью, что его не заставят снова обнажить ее. Видя, что он не разоружается, я стал опасаться, как бы он не злоупотребил своими преимуществами и не оказался великим лишь наполовину. Я осмелился написать ему на эту тему и, взяв непринужденный тон, который должен нравиться людям его склада, вознес к нему тот святой голос правды, который лишь немногие из королей способны слушать. Втайне, только между нами двумя, позволил я себе эту вольность. Я даже не посвятил в нее милорда маршала и передал ему мое письмо к королю запечатанным. Милорд отправил письмо, не спрашивая о содержании. Король не ответил, и через некоторое время, когда милорд маршал был в Берлине, Фридрих только сказал, что я его крепко выбранил. Из этого я понял, что письмо мое встретило плохой прием и откровенность моего усердия сочтена грубостью педанта. Возможно, что это так и было: я, может быть, сказал не то, что следовало, и взял не тот тон, который надо было взять. Я могу отвечать только за чувство, заставившее меня взяться за перо.

Вскоре после моего поселения в Мотье-Травер, располагая всеми возможными доказательствами, что меня оставят там в покое, я стал носить армянский костюм. Мысль об этом не была новой: она возникала у меня не раз и снова пришла мне в голову в Монморанси, где частое применение зондов, вынуждавшее меня подолгу не выходить из своей комнаты, заставило ясней почувствовать преимущества длинной одежды. Очень кстати под рукой оказался армянский портной, часто навещавший в Монморанси своего родственника; это побудило меня воспользоваться обстоятельством и перейти на новое одеяние, рискуя вызвать пересуды, о которых я очень мало беспокоился. Однако, прежде чем облечься в этот новый наряд, я хотел узнать мнение герцогини Люксембургской, и та очень советовала мне перейти на него. Я заказал себе небольшой армянский гардероб, но поднявшаяся против меня буря заставила меня отложить перемену костюма до более спокойных времен; и только через несколько месяцев, когда мне пришлось из-за новых приступов опять прибегнуть к зондам, я нашел возможным, ничем не рискуя, надеть эту новую одежду в Мотье, – особенно после того, как посоветовался с местным пастором и он сказал мне, что я могу приходить в ней даже в храм, не вызывая скандала. И вот я надел куртку, кафтан, меховую шапку, пояс и, отстояв в этом одеянии церковную службу, убедился, что вполне удобно пойти в нем и к милорду маршалу. Его превосходительство, увидев, как я одет, произнес вместо всякого приветствия: «Салям алейкум!»; этим все кончилось, и я уже не носил другой одежды.

Совсем оставив литературу, я помышлял только о том, чтобы вести жизнь спокойную и приятную, насколько это от меня зависит. В одиночестве я никогда не знал скуки, даже при совершенном безделье: мое воображение, заполняя все пустоты, способно само по себе занять меня. Только праздная болтовня в комнате, когда все, сидя друг против друга, двигают одними языками, всегда была мне невыносима. Когда ходишь, гуляешь – пустые разговоры еще можно терпеть: по крайней мере ноги и глаза чем-то заняты; но оставаться на месте, скрестив руки, и толковать о погоде, о назойливых мухах либо, что еще хуже, обмениваться любезностями, – это для меня невыносимая пытка. Чтобы не одичать, я начал учиться плести шнурки. Я брал с собой подушку, когда шел в гости, или, как женщина, работал у порога своего дома, беседуя с прохожими. Это занятие помогало мне сносить бессодержательную болтовню и проводить время без скуки у соседок, среди которых были довольно милые и неглупые. Одна из них, Изабелла д'Ивернуа, дочь невшательского главного прокурора, показалась мне достойной того, чтобы завязать с ней дружбу, пригодившуюся ей вследствие моих полезных советов и услуг, которые я оказал ей в важных обстоятельствах. Теперь, сделавшись достойной и добродетельной матерью семейства, она, быть может, обязана мне своим благоразумием, мужем, своей жизнью и счастьем. Со своей стороны я обязан ей самыми сладкими утешениями, – особенно в течение очень печальной зимы, когда она, в разгар моих болезней и огорчений, проводила со мной и Терезой долгие вечера, казавшиеся нам очень

короткими благодаря прелести ее ума и взаимным сердечным излияниям. Она называла меня своим папенькой, а я ее – дочерью; эти имена мы доныне даем друг другу, и, надеюсь, они всегда будут ей так же дороги, как и мне. Чтобы мои шнурки оказались на что-нибудь годны, я дарил их моим молодым приятельницам к свадьбе с условием, чтобы они сами кормили своих детей. Старшая сестра Изабеллы получила шнурок и оправдала подарок; получила шнурок и сама Изабелла и заслужила его не меньше своим добрым намерением; но она не имела счастливой возможности поступить по своему желанию. Посылая им эти шнурки, я написал той и другой по письму, и первое из них облетело весь мир{450}, а второе не имело столь блестящего успеха: дружба не проявляется так шумно.

Среди знакомств, завязавшихся у меня по соседству и о которых не буду говорить подробно, я должен упомянуть знакомство с полковником Пюри, имевшим дом на горе, в котором он проводил лето. Я не стремился к сближению с ним, зная, что он на очень плохом счету при дворе и у милорда маршала, с которым даже не встречался. Однако он сам явился ко мне и держался очень любезно; пришлось и мне навестить его; так пошло дальше, и мы иногда обедали один у другого. Я познакомился у него с г-ном дю Пейру, с которым впоследствии так тесно подружился, что не могу не рассказать о нем.

Дю Пейру был американец, сын одного суринамского командира{451}, преемник которого, де Шамбрие из Невшателя, женился на его вдове. Овдовев вторично, она поселилась на родине своего второго мужа. Дю Пейру, единственный сын, очень богатый и нежно любимый матерью, был воспитан довольно тщательно, и образование пошло ему на пользу. Он приобрел много полузнаний, некоторый интерес к искусству и особенно гордился тем, что развил свой разум; его голландский облик – холодный и философский, смуглый цвет лица, молчаливый и скрытный характер сильно содействовали этому мнению. Он был глух и страдал подагрой, несмотря на молодость. Это придавало всем его движениям большую положительность, большую важность, и хоть он любил поспорить, иногда даже слишком затягивая спор, – в общем он говорил мало, потому что плохо слышал. Все эти внешние данные импонировали мне. Я говорил себе: «Вот мыслитель, человек мудрый; счастье иметь такого своим другом». Окончательно покорило меня то, что он охотно беседовал со мной, но никогда при этом не расточал мне никаких любезностей. Он мало говорил обо мне и о моих книгах и еще меньше о себе самом; он не был лишен способности мыслить, и все, что он говорил, было довольно верно. Эта рассудительность и беспристрастность привлекли меня. Ум его не был такой возвышенный и тонкий, как у милорда маршала, но простотой нрава он напоминал последнего. Я не восхищался им, но чувствовал к нему приязнь, уважение, и мало-помалу уважение это перешло в дружбу. На этот раз я совершенно забыл возражение, однажды сделанное мною барону Гольбаху, что тот слишком богат, – и, кажется, я был не прав. Опыт научил меня сомневаться в том, что человек, обладающий большим состоянием, – каков бы он ни был, – может искренне любить мои принципы и их носителя.

Довольно долгое время я редко видел дю Пейру, потому что не бывал в Невшателе, а он только раз в год появлялся на горе у полковника Пюри. Почему я не бывал в Невшателе? Это ребячество, о котором я не должен умолчать.

Хоть я и находился под защитой прусского короля и милорда маршала и был сначала избавлен от преследований в своем убежище, но я не был избавлен от ропота публики, должностных лиц города, пасторов. После толчка, сообщенного Францией, было дурным тоном не нанести мне хотя бы какого-нибудь оскорбления: все опасались, что отказ от подражания моим преследователям будет принят за неодобрение. Духовенство Невшателя – то есть компания пасторов этого города – забило тревогу, стараясь возбудить против меня Государственный совет. Когда эта попытка не удалась, пасторы обратились к городскому управлению; последнее тотчас велело запретить мою книгу и, обращаясь со мной при всяком удобном случае не особенно любезно, давало понять и даже прямо заявляло, что, если бы я вздумал

поселиться в городе, меня бы там не потерпели. Они наполняли свой «Меркурий»{452} вздором и самой плоской ханжеской болтовней; хотя люди разумные над ней смеялись, но это натравливало и вооружало народ против меня. Однако если послушать их, так я должен был быть весьма благодарен за необычайную милость, которую они мне оказывали, позволяя жить в Мотье, где они не имели никакой власти; они охотно стали бы отмерять мне воздух кружками – при условии, чтобы я подороже платил за него. Они хотели, чтобы я считал себя обязанным им за покровительство, которое король оказал мне помимо них и которого они упорно стремились лишить меня. Наконец, видя безуспешность своих происков, причинив мне весь возможный для них вред и очернив меня всеми доступными им способами, они превратили в заслугу собственное бессилие, хвастаясь предо мной, что они по своей доброте терпят меня в стране. Вместо ответа я должен был бы рассмеяться им в лицо; я же был настолько глуп, что обиделся и нелепо отказывался бывать в Невшателе; это решение я соблюдал около двух лет, хотя было слишком много чести обращать внимание на проделки подобных субъектов, за которые – будь эти проделки добрыми или злыми – их нельзя делать ответственными, потому что они никогда не действовали иначе как бессознательно. К тому же люди невежественные и непросвещенные, почитающие только влияние, власть и деньги, даже и не подозревают, что надо иметь некоторое уважение к талантам и что позорно оскорблять их.

Один деревенский мэр, отстраненный от должности за растраты, сказал плац-майору Валь-де-Травера, мужу моей Изабеллы: «Говорят, этот Руссо очень умен; приведите его ко мне; я хочу убедиться, правда ли это?» Конечно, недовольство человека, принимающего подобный тон, не должно огорчать тех, на кого оно направлено.

По тому, как со мной поступали в Париже, в Женеве, в Берне, в самом Невшателе, я не ждал большей мягкости и от местного пастора. Между тем я был ему рекомендован г-жой Буа де ла Тур, и он встретил меня очень любезно. Но в этой стране, где льстят всем без разбора, любезное обращение ничего не означает. Однако после своего торжественного присоединения к реформатской церкви{453}, живя в реформатской стране, я не мог, не нарушая своих обетов и своего гражданского долга, пренебрегать публичным исповеданием культа, к которому присоединился; поэтому я присутствовал при богослужении. С другой стороны, я боялся, явившись к причастию, подвергнуться унизительному отказу; и не было никакого вероятия, чтобы после переполоха, поднятого в Женеве Советом двухсот, а в Невшателе духовенством, пастор согласился спокойно причастить меня в своей церкви. И вот, видя, что приближается время причастия, я написал г-ну де Монмолену (это фамилия пастора), решив пойти ему навстречу и объявить, что сердцем я всегда принадлежал к протестантской церкви; в то же время я сообщил ему, во избежание придирок по вопросам веры, что не требую никаких особых пояснений относительно догмы. Приведя в ясность свое положение с этой стороны, я стал спокойно ждать, не сомневаясь, что г-н де Монмолен откажется допустить меня к причастию без предварительного обсуждения, которого я не хотел, и, таким образом, все будет кончено без всякой вины с моей стороны. Не тут-то было: в тот момент, когда я меньше всего этого ожидал, де Монмолен пришел ко мне и объявил, что он не только допускает меня к причастию на предложенном мной условии, но и он сам, и его начальники считают для себя честью иметь меня в своей пастве. Никогда в жизни не был я так поражен и так утешен. Жить на земле вечным отщепенцем казалось мне очень печальным уделом, – особенно когда находишься в беде. Среди стольких гонений и преследований я испытывал несказанную радость при мысли, что могу сказать себе: «По крайней мере я среди братьев». И я пошел к причастию с сердечным трепетом и слезами умиления, которые были, быть может, самой угодной богу подготовкой, какая только возможна.

Спустя некоторое время милорд прислал мне письмо г-жи де Буффле, переданное ею (по крайней мере я так подумал) через посредство д'Аламбера, который был знаком с милор-

дом маршалом. В этом письме – первом, написанном мне этой дамой после моего отъезда из Монморанси, – она меня сильно бранила за письмо к де Монмолену и особенно за то, что я причастился. Я не понимаю, почему она напустилась на меня, тем более что со времени своего путешествия в Женеву я всегда открыто называл себя протестантом и публично бывал в церкви голландского посольства, причем решительно никто не находил этого дурным. Мне показалось забавным, что графиня де Буффле берется руководить моей совестью в вопросе религии. Как бы то ни было, поскольку я не сомневался, что она действует из самых лучших (хотя и совершенно мне непонятных) побуждений, я не обиделся на столь странный выпад и ответил ей без гнева, изложив свои основания.

Между тем оскорбления в печати продолжались своим чередом, и их благодушные авторы корили власть за слишком мягкое обращение со мной. Этот дружный лай, вдохновители которого продолжали действовать под сурдинку, таил в себе нечто зловещее и страшное. Но я не обращал внимания и ничуть не тревожился. Меня уверяли, что последовало осуждение со стороны Сорбонны;{454} я не поверил. С какой стати станет вмешиваться в это дело Сорбонна? Хотела ли она удостоверить, что я не католик? Все это знали. Хотела ли доказать, что я плохой кальвинист? Какое ей было до этого дело? Это значило бы взять на себя очень странную заботу; это значило бы подменять собой наших пасторов. До того как я увидел этот документ, я подумал, что его распространяют, приписывая Сорбонне, чтобы посмеяться над ней, и, прочтя его, укрепился в этом мнении. Наконец, когда больше уже не было возможным сомневаться в его подлинности, я мог вывести из него только то, что всю Сорбонну надо посадить в сумасшедший дом.

Другой документ задел меня гораздо больше, потому что исходил от человека, которого я всегда уважал и постоянству которого удивлялся, жалея об его ослеплении. Я говорю о послании архиепископа Парижского{455} против меня. Мне казалось, что я обязан перед самим собой ответить на него. Я мог это сделать, не унижаясь. Это напоминало инцидент с польским королем. Я никогда не любил грубых споров в духе Вольтера. Я умею сражаться только с достоинством и хочу, чтобы тот, кто на меня нападает, не бесчестил моих ударов, – иначе я не снизойду до защиты. Я не сомневался, что послание это написано в угоду иезуитам; и хотя в то время они сами были угнетены, я узнал в нем их старое правило – губить несчастных. Поэтому я тоже мог последовать своему всегдашнему правилу: оказывая почести титулованному автору, громить его сочиненье, что и сделал не без успеха.

Пребывание в Мотье я находил приятным; и, для того чтобы решить остаться там до конца моих дней, мне не хватало только твердого достатка. Жизнь там довольно дорога, а я видел, что все мои прежние планы разрушены: ведь мне пришлось упразднить мое хозяйство и заводить новое, продать и раздать всю мою мебель и нести большие расходы со времени отъезда из Монморанси. Я видел, как с каждым днем тает мой маленький капитал, на который я рассчитывал. Двух-трех лет будет достаточно, чтобы окончательно его исчерпать, а я не видел никакого способа возобновить его, разве только снова приняться за писание книг – гибельное ремесло, от которого я уже отказался.

Уверенный в том, что скоро отношение ко мне изменится и публика, опомнившись, заставит власти краснеть за свое обращение со мной, я старался только растянуть свои средства до этой счастливой перемены, когда у меня будет больше возможности выбрать новый способ существования среди тех, какие мне представятся. С этой целью я снова принялся за «Музыкальный словарь»; он сильно подвинулся за десять лет труда и нуждался только в последней отделке да переписке набело. Мои книги, незадолго перед тем мне присланные, дали мне возможность закончить этот труд; мои бумаги, присланные мне одновременно, позволили мне приступить к воспоминаниям, которым я хотел посвятить все свое время. Я начал переписывать письма в сборник, чтобы он послужил путеводной нитью для моей памяти в отношении событий и дат. Я уже произвел отбор тех писем, которые хотел для этого

сохранить. Последовательность их, за период около десяти лет, была непрерывной. Между тем, подбирая их для переписки, я обнаружил в них пробел, удививший меня. Пробел этот был примерно месяцев в шесть – с октября 1756 до марта следующего года. Я отлично помнил, что отобрал много писем Дидро, Делейра, г-жи д'Эпине, г-жи де Шенонсо и других, которыми этот пробел был заполнен, но не находил их. Куда они делись? Касался ли кто-нибудь моих бумаг в течение тех месяцев, пока они оставались в Люксембургском дворце? Это было невозможно допустить: ведь я видел, как маршал взял ключ от комнаты, куда я их положил. Многие письма женщин и все письма Дидро не были датированы; чтобы разместить эти письма по порядку, мне пришлось проставить на них даты по памяти и вслепую; теперь я подумал было, что ошибся датировкой, и вновь перебрал все письма без дат или датированные мною самим, чтобы посмотреть, не найду ли тех, которые должны заполнить образовавшуюся пустоту. Эта попытка кончилась неудачей; я убедился, что пробел действительно существует и письма, без сомнения, похищены. Кем и с какой целью? Вот чего я не мог понять. Письма эти, предшествовавшие моим крупным ссорам и относившиеся ко времени моего первого увлеченья «Юлией», не могли никого интересовать. Самое большее – в них были какие-нибудь придирки Дидро, какие-нибудь насмешки Делейра, уверения в дружбе г-жи де Шенонсо и даже г-жи д'Эпине, с которой я был тогда в самых лучших отношениях. Для кого эти письма могли иметь значение? Что хотели с ними сделать? Только через семь лет начал я подозревать, в чем заключалась страшная цель этой кражи.

Окончательно удостоверившись в этом ущербе, я решил поискать у себя в черновиках, не обнаружится ли и там что-нибудь подобное. Я нашел там несколько таких же пробелов и, принимая во внимание мою плохую память, предположил, что во множестве моих бумаг окажутся и другие недостачи. Я заметил, что недостает черновика «Чувственной морали» и части «Любовной истории милорда Эдуарда». Признаюсь, последнее заставило меня заподозрить герцогиню Люксембургскую. Эти бумаги пересылал мне ее лакей Ларош, и я не представлял себе, кто, кроме нее, мог бы заинтересоваться этим клочком. Но чем мог интересовать ее другой отрывок и похищенные письма, которыми даже при дурных намерениях нельзя было воспользоваться во вред мне, если только не фальсифицировать их? Я ни на одну минуту не заподозрил маршала, зная его неизменную прямоту и неподдельную дружбу ко мне. После долгих и утомительных поисков виновника этой кражи мне пришла более разумная мысль: я обвинил д'Аламбера, который, уже проникнув к герцогине, мог найти способ рыться в этих бумагах и взять из них что ему вздумается как из рукописей, так и из писем, – для того ли, чтобы попытаться устроить мне какую-нибудь неприятность, или чтобы присвоить себе то, что могло ему понадобиться. Я предполагал, что, введенный в заблуждение заглавием «Чувственная мораль», он принял этот набросок за план настоящего трактата о материализме и, как легко себе представить, решил воспользоваться им против меня. Уверенный, что, познакомившись с черновиком, он скоро увидел свою ошибку, и, решив совсем оставить литературу, я мало беспокоился об этих хищениях (это было уже не первым с его стороны[66]) и примирился с ними без жалобы. Вскоре я думать забыл об этом предательстве, как будто его не существовало, и принялся собирать оставшиеся у меня материалы, нужные для моей «Исповеди».

Долгое время я полагал, что в Женеве компания пасторов или по крайней мере граждане и горожане{456} будут протестовать против беззакония, допущенного в направленном против меня постановлении. Все осталось спокойным, по крайней мере по внешности;

[66] Я нашел в «Элементах музыки» много мест, взятых из моих работ об этом искусстве, написанных для «Энциклопедии»{500} и переданных ему за несколько лет до выхода в свет его «Элементов». Не знаю, принимал ли он какое-нибудь участие в книге, озаглавленной «Словарь изящных искусств», но я нашел там статьи, дословно списанные с моих, и это произошло задолго до того, как те же самые статьи были напечатаны в «Энциклопедии». (*Прим. Руссо*.)

наблюдалось всеобщее недовольство, ждавшее только случая, чтобы обнаружиться. Мои друзья или те, кто называл себя так, писали мне письма за письмами с увещанием стать во главе их, уверяя, что со стороны Совета последует публичное извинение. Боязнь беспорядков и смут, которые могло вызвать мое присутствие, помешала мне уступить их настояниям. Верный однажды данной мною клятве никогда не участвовать ни в каких гражданских распрях в своей стране, я предпочел снести обиду и навсегда покинуть родину, чем возвращаться туда при помощи насильственных и опасных средств. Правда, я ждал со стороны буржуазии законных и мирных возражений против правонарушения, чрезвычайно ее затрагивающего. Их не последовало. Те, кто руководил ею, меньше хлопотали о подлинном удовлетворении жалоб, чем о возможности выслужиться. Они строили козни, но хранили молчание, предоставляя лаять сплетникам и ханжам или людям, прикидывающимся сплетниками и ханжами, – тем, кого Совет двухсот выставлял вперед, чтобы натравливать на меня чернь, объясняя эти нападки религиозным рвением.

Тщетно прождав больше года, чтобы кто-нибудь выступил с протестом против незаконного поступка, я в конце концов решил действовать сам; видя себя покинутым своими согражданами, я принял решение отречься от неблагодарной родины, где никогда не жил, где не видел ни добра, ни услуг и где в награду за честь, которую я старался ей оказать, подвергся столь недостойному обращению, и притом по единодушному согласию, поскольку те, кто должен был протестовать, молчали. И вот я написал первому синдику – эту должность занимал в том году, кажется, г-н Фавр – письмо, где я торжественно отрекался от своих прав гражданина, впрочем, соблюдая благопристойность и умеренность, всегда вкладываемые мною в гордые поступки, которыми я часто отвечал среди своих несчастий на жестокость врагов.

Этот шаг открыл наконец глаза моим согражданам: чувствуя, что они поступили неправильно с точки зрения собственных интересов, отказавшись защитить меня, они приступили к защите, когда уже было поздно. К моей обиде они присоединили и свои, накопившиеся у них, и сделали их предметом обоснованных представлений, расширяемых и подкрепляемых, по мере того как резкие и грубые отказы Совета, чувствовавшего поддержку со стороны французского правительства, все яснее доказывали намеренье поработить их. Эти пререкания породили разные брошюры, ничего не решавшие, как вдруг появились «Письма с равнины» – сочиненье, написанное с величайшим искусством в защиту Совета, и партия представителей{457}, вынужденная замолчать, была на время уничтожена. Это произведение – прочный памятник редким талантам автора – принадлежало главному прокурору Троншену{458}, человеку умному, просвещенному, большому знатоку законов и устройства Женевской республики. Siluit terra[67].

Представители, придя в себя от первой растерянности, принялись писать ответ и через некоторое время сносно справились с этой задачей. Но все взгляды устремились на меня, как на единственного, кто может вступить в бой с таким противником, имея шансы его опрокинуть. Признаюсь, я тоже так думал; и, побуждаемый прежними своими согражданами, вменявшими мне в обязанность помочь им своим пером в затруднении, причиною которого был я сам, я приступил к опровержению «Писем с равнины» и пародировал это заглавие, назвав свою книгу «Письмами с горы»{459}. Я задумал и выполнил это дело в такой тайне, что при свидании в Тононе{460} с вождями представителей для обсуждения их дел, когда они показали мне набросок своего ответа, я ни одним словом не обмолвился о моем, уже готовом, – опасаясь, как бы не возникло какого-нибудь препятствия при его печатанье, если о нем дойдут хоть малейшие слухи до властей либо до моих личных врагов. И все же мне не удалось

[67] Земля молчала (*лат.*).

избежать этого; мое сочиненье стало известным во Франции до выхода в свет; но мешать его появлению не стали, чтобы не показать мне слишком ясно, как была раскрыта моя тайна. Расскажу об этом то немногое, что мне удалось узнать, и умолчу о своих предположениях.

В Мотье у меня было почти столько же знакомых, как в Эрмитаже и Монморанси; но в большинстве случаев они были совсем другого рода. До тех пор меня посещали люди, имевшие со мной нечто общее в отношении таланта, вкусов, взглядов; пользуясь этим поводом к посещению, они сразу начинали беседовать со мной на темы, о которых я мог с ними разговаривать. В Мотье было уже не так, – особенно с французами. Ко мне являлись офицеры или другие люди, не имевшие никакого вкуса к литературе, по большей части даже не читавшие моих книг, но, по их словам, сделавшие тридцать, сорок, шестьдесят, сто лье с целью увидеть меня, полюбоваться на человека прославленного, очень знаменитого, чрезвычайно знаменитого, великого и т. п. Мне расточали в лицо самую грубую, бесстыдную лесть, от которой я прежде был огражден уважением моих собеседников. Так как большинство этих гостей не удостаивало называть ни своего имени, ни звания, так как их познания не совпадали с моими и так как они даже не заглядывали в мои сочинения, – я не знал, о чем с ними говорить. Я ждал, чтобы заговорили они, поскольку они сами должны были знать и объяснить мне, зачем посетили меня. Нетрудно понять, что беседа получалась для меня не особенно занимательной, хотя для них и могла быть интересной – в зависимости от того, что они хотели узнать; я без всяких опасений, непринужденно высказывался по всем вопросам, с которыми они находили уместным обратиться ко мне, и обычно они уходили, осведомленные не хуже меня обо всех мелочах моей жизни.

Таким путем завязалось у меня, например, знакомство с г-ном де Феном, конюшим королевы и капитаном кавалерии в ее полку, имевшим настойчивость провести несколько дней в Мотье и даже последовать за мной пешком до Ферьера, ведя лошадь в поводу, хоть у нас не было с ним других точек соприкосновения, кроме той, что мы оба были знакомы с м-ль Фель да оба играли в бильбоке. Кроме г-на Фена, у меня было другое, гораздо более необычайное знакомство. Однажды являются пешком какие-то двое, ведя своих мулов, навьюченных багажом, останавливаются на постоялом дворе, сами чистят мулов и выражают желание видеть меня. Этих погонщиков приняли по одежде за контрабандистов; и тотчас же разнесся слух, что ко мне в гости пришли контрабандисты. Уже их манеры при первом обращении ко мне показали, что это люди из другого теста; но, не будучи контрабандистами, они легко могли оказаться искателями приключений, и это заставило меня быть некоторое время настороже. Они не замедлили меня успокоить. Один из них был де Монтобан, называемый графом де ла Тур дю Пен, дворянин из Дофине;[{461}] другой – Дастье из Карпантры[{462}], бывший военный; он спрятал свой орден Св. Людовика в карман, так как не имел возможности выставить его напоказ. Эти господа отличались любезностью и остроумием; беседа с ними была приятна и интересна; их способ путешествовать, так отвечавший моим вкусам и так мало отвечавший вкусам французских дворян, вызвал во мне известную симпатию к ним, которую общение с ними только укрепило; наше знакомство на этом не кончилось: оно продолжается и теперь, и они не раз снова появлялись у меня, однако уже не пешком, – это годилось только для начала. Но чем больше видел я этих господ, тем меньше общих интересов оказывалось у меня с ними, тем меньше обнаруживалось сходства между нашими взглядами, тем менее близки становились им мои сочинения, тем меньше было между нами подлинной приязни. Чего же они от меня хотели? Зачем им было являться ко мне в этом наряде? Зачем оставаться по нескольку дней? Зачем повторять посещенья? Зачем так стремиться быть моими гостями? В то время мне не приходили в голову такие вопросы. Но с тех пор я иной раз задавался ими.

Тронутое вниманием этих людей, сердце мое раскрывалось безотчетно, – особенно перед Дастье, более откровенный характер которого очень мне нравился. Я даже вступил с

ним в переписку; и когда я захотел напечатать «Письма с горы», мне пришло в голову обратиться к нему, чтобы обмануть тех, кто ждал пакета с моей рукописью на пути в Голландию. Он много толковал мне – может быть, с определенной целью – о свободе печати в Авиньоне{463} и предложил мне свои услуги на случай, если я захочу что-нибудь опубликовать там. Я обрадовался этому предложению и постепенно переправил ему по почте первые свои тетради. Продержав их у себя довольно долго, он прислал мне их обратно с сообщением, что ни один книгоиздатель не решается их напечатать; и я был вынужден вернуться к Рею, предусмотрительно высылая ему свои тетради не иначе как одну за другой, и выпускал из рук следующую не прежде, чем получал известия о прибытии предыдущей. Я узнал, что до выхода в свет моего сочиненья его видели в кабинетах министров; и д'Эшерни из Невшателя говорил мне о книге «Человек с горы», о которой Гольбах сказал, что она моя. Я уверил его, как это и было в действительности, что никогда не писал книги с таким названием. Когда письма появились, он пришел в бешенство и обвинял меня во лжи, хотя я не сказал ему ничего, кроме правды. Вот каким образом я получил уверенность, что моя рукопись стала известной. Убежденный в преданности Рея, я был вынужден направить свои догадки по другому руслу и все больше останавливался на мысли, что мои пакеты вскрывались на почте.

Около того же времени у меня завязалось еще знакомство, но сначала только путем переписки, с некиим Лальо из Нима; он написал мне из Парижа, прося прислать ему мой силуэт, сделанный в профиль; по его словам, это было нужно ему, чтобы изваять из мрамора мой бюст, который он заказал Лемуану для своей библиотеки. Если это была лесть, придуманная для того, чтобы задобрить, приручить меня, она удалась как нельзя лучше. Я подумал, что человек, желающий поставить мой мраморный бюст у себя в библиотеке, напитан моими произведениями, а значит, и моими взглядами и любит меня, потому что душа его созвучна моей душе. Как могла бы такая мысль не соблазнить меня? Впоследствии я встретился с г-ном Лальо. Я увидел, что он охвачен рвением оказывать мне как можно больше мелких услуг и как можно больше вмешиваться в мои дела. Но сомневаюсь, чтобы хоть одно мое сочинение было в числе тех немногих книг, которые он прочел в своей жизни. Не знаю, есть ли у него библиотека и нуждается ли он в чем-либо подобном; что же касается бюста, то он удовлетворился плохим глиняным слепком, сделанным Лемуаном, и велел выгравировать с него отвратительный портрет, который все-таки считается моим, как будто имеет со мной какое-нибудь сходство.

Единственным французом, посещавшим меня, как мне казалось, из интереса ко мне и к моим произведениям, был молодой офицер Лимузенского полка, Сегье де Сен-Бриссон, который блистал, а может быть, и теперь еще блистает в Париже и в свете довольно приятными талантами и претензией на остроумие. Он приехал ко мне в Монморанси в зиму, предшествовавшую моей катастрофе. Он понравился мне живостью чувств. Впоследствии я получил от него в Мотье письмо; и потому ли, что он хотел мне польстить, или ему в самом деле вскружил голову «Эмиль», только он сообщил, что оставляет службу, чтобы жить независимо, и изучает столярное ремесло. У него был старший брат, капитан того же полка, и на этого брата изливалась вся любовь матери, которая, будучи чрезмерно богомольной и подпав под влияние какого-то ханжи аббата, очень дурно поступала по отношению к младшему, обвиняя его в неверии и даже в смертном грехе общения со мной. Эти ссоры побудили его порвать с матерью и устроиться так, как я сказал выше, – все для того, чтобы сделаться маленьким Эмилем.

Испуганный такой стремительностью, я поспешил написать ему, чтобы заставить его отказаться от этого решения, и вложил в свои доводы всю доступную мне силу убеждения. Они возымели действие. Он вспомнил свои обязанности по отношению к матери и взял обратно прошение об отставке, которому полковник имел благоразумие не давать никакого хода, чтобы Сен-Бриссон мог хорошенько обдумать свой шаг на досуге. Излечившись от

этого безумия, он впал в другое, менее странное, но тоже не понравившееся мне: сделался писателем. Он выпустил одну за другою две или три брошюры, обнаружившие некоторый талант; но я не могу себя упрекнуть, что расточал ему особенные похвалы, которые поощряли бы дальнейшие его шаги на этом поприще.

Несколько времени спустя он навестил меня, и мы совершили вместе паломничество на остров Сен-Пьер. В пути он держался как-то иначе, чем в Монморанси. В нем было что-то неестественное; сначала это не очень коробило меня, но впоследствии не раз приходило мне на память. Он посетил меня еще раз в гостинице «Сен-Симон», когда я был в Париже, проездом по дороге в Англию. Тут я узнал то, о чем он не говорил мне, – что он вращается в высшем свете и довольно часто видит герцогиню Люксембургскую. Он не подавал никаких признаков жизни, когда я был в Три, и ничего не сообщал мне через свою родственницу мль Сегье, которая была моей соседкой, но, думается, никогда не была особенно расположена ко мне. Одним словом, увлечение де Сен-Бриссоном вдруг кончилось, как и отношения с де Феном, но последний ничем не был мне обязан, а тот был в долгу передо мною, если только глупость, которую я помешал ему сделать, не была лишь игрой с его стороны, что, в сущности, легко могло быть.

Столько же, и даже еще больше, бывало у меня гостей из Женевы. Делюки – отец и сын – поочередно выбирали меня в сиделки у своей постели: отец заболел в дороге; сын уже был болен, уезжая из Женевы; оба приехали ко мне выздоравливать. Из Женевы и Швейцарии являлись пасторы, родственники, ханжи, всякого рода проходимцы – не для того чтобы восхищаться мною или высмеивать меня, как посетители из Франции, а чтобы бранить и поучать. Единственно, кто мне был приятен, это Мульту, приехавший ко мне на три или четыре дня; я охотно удержал бы его подольше. Самый настойчивый из них, упорствовавший больше всех и одолевший меня своей назойливостью, был некий д'Ивернуа, женевский купец, французский эмигрант и родственник невшательского главного прокурора. Этот д'Ивернуа приезжал два раза в год из Женевы в Мотье только для того, чтобы повидаться со мной, проводил со мной несколько дней подряд, с утра до вечера, принимая участие в моих прогулках, привозил мне тысячу маленьких подарков, втирался помимо моей воли ко мне в доверие, вмешивался во все мои дела, несмотря на то что между нами не было ничего общего ни в мыслях, ни в склонностях, ни в чувствах, ни в знаниях. Сомневаюсь, чтоб за всю свою жизнь он прочел до конца хоть какую-нибудь серьезную книгу или хотя бы подозревал, о чем трактуют мои сочинения. Когда я начал собирать гербарий, он стал следовать за мной в моих ботанических экскурсиях, не испытывая влечения к этой забаве, не зная, о чем со мной говорить, – да и мне нечего было сказать ему. У него даже хватило мужества провести целых три дня наедине со мной в трактире в Гумуани{464}, откуда я рассчитывал выжить его, наскучив ему и дав ему понять, как он надоел мне. Но, несмотря на все это, я не мог ни преодолеть его невероятного упорства, ни распознать причину последнего.

Среди всех этих знакомств, завязанных и поддерживаемых мною только по необходимости, не могу не упомянуть единственное, которое было мне приятно и в котором я был искренне и сердечно заинтересован: я говорю о молодом венгре, переселившемся в Невшатель, а потом в Мотье, через несколько месяцев после того, как я сам там устроился. В этой местности его звали бароном Сотерном – фамилия, под которой он был рекомендован из Цюриха. Он был высокого роста и хорошо сложен, имел приятную наружность, отличался обаятельным и милым обхождением. Он говорил всем и дал понять мне самому, что приехал в Невшатель только ради меня и для того, чтобы в общении со мной научиться служить добродетели. Его лицо, тон, манеры, казалось мне, согласуются с его речами; и я считал бы, что пренебрег одной из величайших своих обязанностей, если бы выпроводил молодого человека, производившего такое приятное впечатление и искавшего моего общества ради такой достойной цели. Сердце мое не умеет отдаваться наполовину. Скоро этому юноше принад-

лежала вся моя дружба, все мое доверие; мы стали неразлучны. Он участвовал во всех моих прогулках пешком, и это ему нравилось. Я свел его к милорду маршалу, и тот очень обласкал его. Сотерн не мог еще выражать свои мысли по-французски; он говорил со мной и писал мне только по-латыни, я отвечал ему по-французски, и это смешение двух языков не уменьшало ни легкости, ни полнейшей живости наших бесед. Он рассказывал мне о своей семье, о своих делах, приключениях, о венском дворе, о котором он, видимо, знал немало интимных подробностей. Словом, в течение почти двух лет, проведенных нами в самой тесной близости, я наблюдал в нем при всех обстоятельствах мягкость характера и не только честность, но даже душевное изящество и большую внутреннюю чистоту, чрезвычайную благопристойность в речах, наконец – все признаки человека благородного; и он не только внушал мне глубокое уважение к себе, но и стал мне дорог.

В самый разгар моей дружбы с ним д'Ивернуа написал мне из Женевы, чтоб я остерегался поселившегося близ меня молодого венгра, так как уверяют, что это шпион, приставленный ко мне французским правительством. Это сообщение могло тем более встревожить меня, что в местности, где я жил, все предупреждали меня о необходимости быть настороже, о том, что за мной следят и что существует намеренье завлечь меня на французскую территорию, чтобы расправиться там со мной.

Желая раз навсегда заткнуть рот этим неуместным советчикам, я предложил Сотерну, ни о чем не предупреждая его, совершить прогулку пешком в Понтарлье;{465} он согласился. Когда мы оказались в Понтарлье, я дал ему прочесть письмо д'Ивернуа, а потом, горячо поцеловав его, сказал: «Сотерн не нуждается в доказательствах моего доверия к нему, но публика должна узнать, что я имел для этого основание». Поцелуй был очень нежен; это было одно из тех наслаждений души, которого преследователи не могут ни сами испытать, ни лишить его своих жертв.

Я никогда не поверю, чтобы Сотерн был шпионом или предал меня; но он меня обманул. В то время как я изливал ему свое сердце без размышлений, он имел твердость постоянно закрывать от меня свое и вводил меня в заблуждение, прибегая ко лжи. Он сплел мне какую-то историю, заставившую меня думать, что он необходим у себя на родине. Я умолял его ехать как можно скорей; он уехал. Я думал, что он в Венгрии, но узнал, что он в Страсбурге. Он был там уже не в первый раз. Он расстроил там одну семью; муж, зная, что я встречаюсь с ним, написал мне. Я приложил все усилия, чтобы вернуть молодую женщину к добродетели, а Сотерна к сознанию долга. В то время как я думал, что они разошлись, они сблизились, и муж был даже настолько снисходителен, что опять принял молодого человека к себе в дом; после этого мне нечего было больше сказать. Я узнал, что мнимый барон опутал меня целой сетью лжи. Фамилия его была не Сотерн, а Саутерсхайм. Что касается баронского титула, приписанного ему в Швейцарии, я не мог упрекать его за это, так как он никогда им не пользовался; но я не сомневаюсь, что он был на самом деле дворянин; милорд маршал, умевший разбираться в людях и в свое время побывавший у него на родине, всегда считал его дворянином и обращался с ним, как с таковым.

Как только он уехал, служанка трактира, где он столовался, живя в Мотье, объявила, что беременна от него. Это была такая грязная потаскуха, а Сотерн, всюду уважаемый и почитаемый в том краю за свое поведение и высокую нравственность, придавал такое значение чистоте, что ее бесстыдство всех возмутило. Самые привлекательные тамошние женщины, напрасно расточавшие ему свои любезности, пришли в ярость. Я был вне себя от негодования. Я приложил все усилия, чтобы заставить замолчать эту негодницу: предложил оплатить все издержки и поручиться за Саутерсхайма. Я написал ему, глубоко уверенный не только в том, что эта беременность не имеет к нему никакого отношения, но что она выдумана и все это только козни его и моих врагов. Я хотел, чтобы он вернулся и уличил мошенницу и тех, кто подучил ее. Меня поразила уклончивость его ответа. Он написал пастору,

в приходе которого жила потаскуха, и, так сказать, замял дело. Видя это, я перестал вмешиваться, очень удивленный, что такой распутник мог до того владеть собой, что вводил меня в заблуждение своей сдержанностью при самой тесной дружбе.

Из Страсбурга Саутерсхайм направился в Париж искать счастья, но нашел там одну нищету. Он написал мне, признаваясь в своем peccavi[68]. Воспоминание о нашей прежней дружбе взволновало меня до глубины души; я послал ему немного денег. На следующий год, находясь проездом в Париже, я снова увидел его, почти в таком же положении, но в большой дружбе с г-ном Лальо, причем так и не мог узнать, откуда у него это знакомство и старое оно или новое. Два года спустя Саутерсхайм вернулся в Страсбург, откуда написал мне, и там же умер. Вот краткая история наших отношений и все, что мне известно из его приключений; но, оплакивая судьбу этого несчастного молодого человека, я никогда не перестану думать, что он был хорошего происхождения и что вся его беспорядочность была следствием условий, в которые он попал.

Таковы были мои приобретения в Мотье в смысле связей и знакомств. Не такие были бы нужны мне люди, чтобы возместить горькие утраты, постигшие меня в это время.

Первой утратой была смерть герцога Люксембургского. Долгое время терзаемый врачами, он наконец сделался их жертвой: они не хотели признать его подагры, а действовали так, как будто это была болезнь, которую они умеют лечить.

Если можно положиться в данном случае на сообщение, сделанное мне доверенным супруги маршала, Ларошем, то именно на основании этого примера, жестокого и поучительного, следует оплакивать несчастье великих мира сего.

Утрата этого доброго вельможи была для меня тем чувствительней, что он был моим единственным настоящим другом во Франции; а доброта его была такова, что заставила меня совсем забыть его высокое положение и привязаться к нему, как к равному. Наша связь с моим отъездом не прекратилась, и он продолжал писать мне, как прежде. Однако мне показалось, что разлука или мое несчастье охладили его чувство. Трудно придворному сохранить прежнюю привязанность к человеку, попавшему в немилость у властей. К тому же я полагал, что большое влияние, оказываемое на него супругой, было неблагоприятно для меня, и она воспользовалась моим отсутствием, чтобы повредить мне в его глазах. Что до нее, то, несмотря на некоторые подчеркнутые и все более редкие проявления благосклонности, она с каждым днем все менее скрывала, что переменилась ко мне. Она написала мне три или четыре раза в Швейцарию, в разное время, после чего совсем перестала писать; и нужно было все мое пристрастие, все доверие, все ослепление, в котором я еще находился, чтобы не замечать в ней нечто большее, чем охлаждение ко мне.

Книгоиздатель Ги, компаньон Дюшена, после моего отъезда часто посещавший Люксембургский дворец, написал мне, что я упомянут в завещании маршала. Это было вполне естественно и правдоподобно, и я в этом не сомневался. Известие это заставило меня задуматься над тем, как поступить. Взвесив все, я решил принять наследство, в чем бы оно ни заключалось, – из уважения к порядочному человеку, который, будучи по своему рангу малодоступным для дружбы, был связан со мной настоящей дружбой. Я был освобожден от этой обязанности, потому что больше не слыхал о наследстве, действительном или мнимом. По правде говоря, мне было бы больно нарушить одно из величайших своих нравственных правил и чем-то поживиться после смерти дорогого мне человека. Во время последней болезни нашего друга Мюссара{466} Ленье предложил мне воспользоваться тем, что он, видимо, тронут нашим уходом за ним, и внушить ему кой-какие распоряжения в нашу пользу. «Ах, дорогой Ленье, – ответил я, – не будем осквернять мыслями о выгоде печальный, но священный долг, исполняемый нами по отношению к умирающему другу. Надеюсь, что я никогда не

[68] Прегрешении (*лат.*).

буду упомянут ни в чьем завещании и, во всяком случае, в завещании кого-либо из моих друзей». Около того же времени милорд маршал заговорил со мной о своем завещании и о намерении упомянуть меня в нем, и я ему ответил так, как сказал в первой части моей «Исповеди»[{467}].

Второй утратой, еще более чувствительной и гораздо более невозместимой, была смерть лучшей из женщин и матерей; уже обремененная годами, недугами и несчастьями, она покинула эту долину скорби и слез для обители праведных, где отрадное воспоминание о добре, совершенном здесь, является вечной наградой. Иди, кроткая и благородная душа, к Фенелону, Берне, Катина[{468}] и всем, кто в еще более смиренной доле, подобно им, открывал сердце истинному милосердию; иди наслаждаться плодами добрых дел твоих и приготовь своему воспитаннику место, которое он надеется когда-нибудь занять подле тебя. Ты счастлива в своих несчастьях тем, что небо, положив им предел, уберегло тебя от их жестокого зрелища! Боясь опечалить ее сердце повестью о первых своих бедствиях, я ничего не писал ей со своего приезда в Швейцарию. Но я написал г-ну де Конзье, чтобы узнать о ней, и он сообщил мне, что она перестала утешать страждущих и страдать сама. Скоро перестану страдать и я; но если б я не верил, что встречусь с нею в иной жизни, мое слабое воображение не могло бы представить себе там того полного счастья, о каком я мечтаю.

Моей третьей и последней утратой (потому что у меня уже не осталось друзей, которых я мог бы потерять) была утрата милорда маршала. Он не умер; но, устав служить неблагодарным, покинул Невшатель, – и с тех пор я больше его не видел. Он жив и, надеюсь, переживет меня. Он жив, и поэтому не все мои привязанности порваны на свете: существует еще человек, достойный моей дружбы. Истинная цена дружбы определяется более тем чувством, какое испытываешь, нежели тем, какое вызываешь. Но я потерял ту отраду, которую давала мне его дружба, и могу числить его только среди тех, кого я еще люблю, но с которыми уже не связан. Он уехал в Англию, чтобы получить прощение короля и выкупить свои конфискованные имения. Расставаясь, мы строили планы новой встречи, и они, по-видимому, были так же приятны ему, как и мне. Он хотел поселиться в своем замке Кейт-Холл, возле Абердина[{469}], и я должен был отправиться туда к нему; но мечты эти были слишком для меня привлекательны, чтобы я мог надеяться на их осуществление. Милорд не остался в Шотландии. Настоятельные просьбы прусского короля вернули его в Берлин, и скоро будет видно, что помешало мне туда к нему поехать.

Перед своим отъездом, предвидя бурю, которую уже начинали подымать против меня, он по собственному почину прислал мне грамоту о натурализации, что, казалось, должно было послужить мне надежной защитой от опасности быть изгнанным из страны. Община Куве в Валь-де-Травере последовала примеру губернатора и выдала мне грамоту о принятии в члены общины – бесплатную, как и та. Так, став во всех отношениях гражданином этой страны, я был гарантирован от всяких попыток изгнать меня на основании закона, – даже со стороны государя; но ведь не законными путями преследуют того, кто больше всех уважает законы.

Не думаю, что я должен причислять к своим утратам, относящимся к тому времени, смерть аббата Мабли. Прожив некоторое время у его брата, я завязал кое-какие отношения с ним, но они никогда не были особенно тесными; и у меня есть основания полагать, что характер его чувства ко мне изменился с тех пор, как я стал более знаменит, чем он. Но только после опубликования «Писем с горы» я натолкнулся на первое проявление его вражды ко мне. В Женеве получило распространение письмо к г-же Саладен, приписываемое ему, в котором он отзывался о моем сочинении, как о мятежных воплях разнузданного демагога. Мое уважение к аббату Мабли и высокая оценка его просвещенности не позволили мне ни на минуту поверить, чтобы это странное письмо принадлежало ему. Я поступил в этом слу-

чае так, как мне подсказала моя прямота. Я послал ему копию этого письма и сообщил, кого считают его автором. Он ничего мне не ответил. Это молчание удивило меня; но каково же было мое изумление, когда г-жа де Шенонсо сообщила мне, что это письмо действительно принадлежит аббату, а мое поставило его в большое затруднение. Ведь если даже предположить, что он прав, – как мог он оправдать свое резкое и публичное выступление, сделанное с легким сердцем, не по обязанности, без нужды, с единственной целью обрушиться на глубоко несчастного человека, никогда ни в чем не провинившегося перед ним и которому он всегда выказывал расположение. Несколько времени спустя появились «Диалоги Фокиона»{470}, представлявшие безудержную и бесстыдную компиляцию из моих сочинений. Я убедился при чтении этой книги, что автор составил себе план действий относительно меня и что отныне у меня не будет более лютого врага. По-видимому, он не простил мне ни «Общественного договора», который был ему не по плечу, ни «Вечного мира» и желал, чтоб я изложил сочинения аббата де Сен-Пьера, видимо, лишь в расчете на то, что я не справлюсь с этим так удачно.

Чем больше подвигаюсь я вперед в своих рассказах, тем менее могу вносить в них порядка и последовательности. Тревоги моей дальнейшей жизни не дали времени впечатлениям от событий устояться у меня в голове. События эти были слишком многочисленны, слишком запутанны, слишком неприятны, чтобы их можно было излагать последовательно. Единственное и отчетливое впечатление, оставшееся у меня от них, – это впечатление чудовищной тайны, скрывающей их причину, и плачевного состояния, в какое они привели меня. Свой рассказ я могу вести только наудачу, по мере того как воспоминания будут возникать у меня в уме. Помню, что в то время, о котором идет речь, поглощенный своей «Исповедью», я неосторожно говорил всем о ней, даже не воображая, чтобы кто-нибудь имел интерес, желанье или власть воспрепятствовать этому предприятию. Если б даже я поверил этому, я не стал бы от этого сдержанней, так как по самой природе своей не способен таить свои чувства и мысли. Слух о моей «Исповеди», поскольку я могу судить, и был настоящей причиной бури, поднятой против меня с целью выжить из Швейцарии и передать в руки тех, кто помешал бы мне осуществить мое намерение.

У меня был и другой план, и те, кто боялся первого, отнеслись бы к нему, вероятно, не более благосклонно. Я задумал издать полное собрание моих сочинений. Издание это казалось мне необходимым для того, чтобы засвидетельствовать, какие именно книги из числа распространяемых под моим именем действительно мои, и дать публике возможность отличить их от тех псевдонимных сочинений, которые мои «друзья» приписывали мне, чтобы опорочить и унизить меня. Кроме того, это издание было для меня способом обеспечить себе кусок хлеба – простым, честным и притом единственным, поскольку, отказавшись от писания книг и не имея возможности выпустить свои записки при жизни, не зарабатывая ни одного су никаким другим способом и только тратя, я видел, что мои средства иссякают вместе с доходом от моих последних сочинений. Это обстоятельство заставило меня ускорить издание моего «Музыкального словаря», еще не обработанного. Я выручил за него сто луидоров наличными и сто экю пожизненной ренты; но и ста луидорам должен был скоро прийти конец при годовом расходе, превышающем шестьдесят луидоров, а рента в сто экю была все равно что ничего для человека, на которого разные проходимцы и бездельники налетали, как скворцы.

Для полного издания моих сочинений образовалась компания невшательских коммерсантов; один лионский владелец типографии или книготорговец по фамилии Регийа, не знаю каким образом, втерся к ним, чтобы ею руководить. Соглашение было заключено на материальной основе, приемлемой и достаточной для моей цели. Считая мои напечатанные и

рукописные произведения, у меня было чем заполнить шесть томов in quarto;[69] кроме того, я взялся наблюдать за изданием. За все это они должны были выплачивать мне пожизненно тысячу шестьсот французских ливров в год и выдать единовременно тысячу экю.

Договор был заключен, но еще не подписан, когда появились «Письма с горы». Страшный взрыв негодования против этого адского произведения и против его ненавистного автора привел компанию в смятение, и предприятие распалось. Я сравнил бы действие этого сочинения с действием «Письма о французской музыке»{471}, если б то письмо, навлекши на меня ненависть и подвергнув опасности, не сохранило мне по крайней мере уважения и почета. А после этого сочинения в Женеве и в Версале словно были удивлены, что чудовищу, подобному мне, позволяют еще дышать. Малый совет, подстрекаемый французским резидентом и руководимый главным прокурором, издал по поводу моего сочинения постановление, в котором, клеймя его самым ужасным образом, объявлял его даже недостойным сожжения рукой палача и с изворотливостью, не лишенной шутовского привкуса, прибавлял, что, не обесчестив себя, нельзя ни отвечать на него, ни даже упоминать о нем. Я с удовольствием привел бы здесь этот курьезный документ, но, к сожалению, у меня его нет, и я не помню из него ни слова. Я страстно желаю, чтобы кто-либо из моих читателей, одушевленный стремлением к правде и справедливости, решился прочесть целиком «Письма с горы»; он заметит господствующую в этом сочинении, смею сказать, стоическую сдержанность, несмотря на тяжелые и жестокие оскорбления, которыми без стеснения осыпали автора. Но, не имея возможности ни ответить бранью, ибо я воздержался от нее, ни опровергнуть мои доводы, ибо они были неоспоримы, мои противники решили совсем не отвечать, якобы от чрезмерного возмущения. И действительно, если они принимали неопровержимые доводы за брань, им приходилось считать себя сильно обиженными.

Представители не только не заявили по поводу этой отвратительной декларации никакой жалобы, но пошли по начертанному ею пути; вместо того чтобы сделать «Письма с горы» своим оружием, они притаились, чтобы воспользоваться ими как щитом, – из трусости они не смели воздать ни почестей, ни справедливости этому сочинению, написанному в их защиту и по их настояниям, не смели цитировать и даже упоминать его, хотя втихомолку черпали из него все свои доводы и в точности последовали совету, которым оно заканчивалось, что оказалось единственной причиной их спасения и победы. Они возложили на меня обязанность заступника, я ее выполнил; я до конца послужил родине и их интересам. Я просил их забыть обо мне и думать в своих распрях только о себе. Они поймали меня на слове, и я больше не вмешивался в их дела, только беспрестанно призывал их к миру, – в уверенности, что если они станут упорствовать, то будут раздавлены Францией. Этого не произошло, и я понимаю, в чем причина, но здесь не место говорить о ней.

«Письма с горы» сначала были встречены в Невшателе очень мирно. Я послал экземпляр их де Монмолену; он отнесся к книге хорошо и прочел ее без возражений. Он был болен, так же как и я; поправившись, он по-дружески навестил меня и ни о чем мне не говорил. Между тем подымался шум; где-то книгу сожгли. Из Женевы, из Берна и, быть может, из Версаля очаг негодования скоро перекинулся в Невшатель и особенно в Вальде-Травер, где, еще прежде чем произошло сколько-нибудь заметное движение в духовенстве, начали при помощи тайных происков подстрекать народ. Смею сказать, народ должен был любить меня в этой стране, как любил во всех странах, где я жил, потому что я раздавал милостыню щедрой рукой, не оставляя без поддержки ни одного неимущего вокруг себя, не отказывая никому ни в какой услуге, доступной мне и законной, обращался со всеми, быть может, даже слишком запросто и всегда избегал всяких отличий, которые могли бы вызвать зависть. Все это не помешало тому, что чернь, не знаю кем тайно подстрекаемая против

[69] В четвертую долю листа (*лат.*).

меня, мало-помалу дошла до ярости, стала публично оскорблять меня среди бела дня, не только в деревнях и на дорогах, но и на людных улицах. Те, кому я сделал больше всего добра, набрасывались на меня с особенным остервенением, и люди, которым я продолжал благодетельствовать, не смея выступать открыто, возбуждали других, как будто желая таким образом отомстить за униженье быть мне обязанными. Монмолен словно ничего не замечал и все не показывался; но так как приближалось время причастия, он пришел ко мне и посоветовал не являться, – впрочем, уверяя, что он ничего не имеет против меня и оставит меня в покое. Эта любезность показалась мне довольно своеобразной; она напомнила мне о письме г-жи де Буффле, и я не мог понять, кому это так важно, буду я причащаться или нет. Так как подобная уступчивость с моей стороны казалась мне трусостью и к тому же я не хотел дать народу новый повод вопить против нечестивца, я наотрез отказался от предложения священника, и он ушел недовольный, дав мне понять, что я пожалею об этом.

Лишить меня причастия своей властью он не мог: требовалось запрещение консистории, принявшей меня, и до тех пор, пока она не протестовала, я мог явиться смело, не боясь отказа. Монмолен добился у духовенства поручения просить консисторию затребовать у меня объяснений по вопросам веры и, в случае моего отказа дать их, отлучить меня. Отлучение это точно так же не могло быть осуществлено никем, кроме консистории, и иначе как большинством голосов. Но крестьяне, составлявшие, под названием старейшин, это собрание, возглавляемое и, как нетрудно догадаться, руководимое этим священником, естественно, не могли разойтись с ним во мнении, – особенно в вопросах богословских, в которых они разбирались еще меньше, чем он. И вот я был вызван и решил явиться.

Каким счастливым обстоятельством и каким триумфом было бы для меня, если б я умел говорить и перо мое было бы, так сказать, у меня в устах. С каким превосходством, с какой легкостью я поверг бы наземь этого жалкого священнослужителя на глазах шести его приверженцев-крестьян. Жажда господства заставила протестантское духовенство забыть принципы реформации, и, чтобы напомнить их и привести Монмолена к молчанию, мне достаточно было прокомментировать свои первые «Письма с горы», за которые он имел глупость хулить меня. Текст был у меня совсем готов, надо было только развить его, и мой противник был бы посрамлен. И я не ограничился бы только обороной; мне нетрудно было бы перейти к нападению, так что он даже не заметил бы этого и не мог защищаться. Столь же легкомысленные, сколь и невежественные, попы сами дали мне возможность – наилучшую, о какой я только мог мечтать, – уничтожить их как мне вздумается. Но вот беда! – надо было говорить, и говорить тотчас же, находить в нужный момент мысли, обороты, слова, неизменно сохранять присутствие духа, хладнокровие, ни разу не смешаться, ни на минуту не смутиться. Но разве я мог ждать этого от себя? Я так ясно сознавал свое неуменье высказываться экспромтом. Я был приведен к самому позорному молчанию в Женеве, – перед собранием, расположенным целиком в мою пользу и уже готовым все одобрить. Здесь все было наоборот: я имел дело с крючкотвором, заменяющим знание коварством, способным расставить мне тысячу ловушек, прежде чем я замечу хоть одну, и решившимся изловить меня во что бы то ни стало. Чем более вдумывался я в положение, тем более оно казалось мне опасным, и, чувствуя невозможность успешно выпутаться из него, я придумал другой выход. Я подготовил речь для произнесения в консистории, чтобы сделать отвод ее составу и освободиться от необходимости отвечать. Это было очень легко. Я написал эту речь и с небывалым усердием принялся учить ее наизусть. Тереза смеялась надо мной, слыша, как я бормочу и беспрестанно повторяю одни и те же фразы, стараясь вбить их себе в голову. Я надеялся, что наконец произнесу свою речь; я знал, что королевский судья, в качестве представителя короля, будет присутствовать на заседании; что, несмотря на происки и на бутылки Монмолена, большинство старейшин весьма расположены в мою пользу; за меня были разум, истина, справедливость, покровительство короля, авторитет Государственного

совета, сочувствие всех добрых патриотов, заинтересованных в назначении этого расследования, – все способствовало тому, чтобы ободрить меня.

Накануне назначенного дня я знал свою речь наизусть; я повторял ее без ошибки. Всю ночь я перебирал ее у себя в голове, – утром я уже ничего не помнил. Я колеблюсь на каждом слове, я уже представляю себя в высоком собрании, я смущаюсь, бормочу, теряю голову; наконец почти в самый момент ухода мужество окончательно покидает меня; я остаюсь дома и решаю написать консистории, приведя наспех причины, меня удержавшие, и ссылаясь на недуги, которые и в самом деле при тогдашнем моем состоянии не позволили бы мне выдержать заседание до конца. Пастор, поставленный в затрудненье моим письмом, отложил вопрос до другого заседания. В промежутке он предпринял сам и через своих клевретов тысячу шагов, чтобы соблазнить тех старейшин, которые, предпочитая следовать внушениям своей совести, а не его наставлениям, держались образа мыслей, неблагоприятного для духовенства и для него самого. Но как ни убедительно должны были действовать на этот сорт людей аргументы, добытые им из винного погреба, ему удалось склонить на свою сторону лишь двух или трех, уже заранее ему преданных и, как говорили, продавших ему свою душу. Представитель короля и полковник Пюри, принявший горячее участие в этом деле, поддержали в остальных сознание их долга, и когда Монмолен заговорил об отлучении, консистория большинством голосов воспротивилась. Тогда он обратился к последнему средству: решил взбунтовать чернь. Он открыто приступил к делу вместе со своими клевретами и некоторыми другими лицами и действовал с таким успехом, что, несмотря на многократные и строгие рескрипты короля, несмотря на все приказы Государственного совета, я оказался в конце концов вынужденным покинуть эту страну, чтобы не подвергать представителя государя опасности самому быть убитому, защищая меня. У меня осталось такое смутное воспоминание обо всем этом деле, что я не в состоянии внести какой бы то ни было порядок, какую бы то ни было связь в мысли, возникающие у меня по поводу него, и могу только передавать события в том разбросанном и разрозненном виде, в каком они всплывают в моем уме. Помню, что с духовенством велись какие-то переговоры, причем посредником был Монмолен. Он заявил, будто существует опасение, как бы мои книги не нарушили спокойствия страны, ибо ей поставят в вину предоставленную мне свободу писать. Он дал мне понять, что, если я обещаю оставить перо, на прошлое будут смотреть сквозь пальцы. Я уже дал такое обещание самому себе и без колебаний дал его духовенству, но только условно и только относительно вопросов религиозных. Монмолен ухитрился получить от меня это обязательство в двух экземплярах, потребовав некоторых изменений в тексте. Так как условие духовенством было отвергнуто, я попросил свое обязательство обратно, Монмолен вернул мне один экземпляр, а второй оставил у себя, заявив, что потерял его. После этого народ, открыто подстрекаемый пасторами, смеясь над рескриптами короля и приказами Государственного совета, закусил удила. Меня громили с церковной кафедры, называли антихристом и преследовали в деревне, как оборотня. Моя армянская одежда служила черни опознавательным знаком; я мучительно чувствовал это неудобство, но снять ее при таких обстоятельствах казалось мне малодушием. Я не мог на это решиться и спокойно расхаживал в своем кафтане и меховой шапке, не боясь гиканья сволочи и камней, иногда летевших в меня. Не раз, проходя мимо того или иного дома, я слышал, как находившийся в нем говорил: «Подайте-ка мне ружье, я пушу ему пулю вслед». Я не ускорял шага, и это еще больше приводило их в ярость; но они всегда ограничивались угрозами, – по крайней мере по части огнестрельного оружия.

Во время этих волнений мне все же выпало два больших удовольствия, очень мне дорогих. Первое то, что я имел возможность через посредство милорда маршала отблагодарить за одну услугу. Все честные люди в Невшателе, возмущенные оскорблениями, которым я подвергался, и происками, которых я был жертвой, относились к пасторам с омерзением,

хорошо понимая, что они подчиняются чужеземному влиянию и являются лишь приспешниками других людей, которые скрываются за ними и заставляют их действовать вместо себя. Возникли опасения, как бы пример со мной не послужил к установлению настоящей инквизиции. Судьи, особенно г-н Мерой, сменивший д'Ивернуа в должности главного прокурора, делали все от них зависящее, чтобы защитить меня. Полковник Пюри, хоть и частное лицо, сделал больше и с лучшим успехом. Это он нашел средство одолеть Монмолена в его консистории, удержав старейшин от нарушения долга. Пользуясь известным влиянием, Пюри употребил его на то, чтобы сдержать мятеж, но авторитету денег и вина он мог противопоставить только авторитет закона, справедливости и разума. Шансы были неравны, и в этом пункте Монмолен восторжествовал над ним. Однако, тронутый его заботами и усердием, я хотел отплатить услугой за услугу и каким-нибудь образом расквитаться с ним. Я знал, что он очень желал получить место государственного советника, но, повредив себе во мнении двора в связи с делом пастора Птипьера, он был в немилости у короля и губернатора. Я все-таки рискнул написать о нем милорду маршалу; я осмелился даже заговорить о должности, которой Пюри желал, и так удачно, что, вопреки всем ожиданиям, она была почти тотчас же пожалована ему королем. Так судьба, всегда ставившая меня одновременно слишком высоко и слишком низко, продолжала кидать меня из одной крайности в другую, и в то время как чернь забрасывала меня грязью, я назначал государственного советника.

Другим большим удовольствием было для меня посещение г-жи де Верделен с дочерью, которую она взяла с собой на воды в Бурбонн{472}. Оттуда она приехала в Мотье и прогостила у меня два-три дня. Своим вниманием и заботами она преодолела наконец мою давнишнюю антипатию, и сердце мое, покоренное ее ласками, заплатило ей дружбой за дружбу, так долго мне выказываемую. Я был тронут этим приездом, особенно при обстоятельствах, в каких находился: для поддержания мужества мне так нужны были утешения дружбы. Я опасался, как бы оскорбления, наносимые мне чернью, не огорчили ее, и хотел скрыть от нее их зрелище, чтобы избавить ее от сердечного сокрушения. Однако это оказалось невозможным: хотя ее присутствие несколько сдерживало наглецов, но во время наших прогулок ей пришлось увидеть достаточно, чтобы иметь представление о том, что происходит в другое время. Случилось даже так, что именно в период ее пребывания начались ночные нападения на меня в моем собственном жилище. Однажды утром ее горничная обнаружила на моем окне множество камней, которые в него бросали ночью. Очень массивная скамья, стоявшая на улице возле моей двери и хорошо прикрепленная, была сорвана, перенесена и прислонена стоймя к двери, так что, если б ее не заметили, первый, кто, выходя, открыл бы наружную дверь, был бы убит на месте. Г-жа де Верделен знала все, что происходит, так как, помимо того, что видела она сама, ее слуга, человек надежный, завел многочисленные знакомства в деревне, со всеми там разговаривал, и его даже видели беседующим с Монмоленом. Однако она как будто не обращала никакого внимания на все, что со мной происходило, не спрашивала меня ни о Монмолене, ни о ком другом и скупо отвечала на то, что я иногда говорил ей об этом. Но, видимо, убежденная, что пребывание в Англии подойдет мне больше всего, она зато много рассказывала мне о Юме, находившемся тогда в Париже, о его расположении ко мне, о его желании быть мне полезным у себя на родине.

Пора сказать несколько слов о г-не Юме. Он получил большую известность во Франции, особенно среди энциклопедистов, своими трактатами о торговле и политике, а в последнее время – своей историей дома Стюартов{473}, единственным его сочинением, из которого я кое-что прочел в переводе аббата Прево. Не читав других его сочинений, я был убежден, на основании рассказов о нем, что у Юма душа подлинного республиканца, несмотря на его чисто английские парадоксы в защиту роскоши. На основании этого я считал всю его апологию Карла I образцом беспристрастия и был такого же высокого мнения о его добродетели, как и о таланте. Желание познакомиться с этим необыкновенным человеком и подружиться

с ним сильно увеличивало для меня соблазн отправиться в Англию, поддавшись уговорам г-жи де Буффле, близкой приятельницы Юма. Прибыв в Швейцарию, я получил от него через посредство этой дамы чрезвычайно лестное письмо, в котором он к величайшим похвалам моему таланту присоединял настойчивое приглашение приехать в Англию и обещал воспользоваться всем своим влиянием и влиянием всех своих друзей, чтобы сделать мне пребывание там приятным. Милорд маршал, соотечественник и друг Юма, подтвердил мне все хорошее, что я о нем думал, и даже рассказал о нем случай из литературной жизни, сильно поразивший маршала, так же как меня: Уоллес, выступавший против Юма по вопросу о народонаселении древних стран, был в отсутствии, когда печаталось его сочинение. Юм взял на себя просмотр корректур и наблюдение за изданием. Такой образ действий был в моем духе. Ведь и я распространял – по шесть су за экземпляр – песенку, сложенную против меня. Итак, у меня были всяческие основания относиться к Юму с симпатией, когда г-жа де Верделен начала горячо толковать о его дружбе ко мне и о его готовности оказать мне гостеприимство в Англии, – именно так она выразилась. Она настойчиво уговаривала меня воспользоваться этим расположением и написать г-ну Юму. Так как Англия мне не особенно нравилась и я хотел остановить свой выбор на ней только в крайнем случае, я отказался писать и давать обещания, но предоставил ей делать все, что она найдет уместным, чтобы поддержать доброе отношение ко мне г-на Юма. Покидая Мотье, она оставляла меня в уверенности, после всего сказанного ею об этом знаменитом человеке, что он принадлежит к моим друзьям и что она сама еще больший мой друг.

После ее отъезда Монмолен усилил свои происки, и чернь закусила удила. Я между тем продолжал спокойно прогуливаться среди гиканья, а любовь к ботанике, пробудившаяся у меня в общении с доктором д'Ивернуа, придавала новый интерес моим прогулкам; я бродил по окрестностям, собирая растения, и не волновался из-за криков всей этой сволочи, которую такое хладнокровие только бесило. Более всего удручало меня то обстоятельство, что семьи моих друзей или тех, кто называл себя так, довольно открыто примыкали к союзу преследователей[70]. Так поступали, например, семейство д'Ивернуа, не исключая даже отца и брата моей Изабеллы, затем Буа де ла Тур, родственник моей приятельницы, у которой я жил, и г-жа Жирардье, ее невестка. Этот Пьер Буа был такой мужлан, такой тупица и держался так грубо, что, для того чтоб не сердиться, я позволил себе высмеять его и составил в духе «Маленького Пророка» брошюру в несколько страниц, озаглавленную «Видение горного отшельника Петра по прозванию Ясновидящий»[{474}], в которой мне удалось сделать довольно забавный выпад против чудес, составлявших тогда главный повод для моего преследования. Дю Пейру напечатал в Женеве этот пустяк, имевший лишь посредственный успех: невшательцы при всем своем уме не понимают аттической соли и шутки, чуть она потоньше.

Несколько более тщательно написал я другое сочинение, относящееся к тому же времени; рукопись его найдут среди моих бумаг, а о сюжете нужно здесь рассказать.

В самую бурю постановлений и преследований женевцы особенно отличились, крича изо всех сил «караул», и среди прочих мой друг Верн[{475}] с поистине богословским великодушием выбрал как раз это время, чтобы опубликовать против меня письма, в которых

[70] Это несчастье началось с самого начала моего пребывания в Ивердене; когда знаменный владетель[{501}] Роген через год или два после моего отъезда из этого города умер, старый папаша Роген имел порядочность с горечью сообщить мне, что в бумагах его родственника обнаружены доказательства его участия в заговоре, имевшем целью изгнать меня из Ивердена и государства Берна. Это обстоятельство чрезвычайно ясно доказывает, что заговор этот не был, как это утверждали, делом ханжей, поскольку знаменный владетель Роген не только не был набожен, но доходил в своем материализме и неверии до нетерпимости и фанатизма. Впрочем, никто в Ивердене так не занимался мной, не расточал мне столько ласк, похвал и лести, как означенный знаменный владетель Роген. Он строго следовал замыслу, взлелеянному моими преследователями. (*Прим. Руссо.*)

утверждал, что я не христианин. Письма эти, написанные в крайне самодовольном тоне, не были от этого лучше, хотя шел слух, что естествоиспытатель Бонне{476} приложил к ним руку: названный Бонне, хоть и материалист, тем не менее обнаруживает чрезвычайно нетерпимое правоверие, как только заходит речь обо мне. Конечно, я не испытывал особого желанья отвечать на это произведение, но, поскольку представился случай сказать о нем два слова в «Письмах с горы», вставил туда довольно пренебрежительный, краткий отзыв, приведший Верна в ярость. Он поднял бешеный крик на всю Женеву, и д'Ивернуа сообщил мне, что он вне себя. Через некоторое время появился анонимный листок, написанный словно водой из Флегетона{477} вместо чернил. В этом послании меня обвиняли в том, что я выбросил своих детей на улицу, что я таскаю за собой солдатскую девку, что я расстроил свое здоровье развратом, что я сгнил от дурной болезни, и в тому подобных прелестях. Мне нетрудно было узнать автора. При чтении этого пасквиля я прежде всего подумал о том, чего стоит так называемое доброе имя и репутация, если можно назвать завсегдатаем борделей человека, ни разу в жизни там не бывавшего, самым большим недостатком которого является робость и застенчивость, как у невинной девушки, и если смеют утверждать, что я гнию от дурной болезни, тогда как я не только никогда не имел болезней этого рода, но медики считали даже, что я по самому своему устройству не могу заразиться ими. Тщательно взвесив все, я нашел, что не сумею лучше опровергнуть эту книжонку, как напечатав ее в том городе, где дольше всего жил, и я послал ее Дюшену, чтобы он издал ее без изменений, с указанием авторства г-на Верна и кое-какими примечаниями для освещения фактов. Не удовлетворившись опубликованием этого листка, я послал его нескольким лицам, в том числе принцу Людовику Вюртембергскому{478}, выказывавшему большую любезность по отношению ко мне и бывшему в то время со мной в переписке. Этот принц, дю Пейру и другие, по-видимому, сомневались, что Верн был автором пасквиля, и порицали меня за то, что я так легкомысленно назвал его. Их доводы заставили меня призадуматься, и я написал Дюшену, чтобы он уничтожил этот листок; Ги сообщил мне, что уничтожил его, но не знаю, сделал ли он это: сколько раз я убеждался, что он лжец, и один лишний его обман не удивил бы меня.

С тех пор меня окутала такая глубокая тьма, что мне невозможно сквозь нее различить истину.

Верн перенес это обвинение со сдержанностью, более чем удивительной в человеке, который его не заслуживал, особенно после ярости, проявленной им прежде. Он написал мне два или три очень обдуманных письма, задавшись целью, как мне показалось, выяснить по моим ответам, насколько я осведомлен и нет ли у меня каких-нибудь доказательств против него. Я послал ему два коротких сухих ответа, резких по смыслу, но без невежливых выражений, и он не рассердился. На третье письмо я уже не ответил, видя, что он хочет завязать нечто вроде переписки; он заставил меня говорить через д'Ивернуа. Г-жа Крамер написала дю Пейру, что, по твердому ее убеждению, Верн не писал этого пасквиля. Все это ничуть не поколебало моей уверенности; но так как я мог ошибаться и в таком случае обязан был дать Верну надлежащее удовлетворение, я передал ему через д'Ивернуа, что сделаю это в желательной для него форме, если он может указать мне настоящего автора книжонки или хоть доказать, что не он написал ее. Я сделал больше: хорошо понимая, что в конце концов, если он не виноват, я не имею права требовать каких-либо доказательств, я решил изложить в достаточно обстоятельной записке основания моей уверенности и представить их на рассмотрение третейского суда, которого Верн не мог бы отвести. Никто не отгадает, кого я выбрал в судьи: Совет Женевы. В конце своей записки я заявлял, что если, рассмотрев ее и произведя все те расследования, какие Совет найдет необходимым произвести, имея полную возможность это сделать, он решит, что г-н Верн не является автором пасквиля, я тотчас же искренне возьму свои слова обратно, кинусь ему в ноги и буду просить у него

прощенья до тех пор, пока не получу его. Смею сказать, что никогда еще моя пламенная жажда справедливости, никогда прямота, великодушие моей натуры, никогда моя вера во врожденную всем любовь к справедливости не проявились полней, очевидней, чем в этой скромной и трогательной записке, где я без колебаний брал самых непримиримых моих врагов в судьи между мной и моим клеветником. Я прочел эту записку дю Пейру; он нашел, что нужно повременить, и я так и сделал. Он посоветовал мне подождать обещанных Верном доказательств; я стал ждать их – и жду до сих пор. Он посоветовал мне пока молчать; я молчал – и буду молчать до конца жизни и терпеть порицания за то, что взвел на Верна тяжкое, ложное и бездоказательное обвиненье, хотя внутренне я остаюсь уверенным и убежденным, как в собственном существовании, в том, что он автор пасквиля. Моя записка находится у дю Пейру. Если она когда-нибудь увидит свет, в ней найдут мои доводы и, надеюсь, тогда узнают душу Жан-Жака, которую мои современники так мало стремились узнать.

Пора перейти к моей катастрофе в Мотье и моему отъезду из Валь-де-Травера, после двух с половиной лет пребыванья там и восьми месяцев самого недостойного обращения со мной, которое я сносил с редкой невозмутимостью. Я не в состоянии отчетливо вспомнить подробности этой неприятной эпохи, но их можно найти в сообщении, опубликованном дю Пейру, о чем мне придется говорить впоследствии.

После отъезда г-жи де Верделен возбуждение усилилось, и, несмотря на повторные рескрипты короля, несмотря на неоднократные приказы Государственного совета, несмотря на усилие королевского судьи повлиять на местных чиновников, народ, считая меня в самом деле антихристом и видя, что все его вопли ни к чему не ведут, пожелал наконец перейти к делу: уже на дорогах камни начали падать подле меня, но их пока еще бросали издалека, и они не попадали в цель. Наконец в ночь под ярмарочный день в Мотье, приходившийся в начале сентября, я подвергся нападению в своем доме, причем жизнь всех его обитателей была в опасности.

В полночь я услыхал сильный шум на галерее, огибающей заднюю часть дома. Град камней, кидаемых в окно и дверь, выходящие на эту галерею, посыпался на нее с таким грохотом, что моя собака, спавшая на галерее и поднявшая было лай, от испуга замолчала, забилась в угол и стала там грызть и царапать доски, стремясь убежать. Я поднимаюсь на шум, хочу выйти из своей комнаты в кухню, как вдруг камень, пущенный сильной рукой, пролетел через кухню, разбив в ней окно, распахнул дверь в мою комнату и упал возле постели, так что, поднимись я одной секундой раньше, он попал бы мне в живот. Я подумал, что шум был поднят, чтобы вызвать меня, а камень бросили, чтоб угостить меня при выходе. Бегу в кухню, вижу Терезу: она тоже поднялась и, вся дрожа, спешила ко мне. Мы прислоняемся к стене, в стороне от окна, чтобы уклониться от камней и обсудить, что нам делать: выйти, чтоб позвать на помощь, значило рисковать быть убитыми. К счастью, служанка одного старика, жившего подо мной, поднялась на шум и побежала к королевскому судье, помещавшемуся рядом с нами. Тот соскакивает с постели, поспешно хватает халат и тотчас является со стражей, совершавшей по случаю ярмарки ночной обход и оказавшейся поблизости. Разгром произвел на королевского судью такое ужасное впечатление, что он побледнел и при виде камней, усеявших галерею, воскликнул: «Господи, да это каменоломня!» При осмотре нижнего этажа было обнаружено, что высажена дверь в один дворик и что имела место попытка проникнуть в дом через галерею. Стали доискиваться, почему стража не заметила беспорядка или не помешала ему; было установлено, что жители Мотье настойчиво желали караулить в эту ночь вне очереди, хотя должна была караулить другая деревня. На другой день королевский судья послал донесение Государственному совету, а тот через два дня приказал расследовать дело, обещав награду и соблюдение тайны тем, кто укажет виновных; он велел также поставить ночью за счет государя стражу к моему дому и к смежному с ним дому королевского судьи. На другой день полковник Пюри, главный прокурор Мерон, коро-

левский судья Мартине, сборщик податей Гьене, казначей д'Ивернуа и его отец – словом, все, что было лучшего в той местности, – пришли ко мне и дружно принялись уговаривать, чтобы я уступил буре и хоть на время выехал из прихода, где мне невозможно жить в покое и почете. Я заметил даже, что королевский судья, испуганный яростью этого одержимого народа и опасаясь, как бы она не направилась и на него, был бы очень доволен, если б я поскорее уехал, чтоб ему не приходилось больше защищать меня и он сам мог бы уехать, – что он и сделал после моего отъезда. Я уступил, и даже довольно легко, так как зрелище народной ненависти нестерпимо раздирало мне сердце.

У меня был выбор убежища. Возвратившись в Париж, г-жа де Верделен в нескольких письмах ко мне упоминала о некоем Уольполе, называя его милордом. Проникнутый, как он уверял, исключительным сочувствием ко мне, он предлагал мне приют в одном из своих имений, который г-жа де Верделен описывала в самых привлекательных красках, причем входила в подробности относительно помещения и питания, доказывавшие, до какой степени означенный милорд Уольполь был занят вместе с ней этим проектом. Милорд маршал постоянно советовал мне уехать в Англию или Шотландию и тоже предлагал приютить меня в одном из своих имений. Но он предлагал мне еще одно убежище, соблазнявшее меня гораздо больше: в Потсдаме, возле него. Он передал мне слова, сказанные ему обо мне королем и представлявшие собой своего рода приглашение приехать туда. Герцогиня Саксен-Готская, рассчитывая на это путешествие, написала мне, усиленно приглашая заехать к ней по дороге и некоторое время погостить у нее. Но я был так привязан к Швейцарии, что не мог решиться покинуть ее до тех пор, пока у меня будет возможность жить там, и я воспользовался этим временем, чтобы привести в исполнение план, занимавший меня уже несколько месяцев: я еще не говорил о нем здесь, чтобы не прерывать нити повествования.

План мой заключался в том, чтобы поселиться на острове Сен-Пьер, составлявшем владение Бернской больницы и находящемся посредине Бьенского озера. Во время путешествия пешком, которое я совершил вместе с дю Пейру предыдущим летом, мы посетили этот остров; я был очарован им и с тех пор не переставал думать, как бы мне там обосноваться. Самое большое препятствие заключалось в том, что остров принадлежал бернцам, которые за три года перед тем подло выгнали меня. Моя гордость страдала при мысли о том, чтобы вернуться к людям, так дурно меня принявшим; кроме того, у меня было основание думать, что и теперь они не оставят меня в покое на этом острове, как в Ивердене. Я посоветовался с милордом маршалом, и он, полагая, как и я, что бернцы будут очень рады видеть меня заключенным на этом острове и держать меня там как заложника, в ожидании произведений, которые мне, может быть, захочется там написать, – поручил разведать их намерения на этот счет некоему г-ну Стюрлеру, прежнему своему соседу в Коломбье. Стюрлер обратился к властям; на основании их ответа он уверял милорда маршала, что бернцы, стыдясь прежнего своего поведения, не хотят ничего больше, как видеть меня обосновавшимся на острове Сен-Пьер, и оставят меня там в покое. Из сугубой предосторожности я, прежде чем рискнуть отправиться туда на постоянное жительство, поручил собрать сведения еще полковнику Шайе, и он повторил мне то же самое. После того как сборщик острова получил от своего начальства позволение устроить меня там, я подумал, что ничем не рискую, остановившись у него с молчаливого согласия как властей, так и собственников; не мог же я рассчитывать, чтобы господа из Берна открыто признали причиненную мне несправедливость и, таким образом, погрешили против самого нерушимого правила всех властителей.

Остров Сен-Пьер, называемый в Невшателе островом Ламотта, расположен на Бьенском озере и имеет около полулье в окружности; но на этом небольшом пространстве он дает все главные продукты первой необходимости. Там есть поля, луга, фруктовые сады, леса, виноградники; местность, разнообразная и гористая, имеет тем более приятный вид, что пространство острова открывается не сразу, а постепенно, и кажется обширнее, чем на

самом деле. Западная часть острова, обращенная к Глереccе и Бонвилю, представляет очень высокую террасу. На этом выступе устроена длинная аллея, перерезанная посредине большим павильоном, где во время сбора винограда, по воскресеньям, собирается народ из всех окрестностей повеселиться и потанцевать. На острове только один дом, но просторный и удобный, – там живет сборщик; дом расположен в углублении, под защитой от ветра.

В пятистах или шестистах шагах оттуда, к югу, есть другой остров, поменьше, невозделанный и пустынный, словно оторванный когда-то бурями от большого; на его покрытой гравием почве растут только ивы да тысячелистник; но там есть все же высокий холмик, покрытый травой и очень привлекательный. Форма озера – почти правильный овал. Берега его, менее богатые, чем берега Женевского или Невшательского озера, образуют, однако, довольно красивую панораму, особенно в западной части, густо заселенной и окруженной виноградниками, раскинутыми у подножья горной цепи – как в Кот-Роти, – но не дающими такого хорошего вина. В направлении с юга на север находятся округа Сен-Жан, Бонвиль, Бьен и у северной оконечности озера – Нидо, все усеянные очень милыми деревушками.

Таково было намеченное мною убежище, куда я решил переселиться, покинув Вальде-Травер[71]. Выбор этот так отвечал моим мирным вкусам, моей склонности к уединению и лени, что я причисляю его к тем сладким мечтам, которыми сильнее всего увлекался. Мне казалось, что на этом острове я буду более отрезан от людей, более защищен от их оскорблений, более забыт ими, – словом, буду более погружен в наслаждение бездействием и созерцательной жизнью. Мне хотелось бы замкнуться на этом острове, вовсе не иметь ни с кем общения; и, само собой понятно, я принял все возможные меры, чтобы уклониться от необходимости это общение поддерживать.

Встал вопрос о средствах к существованию; дороговизна съестных припасов, так же как трудность доставки их, сильно удорожает жизнь на этом острове, где к тому же находишься в полной зависимости от сборщика. Это затруднение было устранено сделкой, предложенной мне дю Пейру: он взял на себя издание всех моих сочинений, предпринятое и потом остановленное компанией. Я передал ему все материалы для этого издания, распределил их и привел в порядок. К этому я присоединил обязательство передать ему записки о своей жизни и сделал его хранителем вообще всех моих бумаг, с непременным условием воспользоваться ими только после моей смерти, так как втайне я замыслил спокойно окончить свой жизненный путь, больше не напоминая публике о себе. Пожизненная пенсия, которую он обязался мне выплачивать, оказалась достаточной для моего существования. Милорд маршал, получив обратно все свои имения, также предложил мне пенсию в тысячу двести франков; я принял ее, уменьшив наполовину. Он хотел прислать мне и капитал, но я отказался, не зная, куда его поместить. Тогда он передал этот капитал дю Пейру, в руках которого тот и остался, и последний выплачивает мне пожизненную пенсию на условиях, установленных дарителем. Итак, соединив свой договор с дю Пейру, пенсию милорда маршала, две трети которой должны были выплачиваться Терезе после моей смерти, и ренту в триста франков, получаемую от Дюшена, я мог рассчитывать на приличное существование для себя, а после моей смерти – для Терезы, которой я оставлял семьсот франков ренты из пенсий Рея и милорда маршала. Мне не приходилось больше бояться, что она или я будем нуждаться в куске хлеба. Но так уж было суждено, что чувство чести заставило меня отвергнуть обеспеченность, к которой счастье и мой труд откроют мне доступ, и я умру таким же бедным, как жил. Пусть рассудят, мог ли я, не будучи последним негодяем, оставить в силе соглашения, если их все время старались сделать унизительными и при этом предусмотрительно лишали

[71] Может быть, не бесполезно будет заметить, что я оставил там личного врага в лице г-на дю Терро, мэра Верьеров, пользующегося в этом краю очень небольшим уважением; но его брат, как говорят, честный человек, служил в канцелярии г-на Сен-Флорантена. Мэр приезжал к нему незадолго до истории со мной. Такого рода маленькие наблюдения, сами по себе ничтожные, могут привести впоследствии к раскрытию многих козней. (*Прим. Руссо*.)

меня всякого другого источника существования, чтобы я был вынужден примириться с бесчестьем. Разве эти люди могли представить себе, каково будет на самом деле мое решенье при таком выборе? Ведь они всегда судили о моем сердце по своему собственному.

Успокоившись относительно средств к существованию, я больше ни о чем не тревожился. Хотя в свете я очистил поле для своих врагов, – однако в благородном энтузиазме, породившем мои произведения, и в постоянной стойкости принципов заключалось свидетельство о моей душе, согласное с тем, что говорило о моем характере все мое поведенье. Я не нуждался в другой защите от клеветников. Они могли рисовать под моим именем образ другого человека, но этим обманывали только тех, кто хотел быть обманутым. Я мог бы отдать им на разбор всю свою жизнь от начала до конца; я уверен, что сквозь мои ошибки и слабости, сквозь мою неспособность нести какое бы то ни было иго всегда будет виден человек справедливый, добрый, без желчи, чуждый ненависти и зависти, всегда готовый признать свою неправоту, еще более готовый забыть чужую, полагающий все свое счастье в тихих и добрых чувствах и во всем доводящий свою искренность до безрассудства, до самого невероятного беспристрастия.

Итак, в известном смысле я расставался со своим веком и современниками, прощался со светом, намереваясь затвориться на этом острове до последних своих дней. Таково было мое решение; там рассчитывал я исполнить наконец великий замысел начать праздную жизнь, осуществлению которого до тех пор напрасно посвящал малую способность к деятельности, дарованную мне небом. Этот остров должен был стать для меня островом Папиманией{479} – блаженным краем, где все спят…

Где больше делают: в бездействии живут{480}.

Это «больше» очень подходило мне, так как я всегда мало жалел о сне: мне достаточно праздности; и при условии, что я могу ничего не делать, я даже предпочитаю грезить наяву, а не в сновиденьях. После того как пора романтических мечтаний прошла и дым тщеславия скорей одурманил меня, чем усладил, у меня осталась только последняя надежда – жить без стеснения, в вечном досуге. Это жизнь блаженных на том свете, и в ней отныне полагал я высшее свое счастье здесь, на земле.

Те, кто упрекает меня в стольких противоречиях, не упустят случая упрекнуть меня еще в одном. Я сказал, что праздность, царящая в гостиных, делает их несносными для меня; а теперь стремился к уединению лишь для того, чтобы предаться праздности. Однако я именно таков; если в этом есть противоречие, то оно лежит в моей природе и не зависит от меня; на самом же деле здесь не только нет противоречия, но именно благодаря этому-то я и остаюсь всегда самим собой. Праздность в гостиных убийственна, потому что она вынужденна; праздность в уединении пленительна, потому что она свободна и добровольна. Ничего не делать в компании мне тягостно, потому что я к этому принужден. Я должен оставаться на месте, словно приклеенный к стулу, или стоять, торча как столб, не двигая ни рукой, ни ногой, не смея ни бегать, ни прыгать, ни петь, ни кричать, ни жестикулировать когда захочется; не смея даже мечтать, испытывая одновременно всю скуку праздности и всю муку стеснения; вынужденный быть внимательным ко всем глупостям, раздающимся вокруг, ко всем любезностям, которые произносятся, и беспрестанно утомлять свою голову, чтобы не упустить случая в свою очередь ввернуть остроту и ложь. И это вы называете праздностью! Да это каторжная работа.

Праздность, любимая мной, – не праздность лентяя, который остается неподвижным, скрестив руки в полном бездействии, и размышляет не больше, чем он действует. Нет, это одновременно праздность ребенка, находящегося в постоянном движении, хотя ничего не делающего, и праздность пустомели, несущего всякий вздор, в то время как руки его отды-

хают. Я люблю заниматься пустяками, браться за сто дел и ни одного не кончать; идти куда глаза глядят, ежеминутно изменяя направление; следить за полетом мухи; стараться передвинуть каменную глыбу, чтоб посмотреть, что под ней; горячо приняться за работу, требующую десятилетнего труда, и через десять минут без сожаления бросить ее; наконец – целый день бездельничать и во всем следовать лишь минутному капризу.

Ботаника, в том виде, как я всегда понимал ее и в каком она постепенно становилась моей страстью, была как раз тем праздным занятием, которое способно было заполнить всю пустоту моих досугов, не оставляя места ни для бреда воображения, ни для скуки полного безделья. Лениво бродить по полям и лесам, машинально срывая там и тут то цветок, то ветку, живя случайными впечатлениями, наблюдая тысячу раз – и всякий раз с одинаковым интересом – одно и то же, – этим я мог бы заполнить целую вечность, не соскучившись ни на минуту. Как бы изящно, как бы удивительно, как бы разнообразно ни было строение растений, оно недостаточно поражает невежественный взгляд, чтобы заинтересовать его. Постоянное сходство и в то же время чудесное различие в их устройстве приводят в восхищение только тех, у кого уже есть некоторое представление о систематике растений. Остальные испытывают при виде всех этих сокровищ природы одно лишь тупое и однообразное удивление. Они не видят подробностей, так как даже не знают, на что смотреть, и не видят целого, потому что не имеют никакого представления о цепи соответствий и сочетаний, поражающей своими чудесами ум наблюдателя. Недостаток памяти всегда удерживал меня на той счастливой ступени, когда знаешь достаточно мало для того, чтобы все тебе было ново, и достаточно много, чтобы все было внятно. Разнообразие почвы на этом острове, хотя и маленьком, обеспечивало мне на всю жизнь довольно большое разнообразие растений для изучения и для забавы. Я не хотел оставить там ни одной былинки без исследования и уже задумал составить из огромного собрания любопытных наблюдений сборник Flora Petrinsularis[72].

Я вызвал к себе Терезу с моими книгами и вещами. Мы стали столоваться у сборщика острова. У жены его, в Нидо, были сестры, которые приезжали по очереди; они составляли компанию для Терезы. Здесь я испытал ту тихую жизнь, какою хотел жить; она мне так понравилась, что я только сильней почувствовал горечь того существования, которое должно было за нею вскоре последовать. Я всегда страстно любил воду, и вид ее вызывает у меня сладкую, хотя нередко и беспредметную мечтательность. Каждый день, встав с постели, я бежал на террасу, если погода была хорошая, подышать свежим и здоровым утренним воздухом и окинуть взглядом простор этого прекрасного озера, чьи берега и обступившие его горы восхищали меня. Я не знаю другого, более достойного способа почтить божество, чем этот немой восторг, возбуждаемый созерцанием его творений и не поддающийся выражению при помощи определенных действий. Я понимаю, почему у горожан, не знающих ничего, кроме стен, улиц и преступлений, мало веры; но не могу понять, как в деревне, – особенно у людей, живущих одиноко, – может не быть ее. Как душа их сто раз на дню не вознесется в восторге к творцу чудес, которые их поражают! Что до меня, то особенно утром, вставая с постели, истомленный своей обычной бессонницей, я в силу долгой привычки испытываю эти сердечные порывы, не связанные с утомительной необходимостью мыслить. Но для этого нужно, чтобы глаза мои были очарованы чудной картиной природы. У себя в комнате я молюсь реже и холоднее; но при виде прекрасного пейзажа я чувствую себя взволнованным, не умея сказать отчего. Я где-то читал, что один мудрый епископ, объезжая свою епархию, увидел старуху, которая вместо всякой молитвы умела восклицать только: «О!» Он сказал ей: «Всегда молитесь так, матушка; ваша молитва лучше наших». Эта лучшая молитва – также моя.

[72] Флора острова Сен-Пьер (*лат.*).

После завтрака я торопился написать с досадой несколько злосчастных писем, жадно мечтая о том счастливом миге, когда можно будет вовсе не писать их. Некоторое время я возился с книгами и бумагами, но больше раскладывал их и приводил в порядок, нежели читал. Разборка эта, становившаяся для меня работой Пенелопы{481}, давала мне возможность несколько минут предаваться безделью; потом это мне надоедало, я бросал ее и посвящал оставшиеся три или четыре утренних часа занятиям ботаникой, особенно системой Линнея{482}, к которой до того пристрастился, что не мог вполне излечиться от этой страсти даже после того, как понял пустоту этой системы. Линней – великий наблюдатель и, на мой взгляд, единственный ученый, который вместе с Людвигом{483} подходил до сих пор к ботанике как натуралист и философ; но он слишком изучал ее по гербариям и в садах и недостаточно – в самой природе. Для меня же весь остров был садом. Как только мне нужно было сделать или проверить какое-нибудь наблюдение, я бежал в лес или на луг с книгой под мышкой; там я ложился на землю подле интересующего меня растения и рассматривал его на корню, сколько мне было угодно. Этот способ очень помог мне узнать растения в их естественном состоянии, до того как они были возделаны и искажены рукой человека. Говорят, Фагон{484}, главный врач Людовика XIV, умевший назвать и отлично знавший все растения королевского сада, обнаруживал такое невежество в деревне, что совершенно терялся там. Со мной как раз наоборот: я знаю кое-что из произведений природы и не знаю ничего из произведений садовника.

В послеобеденное время я давал полную волю своему праздному и беспечному нраву, следуя без всяких правил побуждениям минуты. Нередко, если было тихо, я, встав из-за стола, тотчас бросался в маленькую лодку, которой сборщик научил меня управлять при помощи одного весла, и выплывал на середину озера. Момент, когда я отчаливал, доставлял мне наслаждение, доходившее до дрожи, причину которого я не умел ни назвать, ни понять; возможно, это было тайное ликованье при мысли, что сейчас я буду недосягаемым для злых людей. Потом я одиноко блуждал по озеру, иногда приближаясь к берегу, но никогда к нему не причаливая. Нередко, пустив свою лодку по воле ветра и волн, я предавался беспредметным мечтам, быть может, глупым, но от этого не менее упоительным. Порой я восклицал в умилении: «О природа! О мать моя! Вот я всецело под твоей защитой; здесь нет изворотливого и коварного человека, который стал бы между тобой и мной». Я удалялся таким образом на полмили от суши; мне хотелось, чтоб это озеро было океаном. Между тем, чтобы доставить удовольствие моей бедной собаке, в противоположность мне не любившей долгого пребывания на воде, я обычно придумывал какую-нибудь цель для этих прогулок: она состояла в том, чтобы высадиться на маленьком острове, погулять там час-другой, либо растянуться на траве, на вершине холмика, чтобы досыта наглядеться на озеро и его окрестности, рассмотреть и исследовать все находящиеся около меня растения и, как второй Робинзон, выстроить себе на этом островке воображаемое жилище. Я очень привязался к этому пригорку. Когда мне удавалось взять туда погулять Терезу с женой сборщика и ее сестрами, с какой гордостью я служил им лоцманом и проводником. Мы торжественно отвезли туда кроликов, чтобы заселить его, – новый праздник для Жан-Жака. Этот народец сделал островок еще интересней для меня. С тех пор я стал бывать там чаще и с большим удовольствием, отыскивая признаки успешного размножения его новых обитателей.

К этим развлечениям я присоединил одно, напоминавшее мне о милой жизни в Шарметтах и к которому меня особенно располагало осеннее время года. Мне нравились мелкие сельские работы, связанные со сбором овощей и плодов; Тереза и я с удовольствием помогали в них жене сборщика и ее семейству. Помню, что, когда ко мне зашел один житель Берна по фамилии Кирхбергер, – он застал меня на большом дереве, с привязанным к поясу мешком, который был уже так полон яблок, что я не мог пошевелиться. Я не был огорчен

этой встречей и еще некоторыми такими же. Я надеялся, что бернцы, увидев, как я заполняю свои досуги, уже не захотят возмущать спокойствия моего мирного уединения. Я решительно предпочел бы оказаться в нем по их воле, чем по своей: по крайней мере я был бы уверен, что они оставят меня в покое.

Вот еще одно из тех признаний, относительно которых я заранее знаю, что они будут встречены с недоверием читателями, упорно желающими судить обо мне по самим себе, – несмотря на то что они должны были убедиться по всей моей жизни, что у меня множество склонностей, не сходных с их склонностями. Особенно чудно то, что, отказываясь признать за мной чувства добрые или безразличные, которых они не видят у себя, они всегда готовы приписать мне столь дурные, что человеческое сердце не может вместить их. Тогда им кажется очень простым поставить меня в противоречие с природой и сделать из меня невообразимого изверга. Никакая нелепость не кажется им невероятной, если только она способна очернить меня. Все сколько-нибудь незаурядное кажется им неправдоподобным, если оно может сделать мне честь.

Но что бы они ни думали и ни говорили, я все-таки не перестану добросовестно повествовать о том, чем был, что делал и думал Ж.-Ж. Руссо, не объясняя и не оправдывая странностей его чувств и мыслей и не доискиваясь, думали ли другие, как он. Мне так понравилось на острове Сен-Пьер, и пребывание на нем было мне так приятно, что, привыкнув связывать все свои желания с этим островом, я в конце концов стал мечтать о том, чтобы никогда не покидать его. Визиты, которые мне надо было сделать соседям, поездки в Невшатель, Бьен, Иверден, Нидо, которые мне предстояло совершить, утомляли меня даже в воображении. День, проведенный вне острова, казался мне украденным у моего счастья, а покинуть пределы озера было для меня то же, что выйти из своей стихии. К тому же по опыту прошлого я стал боязливым. Достаточно было чему-нибудь хорошему обрадовать меня, как я уже ждал его утраты; и пламенное желание кончить свои дни на острове было неразлучно с боязнью, что меня заставят его покинуть. Я взял обыкновение сидеть по вечерам на песчаном берегу, особенно когда озеро волновалось. Мне доставляло странное удовольствие наблюдать, как волны разбивались у моих ног. Это напоминало мне житейские бури и мир моего убежища; и я приходил иногда в такое умиленье при этой отрадной мысли, что слезы текли у меня из глаз. Покой, которым я наслаждался со страстью, нарушался только опасением утратить его; но опасение это было велико и портило наслаждение. Мое положение казалось мне настолько непрочным, что я не смел рассчитывать на его продолжительность. Я говорил самому себе: «О, как охотно отдал бы я свободу выхода отсюда, о которой мне и думать не хочется, за уверенность, что я могу остаться здесь навсегда. Вместо того чтоб терпеть меня на этом острове из милости, зачем не держат меня здесь насильно! Те, кто только терпит меня здесь, могут каждую минуту изгнать меня, и могу ли я надеяться, что мои преследователи, видя, как я здесь счастлив, оставят меня в этом положении? Мне мало, чтобы мне позволили здесь жить; я хотел бы, чтобы меня обрекли на это, чтоб я был вынужден здесь оставаться; иначе меня изгонят». Я не без зависти думал о счастливом Мишели Дюкре{485}, спокойно пребывавшем в замке Арберг: ему стоило бы только пожелать, и он стал бы счастлив. Наконец под влиянием этих размышлений и тревожных предчувствий новых гроз, всегда готовых обрушиться на меня, я дошел до того, что стал желать – и притом с невероятной силой, – чтобы мое пребывание на этом острове превратили в пожизненное заключение. И могу поклясться, что, если бы только я мог приговорить самого себя к такому заключению, я, право, сделал бы это с величайшей радостью, тысячу раз предпочитая провести остаток жизни на этом острове, чем подвергаться опасности быть оттуда изгнанным.

Эта боязнь недолго оставалась напрасной. В тот момент, когда я меньше всего этого ожидал, я получил письмо из Нидо, от байи, в округе которого находился остров Сен-Пьер; в этом письме он передавал мне от имени их превосходительств приказ покинуть остров и

их владения. Мне показалось, что это дурной сон. Не могло быть ничего более противоестественного, бессмысленного, неожиданного, чем подобный приказ: я считал свои предчувствия скорее тревогами человека, напуганного несчастьями, чем предвиденьем, имевшим хоть какое-нибудь основание. Меры, принятые мной, чтоб обеспечить молчаливое одобренье высшей власти, спокойствие, с каким мне предоставили устраиваться на новом месте, посещения нескольких жителей Берна и самого байи, осыпавшего меня знаками дружбы и внимания, суровое время года, когда было варварством изгонять больного человека, – все это заставляло меня думать, вместе с многими другими, что этот приказ – какое-то недоразумение и что злонамеренные люди нарочно воспользовались временем сбора винограда и перерывом в заседаниях сената, чтобы грубо нанести мне этот удар.

Если б я уступил первому порыву гнева, я уехал бы сразу. Но куда направиться? Куда ехать в начале зимы, без цели, без подготовки, без проводника, без экипажа? Если я не хотел бросить на произвол судьбы свои бумаги, вещи, все свои дела, мне нужно было время, чтоб обо всем этом позаботиться, а в приказе не говорилось, дается мне срок или нет. Под влиянием непрерывных несчастий мужество мое начало слабеть. Впервые я почувствовал, что моя прирожденная гордость сгибается под гнетом необходимости, и, несмотря на протест моего сердца, я был вынужден унизиться до просьбы об отсрочке. Я обратился к г-ну Графенриду, приславшему мне постановление, прося его похлопотать за меня. По его письму заметно было, что он горячо осуждает приказ и переслал его мне лишь с величайшим сожаленьем; доказательства соболезнования и уваженья, наполнявшие это письмо, казались мне не чем иным, как чрезвычайно ласковым приглашением раскрыть перед ним свое сердце; и я сделал это. Я не сомневался даже, что мое письмо откроет глаза этим несправедливым людям на их варварство, и если жестокий приказ не будет отменен, мне по крайней мере дадут достаточную отсрочку, – может быть, целую зиму – чтобы я мог приготовиться к отъезду и выбрать себе приют.

В ожидании ответа я принялся обдумывать свое положенье и размышлять о том, как из него выйти. Со всех сторон я видел столько затруднений, горе так меня подавило, и здоровье мое было в это время в таком плохом состоянии, что я совсем упал духом, пришел в отчаянье и был уже не в состоянии придумать выход из моего печального положенья. В какой бы приют ни захотел я укрыться, было ясно, что мне не избежать в нем любого из двух способов, применявшихся для моего устранения: либо против меня при помощи тайных козней возбудят чернь, либо открыто изгонят меня без объяснения причин. Поэтому я не мог рассчитывать ни на какое надежное убежище, – во всяком случае его нужно было бы искать дальше, чем позволяли мне мои силы и время года. Все это опять навело меня на мысли, которыми я был недавно занят, и я осмелился желать и просить, чтобы меня лучше держали в вечной неволе, чем заставляли беспрестанно скитаться по свету, изгоняя последовательно из всех убежищ, какие я ни изберу. Через два дня после своего первого письма я написал г-ну Графенриду второе, прося его сделать их превосходительствам такое предложенье. Ответом Берна на то и на другое письмо был приказ, составленный в выражениях самых официальных и резких: мне предписывалось покинуть в двадцать четыре часа остров, а также прилегающую и отдаленную территорию республики и никогда туда не возвращаться под страхом сурового наказанья.

Эта минута была ужасна. С тех пор мне случалось испытывать и худшее, но никогда я не был в большем затруднении. Сильней всего огорчило меня то, что я был вынужден отказаться от плана, заставлявшего меня особенно желать провести зиму на острове. Пора рассказать о роковом случае, переполнившем чашу моих бедствий и повлекшем за собой гибель несчастного народа, зарождавшиеся добродетели которого обещали когда-нибудь сравняться с добродетелями Спарты и Рима. В «Общественном договоре» я говорил о корсиканцах{486}, как о народе новом – единственном в Европе, еще не испорченном законода-

тельством, и высказал мнение, что на такой народ нужно возлагать большие надежды, если ему посчастливится найти мудрого руководителя. Мое сочиненье прочли несколько корсиканцев, и их тронуло уважение, с которым я о них отозвался; а тот факт, что они были заняты устройством своей республики, навел их руководителей на мысль спросить, как я смотрю на эту важную работу. Некий Буттафуоко{487}, представитель одного из лучших семейств страны и капитан французской службы в королевском Итальянском полку, прислал мне в связи с этим письмо и снабдил меня некоторыми материалами, которые я у него попросил, чтобы познакомиться с историей этого народа и положением страны. Г-н Паоли{488} тоже писал мне несколько раз. Хотя я чувствовал, что подобное предприятие мне не по силам, я не считал возможным отказываться от участия в таком великом и прекрасном деле, после того как соберу все необходимые для этого сведения. В этом смысле я и ответил тому и другому, и эта переписка продолжалась до моего отъезда.

Как раз в это же время я узнал, что Франция посылает войска на Корсику и что она заключила договор с генуэзцами{489}. Договор и посылка войск встревожили меня. Даже не подозревая о том, что все это может иметь какое бы то ни было отношение ко мне, я признал невозможным и нелепым приступать к такому требующему глубокого спокойствия труду, как устройство жизни народа, в тот момент, когда этот народ, может быть, будет покорен. Я не скрыл своих опасений от г-на Буттафуоко, но он успокоил меня заверением, что, если бы в этом договоре имелись пункты, противоречащие свободе его народа, такой добрый гражданин, как он, не оставался бы на службе Франции. В самом деле, его усердие в области корсиканского законодательства и тесная связь с Паоли не допускали на его счет никаких сомнений. Узнав, что он совершает частые поездки в Версаль и Фонтенбло и поддерживает отношения с г-ном Шуазелем, я вывел из этого только то, что он располагает гарантиями относительно подлинных намерений французского двора, о чем он мне намекал, не желая яснее высказываться в письмах.

Все это отчасти успокоило меня. Однако, ничего не понимая в этой посылке французских войск, не допуская, чтобы они появились там для защиты свободы корсиканцев, так как последние сами отлично могли защищать ее, я не мог вполне успокоиться и всерьез заняться намеченным законодательством, не получив веских доказательств, что все это – не игра, имеющая целью посмеяться надо мной. Я очень хотел иметь свиданье с Буттафуоко, – это было бы лучшим способом получить от него нужные мне разъяснения. Он дал мне надежду на это свиданье, и я ждал его с величайшим нетерпеньем. Я не знаю, было ли у него действительно такое намеренье, но если б даже он его имел, мои бедствия помешали бы мне этим воспользоваться.

Чем больше раздумывал я над намеченным предприятием, чем больше погружался в рассмотрение материалов, которые были у меня в руках, тем более чувствовал потребность изучить вблизи подлежащий устроению народ и землю, им населенную, и все отношения, которые надо было учесть, чтобы устройство отвечало его потребностям. С каждым днем мне становилось все ясней, что я не могу собрать издалека те сведения, которыми мне нужно руководствоваться. Я написал об этом Буттафуоко: он сам понимал это, и если я не принял окончательного решения ехать на Корсику, то много думал о том, каким способом совершить это путешествие. Я говорил об этом с Дастье; он служил когда-то под начальством де Майбуа на этом острове и должен был знать его. Он всячески старался отговорить меня от этого намерения и, признаюсь, изображал корсиканцев и их страну в таких ужасных красках, что сильно охладил во мне желание поехать пожить среди них. Но когда преследования в Мотье заставили меня подумать об отъезде из Швейцарии, желание это оживилось благодаря надежде найти наконец у островитян тот покой, которого меня хотели лишить повсюду. Одно только отпугивало меня от этого путешествия: моя неспособность и всегдаш-

нее отвращение к деятельной жизни, на которую я был бы там обречен. Созданный для того, чтобы размышлять на досуге, в уединении, я не годился для того, чтобы говорить, действовать, заниматься делами среди людей. Природа, давшая мне талант к первому, отказала в таланте ко второму. Между тем я понимал, что, не принимая прямого участия в общественных делах, я буду вынужден, как только попаду на Корсику, уступить настояниям народа и очень часто совещаться с руководителями. Самая цель моего путешествия требовала, чтобы вместо поисков убежища я принялся искать необходимые мне сведения среди народа. Было ясно, что мне не придется располагать собой и что, увлеченный против воли в водоворот, для которого я не был рожден, я буду вести там жизнь, совершенно противную моим склонностям, и произведу самое нежелательное впечатление. Я предвидел, что не сумею подтвердить своим присутствием то мнение о моих способностях, какое они могли получить на основании моих книг, подорву свой авторитет в глазах корсиканцев и потеряю, к их невыгоде и к своей собственной, их доверие; а без него я не мог бы успешно совершить тот труд, какого они от меня ожидают; я был уверен, что вне своей сферы я буду бесполезен для них и сделаю несчастным самого себя. Истерзанный, измученный всякого рода бурями, усталый от многолетних переездов и преследований, я остро чувствовал потребность в покое, которого мои бессердечные враги, забавляясь, лишали меня. Больше чем когда-либо я вздыхал по той милой праздности, по тому сладостному миру души и тела, которых так жаждал и в чем мое сердце, очнувшись от химер любви и дружбы, полагало свое высшее благополучие. С ужасом глядел я на предстоящие работы и на ожидающую меня беспокойную жизнь, и если величие, красота, полезность предмета пробуждали во мне мужество, то мысль, что я бесплодно пожертвую собой, совершенно отнимала его у меня. Двадцать лет глубоких размышлений наедине с самим собой стоили бы мне меньше, чем шесть месяцев деятельной жизни среди людей и дел; и при этом я был уверен, что мне не будет удачи.

Я решил прибегнуть к выходу, казалось мне, способному устранить все противоречия. Опасаясь козней моих тайных преследователей, настигавших меня во всех убежищах, и не видя, кроме Корсики, другого места, где я бы мог надеяться в старости обрести покой, которого меня повсюду лишали, я решил, как только у меня будет к тому возможность, отправиться в эту страну с рекомендациями Буттафуоко, но, чтобы жить там спокойно, отказаться, по крайней мере по видимости, от работы в области законодательства и, в виде некоторой отплаты моим хозяевам за гостеприимство, ограничиться составлением на месте их истории, – не переставая собирать потихоньку сведения, необходимые для того, чтобы сделаться им более полезным, если только я доживу до того дня, когда мне это удастся. Не беря на себя поначалу никаких обязательств, я надеялся получить возможность втайне и с большим удобством обдумать план устроения их, который мог бы им подойти, притом не слишком нарушая ради этой работы дорогое мне уединение и не подчиняясь образу жизни, мне невыносимому и к которому я не был приспособлен.

Но в моем положении это путешествие было делом нелегким. Судя по тому, что говорил мне Дастье, из самых простых жизненных удобств я мог рассчитывать только на те, которые сам туда доставлю: белье, одежду, посуду, кухонную утварь, бумаги, книги – все это надо было везти с собой. Чтоб переселиться туда с моей домоправительницей, я должен был перебраться через Альпы и проехать двести лье, таща за собой большой багаж; я должен был пересечь владения нескольких монархов, и, имея в виду тон, заданный по всей Европе, следовало ждать, что после всех моих несчастий мне придется всюду сталкиваться с препятствиями и видеть, как каждый будет ставить себе за честь нанести мне какое-нибудь новое оскорбление, нарушая по отношению ко мне всякое международное и человеческое право. Большие расходы, утомительность, рискованность подобного путешествия обязывали меня заранее предвидеть и хорошо взвесить все связанные с ним трудности. Мысль о том, что я в конце концов останусь один, без средств, в моем возрасте и вдали от знакомых, в полной

зависимости от этого дикого и жестокого народа, каким мне описывал его Дастье, заставляла меня поразмыслить над подобным шагом, прежде чем осуществить его. Я страстно желал встречи с Буттафуоко, на которую он давал мне основания рассчитывать, и ждал ее результата, прежде чем принять окончательное решенье.

Пока я колебался, начались преследования в Мотье, вынудившие меня удалиться оттуда. Я не был подготовлен к длительному путешествию, особенно к путешествию на Корсику. Ожидая письма от Буттафуоко, я укрылся на острове Сен-Пьер, откуда был изгнан с наступлением зимы, как рассказал выше. Покрытые снегом Альпы делали тогда для меня это переселение неосуществимым, особенно при той поспешности, какую мне предписывали. Правда и то, что нелепость подобного распоряжения делала его неисполнимым: в этом окруженном водами уединении, располагая одними только сутками с момента объявления приказа, чтобы собраться в дорогу и подыскать лодки и экипажи для отъезда с острова и со всей территории, – имей я даже крылья, мне было бы нелегко повиноваться. Я написал об этом в Нидо г-ну байи, в ответ на его письмо, и поспешил удалиться из этого края несправедливости. Вот каким образом мне пришлось отказаться от своего любимого проекта; и тогда, в отчаянии, не сумев добиться, чтобы меня заточили, я решился по приглашению милорда маршала на путешествие в Берлин, оставив Терезу зимовать на острове Сен-Пьер с моими вещами и книгами и передав свои бумаги дю Пейру. Я устроил такую гонку, что уже на другой день утром выехал с острова и прибыл в Бьен еще до полудня. Тут мне едва не пришлось окончить свое путешествие из-за случайности, о которой необходимо рассказать.

Как только прошел слух, что мне приказано оставить мое убежище, ко мне хлынул целый поток посетителей из близлежащих местностей, особенно бернцев; с отвратительнейшим лицемерием они пресмыкались передо мной, улещали меня и уверяли, что, только воспользовавшись каникулами и перерывом в занятиях сената, удалось состряпать и вручить мне этот приказ, вызвавший, по их словам, негодование всего Совета двухсот. В этой своре утешителей было несколько человек из города Бьен, маленького свободного государства, вклинившегося в Бернское, и, между прочим, молодой человек, по фамилии Вильдреме, семейство которого занимало в этом городке первое положение и пользовалось величайшим авторитетом. Вильдреме горячо убеждал меня от имени своих сограждан выбрать себе убежище среди них, уверяя, что они очень желают видеть меня у себя, что они почтут за честь и сочтут своим долгом заставить меня забыть перенесенные преследования, что мне не придется опасаться у них какого бы то ни было влияния бернцев, что Бьен – свободный город, не подчиняющийся чужим законам, и что все граждане единодушно решили не слушать ничьих настояний, которые клонились мне во вред.

Видя, что ему не удастся поколебать меня, Вильдреме призвал на помощь еще нескольких лиц, как из Бьена и его окрестностей, так и из самого Берна, и, между прочим, того самого Кирхбергера, о котором я говорил, – искавшего меня со времени моего приезда в Швейцарию и интересного мне своими способностями и взглядами. Но более вескими оказались неожиданные настояния г-на Бартеса, секретаря французского посольства; придя ко мне с Вильдреме, он усиленно убеждал меня уступить приглашению последнего и удивил меня своим горячим, трогательным участием. Я совершенно не знал г-на Бартеса, однако видел, что он вкладывает в свои речи пылкое рвение дружбы и принимает близко к сердцу свой план устроить меня в Бьене. Он самым красноречивым образом расхваливал мне этот город и его жителей, с которыми, по его словам, был тесно связан, и даже несколько раз назвал их при мне своими покровителями и отцами.

Вмешательство Бартеса рассеяло все мои прежние догадки. Я всегда подозревал, что г-н де Шуазель является тайным виновником всех преследований, которым я подвергался в Швейцарии. Поведение французского резидента в Женеве и посла в Солере только подтверждало мои подозрения; я считал, что Франция имеет тайное касательство ко всему, что

произошло со мной в Берне, Женеве, Невшателе, и полагал, что у меня нет во Франции другого влиятельного врага, кроме герцога Шуазеля. Что же должен был я думать о посещении Бартеса и нежном участии, какое он, видимо, принимал в моей судьбе? Гонения еще не разрушили свойственной мне доверчивости, и опыт еще не научил меня повсюду видеть козни, прикрытые лаской. С удивлением искал я причину доброжелательства со стороны Бартеса: я был не настолько глуп, чтобы думать, что он сделал этот шаг по собственному почину: я видел здесь гласность и даже нарочитость, свидетельствующую о какой-то скрытой цели, и, разумеется, отнюдь не мог предполагать во всех этих зависимых мелких служащих ту великодушную неустрашимость, которая горела в моем сердце, когда я занимал такой же пост.

Когда-то я встречал в доме герцога Люксембургского кавалера де Ботвиля: он относился ко мне с некоторым доброжелательством. Со времени своего назначения послом он дал мне несколько доказательств того, что помнит меня, и даже велел передать мне приглашение приехать к нему в Солер. Это приглашение – хоть я туда и не поехал – очень тронуло меня: я не привык к достойному обращению со стороны людей, занимающих такие места. Поэтому я предположил, что де Ботвиль, вынужденный следовать полученным инструкциям во всем, что касается женевских дел, но жалея меня в моих несчастиях, приготовил мне личными стараниями этот приют в Бьене, чтобы я мог спокойно жить там под его покровительством. Меня тронуло это внимание, хоть я и не думал им воспользоваться, ибо окончательно решился на путешествие в Берлин и пламенно жаждал минуты, когда приеду к милорду маршалу, – в убеждении, что только возле него найду настоящий покой и прочное счастье.

При моем отъезде с острова Кирхбергер проводил меня до Бьена. Там я встретил Вильдреме и несколько других бьенцев, ожидавших меня у причала. Мы пообедали вместе на постоялом дворе. По прибытии первой моей заботой было заказать место в дилижансе, так как я хотел ехать на другой же день утром. За обедом эти господа возобновили свои уговоры, желая удержать меня в своей среде, – и с таким жаром, с такими трогательными увещаниями, что, несмотря на все мои решения, сердце мое, никогда не умевшее противиться хорошему обращению, взволновалось. Как только они увидели, что я заколебался, они с такой энергией усилили настояния, что наконец я дал одержать над собой победу и согласился остаться в Бьене по крайней мере до весны.

Тотчас же Вильдреме поспешил обеспечить меня квартирой и принялся расхваливать мне как находку скверную комнатушку в задней части дома, на третьем этаже, выходящую окнами во двор, где взор мой услаждала выставка вонючих кож какого-то мастера по выделке замши. Хозяин мой был маленький человечек с хитрой, плутоватой физиономией; а на другой день я узнал, что он кутила, игрок и пользуется очень дурной славой в околотке; у него не было ни жены, ни детей, ни прислуги; и, уныло замкнутый в своей одинокой комнате, я в самой веселой стране в мире оказался обреченным на то, чтобы в несколько дней зачахнуть с тоски. Больше всего меня поразило то, что, несмотря на все разговоры о желании жителей принять меня, я, проходя по улицам, не замечал в их манере держаться ничего любезного по отношению ко мне и ничего приветливого в их взглядах. Все же я был в твердой решимости остаться там; но, начиная со следующего же дня, узнал, увидел и понял, что в городе из-за меня происходит страшное волненье. Несколько услужливых особ любезно пришли предупредить меня, что завтра же мне объявят со всей возможной суровостью приказ безотлагательно покинуть государство, то есть город. Мне не на кого было опереться: все, кто меня удерживал, бросились врассыпную. Вильдреме исчез; я ничего не слышал о Бартесе, и его рекомендация, по-видимому, не доставила бы мне должной благосклонности со стороны «покровителей и отцов», которых он себе приписывал. Впрочем, некий де Во-Травер, бернец, имевший красивый дом возле города, предложил мне приют, надеясь, что там я, по его выражению, смогу избегнуть участи быть побитым камнями. Это преимущество пока-

залось мне недостаточно привлекательным и не соблазнило меня продлить свое пребывание у столь гостеприимного народа.

Между тем, задержавшись на три дня, я уже сильно превысил срок в двадцать четыре часа, данный мне бернцами для выезда из их государства, и, зная их жестокость, несколько беспокоился, как проехать через Берн. Но вдруг очень кстати явился байи округа Нидо и вывел меня из затруднения. Открыто осудив грубый поступок их превосходительств, он великодушно почел себя обязанным публично засвидетельствовать мне свою непричастность к нему и не побоялся приехать из своего округа, чтобы посетить меня в Бьене. Он явился накануне моего отъезда, причем не только не соблюдал инкогнито, но даже устроил некоторую помпу, прибыв in fiocchi[73] в своей карете, с секретарем, и привез мне паспорт от своего имени, чтобы я мог проехать через государство Берн с удобствами, не опасаясь какого-либо беспокойства. Посещенье тронуло меня больше, чем паспорт. Едва ли я был бы к нему менее чувствителен, если бы даже оно относилось не ко мне. Не знаю ничего, что обладало бы большей властью над моим сердцем, чем мужество, своевременно проявленное в пользу слабого, которого несправедливо угнетают.

Наконец, с трудом достав место в дилижансе, я на следующее утро уехал из этой страны убийц, не дожидаясь прибытия депутации, которой должны были меня почтить, не дожидаясь даже возможности еще раз увидаться с Терезой, которой я велел ехать ко мне, когда предполагал остаться в Бьене, и которую едва имел время задержать запиской, уведомив о своей новой беде. В третьей части, если у меня только хватит сил когда-нибудь написать ее, будет видно, почему, предполагая отправиться в Берлин, я на самом деле отправился в Англию, и как обеим дамам, желавшим распоряжаться мной{490}, после того как они выжили меня при помощи интриг из Швейцарии, где я был недостаточно в их власти, удалось направить меня к своему другу.

Читая это сочинение графу и графине д’Эгмон, принцу Пиньятелли, маркизе де Мем и маркизу де Жюинье, я добавил:

Я рассказал правду. Если кому известно что-нибудь противоположное рассказанному здесь, ему известны только ложь и клевета; и если он отказывается проверить и выяснить их вместе со мной, пока я жив, он не любит ни правды, ни справедливости. Что до меня, то я объявляю во всеуслышание и без страха, что всякий, кто, даже не прочитав моих произведений, рассмотрит своими собственными глазами мой нрав, характер, образ жизни, мои склонности, удовольствия, привычки и сможет поверить, что я человек нечестный, тот сам достоин виселицы.

Так кончил я чтение. Все молчали. Одна только г-жа д’Эгмон показалась мне взволнованной: она заметно вздрогнула, но очень скоро оправилась и продолжала хранить молчание, как и все присутствующие. Таков был плод, который я извлек из этого чтения и своего заявления.

comments

Комментарии

1

Часть стиха 30-го из сатиры III древнеримского поэта Авла Персия Флакка (34–64 г. н. э.). Ego te intus et in cute novi. – «А тебя и без кожи и в коже я знаю» (*лат.* – Перевод Ф. А. Петровского).

[73] Парадно (*итал.*).

2

«*Я был лучше этого человека*». – Эту фразу можно найти в письме Руссо к Мальзербу от 4 января 1762 г. и в письме к Дюкло от 13 января 1765 г.

3

Отец мой… существовал… ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. – Отец Руссо был внуком и сыном часовщика и сам стал часовщиком; короткое время он был учителем танцев.

4

...моя мать, дочь пастора Бернара. – Руссо ошибается: пастором был не родной его дед, а брат деда.

5

Трейль – площадь в Женеве, обсаженная каштанами.

6

Империя. – Имеется в виду так называемая «Священная Римская империя германской нации», то есть Австрия, находившаяся под властью династии Габсбургов. Венгрия в XVIII в. была владением Габсбургов.

7

Евгений III (1663–1736) – принц Савойский, австрийский полководец, был главнокомандующим австрийской армии и штатгальтером (наместником) Нидерландов.

8

...говоря со мною о ней. – Разговор Руссо с де Клозюром состоялся в июле 1737 г. – следовательно, со дня смерти его матери прошло не тридцать, а двадцать пять лет. Руссо не всегда точен в датах.

9

Через сорок лет после ее смерти он скончался… – Исаак Руссо умер в Нионе 9 марта 1747 г., через тридцать пять лет после Сюзанны Бернар, умершей 7 июля 1712 г.

10

Одна из сестер моего отца… – Тетку Руссо звали г-жа Гонсерю. С 1767 г. Руссо стал выплачивать ей из своих средств ренту в сто ливров и делал это постоянно, даже когда находился в очень стесненном положении.

11

Лесюэр Жан (1602–1681) – французский протестантский священник и историк церкви.

12

Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – французский проповедник, писатель, идеолог абсолютизма. В «Рассуждении о всемирной истории», написанном для наследника французского престола, воспитателем которого Боссюэ был назначен, он, как и в ряде других своих произведений, пытается доказать «божественные права» самодержца.

13

Нани Джованни (1616–1678) – историк и политический деятель Венецианской республики; его труд, упоминаемый Руссо, называется: «История Венеции с 1613 по 1671 г.».

14

Лабрюйер Жан де (1645–1696) – французский писатель; в своем сочинении «Характеры, или Моральные портреты» (1688) дал яркую картину нравов своего времени и едкую сатиру на правовое и имущественное неравенство.

15

Фонтенель Бернар Лебовье де (1657–1757) – французский писатель, автор научно-популярного сочинения «*Беседы о множественности миров*» и «*Диалогов мертвых*», где он изображает великих людей древности беседующими на разнообразные философские и моральные темы.

16

...скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе. – Первые трое – реальные исторические лица Древнего мира, фигурирующие в «Жизнеописаниях» греческого историка Плутарха (I в. до н. э.) как патриоты и борцы за счастье родины; последние трое – герои легких занимательных романов, принадлежащих великосветским французским писателям XVII в. г-же де Скюдери и Кальпренеду.

17

Сцевола – молодой римский патриот-республиканец, который во время осады Рима этрусками (507 г. до н. э.) проник в их стан, решив убить этрусского царя Порсенну. На допросе он сжег свою правую руку на костре, чтобы устрашить врага, показав ему образец римской стойкости. По легенде, Порсенна после этого снял осаду Рима и отказался от своего намерения восстановить власть свергнутого царя Тарквиния. В действительности Рим был временно захвачен Порсенной.

18

...мы узнали, что он в Германии. – В XVIII в. одним из главных источников дохода мелких монархий, из которых состояла тогда Германия, была отдача своего войска внаем иностранным правительствам.

19

Боссе – деревня на границе Франции и Швейцарии, в часе езды от Женевы.

20

…более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь… – Совместная жизнь Руссо с его двоюродным братом продолжалась два с половиной года (с октября 1722 по апрель 1725 г.).

21

Пиетистка – сторонница так называемого пиетизма, одной из самых ханжеских сект в протестантизме, возникшей в конце XVII в. в Германии.

22

Барна Бреданна – на народном швейцарском диалекте – круглый дурак.

23

Ларидон – имя собаки, фигурирующей в басне Лафонтена «Воспитание». Там есть стих: «О, сколько Цезарей превратится в Ларидонов».

24

Асс – мелкая древнеримская монета.

25

Молар – площадь в Женеве.

26

Сад Гесперид. – По греческому сказанию, у Гесперид, дочерей титана Атланта, был на «островах блаженных» охраняемый драконом сад с золотыми яблоками.

27

Франкей Дюпен де – сын богатого откупщика и пасынок г-жи Дюпен, светской дамы, в доме которой Руссо прожил несколько лет. О знакомстве с нею Руссо рассказывает в VII и VIII книгах «Исповеди». С де Франкеем Руссо был одно время очень дружен, сходясь с ним главным образом на почве любви к музыке. Он познакомил Руссо с сестрой своей мачехи, г-жой д'Эпине, сыгравшей в жизни писателя большую роль (см. II часть «Исповеди»).

28

Поле-Рояль – дворец в Париже, выстроенный в 1629 г. для кардинала Ришелье; впоследствии сделался резиденцией герцогов Орлеанских. Галерея, примыкавшая к дворцу, служила местом прогулок для модного Парижа; там были магазины, кафе.

29

Сен-Жерве – густонаселенный (преимущественно часовщиками) квартал Женевы в более низкой части города. Местная знать жила в верхней части.

30

Савойя во времена Руссо составляла часть Сардинского королевства; с 1860 г. вошла в состав Франции.

31

Дворяне Ложки – кружок дворян из числа приближенных к герцогу Савойскому, которые будто бы хвастались, черпая молочный кисель деревянными ложками, что так же «расхлебают» женевцев (то есть расправятся с ними); в знак этого они носили на шее ложку. Их попытки завладеть Женевой в 1527–1530 гг. потерпели неудачу.

32

Франжи – город в Верхней Савойе.

33

Аннеси – главный город Верхней Савойи.

34

Виктор-Амедей II – герцог Савойский с 1675 г., король Сардинский – с 1720 г. Умер в 1732 г. *Эвиана* — город в Верхней Савойе, на берегу Женевского озера, с источником минеральных вод.

35

Пьемонтский ливр – монета, имевшая обращение в Пьемонте – области Северной Италии, входившей во времена Руссо в Сардинское королевство.

36

Практическая медицина. – Так называлась медицина, основанная не на научных данных, а на житейском опыте; обычно она включала изрядную долю шарлатанства.

37

Де Лонгвиль Анна-Женевьева, герцогиня – сестра французского полководца XVII в. принца Луи Конде; вместе с братом принимала участие в так называемой Фронде, то есть восстании части высшего дворянства против двора, закончившемся победой короля.

38

Франциск Сальский, или Франсуа де Саль – епископ женевский, богослов; в 1610 г. вместе с баронессой *де Шанталь* основал в Аннеси женский монашеский орден визитандинок. Оба канонизированы католической церковью.

39

Ламотт Антуан (1672–1731) – французский баснописец и прозаик.

40

Шамбери – главный город Савойи.

41

Милорд маршал – Джордж Кейт; см. часть II, книгу XII «Исповеди» и прим.

42

«*Эмиль*» – точнее, «Эмиль, или О воспитании» – педагогический роман-трактат Руссо, вышедший в свет в 1762 г. Об обстоятельствах, связанных с его опубликованием, см. книги XI и XII «Исповеди».

43

Отшельник Петр – Петр Пустынник (1050–1115) – французский монах, призывавший народные массы Италии и Франции к Первому крестовому походу.

44

Франкское наречие – смесь итальянского, испанского, французского, арабского и турецкого языков, на котором в Малой Азии местное население говорило с европейцами.

45

Генрих IV (1553–1610) – король Франции, рожденный в протестантизме, открыл себе доступ к французскому престолу переходом в католичество.

46

Джунка (*итал*. – giunca) – творог, приготовленный особым способом в сосудах из тростника.

47

Contra nova (Новая улица) – улица в Турине, главном городе Пьемонта.

48

Эгист – действующее лицо древнегреческого мифа. Согласно преданию, он сблизился с женой царя Агамемнона Клитемнестрой, пока тот был на войне под Троей, а по его возвращении совместно с Клитемнестрой убил его.

49

Монах якобинец – так назывались монахи ордена бенедиктинцев, по наименованию их монастыря в Париже. В эпоху первой французской буржуазной революции слово «якобинец» стали применять к членам революционного клуба, собиравшимся в бывшем помещении этого монастыря.

50

Локоть – старинная мера длины, около полуметра.

51

Севинье Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза (1626–1696) – вошла в историю французской литературы благодаря своим письмам к дочери и другим лицам (изданы в 1726 г.).

52

Мориенна — горная область в Савойе, на границе с Италией.

53

Ахилл и *Терсит* — действующие лица поэмы Гомера «Илиада»: первый – образец воинской доблести и преданной дружбы; второй изображен трусом и уродом.

54

Савойский викарий. – В педагогический роман-трактат Руссо «Эмиль» входит «Исповедь савойского викария». В этом отрывке Руссо выступил в защиту свободы совести.

55

Крускантизм — литературное движение, направленное к очищению итальянского языка от заимствованных вульгарных и вообще «нелитературных» слов и оборотов (название идет от Академиа-делла-Круска, литературного общества, основанного в XVI в. во Флоренции и издавшего словарь; более распространенное название для того же явления в других странах Западной Европы – пуризм, от латинского purus – чистый).

56

Данжо Луи (1643–1723) – аббат, член Французской академии, автор трудов по грамматике.

57

Федр (I в. до н. э.) – римский баснописец, подвергший в своих баснях едкой сатире современные ему нравы.

58

Геронов фонтан — игрушка, названная по имени знаменитого древнегреческого механика Герона, жившего в греко-египетском городе Александрии в конце II – начале I в. до н. э.

59

Браман — альпийская деревня в южной части Савойи, по дороге из Турина.

60

Сен-Пре и г-жа де Вольмар (Юлия) – главные действующие лица в романе Руссо «Новая Элоиза» (1761). Здесь имеется в виду тот момент повествования, когда Сен-Пре, любящий Юлию и любимый ею, после мучительной разлуки приглашен ею и ее мужем жить с ними на правах друга.

61

Фрибур (или Фрейбург) – главный город кантона того же названия в Швейцарии.

62

«*Зритель*». – Имеется в виду либо французский перевод (Амстердам 1716–1718; Париж 1716–1726) литературного журнала «Spectator», издававшегося в Англии Стилем и Аддисоном, либо журнал «Французский зритель», издававшийся Мариво в 1722–1723 гг.

63

Пуфендорф Самуил (1632–1694) – немецкий юрист, один из основоположников теории «естественного права». В своем сочинении «О законе природы и народов» он отделяет право от религии и выводит его из «естественного разума» и «естественных потребностей людей». Французский перевод неоднократно издавался в Амстердаме (1707 г. и позже).

64

Сент-Эвремон Шарль де (1610–1703) – французский писатель, автор комедии «Академисты» и «Диссертаций» об античной и новой греческой трагедии и античных поэмах. Сочинения его проникнуты духом скептицизма и оппозиции к французскому абсолютизму.

65

«*Генриада*» – поэма Вольтера (1723) об исторических событиях эпохи французского короля Генриха IV; она представляет собой неудачную попытку создания национальной эпопеи, выдержанной в стиле классицизма.

66

Бэйль Ньер (1647–1706) – французский философ-скептик, предшественник Вольтера и энциклопедистов, автор «Исторического словаря».

67

Ларошфуко Франсуа, герцог (1613–1680) – французский политический деятель и писатель; участник Фронды.

68

Массерон – городской протоколист (нотариус), к которому отец отдал Руссо в ученье.

69

Анекдот о герцоге Савойском, упоминаемый Руссо, характеризует его как человека, крепкого задним умом, не умевшего найти острый ответ в нужную минуту.

70

Троншен Теодор – современник Руссо, уроженец Женевы, известный швейцарский врач, популярный и в Париже. Его *опиат* представлял собой легкое слабительное.

71

Лазаристы – католическая организация, основанная в XVII в. во Франции для подготовки миссионеров.

72

Клерамбо – малоизвестный французский композитор XVIII в.

73

«*Влюбленный в самого себя*» (полное заглавие «Нарцисс, или Влюбленный в самого себя») – комедия Руссо, написанная в 1733 г. и поставленная в Париже в 1752 г. Древнегреческий миф о Нарциссе изображает этого юношу влюбившимся в собственное отражение в воде. В пьесе Руссо таким самовлюбленным представлен щеголь Валер.

74

«*Письма с горы*» – сочинение Руссо (1764), политический памфлет, направленный против аристократической партии в Женеве.

75

Фрерон Жан – французский критик, издававший журнал «Литературный год»; противник Вольтера и энциклопедистов; Руссо в первое время своего пребывания в Париже был близок с Фрероном, но затем разошелся с ним.

76

Мотет – католическое песнопение, исполняемое чаще всего под аккомпанемент оркестра или органа.

77

Сорбонна – университет в Париже, основанный во второй половине XIII в. королевским духовником Робером Сорбонном.

78

...мы расположились в Нотр-Дам-де-Питье... – Речь идет о монастырской гостинице.

79

…после переворота в Турине, вызванного отречением сардинского короля… – Сардинский король Виктор-Амедей II в 1730 г. отрекся от престола в пользу своего сына Карла-Эммануила III, затем пытался вернуть себе власть, но был арестован и заключен в одном из замков. Руссо имеет в виду вызванную этими событиями смену правительственного аппарата и волнения среди населения Турина, столицы Сардинского королевства.

80

Сенешаль – начальник округа и коронный судья.

81

...подобно носилкам в «*Комическом романе*». – «*Комический роман*» – произведение Скаррона (1610–1660), одно из наиболее ранних и ярких проявлений реализма во французской литературе XVII в. В седьмой главе первой части рассказывается о том, как к дверям деревенской гостиницы прибыли одни за другими четверо конных носилок, «как будто все носилки этой провинции назначили друг другу свидание по важному делу или собрались на совет и, кажется, уже начинают совещание». Об этом эпизоде романа упоминается также в книге VI «Исповеди».

82

...заняться ремеслом ее отца. – В первой редакции «Исповеди» отец Мерсере назван органным мастером.

83

Бац – мелкая швейцарская монета, равная одной десятой части франка.

84

«*Приют Трехсот*» – приют для слепых, основанный в XIII в. в Париже.

85

Юлия, Клара и *Сен-Пре. – Клара* – подруга и наперсница Юлии, героини романа «Новая Элоиза».

86

Будри – город в Швейцарии, близ Невшателя.

87

Ивердон – город в кантоне Во, в Швейцарии, на южном берегу Невшательского озера.

88

Солер – город в Швейцарии, к северу от Берна.

89

Руссо Первый. – Имеется в виду французский поэт Жан-Батист Руссо (1671–1741), славившийся главным образом одами, представляющими в наше время лишь исторический интерес.

90

Драгоман – переводчик при посольстве.

91

Шомбер Фридрих – немецкий полководец XVII в., состоявший в разное время на французской, португальской и голландской службе.

92

Габионы – корзины цилиндрической формы, наполненные землей; употреблялись для устройства укреплений.

93

Сюрбек – капитан швейцарской гвардии, составлявшей личную охрану французского короля Людовика XV.

94

Оссер – город в Центральной Франции.

95

«*Астрея*» – знаменитый в свое время «пастушеский» роман Оноре д’Юрфе (1568–1625), в котором действие происходит в VII столетии на берегах *Линьона* (департамент Луары); наиболее яркий образец жеманной литературы.

96

Батистен – псевдоним Жана-Батиста Штрука, придворного композитора Людовика XIV. Он поставил в Париже ряд своих опер. *Томери* – деревня недалеко от Парижа.

97

Мотье— швейцарская деревня между Невшательским озером и отрогами Юры в долине Травер, почему называлась также Мотье-Травер. В ней нашел убежище (1762–1765) Руссо, когда подвергся гонению за издание «Эмиля». О своем пребывании там Руссо рассказывает в XII книге «Исповеди».

98

Туаз— старинная французская мера длины, около сажени.

99

Мутрю – так называется на народном швейцарском наречии Монтре, город в кантоне Во в Швейцарии.

100

Давенпорт – английский город в графстве Честер.

101

Император и Франция… объявили друг другу войну. – Речь идет о войне между Францией и Германской империей (1733–1735), в которой Франция поддерживала притязания Станислава Лещинского на польский престол против другого претендента, Августа III, поддерживаемого Австрией.

102

Брантом Пьер де Бурдель (1540–1614) – французский мемуарист, автор книг «Жизнь знаменитых людей и великих полководцев» и «Жизнь знаменитых женщин»; мемуары его отличаются правдивым, но местами непристойным описанием быта и нравов современных автору знаменитостей.

103

Клиссон Оливье (1336–1407) – французский политический деятель и полководец эпохи короля Карла VI. *Баярд* Пьер де Террайль (1473–1524) – французский военачальник при королях Карле VIII, Людовике XII и Франциске I. Предание сделало его образцом рыцарской доблести, «рыцарем без страха и упрека». *Лотрек* Оде, виконт – французский генерал, убитый при осаде Неаполя в 1528 г. *Колиньи* Гаспар (1517–1572) – адмирал, глава французских протестантов (гугенотов), убитый в числе многих других во время резни, учиненной католиками при поддержке королевской власти и известной в истории под названием Варфоломеевской ночи (23 августа 1572 г.). *Монморанси* – аристократическая фамилия, к которой принадлежал ряд политических и военных деятелей дореволюционной Франции.

104

Герцог де Брольи – видный военный и дипломатический деятель при Людовиках XIV и XV, маршал Франции с 1743 г., действовавший в Италии против австрийцев.

105

Рамо Жан-Филипп (1683–1764) – французский композитор; ему принадлежит ряд нововведений в области гармонии. В своих операх (написанных преимущественно на темы из древнегреческой мифологии) стремился к простоте и выразительности.

106

Валь д'Ост— главный город округа Туринской провинции в Италии.

107

...я имел честь дирижировать, не обходясь без большой палки дровосека. – В XVII–XVIII вв. дирижер вел оркестр, отбивая такт большой палкой по полу. Руссо неоднократно высмеивал такой способ дирижирования; повторяя остроту своего друга Гримма, он называл дирижеров «дровосеками» и писал, что «во всем мире такт не отбивают, но соблюдают, а в парижской опере его отбивают, но не соблюдают».

108

...следуют совету Кинея. – *Киней* (III в. до н. э.) – министр эпирского царя Пирра; в «Жизнеописаниях» Плутарха он представлен выдающимся оратором и политическим мыслителем. В частности, Плутарх рассказывает о том, как Киней удерживал Пирра от гибельного похода против римлян, доказывая ему, что высшим жизненным благом – покоем и довольством – можно пользоваться у себя дома.

109

Аспазия – древнегреческая гетера, возлюбленная, а затем жена афинского политического деятеля Перикла (V в. до н. э.), одна из самых образованных женщин своего времени; дом ее, где собирались виднейшие представители афинской общественности, был центром афинской культуры.

110

Терция – треть, *кварта* – четверть. Оба слова одновременно – термины фехтования и названия музыкальных интервалов.

111

Пистоль – старинная золотая монета; во Франции равнялась десяти франкам.

112

Ментор – по Гомеру, воспитатель сына Одиссея – Телемаха; имя его стало нарицательным для обозначения наставника.

113

Орфей – согласно древнегреческому мифу музыкант, игрой своей укрощавший диких зверей и снискавший милость подземных богов.

114

Перу – страна в Южной Америке, богатая золотом и серебром, со времени открытия ее в XV в. сделавшаяся предметом колониального грабежа со стороны Испании.

115

Безансон – город в восточной части Франции.

116

Регентство — период в истории Франции (1715–1723), когда за малолетнего короля Людовика XV правил регент, герцог Филипп Орлеанский.

117

...янсенистская пародия на прекрасную сцену из «*Митридата*» *Расина. – Янсенисты* – религиозная секта католической церкви, разделявшая взгляды голландского теолога Янсениума. Под религиозным прикрытием янсенизм выступал как движение оппозиционных слоев буржуазии, недовольных королевским абсолютизмом, господством католической церкви и ордена иезуитов. Центром янсенизма в Париже был монастырь Пор-Рояль. Иезуиты резко обрушились на него; папа запретил его специальным эдиктом. *Трагедия* «*Митридат*» принадлежит к лучшим произведениям Жана Расина (1639–1699), одного из создателей французского классицизма; написана в 1673 г. на историческую тему о царе Понта (в Малой Азии) Митридате (II–I в. до н. э.), боровшемся против власти Рима и покончившем с собой из-за невозможности продолжать борьбу.

118

Август II (1670–1733) – курфюрст, король саксонский, с 1697 г. был также королем польским.

119

«*Иевфай*» – опера композитора Монтеклера, поставленная в Париже в 1732 г.

120

Вале – кантон в Швейцарии.

121

Экс-ле-Бен – курорт с целебными источниками в Савойе, возле Шамбери.

122

Переписка Вольтера с прусским наследником… шла с 1736 по 1740 г., когда последний вступил на престол под именем Фридриха II; она продолжалась и в дальнейшем, до того как Вольтер побывал в Пруссии, откуда он уехал, рассорившись с Фридрихом II и увидев воочию дикий деспотизм этого «короля-философа», как его величали. В 1735 г. Руссо мог, однако, читать только «Философские письма» Вольтера, вышедшие в 1734 г., – переписка еще не была опубликована.

123

...я поклялся… никогда не поддерживать внутреннюю свободу ни силой оружия, ни путем личного участия, ни путем одобрения… – Все это место «Исповеди» представляет собою не что иное, как маскировку, к которой Руссо прибегнул, опасаясь преследований. Действительный образ его мыслей по вопросу о поддержании свободы силой оружия нашел выражение в «Общественном договоре».

124

Чарльстоун – город в Северной Америке, в штате Южная Каролина; сведения Руссо об участии его дяди в строительстве этого города ошибочны.

125

Рого Жак (1620–1675) – профессор картезианской философии, один из первых представителей научной опытной физики.

126

Мишели Дюкре— швейцарский юрист, математик и естествовед. В 1725 г. принимал участие в гражданской войне между католиками и протестантами; заочно присужденный к смертной казни, спасся бегством в Бернский кантон, но был арестован и заключен в замок Арберг, где находился восемнадцать лет.

127

Бернский заговор. – Речь идет об одном из эпизодов длительной борьбы между католическими и протестантскими кантонами Швейцарии; Берн выступал в ней как один из центров протестантизма. Заговор 1723 г. имел целью отложение кантона Во от Берна.

128

Совет двухсот (точнее, двухсот пятидесяти) – правительственный орган Женевской республики, игравший роль высшей судебной инстанции.

129

Малый совет (или сенат), из двадцати пяти членов, был одним из государственных органов Женевской республики; ему принадлежала высшая административная власть.

130

Елена. – Имеется в виду героиня древнегреческой поэмы «Илиада» – Елена, жена спартанского царя Менелая, была похищена троянским царевичем Парисом, что послужило поводом для войны между греками и троянцами.

131

Клевеланд— главное действующее лицо в романе того же названия (1731) французского писателя аббата Прево (см. прим.).

132

Калабриец – Джоакимо Греко, по прозванию Калабриец, самый выдающийся шахматист XVII в. Составленный им сборник партий был издан в Англии, затем во Франции.

133

Филидор Франсуа-Андре (1726–1795) – французский композитор, один из создателей комической оперы и знаменитый шахматист, автор учебника «Анализ игры в шахматы». Как композитор, Филидор сотрудничал с Руссо при создании его оперы «Галантные музы».
Стамм Л Филипп – шахматист XVIII в., живший в Англии, родом сириец. Его «Опыт шахматной игры» вышел в 1737 г. в Париже.

134

Дю Пейру Пьер-Александр – один из близких друзей Руссо, сохранивший с ним тесные отношения до самой его смерти и принявший деятельное участие в издании первого посмертного собрания его сочинений.

135

Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651–1715) – архиепископ г. Камбре и литератор. В качестве воспитателя герцога Бургундского написал для него «Басни» и ставший знаменитым роман-памфлет «Телемах» (1699), где он с феодально-утопических позиций критикует современность как царство эгоизма и стяжательства.

136

Картезианец — последователь французского философа-рационалиста и математика Декарта (1596–1650) (латинская форма его фамилии – Картезий).

137

Оратория – конгрегация (объединение католических служителей культа), основанная в Риме и перенесенная во Францию (1611). Выдвинув из своей среды проповедников, преподавателей и богословов для пропаганды католицизма, она пыталась приспособить научные данные к католической догме.

138

Пор-Рояль – центр янсенизма.

139

«*Логика*» *Пор-Рояля* написана одним из деятелей янсенизма, Антуаном Арно, в сотрудничестве с Никол ем (вышла в 1662 г.). В этом труде представители янсенизма стоят на общих с Декартом понятиях очевидности, враждебных традиционному церковному догматизму. *Локк* Джон (1632–1704) – английский философ; в своем сочинении «Опыт о человеческом разуме» отвергал существование врожденных идей, объявлял все человеческое познание результатом чувственного восприятия внешнего мира, признавая, однако, наряду с «внешним опытом» (отражением объективной реальности) независимый от него «внутренний опыт» (рефлексию). Сенсуализм Локка имел сильное влияние на французских материалистов XVIII в. (Гольбаха, Гельвеция, Дидро), а также на самого Руссо. *Мальбранш* Никола (1638–1715) – французский философ; в своем сочинении «Поиски истины» стоит на идеалистической позиции, объявляя внешний мир существующим лишь в боге, а наше познание мира – результатом откровения. *Лейбниц Г. В.* (1646–1716) – немецкий философ и математик. В своей «Монадологии» он утверждал, что мир состоит из независимых друг от друга, непротяженных и, следовательно, неделимых духовных сил, «монад» (или душ), отношения между которыми предопределены верховной монадой, т. е. богом.

140

Рено — член Оратории.

141

Петo — иезуит, автор сочинения по хронологии.

142

...кто читал в «Письмах с горы» о моей магии... – В «Письмах с горы» (ч. I, письмо 3) Руссо высмеивает веру в чудеса и магию, рассказывая о производившихся им самим «чудесах», то есть занимательных фокусах. «Изучение природы приводит каждый день к новым открытиям, – пишет он. – Техника человека с каждым днем совершенствуется, любознательная химия нашла превращения, стремительные движения, разряды, взрывы, свечения, воепламенения, землетрясения и тысячу других чудес, способных заставить креститься тех, кто их видит».

143

Иезуиты — католический монашеский орден, основанный в 1534 г. испанским монахом Игнацием Лойолой. За несколько веков своего существования орден иезуитов проявил себя как опасная реакционная сила, не останавливающаяся ни перед какими средствами ради достижения своей цели – укрепления власти Папы Римского в католических странах и за их пределами. В эпоху Руссо орден пользовался поддержкой французского короля Людовика XV и оказывал большое влияние на общественную жизнь. В 1762 г. орден был запрещен; восстановлен в 1814 г.

144

Bontempi (Бонтемпи) – итальянский поэт и музыкальный теоретик. «*Cartella per musica*» отца *Банкьери* напечатана в 1614 г. Руссо упоминает Банкьери в своем «Музыкальном словаре» как изобретателя обозначения седьмого звука гаммы нотой si.

145

Монпелье — город в Южной Франции.

146

...приключение с носилками. – См. прим. *...подобно носилкам в «Комическом романе»*. – «Комический роман»– произведение Скаррона (1610–1660), одно из наиболее ранних и ярких проявлений реализма во французской литературе XVII в. В седьмой главе первой части рассказывается о том, как к дверям деревенской гостиницы прибыли одни за другими четверо конных носилок, «как будто все носилки этой провинции назначили друг другу свидание по важному делу или собрались на совет и, кажется, уже начинают совещание». Об этом эпизоде романа упоминается также в книге VI «Исповеди».

147

Якобиты — сторонники английского короля Иакова II (1685–1688), сына казненного Карла I Стюарта; он упорно старался проводить абсолютистскую политику, ориентируясь на землевладельческую аристократию и католическую церковь. Привлеченный английской буржуазией к борьбе против Иакова II, голландский штатгальтер Вильгельм Оранский низложил его и занял английский престол (1688). Парламентский строй, установившийся в результате этого переворота (по терминологии английской буржуазии – «славной революции»), представлял собой объединенное господство землевладельческой аристократии и торгово-промышленной буржуазии.

148

Претендент. – Имеется в виду сын Иакова II – Иаков Стюарт, неоднократно, но безуспешно пытавшийся вернуть себе отцовский престол. *Старый двор в Сен-Жермене.* – Дворец в Сен-Жермене возле Парижа долгое время являлся местопребыванием королевского двора; в эпоху Руссо двор находился в Версале, а в Сен-Жермене жили изгнанные из Англии Стюарты.

149

Граф Гамильтон — ирландский дворянин, последовавший за английским королем Иаковом II во Францию после его изгнания из Англии; упоминаемая Руссо книга Гамильтона называется «Мемуары графа де Грамона».

150

Сен-Марселин — город на юге Франции, близ Савойи.

151

Маркиз из «*Завещания*» – робкий влюбленный, действующее лицо в комедии Мариво «Завещание» (1736).

152

Баланс — город в Южной Франции.

153

Гардский мост — построенный древними римлянами знаменитый водопровод через реку Гард, приток Роны на юге Франции.

154

Ним – город в Южной Франции; цирк в Ниме представляет собой хорошо сохранившееся здание огромного римского цирка на тридцать тысяч зрителей.

155

Верона – город в Ломбардии (Северная Италия), где уцелело много римских древностей.

156

Шильонский замок – замок в Швейцарии на берегу озера Леман, служивший государственной тюрьмой.

157

Красавец Леандр – персонаж итальянской комедии масок, тип самовлюбленного фата.

158

«*Пускай едят бриоши*». – *Бриошь* – сдобный хлебец, стоимостью своей намного превышающий обыкновенный белый хлеб. Фраза, цитированная Руссо, стала исторической.

159

Аргус — стоглазый великан, бдительный страж (*греч. миф.*).

160

Утон – поместье в Англии, где Руссо жил в 1766–1767 гг., скрываясь от преследований со стороны властей Франции и Швейцарии. Руссо начал писать «Исповедь» в Утоне в 1766 г. и продолжал ее у принца Конти, в *замке Три,* близ Парижа, в 1767 г. Вторая часть была написана в 1769 и 1770 гг. в Бургуэне и Монконе, в Дофинё.

161

Мабли Габриэль Бонно де, аббат (1709–1785) – один из левых энциклопедистов, последователь Руссо в его учении о преимуществах «первобытного состояния».

162

Кондильяк Этьен Бонно де (1715–1780) – один из крупных философов-энциклопедистов, автор «Трактата об ощущениях» и «Логики».

163

...приехавшим навестить своего брата. – Мабли и Кондильяк были родными братьями; их старший брат, у которого они собрались, занимал судейскую должность.

164

Граф де Кейлюс – археолог, член Академии надписей.

165

Борд Шарль – член Лионской академии, второстепенный поэт.

166

Ришелье, герцог Арман де (1696–1788) – внучатный племянник знаменитого кардинала Ришелье, всевластного министра Людовика XIII; влиятельный придворный при Людовике XIV и Людовике XV.

167

Бернар Пьер-Жозеф – современник Руссо, второстепенный поэт.

168

...м-ль Сэрр, о которой я говорил уже в первой части. – См. кн. IV. Сюзанна *Сэрр* вышла замуж за *Женева* в 1745 г. и умерла двадцати девяти лет, в 1755 г. (а не через два-три года после свадьбы).

169

Грессе Луи (1709–1777) – французский писатель XVIII в., автор сатирической антирелигиозной поэмы «Вер-вер», комедии «Злой» и др.

170

Дидро Дени (1713–1784) – один из крупнейших французских материалистов XVIII в.; организатор и редактор (вместе с д'Аламбером) знаменитой «Энциклопедии»; его философские произведения, где он пропагандирует материалистическое понимание природы и познания, отличаются ярко выраженными элементами диалектики; автор романов, пьес и многочисленных статей по искусству.

171

Принцесса де Кариньян – родственница герцога Савойского.

172

Кастель Луи Бертран (1688–1757) – автор теории цветового клавесина, в котором семи цветам спектра соответствуют семь ступеней диатонической гаммы.

173

Бордоский парламент. – В дореволюционной Франции «парламентами» назывались местные сословные учреждения, состоявшие из представителей дворянства, духовенства и третьего сословия (то есть буржуазии), обладавшие судебными и административными функциями; имея право возражений на королевские указы, парламенты нередко были очагами оппозиции против злоупотреблений абсолютизма.

174

...в Сорбонне... – то есть в университетском городке Парижа.

175

Реомюр (1683–1757) – французский физик и естествоиспытатель, изобретатель термометра.

176

Академия наук была основана министром Людовика XIV Кольбером в 1666 г.; в круг ее ведения входила разработка наук математических и естественных.

177

Де Меран был физиком и геометром, *Элло* – химиком, *де Фуши* – астрономом.

178

Транспонировка – переложение музыкальной пьесы из одной тональности в другую.

179

«*Диссертация о современной музыке*» – одно из ранних сочинений Руссо (издано в 1743 г.).

180

Рамо Жан-Филипп (1683–1764) – французский композитор; ему принадлежит ряд нововведений в области гармонии. В своих операх (написанных преимущественно на темы из древнегреческой мифологии) стремился к простоте и выразительности.

181

Дефонтен – французский критик, современник Руссо.

182

Мариво Пьер де (1688–1763) – французский писатель, автор многочисленных комедий и романа «Жизнь Марианны», отличающихся подчеркнутой изысканностью стиля и переживаний героев (так называемый «мариводаж»), но в целом представлявших шаг вперед в развитии реалистического психологического анализа.

183

Руссо. – Речь идет об однофамильце Жан-Жака, поэте Жане-Батисте Руссо.

184

...после поражения Никияу Сиракуз… – Афинский полководец Никий потерпел поражение возле г. *Сиракузы* (Сицилия) при попытке подчинить Сицилию Афинам в 413 г. до н. э.

185

Председатель де Ламуаньон — канцлер Франции при Людовике XV, отец сановника Мальзерба, принимавшего большое участие в судьбе Руссо.

186

«*Исповедь графа де*...» была издана в 1782 г. анонимно; автор этой книги – Дюкло.

187

Г-жа Дюпен — незаконная дочь Самюэля Бернара и г-жи де Фонтен; в 1722 г. вышла замуж за Клода Дюпена, королевского советника и сборщика налогов на имущество в Шатору.

188

Самюэль Бернар — откупщик, наживший огромное богатство разными финансовыми спекуляциями. Людовик XIV, нуждаясь в нем, оказывал ему милости и дал возможность породниться с многими знатными фамилиями Франции.

189

Принц де Конти. – Дом *Конти* был младшей ветвью королевского дома Бурбонов. Здесь речь идет о современнике Руссо, принце Луи-Франсуа Конти (1717–1778), влиятельном царедворце Людовика XV.

190

Главный откупщик. – Так назывались в дореволюционной Франции капиталисты, покупавшие у правительства право собирать налоги с населения и наживавшиеся на разнице между вносимой ими в казну и собираемой с населения суммой.

191

...аббат де Сен-Пьер, аббат Салье, г-н де Фурмон, г-н де Берни, г-н де Бюффон, г-н де Вольтер принадлежали к ее кругу... – Аббат де Сен-Пьер. – См. прим. – «Полисинодия». *Салье*— ученый-лингвист, член Французской академии. *Фурмон.* – Речь идет об одном из двух братьев – Этьене или Мишеле, французских китаеведов XVIII в. *Берни* — министр иностранных дел при Людовике XV. *Бюффон* (1707–1788) – французский натуралист, автор «Естественной истории», в научном отношении устаревшей, но сохраняющей свое значение как этап в развитии французской научной прозы. *Вольтер* Франсуа-Мари-Аруэ (1694–1778) – знаменитый французский писатель, представитель правого крыла французских философов-просветителей, деист, сторонник так называемой «просвещенной монархии», осуществляющей буржуазные преобразования. В своих «Философских письмах», «Философском словаре», в исторических критических трудах и в беллетристических произведениях («Кандид», «Задиг», «Микромегас») он решительно выступал против феодализма, призывал к уничтожению церкви, но отнюдь не к уничтожению религии; пламенно пропагандируя просвещение и буржуазный прогресс, он вместе с тем выступал против революционной инициативы народа.

192

Франкей Дюпен де – сын богатого откупщика и пасынок г-жи Дюпен, светской дамы, в доме которой Руссо прожил несколько лет. О знакомстве с нею Руссо рассказывает в VII и VIII книгах «Исповеди». С де Франкеем Руссо был одно время очень дружен, сходясь с ним главным образом на почве любви к музыке. Он познакомил Руссо с сестрой своей мачехи, г-жой д'Эпине, сыгравшей в жизни писателя большую роль.

193

Остров Бурбон (в настоящее время – остров Реюньон) – находится в Индийском океане, принадлежит Франции с 1642 г.

194

Руэль Гильом-Франсуа (1703–1770) – известный французский химик XVIII в.

195

Игра в мяч – разновидность игры в лапту, популярная в дореволюционной Франции; для нее строились специальные здания.

196

Руайе – бездарный композитор, преподаватель музыки в семье Людовика XV, директор Французской оперы.

197

«*Ифис и Анаксарета*». – Сюжет этой оперы Руссо взял из XIV кн. «Метаморфоз» римского поэта Овидия, где повествуется о греческом юноше Ифисе, влюбленном в Анаксарету, которая отвергает его любовь, гордясь своим царским происхождением; Ифис кончает жизнь самоубийством, а Анаксарету за гордость богиня любви Афродита превращает в каменную статую.

198

Аббат Трюбле – второстепенный французский литератор, известен главным образом своей неудачной полемикой с Вольтером по поводу поэмы последнего «Орлеанская девственница».

199

Буонончини (1675–1726) – итальянский композитор, живший в ряде европейских столиц, автор опер на модные тогда античные сюжеты.

200

...любовь к принцессе Феррарской... Тасс... чувства перед лицом ее несправедливого брата. – Итальянский поэт XVI в. Торквато *Тассо* (Тасс) (1544–1595), живя при дворе герцога Феррарского Альфонса II, полюбил его сестру Элеонору д'Эсте и за это, несмотря на свои заслуги национального поэта, автора поэмы «Освобожденный Иерусалим», был заключен герцогом в тюрьму, а затем изгнан.

201

Граф де Монтэгю – капитан гвардейского гренадерского корпуса; стал дипломатом в 1741 г.

202

Баржак – в свое время был слугой и доверенным лицом главного министра Людовика XV, кардинала Флери.

203

Монсеньор дофин – наследник французского престола Людовик, сын Людовика XV; не царствовал, так как умер раньше отца.

204

де Мирпуа Шарль (1699–1757) – в описываемую эпоху генерал-лейтенант, впоследствии маршал Франции; высоким положением был обязан не своим военным талантам, а личным отношениям с Людовиком XV.

205

Я… приехал наконец в Венецию. – Руссо прибыл в Венецию в конце августа 1743 г.

206

Конферент – так назывались лица, назначавшиеся сенатом Венеции для сношений с представителями иностранных государств; для посла каждой страны выделялся особый конферент.

207

Тогда шла война… – Война за австрийское наследство, тянувшаяся с 1741 до 1748 г. (данное место «Исповеди» относится к 1744 г.); война велась между Францией и Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Англией – с другой, охватив ряд стран (Голландию, Германию, Италию и французские колонии). Предлогом был вопрос о том, кому достанется престол после смерти бездетного императора австрийского Карла VI.

208

Испанская королева. – Речь идет о Елизавете Фарнезе (1692–1766), жене слабоумного испанского короля Филиппа V, умершего в 1746 г.; будучи родом из Пармы, она способствовала распространению итальянского влияния.

209

...ввиду общих интересов обоих государств... – Во Франции и в Испании королевский трон занимали представители одного и того же дома Бурбонов.

210

Амло – министр Людовика XV, оставивший свой пост в 1743 г., после смерти своего покровителя – кардинала Флери.

211

Морепа – министр при Людовиках XV и XVI.

212

Д’Авренкур – французский посол в Швеции.

213

Де ля Шетарди – французский посол в Петербурге.

214

Кораллина и *Камилла* – итальянские актрисы, дочери актера Веронезе, по прозвищу Панталеоне. *Кораллина* играла в Париже в 1744–1750 гг.; по желанию принца Конти, ей было дано звание маркизы де Сийери. *Камилла* дебютировала в 1744 г., в девятилетием возрасте; в Париже впервые выступила в Итальянской Комедии в 1747 г.

215

Государственные инквизиторы — судьи церковного суда, существовавшего в католических странах (Италии и Испании) вплоть до начала XIX в.; в описываемую эпоху инквизиция была фактическим распорядителем судеб Венецианской республики.

216

Славонцы (кроаты) часто состояли в наемном войске Венецианской республики.

217

Сенат — одно из высших учреждений Венецианской республики, ограничивавшее власть дожа, – аристократическое по составу.

218

Не помню… представил ли я записку… – Записка была представлена 7 июля 1744 г. Сенат в тот же день удовлетворил требование.

219

Площадь Св. Марка — центральная площадь Венеции, где находятся главные здания города – собор Св. Марка и Дворец дожей; во времена Руссо на этой площади были устроены увеселения для гуляющих.

220

...князь Лобковиц наступал на Неаполь, а граф Гаж провел достопамятное отступление... – В Войне за австрийское наследство (см. прим.) *Лобковиц,* один из крупнейших австрийских генералов того времени, неоднократно наносил поражение Франции. *Граф Гаж,* командовавший испанской армией, в 1743 г. разбил австрийцев в Ломбардии, но затем был вынужден отступить перед превосходящими силами неприятеля; отступление провел очень искусно, сохранив свою небольшую армию.

221

Абруццо — горная местность в Центральной Италии.

222

Маркиз де л Юпиталь был в то время французским послом в Неаполе.

223

...Жан-Жаку обязаны Бурбоны сохранением Неаполитанского королевства. – Эта шутка Руссо основана на исторических обстоятельствах борьбы Испании и Австрии за Неаполитанское королевство, которое Австрия уступила в 1736 г. Испании (дому Бурбонов), а в начавшейся войне пыталась вернуть себе.

224

Первый дворянин — лицо, заведовавшее расходами и церемониями при короле или его представителе.

225

Второй дворянин — лицо для особых поручений.

226

Брента — река, впадающая в Адриатическое море возле Венеции.

227

Герцог Моденский. – Во времена Руссо герцогство Моденское было одним из самостоятельных итальянских государств.

228

Дворец Святого Марка — местопребывание дожа, верховного правителя Венецианской республики, выбиравшегося пожизненно наиболее старинными и богатыми купеческими семьями из их среды. Венецианская республика возникла и пережила свой расцвет в Средние века. В эпоху Руссо она, находясь в упадке, все же представляла собой еще значительное государственное целое.

229

Mendicanti — «нищенствующие» монахи, объединенные в несколько орденов. Здесь имеется в виду одна из их церквей.

230

Спинет — маленький клавесин.

231

Квинтал — старинная мера веса, в описываемую эпоху равная 50 кг (современный квинтал равен 100 кг).

232

Борромейские острова — живописная группа из четырех островов на озере Лаго-Маджоре.

233

...трудился... над опровержением Монтескье. – Монтескье Шарль де Сегонда, барон (1689–1755) – знаменитый французский публицист, автор «Персидских писем» и «Духа законов», один из крупнейших предвестников первой французской буржуазной революции, представлявший правое крыло энциклопедистов. *Бертье,* ученый иезуит, боровшийся с влиянием энциклопедистов, и главный откупщик *Дюпен* после выхода в свет «Духа законов» выпустили брошюру, содержавшую ожесточенную критику этого сочинения.

234

Аскойтия — местность в провинции Мурсия в Испании.

235

Тереза Левассер — жена Руссо; родилась 29 сентября 1721 г. в Орлеане, умерла 12 июля 1801 г. в Плесси-Бельвиле, возле Эрменонвиля.

236

...моя опера была закончена полностью... – Речь идет о «Галантных музах».

237

Филидор. – См. прим.

238

Акт Овидия, акт Тассо, акт Гесиода – акты, из которых состояла опера Руссо «Галантные музы». *Овидий* – римский поэт (I в. до н. в.); *Гесиод* – древнегреческий поэт (VIII–VII вв. до н. э.), *Тассо* – см. прим.

239

Ла Поплиньер – главный откупщик, любитель музыки; его жена была в связи с герцогом Ришелье; ее влиянием объясняется перемена в отношении последнего к опере Руссо.

240

Ришелье, герцог Арман де (1696–1788) – внучатный племянник знаменитого кардинала Ришелье, всевластного министра Людовика XIII; влиятельный придворный при Людовике XIV и Людовике XV; в то время, к которому относится повествование, – маршал Франции.

241

Битва при Фонтенуа. – Возле бельгийской деревни Фонтенуа 11 мая 1745 г. произошло сражение между французскими и англо-австрийскими войсками, закончившееся блестящей победой первых.

242

Театр Птит-Экюри помещался в одном из зданий, принадлежавших к королевскому дворцу в Версале.

243

«*Принцесса Наваррская*» – «героическая комедия» в стихах с прологом и дивертисментами; текст Вольтера, музыка Рамо; написана по случаю бракосочетания наследника французского престола с испанской инфантой; была поставлена в Версале 23 февраля 1745 г.

244

...должен был руководить посадкой войск, отправляемых в Шотландию. – Имеется в виду один из эпизодов Войны за австрийское наследство, а именно неудачная попытка восстановить на троне Англии «законного» наследника из дома Стюартов, проживавшего тогда во Франции.

245

...умер мой… отец в возрасте около шестидесяти лет. – Исаак Руссо умер в возрасте семидесяти пяти лет.

246

Желиотт – один из знаменитых в то время теноров Французской оперы.

247

Ребель Жан-Ферри – придворный композитор Людовика XV и дирижер Французской оперы; автор оперы «Улисс и Пенелопа».

248

Замок Шенонсо (на реке Шере в Турени) в действительности был построен раньше, при французском короле Франциске I; Генрих II выстроил для своей любовницы *Дианы де Пуатье* замок Ане близ реки Эр.

249

«*Смелая затея*» – комедия Руссо, написанная в 1747 г. и поставленная в 1748 г. в Шевретте; Руссо ценил ее за веселость, а также за легкость, с которой она была написана.

250

«*Аллея Сильвии*» – стихотворение Руссо, содержащее пространное рассуждение о тщете философии и преимуществах простой жизни в согласии с природой.

251

Г-жа д'Эпине (1726–1783) – французская писательница, оставившая «Мемуары», в которых содержится, между прочим, повествование о ее отношениях с Руссо и о ссоре с ним, во многом отличное от того освещения, которое эта ссора получила в «Исповеди». О поведении в этой ссоре Гримма, являвшегося фактическим мужем г-жи д'Эпине, и обо всем этом эпизоде, сыгравшем большую роль в жизни Руссо, в особенности в связи с его отношением к г-же д'Удето (см. кн. IX «Исповеди»), существует целая литература. Официальный муж г-жи д'Эпине, также фигурирующий в «Исповеди», был богатый человек, сын главного откупщика.

252

Графиня д'Удето Софи-Элизабет (1730–1813) – невестка г-жи д'Эпине, предмет глубокого увлечения Руссо; послужила прототипом образа Юлии в «Новой Элоизе».

253

Нанетта – жена Дидро, урожденная Аннета Шампион; когда Дидро познакомился с ней в 1843 г., она жила с матерью-вдовой, занимавшейся шитьем белья.

254

Кондильяк. – См. прим.

255

«*Опыт о происхождении человеческих знаний*» – сочинение Кондильяка (1746), написанное под влиянием «Опыта о человеческом разуме» английского философа-сенсуалиста Локка; все самые сложные идеи выводятся здесь из чувственного восприятия; возможность врожденных идей отвергается.

256

Метафизика. – Слово «метафизика» употреблялось в XVIII в. для обозначения умозрительной, преимущественно идеалистической философии, к которой Руссо относил и труд Кондильяка.

257

Д'Аламбер Жан-Лерон (1717–1783) – философ, основавший вместе с Дидро «Энциклопедию». Это грандиозное издание, программа которого была блестяще начертана д'Аламбером (совместно с Дидро) во «Вступительном рассуждении», явилось ярким памятником нового, буржуазного мировоззрения накануне первой французской буржуазной революции и боевым оружием философов-просветителей в их борьбе против феодальной идеологии. «Энциклопедия» выходила в 1751–1765 гг. с перерывами, которые были вызваны правительственными преследованиями. Д'Аламбер, в качестве редактора первых семи томов «Энциклопедии», сумел совместно с Дидро объединить вокруг этого издания все передовые умы Франции того времени (в том числе и Руссо) и привлек к мировоззрению энциклопедистов внимание прогрессивной общественности во всех странах.

258

Перевод Чемберса. – Знаменитая «Энциклопедия» французских просветителей возникла как развитие другого, более скромного предприятия, а именно затеянного книгопродавцем Лебретоном издания перевода английской энциклопедии Чемберса, вышедшей в 1728 г. Дело это долго не ладилось по техническим причинам; наконец Лебретон пригласил в качестве редакторов Д'Аламбера и Дидро, которые и развернули совершенно иной план создания «Энциклопедии», не только отвечавший назревшей потребности в обобщающем своде знаний, но и способной служить идеологическим плацдармом для борьбы за новое, революционное для того времени мировоззрение.

259

«*Медицинский словарь*» *Джемса* был переведен Дидро в 1746 г.

260

«*Философские мысли*» – одно из ранних сочинений Дидро (1746), в котором он занял позицию, близкую к материализму.

261

«*Письмо о слепых*» опубликовано Дидро в 1749 г. Это сочинение, в котором Дидро занимает отчетливо материалистическую позицию, было написано в связи с нашумевшей в то время операцией, произведенной ученым Реомюром над одним слепорожденным. Дидро рассчитывал, что Реомюр даст ему возможность наблюдать действие света на пациента, но Реомюр не допустил на операцию никого, кроме одной знатной дамы (г-жи Дюпре де Сен-Мор), пожелавшей во что бы то ни стало на ней присутствовать. Этой даме он не мог отказать, так как нуждался в ее покровительстве. В своем сочинении Дидро жалеет ученого, отказывающего людям, которые понимают значение его опыта, и вынужденного уступить настояниям особы, не имеющей никакого отношения к науке. За этот выпад Дидро поплатился трехмесячным заключением в Венсенской тюрьме: дама была в очень хороших отношениях с министром полиции. Разумеется, обида этой особы была лишь поводом для ареста Дидро, который давно был на примете у властей как опасный вольнодумец.

262

Венсенская башня – Венсенская крепость возле Парижа, построенная в XII в. и бывшая в свое время резиденцией французских королей; в эпоху Руссо служила тюрьмой для политических заключенных.

263

Г-жа де Помпадур (1721–1764) – всесильная фаворитка Людовика XV.

264

Сеги принадлежит первое издание произведений поэта Жана-Батиста Руссо (1743) и вступительная статья к этому изданию.

265

Гримм (1723–1807) – один из видных энциклопедистов, содействовавший распространению их идей в Европе путем издания рукописного журнала «Литературная корреспонденция», который он рассылал выдающимся и власть имущим людям своего времени. «Литературная корреспонденция» Гримма была издана только в 1812 г.

266

Дижонская Академия. – Дижон – город в Южной Франции. *Дижонская Академия* была одним из существовавших в дореволюционной Франции самостоятельных местных ученых обществ.

267

...прочел ему прозопопею Фабриция... – Прозопопеей называется прием, при котором оратор выражает свои чувства и мысли не от собственного лица, а от лица воображаемого. В «Рассуждении о науках и искусствах» есть место, где Руссо заставляет говорить римлянина Фабриция, жившего в III в. до н. э., имя которого стало нарицательным для обозначения человека, даже в высоком положении сохранившего неподкупную честность и строгость нравов.

268

Я перестал посещать Итальянскую Комедию… и начал… бывать во Французской Комедии… – Театр Итальянской Комедии как постоянное предприятие был учрежден в Париже в 1716 г. и просуществовал до 80-х гг. XVIII в.; в нем актеры итальянцы давали представления, импровизируя произносимый ими текст. *Французская Комедия* была учреждена в 1680 г. и существует до наших дней.

269

Полсетье равнялось одной четверти литра.

270

Сен-Пре. – Во второй части романа Руссо «Новая Элоиза» (письмо XXVI) *Сен-Пре* с раскаянием сообщает Юлии в Швейцарию, как он в Париже попался в ловушку, устроенную ему земляками-офицерами, и нарушил свою верность возлюбленной.

271

...я смотрел на себя, как на члена республики Платона. – Древнегреческий философ *Платон* (429–347 г. до н. э.) – в своем диалоге «Государство» создал утопическую картину рабовладельческого государства, во главе которого находятся философы, а правление их защищается кастой воинов, обеспечивающих вместе с тем покорность третьей касты – ремесленников и земледельцев. В республике Платона предусматривалось полное отсутствие семьи, что должно было обеспечить преданность каждого гражданина государственному целому.

272

Гельвеций (1685–1755) – знаменитый врач, занимавший ряд врачебных должностей при дворе Людовика XIV и Людовика XV, отец известного философа-энциклопедиста Гельвеция.

273

Жосс – действующее лицо в комедии Мольера «Любовь-целительница» (1655); тип человека, подающего другу советы, продиктованные корыстными соображениями.

274

Некий г-н Готье… получил жестокую трепку в письме к Гримму. – См. «Письмо Ж.-Ж. Руссо к г-ну Гримму по поводу ответа г-на Готье на «Рассуждение» Руссо».

275

Вторым был сам король Станислав... – См. «Ответ Ж.-Ж. Руссо польскому королю Станиславу». *Станислав* Лещинский (1677–1766) занимал польский престол с 1704 по 1709 г.; в описываемый период он был лишь пожизненным владетелем Барского и Лотарингского герцогств во Франции; был тестем Людовика XV, который женился на его дочери Марии.

276

Мой «Деревенский колдун» окончательно сделал меня модным в свете… – Комическая опера Руссо «Деревенский колдун» была поставлена впервые при дворе, в Фонтенбло, 18 октября 1752 г.; второе представление состоялось 24 октября; во Французской опере «Деревенский колдун» был поставлен 1 марта 1753 г. Об успехе пьесы см. дальше, в тексте «Исповеди».

277

...Гримму, иностранцу и новичку... – Гримм приехал из Германии в Париж в 1748 г., в возрасте двадцати пяти лет.

278

Гольбах (1723–1789) – французский философ; его трактат «Система природы» представляет собой изложение основных принципов французского материализма и воинствующего буржуазного атеизма XVIII в.

279

Рейналь (1713–1796) – французский историк, энциклопедист, автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях».

280

Мадемуазель Фель – знаменитая оперная певица того времени. *Кагюзак* – французский литератор, автор либретто для ряда опер Рамо. Кагюзаку, между прочим, принадлежит «История танца» (1754).

281

Дюкло (1704–1772) – французский моралист, автор «Рассуждения о нравах» и «Секретных мемуаров о царствовании Людовика XIV и Людовика XV».

282

Сорен Жозеф – второстепенный французский драматург XVIII в., автор ряда трагедий. Отец его получил известность вследствие скандального обвинения в сочинении пасквильных куплетов, выдвинутого против него в 1710 г. одописцем Жаном-Батистом Руссо, который этим путем хотел, видимо, отвести обвинение в их авторстве от самого себя. Не исключено, однако, что автором куплетов был все же Сорен и жертвой клеветы явился Ж.-Б. Руссо.

283

Утон. – См. далее, XII кн. «Исповеди», а также прим. Упоминаемая ниже в тексте *мадемуазель Девенпорт* – дочь владельца этого поместья.

284

Прево д'Экзиль, аббат (1697–1763) – французский писатель, автор романа «Манон Леско», «Клевеланд» и других произведений, сыгравших выдающуюся роль в развитии буржуазного реализма.

285

Доктор Прокоп (Прокоп Куто) – настоящие имя и фамилия его Мишель Кольтели (1684–1753); уроженец Палермо, литератор и врач, автор ряда медицинских сочинений. Отец его основал в 1689 г. знаменитое в Париже «Кафе Прокоп» – излюбленное место собраний литераторов в XVTII в. Имя Эзопа, древнегреческого баснописца (VII–VI в. до н. э.), употреблено здесь аллегорически – в смысле остроумца.

286

Буланже — литератор и философ, сотрудник «Энциклопедии». Упоминаемый в «Исповеди» труд его называется «Исследование в области происхождения восточного деспотизма»; он был выпущен в 1761 г., уже после смерти автора, Гольбахом.

287

Г-жа Дени (1712–1790) – племянница Вольтера и его близкий друг, второстепенная писательница. Известна главным образом как руководительница всей литературной и театральной жизни в резиденции Вольтера – Фернее.

288

Конхилиомания — маниакальное увлечение наукой о раковинах – конхилиологией.

289

«*Увлечения Рагунды*» – комическая опера, текст Нерико-Детуша, музыка Муре; была сочинена в 1742 г. и в описываемое время возобновлена постановкой во Французской опере.

290

Люлли (1632–1687) – французский композитор и музыкальный деятель эпохи Людовика XIV, директор Французской оперы, автор ряда опер на мифологические сюжеты. Точное название его оперы, упоминаемой в тексте, – «*Армида и Рено,* лирическая трагедия в пяти актах и с прологом». Сюжет ее был взят из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим».

291

...приехали итальянские буффоны. – Речь идет о приезде в 1753 г. в Париж итальянской оперной труппы, выступившей с огромным успехом. Она дебютировала в театре Французской оперы постановкой оперы Перголезе «Служанка-госпожа». Успех был обеспечен тем, что итальянская опера стояла в то время на большой высоте в отношении музыкального богатства и вокальной культуры, между тем как французская находилась на гораздо более низком уровне, утратив связь с народным искусством и выродившись в салонное и придворное развлечение.

292

Мондонвиль – французский композитор, занимавший высокие музыкальные должности при дворе Людовика XV, автор ряда посредственных опер, директор «Духовных концертов»; при поддержке маркизы де Помпадур добился прекращения представлений итальянских буффонов.

293

«*Маленький Пророк*» – сочинение Гримма (1753).

294

«*Письмо о французской музыке*» – сочинение Руссо (1753). В нем, так же как и в «Маленьком Пророке» Гримма, защищается итальянская музыка, поддерживаемая подлинными знатоками против тогдашней французской, которую поддерживали знать и богачи.

295

Тацит (ок. 55 – ок. 120 гг. н. э.) – римский историк, автор «Анналов», «Историй», «О Германии» – произведений, являющихся классическими образцами античной историографии и научной прозы.

296

То было время большой распри между парламентом и духовенством. – Парижский парламент в 1753 г. резко выступил против решения католической церкви объявить янсенистов еретиками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Король стал на сторону церкви, изгнал парламент из Парижа и попытался заменить его специально для этого созданной Королевской палатой. Последняя, однако, не имела никакого авторитета среди населения, которое предпочло разрешать свои споры третейским путем, лишь бы не обращаться к ней. Король был вынужден вернуть парламент в Париж. Многочисленные в XVIII в. конфликты Парижского и местных парламентов с двором были предвестием приближающейся революции.

297

Бастилия — крепость в Париже, выстроенная в XIV в., служила тюрьмой для политических заключенных и стала в глазах народа символом деспотизма. Взятие Бастилии 14 июля 1789 г. революционным народом явилось первым звеном в цепи событий французской буржуазной революции XVIII в.

298

Д'Аржансон Марк-Пьер – военный министр Людовика XV, был другом Вольтера и энциклопедистов; Дидро посвятил ему «Энциклопедию».

299

...представление в Бельвю... – Маркиза Помпадур устроила этот спектакль 5 марта 1753 г.

300

Ла Ну — знаменитый актер того времени, выступавший в трагедиях Корнеля и Вольтера.

301

...я всегда предпочитал этот театр остальным двум. – В Париже того времени было три драматических театра: Французская Комедия, Итальянская Комедия и Театр Сен-Жерменской и Сен-Лоренской ярмарки. Руссо предпочитал первый из трех перечисленных театров.

302

Моя пьеса была принята с похвалами и представлена… – «Нарцисс» был поставлен во Французской Комедии 18 декабря 1752 г.

303

Госсен и *Гранеаль* – известные актрисы того времени.

304

Сен-Жермен. – В этом селении Руссо написал свое «Рассуждение о неравенстве».

305

Булонский лес. – В эпоху Руссо – лес возле Парижа, служивший местом загородных прогулок для парижан; в настоящее время – парк в пределах города.

306

...я лишился прав гражданства... – В юности Руссо перешел из протестантизма в католичество и тем самым лишился звания гражданина Женевы (см. кн. II).

307

Консистория – орган Женевской республики, ведавший «нравственностью населения» и осуществлявший ее проверку.

308

...был восстановлен в правах гражданина. – Руссо был восстановлен в правах женевского гражданина после возвращения его к протестантизму, 29 июля 1754 г.

309

Граждане и *горожане* – два высших сословия в Женевской республике, которым фактически принадлежала вся власть.

310

Генеральный совет – высший представительный орган Женевской республики, утверждавший законы и налоги, объявлявший войну и заключавший мир.

311

Синдик. – В Женевской республике было четыре синдика, избираемых на год высшими правительственными органами и ведавших всеми отраслями государственного управления. Первый синдик председательствовал во всех трех советах.

312

Делюк Жак-Франсуа – женевский часовщик, член магистрата Женевской республики.

313

Роман Руссо «*Новая Элоиза*» вышел в свет в 1761 г.; действие его происходит главным образом на берегах Женевского озера.

314

Совет двухсот (точнее, двухсот пятидесяти) – правительственный орган Женевской республики, игравший роль высшей судебной инстанции.

315

Мульту (1725–1785) – протестантский пастор, друг Руссо, которому последний вручил для хранения рукопись «Исповеди».

316

«*Политические установления*» – неосуществленное произведение Руссо, частью которого должен был быть знаменитый «Общественный договор».

317

«*История Вале*» – то есть история кантона Вале; незаконченное произведение Руссо, оставшееся лишь в отрывках.

318

Лукреция – знатная римлянка VI в. до н. э., покончившая с собой после бесчестия, которое нанес ей сын царя Тарквиния Гордого.

319

Малый совет (или сенат), из двадцати пяти членов, был одним из государственных органов Женевской республики; ему принадлежала высшая административная власть.

320

...осуществить свое намерение вернуться в Женеву... – Руссо уехал из Женевы в начале октября 1754 г.

321

...Вольтер обосновался около Женевы. – Вольтер поселился возле Женевы в 1755 г., после своего разрыва с прусским королем Фридрихом II и отъезда из Берлина. Вернуться в Париж он не мог, так как чувствовал себя во Франции под постоянным подозрением в неблагонадежности. Этим и объясняется его пребывание в Швейцарии, сперва в имении «Делис», потом в знаменитом Фернее, до 1778 г., когда он приехал в Париж и там умер.

322

...уже в то время Троншены составляли заговор с целью поработить свое отечество... – Семья Троншенов, членом которой был известный врач Теодор Троншен (см. прим.), бывший сперва другом, а затем врагом Руссо, принадлежала к женевской аристократии. В борьбе с демократическими слоями Женевы партия аристократов искала опоры за пределами республики – у властей Цюриха, Берна и королевского правительства Франции. Именно это имеет в виду Руссо, говоря о заговоре Троншенов против независимости Швейцарии. Этим же обстоятельством объясняются и гонения, которым подвергся Руссо как сторонник демократической партии (см. кн. XII).

323

Палиссо (1730–1814) – французский литератор, автор трагедий, комедий, памфлетов; вел в угоду реакционным придворным кругам ожесточенную кампанию против энциклопедистов. Комедия, о которой идет речь в тексте, называлась «Кружок» и представляла собой пасквиль на Руссо.

324

...потребовать изгнания г-на Палиссо из своей академии. – Бывший польский король Станислав Лещинский после изгнания его из Польши жил при дворе своего тестя Людовика XV. Как владетель герцогства Лотарингия, с главным городом Нанси, он академию этого города считал «своей».

325

…как сказал это в «*Эмиле*»… – См. «Эмиль», кн. V, – советы воспитателя Эмилю после возвращения из путешествия.

326

Мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью… – Руссо имеет в виду «Рассуждение о происхождении неравенства» (1754).

327

…как в Голландии. – Голландия была в эпоху Руссо страной, где передовые французские литераторы могли печатать свои произведения, не опасаясь французской цензуры.

328

...исповедание веры... Элоизы... – См. «Новая Элоиза», ч. VI, письмо XI, в котором муж Юлии г-н де Вольмар описывает Сен-Пре ее последние минуты. В письме содержится, между прочим, пространный ответ Юлии на вопрос священника, желает ли она умереть в согласии с требованиями протестантской церкви. Этот ответ представляет собой изложение взглядов Руссо, тождественное с тем, которое дает «Исповедание веры савойского викария» в «Эмиле».

329

Де Сен-Пьер (1658–1743) – французский философ и публицист, один из предшественников энциклопедистов, автор «Проекта вечного мира»; он выдвинул предложение о создании всеевропейского арбитражного трибунала, который разрешал бы возникающие между государствами конфликты мирным путем.

330

«*Чувственная мораль, или Материализм мудреца*» – сочинение Руссо, оставшееся в наброске (1756).

331

«*Музыкальный словарь*». – Работа Руссо, выросшая из его статей о музыке в «Энциклопедии» и законченная как самостоятельное произведение в 1764 г. Считая этот труд несовершенным как целое, Руссо очень ценил отдельные составляющие его заметки.

332

Игра в «*три*» – старинная игра в карты.

333

Кервель— растение, употребляемое в пишу в качестве приправы.

334

...участь сонета в «*Мизантропе*». – В комедии Мольера «Мизантроп» (1666) щеголь Оронт, мнящий себя поэтом, читает свой бездарный и жеманный сонет главному действующему лицу комедии, прямодушному Альцесту, который говорит автору правду в глаза, чем навлекает на себя его гнев и угрозу возбудить против него судебное преследование.

335

«*Полисинодия*» – сочинение де Сен-Пьера (см. прим.), проводящее, как и «Вечный мир», мысль о необходимости создать всеевропейский арбитражный трибунал и содержащее резкую критику царствования Людовика XIV. За это сочинение, написанное в 1718 г. при регенте Филиппе Орлеанском, Сен-Пьер по настоянию жены сына Людовика XIV, герцогини де Мен, и бывшего главного министра Людовика XIV, кардинала де Полиньяка, был исключен из Французской академии.

336

«*О разрушении Лиссабона*» – поэма Вольтера, написанная в 1756 г. по поводу землетрясения в столице Португалии Лиссабоне (1 ноября 1755 г.), повлекшего за собой большое количество жертв; в этой поэме Вольтер выступает против идеи благости провидения. Руссо возражал своим «Письмом о провидении» (1756), где доказывал, что «источник царящего в мире зла» – в самом человеке, испорченном культурой и ложно относящемся к окружающему.

337

«*Кандид*» – философский роман Вольтера (1759), где в лице доктора Панглоса, провозглашающего тезис: «Все к лучшему в этом лучшем из миров», – осмеиваются последователи немецкого философа Лейбница (см. прим.), для которого этот тезис служил доказательством якобы существующей в мире «предустановленной гармонии».

338

Фессалия – область Греции, славящаяся своей живописностью.

339

Борромейские острова. – См. прим.

340

Сен-Ламбер (1716–1803) – второстепенный французский поэт, автор описательной поэмы «Времена года»; был фактическим мужем г-жи д’Удето, с которым она осталась до конца его жизни связана большим чувством.

341

Магон – крепость на одном из Балеарских островов в Средиземном море (о. Минорка), в эпоху Руссо принадлежавшая Франции; в настоящее время принадлежит Испании.

342

...создать из этого нечто вроде романа. – Речь идет о романе «Новая Элоиза», где в форме отношений главных героев Юлии и Сен-Пре Руссо дал идеализированное изображение своих отношений к г-же д’Удето и отчасти к г-же де Варане.

343

Буря, поднятая «*Энциклопедией*»... – Руссо имеет в виду ожесточенную борьбу между группировавшимися вокруг «Энциклопедии» философами-просветителями, с одной стороны, и силами реакции (иезуиты, янсенисты, многие сановники) – с другой; борьба эта привела к запрету первых двух томов «Энциклопедии» в 1752 г. и всего издания – в 1759 г.

344

Вольмар и *Юлия* – герои романа «Новая Элоиза», сюжет которого состоит в том, что Юлия, любящая Сен-Пре, в силу ряда причин оказывается вынужденной выйти за Вольмара и сохраняет ему верность, подавив прежнее чувство к Сен-Пре. Вольмар знает о ее любви к Сен-Пре, но вполне доверяет ее чувству долга. Оба персонажа, по мысли Руссо, должны были служить образцом супружеской пары, чей брак основан на взаимном уважении и понимании.

345

Пигмалион – древнегреческий скульптор, по преданию, влюбившийся в созданную им самим статую Галатеи, которую богиня любви Афродита, внявши его мольбам, оживила, так что он мог жениться на ней.

346

Латур (1704–1788) – французский портретист. Портрет, о котором идет речь в тексте, является одним из лучших воспроизведений облика Руссо.

347

Салон – помещение для выставок картин и скульптур, а также сама выставка, организуемая ежегодно.

348

...я узнал о покушении сумасброда... – 5 января 1757 г. Робер Дамьен, по профессии лакей, совершил в Версале покушение на Людовика XV, нанеся ему легкую рану ножом. Свой поступок Дамьен объяснил желанием пробудить в короле сознание того ужасного положения, в которое он привел Францию своим деспотизмом. Дамьен был подвергнут жестоким пыткам и казнен четвертованием. Покушение это, хотя и совершенное одиночкой, тем не менее явилось одним из выражений нараставшего в стране возмущения абсолютистской монархией.

349

«*Побочный сын*» – пьеса Дидро (1771), принадлежащая к жанру так называемой «буржуазной драмы», которая в отличие от трагедии классицизма ставила себе задачей изображать не придворных в обличье древнегреческих и римских героев, а представителей буржуазии в повседневном быту.

350

...письма об Элизиуме и о катании на лодке по озеру. – Речь идет о двух письмах героя «Новой Элоизы» Сен-Пре к его другу милорду Эдуарду, помещенных в конце четвертой части романа и принадлежащих к наиболее поэтическим местам этого произведения.

351

Я где-то сказал, что чувственности не надо уступать ничего… – См. «Новая Элоиза», ч. 3-я, письмо XVIII Юлии к Сен-Пре.

352

...Гримм… сопровождавший де Кастри в армию, был в Вестфалии… – Кастри — маршал Франции при Людовике XV; в тексте речь идет о военных действиях между Францией и Пруссией во время Семилетней войны (1756–1763).

353

Помимо бури, разразившейся против «*Энциклопедии*»... – Намек на запрещение «Энциклопедии» в 1759 г. Издание «Энциклопедии» в семнадцати томах было все же закончено в 1765 г.

354

...говорили, что он взят... у Гольдони... – В предисловии к пьесе «Побочный сын» (1757) Дидро указывал, что сюжет взят им из действительной жизни; тем не менее его упрекали в том, что сюжет этот заимствован из комедии итальянского комедиографа Гольдони «Настоящий друг».

355

...приехал из армии Сен-Ламбер. – Сен-Ламбер участвовал в то время в Семилетней войне, происходившей между Пруссией, с одной стороны, и Францией, Австрией и Россией, с другой. Французская армия находилась в Германии.

356

Если эти письма еще существуют... – Писем Руссо к г-же д'Удето не сохранилось; можно думать, что они были ею уничтожены.

357

Духовный концерт — организация, регулярно устраивавшая в Париже концерты духовной музыки.

358

Граф де Тюфьер — действующее лицо комедии Детуша «Хвастун» – тип кичливого вельможи.

359

Он был Лафлер этого нового Хвастуна. – Лафлер — лакей графа де Тюфьера в комедии Детуша «Хвастун» (см. прим.).

360

...застал его (*Гримма*) *за чисткой ногтей особой щеточкой.* – Это место «Исповеди» встретило шутливый отклик у Пушкина в «Евгении Онегине» (глава I, строфа XXIV).

361

Tyran le Blanc — по-французски значит буквально «белый тиран»; но если это же звукосочетание написать Tirant le blanc, то оно будет значить: «Прибегающий к белилам».

362

Жорж Данден — герой одноименной комедии Мольера (1668), тип простака, вынужденного нести все последствия неудачной женитьбы на женщине, выше его по положению, и беспрестанно просить извинения за то, в чем он по существу прав.

363

…тайный повод, но… его от меня скрывают. – Намек на беременность г-жи д’Эпине, которую Руссо считал следствием связи г-жи д’Эпине с Гриммом и истинной причиной ее поездки в Женеву.

364

Вольфенбюттель — город в Германии.

365

Прокурор — прозвище, данное г-же Левассер ее мужем, с которым она обходилась довольно сурово; Гримм в шутку перенес это прозвище на ее дочь Терезу.

366

Принц Конде. – Род *Конде* — боковая линия царствовавшего во Франции дома Бурбонов; здесь речь идет о Луи-Жозефе Конде – губернаторе Бургундии и одном из французских полководцев в Семилетней войне; он поддерживал знакомства с литераторами и был относительно либеральным в описываемый период, но играл самую реакционную роль в эпоху первой французской буржуазной революции.

367

Остров Тиньян — остров в Тихом океане, к северо-востоку от Новой Гвинеи.

368

...о статье «Женева», которую д'Аламбер написал для «Энциклопедии». – В этой статье, помещенной в VII томе «Энциклопедии», д'Аламбер выступил защитником театра как полезного учреждения, решительно осуждая запрет, которому подвергался этот вид искусства в Женеве со стороны господствовавшей там кальвинистской (протестантской) церкви, и выдвигая проект создания в Женеве театра. Статья была вдохновлена Вольтером. Руссо, напротив, дорожил удаленностью родного города от того, что он считал развращающим влиянием цивилизации.

369

Катина (1637–1712) – маршал Франции, один из наиболее выдающихся полководцев Людовика XIV; был любим солдатами; оставил «Мемуары».

370

«Письмо к д'Аламберу о зрелищах». – Речь идет о знаменитом письме Руссо к д'Аламберу, появившемся в 1758 г. в ответ на упомянутую выше статью д'Аламбера «Женева» в «Энциклопедии».

371

Турнемин— французский иезуит, один из сотрудников реакционного иезуитского органа «Журналь де Треву», который вел ожесточенную борьбу с энциклопедистами.

372

Я решил вставишь в свое сочинены в виде примечания отрывок из «*Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова*». – В «Письме к д'Аламберу», касаясь своего конфликта с Дидро, Руссо писал: «У меня был Аристарх, строгий и справедливый. У меня его больше нет, и я не хочу другого. Но я буду всегда сожалеть о нем, и сердцу моему его не хватает еще больше, чем моим сочинениям». В подстрочном примечании к этому месту дана выписка из Библии, кончающаяся следующими словами: «…поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга».

373

Мармонтель (1723–1799) – французский писатель-энциклопедист.

374

Д’Аржансон. – См. прим.

375

Граф de Сен-Флорантен – один из наиболее реакционных министров при Людовике XV.

376

Луазо de Молеон – знаменитый во Франции адвокат, с большим успехом выступавший в громких политических процессах, – например, в деле протестанта Каласа, невинно осужденного и казненного в 1762 г. по ложному обвинению в убийстве собственного сына, якобы желавшего перейти в католичество. По настоянию Вольтера, поднявшего энергичную кампанию против приговора, дело было пересмотрено и память Каласа реабилитирована.

377

Боссюэ. – См. прим.

378

Ораторьянцы. – См. прим.

379

Панург и *Дандено* – персонажи романа «Пантагрюэль» крупнейшего французского писателя эпохи Возрождения Рабле (р. 1483 или ок. 1494 – ум. 1553 г.). Лукавый Панург, поссорившись со скотопромышленником Дандено, в отместку купил у него барана и кинул его в море; тогда в море бросилось и все стадо, а вместе с ним и хозяин, вцепившийся в последнего из своих баранов, чтобы его удержать. Выражение «улыбка Панурга» вошло в поговорку.

380

Демаи – второстепенный французский поэт, автор трех комедий, из которых поставлена была лишь упоминаемая Руссо «Потерянная записка, или Нахал» (1750).

381

Ламуаньон de Мальзерб Кретиен-Гильом де (1721–1794) – один из крупнейших сановников Людовика XV, отличавшийся сравнительно прогрессивным образом мыслей, боровшийся с злоупотреблениями и казнокрадством, покровительствовавший энциклопедистам; в описываемую эпоху он занимал пост главного цензора.

382

Не в этом ли заключается также первоисточник… неумолимой ненависти… другой дамы… — Руссо имеет в виду графиню де Буффле, любовницу принца Конти.

383

«*Газета ученых*», основанная в 1665 г., была первым в Европе изданием такого рода.

384

Де Меран. – См. прим. *Клеро* – французский математик. *Де Гинь* – китаевед. *Бартелеми* – писатель по разнообразным научным вопросам.

385

Монтень (1533–1592) – знаменитый французский писатель, автор «Опытов», тонкий наблюдатель общественных нравов и свободомыслящий философ-скептик, отрицавший авторитет церкви, идейный предшественник просветителей.

386

Монморанси, старинная… вотчина знаменитого рода… после конфискации уже не принадлежит ему. – Анри *Монморанси,* маршал Франции, был казнен в 1632 г. за участие в восстании против французского короля Людовика XIII, а имения его были конфискованы.

387

Ленотр Андре (1613–1700) – французский архитектор XVII в. и планировщик садов, создавший свой стиль в этом искусстве; ему принадлежит планировка королевских парков в Версале.

388

Герцог Люксембургский (1702–1764) – один из крупнейших военачальников французской армии в Войне за австрийское наследство, маршал Франции с 1757 г., в эпоху своей дружбы с Руссо находившийся уже на покое.

389

Герцогиня Люксембургская, в первом браке маркиза де *Буффле,* – блестящая светская дама, в молодости славившаяся своим легкомысленным поведением, а в старости ставшая законодательницей хорошего топа.

390

Лебрен Шарль (1619–1690) – французский художник, придворный живописец Людовика XIV, мастер декоративного искусства.

391

Я написал отдельно приключения милорда Эдуарда… – эпизод, предназначавшийся к включению в роман «Новая Элоиза», в окончательную его редакцию не вошедший.

392

Кого захочет погубить Юпитер, – разума лишает (*лат.*).

393

Стихи, приписываемые Вергилию биографом Руссо Донатом, в действительности же относящиеся к более поздней поре.

394

Ее брат был… назначен командиром фрегата, действовавшего против англичан. – Во время Семилетней войны военные действия против англичан велись на море и в колониях. Морская война была неудачной для Франции и закончилась потерей Индии и Канады, окончательно перешедших к Англии.

395

Силуэт – министр финансов при Людовике XV.

396

Кларан – швейцарское селение в кантоне Во на берегу Женевского озера; поблизости находился замок, к которому Руссо приурочил место действия своего романа «Новая Элоиза».

397

Палиссо. – См. прим. *Комедия* «*Философы*» представляет собой пасквиль на Дидро, Гельвеция и Дюкло. Руссо изображен в сравнительно более мягких тонах. От осмеяния Вольтера автор отказался вовсе. Пьеса инспирирована группой реакционных аристократов, возглавлявшейся де Робеком.

398

Морелле Андре, аббат, де (1727–1819) – публицист-просветитель, один из видных сотрудников «Энциклопедии». Название упоминаемой Руссо брошюры Морелле: «Предисловие к «Философам», виденье Шарля Палиссо» (1760).

399

Маршал… отправился в Руан… чтобы успокоить какие-то волнения в парламенте. – О парламентах в дореволюционной Франции и «Бордоский парламент» см. прим. – «Распря между парламентом и духовенством».

400

Формей Жан-Луи Самюэль (1711–1797) – один из второстепенных французских энциклопедистов, живший и работавший в Берлине. О его подделке «Эмиля» см. ниже, кн. XII, и прим.

401

Вы развратили Женеву... – Руссо считал пагубным учреждение в Женеве театра, осуществившееся по инициативе и при содействии Вольтера.

402

Пале-Рояль. – См. прим.

403

Супруга дофина – жена сына Людовика XV, принца Людовика, который умер раньше отца, урожденная принцесса Мария Саксонская.

404

«*Принцесса Клевская*» – роман французской писательницы де Лафайет (1678), отличающийся тонкостью психологических характеристик.

405

Если бы… «Юлия» была выпущена в одной известной нам стране… книга моя умерла бы… – Имеется в виду Англия.

406

Ричардсон (1689–1761) – английский писатель, один из создателей буржуазного реалистического романа в Англии; автор «Клариссы Гарлоу», «Памелы» и «Грандиссона».

407

Предисловие в форме диалога. – Кроме краткого предисловия в обычной форме – от лица автора, – Руссо предпослал «Новой Элоизе» «второе предисловие», в виде пространного диалога между автором и воображаемым читателем «Новой Элоизы» в рукописи; в нем Руссо отказывается подтвердить или опровергнуть реальность описываемых в романе лиц и событий, а также объяснить, является ли он автором или лишь издателем составляющих этот роман писем Юлии, Сен-Пре, Вольмара и их друзей.

408

«*Вечный мир*» – сочинение де Сен-Пьера (см. прим.).

409

Бастид – второстепенный французский литератор, автор ряда ходких романов и комедий; редактируемый им журнал «*Весь мир*» – литературное обозрение (1760–1761), продолжение «Французского зрителя» (см. прим.).

410

Борде Теофиль, де (1722–1776) – знаменитый в то время врач, автор ряда научных работ по медицине.

411

...совет, какай Киней подал Пирру. – См. прим.

412

Шуазель Этьен-Франсуа, герцог (1719–1785) – министр иностранных дел при Людовике XV; в конце неудачной для Франции Семилетней войны он содействовал заключению в 1761 г. так называемого *Семейного договора,* т. е. договора между Францией, Испанией и Неаполитанским королевством о борьбе с морским могуществом Англии; договор назывался «Семейным», потому что во всех трех участвовавших в нем странах у власти были Бурбоны.

413

...я в одном штрихе дал понятие обо всем, что думал о предшествующих министрах... – В гл. 3-й книги VI «Общественного договора» Руссо, сравнивая монархическое правление с республиканским, говорит, что в последнем на видные посты народ выдвигает обычно людей, достойных порученного им дела, тогда как при монархическом «подлинно достойный человек на министерском посту почти так же редок, как дурак во главе республиканского правительства».

414

...не раз мне пришлось вспоминать об участи Жиль-Блаза... – В знаменитом романе французского писателя Лесажа «Жиль-Блаз» (1715) герой, сменив ряд должностей, поступает секретарем к архиепископу Гренадскому, который обязывает Жиль-Блаза давать правдивую оценку его проповедям. Однако, когда Жиль-Блаз высказывает неодобрение, архиепископ в гневе прогоняет его.

415

Эно Шарль – председатель парижского парламента; выступал как историк и поэт.

416

Дюдефан Мари (1697–1780) и *Леспинас* Жюли (1732–1776). – Первая оставила обширную переписку, имеющую историко-культурное значение; в доме второй, славившейся своим умом, собирались философы-энциклопедисты.

417

Тампль – старинный замок в Париже, ранее служивший резиденцией высших властей рыцарского ордена тамплиеров (храмовников); в эпоху Руссо принадлежал ордену госпитальеров, где большую роль играл принц Конти.

418

…он (Дювуазен)*…отозвался с великими похвалами о моем сочинении… решив выступить мстителем за христианство…* – Христианству посвящена глава 8-я книги IV «Общественного договора»; Руссо характеризует в ней христианство как силу антиобщественную, отрывающую человека от его гражданских обязанностей.

419

Бедствия неудачной войны… – Имеется в виду Семилетняя война.

420

…*самодурство упрямой женщины*… – Руссо имеет в виду маркизу де Помпадур, любовницу Людовика XV.

421

…если бы бразды правления не попали… в одни руки… – то есть в руки герцога Шуазеля, сумевшего до некоторой степени подчинить г-жу Помпадур своему влиянию.

422

...г-н канцлер... очень дружен с иезуитами. – Имеется в виду канцлер Ламуаньон, отец цензора Мальзерба (см. прим.)

423

«Общественный договор» появился за месяц или за два до «Эмиля». Оба произведения вышли в свет в 1762 г.

424

Брат Ком (настоящая фамилия – Базейлак) – известный парижский хирург XVIII в. Псевдоним объясняется тем, что св. Ком (Козьма) считался покровителем хирургов.

425

Турень — область в Центральной Франции.

426

Лакондамин Шарль-Мари, де (1701–1774) – французский ученый, математик, член Академии.

427

Клеро – французский математик, член Академии.

428

...появилось другое сочинение на эту же тему... – «Эмиль» был не раз объектом подделки. Когда правительство Голландии, где был выпущен «Эмиль», осудило это издание и Неольму, издателю его, грозил штраф, он обратился к французскому писателю Формею (см. прим.), опубликовавшему в 1763 г. «Анти Эмиля», с просьбой переработать текст «Эмиля», изъяв из него все вызывающее осуждение правительства. Результатом было издание: «Эмиль-христианин, предназначенный для общественной пользы и редактированный г-ном Формеем». Издание, разумеется, не имело сбыта, но избавило Неольма от штрафа.

429

...рассуждения… достойные… инквизитора из Гоа. – Гоа – главный город португальских владений в Индостане. В отсталой, фанатически религиозной Португалии инквизиция (то есть церковный суд) играла огромную роль; на территории колоний она не стеснялась в средствах «воздействия»: сожжение заживо было одним из излюбленных приемов ее миссионерской деятельности.

430

Юм (1711–1776) – английский философ, предвозвестник позднейшего кантианства и современного прагматизма, агностик; утверждал невозможность научного познания внешнего мира. Во время пребывания Руссо в Англии в 1766–1767 гг. он первое время был в дружбе с Юмом, но затем между ними произошел разрыв.

431

Шампо — местность в 40 км от Парижа.

432

Лотарингский дом. – Начиная с X в. и до конца первой французской буржуазной революции Южная Лотарингия являлась самостоятельным государством, где с XI в. у власти находился род, происходящий от герцогов Брабантских. Жена маршала Франции *Мирпуа* принадлежала к этому роду.

433

Геснер – швейцарский поэт, автор пользовавшихся в свое время большой популярностью написанных по-немецки «Идиллий»; в год своего появления (1756) они были переведены на французский язык.

434

...Безансон, место военных действий... – Во время Семилетней войны возле города Безансона, близ швейцарской границы, происходили военные действия между французскими и прусскими войсками.

435

Берн – в настоящее время столица Швейцарии; в эпоху Руссо – столица самостоятельной Бернской области, представлявшей собой аристократическую республику.

436

«*Об уме*» – трактат, принадлежащий французскому энциклопедисту Гельвецию (вышел в 1758 г.); представляет собою одно из ярких проявлений философского материализма XVTII в.

437

Байи – правительственный чиновник, имевший административную и судебную власть.

438

Невшательское графство. – Невшатель, область в Швейцарии, с главным городом Невшатель, была самостоятельным графством, а в 1707 г. перешла по наследству к прусскому королю Фридриху I и оставалась в руках Пруссии до 1806 г. В настоящее время – кантон Швейцарии.

439

...во владениях прусского короля я... становился недостижимым для преследований... – Фридрих II, король Пруссии (1740–1786), подчеркивал свое «сочувствие» философам-энциклопедистам (привлекал к себе на службу Вольтера, оказал покровительство Руссо и т. п.), что не мешало ему оставаться деспотом, душившим всякое проявление свободной мысли в своей стране.

440

...его вполне разъясняла предыдущая строка. – В действительности под портретом Фридриха II была первая строка двустишия, а вторая строка гласила: «Тщеславье и корысть – таков его пароль».

441

...было достаточно ясно, кого я подразумеваю под именем Адраста, царя данайцев. – В «Эмиле» (кн. V) есть намек на прусского короля Фридриха II; обозначая его иносказательно именем аргосского царя Адраста (*греч. миф.*), поддерживавшего губительную ссору между двумя братьями, правителями Фив, Руссо имел в виду роль Фридриха во время Семилетней войны.

442

Кориолан…вольсков… – римский полководец (Ув. до н. э.), осужденный на изгнание, невзирая на его заслуги перед Римом; он перешел к врагам Рима, *вольскам,* которыми был радушно принят, несмотря на свои прежние победы над ними.

443

«*Трактат о воспитании*». – Руссо имеет в виду свой роман-трактат «Эмиль, или О воспитании».

444

...угрызения совести... вынудили у меня почти открытое признание в начале «*Эмиля*». – «Отец, дающий рождение и кормящий своих детей, тем самым выполняет лишь третью часть своих обязанностей… Кто не может выполнять своих обязанностей отца, тот не имеет права становиться отцом. Ни бедность, ни труд, ни почтение со стороны окружающих не освобождают его от необходимости кормить своих детей и самому их воспитывать. Читатели, вы можете поверить мне: я предрекаю всякому, имеющему сердце и пренебрегающему своими святыми обязанностями, что ему придется оплакивать горькими слезами свою ошибку и не утешиться никогда» («Эмиль», кн. I).

445

Милорд Кейт. – Речь идет о Джордже Кейте (1693–1779), шотландском офицере на прусской службе, губернаторе Невшателя и друге Руссо (см. о нем ниже в тексте). Брат его Джемс Кейт – английский генерал, игравший видную роль во время Семилетней войны, состоял на службе у Фридриха II.

446

Коронный судья – то есть судья по назначению высшей власти; ведал делами о государственных преступлениях.

447

Дом Стюартов – королевская династия, правившая в Англии с 1603 по 1688 г., когда Стюарты в лице Иакова II были окончательно свергнуты буржуазной революцией (см. прим. – «Якобиты»).

448

Пастор Птипьер утверждал в своих проповедях в Невшателе, что адские муки, ожидающие, согласно учению христианской церкви, грешников после смерти, – не вечны, а имеют временный характер. За это он был лишен должности (1762) и вынужден провести двенадцать лет в Англии, в изгнании.

449

По поводу мира, в скором времени им заключенного… – Речь идет о Парижском мире 1763 г., завершившем Семилетнюю войну.

450

...я написал той и другой по письму, и первое из них облетело весь мир. – В этой короткой записке Руссо пишет: «Думайте о том, что носить шнурок, сплетенный рукою, начертавшей обязанности матери, значит взять на себя обязательство выполнить их».

451

…сын одного суринамского командира… – Суринамом называлась Голландская Гвиана (в Южной Америке), по названию реки, протекающей в этой области.

452

«*Меркурий*». – Речь идет о журнале, выходившем в Невшателе с 1732 г. под заглавием «Швейцарский Меркурий».

453

Реформатская церковь – протестантизм.

454

Сорбонна. – Здесь имеется в виду богословский факультет Парижского университета.

455

Послание архиепископа Парижского. – Архиепископ Парижский Кристоф де Бомон вел ожесточенную борьбу со свободомыслием. В своем «Послании» (1762), осуждающем «книгу «Эмиль» женевского гражданина Ж.-Ж. Руссо», архиепископ называет Руссо безумцем, обманщиком и нечестивцем и запрещает всей своей пастве читать и держать «Эмиля» у себя в доме. «Ответ Руссо, женевского гражданина», в котором Руссо дает язвительную критику официальной религии, принадлежит к лучшим и наиболее известным произведениям писателя.

456

Граждане и *горожане.* – См. прим.

457

Партия представителей. – Так называлась в Женевской республике партия сторонников расширения прав Генерального совета, боровшаяся с ограничительными тенденциями аристократической «партии отрицателей», которую поддерживала также корпорация пасторов.

458

Главный прокурор Троншен. – Имеется в виду Жан-Робер *Троншен,* родственник врача Троншена и, так же как этот последний, сторонник аристократической партии в Женеве (см. прим.); в качестве главного прокурора он возбудил дело против Руссо и добился осуждения книг «Эмиль» и «Общественный договор», а также их автора. Он написал «*Письма с равнины*».

459

«*Письма с горы*» – сочинение Руссо (1764), политический памфлет, направленный против аристократической партии в Женеве.

460

Тонон — город на берегу Женевского озера.

461

Дофине — старинная область на юге Франции, близ Швейцарии, с главным городом Греноблем.

462

Карпантра— город на юге Франции.

463

Он много толковал мне – может быть, с определенной целью – о свободе печати в Авиньоне… – Авиньон, город на юге Франции, со второй половины XIV в. и до первой французской буржуазной революции принадлежал римскому папе, а потому был изъят из сферы действия французских законов.

464

Гумуань – швейцарское селение в кантоне Во.

465

Понтарлье — французский город возле швейцарской границы.

466

Мюссар. – См. кн. VIII.

467

...и я ему ответил так, как сказал в первой части моей «Исповеди». – См. кн. II.

468

Фенелон, Берне, Катина. – *Фенелон.* – См. прим. *Берне* – женевский епископ, содействовавший переходу г-жи де Варане из протестантской религии в католическую. *Катина.* – См. прим.

469

Абердин — портовый город в Шотландии, на берегу Северного моря.

470

«*Диалоги Фокиона*» – сочинение Мабли (1763), точное заглавие: «Беседы Фокиона об отношении нравственности к политике». Мабли излагает здесь свои общественные взгляды под видом перевода несуществующей греческой рукописи афинского оратора и политического деятеля IV в. до н. э. Фокиона. Источник законности в государстве Мабли видит в добродетели граждан и их готовности жертвовать личными интересами для родины.

471

«*Письмо о французской музыке*». – Об этом сочинении Руссо (1753) см. кн. VIII.

472

Бурбонн — курорт в Северной Франции с горячими источниками.

473

Он получил большую известность во Франции… своими трактатами о торговле и политике, а в последнее время своей историей дома Стюартов… – Английский философ Юм (см. прим.) в своих работах по экономике выступал сторонником свободы торговли, проповедником меркантилизма. Под историей дома Стюартов Руссо подразумевает «Историю Англии» Юма, тт. I и II, появившиеся в 1754 и 1756 гг., в которых автор стоит на точке зрения тори (консерваторов).

474

«*Видение горного отшельника Петра, по прозванию Ясновидящий*» – остроумная пародия Руссо (1765) на многочисленные сочинения о чудесах святых, распространяемые церковью.

475

Верн — женевский пастор; поддерживал отношения с Вольтером и Руссо, но разошелся с последним и опубликовал против него «Письма о христианстве Ж.-Ж. Руссо».

476

Естествоиспытатель Бонне Шарль (1720–1793) – известный во времена Руссо швейцарский натуралист и философ.

477

Флегетон — по древнегреческому мифу, огненная река в царстве мертвых.

478

Людовик Вюртембергский — герцог *Вюртембергский* (1731–1795) воспитывался при дворе Фридриха II, служил в армии Людовика XV, затем принимал участие в Семилетней войне на стороне Австрии. В 1762 г. поселился в Лозанне и поддерживал отношения с Вольтером и Руссо. Вступил на вюртембергский трон в 1793 г.

479

Остров Папимания – воображаемый остров, фигурирующий в романе Рабле «Пантагрюэль» как страна, населенная бездельниками, фанатическими приверженцами Папы Римского.

480

«*Где больше делают: в бездействии живут*». – Стих взят из басни французского баснописца XVII в. Лафонтена «Черт из Папефигьеры», фантастической страны, населенной еретиками, не признающими власть папы.

481

Работа Пенелопы. – В древнегреческой поэме «Одиссея» жена царя Итаки Одиссея – Пенелопа – во время долголетнего отсутствия мужа, чтобы уклониться от домогательств женихов, считавших Одиссея погибшим, объявила, что выйдет за одного из них, когда кончит ткать начатое покрывало, но по ночам распускала то, что успевала соткать днем.

482

Линней Карл (1707–1778) – шведский натуралист, знаменитый своей классификацией растений, а также животных и минералов, которая лежит в основе и современной научной номенклатуры, хотя исходная позиция Линнея – о неизменности видов – опровергнута дарвинизмом.

483

Людвиг (1709–1773) – немецкий натуралист и врач.

484

Фагон Ги-Кресан (1638–1718) – главный врач Людовика XIV, был директором королевского «Ботанического сада».

485

Мишели Дюкре. – См. прим.

486

В «*Общественном договоре*» *я говорил о корсиканцах…* – См. кн. II, гл. X, где Руссо восхищается национально-освободительной борьбой корсиканцев.

487

Буттафуоко – один из вождей профранцузской партии на Корсике, содействовавший присоединению Корсики к Франции; служил на командных должностях во французской армии.

488

Паоли – вождь национально-освободительного движения на Корсике, направленного против власти Генуэзской торговой республики; возглавлял корсиканское правительство с 1755 по 1768 г., когда был разбит войсками графа Во, после чего Корсика перешла к Франции.

489

Франция… заключила договор с генуэзцами. – В 1768 г. Генуя, по Компьенскому договору, уступила Корсику Франции.

490

…обеим дамам, желавшим распоряжаться мной… – Руссо имеет в виду г-жу де Буффле и герцогиню Люксембургскую.

491

Теорба – струнный музыкальный инструмент вроде лютни.

492

Пелазги – упоминаемый древнегреческими писателями народ, населявший территорию, которую впоследствии заняли греки. В XVIII в. так называли греков древнейшего периода.

493

...пришлось бы о Сократе судить по его жене Ксантиппе, а о Дионе по его другу Калиппу... – *Ксантиппа* – жена древнегреческого философа Сократа (V в. до н. э.), отличалась сварливостью и полным непониманием умственных интересов мужа. Имя ее стало нарицательным. *Дион Сиракузский* – дядя тирана Сиракузского Дионисия Младшего (IV в. до н. э.), восставший против племянника; утвердиться у власти Диону не удалось, так как его аристократическая ориентация, вскоре обнаружившаяся, восстановила против него демократические слои населения; он был свергнут афинянином *Калиппом,* которого считал своим другом.

494

«*Военнопленные*» – комедия Руссо, написанная в 1743 г., после военных неудач Франции в Войне за австрийское наследство. Любовь военнопленного французского офицера к дочери венгерского дворянина торжествует здесь над предрассудками национальной розни.

495

Разгром французов в Баварии и Богемии – эпизоды Войны за австрийское наследство.

496

Ребель Франсуа – сын придворного композитора (см. прим.), впоследствии сам занимавший крупные музыкальные должности при дворе; четырнадцатилетним мальчиком играл в оркестре Французской оперы. *Франкер* — друг Ребеля, служивший вместе с ним сперва скрипачом в оркестре Французской оперы, а затем при дворе Людовика XV. Оба были посредственными композиторами; в описываемую эпоху оба состояли директорами Оперы.

497

«*Общественный договор*» – основное сочинение Руссо по вопросу о происхождении государства и права (1762).

498

Сантей — французский поэт XVII в., писавший по-латыни, автор текстов для церковных песнопений.

499

Крупное поражение. – Речь идет об одном из эпизодов Семилетней войны – битве при Микгдене, в которой французы потерпели поражение.

500

...моих работ об этом искусстве, написанных для «*Энциклопедии*»... – Статьи Руссо о музыке, написанные для «Энциклопедии», легли затем в основу его «Музыкального словаря».

501

Знаменный владетель — средневековый титул помещика, имевшего право вести под собственным знаменем вооруженный отряд, с которым обязан был являться по вызову вышестоящего феодала.